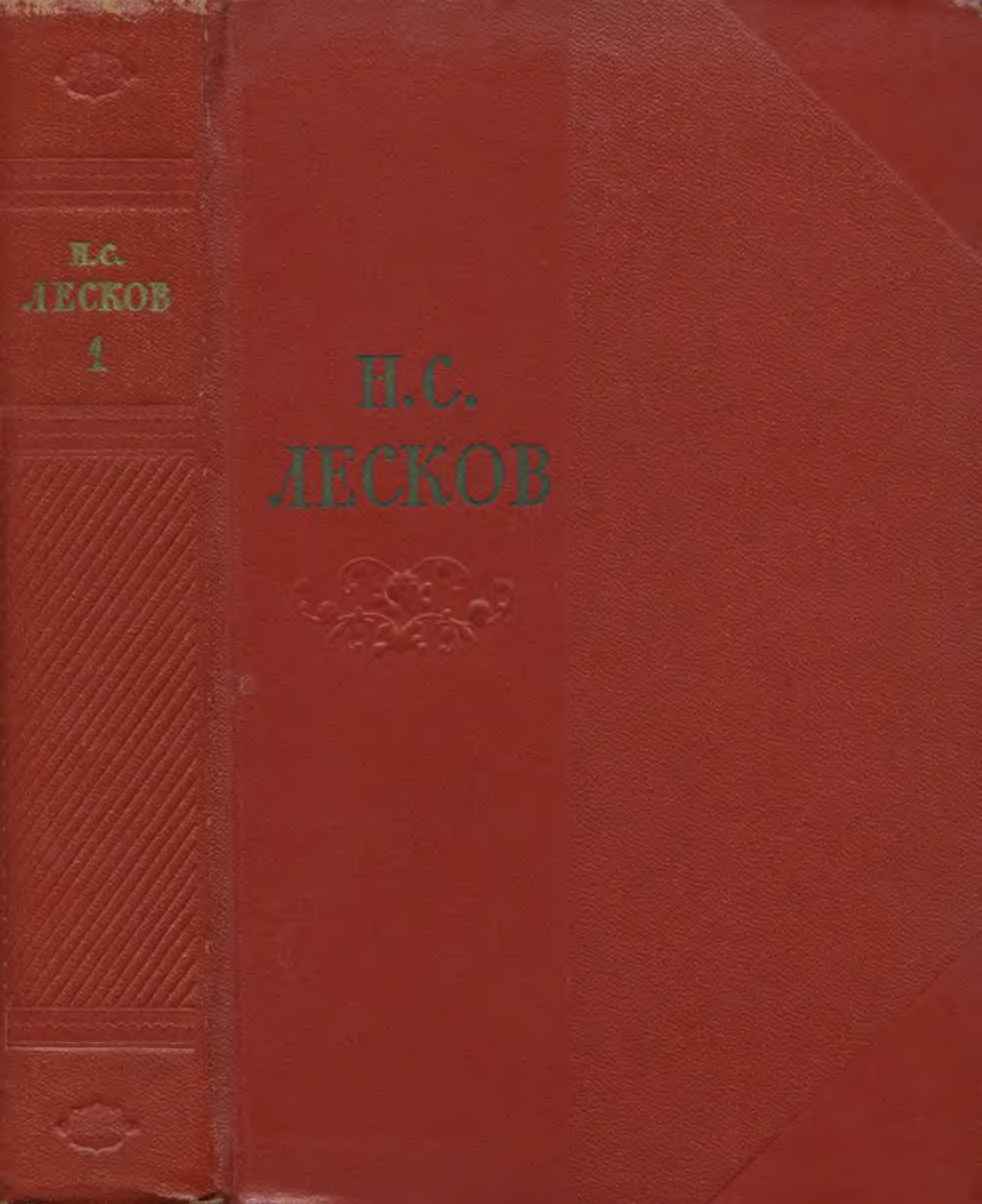

Н.С.
ЛЕСКОВ
1
Н.С.
ЛЕСКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ



Под общей редакцией:

В. Г. БАЗАНОВА, Б. Я. БУХШТАБА,
А. И. ГРУЗДЕВА, С. А. РЕЙСЕРА,
Б. М. ЭЙХЕНБАУМА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ТОМ ПЕРВЫЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Подготовка текста и примечания

Б. М. ЭЙХЕНБАУМА

Вступительная статья

П. Н. ГРОМОВА и Б. М. ЭЙХЕНБАУМА



Н. С. ЛЕСКОВ

С карандашного рисунка И. Е. Репина
1888—1889 гг.

Н. С. ЛЕСКОВ

(Очерк творчества)

1

Высоко ценивший творчество Н. С. Лескова М. Горький писал о нем: «Жил этот крупный писатель в стороне от публики и литераторов, одинокий и непонятый почти до конца дней. Только теперь к нему начинают относиться более внимательно».[1] В самом деле, литературная судьба Лескова странна и необычна. Писатель, поднявший на высоту больших художественных обобщений новые, никем до него не исследованные стороны русской жизни, населивший свои книги целой толпой никогда до него не виданных в литературе ярких, своеобразных, глубоко национальных лиц, тончайший стилист и знаток родного языка, — он и по сию пору гораздо меньше читается, чем другие писатели такого же масштаба.

Многое в литературной судьбе Лескова объясняется крайней противоречивостью его творческого пути. У его современников — шестидесятников из прогрессивного лагеря — были достаточно веские основания для того, чтобы относиться к Лескову недоверчиво. Писатель, совсем недавно начавший свою литературную деятельность, стал сотрудником такого отнюдь не передового органа, каким была газета «Северная пчела» 1862 года. Это было тем более обидно для современников, что речь шла о писателе вполне «шестидесятнического» склада: у него — хорошее знание практической, повседневной, деловой русской жизни, у него — темперамент, вкусы и способности публициста, журналиста, газетчика. Передовой журнал эпохи, «Современник», в апрельской книжке 1862 года так оценивал публицистическую деятельность молодого Лескова: «Нам жаль

---

[1] М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, Гослитиздат, т. 24, стр. 235.

верхних столбцов «Пчелы». Там тратится напрасно сила, не только не высказавшаяся и не исчерпавшая себя, а может быть, еще и не нашедшая своего настоящего пути. Мы думаем по крайней мере, что при большей сосредоточенности и устойчивости своей деятельности, при большем внимании к своим трудам она найдет свой настоящий путь и сделается когда-нибудь силою замечательною, быть может совсем в другом роде, а не в том, в котором она теперь подвизается. И тогда она будет краснеть за свои верхние столбцы и за свои беспардонные приговоры...» Вскоре после этого увещевательного обращения «Современника» к молодому писателю разыгрывается громкий общественный скандал — широко распространяются слухи о том, что произошедшие в мае 1862 года большие пожары в Петербурге — дело рук революционно настроенных студентов и связаны с появившейся незадолго перед тем прокламацией «Молодая Россия». В. И. Ленин в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» писал: «...есть очень веское основание думать, что *слухи о студентах-поджигателях распускала полиция».* [1]

Лесков выступает с газетной статьей, [2] в которой требует от полиции или опровергнуть эти слухи, или обнаружить реальных виновников и примерно наказать их. В накаленной политической атмосфере тех лет статья была сочтена передовыми кругами провокационной. Она подавала к этому основания явной двусмысленностью общественной позиции автора. Лесков, человек крутого и вспыльчивого темперамента, реагировал на случившееся неистовым раздражением. В результате ему пришлось уехать в заграничное путешествие, дабы утихомириться самому и дождаться, когда улягутся разгоревшиеся вокруг его статьи политические страсти.

В судьбе Лескова с очень большой ясностью сказалось то обстоятельство, что социальная сила, «которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения масс, способного свергнуть монархию и уничтожить власть помещиков», [3] при крутом повороте событий, при обострении основного исторического противоречия эпохи неизбежно окажется объективно в лагере реакции. Так и случилось с Лесковым. В 1864 году он публикует роман «Некуда». И в эпоху публикации романа и значительно позднее, когда общественные пути Лескова сильно изменились, он склонен был считать, что оценка романа передовыми современниками во многом основывалась на недоразумении.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 27.
[2] «Северная пчела», 1862, № 143 (от 30 мая).
[3] В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 96.

В замысел писателя входило намерение часть изображаемых им «нигилистов» трактовать как людей субъективно честных и искренне озабоченных судьбами народа, но заблуждающихся в вопросе о ходе исторического развития страны (Райнер, Лиза Бахарева). Едва ли эта «авторская поправка» меняет что-либо в существе дела.

Современники совершенно основательно увидели в романе злонамеренно искаженные портреты ряда реальных лиц из передового лагеря. Особенно отчетливо и резко общественную квалификацию романа и выводы из нее сформулировали Д. И. Писарев и В. А. Зайцев. «В сущности, это плохо подслушанные сплетни, перенесенные в литературу», — писал о романе Лескова В. А. Зайцев. Д. И. Писарев следующим образом определял общественно-этические выводы, которые необходимо сделать из создавшегося положения: «Меня очень интересуют следующие два вопроса: 1. Найдется ли теперь в России — кроме «Русского вестника» — хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера Стебницкого (псевдоним Лескова) и подписанное его фамилией? 2. Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожным и равнодушным к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого?» Объективно роман «Некуда» и — вероятно, еще в большей степени — выпущенный Лесковым уже в начале 70-х годов роман «На ножах» входят в группу так называемых «антинигилистических» романов 60—70-х годов, таких, как «Взбаламученное море» Писемского, «Марево» Клюшникова, «Бесы» Достоевского и т. д.

Для Лескова наступают трудные годы «отлучения» от большой литературы и журналистики эпохи. В реакционном «Русском вестнике» Каткова он не уживается, и причины этого следует искать, конечно, не в особенностях характеров Лескова и Каткова, а в объективном общественном смысле дальнейшей литературной работы Лескова. На протяжении 70-х и особенно 80-х годов происходит трудная, временами даже мучительная переоценка писателем многих из своих прежних общественно-политических воззрений. Значительную роль в идейном самоопределении Лескова сыграло его сближение с Л. Н. Толстым. Общественная позиция Лескова 80-х годов — не та, что была в 60—70-х годах. В художественном творчестве и публицистике Лескова этого периода особую неприязнь консервативного лагеря вызвали произведения, связанные с освещением жизни и быта русского духовенства. Младший современник Лескова, А. М. Скабичевский, отмечал: «Большую сенсацию возбудили вышедшие в свет в начале восьмидесятых годов *Архи-*

ерейские мелочи, ряд бытовых картин, обличающих некоторые темные стороны быта нашей высшей духовной иерархии. Очерки эти возбудили такую же бурю в консервативном лагере, какую роман «Некуда» произвел в либеральном».

До этого важного перелома, который был связан с нарастанием новой революционной ситуации в стране («второго демократического подъема в России», как говорил В. И. Ленин), Лесков сотрудничал в разных мелких журнальчиках и газетах консервативного, тускло-либерального или неопределенного направления. В «почтенную» буржуазно-либеральную прессу он не допускался. В связи со все более и более обозначающимися в его творчестве критическими тенденциями, обусловившими появление произведений, резко и остро ставивших ряд наболевших вопросов социальной жизни России, отношение к нему со стороны либеральных кругов должно было бы измениться. И тут происходит знаменательный факт, отмеченный сыном и биографом писателя А. Н. Лесковым: «Постепенно создается прелюбопытная перемена позиций с удивительной иногда перестановкой фигур».[1] А. Н. Лесков имеет в виду то обстоятельство, что либерально-буржуазные журналы типа «Вестника Европы» или «Русской мысли» один за другим отказываются из цензурных опасений помещать на своих страницах лесковские вещи из-за их чрезмерной критической остроты. У передовых общественно-литературных кругов 60-х годов были серьезные основания полемизировать с Лесковым: у буржуазных либералов и поздних народников 90-х годов таких оснований уже не было, но они продолжали это делать как будто просто по инерции. Дело было, однако, совсем не в инерции.

В 1891 году критик М. А. Протопопов написал статью о Лескове под заглавием «Больной талант». Лесков поблагодарил критика за общий тон его статьи, но решительно возражал против ее заглавия и основных положений. «Критике вашей недостает *историчности,* — писал он Протопопову. — Говоря об авторе, вы забыли его время и то, что он есть дитя своего времени... Я бы, писавши о себе, назвал статью не *больной талант,* а *трудный рост».* Лесков был прав: без «историчности» понять его творчество (как и твор-

---

[1] Сын писателя, А. Н. Лесков, на протяжении долгих лет работал над биографией Н. С. Лескова. Законченная еще перед войной, она появилась только в 1954 году (*Андрей Лесков* — «Жизнь Николая Лескова. По его личным, семейным и несемейным записям и памятям»). Эта книга представляет собой, по свежести и обилию фактов и по живости изложения, исключительно ценный труд. К ней мы и отсылаем читателей, интересующихся *биографией* писателя.

чество любого писателя) невозможно. Прав он был и в другом: вся история его жизни и деятельности представляет собой картину медленного, трудного и часто даже мучительного роста на протяжении почти полувека — от конца 40-х до середины 90-х годов. Трудность этого роста зависела как от сложности самой эпохи, так и от особого положения, которое занял в ней Лесков. Он был, конечно, «дитя своего времени» не меньше, чем другие, но отношения между ним и этим временем приняли несколько своеобразный характер. Ему не раз приходилось жаловаться на свое положение и чувствовать себя пасынком. На это были свои исторические причины.

2

Лесков пришел в литературу не из рядов той «профессиональной» демократической интеллигенции, которая вела свое идейное происхождение от Белинского, от общественных и философских кружков 40-х годов. Он рос и развивался вне этого движения, определившего основные черты русской литературы и журналистики второй половины XIX века. Жизнь его до тридцати лет шла так, что он меньше всего мог думать о литературе и писательской деятельности. В этом смысле он был прав, когда потом неоднократно говорил, что попал в литературу «случайно».

Николай Семенович Лесков родился в 1831 году в селе Горохове, Орловской губернии. Отец его был выходцем из духовной среды: «большой, замечательный умник и дремучий семинарист», по словам сына. Порвав с духовной средой, он стал чиновником и служил в орловской уголовной палате. В 1848 году он умер, и Лесков, бросив гимназию, решил пойти по стопам отца: поступил на службу в ту же самую уголовную палату. В 1849 году он переехал из Орла в Киев, где жил его дядя (по матери) С. П. Алферьев, небезызвестный тогда профессор медицинского факультета. Жизнь стала интереснее и содержательнее. Лесков поступил на службу в Казенную палату, но имел иногда возможность «приватно» слушать в университете лекции по медицине, сельскому хозяйству, статистике и пр. В рассказе «Продукт природы» он вспоминает о себе: «Я был тогда еще очень молодой мальчик и не знал, к чему себя определить. То мне хотелось учиться наукам, то живописи, а родные желали, чтобы я шел служить. По их мнению, это выходило всего надежнее». Лесков служил, но упорно мечтал о каком-нибудь «живом деле», тем более что сама служба приводила его в соприкосновение с многообразной средой местного насе-

ления. Он много читал и за годы киевской жизни овладел украинским и польским языками. Рядом с Гоголем его любимым писателем стал Шевченко.

Началась Крымская война, которую Лесков называл впоследствии «многознаменательным для русской жизни ударом набата». Умер Николай I (1855 г.), и началось то общественное движение, которое привело к освобождению крестьян и к целому ряду других последствий, изменивших старый уклад русской жизни. Эти события сказались и на жизни Лескова: он бросил казенную службу и перешел на частную — к англичанину Шкотту (мужу его тетки), управлявшему обширными имениями Нарышкиных и Перовских. Так до некоторой степени осуществилась его мечта о «живом деле»: в качестве представителя Шкотта он разъезжал по всей России — уже не как чиновник, а как коммерческий деятель, по самому характеру своей деятельности входивший в теснейшее общение с народом. Многие помещики занимались тогда заселением огромных пространств в Поволжье и на юге России. Лескову приходилось принимать в этом участие — сопровождать переселенцев и устраивать их на новых местах. Тут-то, во время этих разъездов Лесков познакомился с жизнью русского захолустья — с бытом, нравами и языком рабочего, торгового и мещанского люда самых разнообразных профессий и положений. Когда его спрашивали впоследствии, откуда он берет материал для своих произведений, он показывал на лоб и говорил: «Вот из этого сундука. Здесь хранятся впечатления шести-семи лет моей коммерческой службы, когда мне приходилось по делам странствовать по России; это самое лучшее время моей жизни, когда я много видел».

В письмах к Шкотту Лесков делился своими впечатлениями; этими письмами заинтересовался сосед Шкотта по имению, Ф. И. Селиванов, который, как вспоминал потом сам Лесков, «стал их спрашивать, читать и находил их «достойными печати», а в авторе он пророчил писателя». Так началась литературная деятельность Лескова, ограниченная сначала узким кругом экономических и бытовых тем. В 1860 году в киевской газете «Современная медицина» и в петербургском журнале «Указатель экономический» появились его первые статьи: «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий», «Полицейские врачи в России», «О рабочем классе», «Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России» и др. Это не столько статьи, сколько очерки, насыщенные огромным фактическим материалом и рисующие культурное и экономическое неустройство русской жизни. Речь идет о взятках, о низком уровне служебных лиц, о всяких административных безобразиях и пр.

В общем они примыкают к распространенному тогда жанру так называемых обличительных очерков — с той разницей, что в них уже чувствуется рука будущего беллетриста. Лесков вставляет анекдоты, пользуется профессиональными жаргонами, пословицами и народными словечками, живо и ярко описывает быт, рассказывает отдельные сцены и эпизоды. Обличительный очерк часто превращается в фельетон, а иногда и в рассказ.

В 1861 году Лесков переехал в Петербург и начал сотрудничать в больших журналах и газетах. Ему уже 30 лет — и он как бы нагоняет упущенное время: за годы 1861—1863 он печатает массу статей, очерков, рассказов и повестей самого разнообразного содержания. Здесь и статья по поводу смерти Шевченко, и «Очерки винокуренной промышленности», и статья о романе Чернышевского «Что делать?», и рассказ «Овцебык», и большая повесть «Житие одной бабы». Все это отличается и необыкновенным знанием народной жизни, и разнообразием материала, и смелостью в постановке самых острых и новых вопросов, и оригинальностью литературной манеры, языка. Видно было, что этот писатель прошел через какую-то особенную школу жизни и чтения, отличающую его от других. Казалось, что Лесков решил вступить в соревнование со всеми крупными писателями того времени, противопоставляя им и свой жизненный опыт и свой необычный литературный язык. Горький отметил эту характерную черту его первых вещей, сразу обративших на него внимание современников: «Он знал народ с детства; к тридцати годам объездил всю Великороссию, побывал в степных губерниях, долго жил на Украине — в области несколько иного быта, иной культуры... Он взялся за труд писателя зрелым человеком, превосходно вооруженный не книжным, а подлинным знанием народной жизни».

Однако при всем этом Лесков никак не был в эти годы зрелым литератором, публицистом или общественным деятелем: такого опыта у него не было и быть не могло. Он сам говорил потом, что был в эти годы «мало воспитанным и подготовленным к литературе человеком», и писал А. С. Суворину: «И я и вы в литературу пришли необученными, и, литераторствуя, мы сами еще учились». Жизнь в провинции и коммерческая деятельность научили его многому и дали ему возможность накопить огромный бытовой, языковый и психологический материал, но о происходившей тогда напряженной социальной, политической и идейной борьбе партий он имел очень смутное представление. Время требовало точного выбора позиции, ясных решений, твердых принципов, отчетливых ответов, а Лесков не был подготовлен к этому ни своим жизнен-

ным опытом, ни образованием; между тем он сразу ринулся, со свойственным ему темпераментом, в бой — и очень скоро потерпел неудачу, которая имела для него тяжелые и длительные последствия.

Защищаясь от нападок и обвинений в неверном понимании передовых идей и в клевете на передовую интеллигенцию, Лесков сам вынужден был признаться в печати: «Мы не те литераторы, которые развивались в духе известных начал и строго приготовлялись к литературному служению. Нам нечем похвалиться в прошлом; оно у нас было по большей части и мрачно и безалаберно. Между нами почти нет людей, на которых бы лежал хоть слабый след кружков Белинского, Станкевича, Кудрявцева или Грановского». Признание очень важное и характерное, тем более что Лесков явно говорит не только о себе, но и о каких-то своих единомышленниках или современниках («между нами»). Под «известными началами» он разумеет, конечно, те передовые идеи и теории, которые возникли еще в сороковых годах и привели к созданию и оформлению революционно-демократической интеллигенции во главе с Чернышевским. Лесков явно сожалеет, что развивался вне этих идей и традиций и, таким образом, не готовился к «литературному служению»; вместе с тем он дает понять, что по сравнению с «теоретиками» и «интеллигентами» у него есть некоторые свои преимущества. В письмах и разговорах он иногда иронически употребляет слово «интеллигент» и противопоставляет себя «теоретикам», как писателя, владеющего гораздо бо́льшим и, главное, более разносторонним жизненным опытом. Он охотно и много пишет и говорит на эту волнующую его тему, каждый раз стремясь выделить то, что представляется ему наиболее сильной стороной его позиции. «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, — говорит он с некоторой запальчивостью, явно намекая на столичных писателей-интеллигентов, — а я вырос в народе на Гостомельском выгоне... Я с народом был свой человек... Публицистических рацей о том, что народ надо изучать, я не понимал и теперь не понимаю. Народ просто надо знать, как саму нашу жизнь, не штудируя ее, а живучи ею». Или так: «Книги и сотой доли не сказали мне того, что сказало столкновение с жизнью... Всем молодым писателям надо выезжать из Петербурга на службу в Уссурийский край, в Сибирь, в южные степи... Подальше от Невского!» Или еще так: «Мне не приходилось пробиваться сквозь книги и готовые понятия к народу и его быту. Книги были добрыми мне помощниками, но коренником был я. По этой причине я не пристал ни к одной школе, потому что учился не в школе, а на барках у Шкотта». Показательны в этом смысле его

слова о Глебе Успенском — «одном из немногих собратий наших, который не разрывает связей с жизненной правдой, не лжет и не притворствует ради угодничества так называемым направлениям».

После Крымской войны и происшедших общественных перемен русская жизнь очень усложнилась, а вместе с нею усложнились и задачи литературы и самая ее роль. В литературу пришли люди со стороны, «самоучки» из провинции, из мещанской и купеческой среды. Рядом с писателями, вышедшими из среды русской интеллигенции («развивавшимися в духе известных начал»), жизнь выдвигала писателей иного типа, иных навыков и традиций, писателей, сильных своим практическим опытом, своей жизненной связью с глухой провинцией, с низовой Россией, с крестьянским, ремесленным и торговым людом разных районов. Характерной чертой общей обстановки тогда было выдвижение «разночинца» как массового деятеля в политическом движении эпохи, в печати, в литературе. При этом надо помнить, что «разночинная» среда вовсе не была чем-то однородным, — различные ее представители выражали разные, подчас противоречивые, тенденции очень сложного в целом времени. Поэтому в самом вхождении Лескова в литературу «со стороны», в самом формировании его вне кружковой борьбы 40-х годов не было ничего ни странного, ни необычного для общественной жизни 60-х годов. Для периода 50—60-х годов — периода обострения классовой борьбы — это было явлением не только естественным, но и неизбежным. При новом положении должны были зазвучать голоса с мест и явиться люди в качестве депутатов от масс. Это было тем более необходимо, что рядом с социальными вопросами встали во всей своей остроте, сложности и противоречивости вопросы национально-исторические — как следствие и Крымской войны и общественных реформ. Так заново возник вопрос о характере русского народа, о его национальных чертах и особенностях. Этот вопрос надо было ставить не в том духе казенного «квасного» патриотизма, который господствовал в николаевскую эпоху и вызывал отпор со стороны передовых кругов. В этом отношении необыкновенно характерным и многозначительным было появление именно в 60-х годах такой грандиозной национально-патриотической эпопеи, как «Война и мир» Толстого, совершенно по-особенному ставившей социальные и исторические проблемы, предлагавшей иные решения этих проблем, чем те решения, которые предлагались передовыми теоретиками эпохи.

Иначе и быть не могло. После Крымской войны и в особенности после освобождения крестьян в литературной среде закономерно возникало противоречие между демократизмом передовой

публицистики эпохи и демократизмом стихийным. Это была борьба совсем иного типа, чем, например, борьба революционных демократов с либералами; это был сложный идейный конфликт, возникший на основе новых жизненных противоречий — как результат той самой быстрой, тяжелой, острой ломки всех старых устоев старой России, о которой Ленин говорит в статьях о Толстом. Носители стихийного демократизма смотрели на себя как на новых глашатаев жизненной правды, как на ее миссионеров, обязанных познакомить общество со всеми сложностями и противоречиями русской действительности; в этом была их несомненная историческая сила, потому что они действительно опирались на богатый практический опыт, на реальную связь с известными слоями народа. Однако именно в силу своей стихийности демократизм этот был подвержен всевозможным колебаниям и воздействиям со стороны. Во многом противопоставляя себя «известным началам» и не соглашаясь с «готовыми понятиями», стихийные демократы сплошь и рядом — именно вследствие своей теоретической невооруженности — попадали в сферу либерально-буржуазных и даже реакционных влияний. В этом была их историческая слабость, нередко приводившая их самих к трагическим положениям и к тяжелым идейным *кризисам*. Таков был, например, Писемский, метавшийся из одного лагеря в другой, таков был и Лесков; такой же в сущности был и Лев Толстой — с характерными для него патриархально-деревенскими идеалами (и в этом была его особенная историческая сила). Писемский и Лесков пришли от русской провинции, от уездного захолустья — от чиновничьей, промысловой и бродяжьей Руси.

Именно для стихийных демократов был характерен тот особенный «трудный рост», о котором Лесков в конце жизни писал Протопопову. У Толстого этот рост выражался в форме резких кризисов и переломов — соответственно значению поднятых им вопросов; у Лескова он не принимал таких форм, но имел аналогичный исторический смысл. Недаром между ним и Толстым образовалась в 80-х годах особого рода душевная близость, очень радовавшая Лескова. «Я всегда с ним согласен, и на земле нет никого, кто мне был бы дороже его», — писал он в одном письме. Это не было случайностью: Лескову, как и Толстому, решающей в жизни человечества казалась не социально-экономическая сторона и тем самым не идея общественно-исторического переустройства революционным путем, а моральная точка зрения, основанная на «вечных началах нравственности», на «нравственном законе». Лесков прямо говорил: «Не хорошие порядки, а хорошие люди нужны нам».

Ленин показал значение Толстого как «зеркала», отразившего силу и слабость стихийного движения масс; это общее историческое положение относится в известной мере и к Лескову — с учетом, конечно, тех отличий, о которых говорилось выше. Ленин говорит, что 1905 год принес с собой «конец всей той эпохе, которая могла и должна была породить учение Толстого — не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени».[1]

Лескова, как и Толстого, «могла и должна была породить» та самая пореформенная, но дореволюционная эпоха, о которой говорит Ленин. Он, как и Толстой, отразил «кричащие противоречия» этой эпохи и вместе с тем обнаружил непонимание причин кризиса и средств выхода из него. Отсюда и его «трудный рост» и все те исторические недоразумения, от которых он так страдал, но для которых сам создавал достаточное количество поводов и оснований. Лескова, как и Толстого, неоднократно упрекали в капризах и в оригинальничанье — то по поводу языка его произведений, то по поводу его взглядов. Современникам не легко было разобраться в его противоречивой и изменчивой позиции, тем более что своими публицистическими статьями он часто только затруднял или осложнял ее понимание. Критики не знали, как быть с Лесковым — с каким общественным направлением связать его творчество. Не реакционер (хотя объективные основания для обвинения его в этом были), но и не либерал (хотя многими чертами своего мировоззрения он был близок к либералам), не народник, но тем более не революционный демократ, Лесков (как позднее и Чехов) был признан буржуазной критикой лишенным «определенного отношения к жизни» и «мировоззрения». На этом основании он был зачислен в разряд «второстепенных писателей», с которых многого не спрашивается и о которых можно особенно не распространяться. Так и получилось, что автор таких изумительных и поражающих именно своим своеобразием вещей, как «Соборяне», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Левша», «Тупейный художник», оказался писателем, не имеющим своего самостоятельного и почетного места в истории русской литературы.

Это было явной несправедливостью и исторической ошибкой, свидетельствующей об узости традиционных схем либерально-буржуазной критики. Одним из первых восстал против этого положения Горький, чувствовавший себя в некоторых отношениях уче-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 31—32.

ником Лескова. В своих лекциях 1908—1909 годов (на Капри) Горький говорил, что Лесков — «совершенно оригинальное явление русской литературы: он не народник, не славянофил, но и не западник, не либерал и не консерватор». Основная черта его героев — «самопожертвование, но жертвуют они собой ради какой-либо правды или идеи не из соображений идейных, а бессознательно, потому что их тянет к правде, к жертве». Именно в этом Горький видит связь Лескова не с интеллигенцией, а с народом, с «творчеством народных масс». В статье 1923 года Горький уже решительно заявил, что Лесков как художник достоин стоять рядом с великими русскими классиками и что он нередко превышает их «широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок ее, тонким знанием великорусского языка».

Действительно, именно этими тремя чертами своего творчества Лесков выделяется среди своих современников. Без него наша литература второй половины XIX века была бы очень неполной: не была бы раскрыта с такой убедительной силой и с такой проникновенностью жизнь русского захолустья с его «праведниками», «однодумами» и «очарованными странниками», с его бурными страстями и житейскими бедами, с его своеобразным бытом и языком. Не было бы того, что сам Лесков любил называть «жанром» (по аналогии с «жанровой» живописью), и притом «жанр» этот не был бы дан так ярко, так интимно, так многообразно и так в своем роде поэтично. Ни Тургенев, ни Салтыков-Щедрин, ни Островский, ни Достоевский, ни Толстой не могли бы сделать это так, как сделал это Лесков, хотя в работе каждого из них присутствовала эта важная и характерная для эпохи задача. Горький хорошо сказал об этом: «Он любил Русь, всю, какова она есть, со всеми нелепостями ее древнего быта». Именно поэтому он вступал в своеобразное соревнование или соперничество с каждым из названных писателей.

Начав свой творческий путь в 60-х годах с насыщенных жизненным материалом очерков, направленных против уродств дореформенного строя, Лесков довольно скоро вступает в полемику с «известными началами», «готовыми понятиями», «школами» и «направлениями». Занимая позицию «скептика и маловера» (как говорил о нем Горький), он настойчиво изображает трагическую бездну, образовавшуюся между идеями и надеждами революционных «теоретиков» («нетерпеливцев», как он их называл по-своему) и дремучей Русью, из которой он сам пришел в литературу. В первом же рассказе — «Овцебык» (1863) он описывает судьбу своего рода революционного «праведника», семинариста-агитатора, «готового жертвовать собою за избранную идею». Характерно, однако, что

этот праведник — вовсе не интеллигент и не теоретик: «Новой литературы он терпеть не мог и читал только евангелие да древних классиков... Он не смеялся над многими теориями, в которые мы тогда жарко верили, но глубоко и искренно презирал их». О столичных журналистах он говорит: «Болты болтают, а сами ничего не знают... Повести пишут, рассказы!.. А сами, небось, не тронутся». И вот даже этот своеобразный демократ ничего не может сделать с темным крестьянством; убедившись в безнадежности своих опытов, Овцебык кончает самоубийством. В письме к приятелю он говорит: «Да, понял ныне и я нечто, понял... Некуда идти». Так был подготовлен и явился на свет роман Лескова «Некуда» (1864), в котором вместо Овцебыка был уже изображен представитель революционных кругов Райнер. Наслушавшись «опоэтизированных рассказов о русской общине» и о «прирожденных наклонностях русского народа к социализму», Райнер едет в Россию. Из всех его попыток ничего, кроме трагикомических недоразумений и неудач, не получается: Россия оказывается совсем не такой, какой он ее представлял себе по рассказам. В напряженной и сложной обстановке того времени роман Лескова был воспринят как реакционный выпад против революционной интеллигенции. Сам писатель представлял себе свой замысел несколько иначе, но не такое было время, чтобы разбираться в индивидуальных оттенках. Каковы бы ни были субъективные намерения автора, объективно роман этот имел реакционный смысл, потому что он был направлен против передового общественного лагеря эпохи. Приговор был произнесен — и началась та «литературная драма» Лескова, которая наложила отпечаток на всю его литературную судьбу.

3

Лесков считал, что сложные проблемы жизни пореформенной России нельзя решить путем революционных преобразований. В своей художественной работе он стремился воспроизвести жизнь разных кругов общества, разных сословий и классов; итогом должно было быть создание широкой картины национальной жизни во всех индивидуально-своеобразных особенностях ее развития. Таким путем, казалось Лескову, могут быть обнаружены противоречия, гораздо более глубокие и сложные, чем противоречия социальные. Однако как только мы начинаем вглядываться более пристально в художественную практику раннего Лескова, мы немедленно же обнаруживаем в его творчестве чрезвычайно острую

постановку целого ряда важных социальных проблем эпохи. В этом сказывается с большой силой общая противоречивость позиции Лескова. На протяжении 60-х годов Лесков создает целый ряд «очерков», в которых отчетливо видна складывающаяся своеобразная художественная система. Основу этой системы составляет специфическая постановка вопросов социальной и национальной жизни в их сложном соотношении. Центральной социальной проблемой эпохи безусловно является вопрос о крепостничестве и об отношении к реформам, и Лесков, как писатель публицистического склада, не может избегнуть и не избегает выражения своей позиции в этом сложном комплексе социальных противоречий. Еще к началу 60-х годов относится его повесть «Житие одной бабы» (в переработанной редакции — «Амур в лапоточках»), где резко, остро и необычно, чисто по-лесковски, дана тема крепостничества и реформ. Сюжет этого «опыта крестьянского романа» — история трагической любви в условиях крепостных отношений. Трагизм доведен в финале до предельного сгущения, до почти шекспировского обострения и «жестокости» драматического напряжения, и источником трагизма является именно специфичность общественного строя и характер его основных институтов.

Знаменательно, как Лесков начинает, развивает и завершает свое повествование о цельной и внутренне ничем не сломленной страсти, доводящей носителей ее до горького и страшного финала. Любовь Насти и Степана возникает в условиях точно очерченной социально-сословной среды, вся играет характерными для этой среды красками, которые доведены Лесковым до большой поэтической яркости. В начале дается очерк типового быта крестьянской семьи. Отдельные ее члены по-разному видят свой жизненный путь. Характерна покорная позиция матери — все должно идти так, как шло издавна. Настю можно было бы отдать в город, в магазин, но этого делать не надо — там разврат, растление. Ее пристраивают в дворню. Тут вмешивается брат, Костик. Он одержим неистовой страстью к наживе. Внутри самого крепостного сословия идет дифференциация, появляется кулак Костик, который именно таковым и предстает в эпилоге, уже после реформы. Чтобы сохранить компаньонство в кулацком предприятии, в маслобойке, Костик продает Настю в семью Прокудиных, за слабоумного Гришку. Помещичья семья не вмешивается, она живет своей жуткой сословно-ограниченной жизнью. Деловито сообщается, что барыня запросила за сделку семьдесят рублей, сошлись на сорока, и на этом вмешательство помещичьего сословия ограничилось. Сословия живут как бы автономно, ограничиваясь точным обозначением пря-

мых экономических обязательств. Мать и сама Настя покорно соглашаются на сделку. Идти в город казалось развратом и растлением, пойти за 40 рублей и компаньонство в маслобойке замуж за слабоумного — это есть следование патриархальному, стародедовскому сословному обычаю. Нельзя ослушаться главы семьи.

Густо написан везде быт — и дома и в семье Прокудиных. Быт тут важен именно как знак сословной нерушимости. Точно рассказано, как завтракают, обедают, где спят старики, а где молодые, кто и когда готовит еду во время жатвы, у кого какой вышел квас, каков свадебный обычай и как бьют ослушную жену или сестру. Быт предопределяет весь ход человеческой жизни: он тут не декорация, а первопричина всех горестей — как уродливое проявление сословной ограниченности. Сословный быт берется во всех его крайностях, крайности выражены столь резко, что становятся почти эксцентричными.

Рождение любви показано тоже среди точных примет быта, но уже совершенно иначе художественно окрашенного. Жизнь Насти под этим невыносимым давлением испокон установленных обычаев, превратившихся в уродство, трагична. Столь же трагична жизнь Степана. Его драма проста до предела — у него злая и сварливая жена, и вырваться от нее в условиях автоматически предопределенных сословных рамок никак невозможно. Опять-таки рядом точных бытовых зарисовок показано, что это действительно невозможно. Но именно потому, что быт дошел здесь уже до нелепости в своей предопределенности, — живую человеческую душу уложить в эти формы никак нельзя. Эта тема выражена с помощью песни. Все душевные порывы у Насти выливаются в песню, у Степана тоже. Оба они великолепные песельники. Тема песни проходит через весь «крестьянский роман». Поют на свадьбе у Насти, поет исцеляющий Настю от бабьей немочи — истерии — Крылушкин, поет незнакомый еще Насте Степан, проходя мимо пуньки, где она спит, любовным объяснением становится песенное соревнование Насти и Степана при их первой встрече. Песня тут тоже одна из форм быта, фольклор, народное искусство — это то, в чем выражается «душевное» в сословном крестьянском быту. Быт в своем прямом виде стал уродством, эксцентрикой. Возникает непримиримый конфликт между «бытом» и «песней». Этот конфликт свидетельствует о полном развале установленных раз навсегда внутрисословных отношений. Песня бросает Настю и Степана в объятья друг к другу. Любовь здесь монолитна, непреодолима, она тоже доведена до крайности. Охваченные «песней», эти деревенские Ромео и Джульетта не остановятся ни перед чем для того, чтобы

слиться в «песне». И тут — новая стилевая окраска сюжета. Степан рисуется русокудрым добрым молодцем с заломленной набекрень шапкой, тоскующим от жизни с лихой женой-разлучницей, Настя — красавицей, тоскующей «у косящата окна». Сословная окраска лирической темы ведет к стилизации, к «амуру в лапоточках».

Все развитие романа вплоть до кульминации шло только в рамках быта крестьянского сословия и за эти пределы не выходило. Целью тут было показать, что внутрисословные отношения исторически исчерпаны, размыты, доведены до нелепости. Но вот события вынудили Степана и Настю бежать. И тут уже вступает в силу нелепость междусословных отношений, жестокость крепостнического строя в целом. Трагическая кульминация сюжета начинается с того, что нет паспортов, приходится обратиться к «специалистам» по подделке документов. Охваченные трагической любовью герои должны деловито обсуждать, где взять двадцать пять рублей ассигнациями (именно ассигнациями — все такие детали у Лескова подчеркнуты, особо выделены) для покупки «видов на жительство». Вся последующая трагедия сюжетно определяется тем, что жулик взял двадцать пять рублей, но паспортов не дал. Дальше идет жуткая фантасмагория опять-таки по-бытовому точно описанной предельной нелепости крепостнических институтов; герои этой фантасмагории — полицмейстер, тюремный смотритель, губернатор, который «прогнал старых взяточников с мест и определил новых», члены управы, квартальные и т. д. Все эти герои с методичностью автоматов занимаются тем, что водворяют по прежнему местожительству людей, которые жить там не могут, сажают их в тюрьму, наказывают розгами, отправляют по этапу и т. д. Словом, вступает в полную силу механизм общественных отношений того строя, основную особенность которого В. И. Ленин усматривал в «дисциплине палки».[1] Последствия работы этого механизма неизбежно ведут к тому, что «аппарат мыслительный» в героях «испортился». С предельной точностью и реалистической достоверностью дается финал: смерть Степана от тифа в тюремной больнице, гибель обезумевшей Насти, замерзающей ночью в открытом поле.

Несмотря на слишком ясное и даже как бы намеренно обостренное противопоставление двух планов произведения — плана *личного,* лирического и плана общественной жизни (характерное и для других вещей Лескова 60-х годов) — общая его концепция чрезвычайно целостна. Объясняется это тем, что в каждом из этих планов по-разному воплощена одна и та же тема. Традиционная

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 387.

внутрисословная обстановка оказывает жесточайшее, гнетущее воздействие на личность героя и даже самого кроткого человека, если он хочет остаться человеком, вынуждает «выламываться» из сословия, «рассословиться». Во втором плане — в плане межсословных отношений — вся громада крепостнической государственности обрушивается на личность же. Именно в этом логика композиции романа с ее резким членением повествования на два слоя, два пласта эпизодов — «личный» и «общественный». Характерно для ужасных мытарств Степана и Насти прежде всего то, что они проходят через ряд немыслимых личных оскорблений, с ними обращаются так, как радивый хозяин не будет обращаться с животными. Порядки крепостнических общественных отношений в целом вступают в действие только в момент катастрофы, но тут уже они действуют по отношению к «рассословленным» совершенно беспощадно. Концепция романа в целом имеет глубоко демократический и страстно антикрепостнический характер. Но и демократизм и антикрепостничество здесь особенные. Концентрируя весь трагизм на теме личности, Лесков приходит к выводу, откровенно выраженному в эпилоге, что после реформы все дело заключается в том, чтобы продолжать выкорчевывание крепостнических остатков и в общественных институтах и, в особенности, в личных отношениях.

Для всего последующего творчества Лескова тема личности, освобождающейся от сословных уз, имеет необычайно важное значение. В. И. Ленин отмечал, касаясь вопроса о наиболее ярких особенностях общественной обстановки 60-х годов, что она характеризуется, между прочим, «горячей войной литературы против бессмысленных средневековых стеснений личности».[1] Самое возникновение проблемы личности В. И. Ленин связывал непосредственно с социальными процессами: «именно пореформенная Россия принесла этот подъем чувства личности, чувства собственного достоинства».[2] И в «Житии одной бабы», разумеется, столь острая постановка вопросов личного достоинства, особое, несколько даже романтически-трагедийное акцентирование темы личности объективно представляет собой оригинально лесковское решение важных для эпохи социальных проблем.

На аналогичном композиционном принципе построена и повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Трагедия молодой купеческой жены Катерины Измайловой полностью предопределена прочно сложившимся и неуклонно регламентирующим жизнь личности

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 394.
[2] Там же.

бытовым укладом купеческой среды. Драматизм основной ситуации и здесь состоит в том, что доведенный до логического предела, до крайности бытовой канон сам себя взрывает. Преимущественное занятие Катерины Измайловой состоит в том, что она ходит из горницы в горницу и зевает, — царит здесь «скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться». Героиня повести Лескова явственно противопоставлена автором Катерине Кабановой из «Грозы» Островского. Героиня гениальной драмы Островского не сливается с бытом, ее характер находится в резком контрасте со сложившимися житейскими навыками. Кабанихе приходится постоянно учить Катерину, как ей следует вести себя в том или ином случае, и скорбно удивляться тому, что ничего из поучений не получается — никак этот характер под купеческую гребенку не подстричь. Все у Катерины Кабановой получается не так; не случайно по описанию Борисом ее поведения в церкви Кудряш мгновенно угадывает, о ком идет речь. По описанию поведения Катерины Измайловой никто и ни при каких обстоятельствах не определил бы, о какой именно молодой купчихе рассказывается. Рисунок ее образа — бытовой шаблон, но шаблон, прочерченный до того густой краской, что он превращается в своеобразный трагический лубок. Катерина Кабанова — явление в своей среде инородное, луч света, пробившийся извне и озаривший на мгновение всю неприглядность темного царства, засвидетельствовавший полную обреченность этого царства. Тот разряд молнии, который принес гибель Катерине Измайловой, родился в темных густых недрах самой этой среды.

Этот разряд молнии вызван любовью. Любовь эта вспыхнула мгновенно и сразу же стала непреодолимой, охватила все существо героини. Замечательны бытовые подробности этой любви. Молодая купеческая жена, проходя по двору, среди балагурящих приказчиков видит нового приказчика — наиболее острословного, наиболее лакейски вылощенного. Возникает диалог, переходящий сразу же в любовное состязание. Любовное состязание Насти и Степана в «Житии одной бабы» было состязанием в песне, ибо сами эти герои были людьми, в условиях распада старых социальных условий сохранившими человеческую душу. Любовное состязание Катерины и приказчика Сергея состоит в том, что они меряются в силе — сначала на кулачках, потом в «наборки». В любовных снах Катерину Львовну неотвязно преследует жирный кот, появляющийся далее и наяву в качестве свидетеля любовных радостей. Любовные диалоги Насти и Степана строились как разбитая на

реплики народная песня. Любовные диалоги Катерины Львовны и Сергея воспринимаются как иронически стилизованные надписи к лубочным картинкам. Все движение этой любовной ситуации есть как бы сгущенный до ужаса шаблон — молодая купчиха обманывает старого мужа с приказчиком. Не шаблонны только итоги.

Охваченная человечески чистой любовью, Настя хотела скрыться со своей любовью, уйти из сословных рамок. Ее настиг крепостнический строй и расправился самым отвратительным образом. Катерина Кабанова оказалась не в силах прятать свою любовь, как это предусматривалось бытовой «моралью» социальной среды: ее прямая и чистая натура вынуждает ее бросить правду прямо в лицо наиболее типическим представителям сословия. Катерина Измайлова, в которой типический для среды способ любовного поведения предельно сгущен, доведен до крайнего выражения, никуда не убегает, а хочет спрятать свою непомерно разросшуюся страсть, заполнившую все ее существо, оставаясь в рамках сословия. Оказывается, что это невозможно. Ради сохранения своего социального положения и своей любви Измайлова идет на поступок, по своим очертаниям шаблонный до предела: вступает в действие яд в традиционных грибках, покушав которых занедужил и отправился на тот свет глава семьи, свекор Измайловой. Размывание, распад сословной жизни ярче всего сказывается в том, что чем тщательнее старается Катерина выполнить бытовой ритуал поведения, тем более жутким он выглядит и с тем большей силой он обрушивается на героиню. За убийством свекра следует убийство мужа, затем убийство племянника. Жуть происходящего в том, что механически повторяемое с автоматической последовательностью убийство все более и более обнаруживает полное отсутствие каких-либо сдерживающих моральных барьеров у героини. Сословная традиционная мораль есть полная аморальность. Убийство ни в чем не повинного ребенка — кульминация драмы, катастрофа. Резкий поворот действия, композиционный слом осуществлен в той же форме, что и в «крестьянском романе». Происходит — в ином виде — то же самое, что произошло с Настей: общество вмешивается в тот самый момент, когда героине кажется, что она полностью освободилась от назойливых сословных установлений и норм. Показательна самая форма общественного вмешательства — преступление раскрыто до жути традиционным, косным, патриархально бесцеремонным вмешательством в жизнь личности: расходящаяся из церкви после вечерни толпа зевак, обсуждающая, почему Измайлова не выполняет характерного для среды бытового ритуала — не ходит в церковь, лезет подглядывать в оконную

щелку в самый момент убийства. Героиню подвергают порке и отправляют на каторгу. Увенчивается все наглым надругательством самого Сергея над любовью Катерины Измайловой. Личность Катерины Кабановой не могла быть унижена в любви — Борис приходил тоже откуда-то извне, для самой Кабановой он был лучом света в темном царстве. Сергей, стремившийся стать купцом, при развале всего задуманного оказывается гнусным духовным лакеем: Последнее тяжкое оскорбление наносится личности героини в самом средоточии ее духовного мира, в ее любви. Дальше уже нечего делать и нечем жить. Измайлова погибает, верная себе: она топится и увлекает вместе с собой в холодную реку свою соперницу. Буйство Измайловой — другая форма той же социальной закономерности, что и смирение, покорность Насти. Оно свидетельствует о гибели, внутреннем распаде старой, крепостнической общественной структуры. Две героини Лескова вели себя очень по-разному — одна смиренно, другая буйно, но обе приходят к трагическому финалу, обусловленному одними и теми же историческими обстоятельствами.

Духовные плоды разложения старых устоев показаны в «Воительнице» (1866). Героиня этого рассказа распрощалась со своим прежним, рассыпающимся социальным окружением в полном благополучии и цветущем здоровье. Она тоже мценская и тоже купчиха, только мелкая. Домна Платоновна, по смерти мужа и после потери прежних заработков, оказалась в Петербурге. Здесь она промышляет для виду торговлей с рук кружевами, а по существу торгует живым товаром. Ядро рассказа — повествование самой Домны Платоновны о черной неблагодарности некоей Леканидки, молодой интеллигентной женщины, ушедшей от мужа и оказавшейся в Петербурге в безвыходном положении. Целым рядом обдуманных манипуляций Домна Платоновна доводит несчастную до проституции. Это и есть основное ремесло Домны Платоновны. Наиболее примечательно то обстоятельство, что Домна Платоновна искреннейшим образом почитает себя благодетельницей Леканидки и ей подобных. Трагедия Леканидки, пытавшейся отстоять достоинство своей личности, искавшей любви и оказавшейся вынужденной ходом жизни торговать собой, Домне Платоновне совершенно непонятна. Воспитанная в традиционной среде и в традиционных морально-бытовых навыках, Домна Платоновна вполне сжилась с распадом и разложением естественных и нравственных личных связей и норм. Разнузданность, полная аморальность личности, живущей только плотскими и материальными интересами, представляется Домне Платоновне естественнейшим явлением, полным внутреннего смысла: такова, по ее мнению, природа человека. Писателя,

по его собственным словам, интересует прежде всего то, «какими путями шла она и дошла до своего нынешнего положения и до своих оригинальных убеждений насчет собственной абсолютной правоты и всеобщего стремления ко всякому обману». Экскурсы в мценское прошлое Домны Платоновны обнаруживают, что жизнь патриархально-купеческой среды мало чем отличается от того повседневного и повсеместного растления, в кругу которого существует сейчас Домна Платоновна. Она, эта прежняя жизнь, потому и дана таким сжатым очерком, что о ней уже все известно из «Леди Макбет Мценского уезда». Петербургское существование количественно расширило опыт Домны Платоновны, механически его размножило, но мало что нового внесло качественно. Результат жизненного пути героини — универсальный нравственный цинизм. Все перевернуто в сознании Домны Платоновны только по видимости: до того все было мертво уже в Мценске, что и переворачиваться собственно было нечему. Домна Платоновна по-своему обрела ту самую свободу личности от сословных ограничений, к которой стремилась Катерина Измайлова. На первых порах эта свобода оборачивается цинизмом. Особенная психологическая краска образа «воительницы» в том, что своим отвратительным ремеслом она занимается с полным удовольствием, как бы по призванию. В сущности, Домне Платоновне очень нравится жить так, как она живет. Про нее говорится следующее: «Домна Платоновна любила свое дело, как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делом рук своих — вот что было главное, и за этим просматривались и всякие другие выгоды, которых особа более реалистическая ни за что бы не просмотрела».

Композиционно рассказ членится на резко отделенные друг от друга и противостоящие друг другу части. Как и Катерину Измайлову, Домну Платоновну на самой вершине ее существования настигла трагическая катастрофа. Необыкновенно важно для понимания смысла рассказа то, как Домна движется к катастрофе. И Настя и Катерина Измайлова жили более или менее органично в рамках своей социальной среды вплоть до катастрофы. В более широкий круг социально-исторических отношений их выталкивала только сама катастрофа, предопределенная жизнью внутренне разложившегося сословия. Домну Платоновну читатель застает уже целиком выбившейся из своего прежнего бытового обихода, уже в сфере общесоциальных отношений: ее знает «весь Петербург», то есть самые разные группы и группочки господствующих классов, а сама она знает и жизнь социальных низов. Здесь, в этой сфере разных интересов, и настигает Домну трагическая кульминация.

Цинически отрицавшая любовь, героиня, дожив до седых волос, без памяти влюбляется в некоего двадцатилетнего балбеса Валерку, безудержно преданного, в свою очередь, всем петербургским утехам, вроде карт, цирка, водки и т. д., и кончающего Владимиркой. Композиционный рисунок как бы перевернут: Домна Платоновна кончает тем, с чего начинали Настя и Катерина Измайлова. В чем смысл этого перевернутого рисунка, этого кажущегося порочного круга? В том, что в межклассовых отношениях царит та же неразбериха, что и в замкнутой по видимости жизни внешне разобщенных и противостоящих друг другу сословий. Внешне сословия соблюдают декорум прежней цельности, прочности, стабильности. Внутренне они развалились, и это ярче всего выявлено в межклассовых отношениях. Рассословленный, деклассированный человек возвращается к тому, с чего он начинал. Отрицавшая какую-либо внутреннюю содержательность личной жизни, относившаяся к порывам Леканидки как к преходящей блажи, Домна Платоновна оказывается рабыней потребностей своей личности, которые принимают у нее постыдную и даже смехотворную форму.

Домна Платоновна, отрицавшая самую возможность существования человеческих страстей и побуждений, свободных от материальных интересов, оказывается в конце концов во власти абсолютно бесконтрольной и противоестественной страсти. Эта уродливо-жалкая страсть Домны сталкивается, в свою очередь, со свойственным Валерке цинизмом, еще недавно казавшимся Домне универсальным и вполне приемлемым жизненным законом. Распад изживших себя старых устоев и норм, отсутствие новых социальных и личных человеческих связей — все это гибельно для человеческой личности. В «Воительнице», быть может не менее остро, чем в предшествующих очерках, ставятся те же вопросы пореформенной жизни России.

Все те явления, о которых идет речь в важнейших произведениях Лескова 60-х годов, находят себе объяснение в особенностях исторической обстановки, социальных, общественных отношений. Внимательные наблюдатели эпохи отмечают резкие сдвиги в общественном сознании, характеризующие период подготовки и осуществления реформ. Так, М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Все в эту минуту изменилось, как бы волшебством, и пропорции, и формы, и имена. Приниженное вчера — сегодня всходило наверх, стоявшее вчера на высоте — в одно мгновение скрывалось и утопало в той области безвестности и безразличия, из которой если и выходило вновь наружу, то для того только, чтобы пропеть в унисон». Само собой разумеется, эти сдвиги меньше всего обусловлены реформаторской деятельностью социальных верхов крепостниче-

ского государства, которых вынудила к реформе «сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма».[1] Крепостники не смогли «удержать старых, рушившихся форм хозяйства».[2] С этим процессом связан распад старых классов — сословий крепостнического общества и складывание новых классов и новых классовых взаимоотношений. Те сдвиги в общественном сознании, которые столь колоритно описаны М. Е. Салтыковым-Щедриным, объясняются прежде всего сдвигами во взаимоотношениях классов, распадом старых общественных связей и складыванием новых. Как писал В. И. Ленин, в творчестве Л. Н. Толстого отразились исторические противоречия, «которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в *по*реформенную, но *до*революционную эпоху».[3] Эти же исторические противоречия отразились в творчестве Лескова.

Индивидуальной художественной особенностью писателя является то, что его больше всего волнуют процессы распада общественных связей внутри старых классов-сословий и вопросы «полного уничтожения сословных делений».[4] Эти процессы протекали в России долго и мучительно: в то время как «непокорное экономическое развитие все более подрывает сословные устои»,[5] в стране вместе с тем «все и вся пропитано сословностью»,[6] искусственно поддерживаемой правящими классами. В эту эпоху продолжали оставаться в силе многочисленные «нестерпимые» остатки «дореформенной регламентации в русской жизни»,[7] и Лесков с большой художественной проницательностью показывает, как они сказываются на судьбе личности, стремящейся сбросить с себя сословные путы и найти новые формы человеческих отношений в процессах складывания новых общественных связей.

4

Именно с этой, сильной стороной, чрезвычайно противоречивой в целом позиции Лескова, следует связывать столь существенно важную для Лескова 70—80-х годов тему поисков «праведника», тему положительных начал в русской жизни и положительного

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 95.
[2] Там же.
[3] Там же, т. 16, стр. 295.
[4] Там же, т. 6, стр. 130.
[5] Там же, т. 5, стр. 259.
[6] Там же.
[7] Там же, т. 2, стр. 489.

типа человека, заново формирующегося в эпоху, когда «все переворотилось и только еще укладывается». Так понимал особенность положения Лескова в литературе 70—80-х годов Горький. Ценное качество творчества Лескова он видел в том, что Лесковым была трезво осознана слабая сторона народничества. Горький противопоставлял Лескова именно народникам, а не революционным демократам. В этой связи необходимо помнить, что горьковские оценки были полемически заострены «в защиту Лескова», и поэтому Горький не всегда проводил в данном случае четкое разграничение между прогрессивными, революционными тенденциями самого народничества и его слабыми, утопическими, либерально-легальными сторонами. Говоря о Лескове и народниках, Горький чаще всего имел в виду именно слабые стороны народничества. Горький писал: «Когда среди торжественной и несколько идольской литургии мужику раздался еретический голос инакомыслящего, он возбудил общее недоумение и недоверие... В рассказах Лескова все почувствовали нечто новое и враждебное заповедям времени, канону народничества».

В этом плане чрезвычайно характерна оценка художественного наследия Лескова, сделанная Н. К. Михайловским. Крупнейший идеолог легального народничества высказал свое окончательное суждение о творчестве Лескова в связи с выходом в свет второго, посмертного издания собрания сочинений писателя (1897 г.). Он выступил, как сам признается, только потому, что счел чрезмерно высокой оценку художественной деятельности Лескова в предпосланной изданию вступительной статье Р. Сементковского. Михайловский заявил, что, по его мнению, Лескова никак нельзя ставить в один ряд с классиками русской литературы второй половины XIX века. Огонь своей критики Михайловский направил прежде всего на важнейшие особенности художественной манеры Лескова. В Лескове-художнике наиболее спорным Михайловскому представляется «безмерность», склонность писателя к чересчур острым ситуациям и лицам. По Михайловскому, «Лескова можно назвать «безмерным писателем» в смысле писателя, лишенного чувства меры». Эта чрезмерность «не свидетельствует о значительности художественных сил и наносит явный ущерб художественной правде». Михайловский обвиняет Лескова в отступлении от художественной правды, от реализма. «Чисто художественная» оценка явственно оборачивается общественно-политической. По мнению Михайловского — надо быть трезвее и спокойнее и воздавать каждому в меру им заслуженного, а не кричать о контрастах, о противоре-

чиях — как в оценке людей, так и событий. «То же самое отсутствие чувства меры сказывается и в пристрастии Лескова к изображению, с одной стороны, «праведников» (он их иногда так и называет), а с другой — злодеев, превосходящих всякое вероятие. Из наших писателей, не то что первоклассных, а хоть сколько-нибудь заслуживающих памятной отметки в истории литературы, не найдется ни одного, который бы так неумеренно возвеличивал своих любимцев и всячески пригнетал своих пасынков. Здесь эстетическая «безмерность» переходит уже в ту свою параллель в нравственной области, которая называется отсутствием справедливости».

Однако настаивать на том, что «отсутствие справедливости», вменяемое в вину Лескову, носит характер общественно-политический, критик не решается: ведь слишком памятны еще читателю-современнику последние вещи Лескова, их общая, резко критическая по отношению к российской действительности окраска. Критик же хочет выглядеть в глазах читателя объективным и беспристрастным. Поэтому он ограничивается следующей глухой фразой: «Природная безмерность окрыляется политическою озлобленностью, вследствие чего образы и картины получают характер чудовищно фантастический». Критик ставит себя в положение защитника передового наследия 60-х годов, но прямо свою мысль не высказывает и ограничивается уничижительным в эстетическом плане итогом: «Лесков есть по преимуществу рассказчик анекдотов».

Истинный смысл требований, предъявляемых Михайловским, раскрывается только в контексте всей его статьи. Дело в том, что рецензия на собрание сочинений Лескова представляет собой первую главу литературного обозрения, во второй части которого разбирается рассказ Чехова «Мужики». Здесь уже критик целиком сосредоточивает свое внимание на общественном смысле созданных писателем образов и картин: он обвиняет и Чехова в «преувеличениях», в «чрезмерности», в «несправедливости» при изображении им русской пореформенной деревни, деревни конца века. Критик уверяет читателя, что все обстоит в деревне совсем не так мрачно, как кажется Чехову, который будто бы чересчур сгустил краски при изображении социальных контрастов современной деревни. Ему не нравятся в Чехове «чрезмерности» в раскрытии социальных противоречий, в показе их остроты, их неразрешимости в пределах существующих условий. То, что Чехов не склонен сглаживать общественные противоречия, Михайловский называет отсутствием положительных начал в мировоззрении писателя. В сущности, критик зовет Чехова к либерально-народническому

смягчению социальных контрастов. Оценка Михайловским Чехова проясняет многое в его же оценке Лескова, в творчестве которого критик находит чрезмерность художественную. На деле речь в обоих случаях идет об одном и том же, хотя и с разных концов. Михайловского возмущает обнажение контрастов, противоречий, отсутствие «меры», «справедливости» и веры в «мирный прогресс».

Для обвинений в «безмерности», в «отсутствии справедливости» Лесков действительно давал на протяжении своего жизненного и творческого пути много поводов. Но Михайловский придает этой «безмерности» универсально-отрицательное значение, не желая видеть ее двойственного характера. Каждому читателю Лескова ясно, что Михайловский несправедлив по отношению к Лескову как художнику — автору «Леди Макбет Мценского уезда», «Воительницы» и «Соборян», автору «Человека на часах» и «Заячьего ремиза». В этих произведениях есть своя художественная законченность, своя особенная художественная мера, которая, разумеется, была у Лескова, как и у любого большого писателя, своей, только ему присущей «мерой».

К сожалению, случилось так, что на протяжении десятилетий многие историки литературы и критики, сталкиваясь у Лескова с этими явными нарушениями «меры» (часто в вопросах, которые в исторической перспективе уже звучат как второстепенные), продолжали, подобно Михайловскому, не видеть положительной стороны свойственной Лескову «безмерности», которая позволила ему отразить многие противоречия русской жизни с неприемлемой ни для либерально-народнического, ни для консервативного лагерей русского общества остротой и художественной глубиной. Современников Лескова задевали многие явные несправедливости, в которые он впадал, откликаясь на события текущей жизни, крайности, до которых он доходил в их оценке, чрезмерности, от которых ему не всегда удавалось удержаться. Эти особенности лесковской манеры иногда действовали на восприятие современников настолько сильно, что мешали им увидеть объективное содержание лучших произведений писателя.

Для неприятия Лескова представителями разных общественных лагерей были свои, каждый раз особые, но отнюдь не случайные обстоятельства. Лесков жил в очень сложную эпоху и шел чрезвычайно сложными общественными и художественными путями. Это объясняет борьбу вокруг его творчества; это объясняет и попытки замалчивания и принижения Лескова, о которых так резко говорил Горький. Нисколько не оправдывавший «крайности» и грубые ошибки Лескова, приведшие его на время в реакционный

лагерь, Горький указывает на то обстоятельство, что в «Некуда» «интеллигенция шестидесятых годов была изображена довольно злостно», что это — «книга, прежде всего плохо написанная, в ней всюду чувствуется, что автор слишком мало знает людей, о которых говорит». По поводу романа «На ножах» Горький говорит, что это — «во всех отношениях скверный роман»: «в этом романе нигилисты изображены еще хуже, чем в «Некуда», — до смешного мрачно, неумно, бессильно, — точно Лесков хотел доказать, что иногда злоба бывает еще более жалкой и нищей духом, чем глупость». Однако историческую роль Лескова как художника Горький усматривал не в этих его крайностях и ошибках, а в стремлении многосторонне и реалистически правдиво показать страну, «где люди всех классов и сословий умеют быть одинаково несчастными», то есть страну, где для всех классов и сословий характерны процессы распада старых социальных связей и формирования новых. В связи с изображением «новых людей» Лесковым Горький утверждал, что трезвый ум писателя «хорошо понимал, что прошлое — горб каждого из нас» и что необходимо «сбросить со своих плеч тяжелое бремя истории». Иначе говоря, по Горькому выходило так, что и «новые люди» и Лесков по-разному характерны для одного и того же круга общественных явлений, для одной исторической почвы. Именно из трезвого осознания писателем распада старых социальных связей, считает Горький, рождается стремление Лескова найти «праведников», появляются в его творчестве «маленькие великие люди, веселые великомученики любви своей ради». Но своих «праведников», по мысли Горького, Лесков ищет не там, где их искала народническая литература, он чужд «идольской литургии мужику», он ищет праведников среди «всех классов и сословий». Поэтому «Лесков сумел не понравиться всем: молодежь не испытывала от него привычных ей толчков «в народ», — напротив, в печальном рассказе «Овцебык» чувствовалось предупреждение: «не зная броду, не суйся в воду»; зрелые люди не находили у него «гражданских идей, выраженных достаточно ярко, революционная интеллигенция все еще не могла забыть романы «Некуда» и «На ножах». Вышло так, что писатель, открывший праведника в каждом сословии, во всех группах, никому не понравился и остался в стороне, в подозрении». Подход Горького к творчеству Лескова сложен, проникнут исторической диалектикой. Горький видит слабые стороны Лескова и резко порицает их, но он видит их в органической связи с положительными сторонами, и поэтому, не смущаясь крайностями реакционных выходок Лескова и резко осуждая их, в стремлении писателя познать и художественно воспроизвести

«Русь, всю, какова она есть», в «широте охвата явлений жизни, глубине понимания бытовых загадок ее» он находит глубоко демократическую подоснову творчества Лескова.

Когда передовая печать оказалась закрытой для Лескова, он стал сотрудничать в таких консервативных журналах, как «Русский вестник» Каткова, как «Русский мир», «Гражданин» и пр. Но очень скоро он почувствовал себя и здесь совершенно чужим, хотя, конечно, на некоторое время и в некоторых отношениях подпал под влияние реакционных идей и настроений. В 1875 году он уже пишет о Каткове как о человеке «вредном для нашей художественной литературы», как об «убийце родной литературы». Впоследствии (в письме к М. А. Протопопову, 1891 г.) он так рассказывает об этом грустном периоде: «Катков имел на меня большое влияние, но он же первый во время печатания «Захудалого рода» сказал Воскобойникову: «Мы ошибаемся: этот человек *не наш*». Мы разошлись (на взгляде на дворянство), и я не стал дописывать роман. Разошлись вежливо, но твердо и навсегда, и он тогда опять сказал: «Жалеть нечего — *он совсем не наш*». Он был прав, но я не знал, чей я?.. Я блуждал и воротился и стал *сам собою* — тем, что я есмь... Я просто заблуждался — не понимал, иногда подчиняясь влиянию, и вообще — не прочел хорошо евангелия». Характерно для этой поздней, итоговой оценки своих идейных блужданий настойчивое противопоставление своих путей общественной реакции, и не менее характерен вывод: оказывается, все дело было в недостаточно внимательном чтении евангелия, то есть в недостаточной сосредоточенности на вопросах нравственного совершенствования личности. Слабые стороны исторического развития Лескова выступают в этой самооценке с большой силой, но наиболее четко выражен именно *стихийный* характер этих поисков. Несомненно, во всем контексте этого окрашенного в печальные тона признания наиболее выразительна, действенна и весома вопросительная фраза: «я не знал, чей я?» Грустная же окраска, вероятно, во многом вызвана горестным недовольством старого уже писателя «крайностями» и «чрезмерностями» своих собственных реакционных выходок. По свидетельству М. П. Чехова, брата писателя, Лесков советовал молодому А. П. Чехову (преемственную связь работы которого со своей собственной художественной деятельностью Лесков, несомненно, ощущал достаточно отчетливо): «Вы молодой писатель, а я уже старый. Пишите одно только хорошее, честное и доброе, чтобы вам не пришлось раскаиваться так, как мне».

Нахождение мнимого «выхода» из распада старых социальных связей в «нравственном самосовершенствовании» характерно уже

для Лескова эпохи его полемики с народниками. Быть может, наиболее резко эта полемика выражена в книге Лескова «Загадочный человек» (1870). Это биография Артура Бенни — того самого революционного деятеля, которого Лесков изобразил под именем Райнера в романе «Некуда». Защищая Бенни от несправедливых подозрений в шпионстве, Лесков вместе с тем защищал и себя от обвинений в реакционности. Бенни и Нечипоренко «идут в народ» — и обнаруживается полное незнание жизни, быта, горестей и радостей, всех обычаев и навыков обихода простых людей «теоретиками». Далее о Бенни в книге Лескова говорится следующее: «В тюрьме, во время своего заключения, Бенни от скуки читал очень много русских книг и между прочим прочел всего Гоголя. По прочтении «Мертвых душ» он, возвращая эту книгу тому, кто ему ее доставил, сказал: «Представьте, что только теперь, когда меня выгоняют из России, я вижу, что я никогда не знал ее. Мне говорили, что нужно ее изучить то так, то этак, и всегда из всех этих разговоров выходил только один вздор. Мои несчастия произошли просто оттого, что я не прочитал в свое время «Мертвых душ». Если бы я это сделал хотя не в Лондоне, а в Москве, то я бы первый считал обязательством чести доказывать, что в России никогда не может быть такой революции, о которой мечтает Герцен». Для самого Лескова «Мертвые души» были одной из основных, опорных книг, своего рода «русским евангелием». Лесков стремится как бы продолжить поиски Гоголя, пойти далее того, на чем остановился Гоголь. Не менее резко, чем Гоголь, оценивая русскую дореформенную действительность, Лесков, как и Гоголь, исправления реальных зол ищет в совершенствовании личности, в ее нравственном обогащении и перевооружении. Это — тот вывод, который Лесков делает из своего познания русской жизни, из своих идейных поисков и метаний. Художественная практика Лескова в 70—80-х годах, как и ранее, оказывается на деле гораздо более широкой, противоречивой, сложной и демократичной, чем можно было бы предположить, учитывая только этот вывод. В художественной же практике Лескова этого периода центральной проблемой оказывается проблема «положительного героя», «праведника».

Было бы наивно ограничивать эту тему в творческих исканиях писателя только книгой «Праведники», которую Лесков в конце жизни несколько искусственно сконструировал из рассказов примерно за пятнадцать лет своей жизни, предпослав ей даже специальное предисловие. Тема «праведника» в творчестве Лескова выходит за пределы этой книги, истоки ее — в самых ранних

художественных произведениях Лескова, и тянется она, разнообразно преломляясь, вплоть до конца жизни писателя. Резко и отчетливо эта тема выразилась в «Соборянах» (1872), за которыми последовали «Запечатленный ангел» (1873) и «Очарованный странник» (1873). Своих положительных героев Лесков ищет совсем не там, где их искали Гоголь, а позднее — Достоевский или Тургенев, он ищет их в разных слоях народа, в русском захолустье, в той разнообразной социальной среде, знание жизни и внимание к которой, умение проникнуться интересами и нуждами которой свидетельствуют о глубоко демократической направленности творческих поисков Лескова.

Сначала, под явным влиянием реакционных идей Каткова, он обратился к жизни захолустного русского духовенства: так возник замысел «Божедомов», из которого получились «Соборяне» с протоиереем Туберозовым в центре. Понятно в связи со всем сказанным выше, что крайней противоречивостью отмечена общая идейно-художественная концепция «Соборян» — этой, по определению Горького, «великолепной книги». В центре повествования стоит совершенно неожиданный герой — старый провинциальный русский священник Савелий Туберозов. Старый протопоп характеризуется чертами, обычными для ряда героев Лескова. С одной стороны, есть в нем особенности, прочно связанные с определенной бытовой средой, он подчеркнуто «сословен», как это всегда бывает у Лескова, его жизненный путь, его навыки, обычаи нигде, кроме среды российского духовенства, немыслимы. Бытовое начало, очень четко и многосторонне обрисованное, является здесь и ключом к человеческой личности, к психологии, к особенностям душевной жизни — в этом смысле принципы конструирования характера решительно ничем не отличаются от тех, которые мы видели в «Житии одной бабы» или в «Леди Макбет Мценского уезда». Вместе с тем Савелий Туберозов в не меньшей степени, чем другие герои Лескова, представляется «выломившимся» из своей среды. Старый протопоп — белая ворона в кругу типических для духовной среды людей и нравов, об этом читатель узнает с первых же страниц его «жития». Он ведет себя совсем не так, как полагается вести себя рядовому, обычному русскому священнику, и притом делает это буквально с первых же шагов своей деятельности. Он — человек, «выломившийся» с самого же вступления в активную жизнь сословия. Причудливое сочетание типически бытового рисунка личности с буйством, с непокладистостью резко отличает построение характера Туберозова от Насти или Катерины Измайловой, построенных по одной схеме при всем несходстве этих характеров. Это

существенное отличие демонстрируется отдельной вставной новеллой — «демикотоновой книгой», высокие художественные качества которой особо отмечал Горький. «Демикотоновая книга» — это дневник старика Туберозова за тридцать лет его дореформенной жизни (в книге действие происходит в 60-е годы). Вся «демикотоновая книга» наполнена вариантами одного жизненного сюжета — беспрерывных столкновений Туберозова с церковными и отчасти гражданскими властями. Туберозов представляет себе свою деятельность как гражданское и нравственное служение обществу и людям. С ужасом убеждается протопоп в том, что совершенно иначе оценивает свои функции сама церковь. Церковная администрация представлена насквозь омертвевшей бюрократической организацией, превыше всего добивающейся внешнего выполнения закостенелых и внутренне бессмысленных обрядов и правил. Столкновение живого человека и мертвого сословного ритуала — вот тема «демикотоновой» книги. Протопоп получает, скажем, солидный служебный «нагоняй» за то, что он осмелился в одной из своих проповедей представить в качестве примера для подражания старика Константина Пизонского, человека, являющего своей жизнью образец действенного человеколюбия. Официальная церковь интересуется всем, чем угодно, кроме того, что Туберозову кажется самой сутью христианства, она придирчиво следит за выполнением мертвого ритуала и жестоко карает своего служителя, осмеливающегося смотреть на себя как на работника, приставленного к живому делу. Все происходящее в «демикотоновой книге» не случайно отнесено в основном к дореформенной эпохе. Лесков наводит на мысль о том, что к эпохе реформ в среде духовенства обозначились те же признаки внутреннего распада, что и в других сословиях — купечестве, крестьянстве и т. д.

В пореформенную эпоху, в 60-е годы драма «выломившегося» протопопа перерастает в подлинную трагедию, кульминация и развязка которой переданы Лесковым с огромной художественной силой. Все более и более буйным становится строптивый протопоп по мере обострения социальных противоречий в стране. Преследуемый и церковными и гражданскими властями, старый священник решается на необычайный по дерзости (для данной социальной среды, разумеется) шаг: он сзывает в церковь в один из официально-служебных дней все чиновничество провинциального города и духовно «посрамляет мытарей»: произносит проповедь, в которой обвиняет чиновников во внешне-служебном, казенном отношении к религии, в «наемничьей молитве», которая «церкви противна». По мысли Туберозова, жизнь и ежедневные дела собравшихся в церкви

чиновников обнаруживают, что эта «наемничья молитва» не случайна — в самой их жизни нет ни капли того «христианского идеала», которому служит сам Туберозов. Поэтому — «довлело бы мне взять вервие и выгнать им вон торгующих ныне в храме сем». Естественно, что после этого на Туберозова обрушиваются и церковные и гражданские кары. «Не хлопочи: жизнь уже кончена, начинается житие», — так прощается со своей протопопицей увозимый для наказания в губернский город Туберозов. Общественные, межсословные нормы бюрократического государства обрушивались в кульминации на Настю и на Катерину Измайлову. Кульминацию «Соборян» составляет вызов, брошенный Туберозовым общественным и межсословным отношениям. Особенно явственно в этих частях книги выступает литературная аналогия, настойчиво проводимая Лесковым и отнюдь не случайная для общей концепции «Соборян»: буйный старгородский протоиерей отчетливо напоминает центрального героя гениального «Жития протопопа Аввакума».

Существенно важно для понимания общей противоречивости идейной и художественной структуры «Соборян» то обстоятельство, что врагами неистового правдолюбца Туберозова оказываются не только духовные и светские чиновники, представляющие административный аппарат самодержавно-крепостнического государства, но и бывшие «нигилисты». Более того: бывшие «нигилисты» действуют в книге сообща, в союзе с чиновниками в рясах и вицмундирах. Так же как и в романах «Некуда» и особенно «На ножах», Лесков показывает не передовых людей 60-х годов, а своекорыстную и анархиствующую человеческую накипь, которая живет по принципу «все позволено» и которая не стесняется в средствах ради достижения своих мелких целей. Здесь, в изображении козней чиновников Термосесова и Борноволокова, которых Лесков настойчиво стремится выдать за бывших представителей передового общественного движения эпохи, Лесков допускает грубый выпад против прогрессивных общественных кругов.

Ошибка эта связана с общей противоречивостью идейного состава «Соборян». Лесков не считает бунт протопопа Туберозова явлением случайным и частным: в этом бунте, по мысли писателя, отражается общий кризис крепостнического строя и распад старых сословно-классовых связей. В применении к Туберозову не случайно в книге настойчиво употребляется слово «гражданин», сам непокорный церковнослужитель свое неистовое буйство осмысляет как акт гражданского служения, выполнение общественного долга, который возникает перед каждым человеком любой сословной группы в новых исторических условиях. Особая острота борьбы Туберозова

с Термосесовыми, Борноволоковыми и Препотенскими, по мысли протопопа и самого автора, состоит в том, что «это уже плод от чресл твоих возрастает», как выражается Туберозов, или, иначе говоря, действия Борноволоковых и Термосесовых представляются Лескову одной из форм общественного кризиса, который выражался и в дореформенной деятельности людей типа самого Туберозова. Туберозов и Борноволоковы борются на одной исторической почве, разный способ их действий имеет одну и ту же общественную предпосылку — исторический кризис крепостничества.

Омертвению и распаду старых общественных форм, крайностям «нигилизма» Туберозов противопоставляет идею духовной самобытности национального развития. Согласно его мысли, особая трудность положения в пореформенную эпоху состоит именно в поисках самобытных путей национального развития: «иносказательная красавица наша, наружная цивилизация, досталась нам просто; но теперь, когда нужно знакомиться с красавицей иною, когда нужна духовная самостоятельность... и сия красавица сидит насупротив у своего окна, как мы ее достанем?» Самобытные пути национального развития, по Лескову, предполагают чувство единства и органичности национальной истории. Одним из центральных эпизодов «Соборян» является эпизод с «плодомасовскими карликами», рассказ дворового человека, карлика Николая Афанасьевича о своей жизни у боярыни Плодомасовой. Боярыня Плодомасова дается Лесковым как оригинальный, цельный характер крепостнической эпохи. Она и умна, и смела, и даже по-своему добра. Она хорошо относилась к своему дворовому карлику, но он никогда не был для нее человеком, личностью. Она готова женить его для своей потехи, приходит в неистовство, когда это не удается, она осыпает его благодеяниями, но ей никогда не приходит в голову то, что карлик — не орудие ее потехи или ее благодеяний, а самостоятельная личность, со своей собственной и довольно сложной душевной жизнью. Оригинальность лесковского построения здесь в том, что карлик бунтует в тот самый момент, когда он, казалось бы, находится на вершине благополучия: боярыня освободила «от крепости» всю его семью и всячески облагодетельствовала его самого. Даже до кроткого, смиренного карлика доходит то, что сами эти благодеяния — форма произвола, своеобразная прихоть, и что сам он как личность, как человек — в соображение не принимается. Плодомасова раздавила, предельно оскорбила карлика благодеяниями, вызванными прихотью, произволом, принявшим форму «добра». Обезумевший карлик кричит в лицо своей благодетельнице: «Ты! Так это все ты, жестокая, стало быть, совсем

хочешь раздавить меня благостию своей!» Позднее, уже после смерти Плодомасовой, карлик с умилением вспоминает о своей «благодетельнице», и чем больше он умиляется, тем страшнее читателю. Оскорбленное человеческое достоинство только на минуту прорвалось гневом, дальше пошла идиллия. Умиление карлика — форма обесчеловеченности человека. Далее в идейной концепции книги происходит своеобразный и очень резкий перелом: оказывается, главной проблемой в борьбе с крепостничеством является проблема личности, личного достоинства. Личное достоинство обретается только в осознанном единстве, связи с национальным историческим развитием. Протопоп Туберозов делает следующие выводы из рассказанного карликом: «Да, вот заметьте себе, много, много в этом скудости, а мне от этого пахнуло русским духом. Я вспомнил эту старуху, и стало таково и бодро, и приятно, и это бережи моей отрадная награда. Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старой сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!» Чисто личные отношения, чисто личный конфликт между крепостником и рабом — это и есть одна из форм «старой сказки». Конфликт находит разрешение в нравственной сфере. И в современных условиях необходимо опираться в своей борьбе на «старую сказку», на национальную самобытность развития, которая является источником своеобразия личности, источником ее морального совершенства. Протопоп Туберозов в своем бунте против бюрократически оцепенелых форм казенной церкви и омертвевшей государственности опирается на протопопа Аввакума, на «старую сказку», на вырабатываемые в процессе национального развития «вечные» нравственные нормы. Его бунт — это бунт личности, яркой, красочной и самобытной, против омертвевших общественных норм. Проблематику национальную и моральную Лесков противопоставляет проблематике социальной — в этом источник крайней идейной противоречивости «Соборян». Этим же объясняется и наличие реакционных выпадов против передового общественного лагеря на страницах книги.

Самые впечатляющие страницы «Соборян» — это рассказ о трагической гибели буйного протопопа, естественно оказавшегося бессильным в своей одинокой борьбе с церковной и полицейской бюрократией. Соратником Туберозова в этой борьбе становится дьякон Ахилла Десницын, которому оказалось «тяжело нашу сонную дрему весть, когда в нем в одном тысяча жизней горит». Дьякон Ахилла не случайно поставлен в книге рядом с трагически сосредоточенным в себе «праведником» Туберозовым. Дьякон Ахилла только по недоразумению носит рясу и имеет в ней необыкновенно

комический вид. Превыше всего он ценит дикую верховую езду в степи и даже пытается завести себе шпоры. Но этот человек, живущий непосредственной, бездумной жизнью, при всей своей простодушной красочности, тоже «уязвлен» поисками «праведности» и «правды» и, как сам протопоп, не остановится ни перед чем в служении этой правде. Дьякон Ахилла всем своим обликом и поведением в не меньшей степени, чем Туберозов, свидетельствует о разрушении старых сословных бытовых и нравственных норм в новую эпоху. Комическая эпопея поездки Ахиллы в Петербург отнюдь не комична по своему смыслу: это эпопея поисков правды. Ахилла и Туберозов, по замыслу Лескова, представляют собой разные грани единого в своих основах национального русского характера. Трагедия протопопа — в его непримиримости. Даже после антицерковной проповеди в храме дело могло легко уладиться. Церковная и светская бюрократия настолько прогнили в самом своем существе, что им важнее всего декорум порядка. Протопопу достаточно было принести покаяние, и дело было бы прекращено. Но «выломившийся» из своей среды протопоп покаяния не приносит, и даже гибель протопопицы не вынуждает его к раскаянию. Ходатайства карлика Николая Афанасьевича приводят к тому, что Туберозова отпустили домой, но он все-таки вплоть до смертного мига не кается. В финале не случайно столкнулись фигуры плодомасовского карлика и неистового протопопа — они представляют, по Лескову, разные этапы русской жизни. При выходе из своей среды в мир межсословных отношений Настя и Катерина Измайлова оказались жертвами обрушившегося на них строя. Туберозов до конца держит свою судьбу в своих руках и ни с чем не примиряется. Композиционно книга построена иначе, чем ранние вещи Лескова. Больше всего разработана тема бунта Туберозова, тема межсословных отношений, в пределах которой наиболее отчетливо выступает яркий, непреклонный, непримиримый характер героя. После смерти Туберозова яростный бой за его память ведет дьякон Ахилла способами, свойственными его личности, ведет как достойный наследник удалой Запорожской сечи, и в этом бою тоже наиболее рельефно выявляется его национально-своеобразный характер, как характер «праведника» и «правдоискателя». В своих итогах «великолепная книга» оказывается книгой раздумья над особенностями и своеобычностью национального характера.

По-иному решается тема «праведника» в вещах, последовавших за «Соборянами». Все больше и больше отходит Лесков от идеализации «старой сказки», все более и более углубляется его критическое отношение к действительности, и, соответственно этому,

и «праведников» писатель ищет в иной среде. В «Запечатленном ангеле» (1873) героями оказываются уже старообрядцы, ведущие борьбу с православием, но кончается повесть их переходом в лоно православной церкви. Это было явной натяжкой. В 1875 году Лесков сообщил из-за границы своему приятелю, что он сделался «перевертнем» и уже не жжет фимиама многим старым богам: «Более всего разладил с церковностью, по вопросам которой всласть начитался вещей, в Россию недопускаемых... Скажу лишь одно, что прочитай я все, что теперь по этому предмету прочитал, и выслушай то, что услышал, — я не написал бы «Соборян» так, как они написаны... Зато меня подергивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободного *духовного христианина»*. Здесь же он сообщает, что по отношению к Каткову чувствует то, «чего не может не чувствовать литературный человек к убийце родной литературы».

Что касается «Запечатленного ангела», то Лесков сам признавался потом, что конец повести был «приделан» под влиянием Каткова и не соответствовал действительности. Более того, в заключительной главе «Печерских антиков» Лесков заявил, что на самом деле никакой иконы старовер не крал и по цепям через Днепр не переносил: «А было действительно только следующее: однажды, когда цепи были уже натянуты, один калужский каменщик, по уполномочию от товарищей, сходил во время пасхальной заутрени с киевского берега на черниговский *по цепям,* но не за иконою, а *за водкою,* которая на той стороне Днепра продавалась тогда много дешевле. Налив бочонок водки, отважный ходок повесил его себе на шею и, имея в руках шест, который служил ему балансом, благополучно вернулся на киевский берег с своею корчемною ношею, которая и была здесь распита во славу св. пасхи. Отважный переход по цепям действительно послужил мне *темою* для изображения отчаянной русской удали, но цель действия и вообще вся история «Запечатленного ангела», конечно, иная, и она мною просто вымышлена». Итак, за «иконописным» сюжетом стоит совсем иной сюжет — озорного характера. Сочетание такого рода противоположностей характерно для Лескова: рядом с иконописью — любовь к лубку, к народным картинкам, к проявлениям настоящей русской удали. Описывая свою жизнь в Киеве, он рассказывает: «Я жил в Киеве в очень многолюдном месте между двумя храмами — Михайловским и Софийским, и тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы

и качели». Это сочетание отмечено и подчеркнуто Лесковым недаром; оно сказывается во всем его творчестве, в том числе и в «Соборянах»: не случайно, как мы видели, там рядом с Туберозовым стоит могучий богатырь Ахилла.

Так постепенно совершался «трудный рост» Лескова. В 1894 году он писал Толстому, что теперь не мог бы и не стал бы писать ничего вроде «Соборян» или «Запечатленного ангела», а охотно написал бы «Записки расстриги»; «но этого в нашем отечестве напечатать нельзя», — прибавил он.

Особенно важна для понимания смысла и дальнейшего движения темы «праведника» в творчестве Лескова повесть «Очарованный странник» (1873). Здесь Лесков уже отходит от церковной темы: черноземный богатырь Иван Северьяныч Флягин, видом своим похожий на Илью Муромца, знаток лошадей, «несмертельный» авантюрист, становится монахом-черноризцем только после тысячи приключений, когда ему уже «деться было некуда». Особым и глубоким смыслом наполнен длительный и кажущийся на первый взгляд почти бессвязным — до того разнообразны и даже ни с чем порой несообразны перипетии этой человеческой судьбы — рассказ о странствиях по жизни Ивана Флягина. Исходная точка этих странствий — крепостное, дворовое положение героя. Оно освещено особым, чисто лесковским образом. За нагнетением странных предзнаменований, примет таинственной «судьбы», нависшей над будущим странником, читатель видит горькую правду крепостнических отношений. Иван Флягин ценой безмерной самоотверженности спас жизнь своему барину, но его можно нещадно высечь из-за того, что он не угодил хозяйкиной кошке. На этой теме — теме оскорбленного личного достоинства — Лесков не особенно настаивает, потому что его в этом случае интересует другое, его интересует дальнейшее углубление и развитие этой же темы. Важнее всего то, что в сознании Ивана Флягина нет никакой опорной точки, никакой нити, связующей отдельные проявления его личности. Неизвестно, как он поступит в том или ином случае — он может поступить и так, и совсем иначе. Внутренняя размытость норм сословной жизни здесь сказывается отсутствием нравственных и вообще каких-либо иных критериев душевной жизни. Случайность — таков главный признак «душевного хозяйства» Ивана Флягина в начале его странствий. Вот один из эпизодов начала странствий Ивана Флягина. Иван стережет и нянчит чиновничье дитя, мать которого ушла от мужа к некоему офицеру. Мать хотела бы увести с собой ребенка, Иван не поддается никаким уговорам и не льстится ни на какие посулы. Дело происходит на морском берегу, и вдруг Иван заме-

чает, что «по степи легкий улан идет». Это офицер идет на помощь своей возлюбленной. Единственная мысль, которая возникает у Ивана, — «вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть», «бог даст, в свое удовольствие подеремся». И Иван действительно провоцирует наглейшим образом драку. Но когда появляется чиновник, отец ребенка, с пистолетом, направленным на соперника, Иван хватает ребенка в охапку, нагоняет только что смертельно им оскорбленного офицера и его возлюбленную и удирает с ними. Это — не заговоривший вдруг голос совести, а чистая и, так сказать, последовательная и беспредельная случайность, как единственная норма внутренней жизни. Именно это полное безразличие и к добру и к злу, отсутствие внутренних критериев и гонит странника по миру. Случайность внешних перипетий его судьбы органически связана с особенностями внутреннего мира странника. Сам же такой тип сознания создан распадом старых общественных связей.

Эпопея странника есть вместе с тем (и это главная ее тема) поиски новых связей, поиски высоких нравственных норм. В результате «хождения по мукам», странничества, Иван Флягин обретает эти высокие нравственные нормы. Важно то, как он находит их. Кульминация духовной драмы странника — его встреча с цыганкой Грушей. Этой встрече предшествует крайняя степень духовной пустоты, выражающаяся в бессмысленных и диких запоях. Случайно встреченного в трактире человека из «благородных», деклассированного дворянина-босяка, Иван Флягин просит избавить его от этой немочи, и тот его избавляет (сюжет «Очарованного странника» вообще отмечен чертами сказочного эпоса). Пьянчужка-«магнетизер» и выговаривает словами смысл происходящего с Флягиным. Его запой, так же как и падение самого «магнетизера», — следствие опустошенности и потери старых общественных связей. Как рассказывает странник, «магнетизер» «пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил». Флягин самоотверженно, с бесконечной готовностью служить другому человеку, влюбился в цыганку Грушу. В другом человеке, в бесконечном к нему уважении, преклонении перед ним нашел странник первые нити связей с миром, нашел в высокой страсти, начисто свободной от эгоистической исключительности, и свою личность, высокую ценность своей собственной человеческой индивидуальности. Отсюда — прямой путь к любви, еще более широкой и всеобъемлющей, — любви к народу, к родине. Эпопея «хождения по мукам» оказалась драмой поисков путей служения родине. В монастырь странник попал не по призванию, религиозному фанатизму, не потому, что так

судила сказочная «судьба». Он попал туда потому, что «деться было некуда» выломившемуся из своей среды человеку. Он ведет речи, совершенно несвойственные монаху: «Начитываю в газетах, что постоянно и у нас и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается реченное: «егда рекут мир, нападает внезапу всегубительство», и я исполнился страхом за народ русский...» В конце повести Флягин сообщает слушателям, что собирается идти воевать: «Мне за народ очень помереть хочется». На вопрос: «как же вы: в клобуке и в рясе пойдете воевать?» — он спокойно отвечает: «нет-с; я тогда клобучек сниму, а амуничку надену». Это уже не столько «повесть», сколько эпос, имеющий сказочную основу: о герое-богатыре, которому смерть на роду не написана, несмотря на постоянные опасности. Отсюда — прямой ход к «Несмертельному Головану» и к дальнейшим «праведникам» Лескова, которые сильны тем, что, сами не подозревая этого, оказываются носителями высоких нравственных качеств. Именно они, с точки зрения Лескова, являются создателями русской жизни и истории, и именно поэтому сам писатель с такой энергией и с такой страстью «перебирает людишек», чтобы найти среди них опору для будущего.

Таким образом, тема «праведника» в творчестве Лескова в целом чрезвычайно значима. В ней, в этой теме, выражено стремление писателя найти в эпоху распада старых общественных связей новые нормы поведения, нравственности, и шире — нового национального самоопределения. И с этой точки зрения чрезвычайно важно и показательно движение, развитие, изменение этой темы в художественной работе Лескова. Все более и более явственно отпадает от образа «праведника» консервативная ограниченность, на время заслонившая от Лескова социальное значение поисков положительного героя. Эта консервативная ограниченность в целом ряде случаев определяла иконописно-стилизованное решение темы «праведника», идеализацию «смирения» и «покорности», граничившую подчас в художественном плане (особенно это заметно в излюбленном одно время Лесковым жанре «житий») со слащавостью. С этой точки зрения — уже смена протоиерея Туберозова странником Иваном Флягиным достаточно явно обнаруживает сдвиги в творческом сознании писателя. Для дальнейшего движения темы важнее всего то, что «праведничество» у Лескова все больше демократизируется. Писатель стремится найти «праведника» в «выломившемся» человеке любого сословия, преодолевающем ограниченность сословных норм, — об этом хорошо писал М. Горький, считавший особым достоинством Лескова подобное решение проблемы.

Принципиально важно для демократических тенденций Лескова то обстоятельство, что «праведничество» связывается в представлении писателя с творческим отношением простого русского человека к труду, со своеобразным «артистизмом» в труде. Уже Иван Флягин характеризовался как человек-артист; правда, возникал вопрос об этой особенности характера в плане общего отношения героя к жизни, общих особенностей его места и поведения в жизни. Отсюда — тема «очарованности», «легкого», артистического отношения к жизни. Эта сторона лесковской постановки темы сохраняется и в вещах, специально демонстрирующих трудовую удаль, размах и артистичность простого русского человека. В этом отношении очень типичен для Лескова его «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» (1881). Трудовая виртуозность здесь становится подлинным художеством, артистичностью. Но не без горечи (а может быть, вернее сказать, — горькой иронии) Лесков подчеркивает в этой виртуозной трудовой умелости черты чудачества, почти что эксцентрики. Результат чудодейственного трудового мастерства вполне бесполезен, и, ярчайшим образом демонстрируя творческие возможности, творческую фантазию, артистическую умелость простого русского человека в труде, сюжет лесковского произведения показывает в то же время, как неумно, нерационально, бессмысленно используется при существующем социальном строе животворный родник народной талантливости. Сюжет, представлявшийся на первый взгляд «чудаческим», «эксцентрическим», начинает играть яркими социальными красками. Но и само «чудачество» тут — не случайная краска. Оно ведь тоже выражает ту же социальную тему, относится к тем «загадкам русского быта», великим мастером разгадывания которых считал Лескова Горький. Ведь чудаческую, эксцентрическую форму талантливость приобретает вполне закономерно, Лесков недаром так любит людей странных, необычных профессий («Штопальщик», 1882). В особенных условиях закостенелого, искусственно сохраняемого сословного быта крайние эксцентрические формы принимает и следование традиционным сословным нормам и «выламывание» из них. Лесковские «чудаки» и «эксцентрики» свидетельствуют о большом и разнообразном знании писателем русской жизни. Весело и увлекательно повествуется у Лескова о том, как изготовляется стальная блоха, читатель должен «заразиться» — и «заражается» веселым, артистическим отношением героев к своему делу. Но читателю вместе с тем должно стать горько в итоге повествования: рассказ о бессмысленно растраченном таланте по существу ведь трагичен. Лесковский «гротеск» наполнен тут глубоким социальным смыслом.

Движение Лескова «влево», насыщение его творчества критическими элементами по отношению к действительности самодержавной России очень отчетливо выступает в повествовании о тульском умельце. Поэтому в озорную по своей видимости историю органически включается столь существенная для Лескова национально-патриотическая тема, которая звучит здесь уже совершенно иначе, чем в вещах конца 60-х — начала 70-х годов. Левша, побывавший в Англии, просит перед смертью передать государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: «Пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся». Государю так и не передали этих слов, и рассказчик от себя добавляет: «А доведи они Левшины слова в свое время до государя — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот получился». Простой человек-умелец беспокоится об интересах страны, государства, народа — и равнодушие, безразличие характеризует представителей социальных верхов. «Сказ» имеет форму лубка, стилизации, но тема его очень серьезна. Национальная, патриотическая линия вещи решается уже совсем иначе, чем в «Соборянах». Там она давалась как «старая сказка», не дифференцировалась социально, противопоставлялась «нигилизму». Здесь она социально конкретизирована: социальные верхи относятся к общенародным национальным интересам пренебрежительно, социальные низы мыслят государственно и патриотически. Темы социальная и национальная уже не противостоят друг другу, они слились. Слияние достигнуто достаточно резко уже выраженным к 80-м годам критическим отношением к действительности.

В ином аспекте столь же резкое усиление критических тенденций и новое наполнение темы «праведности» сказывается в «Человеке на часах» (1887). Солдат Постников, стоявший на посту в дворцовом карауле (подчеркнуто то обстоятельство, что стояние это вполне бессмысленно), спас человека, тонувшего в Неве против дворца. Вокруг этого происшествия возникает необычайная бюрократическая свистопляска, в итоге которой медаль «За спасение утопающих» получает посторонний делу офицер-прощелыга, а настоящий спаситель наказан двумястами розог и очень доволен, что так легко выбрался из бюрократической машины, которая могла и вовсе его уничтожить. В разбор происшествия втянуты весьма высокопоставленные светские и духовные лица (среди них особой виртуозностью сатирической обработки отличается фигура известного реакционера, митрополита Филарета Дроздова), которые единодушно одобряют исход, ибо «наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу писания».

Тема «праведности» здесь обрастает резко сатирическим материалом, который, в свою очередь, решен чисто по-лесковски — простому человеку, совершившему подвиг добра без ожидания «наград за него где бы то ни было», нанесено огромное личное оскорбление, но он рад, ибо самодержавные порядки настолько ужасны, что «праведнику» следует радоваться уже и тому, что он ноги унес.

Тот особенный идейный подход к явлениям социальной жизни, который характерен для зрелого творчества Лескова, обусловливает оригинальный, своеобразный подход писателя к проблемам художественной формы. Горький видел важнейшую отличительную особенность Лескова — мастера формы — в принципах решения им проблемы поэтического языка. Горький писал: «Лесков — тоже волшебник слова, но он писал не пластически, а — рассказывая, и в этом искусстве не имеет себе равных. Его рассказ — одухотворенная песнь, простые, чисто великорусские слова, снизываясь одно с другими в затейливые строки, то задумчиво, то смешливо звонки, и всегда в них слышна трепетная любовь к людям, прикрыто нежная, почти женская; чистая любовь, она немножко стыдится себя самой. Люди его рассказов часто говорят сами о себе, но речь их так изумительно жива, так правдива и убедительна, что они встают перед вами столь же таинственно ощутимы, физически ясны, как люди из книг Л. Толстого и других, — иначе сказать, Лесков достигает того же результата, но другим приемом мастерства».

Лесков хочет, чтобы русский человек говорил сам о себе и за себя — и притом именно простой человек, который не смотрит на себя со стороны, как обычно автор смотрит на своих персонажей. Он хочет, чтобы читатель послушал самих этих людей, а для этого они должны говорить и рассказывать на своем языке, без вмешательства автора. Между героем и читателем не должно быть третьего, постороннего лица; если нужен особый рассказчик (как в «Левше»), то он должен быть из той же профессиональной или сословной среды, что и герой. Поэтому так характерны для его вещей особые вступления, или зачины, которые подготовляют дальнейшее повествование от лица рассказчика. «Запечатленный ангел» начинается беседой на постоялом дворе, куда поземная пурга занесла путников разных званий и занятий; из этой беседы возникает рассказ старообрядца в соответствующей ему манере. В «Очарованном страннике» вся первая глава представляет собой подготовку к дальнейшему рассказу богатыря-черноризца о том, как он «всю жизнь свою погибал и никак не мог погибнуть». Первое издание «Левши» открывалось особым предисловием (потом снятым), где Лесков сообщал, что он «записал эту легенду в Сестрорецке

по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку еще в царствование императора Александра Первого... Он охотно вспоминал старину, жил «по старой вере», читал божественные книги и разводил канареек». Как выяснилось из специального «литературного объяснения», понадобившегося в связи с разноречивыми толками о Левше, никакого такого рассказчика на самом деле не было, и всю легенду Лесков придумал сам; тем более характерно и знаменательно, что ему понадобился такой воображаемый рассказчик.

Лесков сам очень ясно и точно говорил об этой своей особенности, так отличавшей его произведения от господствовавших тогда жанров романа и повести: «Постановка голоса у писателя заключается в уменье овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с альтов на басы. В себе я старался развивать это уменье и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, мужики — по-мужицки, выскочки из них и скоморохи — с выкрутасами и т. д. От себя самого я говорю языком старинных сказов и церковно-народным в чисто литературной речи... Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений довольно трудно... Язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош. Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях... Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и произношению русских людей на разных ступенях их социального положения. Они все говорят у меня посвоему, а не по-литературному». В результате язык Лескова приобретал необыкновенную пестроту и часто казался современникам «вычурным», «чрезмерным». На самом деле в нем отражалась национальная и историческая сложность русской жизни, привлекавшая к себе главное внимание Лескова и очень важная для пореформенной эпохи, эпохи пересмотра и перестройки всех внутринациональных, социальных и международных отношений.

Особый лесковский «прием мастерства» сказывается, разумеется, не только в языке и обусловлен не только решением узко языковых проблем. Новая идейная функция героя из разных слоев народа заставляет Лескова по-новому решать проблемы композиции, сюжета, характера. Мы видели, как смело и по-своему решает Лесков вопросы композиции уже в ранних своих вещах. Чем более углубленным становится подход Лескова к волнующим его проблемам социальной и национальной жизни, тем смелее

и своеобразнее решает Лесков вопросы сюжета, композиции, характеров. Вещи Лескова часто ставят читателя в тупик при попытке определить их жанровую природу. Лесков часто стирает грань между газетной публицистической статьей, очерком, мемуаром и традиционными формами «высокой прозы» — повестью, рассказом. В этом есть свой особый идейный смысл. Лесков стремится создать иллюзию подлинного исторического существования людей, живущих в очень пестрой социальной среде, в резко сдвинувшихся исторических условиях. Лесков больше всего хочет убедить читателя в социально-исторической достоверности весьма порой причудливых лиц, «чудаковатость» которых обусловлена действительно процессами разлома старой русской жизни и складывания новых форм ее. Поэтому-то он так часто придает своим вещам форму мемуара, и особую функцию тут приобретает сам мемуарист. Он не просто свидетель того, о чем рассказывается, — он сам жил и живет в тех же причудливых, необычных социально-исторических условиях, что и те, о ком рассказывается, авторское *я* входит в круг героев не в качестве непосредственного участника сюжетных событий, а как бы в качестве лица, столь же исторически подлинного, как и сами герои. Автор тут — не литератор, обобщающий события, а «бывалый человек», литературный персонаж того же социального ряда, что и герои; в нем, в его сознании и поведении преломлена та же эпоха исторического перелома, что и в литературных героях в собственном смысле слова. Функция автора — убрать «литературные средостения» и ввести читателя прямо в пестроту самой жизни. Лесков создает свой особенный жанр литературы, и его работа в этом направлении очень помогла впоследствии Горькому, тоже стремившемуся писать не «роман» и не «повесть», а самую «жизнь». Традиционные же литературные жанры чаще всего плохо удаются Лескову. Как справедливо отмечал М. Горький, «Некуда» и «На ножах» — не только книги реакционного идейного содержания, но и книги плохо, банально написанные, плохие романы.

5

Общепризнанным является как в советском литературоведении, так и в старой публицистике и критике факт более или менее резкого изменения общественной позиции Лескова, изменения, отчетливо сказывающегося примерно с конца 70-х — начала 80-х годов и многообразно преломляющегося и в творческом и в жизненном пути писателя. В связи с этим особый общественный интерес имеют

некоторые биографические факты, относящиеся к этому последнему периоду жизни Лескова. Живший с самого начала литературного пути на журнальные заработки, материально малообеспеченный, Лесков был вынужден в течение многих лет состоять членом Ученого комитета министерства народного просвещения, несмотря на ряд унизительных подробностей прохождения по службе и мизерную оплату чрезвычайно трудоемкой подчас деятельности. Впрочем, для жадного к многообразным жизненным впечатлениям, любознательного к самым разным сторонам русской жизни Лескова эта служба имела и некоторый творческий интерес: наиболее заинтересовавший его ведомственный материал он иногда, подвергнув публицистической или художественной обработке, печатал. Вот эти-то публикации и вызвали неблагосклонное внимание таких столпов самодержавной реакции, как К. П. Победоносцев и Т. И. Филиппов. Освещение, которое Лесков придавал публикуемым им фактам, далеко не совпадало с намерениями и устремлениями правительственных верхов. Недовольство литературной деятельностью Лескова особенно усилилось в начале 1883 года, повидимому в связи с выступлениями Лескова по вопросам церковной жизни. Министру народного просвещения И. Д. Делянову было поручено «образумить» своевольного литератора в том смысле, чтобы Лесков сообразовал свою литературную деятельность с видами правительственной реакции. Лесков не поддался ни на какие уговоры и категорически отверг поползновения властей определять направление и характер его литературной работы. Возник вопрос об отставке. Дабы придать делу приличное бюрократическое обличье, Делянов просит Лескова подать прошение об увольнении. Писатель решительно отвергает и это предложение. Напуганный угрозой общественного скандала, растерянный министр спрашивает Лескова, зачем же ему нужно увольнение без прошения, на что Лесков отвечает: «Нужно! Хотя бы для некрологов: моего и... вашего». Изгнание Лескова со службы вызвало известный общественный резонанс.

Еще большее общественное значение, несомненно, имел скандал, разыгравшийся при издании Лесковым, уже в конце жизни, собрания сочинений. Предпринятое писателем в 1888 году издание десятитомного собрания сочинений имело для него двойное значение. Прежде всего оно должно было подвести итоги его тридцатилетнего творческого пути, пересмотра и переосмысления всего созданного им за эти долгие и бурные годы. С другой стороны, живший после отставки исключительно на литературные заработки, писатель хотел добиться известной материальной обеспеченности, для того чтобы сосредоточить все свое внимание на воплощении итого-

вых творческих замыслов. Издание было начато, и дело шло благополучно до шестого тома, в состав которого вошли хроника «Захудалый род» и ряд произведений, трактующих вопросы церковной жизни («Мелочи архиерейской жизни», «Епархиальный суд» и т. д.). На том был наложен арест, так как были усмотрены в его содержании антицерковные тенденции. Для Лескова это было огромным моральным ударом — возникла угроза краха всего издания. Ценой изъятия и замены неугодных цензуре вещей, после долгих мытарств, удалось спасти издание. (Изъятая цензурой часть тома впоследствии была, повидимому, сожжена.) Собрание сочинений имело успех и оправдало возлагавшиеся на него писателем надежды, но скандальная история с шестым томом дорого стоила писателю: в день, когда Лесков узнал об аресте книги, с ним впервые, по его собственному свидетельству, произошел припадок болезни, через несколько лет (21 февраля/5 марта 1895 г.) сведшей его в могилу.

Изменение литературно-общественной позиции Лескова в последний период его жизни известным образом характеризуется и кругом журналов, в которых он печатается. В его сотрудничестве заинтересованы журналы, которые ранее от него отворачивались. Сплошь и рядом его произведения оказываются даже чрезмерно резкими в своих критических тенденциях для либеральной прессы; некоторые художественно совершенные его создания по этой причине так и не увидели света до революции, в их числе такой шедевр лесковской прозы, как «Заячий ремиз».

Резкое усиление критических тенденций в последний период творчества Лескова особенно явственно сказывается в целой группе произведений, созданных им в конце жизни. К этому взлету прогрессивных устремлений непосредственно ведет ряд линий художественной работы Лескова 70—80-х годов, в особенности — сатирическая линия. Вследствие своеобразных качеств его стилистической (в широком смысле слова) манеры говорить о сатире как о четкой жанровой разновидности применительно к Лескову приходится с некоторой долей условности; элементы сатиры в той или иной мере присущи большинству вещей Лескова. И все же можно говорить о вещах собственно сатирических, как, например, повесть «Смех и горе» (1871). Повесть эта, при всей специфике ее жанровой окраски, многими чертами близка к «Очарованному страннику»: главной ее темой является тема случайностей в личной и социальной судьбе человека — случайностей, обусловленных общим укладом жизни. В «Очарованном страннике» тема эта решалась преимущественно в лирическом и трагическом аспекте: «Смех и горе» дают преимущество аспекту сатирическому. Некоторые исследователи творче-

ства Лескова приходят к выводу, что сатира в творчестве Лескова несколько смягчена и беззуба. Этот вывод можно сделать, только игнорируя специфику заданий Лескова-сатирика. Дело в том, что Лесков никогда не подвергает сатирическому осмеянию целый общественный институт, учреждение, социальную группу как целое. У него свой способ сатирического обобщения. Сатира Лескова строится на показе резкого несоответствия между омертвевшими канонами, нормами, установлениями того или иного общественного института и жизненными потребностями личности. Как и в лирико-эпических жанрах, проблема личности в сатирических опытах Лескова является центром всего идейного построения вещи.

Так, скажем, в «Железной воле» (1876) резкому сатирическому осмеянию подвергаются реакционные черты пруссачества: его колонизаторские тенденции, его убогая «мораль господ», его шовинистическое ничтожество. Но даже и здесь, в произведении, быть может, наиболее резко демонстрирующем сатирические возможности дарования Лескова, в центре повествования — то, чем оборачивается пруссачество для самого его носителя как личности. Чем больше жизнь бьет по тупым, деревянным принципам Пекторалиса, тем более упрямо и ожесточенно он отстаивает эти принципы. В конце концов обнаруживается полная душевная пустота героя: он не человек, а марионетка на привязи бессмысленных принципов.

Если не особенно вдумываться в смысл сатирического задания Лескова в «Мелочах архиерейской жизни» (1878), то эти очерковые на первый взгляд зарисовки могут показаться совсем безобидными. Может даже показаться странным то обстоятельство, что книга эта так взволновала высшую духовную иерархию и по распоряжению духовной цензуры была задержана выпуском и сожжена. Между тем, задание Лескова здесь крайне ядовитое и действительно по-лесковски сатирическое. С самым невинным видом автор повествует о том, как архиереи заболевают несварением желудка, как они угощают отборными винами видных чиновников, при этом чуть ли не пускаясь в пляс, как они занимаются моционом для борьбы с ожирением, как они благодетельствуют только потому, что проситель сумел найти уязвимое место в их симпатиях и антипатиях, как они мелко и смешно враждуют и соревнуются со светскими властями и т. д. Подбор мелких, на первый взгляд, бытовых деталей, искусно воссоздающий бытовое существование духовных чиновников, подчинен единому заданию. Лесков как бы последовательно разоблачает тот маскарад внешних форм, которым церковь искусственно отделяет себя от обычной обыва-

тельской русской жизни. Обнаруживаются вполне обычные мещане, которые решительно ничем не отличаются от пасомых ими духовных детей. Бесцветность, пустота, банальность обычного мещанского быта, отсутствие сколько-нибудь яркой личной жизни — вот тема, пронизывающая невинные на первый взгляд бытовые зарисовки. Получается действительно сатира, очень обидная для тех, кто изображен, но сатира особенная. Обидно все это для духовных лиц прежде всего тем, что вполне наглядно обнажена причина маскарада — особых форм одежды, языка и т. д. Нужен этот маскарад потому, что по существу обычный архиерей решительно ничем не отличается от обычного мещанина или обычного чиновника. В нем нет и проблеска того основного, что официально представляет архиерей, — духовной жизни. Духовное начало уподоблено здесь рясе — под рясой скрыт заурядный чиновник с несварением желудка или геморроем. Если же среди лесковских архиереев попадаются люди с человечески чистой душой и горячим сердцем, то это относится исключительно к их личным качествам и никак не связано с их служебно-профессиональными функциями и официальным общественным положением. В целом Лесков своими, особенными способами производит разоблачение бытового ритуала церковности, во многом близкое к тому «срыванию масок», которое так ярко и остро осуществлял позднее Лев Толстой.

К концу жизни Лескова сатирическая линия его творчества резко усиливается и одновременно выступает явственно ее внутренняя связь с теми большими вопросами русской жизни и русской национальной истории, которые писатель решал в других планах своего творчества. И с этой точки зрения важна и показательна для понимания его идейно-художественной эволюции история его сближения и его расхождений с Львом Толстым. Близость Лескова на определенном этапе его творческого развития с Толстым ни в коей мере не является случайной. В самих путях исторического движения Толстого и Лескова были элементы несомненного сходства, определявшегося общественной позицией каждого из этих больших художников в пределах единого и насыщенного противоречивым содержанием отрезка русской жизни. Поэтому в общественно-исторических и нравственных исканиях Лескова 60—70-х годов можно обнаружить немало элементов, которые в эпоху крутого перелома в воззрениях Лескова органически сблизят его в еще большей степени, уже прямо и непосредственно с Толстым. Сам писатель заявлял по этому поводу следующее: «Лев Толстой был мне благодетелем. Многое я до него понимал, как он, но не был уверен, что сужу правильно».

Но Лесков не превратился в толстовца. Более того, первоначальный пыл увлечения прошел, наступило отрезвление. Лесков иронически отзывается о толстовстве и особенно о толстовцах. Не случайно в позднем рассказе «Зимний день», неоднократно варьируясь, появляется, применительно к Толстому, ироническая фраза — «не так страшен черт, как его малютки»; Лесков заявляет прямо, что он несогласен с толстовством как с совокупностью, системой взглядов: «он хочет, и сын его, и толстовцы, и другие — он хочет того, что выше человеческой натуры, что невозможно, потому что таково естество наше». Для Лескова неприемлемо толстовство как догма, как программа, как утопический рецепт перестройки человеческой природы и человеческих отношений. Если приглядеться внимательно к циклу его последних, наиболее острых в социальном отношении вещей, то обнаружится, что Толстой усилил в Лескове остроту его критического взгляда на действительность, и в этом состояло главное значение Толстого для эволюции Лескова. В последних вещах Лескова герои, в поведении которых заметно стремление осуществить те элементы в толстовстве, которые Лесков считал ценными, общественно необходимыми, — появляются как противовес тем картинам общественного и бытового распада, которые он рисует, появляются как своеобразное нравственное мерило, которым проверяются и разоблачаются недостойные человека формы жизни.

Группа последних вещей Лескова — таких, как «Полунощники» (1891), «Импровизаторы» (1892), «Юдоль» (1892), «Административная грация» (1893), «Загон» (1893), «Зимний день» (1894), «Заячий ремиз» (1894), — показывает нам художника, который не только объективным содержанием своего творчества раскрывает неправду общественных отношений, но и осознанно борется с социальным злом. В этом цикле произведений возникают заново важнейшие темы, волновавшие Лескова на протяжении всего его творчества, — вопросы крепостничества и его последствий для жизни пореформенной России, вопросы распада старых социальных связей и последствий этого распада для человеческой личности, поиски нравственно полноценного существования человека в обстановке разложения старых и складывания новых форм жизни, наконец, вопросы особенностей национально-государственного развития России. Все эти вопросы решаются писателем по-новому, иначе, чем прежде, — резче, определеннее и четче выступает борьба писателя за прогрессивные пути социально-исторической и национальной жизни. Своеобразные особенности лесковской художественной работы и в этих вещах приводят иногда исследователей к недооценке критических элементов, заключенных в них.

Так, в применении к рассказу «Полунощники» иногда можно услышать еще мнение, что Лесков дает здесь не очень глубокую по своим итогам критику официальной церковности. Между тем содержание «Полунощников» отнюдь не исчерпывается сатирическим изображением деятельности Иоанна Кронштадтского; замысел писателя глубже и сложнее, и он может быть постигнут только при учете всего своеобразия лесковского построения, целостной концепции всей вещи. Деятельность Иоанна Кронштадтского дана здесь отнюдь не случайно на определенном социальном фоне, сама фигура знаменитого официального вероучителя столь же закономерно предстает в окружении ряда других, вымышленных уже персонажей и в преломленном восприятии ряда героев, и только вся совокупность взаимоотношений действующих лиц вводит в замысел писателя. Основная героиня рассказа, из уст которой мы и слышим обо всех событиях, — некая Марья Мартыновна, приживалка в богатом купеческом доме. Она напоминает основными чертами своего духовного облика «воительницу» Домну Платоновну, но только это Домна Платоновна уже на совсем другом этапе своего жизненного пути, и поставлена она писателем уже в иной социальный обиход, и выводы о ней писатель делает несколько иные, чем он делал о своей ранней героине.

Марья Мартыновна рассказывает о вещах, в сущности ужасных, но ужаснее всего тот невозмутимо-елейный тон, в котором она повествует. Она рассказывает о том, как морально разложилась купеческая семья, как продают и покупают совесть, как торгуют оптом и в розницу нравственными убеждениями. Происходит все это на фоне «падежа бумаг», «подземельных банков», сомнительных финансовых операций, дорогих ресторанов и публичных домов. Показан новый этап в жизни России не прямо и непосредственно, а в восприятии Марьи Мартыновны, и это-то и может ввести в заблуждение невнимательного читателя. Важна здесь именно личность человека, воздействие на нее развитых буржуазных отношений. Для Марьи Мартыновны нет ничего святого, это совершенно пустая душа, в отличие от Домны Платоновны она совсем не «артистка», она гонится во всем этом содоме только за своей мелкой выгодой. Развал и разложение в купеческом доме Марья Мартыновна хочет лечить проповедями Иоанна Кронштадтского. Ироническое определение жанра вещи самим писателем — «пейзаж и жанр». Особенным образом окрашенный «пейзаж» и «жанр» и несут здесь действительно большую идейную и смысловую нагрузку. «Пейзаж», в рамках которого появляется «вероучитель», — кронштадтская гостиница. Она дана как торговое меро-

приятие, где организованно и планомерно продают и покупают святость. «Жанр» — это рассказ о приезде «вероучителя» в Петербург. Жаждущие душевного исцеления устраивают дикую давку на пристани. «Вероучителя» рвут на части, хватают и сажают в экипажи, силком увозят на исцеление душ. Оказывается, и в этом есть система. Здесь тоже есть акционерное общество — за сходную цену «вероучителя» легко можно заполучить при посредстве организованных в общество спекулянтов. Вокруг религии происходит буквально то же, что совершается в «подземельных банках», дорогих публичных домах и прочих подобных учреждениях.

Наконец «вероучитель» привезен к «болящей». Болящей оказалась молодая девушка Клавдинька, которая не хочет жить так, как живут окружающие ее люди. Диалог Клавдиньки и Иоанна Кронштадтского и составляет кульминацию повествования. Клавдинька свой способ жизни оправдывает ссылками на рационально, по Толстому понимаемое евангелие. Иоанну Кронштадтскому во имя того способа жизни, который он защищает, приходится без конца опровергать евангелие. Иоанн Кронштадтский здесь дается как одно из вершинных, наиболее законченных проявлений той мерзости, о которой повествует Марья Мартыновна. Ценнее всего тут именно это сопоставление: Иоанн Кронштадтский ничем не отличается от Марьи Мартыновны, он так же холодно и расчетливо защищает явную социальную и нравственную мерзость. Марья Мартыновна и Иоанн Кронштадтский поставлены на одну доску, как явления социально и духовно однопорядковые. В результате — из купеческого дома выгнаны оба: Иоанна Кронштадтского выгнала вежливо, но твердо Клавдинька, Марью Мартыновну, введшую в конфуз купеческую фамилию, выгнали довольно невежливо хозяева. Марья Мартыновна ни в чем не изменила своих убеждений и продолжает свою деятельность по сводничеству, наущениям на всякую мерзость, по торговле официально организованной святостью, с ней никакой трагедии не произошло. Домна Платоновна в своем финале производит не столько смешное, сколько трагическое впечатление. Марья Мартыновна осталась при всех своих качествах. Такие язвы индивидуальным способом не исцеляются — вот вывод, к которому приводит писатель. Жизненная философия универсального цинизма Домны Платоновны распространилась на широкие круги в распадающихся социальных верхах. Понятно, что толстовство Клавдиньки — тут только нравственное мерило падения социальных верхов. Глубокий демократизм Лескова не перестал быть стихийным. Общественное разложение он, как и прежде, соизмеряет с абстрактными нравственными нормами. Но сами про-

цессы общественного распада он рисует шире, острее, беспощаднее. И в этом секрет недоверия к позднему Лескову со стороны либерально-буржуазных и либерально-народнических кругов. В рассказе «Зимний день» Лесков рисует этот же «пейзаж» и «жанр» уже непосредственно и прямо, показывая буржуазную семью, где юноши ради денег продаются старым женщинам, а старые женщины шантажируют своих бывших любовников ради денег же. Деньги, добытые таким путем, милые юноши употребляют на покупку особо выгодных акций на бирже. В «Полунощниках» такого типа сделки трактовались как однотипные с официальной религией. В «Зимнем дне» любовные и деловые невзгоды милых юношей и увядших дам распутывает величественная по внешности старая кокотка, которая одновременно выполняет высокие государственно-дипломатические функции. Тут уже с типическими деятелями эпохи «падежа бумаг» и «подземельных банков» сотрудничает самодержавно-бюрократическое государство собственной персоной. По поводу «Зимнего дня» редактор либерально-буржуазного «Вестника Европы» писал Лескову: «...у вас все это до такой степени сконцентрировано, что бросается в голову. Это — отрывок из Содома и Гоморры, и я не дерзаю выступить с таким отрывком на божий свет». Пожалуй, откровеннее объяснить причины неприемлемости «чрезмерностей» Лескова, чем это сделал либерал Стасюлевич, трудно.

Центральное в некоторых важных отношениях положение среди поздних вещей Лескова занимают «Загон» и «Импровизаторы». Здесь Лесков подводит творческие итоги темам, волновавшим его на протяжении всей его жизни. «Загон» представляет собой очеркового типа произведение, вызванное конкретным поводом общественной жизни — откровенным заявлением одного из членов «Общества содействия русской промышленности и торговли» в сентябре 1893 г. о том, что «Россия должна обособиться», закрыться наглухо от общеисторического развития. В жанре острого политического фельетона, со множеством типичных для его манеры высокохудожественных «мемуарных отступлений», Лесков показывает объективный общественный, социальный, классовый смысл такого рода теорий. Лесков показывает, до каких нелепостей и во имя чего доходят реакционеры разных толков для того, чтобы оправдать социальное неравенство. Так, один из реакционеров доходит до того, что выпускает брошюру о преимуществе курных изб перед чистыми; с чисто лесковской злой иронией пересказано содержание брошюры: «...нечисть из курной избы бежит, да и что теленок с овцой смердят — во время топки все опять дверью вытянет...

А от сажи не только никакая мелкая гадь в стене не водится, но эта сажа имеет очень важные лечебные свойства». В ряде колоритных «мемуарных» зарисовок показано, что темнота народа, сопротивляющегося явно целесообразным нововведениям, вызвана его социальной забитостью, что эта темнота искусственно поддерживается защитниками крепостнических порядков: «дворяне этому радовались, потому что если бы райские крестьяне приняли благодеяния своего помещика иначе, то это могло послужить вредным примером для других, которые продолжали жить как обры и дулебы, «образом звериным». Такого соблазнительного примера, разумеется, надо было опасаться».

Создавая «Соборян», Лесков противопоставлял проблематику национальную проблематике социальной. Сейчас он видит органическую внутреннюю связь этих двух аспектов художественного изображения действительности. Реакционным образом истолкованная «национальная самобытность», то, что сам Лесков раньше называл «старой сказкой», без которой трудно жить человеку, — в произведениях последнего периода его деятельности толкуется уже как одно из идеологических орудий крепостников и промышленников, социальных персонажей типа героев «Зимнего дня». «Старая сказка» обернулась «загоном», она оказалась одним из средств социальной борьбы, одним из способов социального угнетения, одурачения народа. Лесков производит расчеты со своими собственными заблуждениями эпохи конца 60-х — начала 70-х годов. Демократизм его становится шире и глубже, освобождаясь от многих предвзятых, односторонних, неверных идей и оценок. В «Загоне» изображена не только темнота и забитость народа. Лесков показывает здесь предельную степень разложения социальных верхов. Светские дамы на модном прибалтийском курорте открыли, в лице ловкого пройдохи Мифимки, нового «святого», умело разрешающего их от «интимных тайн». Все эти тайные недуги и душевные горести дам отчетливо напоминают нравственную атмосферу «Зимнего дня». Темнота простых людей понятна и исцелима, темнота верхов отвратительна и свидетельствует о социально-исторической деградации.

Этот же круг вопросов обобщен и обострен в потрясающем своей трагической силой рассказе «Импровизаторы». В «Импровизаторах» речь идет тоже о темноте, предрассудках, заблуждениях. Но еще острее, чем в «Загоне», вскрыты социальные истоки этих заблуждений, этих «импровизаций». На протяжении всего творческого пути Лескова занимал вопрос о «рассословленности», о размывании старых классов — сословий крепостнической эпохи

и об образовании новых социальных групп в эпоху между 1861 годом и первой русской революцией. В «Импровизаторах» показан совершенно разорившийся мужик, превратившийся в тень человека, в сумасшедшего нищего, распускающего слухи, «импровизации» о врачах, которые убивают своих больных. Он не верит в «запятую», в микроб, вызывающий эпидемическую болезнь. Подлинный источник этих импровизаций — в деклассации, в полной потере человеческого лица, вызванной социальной обездоленностью, вызванной тем социальным процессом, который В. И. Ленин называл «раскрестьяниванием». В. И. Ленин писал: «Все пореформенное сорокалетие есть один сплошной процесс этого раскрестьянивания, процесс медленного, мучительного вымирания».[1] Лесковский «порционный мужик» является яркой художественной иллюстрацией этого сложного и многостороннего процесса. Острее, чем где-либо еще у Лескова, показано здесь выпадение человека из старых сословных рамок и трагические духовные плоды этого: «Западные писатели совсем не знают самых совершенных людей в этом роде. Порционный мужик был бы моделью получше испанца с гитарой. Это был не человек, а какое-то движущееся ничто. Это сухой лист, который оторван от какого-то ледащего дерева, и его теперь гонит и кружит по ветру, и мочит его, и сушит, и все это опять для того, чтобы гнать и метать куда-то далее». Социальные верхи тоже подвержены самым диким суевериям, и подвержены они им как раз потому, что они обездолили и превратили в ничто «порционного мужика», и им от их собственного опустошения, растления и косности, от боязни «запятой» не откупиться никакой милостыней. Главная «запятая» тут, причина всех бед — социальная: «А что это была именно она, та самая «запятая», которую мы видели и не узнали, а еще сунули ей в зубы хлеб и два двугривенных, то это вдруг сообразили и я и лавочник». Всегда волновавший Лескова вопрос о путях национального развития России органически сливается здесь, в финале творчества Лескова, с вопросами социального устройства. Проблема нравственной ответственности, возникающая здесь, при виде «порционного мужика» — тоже дается как новое решение столь значимых для Лескова проблем морального самоопределения личности в условиях, «когда все перевернулось и только еще укладывается».

Раздумье над историческими судьбами русского национального характера меньше всего могло быть разрешено толстовским «совершенствованием личности». Лесков и сам понимает, что его

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 396.

новые «праведники» типа Клавдиньки из «Полунощников» не могут быть названы в полном смысле слова найденными образами положительных героев. Он ищет этого нового положительного героя. В «Зимнем дне» моральному распаду той буржуазной семьи, которую изображает Лесков, противопоставлена героиня, очень близкая Клавдиньке, — «белая ворона» в своем кругу, Лидия. Едва ли не авторским выводом, обобщающим тему поисков «праведности» в творчестве Лескова, является важнейшая реплика в споре Лидии с ее теткой. Тетка говорит: «Вот ведь назрели какие характеры», — Лидия отвечает: «Полноте, ma tante, что это еще за характеры! Характеры идут, характеры зреют — они впереди, и мы им в подметки не годимся. И они придут, придут! «Придет весенний шум, веселый шум!» Так — выражением веры в большие возможности национального русского характера, которые развернутся в поступательном, прогрессивном социальном развитии страны и народа, — завершается тема поисков праведности в творчестве писателя, весь путь которого был путем напряженнейших социальных, нравственных и художественных исканий. Дума о России, о народе, о его будущем была главной на протяжении всего сложного, противоречивого творческого пути Лескова, изобиловавшего блистательными успехами и грубыми срывами.

Лесков стремился в своем творчестве постигнуть жизнь разных классов, социальных групп, сословий России, создать многокрасочный, сложный, во многом еще до него неизученный (в тех аспектах, которые его особенно волновали) образ всей страны в один из самых запутанных и трудных периодов ее существования. Отсюда вытекают острые противоречия его творческого пути. Диапазон национальной темы у Лескова огромен. Его творчество охватывает не только разнообразные классы, профессии и бытовые состояния, но и самые разнообразные области России с населяющими их народами: Крайний Север, Украина, Башкирия, Каспийские степи, Сибирь, Прибалтика. Национальная и социальная темы даются у него не как «пейзаж» и не как «нравы», а как материал для решения больших исторических и нравственных проблем — для решения вопроса о судьбах России. Его художественная работа нашла себе признание и своеобразное продолжение и развитие в творчестве двух больших русских писателей, сумевших многое в его поисках и находках по-своему использовать и двинуть дальше, соответственно новой исторической эпохе. Внимание Лескова к жизни людей разных классов, сословий, социальных групп, профессий, бытовых образований оказалось очень ценным для А. П. Чехова, который в несколько иных условиях, по-своему, иначе,

чем Лесков, стремился создать широчайшую картину жизни России в ее разных, преимущественно не затрагивавшихся до него никем, кроме Лескова, проявлениях. В конце своей жизни М. Горький, делясь своим опытом с молодыми литераторами, писал: «Я думаю, что на мое отношение к жизни влияли каждый по-своему — три писателя: Помяловский, Гл. Успенский и Лесков». Надо думать, что для Горького в художественной работе Лескова наиболее существенное значение имели иные ее стороны, чем для Чехова. В исторически иных условиях и с совершенно иных социальных позиций М. Горький, как художник, всю свою творческую жизнь интересовался сложными взаимоотношениями между классом и индивидом, между сословно определенным, замкнуто-классовым, традиционно неподвижным и исторической диалектикой распадения старых классов и образования новых. Горьковские образы «вы-ломившихся» людей, «озорников», «чудаков», людей, живущих «не на той улице», — при всех исторических поправках, вероятно, генетически связаны с исканиями в этом направлении Лескова. Так оказался ценным и плодотворным в истории литературы идейно-художественный опыт писателя, который в своем творчестве, как говорится на страницах «Жизни Клима Самгина», — «пронзил всю Русь».

П. Громов
Б. Эйхенбаум

РАЗБОЙНИК

Ехали мы к Макарью на ярмарку. Тарантас был огромный, тамбовский. Сидело нас пятеро: я, купец из Нижнего Ломова, приказчик одного астраханского торгового дома, два молодца, состоящие при этом же приказчике, да торговый крестьянин из села Головинщины. Я, купец и приказчик сидели сзади, под будкою, молодцы насупротив нас, а крестьянин на облучке с ямщиком. Хотели мы ехать на почтовых, да побоялись задержек по П—ской губернии, где на ту пору почтовые станции держал генерал Цыганов (вымышленная фамилия). Он служил предводителем и все больше охотился за лисицами да за разным красным зверем, до дел не доходил, а люди его, надеясь на барскую защиту, творили что хотели. В ярмарочную пору им была лафа; проезжих много, и все больше купечество, народ капитальный и незадорный; твори с ним что хочешь, он за рубль дорогою не стоит, потому всегда наверстать его надеется. Да и задору-то на цыгановских станциях не боялись. «Нам, бывало, говорят, что книжка? Плевать мы хотим в эту книжку-то. Пиши, что́ душа пожелает. Три рубля — да вот тебе и новую книжку к столу прилепят». Зная все это, мы порешили ехать на сдаточных. Езда была тоже пускай не сахарная, однако все лучше; по крайней мере неприятностей ожидалось меньше. Погода стояла ясная и сухая, дорога — что твое шоссе, только колеса постукивают. По обыкновению, все

мы скоро между собой перезнакомились и сблизились, как способны сближаться в дороге только русские люди. Разговоры у нас ни на минуту не прекращались, так что купец, который постоянно укладывался спать и закрывал лицо синим бумажным платком, крепко на нас сердился и что-то бурчал себе под нос. Впрочем, сердился он только на езде, а как до привала, так сейчас и сам вступал в разговор. Из всего нашего дорожного общества более всех болтал и даже надоедал своею болтовнею один из ехавших с астраханским приказчиком молодцов, Гвоздиковым звали. Превеселый был парень, и лицо такое хорошее, не то чтоб очень умное, а так, открытое, веселое, словом, хорошее лицо. Он поминутно болтал и все больше подтрунивал над своим товарищем. Глаза у него были такие чистые и смех такой задушевный, что даже становилось досадно, глядя на его беспечную веселость. Другой молодец, товарищ Гвоздикова, был человек лет сорока, с лицом, заросшим черными волосами до самых глаз. Над глазами волосы у него были подстрижены и придавали ему типический вид русского сектанта. Впрочем, он и сам говорил, что живет «по древлему благочестию». Он смеялся над выходками своего товарища как будто нехотя и сбивал все больше на ученый разговор насчет писания и нравственности. Гвоздиков звал его «желтоглазым тюленем». Сам приказчик, толстый, рослый человек, с широкою, окладистою бородою, остриженный также по-русски, был человек, что называется, не пущий, но добрый и снисходительный. Крестьянин же, сидевший на козлах, молчал почти целую дорогу и только изредка предлагал безотносительные вопросы, на которые веселый молодец спешил отвечать какою-нибудь забористою шуткой. В Арзамасе мы пробыли почти целый день и выехали только под вечер; сделав верст пятнадцать, осмеркли, а в деревне, где нужно было переменить лошадей, стало совсем темно. Заказали первым делом вышедшей к нам на крыльцо бабе самовар, а потом потащили кто саквояж, кто сверток, кто связку с баранками, а «желтоглазого» оставили в тарантасе, на дозорном пункте. Вошли в избу — духота страшная. Перенесли стол в сени, присели к нему на скамейках и разложили провизию. Через час та же баба подала бурый самовар с зелеными пятнами и капающим краном.

— Вам запрягать, што ли? — спросила баба, поставив деревянную чашечку под капавший кран.

— Запрягать, запрягать, краля моя червонная! — отвечал Гвоздиков.

— Да где мужики-то? Аль одна дома? — спросил купец.

— Одна! зачем одна? не одна, а с богом.

— Тебя, значит, бог бережет.

— А то кто ж? знамо бог.

— Да мужики-то кто ж у вас?

— Мужики-то?

— Да.

— Кто? свекор, хозяин мой да братенек у него, молодой мальчик.

— А баба-то ты одна?

— Одна. Свекруху весной схоронили, а парня еще в осень женить будем.

— Да где ж они, мужики-то?

— А! — да парнишка в гон еще утресь поехал, тоже купцов повез, да вот не бывал, свекор с хозяином тут, у суседа, на следство к становому пошли.

— На какое следствие?

— Да вот тут намедни у какого-то проезжего в лесу чумадан срезали.

— Кто срезал?

— Кто ж его знает? неш мало всякого народа теперь по дороге болтается? теперь ярманка.

— А скоро они придут от чиновника-то?

Баба плюнула на два пальца и сорвала ими нагоревшую светильню у свечки.

— Должно, скоро будет. Даве еще, где светло, пошли.

Выпили по чашке, по другой, на дворе скрипнули ворота и послышался говор. Через минуту в сени вошел высокий мужик с лицом не столько суровым, сколько раздосадованным и сердитым. Он нам не поклонился и прошел прямо в избу.

— Микитка еще не был? — спросил он у бабы как-то нетерпеливо и раздражительно.

— Не был.

— А ты чего огня-то не зажжешь? Собирай вечерять.

Он снова показался в дверях избы и, не говоря нам ни одного приветственного слова, прямо сказал:

— Тарантас-то на двор бы втянуть.

— Чего на двор? Мы хотим ехать.

— Самая теперь езда! — проговорил он вполголоса и, обернувшись к бабе, закричал громко: — Собирай ужинать-то! Аль оглохли?

Из избы послышалось: «Полно горло-то драть, неш не видишь, собираю».

Мужик пошел на двор, и там опять послышался говор. Через несколько минут у самой сенной двери старческий голос сказал: «Усыпал, аль не слышишь? ведь сказал, что усыпал, едят».

Вошел старик, белый как лунь и немножко сгорбленный.

— Чай-сахар, купцы почтенные! — сказал он.

— Просим покорно, дедушка! — ответил ему приказчик, но он, очевидно, счел это приглашение за самую обыкновенную фразу и не обратил на него никакого внимания.

— Ехать хотите? — спросил он, опершись руками о наш стол.

— Хотим ехать.

— Нужно, видно, очень?

— Да, нужно.

— На ярманку?

— Да.

— Ехать-то не ладно, — сказал он, подумавши, смотря попеременно всем нам в глаза.

— Что так?

— Да ишь вон всё шалят.

— Шалят?

— Да, баловают, пусто им будь. Теперь вот третий день казаков расставили. Бекет у лощинки поставили, а вчера тут вот сусед вез баринка в своем тож кипаже: весь задок-то истрошили.

— Кто ж это?

— А господи его ведает.

— И никто не видал?

— Барин, знамо, в задку сидел, и с барыней; да не чуяли, а лакей, знать, клевал на козлах. Кому видеть-то?

— А ямщик?

— Да и ямщик, може, не видал.

— А може и видел? — спросил Гвоздиков.

— Кто ж его знает? може и видел. Что поделаешь-то с врагом-то с этаким?

— Отчего?

— От праздника, — тем же нервным голосом ответил внезапно вошедший с фонарем и с уздою в руках муж принявшей нас бабы.

Никто не отвечал. Всем было очень неприятно.

— Едут как оглашенные, — продолжал, ни к кому не обращаясь, мужик. — Говоришь: обожди, повремени: где тебе! слушать не хотят, а там тягают нашего брата да волочат.

— Да чего ж тягают? — спросил приказчик.

— Спроси их чего.

— Ну, не видал ли? не слыхал ли чего? спрашивают, — проговорил ласково старик.

— Что ж! сказал, да и к стороне.

— Чего не к стороне.

— Все пытают тебя и так и этак, — прибавил старик, — все добиваются того, чего, може, и не видал.

— Ну и скажи.

— Что сказать-то? — спросил опять молодой.

— Правду.

— Правду! правда-то нонче, брат, босиком ходит да брюхо под спиной носит.

Баба вынесла большую чашку с квасом, в котором что-то плавало, поставила ее около нас на конце стола, положила три деревянные ложки и краюшку хлеба. Оба мужика и баба перекрестились на дверь, в которую глядел кусок темного неба, и начали ужин; старик присел около купца, а молодой и баба ели стоя. Гвоздиков опрокинул чашку и пошел на смену желтоглазому. Вошел желтоглазый, сел, налил чашку, откусил сахару и, перекрестившись двумя перстами, начал похлебывать.

— А ехать теперь не годится, — сказал он, допив первую чашку и протягивая руку к чайнику.

— Чего так? — спросили мы почти все.

Хозяева продолжали ужинать и, повидимому, не обращали на наш разговор ни малейшего внимания.

— Говорят, очень уж шалят по ночам.

— Нас пятеро.

— Так вас и побоялись, пятерых-то, — вставил крестьянин.

— А ты-то шестой будешь.

— А я что? Мне неш видно? Мое дело знай гляди дорогу.

— Ямщику где, батюшка, ваше степенство? — говорил старик. — Ямщик порой что и видит, так не видит.

— Отчего ж так?

— Да так.

— Да отчего же не крикнуть седокам-то?

— А как назад-то поеду, тогда кому крикну? — спросил опять молодой.

— А тогда чего кричать?

— Да того ж самого.

— И-и, — нельзя, купцы честные, — сказал старик. — Вас-то сдашь, надо вертаться, а он те тут где-нибудь со слягой и караулит, да, гляди, с товарищем. Животов отнимет, а то и веку решит!

— Ну, вздор!

— Чего вздорить-то. Неш не бывальщина? — встрел опять молодой.

— Нельзя, родной, никак нельзя нам ничего с ними поделать, — сказал старик.

— Храбрые вы уж такие, видно.

— Вот те и храбрые. Храбрись не храбрись, а храбрее мира не будешь, — опять заметил молодой.

— Да миру-то что?

— Миру-то?

— Да.

— Ловко рассуждаешь! Што миру? Он теперича по злобе мой двор зажжет да всю деревню спалит. Миру што?

— Ну, так, гляди, и спалит!

— Да неш тебе говорят небывальщину, што ли!

— Ну, а казаки?

— А казаки што? Они свое дело знают: кур ловят да за бабами гоняются; а може и сами тут же.

— С ворами-то?

Молодой не ответил.

— Кто ж их ведает? — сказал вместо него старик. — Болтают, а мы — господи их знает. Про то знает начальство, каких оно людей приставляет.

— Ночевать, видно, господа! — обратился к нам приказчик.

— Что ж? ночевать так и ночевать, — проговорили все чуть не в один голос.

Ехать у всех отшибло охоту. Хозяева как будто не обратили на это никакого внимания, только молодой как будто успокоился и, хлебнув две-три ложки, сказал совсем не тем голосом, каким говорил до сих пор.

— Ему, вору-то, чтó тебя загубить али село спалить? Ему все одно, одна дорога; а ты поди, там пойдут тебя водить да тягать, чего не держал да чего не ловил? а тут мир, — за всю беду ты и в ответе.

— А видите вы этих мошенников когда-нибудь?

— Хоть и видишь, так што ж?

— Нет, я так: можно ли их видеть?

— Чего не видеть? Ведмедь зверь, да и тóго видают, а то чтоб человека да не видать.

— А ты видал когда?

Мужик помолчал и положил ложку. Баба взяла чашку и пошла за кашей.

— Годов с шесть, али больше, пожалуй, — сказал он, — раз такого страху набрался, что и боже мой.

Мы стали слушать.

— Верстах в десяти тут от нас, сбочь большака-то, есть село, — мимо, почитай, завтра поедем, большое село, — и продавал в этом селе один мужик лошадь. Нашинские мужики баили — добрый мерин, гонкий и здоровый. У нас на ту пору лошадь, знаешь, охромела, а время тож вот как теперь — ярмачно, езды много. Вот я встал этак еще где тебе до зорьки, взял денег рублев сорок, али побольше, да и пошел в то село. Иду по леску-то, да и думаю: дай срежу дубину; не ровен, думаю, час. Гляжу по кустам-то и вижу, важная растет хворостина, с комельком, знаешь, — ну я ее и срезал. Срезал, иду да веточки ножом и опускаю, ловкая вышла дубинка. Вот, думаю себе, если кого перекрестить, — почухается, а сам все иду. Прошел этак еще версты с три, гляжу, впереди под самой под опушкой, к дороге-то впереди меня шагов этак за тридцать, сидит человек, ноги свесил в канаву, шапки на голове нет, волоса длинные, как быть, к примеру, у дьячка молодого, в портишках, а плечи голые. На коленях у него лежат какие-то лохмотенки суконные, и он в них пальцами-то перебирает, ищется, стало. Глянул я назад и по сторонам — народушку ни единой

души нигде не видать. Спужался я. Думаю, назад вернуться — погонится, вперед тоже боязно. А! думаю, что́ господи даст: бог не выдаст, свинья не съест. Сотворил молитву и пошел вперед. Подхожу это к нему, а он стряхнул свои лохмотенки-то, дыра на дыре, вижу, а знать, что одежа солдатская. Иду, сердце захолонуло, а все иду ближе. Поровнялся с ним; а он стоит. В руках, вижу, ничего нет.

Баба принесла чашу с кашей и поставила на стол. Мужик опять перекрестился и, съев несколько ложек, стал досказывать:

— Стоит, а я совсем уже к нему подошел. Гляжу: жалкий такой, сапожонки подвязаны обрывком, а штанишки черные, нанковые с кантиком, совсем как не свалятся, рубашонки совсем нет, только те лохмотья на плечах накинуты. Сукно, знаешь, солдатское, а воротник оторван.

— Ну.

— Ну и ну. Плохонький, думаю, ты человек. Жаль мне его стало крепко. В бегах, должно, скрывается, а у меня тоже братенек середний в службе. Жаль таково-то. Подхожу я к нему, а он озирается да таково-то тихо говорит: «Дай, говорит, за ради господа бога ты мне кусочек хлебушка. Четвертый день, говорит, маковой росинки во рту не было». — «Эх, говорю, милый! кабы знатье, а то нет с собой хлебушка-то». — «Ну дай, говорит, грошик». Думаю себе — грошика не жаль, и не грошик дал бы, а страшно. Деньги эти у меня все в сапоге да в тряпице связаны, станешь разбирать, он человек в нужде, кто его знает! Враг, думаю, силен, и не в такой беде — да и то смущает человека. «Нету, говорю, милый, и грошика, не прогневайся». — «Врешь, говорит, дай: пожалей душу христианскую». Раздумье, знаешь, меня взяло, и хочу деньги достать, и оторопь берет; а его на ту пору словно враг дернул за язык, — «давай, говорит, а то своих кликну»; а сам нагнулся, да руку за голенищишко и сует. Спину-то, как доску, так всю, знаешь, мне и выставил. Страх меня обуял смертный, некогда, вижу, думать-то, поднял дубину-то да как свистну его вдоль по хрипу, со всего, знаешь, с размаху. Так он и повалился, и руки в стороны растопоршил. Лежит ничком, словно лягушка какая. Хоть бы он вскрикнул али повернулся — ничего. Только екнул да разочек вздохнул, а я ударился что есть поры

мочи. Насилу добег до села. Страсти такой набрался, что и не приведи ты мать царица небесная злому татарину.

Мы посмотрели на атлетическое сложение хозяина и переглянулись.

— Что ж, назад-то как шел: не было его?

— Не было. Должно, уполоз в лес.

— А не прикончил ты его часом?

— Когда? Опосля?

— Нет. Как ударил-то?

— Господи знает. На моей душе грех, коли что сталось. Только я не хотел; я и старикам сказал и попу каялся. Старики велели в те поры молчать, а поп разрешил причастие. «Ты, говорит, этому не причинен» — питинью, одначе, наложил. Ну, только тела тут нигде не находили, — прибавил он, помолчав. — Я года с два все опасовался, думал, на вину опять как бы не оказался где; нет. Так и сгинул. Теперя уж, сла-те господи, ничего.

— Где ж бы ему деться? — проговорил наш торговый крестьянин.

— А кто его знает, може товарищи справди были, убрали, должно, — ответил старик.

Ужин кончился, мы чай тоже отпили.

— Пойдем, вдвинем тарантас, — сказал сын отцу, и вышли.

— Где будете спать? — спросила баба, — в избе аль на дворе?

— Где там на дворе-то у вас?

— Да всё вон больше на сене ложатся проезжие.

— А! ну и ладно.

Мы вышли на двор. На небе показались звезды, ночь была теплая. По двору ходила корова, в углу отфыркивались лошади. Мужики двинули тарантас и заперли ворота.

— На сено, купцы? — спросил молодой хозяин.

— На сено.

— Идите вот сюда. — Он отворил маленькую дверку в плетневой сарайчик, полный доверху ароматическим сеном.

— Вот вам и упокой, полезайте. Из кипажи, может, что вынесть? Впрочем, вы будьте благонадежны, здесь на дворе, — прибавил он, — вашей нитки не пропадет. Я сам вот тут сплю. — Он указал нам на высокую

коровку, смощенную на столбиках под сараем, почти у самых ворот.

Мы взяли одни подушки да коврик.

Через пять минут в сарайчике только раздавалось носовое посвистыванье да похрапыванье. Точно квартет разыгрывали. Купец ранее всех начал соло на контрабасе, и Гвоздиков назвал его «туеском», а вслед за тем сам начал выделывать разные колена. Однако ничего. Укаченные ездою, все спали прекрасно, только мне все снился солдатик, о котором говорили с вечера. Ползет будто он к лесу, а голова у него совсем мертвая, зеленая, глаза выперло, губы синие, и язык прикушен между зубов, из носа и из глаз сочится кровь; язык тоже в крови, а за сапожонком ножик в самодельной ручке, обвитой старой проволочкой, кипарисный киевский крестик да в маленькой тряпочке землицы щепотка. Должно быть, занес он ту земельку издалека, с родной стороны, где старуха мать с отцом ждут сына на побывочку, а может быть, и молодая жена тоже ждет, либо вешается с казаками, или уж *на порах* у бабки сидит.

Ждите, друзья, ждите.

ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ

РАССКАЗ ЧИНОВНИКА ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ

1

При прежнем губернаторе у нас не позволялось курить в канцелярии. Старшие чиновники обыкновенно куривали в маленькой комнатке, за правительским кабинетом, а младшие — в сторожке. В этом курении у нас уходила большая половина служебного времени. Я и мои товарищи, состоявшие по особым поручениям, не обязаны были сидеть в канцелярии и потому не нуждались вовсе в канцелярских курильных закоулках; но все-таки каждый из нас считал своею обязанностью прийти покоптить папиросным дымом стены комнаты, находившейся за правительским кабинетом. Эта комната была для нас сборным местом, в которое всякий спешил поболтать, посплетничать, посмеяться и посоветоваться.

Один раз, наработавшись вволю над пересмотром только что оконченного мною следствия, я вышел прогуляться. День был прекрасный, теплый, с крыш падали капели, и на перекрестках улиц стояли лужи. Шаг за шагом я дошел до канцелярии и вздумал зайти покурить. Правитель был с докладом у губернатора. В комнате за правительским кабинетом я застал двух помощников правителя, полицмейстера и одного из моих товарищей, только что возвратившегося с следствия из дальнего уезда. Пожав поданные мне руки, я закурил папироску и сел на окно, ничем не прерывая беседы, начатой до моего прихода. Возвратившийся молодой чиновник особых поруче-

ний с жаром рассказывал об открытых им злоупотреблениях по одному полицейскому управлению. В рассказе его собственно не было ничего занимательного, и рассказом этим более всех был заинтересован сам рассказчик, веровавший, что в нашей административной организации обнаружить зло — значит сделать шаг к его искоренению. Из помощников правителя один еще кое-как слушал этот рассказ, но другой без церемонии барабанил по окнам пальцами, а полицмейстер, оседлав ногами свою кавалерийскую саблю, пускал из-под усов колечки из дыма и как бы собирался сказать: «Как вы, дитя мое, глупы!»

2

Среди таких наших занятий растворилась дверь, соединявшая комнатку с правительским кабинетом, и правитель проговорил кому-то:

— Вот наш клуб. Прошу вас здесь покурить; а я сейчас отделаюсь и буду к вашим услугам.

В двери показался высокий плотный блондин, лет сорока, в очках, с небольшою лысиною и ласковым выражением в лице.

— Господин Ден, — проговорил правитель, рекомендуя нам введенного им господина. — Господин Ден приехал, господа, с полномочием князя Кулагина на управление его имениями. Прошу вас с ним познакомиться. Это мои сотрудники N, X, Y, Z, — отрекомендовал нас правитель господину Дену. Начались рукожатия и отрывочные: «очень рад, весьма приятно» и т. д.

Правитель с полицмейстером вышли в кабинет, а мы опять начали прерванный кейф.

— Вы давно в наших краях? — спросил Дена мой молодой товарищ, слывший за светского человека.

— Я первый раз в здешней губернии, и даже только со вчерашнего дня, — отвечал г-н Ден.

— Да; я не то спросил. Я хотел сказать: вы уже знакомы с нашей губернией?

— Не знаю, как вам сказать, — и да и нет. Я знаком с имениями князя по отчетам, которые мне предъявляли в главной конторе, и по рассказам моего доверителя. Но...

впрочем, я полагаю, что ваша губерния то же самое, что и Воронежская и Полтавская, в которых я управлял уже княжескими имениями.

— Ну, не совсем, — отозвался один помощник правителя канцелярии, слывший у нас за политико-эконома.

— В чем же резче всего проявляются особенности здешней губернии? — отнесся к нему Ден. — Я буду много обязан вам за ваши опытные указания.

— Да во многом.

— О, я не смею спорить; но мне бы хотелось узнать, на чем именно я могу споткнуться, если буду держаться здесь системы управления, принятой мною с моего приезда в Россию? Я тех убеждений, что неуклонная система всегда достигает благих целей.

Политико-эконом не ответил на этот вопрос Дену, потому что молодой чиновник перебил его вопросом:

— А вы давно в России?

— Седьмой год, — отвечал Ден.

— Вы... если не ошибаюсь... иностранец?

— Я англичанин.

— И так хорошо говорите по-русски.

— О да. Я еще в Англии учился по-русски, и теперь опять седьмой год изо дня в день с крестьянами; что ж тут удивительного!

— Вы свыклись и с нашим народом и с нашими порядками?

— Кажется, — улыбаясь, ответил Ден.

— Имения князя в нашей губернии не цветут.

— Да, я это слышал.

— Вам будет много труда.

— Как везде. Без труда ничего не двинешь.

— Может быть, побольше, как в другом месте.

— Ничего-с. Нужна только система. Не нужно быть ни варваром, ни потатчиком, а вести дело систематически, твердо, настойчиво, но разумно. Во всем нужна система.

— Где же вы намерены основать свою резиденцию? — спросил политико-эконом.

— Я думаю, в Рахманах.

— Отчего же не в Жижках? Там покойная княгиня жила; там есть и готовый дом и прислуга; а в Рахманах, мне кажется, ничего нет, — заметил молодой чиновник.

— У меня на это есть некоторые соображения.

— Своя система, — смеясь, вставил помощник правителя.

— Именно.

Правитель с шляпой на голове отворил двери и сказал Дену: «Едем-с!»

Мы пожали опять друг другу руки и расстались.

3

Село Рахманы находится в соседстве с Гостомельскими хуторами, где я увидел свет и где жила моя мать. Между хуторами и селом всего расстояния считают верст девять, не более, и они всегда на слуху друг у друга. Заезжая по делам службы в К—ой уезд, я обыкновенно всегда заворачивал на хутора, чтобы повидаться с матушкой и взглянуть на ее утлое хозяйство. Мать моя познакомилась с Стюартом Яковлевичем Деном и с его женою и при всяком свидании со мной все никак не могла нахвалиться своими новыми соседями. Особенно она до небес превозносила самого Дена.

— Вот, — говорила она, — настоящий человек; умный, рассудительный, аккуратный. Во всем у него порядок, знает он, сколько можно ему издержать, сколько нужно оставить; одним словом, видно, что это человек не нашего русского, дурацкого воспитания!

Другие соседи тоже были без ума от Дена. Просто в пословицу у них Ден вошел: «Ден говорит, так-то надо делать; Ден так-то не советует», и только слов, что Ден да Ден. Рассказам же и анекдотам про Дена и конца нет. Повествуют, как все отменилось в княжеских имениях с приезда Стюарта Яковлевича, все, говорят, на ноги поднял; даже отъявленных воров, которых в нашем крае урожай, и тех определил в свое дело. Да еще так: самых известных лентяев поделал надсмотрщиками по работам; а воров, по нескольку раз бывших в остроге, назначил в экономы, в ключники да в ларечники, и все идет так, что целый округ завидует. «Вот, — думаю себе, — дока-то на наших мужиков явился!»

Хотелось мне самому посмотреть на рахманские диковины, да все как-то не приходилось. А тем временем минул год, и опять наступила зима.

4

Вечером 4 декабря жандарм принес мне записку, которою дежурный чиновник звал меня позже, в одиннадцать часов, к губернатору.

— Вы, кажется, здешний уроженец? — спросил меня губернатор, когда я вошел к нему по этому зову.

Я отвечал утвердительно.

— Вы живали в К—ом уезде?

— Я там, — говорю, — провел мое детство. К—ой уезд мое родное гнездо.

— И у вас там много знакомых? — продолжал спрашивать губернатор.

«Что за лихо!» — подумал я, выдерживая этот допрос, и отвечал, что я хорошо знаю почти весь уезд.

— У меня к вам есть просьба, — начал губернатор. — Пишет мне из Парижа князь Кулагин, что послал он в свои здешние имения англичанина Дена, человека сведущего и давно известного князю с отличной стороны, а между тем никак не огребется от жалоб на него. Сделайте милость, — не в службу, а в дружбу: съездите вы в К—ой уезд, разузнайте вы это дело по совести и дайте мне случай поступить по совести же.

Поехал я в город К. в эту же ночь, а к утреннему чаю был у моей матери. Там о жалобах к—ских крестьян на Дена и слуху нет. Спрашиваю матушку: «Не слыхали ли, как живут рахманские мужики?»

— Нет, мой друг, не слыхала, — говорит. — А впрочем, что им при Стюарте Яковлевиче!

— Может быть, — говорю, — он очень строг или горяч?

— В порядке, разумеется, спрашивает.

— Сечет, может, много?

— Что ты! что ты! Да у него и розог в помине нет! Кого если и секут, так на сходке, по мирской воле.

— Может быть, он какие-нибудь другие свои делишки неаккуратно ведет?

— Что ты начать-то хочешь?

— Как, — говорю, — он к красненьким повязочкам равнодушен ли?

— О, полно, сделай милость, — проговорила мать и плюнула.

— Да вы чего, матушка, сердитесь-то?
— Да что ж ты глупости говоришь!
— Отчего же глупости? Ведь это бывает.
— Подумай сам: ведь он женатый!
— Да ведь, родная, — говорю, — иной раз и женатому невесть что хуже холостого снится.
— Эй! поди ты! — опять крикнула мать, плохо скрывая свою улыбку.
— Ну чем же нибудь он да не угодил на крестьян?
— Что, мой друг, чем угождать-то! Они галманы были, галманы и есть. Баловство да воровство — вот что им нужно.

5

Объехал два, три соседние дома, — то же самое. На Николин день в селе ярмарка. Зашел на поповку, побеседовал с духовными, стараясь между речами узнать что-нибудь о причинах неудовольствия крестьян на Дена, но от всех один ответ, что Стюарт Яковлевич — такой управитель, какого и в свете нет. Просто, говорят, отец родной для мужика. Что тут делать? Верно, думаю себе, в самом деле врут мужики.

Так приходилось ни с чем и ехать в губернский город.

В городе К. я заехал, без всякой цели, к старому приятелю моего покойного отца, купцу Рукавичникову. Я хотел только обогреться у старика чайком, пока мне приведут почтовых лошадей, но он ни за что не хотел отпустить меня без обеда. «У меня, — говорит, — сегодня младший сынок именинник; пирог в печи сидит; а я тебя пущу! И не думай! А то вот призову старуху с невестками и велю кланяться».

Надо было оставаться.

— Тем часом пойдем чайку попьем, — сказал мне Рукавичников.

Нам подали на мезонин брюхастый самовар, и мы с хозяином засели за чай.

— Ты что, парень, был у нас волей, неволей или своей охотой? — спросил у меня Рукавичников, когда мы уселись и он запарил чай и покрыл чайник белым полотенцем.

— Да и волей, и неволей, и своей охотой, Петр Ананьич, — отвечал я.

Я знаю, что Петр Ананьич человек умный, скромный и весь уезд знает как свои пять пальцев.

— Вот, — говорю, — какое дело, и пустое, да и мудреное, — и рассказал ему свое поручение.

Петр Ананьич слушал меня внимательно и во время рассказа несколько раз улыбался; а когда я кончил, проговорил только:

— Это, парень, не пустое дело.

— А вы знаете Дена?

— Как, сударь, не знать!

— Ну, что о нем скажете?

— Да что ж о нем сказать? — проговорил старик, разведя руками, — хороший барин.

— Хороший?

— Да как же не хороший!

— Честный?

— И покору ему этим нет.

— Строг уж, что ли, очень?

— Ничего ни капли не строг он.

— Что ж это, с чего на него жалуются-то?

— А как тебе сказать... очень хорош, — похуже надо, вот и жалобы. Не по нутру мужикам.

— Да отчего не по нутру-то?

— Порядки спрашивает, порядки, а мы того терпеть не любим.

— Работой, что ли, отягощает? — все добиваюсь я у Рукавичникова.

— Ну какое отягощение! Вдвое против прежнего им теперь легче... А! да вот постой! вон мужичонко рахмановский чего-то приплелся. Ей! Филат! Филат! — крикнул в форточку Рукавичников. — Вот сейчас гусли заведем, — прибавил он, закрыв окно и снова усевшись за столик.

В комнату влез маленький подслеповатый мужичок с гноящимися глазками и начал креститься на образа.

— Здравствуй, Филат Егорыч! — сказал Рукавичников, дав мужику окреститься.

— Здравствуй, батюшка Петр Ананьич.

— Как живешь-можешь?

— Ась?

— Как, мол, живешь?

— А! Да все сла те богу живем.
— Дома все ли здорово?
— Ничего будто, Петр Ананьич; ничего.
— Всем, значит, довольны?
— Ась?
— Всем, мол, довольны?
— И-и! Чем довольными-то нам быть.
— Что ж худо?
— Да все бог его знает; будто как не вольготно показывается.
— Управитель, что ль, опять?
— Да, а то кто ж!
— Аль чем изобидел?
— Вот завод затеял строить.
— Ну?
— Ну и в заработки на Украйну не пущает.
— Никого?
— Ни одного плотника не пустил.
— Это нехорошо.
— Какое ж хорошество! Барину жалились; два прошения послали, да все никакой еще лизируции нет.
— Поди ж ты горе какое! — заметил Рукавичников.
— Да. Так вот и маемся с эстаким с ворогом.
— Видите, какой мошенник ваш Ден! — сказал, обратясь ко мне, Рукавичников.
Мужик в меня воззрился.
— А вот теперь я вам расскажу, — продолжал мой хозяин, — какой мошенник вот этот самый Филат Егорыч.
Мужик не обнаружил никакого волнения.
— Господин Ден, ихний управляющий, человек добрейшей души и честнейших правил...
— Это точно, — встрел мужичок.
— Да. Но этот господин Ден с ними не умеет ладить. Всё какие-то свои порядки там заводит; а по-моему, не порядки он заводит, а просто слабый он человек.
— Это как есть слабый, — опять подсказал мужичок.
— Да. Он вот у них другой год, а спросите: тронул ли он кого пальцем? Что, правду говорю или вру?
— Это так.
— Вот изволите видеть, им это не нравится. Наказания его всё мягкие, да и то где-где соберется; работа урочная, но легкая: сделай свое и иди куда хочешь.

— Ступай, значит.

— Что?

— Сделамши свое, — ступай, говорю, куда хочешь, — повторил мужичок.

— Да. Ну-с, а они вот на него жалобы строчат.

Мужик молчал.

— Ну а на заработки-то он их зачем же не пускает? — говорил я.

— Не пускает-с, не пускает. А вы вот извольте расспросить Филата Егоровича: много ли ему его сыночек за два года из работы принес. Расскажи-ка, Филат Егорыч.

Мужичок молчал.

— А принес ему, сударь мой, его сыночек украинскую сумку, а в ней сломанную аглицкую рубанку, а молодой хозяйке с детками французский подарочек, от которого чуть у целой семьи носы не попроваливались. Вру, что ль? — опять обратился Рукавичников к мужичку.

— Нет, это было.

— Да, было. Ну-с, а Стюарт Яковлевич задумал завод винный построить. Я его за это хвалю; потому что он не махину какую заводит, а только для своего хлеба, чтоб перекурить свой хлеб, а бардой скотинку воспитать. Приходили к нему разные рядчики. Брали всю эту постройку на отряд за пять тысяч, он не дал. Зачем он не дал?

— Мы этого знать не могим, — отвечал Филат Егорыч.

— Нет, врешь, брат, — знаешь. Он вам высчитывал, что́ с него чужие просят за постройку; выкладал, почем вам обходится месяц платою у подрядчика, и дал вам рублем на человека в месяц дороже, только чтоб не болтались, а дома работали.

— Это такая говорка точно была.

— То-то, а не не могим знать. Ну а они вот теперь небось настрочили, что на работу не пущает, все на заводе морит; а насчет платы ни-ни-ни. Так, что ль?

— Не знаю я этого.

— Да уж это как водится. Вот вам и Филат Егорыч, старый мой друг и приятель! Любите-жалуйте его.

Мужичок осклабился.

— А вот меня бы вам в управители! — шутливо продолжал Рукавичников. — А приняли б вы меня?

— Да с чего ж?

— И никогда бы мы не ссорились; все бы у нас по-любезному пошло. Потому что порядок бы у нас душевный был. Ты, Филат Егорыч, пробаловался — на клин тебя, молодой парень какой где проворовался или что другое — за виски его посмыкал; раздобылся чем таким на Украйне, вроде вот Филата Егорыча сынка, ну — в больницу его, а потом покропил березовым кропильцем, да и опять пущай. Так, что ли, Филат Егорыч?

— По-нашему так.

— Ну вот! Ведь я знаю.

Мужичка отпустили.

— Что же это такое однако? — спрашивал я Рукавичникова.

— А вот видишь сам, сударь мой. Господин Ден человек хороший, да мой бы совет ему уходить отсюда, а не то они ему подведут машину.

Рассказал я это дело губернатору во всей подробности. Губернатор просто на стену прыгает: сам он был администратор и несказанно восхитился, что в его губернии завелся такой сельский администратор, как Стюарт Яковлевич Ден.

6

В пятницу на масленице у губернатора были званые блины. Весь город почти собрался. За столом дежурный чиновник подал губернатору конверт. Губернатор сорвал печать, прочел бумагу и отпустил дежурного с словом: хорошо! Но видно было, что что-то совсем не хорошо.

Вставши из-за стола, губернатор поговорил кое с кем из гостей и незаметно вышел с правителем в кабинет, а через четверть часа и меня туда позвали. Губернатор стоял, облокотясь на свою конторку, а правитель что-то писал за его письменным столом.

— Скверное дело случилось, — сказал губернатор, обратясь ко мне. — В Рахманах бунт.

— Как бунт?

— Да вот читайте.

Губернатор подал мне с конторки бумагу, полученную им за обедом. Это было донесение к — ского исправника, писавшего, что вчера рахманские мужики взбунтовались

против своего управителя, сожгли его дом, завод и мельницы, а самого управляющего избили и выгнали вон.

— Я сейчас посылаю вас в Рахманы, — сказал губернатор, когда я пробежал донесение исправника. — Сейчас получите открытое предписание к инвалидному начальнику, берите команду; делайте чтó нужно, но чтоб бунта не было и чтоб виновные были открыты. Собирайтесь скорее, чтоб к утру быть на месте и идти по горячим следам.

— Позвольте мне не брать команды, — сказал я губернатору. — Я там всех знаю и надеюсь без команды исполнить ваше поручение: команда мне только помешает.

— Это как знаете, но про всякий случай возьмите предписание к инвалидному начальнику.

Я поклонился и вышел, а через четыре часа уже пил чай у к—ского исправника, с которым должен был вместе ехать в Рахманы. От города К. до Рахманов всего верст пятнадцать, и мы приехали туда ночью. Остановиться было негде. Управительский дом, контора, людская, прачечная, мастерские — все было сожжено вместе с заводом и мельницами, и по черным грудам теплого пепелища еще кое-где вились синие струйки дыма от тлеющих головней. Поместились в избе у старосты и послали за становым. Утром ранехонько прибежал становой и привез с собой рахмановского мужика, Николая Данилова, взятого им вчера под арест по подозрению в поджоге завода и в возмущении крестьян к бунту.

— Что ж вы узнали? — спрашиваю я станового.

— Поджог был-с.

— Отчего вы это думаете?

— Загорелись ночью нежилые строения, и все сразу.

— Кого же вы подозреваете в поджоге?

Становой развел руками с выражением полнейшего недоумения.

— По какому поводу вы арестовали этого мужика?

— Николая Данилова-то-с?

— Да.

— Да так. Он был наказан в этот день Деном, грубил ему и к тому же ночью оставался у завода, который почти прежде всего вспыхнул.

— И только?

— Да, только-с. Других указаний нет. Мужики все запираются.

— Вы допрашивали кого-нибудь?

— Делал дознание.

— И ничего не узнали?

— Ничего пока.

Вошел староста и остановился у порога.

— Что скажешь, Лукьян Митрич? — спросил я.

— К твоей милости.

— То-то, почто к моей милости?

— Мужики собрались.

— Кто ж тебе приказывал их собирать?

— Сами собрались; хотят с тобой гуторить.

— Где ж они?

— Да вот туточка.

Староста указал на окно. Против окна стояла огромная толпа крестьян. Были и старики, и молодые, и середовые мужики; все стояли смирно, в шапках, у некоторых были палки.

— Ого! сколько их, — сказал я, сохраняя все возможное спокойствие.

— Вся отчина, — заметил староста.

— Ну поди, Митрич, скажи им, что сейчас оденусь и выйду.

Староста ушел.

— Не ходите! — сказал мне становой.

— Отчего?

— Долго ль до греха.

— Ну, уж теперь поздно. Избяная дверь не спасет: если пришли недаром, так и в избе найдут.

Надел я шубу и вместе с исправником и с становым вышел на крылечко. Толпа зашаталась, шапки понемногу стали скидываться с голов, но нехотя, не разом, и несколько человек в задних рядах вовсе не скинули шапок.

— Здравствуйте, ребятушки! — сказал я, сняв шапку.

Мужики поклонились и прогудели: «Доброго здоровья!»

— Накройтесь, ребята; холодно.

— Ничего, — опять прогудели мужики, и остальные шапки с голов исчезли.

— Пожалуйста, покройтесь.

— Мы и так постоим.

— Наше дело привычное.

— Ну так я вам велю накрыться.

— Велишь, такое дело.

Один-два мужика надели шапки, за ними надели и остальные.

Успокоился я. Вижу, что не ошибся, не взяв команды.

У самого крыльца стояли сани парой, и на них сидел Николай Данилов, с ногами, забитыми в березовую колодку. Он в черной свите, подпоясан веревкой и на голове меховая шапка. На вид ему лет тридцать пять, волосы темнорусые, борода клинушком, взгляд тревожный и робкий. Вообще лицо выражает какую-то задавленность, но спокойно и довольно благообразно, несмотря на разбитую губу и ссадину на левой скуле. Он сидит без движения и смотрит то на меня, то на толпу.

— Что же вам, ребята, от меня желается? — спросил я сходку.

— Это ты будешь от губернатора-то? — спросил меня середовой мужик из переднего ряда.

— Я.

— Ты чиновник?

— Чиновник.

— Губернаторский?

— Да.

— Ну-к мы с тобой хотим побалакать.

— Извольте. Я вот слушаю.

— Нет, ты сойди оттолева, с крыльца-то. Мы с тобой с одним хотим погуторить.

Я не задумываясь вошел в толпу, которая развернулась, приняла меня в свои недра и тотчас же опять замкнулась, отрезав меня, таким образом, от исправника и станового.

Середовой мужик, пригласивший меня сойти, стоял передо мною.

— Ну о чем будем говорить? — спросил я.

— Мы потому тебя сюда и истребовали, что ты наш, тутошний, притоманный.

— О чем же хотели говорить?

— Да вот по этому делу-то.

Послышалось несколько вздохов со всех сторон.

— Зачем вы выгнали управителя?

— Он сам уехал.

— Еще бы! как вы его мало что не убили.

Молчат.

— Что теперь будет-то?

— Вот то-то мы тебя и потребовали, чтоб ты нам рассказал: что нам будет?

— Каторга будет.

— За управителя-то?

— Да, за управителя; за поджог; за бунт: за все разом.

— Бунта никакого не было, — проговорил кто-то.

— Да это что, ребята! отпираться теперь нечего, — сказал я. — Дела налицо; сами за себя говорят. Будете запираться, пойдут допросы да переспросы, разовретесь и все перепутаетесь. А вы б подумали, нельзя ли как этому делу поумней пособить.

— Это точно, — буркнули опять несколько голосов.

— То-то и есть. А теперь прощайте! Говорить нам, стало, уж не о чем.

Я тронул рукою одного мужика, он посторонился, а за ним и другие дали мне дорогу.

7

Начались допросы. Первого стали спрашивать Николая Данилова. Перед допросом я велел снять с него колодку. Он сел на лавку и равнодушно смотрел, как расклиняли колодку, а потом так же равнодушно встал и подошел к столу.

— Что, дядя Николай! Экое дело вы над собой сделали! — сказал я арестанту.

Николай Данилов утер рукавом нос и ни слова не ответил.

— Что ж ты за себя скажешь?

— Что говорить-то? Нечего говорить, — произнес он с сильным дрожанием в голосе.

— Да говори, брат: как дело было?

— Я ведь этого дела не знаю и ни в чем тут не причинен.

— Ну расскажи, что знаешь.

— Я только всего и знаю, что̀ с самим со мной было.

— Ну, что с тобой было?

— Озорничал надо мной управитель.

— Как же он озорничал?
— Да как ему хотелось.
— Бил, что ль?
— Нет, бить не бил, а так... донимал очень.
— Что ж он над тобой делал?
— Срамил меня несносно.
— Как же так срамил он тебя?
— Он ведь на это документчик у нас.
— Да ты говори, Николай, толком, а то я и отступлюсь от тебя, — сказал я, махнув рукой.
Николай подумал, постоял и сказал:
— Позвольте сесть. У меня ноги болят от колодки.
— Садись, — сказал я и велел подать обвиняемому скамейку.
— Просился я в работу, — начал Николай Данилов, — просился со всеми ребятами еще осенью; ну он нас в те поры не пустил. А мне бесприменно надыть было сходить в Черниговскую губернию.
— Деньги, что ли, остались за кем там?
— Нет.
— Что же?
— Так; другое дело было.
— Ну!
— Ну не пустил. Заставил на заводе работать. Я поработал неделю, да и ушел.
— Куда?
— Да туда ж, куда сказывал.
— В Черниговскую губернию?
— Ну да.
— Что ж у тебя за дело такое там было?
— Водку дешевую пить, — подсказал становой.
Николай ничего не отвечал.
— Ну что ж дальше было?
— А дальше зариштовали меня в Корилевце, да пригнали по пересылке в наш город, и, пригнамши, сдали управителю.
— Без наказания?
— Нет, наказали, а опосля ему отдали. Он меня сичас опять на работу приставил, а я тут-то ден десять назад опять ушел, да зашел в свою деревню, в Жогово. Ну, там меня бурмистр сцапал, да опять к управителю назад.

— Что ж он, как привезли тебя к нему?
— Велел на угле сидеть.
— Как на угле?
— А так. Ребята, значит, работают, а я чтоб на угле, на срубе перед всем перед миром сложимши руки сидел. Просил топора, что давайте рубить буду. «Нет, говорит, так сиди».
— Ну, ты и сидел?
— Я опять ушел.
— Зачем же?
— Да я ему молился, говорил: позвольте, стану работать. Не позволил. «Сиди, говорит, всем напоказ. Это тебе наказание». — «Коли, говорю, хотите наказывать, так высеките, говорю, меня, чем буду сидеть всем на смех». Не уважил, не высек. Как зазвонили на обед, ребята пошли обедать, и я ушел, да за деревней меня нагнали.
— Ну?
— Ну, тут-то уж он меня и обидел больше.
— Чем же?
Мужик законфузился и отвечал:
— Я этого не могу сказать.
— Да, а нужно, — говорю, — сказать.
— На нитку привязал.
— Как на нитку?
— Так, — покраснев до ушей, нараспев проговорил Николай Данилов. — Привел к заводу, велел лакею принести из барских хором золотое кресло; поставил это кресло против рабочих, на щепе посадил меня на него, а в спинку булавку застремил да меня к ней и привязал, как воробья, ниточкой.
Все засмеялись, да и нельзя было не смеяться, глядя на рослого, здорового мужика, рассказывающего, как его сажали на нитку.
— Ну, и долго ты сидел на нитке?
Николай Данилов вздохнул и обтерся. У него даже пот проступил при воспоминании о нитке.
— Так целый день вроде воробья и сидел.
— А вечером пожар сделался?
— Ночью, а не вечером. В третьи петухи, должно, загорелось.

— А ты как о пожаре узнал?

— Крик пошел по улице, я услыхал; вот и все.

— А до тех пор, пока крик-то пошел, — спрашиваю его, — ты где был?

— Дома, спал под сараем.

Говорит это покойно, но в глаза не смотрит.

— Ну, а управителя, — спрашиваю, — как выгнали?

— Я этого ведь не знаю ничего.

— Да ведь, чай, видел, как его перед заводом на кулаки-то подняли?

Молчит.

— Ведь тут уж все были?

— Все.

— И все, должно быть, били?

— Должно, что так.

— И ты поукладил?

— Нет, я не бил.

— Ну, а кто же бил?

— Все били.

— А ты никого не заприметил?

— Никого.

Взяли Николая Данилова в сторону и начали допрашивать ночных сторожей, десятников, Николаевых семейных, соседей и разных, разных людей. В три дня показаний сто сняли. Если б это каждое показание записать, то стопу бы целую исписал, да хорошо, что незачем было их записывать; все как один человек. Что первый сказал, то и другие. А первый объяснил, что причины пожара он не знает; что, может, это и заподлинно поджог, но что он сам в поджоге не участвовал и подозрения ни на кого не имеет, опричь как разве самого управителя, потому что он был человек язвительный, даже мужиков на нитку вроде воробьев стал привязывать. Управителя же никто не выгонял, а он сам по доброй воле выехал, так как неприятность ему была: кто-то его на пожаре побил.

— Кто ж бил-то?

— Не знаем.

— А за что?

— Должно, за его язвительность, потому уж очень он нас донял: даже на нитку вроде воробьев стал привязывать.

Следующие девяносто девять показаний были дословным повторением первого и записывались словами: «Иван Иванов Сушкин, 43 лет, женат, на исповеди бывает, а под судом не был. Показал то же, что и Степан Терехов».

8

Вижу, пойдет из этого дело ужасное. Подумал я, подумал и велел Николая Данилова содержать под присмотром, а становому с исправником сказал, что на три дня еду в О—л. Приехал, повидался с правителем, и пошли вместе к губернатору. Тот пил вечерний чай и был в духе. Я ему рассказал дело и, придавая всему, сколько мог, наивный характер, убедил его, что собственно никакого бунта не было и что если бы князь Кулагин захотел простить своих мужиков, то дело о поджоге можно бы скрыть, и не было бы ни следствия, ни экзекуции, ни плетей, ни каторжной работы, а пошел бы старый порядок и тишина.

Слова «порядок и тишина» так понравились губернатору, что он походил, подумал, потянул свою нижнюю губу к носу и сочинил телеграмму в шестьдесят слов к князю. Вечером же эта телеграмма отправлена, а через два дня пришел ответ из Парижа. Князь телеграфировал, что он дает мужикам амнистию, с тем чтобы они всем обществом испросили у г-на Дена прощение и вперед не смели на него ни за что жаловаться.

Приехал я с этой амнистией в Рахманы, собрал сходку и говорю:

— Ребята! так и так, князь вас прощает. Я просил за вас губернатора, а губернатор — князя, и вот от князя вам прощение, с тем чтобы вы тоже выпросили себе прощение у управителя и вперед на него не жаловались понапрасну.

Кланяются, благодарят.

— Ну, как же? Надо вам выбрать ходоков и послать в город к управителю с повинной.

— Выберем.

— Нужно это скоро сделать.

— Нынче пошлем.

— Да уж потом не дурачиться.

— Да мы неш сами рады! Мы ему ничего; только бы его от нас прочь.

— Как же прочь! Князь разумеет, что вы теперь будете жить с Деном в согласии.

— Это опять его, значит, к нам? — спросили разом несколько голосов.

— Да, а то что ж я вам говорил?

— Та-ак-то! Нет; мы на это не согласны.

— Вы ж сами хотели нынче же послать ходоков просить у него прощения.

— Да мы прощения попросим, а уж опять его к себе принять не согласны.

— Так следствие будет.

— Ну, что́ будет, то нехай будет; а нам с ним никак нельзя обиходиться.

— Что вы врете! Одумайтесь: вас половину поссылают.

— Нет! нам с ним невозможно. Нам куда его, такого ворога, девать некуда нам его.

— Да чем он вам ворог?

— Как же чего еще не ворог! Мужика на нитку, как воробья, привязывал, да еще не ворог?

— Да забудьте вы эту дурацкую нитку! Эка штука большая! Небось лучше бывало при самом князе? Не издыхали, садовые дорожки подчищавши; не гляживали, как вороные на конюшне стоят?

— Ну, дарма. Он господин, его была и воля; а уж этакого, как управитель, он все ж не делал. Господи помилуй! — на нитку вроде воробья сажать... чего мы над собой, сроду родясь, не видывали.

— Подумайте, ребята!

— Что думать! думано уж. С ним до греха еще хуже дождешься.

— Ну, он уж не будет вас на нитку привязывать. Я вам ручаюсь.

— Он другое измыслит над нами не хуже этого.

— Что ему измышлять?

— Он язвительный человек такой.

— Полноте, ребята. Надо губернатору ответ дать.

Пауза.

— Что ж! Мы прощенья просить готовы.

— А управителя примете?
— Этого нельзя сделать.
— Да отчего нельзя-то?
— Он язвительный.

. . . .
. . . .

Ничего больше от рахмановских мужиков не добились, и пошло уголовное дело, по которому трое сослано в каторжную работу, человек двенадцать в арестантские роты, остальные же высечены при земском суде и водворены на жительстве.

ОВЦЕБЫК

РАССКАЗ

Питается травою, а при недостатке ее и лишаями.

Из зоологии.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда я познакомился с Василием Петровичем, его уже звали «Овцебыком». Кличку эту ему дали потому, что его наружность необыкновенно напоминала овцебыка, которого можно видеть в иллюстрированном руководстве к зоологии Юлиана Симашки. Ему было двадцать восемь лет, а на вид казалось гораздо более. Это был не атлет, не богатырь, но человек очень сильный и здоровый, небольшого роста, коренастый и широкоплечий. Лицо у Василия Петровича было серое и круглое, но кругло было только одно лицо, а череп представлял странную уродливость. С первого взгляда он как будто напоминал несколько кафрский череп, но, всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему. Прическу он носил такую, как будто нарочно хотел ввести всех в заблуждение о фигуре своего «верхнего этажа». Сзади он очень коротко выстригал весь затылок, а напереди от ушей его темнокаштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василий Петрович обыкновенно крутил эти косицы, и они постоянно лежали свернутыми валиками на его висках, а на щеках загинались, напоминая собою рога того животного, в честь которого он получил свою кличку. Этим косицам Василий Петрович более всего был обязан своим сходством с овцебыком. В фигуре Василия Петровича, однако, не было ничего смешного. Человек, который встре-

чался с ним в первый раз, видел только, что Василий Петрович, как говорится, «плохо скроен, да крепко сшит», а вглядевшись в его карие, широко расставленные глаза, нельзя было не видать в них здорового ума, воли и решительности. Характер Василия Петровича имел много оригинального. Отличительною его чертою была евангельская беззаботливость о себе. Сын сельского дьячка, выросший в горькой нужде и вдобавок еще рано осиротевший, он никогда не заботился не только о прочном улучшении своего существования, но даже никогда, кажется, не подумал о завтрашнем дне. Ему отдавать было нечего, но он способен был снять с себя последнюю рубашку и предполагал такую же способность в каждом из людей, с которыми сходился, а всех остальных обыкновенно называл кратко и ясно «свиньями». Когда у Василия Петровича не было сапогов, то есть если сапоги его, как он выражался, «совсем разевали рот», то он шел ко мне или к вам, без всякой церемонии брал ваши запасные сапоги, если они ему кое-как всходили на ногу, а свои осмётки оставлял вам на память. Дома ли вы или нет, Василию Петровичу это было все равно: он располагался у вас по-домашнему, брал, что ему нужно, всегда в возможно малом количестве, и иногда при встрече говорил, что он взял у вас табаку, или чаю, или сапоги, а чаще случалось, что и ничего не говорил о таких мелочах. Новой литературы он терпеть не мог и читал только евангелие да древних классиков; о женщинах не мог слышать никакого разговора, почитал их всех поголовно *дурами* и очень серьезно жалел, что его старуха мать — женщина, а не какое-нибудь бесполое существо. Самоотвержение Василия Петровича не имело границ. Он никогда не показывал кому-нибудь из нас, что он кого-нибудь любит; но все очень хорошо знали, что нет жертвы, которой бы Овцебык не принес для каждого из своих присных и знаемых. В готовности же его жертвовать собою за избранную идею никому и в голову не приходило сомневаться, но идею эту нелегко было отыскать под черепом нашего Овцебыка. Он не смеялся над многими теориями, в которые мы тогда жарко верили, но глубоко и искренно презирал их.

Разговоров Овцебык не любил, делал все молча, и делал именно то, чего вы в данную минуту менее всего могли от него ожидать.

Как и почему он сошелся с маленьким кружком, к которому принадлежал и я во время моего непродолжительного житья в нашем губернском городе, — я не знаю. Овцебык года за три перед моим приездом окончил курс в курской семинарии. Мать, кормившая его крохами, сбираемыми ради христа, с нетерпением ждала, когда сын сделается попом и заживет на приходе с молодою женою. Но у сына и мысли не было о молодой жене. Жениться Василий Петрович не имел ни малейшего желания. Курс был окончен; мать все осведомлялась о невестах, а Василий Петрович молчал и в одно прекрасное утро исчез неизвестно куда. Только через полгода прислал он матери двадцать пять рублей и письмо, в котором уведомлял нищенствующую старуху, что он пришел в Казань и поступил в тамошнюю духовную академию. Как он дошел до Казани, отломав более тысячи верст, и каким образом достал двадцать пять рублей — это осталось неизвестным. Овцебык ни слова не написал об этом матери. Но не успела старуха порадоваться, что ее Вася будет когда-нибудь архиереем и она будет тогда жить у него в светлой комнатке с белой печкою и всякий день по два раза пить чай с изюмом, Вася как будто с неба упал — нежданно-негаданно снова явился в Курске. Много его расспрашивали: что такое? как? отчего он вернулся? но узнали немного. «Не поладил», — коротко отвечал Овцебык, и больше от него ничего не могли добиться. Только одному человеку он сказал немножко более: «Не хочу я быть монахом», а больше уж никто от него ничего не добился.

Человек, которому Овцебык сказал более, чем всем прочим, был Яков Челновский, добрый, хороший малый, неспособный обидеть мухи и готовый на всякую службу ближнему. Челновский доводился мне родственником в каком-то далеком колене. У Челновского я и познакомился с коренастым героем моего рассказа.

Это было летом 1854 года. Мне нужно было хлопотать по процессу, производившемуся в курских присутственных местах.

В Курск я приехал в семь часов утра в мае месяце, прямо к Челновскому. Он в это время занимался приготовлением молодых людей в университет, давал уроки русского языка и истории в двух женских пансионах и жил

не худо: имел порядочную квартиру в три комнаты с передней, изрядную библиотеку, мягкую мебель, несколько горшков экзотических растений и бульдога Бокса, с оскаленными зубами, весьма неприличной турнюрой и походкой, которая слегка смахивала на канкан.

Челновский чрезвычайно обрадовался моему приезду и взял с меня слово непременно остаться у него на все время моего пребывания в Курске. Сам он обыкновенно бегал целый день по урокам, а я то навещал гражданскую палату, то бродил без цели около Тускари или Сейма. Первую из этих рек вы совсем не встретите на многих картах России, а вторая славится особенно вкусными раками, но еще бóльшую известность она приобрела через устроенную на ней шлюзовую систему, которая поглотила огромные капиталы, не освободив Сейма от репутации реки, «неудобной к судоходству».

Прошло недели две со дня приезда в Курск. Об Овцебыке никогда не заходило никакой речи, я и не подозревал вовсе существования такого странного зверя в пределах нашей черноземной полосы, изобилующей хлебом, нищими и ворами.

Однажды, усталый и измученный, возвратился я домой часу во втором пополудни. В передней меня встретил Бокс, стороживший наше жилище гораздо рачительнее, чем восемнадцатилетний мальчик, состоявший в должности нашего камердинера. На столе в зале лежал суконный картуз, истасканный донельзя; одна грязнейшая подтяжка с надвязанным на нее ремешком, просаленный черный платок, свитый жгутом, и тоненькая палочка из лесной орешины. Во второй комнате, заставленной книжными шкафами и довольно щеголеватою кабинетною мебелью, сидел на диване запыленный донельзя человек. На нем были ситцевая розовая рубашка и светло-желтые панталоны с протертыми коленями. Сапоги незнакомца были покрыты густым слоем белой шоссейной пыли, а на коленях у него лежала толстая книга, которую он читал, не нагиная головы. При входе моем в кабинет запыленная фигура бросила на меня один беглый взгляд и опять устремила глаза в книгу. В спальне все было в порядке. Полосатая холстинковая блуза Челновского, в которую он облачался тотчас по возвращении домой, висела на своем месте и свидетельствовала, что хозяина нет дома. Никак я не мог

отгадать, кто этот странный гость, расположившийся так бесцеремонно. Свирепый Бокс смотрел на него как на своего человека и не ласкался только потому, что нежничанье, свойственное собакам французской породы, не в характере псов англо-саксонской собачьей расы. Прошел я опять в переднюю, имея две цели: во-первых, расспросить мальчика о госте, а во-вторых — вызвать своим появлением на какое-нибудь слово самого гостя. Мне не удалось ни то, ни другое. Передняя по-прежнему была пуста, а гость даже не поднял на меня глаз и спокойно сидел в том же положении, в котором я его застал пять минут назад. Оставалось одно средство: непосредственно обратиться к самому гостю.

— Вы, верно, Якова Иваныча дожидаете? — спросил я, остановясь перед незнакомцем.

Гость лениво взглянул на меня, потом встал с дивана, плюнул сквозь зубы, как умеют плевать только великорусские мещане да семинаристы, и проговорил густым басом: «Нет».

— Кого же вам угодно видеть? — спросил я, удивленный странным ответом.

— Я просто так зашел, — отвечал гость, шагая по комнате и закручивая свои косицы.

— Позвольте же узнать, с кем я имею честь говорить?

При этом я назвал свою фамилию и сказал, что я родственник Якова Ивановича.

— А я так просто, — отвечал гость и опять взялся за свою книгу.

Тем разговор и покончился. Оставив всякую попытку разрешить для себя появление этой личности, я закурил папироску и лег с книгою в руках на свою постель. Когда придешь из-под солнечного припека в чистую и прохладную комнату, где нет докучных мух, а есть опрятная постель, необыкновенно легко засыпается. В этот раз я дознал это на опыте и не заметил, как книга выскользнула у меня из рук. Сквозь сладкий сон, которым спят люди, полные надежд и упований, я слышал, как Челновский читал мальчику нотацию, к которым тот давно привык и не обращал на них никакого внимания. Полное же мое пробуждение совершилось только, когда мой родственник вошел в кабинет и крикнул:

— А! Овцебык! Какими судьбами?

— Пришел, — ответил гость на оригинальное приветствие.

— Знаю, что пришел, да откуда же? где побывал?

— Отсюда не видать.

— Эко шут какой! А давно припожаловать изволил? — спросил снова своего гостя Яков Иванович, входя в спальню. — Э! да ты спишь, — сказал он, обращаясь ко мне. — Вставай, брат, я тебе зверя покажу.

— Какого зверя? — спросил я, еще не совсем возвратясь к тому, что называют бдением, от того, что называется сном.

Челновский ничего мне не ответил, но снял сюртук и накинул свою блузу, что было делом одной минуты, вышел в кабинет и, таща оттуда за руку моего незнакомца, комически поклонился и, показывая рукою на упиравшегося гостя, проговорил:

— Честь имею рекомендовать — Овцебык. Питается травою, а при недостатке ее может есть лишаи.

Я встал и протянул руку Овцебыку, который в продолжение всей рекомендации спокойно смотрел на густую ветку сирени, закрывавшей отворенное окно нашей спальни.

— Я вам уже рекомендовался, — сказал я Овцебыку.

— Слышал я это, — отвечал Овцебык, — а я кутейник Василий Богословский.

— Как, рекомендовался? — спросил Яков Иванович. — Разве вы уже виделись?

— Да, я застал здесь Василья... я не имею чести знать, как по батюшке?

— Петров был, — отвечал Богословский.

— Это он был, а теперь зови его просто «Овцебык».

— Мне все равно, как ни зовите.

— Э, нет, брат! Ты Овцебык есть, так тебе Овцебыком и быть.

Сели за стол. Василий Петрович налил себе рюмку водки, вылил ее в рот, подержав несколько секунд за скулою, и, проглотив ее, значительным образом взглянул на стоящую пред ним тарелку супу.

— А студеню нет разве? — спросил он хозяина.

— Нет, брат, нету. Не ждали сегодня гостя дорогого, — отвечал Челновский, — и не приготовили.

— Сами могли есть.

— Мы и суп можем есть.

— Соусники! — прибавил Овцебык. — И гуся нет? — спросил он с еще бо́льшим удивлением, когда подали зразы.

— И гуся нет, — отвечал ему хозяин, улыбаясь своей ласковой улыбкой. — Завтра будет тебе и студень, и гусь, и каша с гусиным салом.

— Завтра — не сегодня.

— Ну что ж делать? А ты, верно, давно не ел гуся?

Овцебык посмотрел на него пристально и с выражением какого-то удовольствия проговорил:

— А ты спроси лучше, давно ли я что-нибудь ел.

— Ну-у!

— Четвертого дня вечером калач в Севске съел.

— В Севске?

Овцебык утвердительно махнул рукой.

— А ты чего был в Севске?

— Проходом шел.

— Да где же это тебя носило?

Овцебык остановил вилку, которою таскал в рот огромные куски зраз, опять пристально посмотрел на Челновского и, не отвечая на его вопрос, сказал:

— Аль ты нынче табак нюхал?

— Как табак нюхал?

Челновский и я расхохотались странному вопросу.

— Так.

— Да говори, милый зверь!

— Что язык-то у тебя свербит нынче.

— Да как же не спросить? Ведь целый месяц пропадал.

— Пропадал? — повторил Овцебык. — Я, брат, не пропаду, а пропаду, так не задаром.

— Проповедничество нас заело! — отозвался ко мне Челновский. — «Охота смертная, а участь горькая!» На торжищах и стогнах проповедовать в наш просвещенный век не дозволяется; в попы мы не можем идти, чтобы *не прикоснуться жене, аки сосуду змеину,* а в монахи идти тоже что-то мешает. Но уж что именно такое тут мешает — про то не знаю.

— И хорошо, что не знаешь.

— Отчего же хорошо? Чем больше знать, тем лучше.

— Поди сам в монахи, так и узнаешь.

— А ты не хочешь послужить человечеству своим опытом?

— Чужой опыт, брат, — пустое дело, — сказал оригинал, встав из-за стола и обтирая себе салфеткой целое лицо, покрывшееся пòтом от усердствования за обедом. Положив салфетку, он отправился в переднюю и достал там из своего пальто маленькую глиняную трубочку с черным обгрызанным чубучком и ситцевый кисетик; набил трубку, кисет положил в карман штанов и направился снова к передней.

— Кури здесь, — сказал ему Челновский.

— Расчихаетесь неравно. Головы заболят.

Овцебык стоял и улыбался. Я никогда не встречал человека, который бы так улыбался, как Богословский. Лицо его оставалось совершенно спокойным; ни одна черта не двигалась, и в глазах оставалось глубокое, грустное выражение, а между тем вы видели, что эти глаза смеются, и смеются самым добрым смехом, каким русский человек иногда потешается над самим собою и над своею недолею.

— Новый Диоген! — сказал Челновский вслед вышедшему Овцебыку, — все людей евангельских ищет.

Мы закурили сигары и, улегшись на своих кроватях, толковали о различных человеческих странностях, приходивших нам в голову по поводу странностей Василия Петровича. Через четверть часа вошел и Василий Петрович. Он поставил свою трубочку на пол у печки, сел в ногах у Челновского и, почесав правою рукою левое плечо, сказал вполголоса:

— Кондиций искал.

— Когда? — спросил его Челновский.

— Да вот теперь.

— У кого ж ты искал?

— По дороге.

Челновский опять засмеялся; но Овцебык не обращал на это никакого внимания.

— Ну, и что ж бог дал? — спросил его Челновский.

— Нет ни шиша.

— Да шутина ты этакой! Кто же ищет кондиций по дороге?

— Я заходил в помещичьи дома, там спрашивал, — серьезно продолжал Овцебык.

— Ну и что же?

— Не берут.

— Да, разумеется, и не возьмут.

Овцебык посмотрел на Челновского своим пристальным взглядом и тем же ровным тоном спросил:

— Почему же это и не возьмут?

— Потому, что с ветру пришлого человека, без рекомендации, не берут в дом.

— Я аттестат показывал.

— А в нем написано: «поведения довольно изрядного»?

— Ну так что ж? Я, брат, скажу тебе, что это все не оттого, а оттого что...

— Ты — Овцебык, — подсказал Челновский.

— Да, Овцебык, пожалуй.

— Что ж ты теперь думаешь делать?

— Думаю вот еще трубочку покурить, — отвечал Василий Петрович, вставая и снова принимаясь за свой чубучок.

— Да кури здесь.

— Не надо.

— Кури: ведь окно открыто.

— Не надо.

— Да что тебе, первый раз, что ли, курить у меня свой дюбек?

— Им будет неприятно, — сказал Овцебык, показывая на меня.

— Пожалуйста, курите, Василий Петрович; я — человек привыкший; для меня ни один дюбек ничего не значит.

— Да ведь у меня тот дубек, от которого черт убег, — отвечал Овцебык, налегая на букву *у* в слове *дубек,* и в его добрых глазах опять мелькнула его симпатическая улыбка.

— Ну, а я не убегу.

— Значит, вы сильней черта.

— На этот случай.

— Он о силе черта имеет самое высокое мнение, — сказал Челновский.

— Одна баба, брат, только злей черта.

Василий Петрович напихал махоркою свою трубочку и, выпустив из рта тоненькую струйку едкого дыма, осадил пальцем горящий табак и сказал:

— Задачки стану переписывать.

— Какие задачки? — спросил Челновский, приставляя ладонь к своему уху.

— Задачки, задачки семинарские стану, мол, пока переписывать. Ну, тетрадки ученические, не понимаешь, что ли? — пояснил он.

— Понимаю теперь. Плохая, брат, работа.

— Все равно.

— Два целковых в месяц как раз заработаешь.

— Это мне все едино.

— Ну, а дальше что?

— Кондиции мне отыщи.

— Опять в деревню?

— В деревню лучше.

— И опять через неделю уйдешь. Ты знаешь, что он сделал прошлой весной, — сказал, обращаясь ко мне, Челновский. — Поставил я его на место, сто двадцать рублей в год платы, на всем готовом, с тем чтобы он приготовил ко второму классу гимназии одного мальчика. Справили ему все, что нужно, снарядили доброго молодца. Ну, думаю, на месте наш Овцебык! А он через месяц опять перед нами как вырос. Еще за свою науку и белье там оставил.

— Ну так что же, если нельзя было иначе, — сказал, нахмурясь, Овцебык и встал со стула.

— А спроси его, отчего нельзя? — сказал Челновский, снова обращаясь ко мне. — Оттого, что за волосенки пощипать мальчишку не позволили.

— Еще соври! — пробормотал Овцебык.

— Ну, а как же было?

— Так было, что иначе нельзя было.

Овцебык остановился передо мною и, подумав с минутку, сказал:

— Вовсе особое дело было!

— Садитесь, Василий Петрович, — сказал я, подвигаясь на кровати.

— Нет, не надо. Вовсе особое дело, — начал он снова. — Мальчишке пятнадцатый год, а между тем уж он совсем дворянин, то есть бесстыжая шельма.

— Вот у нас как! — пошутил Челновский.

— Да, — продолжал Овцебык. — Повар у них был Егор, молодой парень. Женился он, взял дьячковскую дочь

из нашего духовенного нищенства. Барчонок уж всему был обучен, и давай к ней лязгаться. А бабенка молодая, не из таковских; пожаловалась мужу, а муж — барыне. Та там что-то поговорила сыну, а он опять за свое. Так в другой раз, в третий — повар опять к барыне, что жене отбою нет от барчука, — опять ничего. Взяла меня досада. «Послушайте, — говорю ему, — если вы еще раз защипнете Аленку, так я вас тресну». Покраснел от досады; взыграла благородная кровь, знаете; полетел к мамаше, а я за ним. Гляжу: она сидит в креслах, и тоже вся красная; а сын по-французски ей жалобу на меня расписывает. Как увидела меня, сейчас взяла его за руку и улыбается, черт знает чего. «Полно, говорит, мой друг. Василью Петровичу, верно, что-нибудь показалось; он шутит, и ты докажешь ему, что он ошибается». А сама, вижу, косится на меня. Малец мой пошел, а она, вместо того чтобы поговорить со мною о сыне, говорит: «Какой вы рыцарь, Василий Петрович! Уж не сердечная ли у вас зазнобушка?» Ну, а я этих вещей терпеть не могу, — сказал Овцебык, энергически махнув рукою. — Не могу я этого слушать, — повторил он еще раз, возвысив голос, и снова зашагал.

— Ну, вы тут же и оставили этот дом?

— Нет, через полтора месяца.

— И жили в ладу?

— Ну, я ни с кем не говорил.

— А за столом?

— Я с конторщиком обедал.

— Как с конторщиком?

— Просто сказать, на застольной. Да это мне ничего. Меня ведь обидеть нельзя.

— Как нельзя?

— А разумеется, нельзя... ну, да что об этом толковать... Только сижу я раз после обеда под окном, Тацита читаю, а в людской, слышу, кто-то кричит. Что кричит — не разберу, а голос Аленкин. Барчук, думаю, верно забавляется. Встал, подхожу к людской. Слышу, Аленка плачет и сквозь слезы кричит: «стыдно вам», «бога вы не боитесь» и разное такое. Смотрю, Аленка стоит на чердаке над приставной лестницей, а малец мой под лестницей, так что бабе никак нельзя сойти. Стыдно... ну, знаете, как они ходят... просто. А он еще ее поддразнивает:

«лезь, говорит, а то отставлю лестницу». Зло меня такое взяло, что я вошел в сени, да и дал ему затрещину.

— Такую, что у него из уха и из носа кровь хлынула, — засмеявшись, подсказал Челновский.

— Какая там на его долю выросла.

— Что же вам мать?

— Да я ее после не глядел. Я из людской прямо в Курск пошел.

— Сколько же это верст?

— Сто семьдесят; да хоть бы и тысяча семьсот, так это все равно.

Если бы вы видели в эту минуту Овцебыка, то не усомнились бы, что ему в самом деле *все равно,* сколько верст ни пройти и кому ни дать затрещину, если, по его соображениям, затрещину эту дать следует.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Начался знойный июнь. Василий Петрович являлся к нам аккуратно всякий день часов в двенадцать, снимал свой коленкоровый галстук, подтяжки и, сказав обоим нам «здравствуйте», усаживался за своих классиков. Так проходило время до обеда; после же обеда он закуривал трубочку и, став у окна, обыкновенно спрашивал: «что ж, кондиций?» Прошел месяц с того дня, как Овцебык каждый день повторял этот вопрос Челновскому, и целый месяц всякий раз слышал один и тот же самый неутешительный ответ. Места даже и в виду не было. Василия Петровича, по-видимому, это, однако, нисколько не обходило. Он кушал с прекрасным аппетитом и был постоянно в своем неизменном настроении духа. Только раз или два я видел его раздраженнее обыкновенного; но и эта раздражительность не имела никакого соотношения с положением дел Василия Петровича. Она происходила от двух совершенно сторонних обстоятельств. Раз он встретился с бабой, которая рыдала впричет, и спросил ее своим басом: «Чего, дура, ревешь?» Баба сначала испугалась, а потом рассказала, что у нее изловили сына и завтра ведут его в рекрутский прием. Василий Петрович вспомнил, что делопроизводитель в рекрутском присутствии

был его товарищем по семинарии, сходил к нему рано утром и возвратился необыкновенно расстроенным. Ходатайство его оказалось несостоятельным. В другой раз партию малолетних еврейских рекрутиков перегоняли через город. В ту пору наборы были частые. Василий Петрович, закусив верхнюю губу и подперши фертом руки, стоял под окном и внимательно смотрел на обоз провозимых рекрут. Обывательские подводы медленно тянулись; телеги, прыгая по губернской мостовой из стороны в сторону, качали головки детей, одетых в серые шинели из солдатского сукна. Большие серые шапки, надвигаясь им на глаза, придавали ужасно печальный вид красивым личикам и умным глазенкам, с тоскою и вместе с детским любопытством смотревшим на новый город и на толпы мещанских мальчишек, бежавших вприпрыжку за телегами. Сзади шли две кухарки.

— Тоже, чай, матери где-нибудь есть? — сказала, поровнявшись с нашим окном, одна рослая рябая кухарка.

— Гляди, может и есть, — отвечала другая, запустив локти под рукава и скребя ногтями свои руки.

— И ведь им небось, хоть и жиденята, а жалко их?

— Да ведь что ж, матка, делать!

— Разумеется, а только по материнству-то?

— Да, по материнству, — конечно... своя утроба... А нельзя...

— Конечно.

— Дуры! — крикнул им Василий Петрович.

Женщины остановились, взглянули на него с удивлением, обе враз сказали: «Чего, гладкий пес, лаешься», и пошли дальше.

Мне захотелось пойти посмотреть, как будут ссаживать этих несчастных детей у гарнизонной казармы.

— Пойдемте, Василий Петрович, к казармам, — позвал я Богословского.

— Зачем?

— Посмотрим, что там с ними будут делать.

Василий Петрович ничего не отвечал; но когда я взялся за шляпу, он тоже встал и пошел вместе со мною. Гарнизонные казармы, куда привезли переходящую партию еврейских рекрутиков, были от нас довольно далеко. Когда мы подошли, телеги уже были пусты и дети стояли правильной шеренгой в два ряда. Партионный офицер

с унтер-офицером делал им проверку. Вокруг шеренги толпились зрители. Около одной телеги тоже стояло несколько дам и священник с бронзовым крестом на владимирской ленте. Мы подошли к этой телеге. На ней сидел один больной мальчик лет девяти и жадно ел пирог с творогом; другой лежал, укрывшись шинелью, и не обращал ни на что внимания; по его раскрасневшемуся лицу и по глазам, горевшим болезненным светом, можно было полагать, что у него лихорадка, а может быть тиф.

— Ты болен? — спросила одна дама мальчика, глотавшего куски непережеванного пирога.

— А?

— Болен ты?

Мальчик замотал головой.

— Ты не болен? — опять спросила дама.

Мальчик снова замотал головой.

— Он не конпран-па — не понимает, — заметил священник и сейчас же сам спросил: — Ты уж крещеный?

Ребенок задумался, как бы припоминая что-то знакомое в сделанном ему вопросе, и, опять махнув головой, сказал: «Не, не».

— Какой хорошенький! — проговорила дама, взяв ребенка за подбородок и приподняв кверху его миловидное личико с черными глазками.

— Где твоя мать? — неожиданно спросил Овцебык, дернув слегка ребенка за шинель.

Дитя вздрогнуло, взглянуло на Василия Петровича, потом на окружающих, потом на ундера и опять на Василия Петровича.

— Мать, мать где? — повторил Овцебык.

— Мама?

— Да, мама, мама?

— Мама... — ребенок махнул рукой вдаль.

— Дома?

Рекрут подумал и кивнул головою в знак согласия.

— Памятует еще, — вставил священник и спросил: — Брудеры есть?

Дитя сделало едва заметный отрицательный знак.

— Врешь, врешь, один не берут в рекрут. Врать нихт гут, нейн, — продолжал священник, думая употреблением именительных падежей придать более понятности своему разговору.

— Я бродягес, — проговорил мальчик.

— Что-о?

— Бродягес, — яснее высказал ребенок.

— А, бродягес! Это по-русски значит — он бродяга, за бродяжество отдан! читал я этот закон о них, о еврейских младенцах, читал... Бродяжество положено искоренить. Ну, это и правильно: оседлый сиди дома, а бродяжке все равно бродить, и он примет святое крещение, и исправится, и в люди выйдет, — говорил священник; а тем временем перекличка окончилась, и ундер, взяв под уздцы лошадь, дернул телегу с больными к казарменному крыльцу, по которому длинною вереницею и поползли малолетние рекруты, тянувшие за собою сумочки и полы неуклюжих шинелей. Я стал искать глазами моего Овцебыка; но его не было. Не было его и к ночи, и на другой, и на третий день к обеду. Послали мальчика на квартиру Василия Петровича, где он жил с семинаристами, — и там его не бывало. Маленькие семинаристики, с которыми жил Овцебык, давно привыкли не видать Василия Петровича по целым неделям и не обращали никакого внимания на его исчезновение. Челновский тоже нимало не беспокоился.

— Придет, — говорил он, — бродит где-нибудь или спит во ржи, и ничего больше.

Нужно знать, что Василий Петрович, по собственному его выражению, очень любил «логовища», и логовищ этих у него было довольно много. Кровать с голыми досками, стоявшая на его квартире, никогда долго не покоила его тела. Только изредка, заходя домой, он улаживался на нее, делал мальчикам неожиданный экзамен с каким-нибудь курьезным вопросом в конце каждого испытания, и затем кровать эта опять стояла пустою. У нас он спал редко, и обыкновенно или на крыльце, или если с вечера заходил горячий разговор, не доконченный к ночи, то Овцебык ложился на полу между нашими кроватями, не позволяя себе подостлать ничего, кроме реденького половика. Утром рано он уходил или в поле, или на кладбище. На кладбище он бывал всякий день. Придет, бывало, уляжется на зеленой могиле, разложит перед собою книгу какого-нибудь латинского писателя и читает, а то свернет книгу, подложит ее под голову да смотрит на небо.

— Вы — жилец могил, Василий Петрович! — говорили ему знакомые Челновского барышни.

— Глупости говорите, — отвечал Василий Петрович.

— Вы — упырь, — говорил ему бледный уездный учитель, прослывший за литератора с тех пор, как в губернских ведомостях напечатали его ученую статью.

— Глупости сочиняете, — отвечал Овцебык и ему и опять отправлялся к своим покойникам.

Чудачества Василия Петровича приучили весь небольшой кружок его знакомых не удивляться ни одной его выходке, а потому никто и не удивился его быстрому и неожиданному исчезновению. Но он должен же был возвратиться. Никто и не сомневался, что он возвратится: вопрос был только в том, куда он скрылся? где он скитается? что его так раздражало и чем он врачует себя от этих раздражений? — это были вопросы, разрешение которых представляло для моей скуки довольно большой интерес.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прошло еще три дня. Погода стояла прекрасная. Могучая и щедрая природа наша жила полною своею жизнью. Было новолунье. После жаркого дня наступила светлая, роскошная ночь. В такие ночи курские жители наслаждаются своими курскими соловьями: соловьи свищут им напролет целые ночи, а они напролет целые ночи их слушают в своем большом и густом городском саду. Все, бывало, ходят тихо и молчаливо, и лишь только одни молодые учители жарко спорят «о чувствах высокого и прекрасного» или о «дилетантизме в науке». Жарки бывали эти громкие споры. Даже в самые отдаленные куртины старого сада, бывало, доносятся возгласы: «это дилемма!», «позвольте!», «a priori рассуждать нельзя», «идите индуктивным способом» и т. п. Тогда у нас еще спорили о подобных предметах. Теперь таких споров не слышно. «Что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни». Теперешнее русское среднее общество отнюдь не похоже на то, с которым я жил в Курске в эпоху моего рассказа. Вопросы, занимающие нас те-

перь, тогда еще не поднимались, и во множестве голов свободно и властно господствовал романтизм, господствовал, не предчувствуя приближения новых направлений, которые заявят свои права на русского человека и которые русский человек, известного развития, примет, как он принимает все, то есть не совсем искренно, но горячо, с аффектациею и с пересолом. Тогда еще мужчины не стыдились говорить о чувствах высокого и прекрасного, а женщины любили идеальных героев, слушали соловьев, свиставших в густых кустах цветущей сирени, и всласть заслушивались турухтанов, таскавших их под руку по темным аллеям и разрешавших с ними мудрые задачи *святой любви*.

Мы пробыли с Челновским в саду до двенадцати часов, много хорошего слышали и о высоком и о святой любви и с удовольствием улеглись в наши постели. Огонь у нас был уже погашен; но мы еще не спали и лежа сообщали друг другу свои вечерние впечатления. Ночь была во всем своем величии, и соловей под самым окном громко щелкал и заливался своею страстною песнью. Мы уже собирались пожелать друг другу покойной ночи, как вдруг из-за забора, отделявшего от улицы садик, в который выходило окно нашей спальни, кто-то крикнул: «Ребята!»

— Это — Овцебык, — сказал Челновский, быстро подняв голову с подушки.

Мне показалось, что он ошибся.

— Нет, это Овцебык, — настаивал Челновский и, встав с постели, высунулся в окно.

Все было тихо.

— Ребята! — опять крикнул под забором тот же самый голос.

— Овцебык! — окликнул Челновский.

— Я.

— Иди же.

— Ворота заперты.

— Постучись.

— Зачем будить. Я только хотел узнать, не спите ли?

За забором послышалось несколько тяжелых движений, и вслед за тем Василий Петрович, как куль с землею, упал в садик.

— Экой чертушко! — сказал Челновский, смеясь и смотря, как Василий Петрович поднимался с земли и пробирался к окну сквозь густые кусты акации и сирени.

— Здравствуйте! — весело проговорил Овцебык, показавшись в окне.

Челновский отставил от окна столик с туалетными принадлежностями, и Василий Петрович перенес сначала одну из своих ног, потом сел верхом на подоконник, потом перенес другую ногу и, наконец, совсем явился в комнате.

— Ух! уморился, — проговорил он, снял свое пальто и подал нам руки.

— Сколько верст отмахал? — спросил его Челновский, ложась снова в свою постель.

— В Погодове был.

— У дворника?

— У дворника.

— Есть будешь?

— Если есть что, так буду.

— Побуди мальчика!

— Ну его, сопатого!

— Отчего?

— Пусть спит.

— Да что ты юродствуешь? — Челновский громко крикнул: — Моисей!

— Не буди, говорю тебе: пусть спит.

— Ну, а я не найду, чем тебя кормить.

— И не надо.

— Да ведь ты есть хочешь?

— Не надо, говорю; я вот что, братцы...

— Что, братец?

— Я к вам пришел проститься.

Василий Петрович сел на кровать к Челновскому и взял его дружески за колено.

— Как проститься?

— Не знаешь, как прощаются?

— Куда ж это ты собрался?

— Пойду, братцы, далеко.

Челновский встал и зажег свечу. Василий Петрович сидел, и на лице его выражалось спокойствие и даже счастье.

— Дай-ка мне на тебя посмотреть, — сказал Челновский.

— Посмотри, посмотри, — отвечал Овцебык, улыбаясь своей нескладной улыбкой.

— Что же твой дворник делает?

— Сено и овес продает.

— Потолковали с ним про неправды бессудные, про обиды безмерные?

— Потолковали.

— Что ж, это он, что ли, тебе такой поход насоветовал?

— Нет, я сам надумал.

— В какие ж ты направишься палестины?

— В пермские.

— В пермские?

— Да, чего удивился?

— Что ты забыл там?

Василий Петрович встал, прошелся по комнате, закрутил свои виски и проговорил про себя: «Это уж мое дело».

— Эй, Вася, дуришь ты, — сказал Челновский.

Овцебык молчал, и мы молчали.

Это было тяжелое молчание. И я и Челновский поняли, что перед нами стоит агитатор — агитатор искренний и бесстрашный. И он понял, что его понимают, и вдруг вскрикнул:

— Что ж мне делать! Сердце мое не терпит этой цивилизации, этой нобилизации, этой стерворизации!.. — И он крепко ударил себя кулаком в грудь и тяжело опустился на кресло.

— Да что ж ты поделаешь?

— О, когда б я знал, что с этим можно сделать! О, когда б это знать!.. Я на ощупь иду.

Все замолчали.

— Можно курить? — спросил Богословский после продолжительной паузы.

— Кури, пожалуйста.

— Я здесь с вами на полу прилягу — это будет моя вечеря.

— И отлично.

— Поговорим, — представь... молчу-молчу, и вдруг мне приходит охота говорить.

— Ты чем-нибудь расстроился.

— Ребятенок мне жалко, — сказал он и сплюнул через губу.

— Каких?

— Ну, моих, кутейников.

— Чего ж тебе их жаль?

— Изгадятся они без меня.

— Ты сам их гадишь.

— Ври.

— Конечно: их учат на одно, а ты их переучиваешь на другое.

— Ну так что ж?

— Ничего и не будет.

Вышла пауза.

— А я вот что скажу тебе, — проговорил Челновский, — женился бы ты, взял бы к себе старуху мать да был бы добрым попом — отличное бы дело сделал.

— Ты мне этого не говори! Не говори ты мне этого!

— Бог с тобой, — отвечал Челновский, махнув рукой.

Василий Петрович опять заходил по комнате и, остановясь перед окном, продекламировал:

Стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.

— И стихи выучил, — сказал Челновский, улыбаясь и показывая мне на Василья Петровича.

— Умные только, — отвечал тот, не отходя от окна.

— Таких умных стихов немало есть, Василий Петрович, — сказал я.

— Всё — дребедень.

— А женщины — всё дрянь?

— Дрянь.

— А Лидочка?

— Что же Лидочка? — спросил Василий Петрович, когда ему напомнили имя очень милой и необыкновенно несчастной девушки — единственного женского существа в городе, которое оказывало Василью Петровичу всяческое внимание.

— Вам не будет о ней скучно?

— Что это вы говорите? — спросил Овцебык, расширив свои глаза и пристально уставив их на меня.

— Так говорю. Она — хорошая девушка.

— Ну так что ж, что хорошая?

Василий Петрович помолчал, выколотил о подоконник свою трубку и задумался.

— Паршивые! — проговорил он, закуривая вторую трубку.

Челновский и я рассмеялись.

— Чего вас разбирает? — спросил Василий Петрович.

— Это дамы, что ли, у тебя паршивые?

— Дамы! Не дамы, а жиды.

— К чему ж ты тут жидов вспомнил?

— А черт их знает, чего они помнятся: у меня мать, да и у них у каждого есть по матери, и все знают, — отозвался Василий Петрович и, задув свечку, с трубкою в зубах повалился на половой коврик.

— Это ты еще не забыл?

— Я, брат, памятлив.

Василий Петрович тяжело вздохнул.

— Подохнут, сопатые, дорóгой, — сказал он, помолчав.

— Пожалуй.

— И лучше.

— Экое у него и сострадание-то мудреное, — сказал Челновский.

— Нет, это у вас все мудреное. У меня, брат, все простое, мужицкое. Я ваших чох-мох не разумею. У вас все такое в голове, чтоб и овцы были целы и волки сыты, а этого нельзя. Этак не бывает.

— Как же по-твоему будет хорошо?

— А хорошо будет, как бог даст.

— Бог сам ничего в людских делах не делает.

— Понятно, что всё люди будут делать.

— Когда они станут людьми, — сказал Челновский.

— Эх вы, умники! Посмотришь на вас, будто и в самом деле вы что знаете, а ничего вы не знаете, — энергически воскликнул Василий Петрович. — Дальше своего дворянского носа вам ничего не видать, да и не увидать. Вы бы в моей шкуре пожили с людьми да с мое походили, так и узнали бы, что нечего нюни-то нюнить. Ишь ты, черт этакой! и у него тоже дворянские привычки, — переломил неожиданно Овцебык и встал.

— У кого это дворянские привычки?

— У собаки, у Боксы. У кого же еще?

— Какие ж это у ней дворянские привычки? — спросил Челновский.

— Дверей не затворяет.

Мы тут только заметили, что через комнату действительно тянул сквозной ветер.

Василий Петрович встал, затворил дверь из сеней и запер ее на крючок.

— Спасибо, — сказал ему Челновский, когда он возвратился и снова растянулся на коврике.

Василий Петрович ничего не отвечал, набил еще трубочку и, закурив ее, неожиданно спросил:

— Что в книжках брешут?

— В которых?

— Ну, в ваших журналах?

— О разных вещах пишут, всего не расскажешь.

— О прогрессе всё небось?

— И о прогрессе.

— А о народе?

— И о народе.

— О, горе сим мытарям и фарисеям! — вздохнув, произнес Овцебык. — Болты болтают, а сами ничего не знают.

— Отчего ты, Василий Петрович, думаешь, что уж кроме тебя никто ничего не знает о народе? Ведь это, брат, самолюбие в тебе говорит.

— Нет, не самолюбие. А вижу я, что подло все занимаются этим делом. Всё на язычничестве выезжают, а на дело — никого. Нет, ты дело делай, а не бреши. А то любовь-то за обедом разгорается. Повести пишут! рассказы! — прибавил он, помолчав, — эх, язычники! фарисеи проклятые! А сами небось не тронутся. Толокном-то боятся подавиться. Да и хорошо, что не трогаются, — прибавил он, помолчав немного.

— Отчего же это хорошо?

— Да все оттого ж, говорю, что толокном подавятся, доведется их в загорбок бить, чтобы прокашлянули, а они заголосят: «бьют нас!» Таким разве поверят! А ты, — продолжал он, сев на своей постели, — надень эту же замашную рубашку, да чтобы она тебе бока не мусолила; ешь тюрю, да не морщися, да не ленись свинью во двор загнать: вот тогда тебе и поверят. Душу свою клади, да так, чтоб видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками

забавляй. Людие мой, людие мои! что бы я не сотворил вам?.. Людие мой, людие мои! что бы я вам не отдал? — Василий Петрович задумался, потом поднялся во весь свой рост и, протянув руки ко мне и к Челновскому, сказал: — Ребята! смутные дни настают, смутные. Часу медлить нельзя, а то придут лжепророки, и я голос их слышу проклятый и ненавистный. Во имя народа будут уловлять и губить вас. Не смущайтесь сими зовущими, и если силы воловьей в хребтах своих не чувствуете, ярма на себя не вскладывайте. Не в числе людей дело. Пятью пальцами блохи не изловишь, а одним можно. Я от вас, как и от других, большого проку не жду. Это — не ваша вина, вы жидки на густое дело. Но прошу вас, заповедь одну мою братскую соблюдите: не брешите вы никогда на ветер! Эй, право, вред в этом великий есть! Эй, вред! Ног не подставляйте, и будет с вас, а нам, вот таким Овцебыкам, — сказал он, ударив себя в грудь, — нам этого мало. На нас кара небесная падет, коли этим удовольствуемся. «Мы свои своим, и свои нас познают».

Долго и много говорил Василий Петрович. Он никогда так много не говорил и так ясно не высказывался. На небе уже брезжилась зорька, и в комнате заметно серело, а Василий Петрович все еще не умолк. Коренастая фигура его делала энергические движения, и сквозь прорехи старой ситцевой рубашки было заметно, как высоко поднималась его мохнатая грудь.

Мы заснули в четыре часа, а проснулись в девять. Овцебыка уже не было, и с тех пор я не видал его ровно три года. Чудак в то же утро ушел в страны, рекомендованные ему его приятелем, содержателем постоялого двора в Погодове.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В нашей губернии есть довольно много монастырей, которые поставлены в лесах и называются «пу́стынями». Моя бабушка была очень религиозная старушка. Женщина старого века, она питала неодолимую страсть к путешествиям по этим пустыням. Она на память знала не только историю каждого из этих уединенных монастырей,

но знала все монастырские легенды, историю икон, чудотворения, какие там сказывали, знала монастырские средства, ризницу и все прочее. Это был ветхий, но живой указатель к святыням нашего края. В монастырях тоже все знали старушку и принимали ее необыкновенно радушно, несмотря на то, что она никогда не делала никаких очень ценных приношений, кроме воздухов, вышиваньем которых занималась целую осень и зиму, когда погода не позволяла ей путешествовать. В гостиницах П—ской и Л—ской пустыни к Петрову дню и успению всегда оставляли для нее две комнаты. Мели их, чистили и никому не отдавали даже под самый день праздника.

— Александра Васильевна приедет, — говорил всем отец казначей, — не могу отдать ее комнат.

И действительно, бабушка моя приезжала.

Раз как-то она совсем запоздала, а народу наехало на праздник в пустынь множество. Ночью, перед заутреней, приехал в Л—скую пустынь какой-то генерал и требовал себе лучшего номера в гостинице. Отец казначей был в затруднительном положении. Первый раз моя бабушка пропускала престольный праздник пустынного храма. «Умерла, видно, старуха», — подумал он, но, взглянув на свои луковицеобразные часы и увидав, что до заутрени еще остается два часа, он все-таки не отдал ее комнат генералу и спокойно отправился в келью читать свою «полунощницу». Прогудел три раза большой монастырский колокол; в церкви замелькала горящая свечечка, с которою служка суетился перед иконостасом, зажигая ставники. Народ, позевывая и крестя рты, толпами повалил в церковь, и моя милая старушка, в чистом диканеньком платьице и в белом как снег чепце московского фасона двенадцатого года, входила уже в северные двери, набожно крестясь и шепча: «За утро услыши глас мой, царю мой и боже мой!» Когда иеродиакон возгласил свое торжественное «восстаните!», бабушка уже была в темном уголке и клала земные поклоны за души усопших. Отец казначей, подпуская богомольцев ко кресту после ранней обедни, нимало не удивился, увидев старуху, и, подав ей из-под рясы просфору, очень спокойно сказал: «Здравствуй, мать Александра!» Бабушку в пустынях только молодые послушники звали Александрой Васильевной, а старики иначе ей не говорили, как «мать

Александра». Богомольная старушка наша, однако, никогда не была ханжою и не корчила из себя монахини. Несмотря на свои пятьдесят лет, она всегда была одета чисто, как колпик. Свеженькое дикое или зеленое ситцевое платьице, высокий тюлевый чепчик с дикими лентами и ридикюль с вышитой собачкой — все было свежо и наивно-кокетливо у доброй старушки. Ездила она в пустыни в деревенской безрессорной кибитке на паре старых рыжих кобылок очень хорошей породы. Одну из них (мать) звали Щеголихой, а другую (дочь) — Нежданкою. Последняя получила свое название оттого, что явилась на свет совершенно неожиданно. Обе эти лошадки у бабушки были необыкновенно смирны, резвы и добронравны, и путешествие на них, с елейной старушкой и с ее добродушнейшим старичком кучером Ильею Васильевичем, составляло для меня во все годы моего детства наивысочайшее наслаждение.

Я был адъютантом старушки с самого раннего возраста. Еще шести лет я с ней отправился в первый раз в Л—скую пустынь на рыжих ее кобылках и с тех пор сопровождал ее каждый раз, пока меня десяти лет отвезли в губернскую гимназию. Поездка по монастырям имела для меня очень много привлекательного. Старушка умела необыкновенно опоэтизировывать свои путешествия. Едем, бывало, рысцой; кругом так хорошо: воздух ароматный; галки прячутся в зеленях; люди встречаются, кланяются нам, и мы им кланяемся. По лесу, бывало, идем пешком; бабушка мне рассказывает о двенадцатом годе, о можайских дворянах, о своем побеге из Москвы, о том, как гордо подходили французы, и о том, как потом безжалостно морозили и били французов. А тут постоялый двор, знакомые дворники, бабы с толстыми брюхами и с фартуками, подвязанными выше грудей, просторные выгоны, по которым можно бегать, — все это пленяло меня и имело для меня обаятельную прелесть. Бабушка примется в горенке за свой туалет, а я отправляюсь под прохладный тенистый навес к Илье Васильевичу, ложусь возле него на вязке сена и слушаю рассказ о том, как Илья возил в Орле императора Александра Павловича; узнаю, какое это было опасное дело, как много было экипажей и каким опасностям подвергался экипаж императора, когда при съезде с горы к Орлику у хлоповского кучера лопнули

вожжи, и как тут один он, Илья Васильич, своею находчивостью спас жизнь императора, собиравшегося уже выпрыгнуть из коляски. Феакийцы не слушали так Одиссея, как слушал я кучера Илью Васильевича. В самых же пустынях у меня были приятели. Меня очень любили два старичка: игумен П—ской пустыни и отец казначей Л—ской пустыни. Первый — высокий бледный старик с добрым, но строгим лицом — не пользовался, однако, моею привязанностью; но зато отца казначея я любил от всего моего маленького сердца. Это было добродушнейшее создание в подлунном мире, о котором, мимоходом сказать, он ничего не ведал, и в этом-то его неведении, как мне теперь кажется, и лежала основа безграничной любви этого старика к человечеству.

Но кроме этих, так сказать, аристократических знакомств с пустыноначальниками, у меня были демократические связи с пустынными плебеями: я очень любил послушников — этот странный класс, в котором обыкновенно преобладают две страсти: леность и самолюбие, но иногда встречается запас веселой беспечности и чисто русского равнодушия к самому себе.

— Как вы почувствовали призвание поступить в монастырь? — спросишь, бывало, кого-нибудь из послушников.

— Нет, — отвечает он, — призвания не было, а я так поступил.

— А вы примете монашество?

— Беспременно.

Выйти из монастыря послушнику кажется безусловно невозможным, хотя он и знает, что ему никто в этом препятствовать не станет. Я в детстве очень любил этот народ, веселый, шаловливый, отважный и добродушно-лицемерный. Пока послушник послушником или «слимаком», на него никто не обращает внимания, и потому никто и не знает его натуры; а с тем как послушник надевает рясу и клобук, он резко изменяет и свой характер и свои отношения к ближним. Пока же он послушник, он — существо необыкновенно общежительное. Какие гомерические кулачные бои я помню в монастырских хлебопекарнях. Какие песни удалые пелись вполголоса на стенах, когда пять или шесть рослых красивых послушников медленно прогуливались на них и зорко поглядывали за речку, за которой звонкими, взманывающими женскими

голосами пелась другая песня — песня, в которой звучали крылатые зовы: «киньтеся, бросьтеся, во зелены гаи бросьтеся». И я помню, как, бывало, мятутся слимаки, слушая эти песни, и, не утерпев, бросаются в зеленые гаи. О! я все это очень хорошо помню. Не забыл я ни одного урока, ни в пении кантат, сочиненных на самые оригинальные темы, ни в гимнастике, для упражнения в которой, впрочем, высокие монастырские стены были не совсем удобны, ни в умении молчать и смеяться, сохраняя на лице серьезное выражение. Более же всего я любил рыбную ловлю на монастырском озере. Мои приятели послушники тоже считали праздником поездку на это озеро. Рыбная ловля в их однообразной жизни была единственным занятием, при котором они могли хоть немножко разгуляться и попробовать крепость своих молодых мышц. И в самом деле, в этой рыбной ловле было очень много поэтического. От монастыря до озера было восемь или десять верст, которые надо было пройти пешком по очень густому чернолеску. Отправлялись на ловлю обыкновенно перед вечерней. На телеге, запряженной толстою и очень старою монастырскою лошадью, лежали невод, несколько ведер, бочка для рыбы и багры; но на телеге никто не сидел. Вожжи были взвязаны у тележной грядки, и если лошадь сбивалась с дороги, то послушник, исправлявший должность кучера, только подходил и дергал ее за вожжу. Но, впрочем, лошадь почти никогда и не сбивалась, да и не могла сбиться, потому что от монастыря до озера по лесу была всего одна дорожка, и то такая колеистая, что коню никогда не приходило охоты вытаскивать колес из глубоких колей. С нами для надзора посылали всегда старца Игнатия, глухого и подслеповатого старичка, принимавшего когда-то в своей келье императора Александра I и вечно забывавшего, что Александр I уже не царствует. Отец Игнатий ездил на крошечной тележке и сам правил другою толстою лошадью. Я собственно всегда имел право ехать с отцом Игнатием, которому меня особо поручала моя бабушка, и отец Игнатий даже позволял мне править толстою лошадью, запряженною в короткие оглобли его тележки; но я обыкновенно предпочитал идти с послушниками. А они никогда не шли по дороге. Понемногу, понемногу заберемся, бывало, в лес, сначала запоем: «Как шел по пути молодой монах,

а навстречу ему сам Иисус Христос», а там кто-нибудь заведет новую песню, и поем их одна за другою. Беззаботное, милое время! Благословенье тебе, благословенье и вам, дающим мне эти воспоминания. К ночи только, бывало, дойдем мы так к озеру. Тут на берегу стояла хатка, в которой жили два старичка, рясофорные послушники: отец Сергий и отец Вавила. Оба они были «некнижные», то есть грамоте не умели, и исполняли «сторожевое послушание» на монастырском озере. Отец Сергий был человек необыкновенно искусный в рукоделиях. У меня еще теперь есть прекрасная ложка и узорчатый крест его работы. Он также плел сети, кубари, лукошки, корзины и разные такие вещицы. Была у него очень искусно вырезанная из дерева статуэтка какого-то святого; но он ее показал мне всего только один раз, и то с тем, чтобы я никому не говорил. Отец Вавила, напротив, ничего не работал. Он был поэт. «Любил свободу, лень, покой». Он готов был по целым часам оставаться над озером в созерцательном положении и наблюдать, как летают дикие утки, как ходит осанистая цапля, таская по временам из воды лягушек, выпросивших ее себе в цари у Зевеса. Тотчас перед хаткою двух «некнижных» иноков начиналась широкая песчаная полоса, а за нею озеро. В хате было очень чисто: стояли две иконы на полочке и две тяжелые деревянные кровати, выкрашенные зеленою масляною краскою, стол, покрытый суровой ширинкой, и два стула, а по сторонам обыкновенные лавки, как в крестьянской избе. В угле был маленький шкафик с чайным прибором, а под шкафиком на особой скамеечке стоял самовар, вычищенный, как паровик на королевской яхте. Все было очень чисто и уютно. В келье «некнижных» отцов, кроме их самих, не жил никто, кроме желто-бурого кота, прозванного «Капитаном» и замечательного только тем, что, нося мужское имя и будучи очень долгое время почитаем настоящим мужчиною, он вдруг, к величайшему скандалу, окотился и с тех пор не переставал размножать свое потомство как кошка.

Из всего нашего обоза в хатке с отцами «некнижными» укладывался спать, бывало, только один отец Игнатий. Я обыкновенно отпрашивался от этой чести и спал с послушниками на открытом воздухе у хатки. Да мы, впрочем, почти и не спали. Пока, бывало, разведем огонь,

вскипятим котелок воды, засыпем жидкую кашицу, бросив туда несколько сухих карасей, пока поедим все это из большой деревянной чашки — уж и полночь. А тут, только ляжем, сейчас заводится сказка, и непременно самая страшная или многогрешная. От сказок переходили к былям, к которым каждый рассказчик, как водится, всегда и «небылиц без счета привирал». Так и ночь зачастую проходила, прежде чем кто-нибудь собирался заснуть. Рассказы обыкновенно имели предметом странников и разбойников. Особенно много таких рассказов знал Тимофей Невструев, пожилой послушник, слывший у нас за непобедимого силача и всегда собиравшийся на войну за освобождение христиан, с тем чтобы всех их «под себя подбить». Он исходил, кажется, всю Русь, был даже в Палестине, в Греции и высмотрел, что всех их «подбить можно». Уляжемся, бывало, на веретья, огонек еще курится, толстые лошади, привязанные у хрептуга, пофыркивают над овсом, а кто-нибудь уж и «заводит историю». Я теперь перезабыл множество этих историй и помню только одну последнюю ночь, которую я благодаря снисходительности моей бабушки спал с послушниками на берегу П—ского озера. Тимофей Невструев был не совсем в духе — в этот день он стоял посреди церкви на поклонах за то, что перелезал ночью через ограду в настоятельском саде, — и начал рассказывать Емельян Высоцкий, молодой человек лет восемнадцати. Он был родом из Курляндии, брошен ребенком в нашей губернии и сделался послушником. Мать его была комедиантка, и он о ней ничего больше не знал; а вырос он у какой-то сердобольной купчихи, пристроившей его девятилетним мальчиком в монастырь на послушание. Разговор начался с того, что кто-то из послушников, после одной рассказанной сказки, вздохнул глубоко и спросил:

— Отчего это, братцы мои, нет теперь хороших разбойников?

Никто ничего не отвечал, и меня начинал мучить этот вопрос, которого я давно никак не мог разрешить себе. Я тогда очень любил разбойников и рисовал их на своих тетрадях в плащах и с красными перьями в шляпах.

— Есть и теперь разбойники, — отозвался тоненьким голоском послушник из курляндцев.

— Ну, говори, какие есть теперь разбойники? — спросил Невструев и закрылся под самое горло своим коленкоровым халатом.

— А вот, как я жил еще у Пузанихи, — начал курляндец, — так пошли мы один раз с матерью Натальею, что из Боровска, да с Аленою, тоже странницею из-под Чернигова, на богомолье к Николаю-угоднику амченскому.[1]

— Это какая Наталья? Белая-то, высокая? Она, что ли? — прервал Невструев.

— Она, — ответил торопливо рассказчик и продолжал далее: — А тут на дороге есть село Отрада. Двадцать пять верст от Орла. Пришли мы в это село так под вечер. Попросились у мужиков ночевать — не пустили; ну, мы пошли на постоялый. На постоялом по грошу всего берут, да теснота была страшная! Всё — трепачи. Человек, может, с сорок. Питра у них тут зашла, сквернословие такое, что уходи да и только. Утром, как возбудила меня мать Наталья, трепачей уж не было. Только трое осталось, и то увязывали свои сумочки к трёплам. Увязали и мы свои сумочки, заплатили три гроша за ночлег и тоже пошли. Вышли из деревни, смотрим — и те три трепача за нами. Ну, за нами и за нами. Ничего нам это невдомек. Только мать Наталья этак проговорила: «Что, дискать, за диво! Вчера, говорит, эти самые трепачи говорили, ужинавши, что в Орел идут, а нынче, гляди, идут за нами к Амченску». Идем дальше — трепачи за нами всё издали. А тут лесок этакой на дороге вышел. Как стали мы подходить к этому лесу, трепачи нас стали догонять. Мы скорей, и они скорей. «Чего, говорят, бежите! не убежите ведь», да вдвоем хвать мать Наталью за руки. Та как вскрикнет не своим голосом, а мы с матерью Аленой ударились бежать. Мы бежим, а они вслед нам грохочут: «держи их, держи!» И они орут, и мать Наталья кричит. «Верно ее зарезали», думаем, да сами еще пуще. Тетка Алена так и ушла из глаз, а у меня ноги подкосились. Вижу, нет уж моей моченьки, взял да и упал под куст. Что, думаю, уж определено богом, то и будет. Лежу и чуть дух перевожу. Жду, вот сейчас наскочут! ан никого нет. Только с матерью Натальей, слышно, всё еще борются. Баба здо-

---

[1] То есть «мценскому», от г. Мценска, где есть резная икона св. Николая. *(Прим. автора.)*

ровая, не могут ее прикончить. В лесу-то тишь, все по зорьке мне слышно. Нет-нет, да и опять вскрикнет мать Наталья. Ну, думаю, упокой господи ее душеньку. А сам уж не знаю, вставать мне да бежать или уж тут и ждать какого-нибудь доброго человека? Аж слышу, кто-то будто подходит. Лежу я ни жив ни мертв да смотрю из куста. Что ж, братцы мои, думаете, вижу? Подходит мать Наталья! Черный платок у нее с головы свалился; косица-то русая, здоровенная такая, вся растрепана, и сумку в руках несет, а сама так и натыкается. Кликну ее, думаю себе; да и крикнул этак не во весь голос. Она остановилась и глядит на кусты, а я опять ее кликнул. «Кто это?» — говорит. Я выскочил, да к ней, а она так и ахнула. Озираюсь кругом — никого нет ни сзади, ни спереди. «Гонятся? — спрашиваю ее, — побежим скорей!» А она стоит как остолбенелая, только губы трясутся. Платье на ней, смотрю, все-то изорвано, руки исцарапаны, а аж по самые локти, и лоб тоже исцарапан словно как ногтями. «Пойдем», — говорю ей опять. «Душили тебя?» — спрашиваю. «Душили, говорит, пойдем скорей», и пошли. «Как же ты от них отбилась?» А она ничего больше не сказала до самой деревни, где мать Алену встретили.

— Ну, а тут что рассказывала? — спросил Невструев, хранивший так же, как и другие, во время всего рассказа мертвое молчание.

— Да и тут только и говорила, что гонялись всё за ней, а она все молитву творила да песком им в глаза бросала.

— И ничего у нее не взяли? — спросил кто-то.

— Ничего. Башмак только с ноги да ладанку с шеи потеряла. Всё они у нее денег за пазухой, сказывала, искали.

— Ну да! Это какие разбойники! им все и дело за пазухой только, — растолковал Невструев и вслед за тем начал рассказывать про лучших разбойников, которые напугали его в Обоянском уезде. — Вот это, — говорит, — были настоящие разбойники.

Становилось нестерпимо интересно, и все обратились в слух о настоящих хороших разбойниках.

Невструев начал:

— Шел, — говорит, — я из Коренной один раз. По обещанию от зуб ходил. Денег при мне было рубля с два

да сумка с рубахами. Сошелся с двумя вроде... мещан на дороге. «Куда, спрашивают, идешь?» — «Туда-то», говорю. «И мы, говорят, туда». — «Пойдем вместе». — «Ну, пойдем». Пошли. Пришли в одну деревню; уж смеркалось. «Давайте, — говорю им, — ночевать здесь»; а они говорят: «Тут скверно; пойдем еще с версту: там двор будет важный; там, говорят, нам всякое удовольствие предоставят». — «Мне, говорю, никаких ваших удовольствий не надо». — «Пойдем, говорят, недалеко ведь!» Ну, пошел. Точно, этак верст через пяток стоит в лесу двор не маленький, словно как постоялый. В двух окнах светло виднеется. Один мещанин постучал в кольцо, собаки в сенях залаяли, а никто не отпирает. Опять постучал; слышим, кто-то вышел из избы и окликнул нас; голос, можно распознать, женский. «Кто такие будете?» спросила, а мещанин говорит: «Свои». — «Кто свои?» — «Кто, говорит, с борка, кто с сосенки». Двери отперли. В сенях темень такая, что смерть. Баба заперла за нами дверь и отворила избу. В избе мужчин никого не было, только баба та, что нам отворяла, да другая, корявая такая, сидела, волну щипала. «Ну, здорово, атаманиха!» — говорит мещанин бабе. «Здорово», — говорит баба и вдруг стала на меня смотреть. И я на нее гляжу. Здоровенная баба, годов этак тридцати будет, да белая, шельма, румяная, и глаза повелительные. «Где, говорит, вы этого молодца взяли?» Это на меня-то, значит. «Опосля, говорят, расскажем, а теперь дай спотыкаловки да едаловки, а то зубаревы девки от работы отвыкли». Поставили на стол солонины, хрену, водки бутылку и пирогов. «Ешь!» — говорят мне мещане. «Нет, говорю, я мяса не ем». — «Ну, бери пирог с творогом». Я взял. «Пей, говорят, водку». Выпил я рюмку. «Пей другую»; я выпил и другую. «Хочешь, говорят, жить с нами?» — «Как, спрашиваю, с вами?» — «А вот, как видишь: нам вдвоем несподручно, — ходи с нами и пей, ешь... только атаманьшу слушай... Хочешь?» Плохо, думаю себе, дело! В недоброе я попал место. «Нет, говорю, ребята; мне с вами не жить». — «Отчего, говорят, не жить?» А сами всё тянут водку и ко мне пристают: пей да пей. «Умеешь, — спрашивает один, — драться?» — «Не учился», говорю. «А не учился, так вот тебе наука!» — да с этим словом как свистнет меня по уху. Хозяйка ни слова, а баба знай волну щипет. «За что же это, говорю,

братцы?» — «А за то, говорит, не ходи по лавке, не гляди в окно», да опять с этим словом в другое ухо ляп. Ну, думаю, пропадать все равно, так уж не даром, развернулся сам да как щелкану его по затылку. Он так под стол и соскочил. Поднимается из-под стола, аж покряхтывает. Отмахнул рукой волосы да прямо за бутылку. «Хошь, говорит, тут твой и конец!» Все, вижу, молчат, и товарищ его молчит. «Нет, говорю, не хочу я конца». — «А не хочешь, так пей водку». — «И водки пить не стану». — «Пей! Игумен не увидит, на поклоны не поставит». — «Не хочу я водки». — «Ну, а не хочешь, так черт с тобой; заплати за то, что́ выпил, и ступай спать». — «Сколько, говорю, за водку с меня?» — «Все, что есть; у нас, брат, дорогая, прозывается «горькая русская доля», с водой да с слезой, с перцем да с собачьим сердцем». Я было в шутку повернуть хотел, так нет; только что я достал кошелек, а мещанин цап его, да и швырнул за перегородку. «Ну, теперь, говорит, иди спать, чернец». — «Куда ж, мол, я пойду?» — «А вот тебя глухая тетеря проводит. Проведи его!» — закричал он бабе, что́ волну щипала. Пошел я за бабой в сени, из сеней на двор. Ночь такая хорошая, вот как теперь, на небе стожары горят, и по лесу ветерок, как белка, бегает. Так мне жалко стало и жизни-то своей и монастыря тихого, а баба отворила мне подклеть: «иди, говорит, болезный», да и ушла. Словно как ей жаль меня было. Вошел я, щупаю руками-то, что-то нагромощено, а что — не разберешь никак. Нащупал столб. Думаю: все равно пропадать, и полез вверх. Добрался до матицы да к застрехе и ну решетины раздвигать. Руки все ободрал, наконец решетин пять раздвинул. Стал копать солому — звезды показались. Я еще работать; продрал дыру; выкинул в нее сперва свой мешочек, а там перекрестился, да и сам кувыркнул. И бежал я, братцы мои, так резво, как и сроду не бегал.

Всё, бывало, больше в этом роде рассказывают, но эти рассказы казались тогда так интересными, что заслушаешься их и едва-едва сомкнешь глаза перед зарею. А тут отец Игнатий уж и поталкивает палочкой: «Вставайте! На озеро пора». Поднимутся, бывало, послушники, позевают, бедные: сон их клонит. Возьмут невод, разуются, снимут порты и пойдут к лодкам. А неуклюжие, черные, как гагары, монастырские лодки всегда были

привязаны к кольям саженях в пятнадцати от берега, потому что с берега далеко шла песчаная отмель, а черные лодки сидели очень глубоко в воде и не могли приставать к берегу. Меня Невструев всю мель до лодок переносил, бывало, на руках. Помню хорошо я эти переходы, эти добрые, беззаботные лица. Будто вижу теперь, как послушники, бывало, со сна идут в холодную воду. Подпрыгивают, посмеиваются и, дрожа от холода, тащат тяжелый невод, нагинаясь к воде и освежая ею свои липнущие от сна глаза. Помню редкий пар, поднимающийся с воды, золотистых карасей и скользких налимов; помню утомительный полдень, когда все мы как убитые падали на траву, отказываясь от янтарной ухи, приготовленной отцом Сергием «некнижным». Но еще более помню недовольное и как бы злое выражение всех лиц, когда запрягали толстых лошадей, чтоб везти в монастырь наловленных карасей и нашего командира, отца Игнатия, за которым слимаки должны шествовать в свои монастырские стены.

И в этих-то памятных мне с детства местах пришлось мне еще раз совершенно неожиданно встретиться с убежавшим из Курска Овцебыком.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Много воды уплыло с того времени, к которому относятся мои воспоминания, может быть весьма мало касающиеся суровой доли Овцебыка. Я подрастал и узнавал горе жизни; бабушка скончалась; Илья Васильевич и Щеголиха с Нежданкою побывшились; веселые слимаки ходили солидными иноками; меня поучили в гимназии, потом отвезли за шестьсот верст в университетский город, где я выучился петь одну латинскую песню, прочитал кое-что из Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабефа и во всеоружии моих знаний возвратился к своим ларам и пенатам. Тут-то я свел описанное мною знакомство с Василием Петровичем. Прошло еще четыре года, проведенные мною довольно печально, и я снова очутился под родными липами. Дома и в это время не произошло никаких перемен ни в нравах, ни во взглядах, ни в на-

правлениях. Новости были только естественные: матушка постарела и пополнела, четырнадцатилетняя сестра прямо с пансионерской скамьи сошла в безвременную могилу, да выросло несколько новых липок, посаженных ее детскою рукою. «Неужто же, — думал я, — ничто не переменилось в то время, когда я пережил так много: верил в бога, отвергал его и паки находил его; любил мою родину, и распинался с нею, и был с распинающими ее!» Это даже обидно показалось моему молодому самолюбию, и я решился произвести поверку — всему поверку — себе и всему, что меня окружало в те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия. Прежде всего я хотел видеть мои любимые пу́стыни, и в одно свежее утро я поехал на бегунцах в П—скую пустынь, до которой от нас всего двадцать с чем-то верст. Та же дорога, те же поля, и галки так же прячутся в густых озимях, и мужики так же кланяются ниже пояса, и бабы так же ищутся, лежа перед порогом. Все по-старому. Вот и знакомые монастырские ворота — тут новый привратник, старый — уж монахом. Но отец казначей еще жив. Больной старик уже доживал девятый десяток лет. В наших монастырях есть много примеров редкого долговечия. Отец казначей, однако, уже не исправлял своей должности и жил «на покое», хотя по-прежнему назывался не иначе, как «отцом казначеем». Когда меня ввели к нему, он лежал на постеле и, не узнав меня, засуетился и спросил келейника: «Кто это?» Я, ничего не отвечая, подошел к старику и взял его за руку. «Здравствуйте, здравствуйте! — бормотал отец казначей, — кто вы такой будете?» Я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и сказал свое имя. «Ах ты, дружочек, дружочек!.. ну что ж, ну, здравствуй! — заговорил старик, снова засуетясь на своей кровати. — Кирилл! самоварчик раздуй скорей! — сказал он келейнику. — А я, раб, уж не хожу. Вот больше года ноги всё пухнут». У отца казначея была водяная, которою очень часто оканчивают монахи, проводящие жизнь в долгом церковном стоянии и в других занятиях, располагающих к этой болезни.

— Зови же Василья Петровича, — сказал казначей келейщику, когда тот поставил самовар и чашки на столик к постели. — Тут у меня один бедак живет, — добавил старик, обращаясь ко мне.

Келейник вышел, и через четверть часа по плитяному полу сеней послышались шаги и какое-то мычанье. Отворилась дверь, и моим удивленным глазам предстал Овцебык. Он был одет в короткую свитку из великорусского крестьянского сукна, пестрядинные порты и высокие юхтовые, довольно ветхие, сапоги. Только на голове у него была высокая черная шапочка, какие носят монастырские послушники. Наружность Овцебыка так мало изменилась, что, несмотря на довольно странный наряд, я узнал его с первого взгляда.

— Василий Петрович! Вы ли это? — сказал я, идя навстречу моему приятелю, и в то же время подумал: «О, кто же лучше, как ты, скажет мне, как пронеслись над здешними головами годы сурового опыта?»

Овцебык мне как будто обрадовался, а отец казначей удивлялся, видя в нас двух старых знакомых.

— Ну, вот и прекрасно, прекрасно, — лепетал он. — Наливай же, Вася, чай.

— Вы ведь знаете, что я не умею наливать чаю, — отвечал Овцебык.

— Правда, правда. Наливай ты, гостёк.

Я стал наливать чашки.

— Давно вы здесь, Василий Петрович? — спросил я, подав Овцебыку чашку.

Он откусил сахару, стрягнул кусочек и, хлебнув раза три, отвечал:

— Месяцев девять будет.

— Куда ж вы теперь?

— Покуда никуда.

— А можно узнать, откуда? — спросил я, невольно улыбаясь при воспоминании, как Овцебык отвечал на подобные вопросы.

— Можно.

— Из Перми?

— Нет.

— Откуда же?

Овцебык поставил выпитую чашку и проговорил:

— Был иже везде и нигде.

— Челновского не видали ли?

— Нет. Я там не был.

— Мать ваша жива ли?

— В богадельне померла.

— Одна?

— Да ведь с кем же умирают-то?

— Давно?

— С год, говорят.

— Погуляйте, ребятки, а я сосну до вечерни, — сказал отец казначей, которому уж тяжело было всякое напряжение.

— Нет, я на озеро хочу проехать, — отвечал я.

— А! ну поезжай, поезжай с богом и Васю свези: он тебе почудит дорогой.

— Поедемте, Василий Петрович.

Овцебык почесался, взял свой колпачок и отвечал:

— Пожалуй.

Мы простились до завтра с отцом казначеем и вышли. На житном дворе мы сами запрягли мою лошадку и поехали. Василий Петрович сел ко мне задом, спина со спиною, говоря, что иначе он не может ехать, потому что ему воздуху мало за чужой головой. Дорогой он вовсе не чудил. Напротив, он был очень неразговорчив и только все меня расспрашивал: видал ли я умных людей в Петербурге? и про что они думают? или, перестав расспрашивать, начинал свистать то соловьем, то иволгой.

В этом прошла вся дорога.

У давно знакомой хатки нас встретил низенький рыжий послушник, заступивший место отца Сергия, который года три как умер, завещав свои инструменты и приготовленный материал беззаботному отцу Вавиле. Отца Вавилы не было дома: он, по обыкновению, гулял над озером и смотрел на цапель, глотающих покорных лягушек. Новый товарищ отца Вавилы, отец Прохор, обрадовался нам, точно деревенская барышня звону колокольчика. Сам он бросался отпрягать нашу лошадь, сам раздувал самовар и все уверял, что «отец Вавило вот ту минуту вернутся». Мы с Овцебыком вняли этим уверениям, уселись на завалинке лицом к озеру и оба приятно молчали. Никому не хотелось говорить.

Солнце уже совсем село за высокие деревья, окружающие густою чащею все монастырское озеро. Гладкая поверхность воды казалась почти черною. В воздухе было тихо, но душно.

— Гроза будет ночью, — сказал отец Прохор, таща на себе в сени подушку с моих беговых дрожек.

— Зачем вы беспокоитесь? — отвечал я, — может быть, еще и не будет.

Отец Прохор застенчиво улыбался и проговорил:

— Ничего-с! Какое беспокойство!

— Я и лошадку тоже заведу в сени, — начал он, выйдя снова из хатки.

— Зачем, отец Прохор?

— Гроза большая будет; испужается, оторвется еще. Нет-с, я ее лучше в сени. Ей там хорошо будет.

Отец Прохор отвязал лошадь и, войдя в сени, тянул ее за повод, приговаривая: «Иди, матушка! иди, дурашка! Чего боишься?»

— Вот так-то лучше, — сказал он, уставив лошадь в уголку сеней и насыпав ей овса в старое решето. — Чтой-то отца Вавилы долго нет, право! — проговорил он, зайдя за угол хатки. — А вот уж и замолаживает, — добавил он, показывая рукою на серовато-красное облачко.

На дворе совсем смеркалось.

— Я пойду посмотрю отца Вавилу, — сказал Овцебык и, закрутив свои косицы, зашагал в лес.

— Не ходите: вы с ним разойдетесь.

— Небось! — и с этим словом он ушел.

Отец Прохор взял охапку дров и пошел в избу. Скоро в окнах засветилось пламя, которое он развел на загнетке, и в котелке закипела вода. Ни отца Вавилы, ни Овцебыка не было. Между тем вершины деревьев в это время изредка стали поколыхиваться, хотя поверхность озера еще стояла спокойною, как застывающий свинец. Только изредка можно было заметить беленькие плески от какого-нибудь резвящегося карася, да лягушки хором тянули одну монотонно-унылую ноту. Я еще все сидел на завалинке, глядя на темное озеро и вспоминая мои в темную даль улетевшие годы. Тут тогда были эти неуклюжие лодки, к которым носил меня могучий Невструев; здесь я спал с послушниками, и все тогда было такое милое, веселое, полное, а теперь как-то все как будто и то же, да нет чего-то. Нет беззаботного детства, нет теплой животворящей веры во многое, во что так сладко и так уповательно верилось.

— Руси дух пахнет! Откуда гости дорогие? — крикнул отец Вавила, внезапно выйдя из-за угла хатки, так что я совершенно не заметил его приближения.

Я его узнал с первого раза. Он только совсем побелел, но тот же детский взгляд и то же веселое лицо.

— Издалека изволите быть? — спросил он меня.

Я назвал одну деревню верст за сорок.

Он спросил: не сыночек ли я Афанасья Павловича?

— Нет, — говорю.

— Ну, все равно: милости прошу в келью, а то дождь накрапывает.

Действительно, начал накрапывать дождик, и по озеру зарябило, хотя ветра в этой котловине никогда почти не бывало. Разгуляться ему здесь было негде. Такое уж было *место тихое*.

— Как величать позволите? — спросил отец Вавила, когда мы совсем вошли в его хатку.

Я назвал свое имя. Отец Вавила посмотрел на меня, и на его добродушно-хитрых губах показалась улыбка. Я тоже не удержался и улыбнулся. Мистификация моя не удалась: он узнал меня; мы обнялись со стариком, много раз сряду поцеловались и ни с того ни с сего оба заплакали.

— Дай-ка я посмотрю на тебя поближе, — сказал продолжавший улыбаться отец Вавила, подводя меня к очагу. — Ишь вырос!

— А вы состарились, отец Вавила.

Отец Прохор засмеялся.

— А они у нас еще всё молодятся, — заговорил отец Прохор, — и даже ужасть как молодятся.

— А то по-вашему, что ль! — храбрясь отвечал отец Вавила, но тут же и присел на стульце и добавил: — Нет, братик! дух бодр, а плоть уж отказывается. К отцу Сергию пора. Поясницу нынче все ломит — плох становлюсь.

— А давно умер отец Сергий?

— Третий год со Спиридона пошел.

— Хороший был старик, — сказал я, вспоминая покойника с его палочками и ножичком.

— Смотри-ка! В угол-то смотри! тут вся его мастерская и теперь стоит. Да зажги ты свечу, отец Прохор.

— А Капитан жив?

— Ах, ты кота... то бишь кошку нашу Капитана помнишь?

— Как же!

— Удушился, брат, Капитан. Под дежу его как-то занесло; дежа захлопнулась, а нас дома не было. Пришли, искали, искали — нет нашего кота. А дня через два взяли дежу, смотрим — он там. Теперь другой есть... гляди-ко какой: Васька! Васька! — стал звать отец Вавила.

Из-под печи вышел большой серый кот и начал тыкать головою в ноги отцу Вавиле.

— Ишь ты, бестия какая!

Отец Вавила взял кота и, положив его на колени, брюхом кверху, щекотал ему горло. Точно теньеровская картина: белый как лунь старик с серым толстым котом на коленях, другой полустарик в углу ворочается; разная утварь домашняя, и все это освещено теплым, красным светом горящего очага.

— Да зажигай свечу-то, отец Прохор! — крикнул опять отец Вавила.

— Вот сейчас. Никак не справишь.

Отец Вавила между тем оправдывал Прохора и рассказывал мне:

— Мы ведь себе свечи теперь не зажигаем. Рано ложимся.

Зажгли свечу. Хата точно в том же порядке, как была за двенадцать лет назад. Только вместо отца Сергия у печки стоит отец Прохор, а вместо бурого Капитана с отцом Вавилою забавляется серый Васька. Даже ножик и пучок кореневатых палочек, приготовленных отцом Сергием, висит там, где их повесил покойник, приготовлявший их на какую-то потребу.

— Ну, вот и яйца сварились, вот и рыба готова, а Василья Петровича нет, — сказал отец Прохор.

— Какого Василья Петровича?

— Блажного, — отвечал отец Прохор.

— Неш ты с ним приехал?

— С ним, — сказал я, догадываясь, что кличка принадлежит моему Овцебыку.

— Кто ж это тебя с ним сюда справил?

— Да мы давно знакомы, — сказал я. — А вы мне скажите, за что вы его блажным-то прозвали?

— Блажной он, брат. Ух, какой блажной!

— Он — добрый человек.

— Да я не говорю, что злой, а только блажь его одолела; он теперь как нестоящий: всеми порядками недоволен.

Было уже десять часов.

— Что ж, давайте ужинать. Авось подойдет, — скомандовал, начиная умывать руки, отец Вавила. — Да, да, да: поужинаем, а потом литийку... Хорошо? По отце Сергие-то, говорю, литийку все пропоем?

Стали ужинать, и поужинали, и «со святыми упокой» пропели отцу Сергию, а Василий Петрович все еще не возвращался.

Отец Прохор убрал со стола лишнюю посуду, а сковороду с рыбой, тарелку, соль, хлеб и пяток яиц оставил на столе, потом вышел из хаты и, возвратясь, сказал:

— Нет, не видать.

— Кого не видать? — спросил отец Вавила.

— Василья Петровича.

— Уж если б тут был, так не стоял бы за дверью. Он теперь, видно, на прогулку вздумал.

Отец Прохор и отец Вавила непременно хотели меня уложить на одной из своих постелей. Насилу я отговорился, взял себе одну из мягких ситниковых рогож работы покойного отца Сергия и улегся под окном на лавке. Отец Прохор дал мне подушку, погасил свечу, еще раз вышел и довольно долго там оставался. Очевидно, он поджидал «блажного», но не дождался и, возвратясь, сказал только:

— А гроза непременно соберется.

— Может быть, и не будет, — сказал я, желая успокоить себя насчет исчезшего Овцебыка.

— Нет, будет: пáрило нынче крепко.

— Да уж давно пáрит.

— У меня поясницу так и ломит, — подсказал отец Вавила.

— И муха с самого утра как оглашенная в рожу лезла, — добавил отец Прохор, фундаментально повернувшись на своей массивной кровати, и все мы, кажется, в эту же самую минуту и заснули. На дворе стояла страшная темень, но дождя еще не было.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Встань! — говорил мне отец Вавила, толкая меня на постели. — Встань! нехорошо спать в такую пору. Неравен час воли божией.

Не разобрав, в чем дело, я проворно вскочил и сел на лавке. Перед образником горела тоненькая восковая свеча, и отец Прохор в одном белье стоял на коленях и молился. Страшный удар грома, с грохотом раскатившийся над озером и загудевший по лесу, объяснил причину тревоги. Муха, значит, недаром лезла в рожу отцу Прохору.

— Где Василий Петрович? — спросил я стариков.

Отец Прохор, не переставая шептать молитву, обернулся ко мне лицом и показал движением, что Овцебык еще не возвращался. Я посмотрел на мои часы: был ровно час пополуночи. Отец Вавила, также в одном белье и в коленкоровом ватном нагруднике, смотрел в окно; я тоже подошел к окну и стал смотреть. При беспрерывной молнии, светло озарявшей все открывавшееся из окна пространство, можно было видеть, что земля довольно суха. Дождя большого, значит, не было с тех пор, как мы заснули. Но гроза была страшная. Удар следовал за ударом, один другого громче, один другого ужаснее, а молния не умолкала ни на минуту. Словно все небо разверзлось и готово было с грохотом упасть на землю огненным потоком.

— Где он может быть? — сказал я, невольно думая об Овцебыке.

— И не говори лучше, — отозвался отец Вавила, не отходя от окна.

— Не случилось ли чего с ним?

— Да случиться, кажется, чему бы! Зверя большого нет тут. Разве лихой человек — так и то не слышно было давно. Нет, так небось ходит. Ведь на него какая блажь найдет.

— А вид точно прекрасный, — продолжал старик, любуясь озером, которое молния освещала до самого противоположного берега.

В это мгновение грянул такой удар, что вся хата затряслась; отец Прохор упал на землю, а нас с отцом Вавилою так и отбросило к противоположной стене. В сенях

что-то рухнуло и повалилось к двери, которою входили в хату.

— Горим! — закричал отец Вавила, первый выйдя из общего оцепененья, и бросился к двери.

Дверь нельзя было отпереть.

— Пустите, — сказал я, совершенно уверенный, что мы горим, и с размаху крепко ударил плечом в дверь.

К крайнему нашему удивлению, дверь на этот раз отворилась свободно, и я, не удержавшись, вылетел за порог. В сенях было совершенно темно. Я вернулся в хату, взял от образника одну свечечку и с нею опять вышел в сени. Шум весь наделала моя лошадь. Перепуганная последним ужасным ударом грома, она дернула повод, которым была привязана к столбу, повалила пустой капустный напо́л, на котором стояло решето с овсом, и, кинувшись в сторону, притиснула нашу дверь своим телом. Бедное животное пряло ушми, тревожно водило кругом глазами и тряслось всеми членами. Втроем мы всё привели в порядок, насыпали новое решето овса и возвратились в хату. Прежде чем отец Прохор внес свечечку, мы с отцом Вавилою заметили в хатке слабый свет, отражавшийся через окно на стену. Посмотрели в окно, а как раз напротив, на том берегу озера, словно колоссальная свечка, теплилась старая сухостойная сосна, давно одиноко торчавшая на голом песчаном холме.

— А-а! — протянул отец Вавила.

— Молонья зажгла, — подсказал отец Прохор.

— И как горит прелестно! — сказал опять художественный отец Вавила.

— Богом ей так назначено, — отвечал богобоязливый отец Прохор.

— Ляжемте, однако, спать, отцы: гроза утихла.

Действительно, гроза совершенно стихла, и только издали неслись далекие раскаты грома, да по небу тяжело ползла черная бесконечная туча, казавшаяся еще чернее от горящей сосны.

— Глядите! глядите! — неожиданно воскликнул все еще смотревший в окно отец Вавила. — Ведь это наш блажной!

— Где? — спросили в один голос я и отец Прохор и оба глянули в окно.

— Да вон, у сосны.

Действительно, шагах в десяти от горящей сосны ясно обрисовывался силуэт, в котором можно было с первого взгляда узнать фигуру Овцебыка. Он стоял, заложа руки за спину, и, подняв голову, смотрел на горевшие сучья.

— Прокричать ему? — спросил отец Прохор.

— Не услышит, — отвечал отец Вавила. — Видите, шум какой: невозможно услышать.

— И рассердится, — добавил я, хорошо зная натуру моего приятеля.

Постояли еще у окна. Овцебык не трогался. Назвали его несколько раз «блажным» и легли на свои места. Чудачества Василья Петровича давно перестали и меня удивлять; но в этот раз мне было нестерпимо жаль моего страдающего приятеля... Стоя рыцарем печального образа перед горящею сосною, он мне казался шутом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда я проснулся, было уже довольно поздно. «Некнижных» отцов не было в хатке. У стола сидел Василий Петрович. Он держал в руках большой ломоть ржаного хлеба и прихлебывал молоком прямо из стоящего перед ним кувшина. Заметив мое пробуждение, он взглянул на меня и молча продолжал свой завтрак. Я с ним не заговаривал. Так прошло минут двадцать.

— Чего растягиваться-то? — сказал, наконец, Василий Петрович, поставив выпитый им кувшин молока.

— А что ж бы нам начать делать?

— Пойдем бродить.

Василий Петрович был в самом веселом расположении духа. Я очень дорожил этим расположением и не стал его расспрашивать о ночной прогулке. Но он сам заговорил о ней, как только мы вышли из хаты.

— Ночь была грозная какая! — начал Василий Петрович. — Просто не запомню такой ночи.

— А дождя ведь не было.

— Начинал раз пять, да не разошелся. Люблю я смерть такие ночи.

— А я не люблю их.

— Отчего?

— Да что ж хорошего-то? вертит, ломит все.
— Гм! вот то-то и хорошо, что все ломит.
— Еще придавит ни зá что ни прó что.
— Эко штука!
— Вот сосну разбило.
— Славно горела.
— Мы видели.
— И я видел. Хорошо жить в лесах.
— Комаров только много.
— Эх вы, канареечный завод! Комары заедят.
— Они и медведей, Василий Петрович, донимают.
— Да, а все ж медведь из лесу не пойдет. Полюбил я эту жизнь, — продолжал Василий Петрович.
— Лесную-то?
— Да. В северных-то лесах что это за прелесть! Густо, тихо, лист аж синий — отлично!
— Да ненадолго.
— Там и зимой тоже хорошо.
— Ну, не думаю.
— Нет, хорошо.
— Что ж вам там нравилось?
— Тихость, и сила есть в той тихости.
— А каков народ?
— Что значит: каков народ?
— Как живет и чего ожидает?
Василий Петрович задумался.
— Вы ведь два года с ними прожили?
— Да, два года и еще с хвостиком.
— И узнали их?
— Да чего узнавать-то?
— Что в тамошних людях таится?
— Дурь в них таится.
— А вы же прежде так не думали?
— Не думал. Что думы-то наши стоят? Думы те со слов строились. Слышишь *«раскол»,* «раскол», сила, протест, и все думаешь открыть в них невесть что. Все думаешь, что там слово такое, как нужно, знают и только не верят тебе, оттого и не доберешься до живца.
— Ну, а на самом деле?
— А на самом деле — буквоеды, вот что.
— Да вы с ними сошлись ли хорошо?

— Да как еще сходиться-то! Я ведь не с тем шел, чтобы баловаться.

— Как же вы сходились-то? Ведь это интересно. Расскажите, пожалуйста.

— Очень просто: пришел, нанялся в работники, работал как вол... Вот ляжем-ка тут над озером.

Мы легли, и Василий Петрович продолжал свой рассказ, по обыкновению, короткими отрывистыми выражениями.

— Да, я работал. Зимою я назвался переписывать книги. Уставом и полууставом писать наловчился скоро. Только всё книги черт их знает какие давали. Не такие, каких я надеялся. Жизнь пошла скучная. Работа да моленное пение, и только. А больше ничего. Потом стали всё звать меня: «Иди, говорят, совсем к нам!» Я говорю: «Все одно, я и так ваш». — «Облюбуй девку и иди к кому-нибудь во двор». Знаете, как мне не по нутру! Однако, думаю, не из-за этого же бросить дело. Пошел во двор.

— Вы?

— А то кто ж?

— Вы женились?

— Взял девку, так, стало быть, женился.

Я просто остолбенел от удивления и невольно спросил:

— Ну, что ж дальше вышло?

— А дальше дрянь вышла, — сказал Овцебык, и на лице его отразились и зло и досада.

— Женою, что ли, вы несчастливы?

— Да разве жена может сделать мое счастие или несчастие? Я сам себя обманул. Я думал найти там город, а нашел лукошко.

— Раскольники не допустили вас до своих тайн?

— До чего допускать-то! — с негодованием вскрикнул Овцебык. — Только ведь за секретом все и дело. Понимаете, этого слова-то «Сезам, отворись», что́ в сказке говорится, его-то и нет! Я знаю все их тайны, и все они презрения единого стоят. Сойдутся, думаешь, думу великую зарешат, ан черт знает что — «благая честь да благая вера». В вере благой они останутся, а в чести благой тот, кто в чести сидит. Забобоны да буквоедство, лестовки из ремня да плеть бы ременную подлиннее. Не их ты креста, так и дела до тебя нет. А их, так нет чтоб тебе подняться дали, а в богадельню ступай, коли стар или

слаб, и живи при милости на кухне. А молод — в батраки иди. Хозяин будет смотреть, чтоб ты не баловался. На белом свете тюрьму увидишь. Всё еще соболезнуют, индюки проклятые: «Страху мало. Страх, говорят, исчезает». А мы на них надежды, мы на них упования возверзаем!.. Байбаки дурацкие, только морочат своим секретничаньем.

Василий Петрович с негодованием плюнул.

— Так, стало быть, наш здешний простой мужик лучше?

Василий Петрович задумался, потом еще плюнул и спокойным голосом отвечал:

— Не в пример лучше.

— Чем же особенно?

— Тем, что не знает, чего желает. Этот рассуждает так, рассуждает и иначе, а у того одно рассуждение. Все около своего пальца мотает. Простую вот такую-то землю возьми, либо старую плотину раскапывай. Что по ней, что ее руками насыпали! Хворост в ней есть, хворост и будет, а хворост повытаскаешь, опять одна земля, только еще дуром взбуровленная. Так вот и рассуждай, что лучше-то?

— Как же вы ушли?

— Так и ушел. Увидал, что делать нечего, и ушел.

— А жена?

— Что же вам про нее интересно?

— Как же вы ее одну там оставили?

— А куда же мне с нею деваться?

— Увести ее с собою и жить с нею.

— Очень нужно.

— Василий Петрович, ведь это жестоко! А если она вас полюбила?

— Вздор говорите! Что еще за любовь: нынче уставщик почитал — мне жена; завтра «поблагословится» — с другим в чулан спать пойдет. Да и что мне до бабы, что мне до любви! что мне до всех баб на свете!

— Но человек же она, — говорю. — Пожалеть-то ее все-таки следовало бы.

— Вот в этом смысле бабу-то пожалеть!.. Очень важное дело, с кем ей в чулан лезть. Как раз время к сему, чтоб об этом печалиться! Сезам, Сезам, кто знает, чем Сезам отпереть, — вот кто нужен! — заключил Овцебык и заколотил себя в грудь. — Мужа, дайте мужа нам,

которого бы страсть не делала рабом, и его одного мы сохраним душе своей в святейших недрах.

Дальнейшая беседа наша с Василием Петровичем не ладилась. Пообедав у стариков, я завез его в монастырь, простился с отцом казначеем и уехал домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Спустя дней десять после моей разлуки с Васильем Петровичем, я сидел с матушкою и сестрою на крылечке нашего маленького домика. Смеркалось. Вся прислуга отправилась ужинать, и возле дома никого, кроме нас, не было. Везде была кругом глубочайшая вечерняя тишина, и вдруг среди этой тишины две большие дворные собаки, лежавшие у наших ног, разом вскочили, бросились к воротам и с озлоблением на кого-то напали. Я встал и пошел к воротам посмотреть на предмет их злобной атаки. У частокола, прислонясь спиною, стоял Овцебык и насилу отмахивался палкою от двух псов, напавших на него с человеческим ожесточением.

— Заели было, проклятые, — сказал он мне, когда я отогнал собак.

— Вы пешком?

— Как видите, на цуфусках.

У Василья Петровича за спиною был и мешочек, с которым он обыкновенно путешествовал.

— Пойдемте же.

— Куда?

— Ну, к нам в дом.

— Нет, я туда не пойду.

— Отчего не пойдете?

— Там какие-то барышни.

— Какие барышни! Это — мать моя и сестра.

— Все равно не пойду.

— Полноте чудить! они люди простые.

— Не пойду! — решительно сказал Овцебык.

— Куда же мне вас деть?

— Нужно куда-нибудь деть. Мне некуда деваться.

Я вспомнил о бане, которая летом была пуста и нередко служила спальнею для приезжающих гостей.

Домик у нас был маленький, «шляхетский», а не «панский».

Через двор, мимо крыльца, Василий Петрович тоже ни за что не хотел идти. Можно было пройти через сад, но я знал, что баня заперта, а ключ от нее у старой няни, которая ужинает в кухне. Оставить Василья Петровича не было никакой возможности, потому что на него снова напали бы собаки, отошедшие от нас только на несколько шагов и злобно лаявшие. Я перегнулся через частокол, за которым стоял с Васильем Петровичем, и громко кликнул сестру. Девочка подбежала и остановилась в недоумении, увидя оригинальную фигуру Овцебыка в крестьянской свитке и послушничьем колпаке. Я послал ее за ключом к няне и, получив вожделенный ключ, повел моего нежданного гостя через сад в баню.

Всю ночь напролет мы проговорили с Васильем Петровичем. Ему нельзя было возвращаться в пустынь, откуда он пришел, ибо его оттуда выгнали за собеседования, которые он задумал вести с богомольцами. Идти в иное место у него не было никакого плана. Неудачи его не обескуражили, но разбили на время его соображения. Он много говорил о послушниках, о монастыре, о приходящих туда со всех сторон богомольцах, и все это говорил довольно последовательно. Василий Петрович, живучи в монастыре, приводил в исполнение самый оригинальный план. Мужей, которых бы страсти не делали рабами, он искал в рядах униженных и оскорбленных монастырской семьи и с ними хотел отпереть свой Сезам, действуя на массы приходящего на богомолье народа.

— Этого пути никто не видит: его никто не сторожится; им не брегут зиждущие; а тут-то и есть то, что́ нужно во главу угла, — рассуждал Овцебык.

Припоминая себе хорошо знакомую монастырскую жизнь и тамошних людей из разряда униженных и оскорбленных, я готов был признать, что соображения Василья Петровича во многом не лишены основания.

Но пропагандист мой уже прогорел. Первый муж, стоявший, по его мнению, выше страстей, мой старый знакомый, послушник Невструев, в монашестве дьякон Лука, сделавшись поверенным Богословского, вздумал помочь своему унижению и оскорблению: он открыл начальству, «коего духа» Овцебык, и Овцебык был выгнан.

Теперь он был без приюта. Мне через неделю нужно было ехать в Петербург, а у Василья Петровича не было места, куда бы приклонить голову. Оставаться у моей матери ему было невозможно, да и он сам не хотел этого.

— Найдите мне опять кондицию, я обучать хочу, — говорил он.

Нужно было искать кондицию. Я взял с Овцебыка слово, что он новое место примет только для места, а не для посторонних целей, и стал искать ему приюта.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В нашей губернии очень много мелкопоместных деревень. Вообще у нас, говоря языком членов С.-Петербургского политико-экономического комитета, довольно распространено хуторное хозяйство. Однодворцы, владевшие крепостными людьми, после отобрания у них крестьян остались хуторянами, небольшие помещики промотались и крестьян попродали на свод в дальние губернии, а землю купцам или разбогатевшим однодворцам. Около нас было пять или шесть таких хуторов, перешедших в руки лиц недворянской крови. В пяти верстах от нашего хутора был Барков-хутор: так он назывался по имени своего прежнего владетеля, о котором говорили, что в Москве он жил когда-то

Праздно, весело, богато
И от разных матерей
Прижил сорок дочерей,

а на старости лет вступил в законный брак и продавал имение за имением. Барков-хутор, составлявший некогда отдельную дачу большого имения промотавшегося барина, принадлежал теперь Александру Ивановичу Свиридову. Александр Иванович родился в крепостном сословии, обучен грамоте и музыке. Смолоду он играл на скрипке в помещичьем оркестре, а девятнадцати лет откупился за пятьсот рублей на волю и сделался винокуром. Одаренный ясным практическим умом, Александр Иванович отлично повел свои дела. Сначала он сделал себе известность как лучший винокур в околотке; потом стал строить винокуренные заводы и водяные мельницы; со-

брал рублей тысячу свободных денег, съездил на год в северную Германию и возвратился оттуда таким строителем, что слава его быстро разнеслась на далекое пространство. В трех смежных губерниях знали Александра Ивановича и наперебой навязывали ему постройки. Дела он вел необыкновенно аккуратно и снисходительно смотрел на дворянские слабости своих заказчиков. Вообще он знал людей и часто смеялся в рукав над многими, но был человек недурной и даже, пожалуй, добрый. Его все любили, кроме местных немцев, над которыми он любил подтрунивать, когда они принимались вводить культурные порядки с полудикими людьми. «Обезьяну, — говорил он, — сейчас сделает», и немец действительно, как нарочно, ошибался в расчете и делал обезьяну. Через пять лет по возвращении из Мекленбург-Шверина Александр Иванович купил у своего бывшего помещика Барков-хутор, записался в купечество нашего уездного города, выдал замуж двух сестер и женил брата. Семья была выкуплена им из крепостного звания еще до поездки за границу и вся держалась вокруг Александра Ивановича. Брат и зятья все были у него на службе и на жалованье. Обращался он с ними крутенько. Не обижал, но держал в страхе. Так он держал и приказчиков и рабочих. И не то, чтобы он любил почет, а так... Убежден он был, что «нужно, чтоб люди не баловались». Купив хутор, Александр Иванович выкупил у того же помещика горничную девушку Настасью Петровну и сочетался с ней законным браком. Жили они всегда очень согласно. Люди говорили, что у них «совет да любовь». Выйдя замуж за Александра Ивановича, Настасья Петровна, что говорят, «раздобрела». Она всегда была писаная красавица, но замужем расцвела, как пышная роза. Высокая, белая, немножко полная, но стройная, румянец во всю щеку и большие ласковые голубые глаза. Хозяйка Настасья Петровна была очень хорошая. Муж, бывало, редко когда неделю просидит дома — все в разъездах по работам, а она и хозяйство по хутору ведет, и приказчиков отсчитывает, и лес или хлеб, если нужно куда на заводы, покупает. Во всем она была Александру Ивановичу правая рука, и зато все относились к ней очень серьезно и с большим уважением, а муж верил ей без меры и с нею не держался своей строгой политики. Ей у него ни в чем отказу

не было. Только она ничего не требовала. Читать сама выучилась и имя свое умела подписывать. Детей у них было всего две девочки: старшей девять лет, а младшей семь. Учила их гувернантка из русских. Сама Настасья Петровна шутя называла себя «дурой безграмотной». А впрочем, она знала едва ли менее многих иных так называемых воспитанных дам. По-французски она не разумела, но русские книги просто пожирала. Память у ней была страшная. Карамзинскую историю, бывало, чуть не наизусть рассказывает. А стихов на память знала без счету. Особенно она любила Лермонтова и Некрасова. Последний был особенно понятен и сочувствен ее много перестрадавшему в былое время крепостному сердцу. В разговоре у нее еще часто прорывались крестьянские выражения, особенно когда она говорила с воодушевлением, но эта народная речь даже необыкновенно шла к ней. Бывало, если она станет рассказывать этой речью что-нибудь прочитанное, так такую силу придаст своему рассказу, что после уж и читать не хочется. Очень способная была женщина. Дворянство наше часто наезжало в Барков-хутор, иногда так, чужого ужина попробовать, а больше по делам. Александру Ивановичу везде был кредит открытый, а помещикам мало верили, зная их плохую расплату. Говорили: «он аристократ — дай ему, да ори сто крат». Такова была их репутация. Понадобился хлеб — вино курить не из чего, а задатки либо промотаны, либо на уплату старых долгов пошли, — ну, и тянут к Александру Ивановичу. «Выручи! Голубчик, такой-сякой, поручись». Тут у Настасьи Петровны ручки целуют — ласковые такие и простодушные. А она, бывало, выйдет да помирает-хохочет. «Видели, говорит, *жиристов-то!*» Настасья Петровна «жиристами» прозывала дворян с тех пор, как одна московская барыня, вернувшись в свое разоренное имение, хотела «воспитать дикий самородок» и говорила: «как же вы не понимаете, ma belle Anastasie, что везде есть свои жирондисты!» Впрочем, руку у Настасьи Петровны все целовали, и она к этому привыкла. Но были и такие ухорцы, что открывались ей в любви и звали ее «под сень струй». Один лейб-гусар доказывал ей даже безопасность такого поступка, если она захватит с собой юхтовый бумажник Александра Ивановича. Но

Они страдали безуспешно.

Настасья Петровна умела держать себя с этими поклонниками красоты.

К этим-то людям — к Свиридовой и к ее мужу — я и решил обратиться с просьбой о моем неуклюжем приятеле. Когда я приехал просить за него, Александра Ивановича, по обыкновению, не было дома; я застал одну Настасью Петровну и рассказал ей, какого мне судьба послала малолетка. Через два дня я отвез к Свиридовым моего Овцебыка, а через неделю поехал к ним снова проститься.

— Что ты, брат, мне бабу тут без меня сбиваешь? — спросил меня Александр Иванович, встречая меня на крыльце.

— Чем я сбиваю Настасью Петровну? — спросил я в свою очередь, не понимая его вопроса.

— Как же, помилуй, для чего ты в филантропию ее затягиваешь? Какого ты ей тут шута на руки навязал?

— Слушайте его! — закричал из окна знакомый, немножко резкий контральт. — Отличный ваш Овцебык. Я вам за него очень благодарна.

— А взаправду, чтó ты за зверя такого нам завез? — спросил Александр Иванович, когда мы взошли в его чертежную.

— Овцебыка, — отвечал я, улыбаясь.

— Непонятный, брат, какой-то!

— Чем?

— Да совсем блажной какой-то!

— Это сначала.

— А может быть, под конец хуже будет?

Я рассмеялся, и Александр Иванович тоже.

— Да, парень, смех смехом, а куда его деть? Ведь мне, право, такого приткнуть некуда.

— Пожалуйста, дай ему что-нибудь заработать.

— Да ведь не о том! Я не прочь; да куда его определить-то? Ведь ты гляди, какой он, — сказал Александр Иванович, указывая на проходившего в эту минуту по двору Василья Петровича.

Я посмотрел, как тот шагает, заложа одну руку за пазуху свиты, а другою закручивая косицу, и сам подумал: «Куда бы его в самом деле, однако, можно было определить?»

— Пусть на порубке смотрит, — посоветовала мужу хозяйка.

Александр Иванович засмеялся.

— Пусть его будет на порубке, — сказал и я.

— Эх вы, дети малые! Что он там будет делать? Там ведь непривычный человек со скуки повесится. А мой згад — дать ему сто рублей, да пусть идет куда знает и пусть делает что хочет.

— Нет, ты его не отгоняй.

— Да, этак обидеть можно! — поддержала меня Настасья Петровна.

— Ну куда ж я его дену? У меня ведь всё мужики; я сам мужик; а он...

— Тоже не барин, — сказал я.

— Ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся.

— Да отдай ты его Настасье Петровне.

— Право, отдай, — вмешалась она снова.

— Бери, бери, моя матушка.

— Ну и прекрасно, — сказала Настасья Петровна.

Овцебык остался на руках Настасьи Петровны.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В августе месяце, живучи уже в Петербурге, я получил в почтамте страховое письмо со вложением пятидесяти рублей серебром. В письме было написано:

«Возлюбленный брате!

Я нахожусь при истреблении лесов, которые росли на всеобщую долю, а попали на свиридовскую часть. За полгода дали мне жалованья 60 рублей, хотя еще полгода и не прошло. Видно, гарнитура моя под это подговорилась, но сия их великатность пусть будет втуне: я в сем не нуждаюсь. Десять целковых себе оставил, а пятьдесят, при сем прилагаемых, тотчас, *без всякого письма,* отошлите крестьянской девице Глафире Анфиногеновой Мухиной в деревню Дубы, —ской губернии, —ского уезда. Да чтоб не знали, от кого. Это та, которая будто жена моя: так это ей на случай, если дитя родилось.

Тут мое житье постылое. Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего делать опричь того, что́ все делают: родителей поминают да свои брюхи набивают. Здесь все на Александра Свиридова молятся. Александр Иванович! — и человека больше ни для кого нет. До него все дорасти хотят, а что он такое за суть, сей муж кармана?

Да, понял ныне и я нечто, понял. Разрешил я себе «Русь, куда стремишься ты?», и вы не бойтесь: я отсюда не пойду. Некуда идти. Везде все одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь.

Василий Богословский».

Ольгина-Пойма.
3 августа 185... года.

В первых числах декабря я получил другое письмо. Этим письмом Свиридов извещал меня, что он выезжает на днях в Петербург с женою, и просил нанять ему удобную квартирку.

Дней через десять после этого второго письма Александр Иванович с женою сидели в премиленькой квартире против Александринского театра, отогревались чаем и отогревали мою душу рассказами о той далекой стороне,

Где сны златые снились мне.

— А что же вы мне не скажете, — спросил я, улучив минуту, — что делает мой Овцебык?

— Брыкается, брат, — отвечал Свиридов.

— Как брыкается?

— Чудит. К нам не ходит, пренебрегает, что ли, все с рабочими якшался, а теперь и это, должно быть, надоело: просил, чтоб его в другое место отправить.

— Что ж вы-то? — спросил я Настасью Петровну. — На вас ведь вся надежда была, что вы его приручите?

— Чего надежда? От нее-то он и бегает.

Я взглянул на Настасью Петровну, она на меня.

— Что будешь делать? Страшна, видно, я.

— Да как же это? Расскажите.

— Что говорить? — и говорить-то не про что — просто: пришел ко мне, да и говорит: «Отпустите меня». — «Куда?» — говорю. «Я, говорит, не знаю». — «Да чем вам худо у меня?» — «Мне, говорит, не худо, а отпустите». —

«Да что же, мол, такое?» Молчит. «Обидел вас кто, что ли?» Молчит, только косицы крутит. «Вы, говорю, Насте сказали бы, что́ вам худого делают». — «Нет, вы, говорит, пошлите меня на другую работу». Жаль стало мне его совсем выправить — послал на другую порубку, в Жогово, верст за тридцать. Там он и теперь, — прибавил Александр Иванович.

— Чем же вы его так разогорчили? — спросил я Настасью Петровну.

— А уж бог его знает: я его ничем не огорчала.

— Как мать родная за ним упадала, — поддержал Свиридов. — Обшила, одела, обула. Ведь знаешь, какая она сердобольная.

— Ну, и что же вышло?

— Невзлюбил меня, — смеясь, сказала Настасья Петровна.

Зажили мы знатно с Свиридовыми в Петербурге. Александр Иванович все хлопотал по делам, а мы с Настасьей Петровной все «болтались». Город ей очень понравился; но особенно она полюбила театры. Всякий вечер мы ходили в какой-нибудь театр, и никогда это ей не наскучало. Время шло быстро и приятно. От Овцебыка я в это время получил еще одно письмо, в котором он ужасно злобно выражался об Александре Ивановиче. «Разбойники и чужеземцы, — писал он, — по мне, лучше, чем эти богатеи из русских! А все за них, и черевы лопаются, как подумаешь, что это так и быть должно, что все за них будут. Вижу я нечто дивное: вижу, что он, сей Александр Иванов, мне во всем на дороге стоял, прежде чем я узнал его. Вот кто враг-то народный — сей вид сытого мужлана, мужлана, питающего от крупиц своих перекатную голь, чтобы она не сразу передохла да на него бы работала. Сей вот самый христианин нашему нраву под стать, и он всех и победит и дондеже приидут отложенная ему. С моими мыслями нам вдвоем на одном свете жить не приходится. Я уступлю ему дорогу, ибо он излюбленный их. Он хоть для кого-нибудь на потребу сдастся, а мое, вижу, все ни к черту не годится. Недаром вы каким-то звериным именем называли. Никто меня не признает своим, и я сам ни в ком своего не признал». Затем он просил написать, жив ли я и как живет Настасья Петровна. Этим же временем из Вытегры к Але-

ксандру Ивановичу зашли бондари, сопровождавшие вино с одного завода. Я их взял к себе в свободную кухню. Ребята всё были знакомые. С ними мы как-то разговорились о том, о сем, и до Овцебыка дошло.

— Как он у вас поживает? — спрашиваю их.

— Ничего живет!

— Действует, — подсказывает другой.

— А что он работает?

— Ну, какая от него работа! Так, невесть для чего его хозяин содержит.

— В чем же он время проводит?

— Слоняется по лесу. Указано ему от хозяина вроде приказчика рубку записывать, и того не делает.

— Отчего?

— Кто его знает. Баловство от хозяина.

— А здоровый он, — продолжал другой бондарь. — Иной раз возьмет топор да как почнет садить — ух! только искорья летят.

— А то на караул ходил еще.

— На какой караул?

— Брехал народ, что беглые будто ходят, так он по целым ночам стал пропадать. Ребята подумали, что и он не заодно ли с теми беглыми, да и подкарауль его. Как он пошел, а они втроем за ним. Видят, прямо на хутор попер. Ну, только ничего — всё пустяки вышли. Сел, сказывают, под ракитой, насупротив хозяйских окон, подозвал Султанку, да так и просидел до зорьки, а зорькою поднялся и опять к своему месту. Так и в другой и в третий. Ребята и бросили за ним смотреть. Почитай до осени до самой так ходил. А после успенья тут как-то ребята стали раз спать ложиться, да и говорят ему: «Полно, Петрович, на караул-то тебе ходить! Ложись-ко с нами». Ничего не сказал, а через два дни, слышим, отпросился: в другую дачу его хозяин поставил.

— А любили его, — спрашиваю, — ваши ребята-то?

Бондарь подумал и сказал:

— Ничего будто.

— Ведь он добрый.

— Да, он худа не делал. Рассказывать, бывало, когда что зачнет про Филарета Милостивого либо про другое что, то все на доброту сворачивает и против богачества складно говорит. Ребята его много которые слушали.

— И что же: нравилось им?

— Ничего. Тоже другой раз и смешно сделает.

— А что же бывает смешно?

— А вот, например, говорит-говорит про божество, да вдруг — про господ. Возьмет горсть гороху, выберет что ни самые ядреные гороховины, да и рассажает их по свитке: «Вот это, говорит, самый на́больший — король; а это, поменьше, — его министры с князьями; а это, еще поменьше, — баре, да купцы, да попы толстопузые; а вот это, — на горсть-то показывает, — это, говорит, мы, гречкосеи». Да как этими гречкосеями-то во всех в принцев и в попов толстопузых шарахнет: все и сровняется. Куча станет. Ну, ребята, известно, смеются. Покажи, просят, опять эту комедию.

— Это он так, известно, дурашен, — подсказал другой.

Оставалось молчать.

— А из каких он будет? Не из комедиантов? — спросил второй бондарь.

— С чего это вы выдумали?

— Народ так-то баил. Миронка, что ли, сказывал.

Миронка был маленький, вертлявый мужик, давно разъезжающий с Александром Ивановичем. Он слыл за певца, сказочника и балагура. В самом деле, он иногда выдумывал нелепые утки и мастерски распускал их между простодушным народом и наслаждался плодами своей изобретательности. Очевидно было, что Василий Петрович, сделавшись загадкою для ребят, рубивших лес, сделался и предметом толков, а Миронка воспользовался этим обстоятельством и сделал из моего героя отставного комедианта.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Была масленица. Мы с Настасьей Петровной едва достали билет на вечерний спектакль. Давали «Эсмеральду», которую ей давно хотелось видеть. Спектакль шел очень хорошо и, по русскому театральному обычаю, окончился очень поздно. Ночь была погожая, и мы с Настасьей Петровной пошли домой пешком. Дорогою я заметил, что моя винокурша очень задумчива и часто отвечает невпопад.

— Что вас так занимает? — спросил я ее.

— А что?

— Да вы не слышите, что́ я вам говорю.

Настасья Петровна засмеялась.

— А как вы думаете: о чем я задумываюсь?

— Трудно отгадать.

— Ну, а так, например?

— Об Эсмеральде.

— Да, вы почти отгадали; но не сама Эсмеральда меня занимает, а этот бедный Квазимодо.

— Вам жаль его?

— Очень. Вот настоящее несчастие: быть таким человеком, которого нельзя любить. И жаль его, и хотел бы снять с него горе, да нельзя этого сделать. Это — ужасно! А нельзя, никак нельзя, — продолжала она в раздумье.

Усевшись за чай, в ожидании возвращения к ужину Александра Ивановича, мы очень долго толковали. Александр Иванович не приходил.

— Э! Еще слава богу, что в самом деле на свете таких людей не бывает.

— Каких? Как Квазимодо?

— Да.

— А Овцебык?

Настасья Петровна ударила ладонью по столу и сначала рассмеялась, но потом как бы застыдилась своего смеха и проговорила тихо:

— А ведь в самом деле!

Она придвинула свечку и пристально стала смотреть в огонь, прищуривая слегка свои прекрасные глаза.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Свиридовы пробыли в Петербурге до лета. Всё день за день откладывали за делами свой отъезд. Они уговорили меня ехать с ними вместе. Вместе мы ехали до нашего уездного города. Тут я сел на перекладную и повернул к матушке, а они уехали к себе, взяв с меня слово быть у них через неделю. Александр Иванович собирался тотчас же по приезде домой ехать в Жогово, где у него шла рубка и где резидировал теперь Овцебык, а через неделю обещал быть дома. У нас меня не ожидали

и очень мне обрадовались... Я сказал, что с неделю никуда не выеду; мать вызвала моего двоюродного брата с женою, и начались разные буколические наслаждения.

Так прошло дней десять, а на одиннадцатый или на двенадцатый, на самой ранней зоре, ко мне вошла несколько встревоженная моя старушка-няня.

— Что такое? — спрашиваю ее.

— От барковских, дружочек, к тебе, — говорит, — прислали.

Вошел двенадцатилетний мальчик и, не кланяясь, переложил раза два из руки в руку свою шляпенку, откашлялся и сказал:

— Хозяйка тебе велела, чтоб сичас к ней ехал.

— Здорова Настасья Петровна? — спрашиваю.

— Ну, а то что ей.

— А Александр Иваныч?

— Хозяина нетути дома, — отвечал мальчик, снова откашливаясь.

— Где ж хозяин?

— У Жогови... там, вишь, случай припал.

Я велел оседлать себе одну из матушкиных пристяжных лошадей и, одевшись в одну минуту, поехал шибкою рысью в Барков-хутор. Было только пять часов утра, и дома у нас все еще спали.

В домике на хуторе, когда я приехал туда, все окна, кроме комнаты детей и гувернантки, были уже отворены, и в одном окне стояла Настасья Петровна, повязанная большим голубым фуляром. Она растерянно отвечала головою на мой поклон и, пока я привязывал к коновязи лошадь, два раза махнула рукой, чтобы я шел скорее.

— Вот напасть-то! — сказала она, встречая меня на самом пороге.

— Что такое?

— Александр Иванович третьего дня вечером уехал в Турухтановку, а нынче в три часа ночи из Жогова, с порубки, вот какую записку прислал с нарочным.

Она подала мне измятое письмо, которое до того держала в своих руках.

«Настя! — писал Свиридов. — Пошли сейчас в М. на телеге парой, чтоб отдали письмо лекарю и исправнику. Чудак-то твой таки наделал нам дел. Вчера вечером го-

ворил со мной, а нынче перед полдниками удавился. Пошли кого поумнее, чтоб купил все в порядке и чтоб гроб везли поскорее. Не то время теперь, чтобы с такими делами возиться. Пожалуйста, поторопись, да растолкуй, кого пошлешь: как ему надо обращаться с письмами-то. Знаешь, теперь как день дорог, а тут мертвое тело.

Твой *Александр Свиридов»*.

Через десять минут я ехал крупной рысью к Жогову. Виляя по различным проселкам, я очень скоро потерял настоящую дорогу и едва к сумеркам добрался до жоговского леса, где шла рубка. Лошадь я совершенно измучил и сам изнемог от продолжительной верховой езды по жару. Въехав на поляну, на которой была караульная изба, я увидел Александра Ивановича. Он стоял на крыльце в одном жилете и держал в руках счеты. Лицо у него было, по обыкновению, спокойно, но несколько серьезнее обыкновенного. Перед ним стояло человек тридцать мужиков. Они были без шапок, с заткнутыми за пояса топорами. Несколько в стороне от них стоял знакомый мне приказчик Орефьич, а еще далее — кучер Миронка.

Тут же стояла пара выпряженных коренастых лошадок Александра Ивановича.

Миронка подскочил ко мне и, взяв мою лошадь, с веселой улыбкой сказал:

— Эх, как упарили!

— Поводи, поводи хорошенько! — крикнул ему Александр Иванович, не выпуская счет из руки.

— Так та́к, ребята? — спросил он, обратясь к стоявшим перед ним крестьянам.

— Должно, так, Александра Иваныч, — отозвалось несколько голосов.

— Ну, и с богом, коли так, — отвечал он крестьянам, протянул мне руку и, долго посмотрев мне в глаза, сказал:

— Что, брат?

— Что?

— Какову штучку-то отколол?

— Повесился.

— Да; сказнил себя. Ты от кого узнал?

Я рассказал, как было.

— Умница баба, что спосылала за тобою; я, признаться, и не вздумал. Да ты еще-то что знаешь? — понизив голос, спросил Александр Иванович.

— А еще я ничего не знаю. Разве еще что есть?

— Как же! Он тут, брат, было такую гармонию изладил, что унеси ты мое горе. Поблагодарил было за хлеб за соль. Да и вам с Настасьей Петровной спасибо: одра этакого мне навязали.

— Что же такое? — говорю. — Сказывай толком!

А самому страсть как неприятно.

— Писание, братец, начал толковать на свой салтык, и, скажу тебе, уж не на честный, а на дурацкий. Про мытаря начал, да про Лазаря убогого, да вот как кому в иглу пролезть можно, а кому нельзя, и свел все на меня.

— Как же он оборотил на тебя?

— Как?.. А так, видишь ли, что я в его расчислении «купец — загребущая лапа» и гречкосеям надо меня лобанить.

Дело было понятно.

— Ну, а что же гречкосеи? — спросил я Александра Ивановича, смотревшего на меня значительным взглядом.

— Ребята, известно — ничего.

— То есть начистоту, что ли, всё вывели?

— Разумеется. Волки! — продолжал Александр Иванович с лукавой усмешкой. — Всё, будто не смысля, ему говорят: «Это, Василий Петрович, ты, должно́, в правиле. Мы теперь как отца Петра увидим, тоже его об этом расспрошаем», а мне тут это все больше шутя сказывают и говорят: «Не в порядках, говорят, все он гуторит». И прямо в глаза при нем его слова повторяют.

— Ну, что ж дальше?

— Я было это хотел так и спустить, будто тоже не разумею; ну, а теперь, как такой грех случился, призывал их нарочно будто счеты поверить, да стороною им загвоздку добрую закинул, что эти, мол, речи пустошные, их надо из головы выкинуть и про них крепко молчать.

— А хорошо, как они это соблюдут.

— Небось соблюдут, со мной не дурачатся.

Мы вошли в избу. На лавке у Александра Ивановича лежали пестрая казанская кошма и красная сафьяновая подушка; стол был накрыт чистой салфеткой, и на нем весело кипел самовар.

— Что это ему вздумалось? — проговорил я, усевшись к столику вместе с Свиридовым.

— Поди ж ты! С большого ума-то ведь чего не вздумаешь. Терпеть я не могу этих семинаристов.

— Третьего дня вы с ним говорили?

— Говорили. Ничего промеж нас не было неприятного. Вечером тут рабочие пришли, водкой я их потчевал, потолковал с ними, денег дал, кому вперед просили; а он тут и улизнул. Утром его не было, а перед полденками девчонка какая-то пришла к рабочим: «Смотрите, говорит, вот тут за поляной человек какой-то удавился». Пошли ребята, а он, сердечный, уж очерствел. Должно, еще с вечера повесился.

— А больше ничего неприятного не было?

— Ничегошеньки.

— Может, ты не сказал ли ему чего?

— Еще что выдумай!

— Письма он никакого не оставил?

— Никакого.

— В бумагах ты у него не посмотрел?

— Бумаг у него, кажется, и не было.

— А все бы посмотреть, пока полиция не приехала.

— Пожалуй.

— Что у него сундучок, что ли, был? — спросил Александр Иванович у стряпки.

— У покойника-то? — сундучок.

Принесли маленький незапертый сундучок. Открыли его при приказчике и стряпке. Ничего тут не было, кроме двух перемен белья, засаленных выписок из сочинений Платона да окровавленного носового платка, завернутого в бумажку.

— Что это за платок такой? — спросил Александр Иванович.

— А это как он, покойник, руку тут при хозяйке порубил, так она ему своим платочком завязала, — отвечала стряпка. — Тот он самый и есть, — добавила баба, посмотрев на платок поближе.

— Ну, вот и все, — проговорил Александр Иванович.

— Пойдем посмотреть на него.

— Пойдем.

Пока Свиридов одевался, я внимательно рассмотрел бумажку, в которой был завернут платок. Она была

совершенно чистая. Я перепустил листы Платоновой книги — нигде ни малейшей записочки; есть только очеркнутые ногтями места. Читаю очеркнутое:

«Персы и афиняне потеряли равновесие, одни слишком распространивши права монархии, другие — простирая слишком далеко любовь к свободе».

«Вола не поставляют начальником над волами, а человека. Пусть царствует гений».

«Ближайшая к природе власть есть власть сильного».

«Где бесстыдны старики, там юноши необходимо будут бесстыдны».

«Невозможно быть отлично добрым и отлично богатым. Почему? Потому что кто приобретает честными и нечестными способами, тот приобретает вдвое больше приобретающего одними честными способами, и кто не делает пожертвований добру, тот менее расходует, чем тот, кто готов на благородные жертвы».

«Бог есть мера всех вещей, и мера совершеннейшая. Чтобы уподобиться богу, надо быть умеренным во всем, даже в желаниях».

Тут есть на поле слова, слабо написанные каким-то рыжим борщом рукой Овцебыка. С трудом разбираю: *«Васька глупец! Зачем ты не поп? Зачем ты обрезал крылья у слова своего? Не в ризе учитель — народу шут, себе поношение, идее — пагубник. Я тать, и что дальше пойду, то больше сворую».*

Я закрыл Овцебыкову книгу.

Александр Иванович надел свой казакин, и мы пошли на поляну. С поляны повернули вправо и пошли глухим сосновым бором; перешли просеку, от которой начиналась рубка, и опять вошли на другую большую поляну. Здесь стояли два большие стога прошлогоднего сена. Александр Иванович остановился посреди поляны и, вобрав в грудь воздуха, громко крикнул: «Гоп! гоп!» Ответа не было. Луна ярко освещала поляну и бросала две длинные тени от стогов.

— Гоп! гоп! — крикнул во второй раз Александр Иванович.

— Гоп-па! — отвечали справа из леса.

— Вот где! — сказал мой спутник, и мы пошли вправо.

Через десять минут Александр Иванович снова крикнул, и ему тотчас отвечали, а вслед за тем мы увидели

двух мужиков: старика и молодого парня. Оба они, увидя Свиридова, сняли шапки и стояли, облокотясь на свои длинные палки.

— Здорово, христиане!

— Здравствуй, Ликсандра Иваныч!

— Где покойник-то?

— Тутотка, Ликсандра Иваныч.

— Покажите: я не заприметил что-то места.

— Да вот он.

— Где?

— Да вот он!

Крестьянин усмехнулся и показал вправо.

В трех шагах от нас висел Овцебык. Он удавился тоненьким крестьянским пояском, привязав его к сучку не выше человеческого роста. Колени у него были поджаты и чуть недоставали до земли. Точно он на коленях стоял. Руки даже у него, по обыкновению, были заложены в карманы свитки. Фигура его вся была в тени, а на голову сквозь ветки падал бледный свет луны. Бедная это голова! Теперь она была уже покойна. Косицы на ней торчали так же вверх, бараньими рогами, и помутившиеся, остолбенелые глаза смотрели на луну с тем самым выражением, которое остается в глазах быка, которого несколько раз ударили обухом по лбу, а потом уже сразу проехали ножом по горлу. В них нельзя было прочесть предсмертной мысли добровольного мученика. Они не говорили и того, что́ говорили его платоновские цитаты и платок с красною меткою.

— Вот тебе и все: был человек, как его и не было, — сказал Свиридов.

— Ему гнить, а вам жить, батюшка Ликсандра Иваныч, — проговорил старичок заискивающим сладеньким голоском.

Он тоже говорил, что ему гнить, а Александрам Ивановичам жить.

Душно тут было, в этом темном лесном куточке, избранном Овцебыком для конца своих мучений. А на поляне было так светло и отрадно. Месяц купался в лазури небес, а сосны и ели дремали.

Париж.
28-го ноября 1862 года.

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

ОЧЕРК

«Первую песенку зардевшись спеть».
Поговорка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее *леди Макбет Мценского уезда.*

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная, и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали они крупчаткою, держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажиточные. Семья у них к тому же была совсем небольшая: свекор Борис Тимофеич Измайлов, человек уж лет под восемьдесят, давно вдовый; сын его

Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны, пятый год, как она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой жены, с которою он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча, и не то что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самоё Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, бог весть как рада бы она была понянчиться с деточкой; а другое — и попреки ей надоели: «Чего шла да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, нерóдица», словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим.

При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть часов утра чаю, да и по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампады сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.

Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать со скуки и полезет по лесенке в свою супружескую опочивальню, устроенную на высо-

ком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбаров пеньку вешают или крупчатку ссыпают, — опять ей зевнется, она и рада: прикорнет часок-другой, а проснется — опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, окромя киевского патерика, в доме их не было.

Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисыч народу на мельницу с целой округи и сам там сидел безотлучно; городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучней было, а тут будто даже как и лучше показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не лежало, а без него по крайней мере одним командиром над ней стало меньше.

Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чем определенном не думая, да и стыдно ей, наконец, зевать стало. А на дворе погода такая чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички.

«Что это я в самом деле раззевалась? — подумала Катерина Львовна. — Сем-ну я хоть встану по двору погуляю или в сад пройдусь».

Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла.

На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит.

— Чего это вы так радуетесь? — спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков.

— А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую вешали, — отвечал ей старый приказчик.

— Какую свинью?

— А вот свинью Аксинью, что родила сына Василья да не позвала нас на крестины, — смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой.

Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиньи.

— Черти, дьяволы гладкие, — ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади.

— Восемь пудов до обеда тянет, а пихтéрь сена съест, так и гирь недостанет, — опять объяснял красивый молодец и, повернув кадь, выбросил кухарку на сложенное в угле кульё.

Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.

— Ну-ка, а сколько во мне будет? — пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.

— Три пуда семь фунтов, — отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму. — Диковина!

— Чему ж ты дивуешься?

— Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвовна. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо — и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать.

— Что ж я, не человек, что ли? Небось тоже устанешь, — ответила, слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми.

— Ни боже мой! В Аравию счастливую занес бы, — отвечал ей Сергей на ее замечание.

— Не так ты, молодец, рассуждаешь, — говорил ссыпавший мужичок. — Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила наша, сила тянет — не тело!

— Да, я в девках страсть сильна была, — сказала, опять не утерпев, Катерина Львовна. — Меня даже мужчина не всякий одолевал.

— А ну-с, позвольте ручку, если как это правда, — попросил красивый молодец.

Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.

— Ой, пусти кольцо: больно! — вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку, и свободною рукою толкнула его в грудь.

Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону.

— Н-да, вот ты и рассуждай, что женщина, — удивился мужичок.

— Нет, а вы позвольте так взяться, на-борки, — относился, раскидывая кудри, Серега.

— Ну, берись, — ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки.

Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было пошевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку.

Катерина Львовна не успела даже распорядиться своею хваленою силою. Красная-раскрасная, поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара, а Сергей молодецки кашлянул и крикнул:

— Ну вы, олухи царя небесного! Сыпь, не зевай, гребла́ не замай; будут вершки, наши лишки.

Будто как он и внимания не обратил на то, что́ сейчас было.

— Девичур этот проклятый Сережка! — рассказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Аксинья. — Всем вор взял — что ростом, что лицом, что красотой. Какую ты хочешь женчину, сейчас он ее, подлец, улестит, и улестит и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный!

— А ты, Аксинья... того, — говорила, идучи впереди ее, молодая хозяйка, — мальчик-то твой у тебя жив?

— Жив, матушка, жив — что ему! Где они не нужны-то кому, у тех они ведь живущи.

— И откуда это он у тебя?

— И-и! так, гулевой — на народе ведь живешь-то — гулевой.

— Давно он у нас, этот молодец?

— Кто это? Сергей-то, что ли?

— Да.

— С месяц будет. У Копчоновых допреж служил, так прогнал его хозяин. — Аксинья понизила голос и досказала: — Сказывают, с самой с хозяйкой в любви был... Ведь вот, треанафемская его душа, какой смелый!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисыч еще не возвращался с попрудки. Свекра Бориса Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому приятелю на именины, даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повечéрила, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать: кто под сараи, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.

— Здравствуй, — тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня.

— Сударыня! — произнес кто-то чрез две минуты у запертой двери Катерины Львовны.

— Кто это? — испугавшись, спросила Катерина Львовна.

— Не извольте пугаться: это я, Сергей, — отвечал приказчик.

— Что тебе, Сергей, нужно?

— Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить вашу милость об одной малости желаю; позвольте взойти на минуту.

Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея.

— Что тебе? — спросила она, сама отходя к окошку.

— Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить,

нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолевает.

— У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю я их, — отвечала Катерина Львовна.

— Такая скука, — жаловался Сергей.

— Чего тебе скучать!

— Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, живем мы словно как в монастыре каком, а вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаянье иногда приходит.

— Чего ж ты не женишься?

— Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут жениться? Человек я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдет, а по бедности все у нас, Катерина Ильвовна, вы сами изволите знать, необразованность. Разве оне могут что об любви понимать как следует! Вот изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были, а вы у них теперь как канарейка в клетке содержитесь.

— Да, мне скучно, — сорвалось у Катерины Львовны.

— Как не скучать, сударыня, в эдакой жизни! Хоша бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так, как другие прочие делают, так вам и видеться с ним даже невозможно.

— Ну это ты... не то совсем. Мне вот, когда б я себе ребеночка бы родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело стало.

— Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нешто теперь, по хозяевам столько лет живши и на эдакую женскую жизнь по купечеству глядючи, мы тоже не понимаем? Песня поется: «без мила дружка обуяла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было...

У Сергея задрожал голос.

— Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе...

— Нет, позвольте, сударыня, — произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне. — Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете; ну только теперь, — произнес он одним придыханием, — теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти.

— Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно брошусь, — говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносною властью неописуемого страха, и схватилась рукою за подоконницу.

— Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросаться? — развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.

— Ох! ох! пусти, — тихо стонала Катерина Львовна, слабея под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.

Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол.

В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не мешало.

— Иди, — говорила Катерина Львовна через полчаса, не смотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы.

— Чего я таперича отсюдова пойду, — отвечал ей счастливым голосом Сергей.

— Свекор двери запрет.

— Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога? Мне что к тебе, что от тебя — везде двери, — отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Зиновий Борисыч еще неделю не бывал домой, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого бела света гуляла с Сергеем.

Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча и винца из свекрового погреба попито, и сладких сластей

поедено, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.

Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому, подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихохонько спускается книзу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил Борис Тимофеич и хвать молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.

— Сказывай, — говорит Борис Тимофеич, — где был, вор ты эдакой?

— А где был, — говорит, — там меня, Борис Тимофеич, сударь, уж нету, — отвечал Сергей.

— У невестки ночевал?

— Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал; а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего слова послушай: что, отец, было, того назад не воротишь; не клади ж ты по крайности позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения желаешь?

— Желаю я тебе, аспиду, пятьсот плетей закатить, — отвечал Борис Тимофеич.

— Моя вина — твоя воля, — согласился молодец. — Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей мою кровь.

Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел.

Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном.

Но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят, а Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уже невмоготу стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея», — пришла она к свекру.

Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки.

— Что ты это, такая-сякая, — начал он срамить Катерину Львовну.

— Пусти, — говорит, — я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было.

— Худого, — говорит, — не было! — а сам зубами так и скрипит. — А чем вы там с ним по ночам займались? Подушки мужнины перебивали?

А та все с своим пристает: пусти его да пусти.

— А коли так, — говорит Борис Тимофеич, — так вот же тебе: муж приедет, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю.

Тем Борис Тимофеич и порешил; но только это решение его не состоялось.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком.

Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели; а свекра, Бориса Тимофеича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое, а Зиновия Борисыча посланный не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался еще верст за сто: посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал.

Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что́ такое она себе задумала; ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому по двору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это длетованье вдруг сразу прошло. «Зашла, — смекали, — у хозяйки с Сергеем алигория, да и только. — Ее, мол, это дело, ее и ответ будет».

А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым кречетом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время катилось не для них одних: спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисыч.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На дворе после обеда стоял пёклый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть на высокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и омаривает, так лицо по́том и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала: «Самовар, — говорит, — под яблонью глохнет». Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый да претолстющий-толстый... и усы как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел? — думает Катерина Львовна. — Сливки тут-то я на окне поставила: беспременно он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его», — решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же этот кот у нас взялся? —

рассуждает в кошмаре Катерина Львовна. — Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а тут ишь какой забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. «О, да что ж это такое? Уж это, полно, кот ли?» — подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице — никакого кота нет, лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает.

Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала, целовала Сергея, миловала, миловала его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить; а солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный вечер.

— Заспалась я, — говорила Аксинье Катерина Львовна и уселась на ковре под цветущею яблонью чай пить. — И что это такое, Аксиньюшка, значит? — пытала она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.

— Что, матушка?

— Не то что во сне, а вот совсем вот наяву кот ко мне все какой-то лез.

— И, что ты это?

— Право, кот лез.

Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.

— И зачем тебе его было ласкать?

— Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.

— Чудно, право! — восклицала кухарка.

— Я и сама надивиться не могу.

— Это беспременно вроде как к тебе кто-нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдет.

— Да что ж такое именно?

— Ну *именно что* — уж этого тебе никто, милый друг, объяснить не может, что́ именно, а только что-нибудь да будет.

— Месяц все во сне видела, а потом этот кот, — продолжала Катерина Львовна.

— Месяц это младенец.

Катерина Львовна покраснела.

— Не спослать ли сюда к твоей милости Сергея? — попытала ее напрашивающаяся в наперсницы Аксинья.

— Ну что ж, — отвечала Катерина Львовна, — и то правда, поди пошли его: я его чаем тут напою.

— То-то, я говорю, что послать его, — порешила Аксинья и закачалась уткою к садовой калитке.

Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.

— Мечтанье одно, — отвечал Сергей.

— С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?

— Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я на тебя только глазком гляжу да сохну, а нонче вона! Всем твоим белым телом владею.

Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.

— Ух, голова закружилась, — заговорила Катерина Львовна. — Сережа! поди-ка сюда; сядь тут возле, — позвала она, нежась и потягиваясь в роскошной позе.

Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины Львовны.

— А ты сох же по мне, Сережа?

— Как же не сох.

— Как же ты сох? Расскажи мне про это.

— Да как про это расскажешь? Разве можно про это изъяснить, как сохнешь? Тосковал.

— Отчего ж я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют.

Сергей промолчал.

— А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? что? Я ведь небось слыхала, как ты на галдарее пел, — продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.

— Что ж что песни пел? Комар вон и весь свой век поет, да ведь не с радости, — отвечал сухо Сергей.

Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Сергея.

Ей хотелось говорить, а Сергей супился и молчал.

— Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой! — воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на котором стоял полный погожий месяц.

Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны; в воздухе стояло тихо; только легонь-

кий теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям.

Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледнорозовые цветы яблони на небо. Сергей тоже молчал; только его не занимало небо. Обхватив обеими руками свои колени, он сосредоточенно глядел на свои сапожки.

Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагом, позади сада, кто-то завел звучную песню; под забором в густом черемушнике щелкнул и громко заколотил соловей; в клетке на высоком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за садовым забором пронеслась без всякого шума веселая стая собак и исчезла в безобразной, черной тени полуразвалившихся, старых соляных магазинов.

Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава так и играет с лунным блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти прихотливые, светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону.

— Ах, Сережечка, прелесть-то какая! — воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна.

Сергей равнодушно повел глазами.

— Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?

— Что пустое говорить! — отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну.

— Изменщик ты, Сережа, — ревновала Катерина Львовна, — необстоятельный.

— Я даже этих и слов на свой счет не принимаю, — отвечал спокойным тоном Сергей.

— Что ж ты меня так целуешь?

Сергей совсем промолчал.

— Это только мужья с женами, — продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна, — так друг дружке с губ пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони,

что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так, вот, — шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и целуя его с страстным увлечением.

— Слушай, Сережа, что́ я тебе скажу, — начала Катерина Львовна спустя малое время, — с чего это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик?

— Кому ж это про меня брехать охота?

— Ну уж говорят люди.

— Может быть, когда и изменял тем, какие совсем нестоящие.

— А на что, дурак, с нестоящими связывался? с нестоющею не надо и любви иметь.

— Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассуждению делается? Один соблаз действует. Ты с нею совсем просто, без всяких этих намерений заповедь свою преступил, а она уж и на шею тебе вешается. Вот и любовь!

— Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу; ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько ж и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня, — живая не расстанусь.

Сергей встрепенулся.

— Да ведь, Катерина Ильвовна! свет ты мой ясный! — заговорил он. — Ты сама посмотри, какое наше с тобою дело. Ты вон так теперь замечаешь, что я задумчив нонче, а не рассудишь ты того, как мне и задумчивым не быть. У меня, может, все сердце мое в запеченной крови затонуло!

— Говори, говори, Сережа, свое горе.

— Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело, благослови господи, муж твой наедет, а ты, Сергей Филипыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музыкантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Ильвовны в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку перебивает, да с своим законным Зиновием с Борисычем опочивать укладывается.

— Этого не будет! — весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.

— Как так этого не будет! А я так понимаю, что совсем даже без этого вам невозможно. А я тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть.

— Да ну, полно тебе все об этом.

Катерине Львовне было приятно это выражение Сергеевой ревности, и она, рассмеявшись, опять взялась за свои поцелуи.

— А повторительно, — продолжал Сергей, тихонько высвобаживая свою голову из голых по плечи рук Катерины Львовны, — повторительно надо сказать и то, что состояние мое самое ничтожное тоже заставляет, может, не раз и не десять раз рассудить и так и иначе. Будь я, так скажу, равный вам, будь я какой барин или купец, я бы то есть с вами, Катерина Ильвовна, и ни в жизнь мою не расстался. Ну, а так сами вы посудите, что я за человек при вас есть? Видючи теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в опочивальню, должен я все это переносить в моем сердце и, может, даже сам для себя чрез то на целый век презренным человеком сделаться. Катерина Ильвовна! Я ведь не как другие прочие, для которого все равно, абы ему от женчины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и как она черной змеею сосет мое сердце...

— Что ты это мне все про такое толкуешь? — перебила его Катерина Львовна.

Ей стало жаль Сергея.

— Катерина Ильвовна! Как про это не толковать-то? Как не толковать-то? Когда, может, все уж им объяснено и расписано, когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а даже самого завтрашнего числа Сергея здесь ни духу, ни паху на этом дворе не останется?

— Нет, нет, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будет, чтоб я без тебя осталась, — успокоивала его все с теми же ласками Катерина Львовна. — Если только пойдет на что дело... либо ему, либо мне не жить, а уж ты со мной будешь.

— Никак этого не может, Катерина Ильвовна, последовать, — отвечал Сергей, печально и грустно качая своею головою. — Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Любил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь? Нешто это вам почет какой — полюбовни-

цей быть? Я б хотел пред святым предвечным храмом мужем вам быть: так тогда я, хоть завсегда млаже себя перед вами считая, все-таки мог бы по крайности публично всем обличить, сколь я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю...

Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этим его желанием жениться на ней — желанием, всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастия; кровь ее кипела, и она не могла более ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижав к груди своей его голову, заговорила:

— Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить с тобою совсем как следует стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас.

И опять пошли поцелуи да ласки.

Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине то шепот с тихим смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее над хилою старостью посмеяться; то хохот звонкий и веселый, словно кого озерные русалки щекочут. Все это, плескаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру, резвилась и играла Катерина Львовна с молодым мужниным приказчиком. Сыпался, сыпался на них молодой белый цвет с кудрявой яблонки, да уж и перестал сыпаться. А тем временем короткая летняя ночь проходила, луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела на землю искоса, тусклее и тусклее; с кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт; потом послышались плевок, сердитое фырканье, и вслед за тем два или три кота, оборвавшись, с шумом покатились по приставленному к крыше пуку теса.

— Пойдем спать, — сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь с ковра, и как лежала в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по тихому, до мертвенности тихому купеческому двору, а Сергей понес за нею коверчик и блузу, которую она, расшалившись, сбросила.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик, сон так и окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешившись, так крепко, что и нога ее спит и рука спит; но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась и на постель тяжелым осметком упал давишний кот.

— Да что же это в самом деле за наказание с этим котом? — рассуждает усталая Катерина Львовна. — Дверь теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ заперла, окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выкину, — собиралась встать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги ее не служат ей; а кот ходит по всей по ней и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова человеческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать.

«Нет, — думает она, — больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудреный какой-то этот кот ко мне повадился».

А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордою да и выговаривает: «Какой же, — говорит, — я кот! С какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишечки внутри потрескались от невестушкиного от угощения. С того, — мурлычит, — я весь вот и поубавился и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне разумеет, чтó я такое есть в самом деле. Ну, как же нонче ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой закон верно соблюдаешь? Я и с кладбища нарочно пришел поглядеть, как вы с Сергеем Филипычем мужнину постельку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня, видишь, от твоего угощения и глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся!»

Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится!

Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и опять заснул; но у нее весь сон прошел — и кстати.

Лежит она с открытыми глазами и вдруг слышит, что на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли, — должно быть, ласкаться стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка внизу щелкнула, и дверь отворилась. «Либо мне все это слышится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся, потому что дверь его запасным ключом отперта», — подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.

— Слушай, Сережа, — сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.

По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно переступаючи, действительно кто-то приближался к запертой двери спальни.

Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб, по которому не первый раз спускался из хозяйкиной спальни.

— Нет, не надо, не надо! Ты приляг тут... не отходи далеко, — прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается.

Сергей послушался Катерины Львовны: он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под лубком на галереечке.

Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже слышно, как учащенно стукает его ревнивое сердце; но не жалость, а злой смех разбирает Катерину Львовну.

«Ищи вчерашнего дня», — думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем.

Это продолжалось минут десять; но, наконец, Зиновию Борисычу надоело стоять за дверью да слушать, как жена спит: он постучался.

— Кто там? — не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна.

— Свои, — отозвался Зиновий Борисыч.

— Это ты, Зиновий Борисыч?

— Ну я! Будто ты не слышишь!

Катерина Львовна вскочила как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель.

— Чтой-то перед зарей холодно становится, — произнесла она, укутываясь одеялом.

Зиновий Борисыч взошел озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся.

— Как живешь-можешь? — спросил он супругу.

— Ничего, — отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую блузу.

— Самовар небось поставить? — спросила она.

— Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит.

Катерина Львовна нахватила нá босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было. В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку.

— Сиди тут, — шепнула она.

— Докуда же сидеть? — также шепотом спросил Сережа.

— О, да какой же ты бестолковый! Сиди, докуда я скажу.

И Катерина Львовна сама посадила его на старое место.

А Сергею отсюда с галереи все слышно, чтó в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь и Катерина Львовна снова взошла к мужу. Все от слова до слова слышно.

— Что ты там возилась долго? — спрашивает жену Зиновий Борисыч.

— Самовар ставила, — отвечает она спокойно.

Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисыч вешает на вешалку свой сюртук. Вот он умывается, фыркает и брызжет во все стороны водою; вот спросил полотенце; опять начинаются речи.

— Ну как же это вы тятеньку схоронили? — осведомляется муж.

— Так, — говорит жена, — они померли, их и схоронили.

— И что это за удивительность такая!

— Бог его знает, — отвечала Катерина Львовна и застучала чашками.

Зиновий Борисыч грустный ходил по комнате.

— Ну, а вы тут как свое время провождали? — расспрашивает опять жену Зиновий Борисыч.

— Наши радости-то, чай, всякому известны: по балам не ездим и по тиатрам столько ж.

— А словно радости-то у вас и к мужу немного, — искоса поглядывая, заводил Зиновий Борисыч.

— Не молоденькие тоже мы с вами, чтоб так без ума без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот хлопочу, бегаю для вашего удовольствия.

Катерина Львовна опять выбежала самовар взять и опять заскочила к Сергею, дернула его и говорит: «Не зевай, Сережа!»

Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако, стал наготове.

Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Борисыч стоит коленями на постели и вешает на стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным снурочком.

— Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком положении постель надвое разостлали? — как-то мудрено вдруг спросил он жену.

— А вас все дожидала, — спокойно глядя на него, ответила Катерина Львовна.

— И на том благодарим вас покорно... А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?

Зиновий Борисыч поднял с простыни маленький шерстяной поясочек Сергея и держал его за кончик перед жениными глазами.

Катерина Львовна нимало не задумалась.

— В саду, — говорит, — нашла да юбку себе подвязала.

— Да! — произнес с особым ударением Зиновий Борисыч, — мы тоже про ваши про юбки кое-что слыхали.

— Что ж это вы слыхали?

— Да всё про дела ваши про хорошие.

— Никаких моих дел таких нету.

— Ну, это мы разберем, все разберем, — отвечал, подвигая жене выпитую чашку, Зиновий Борисыч.

Катерина Львовна промолчала.

— Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все въявь произведем, — проговорил еще после долгой паузы Зиновий Борисыч, поведя на свою жену бровями.

— Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так очень она этого пужается, — ответила та.

— Что! что! — повыся голос, окрикнул Зиновий Борисыч.

— Ничего — проехали, — отвечала жена.

— Ну, ты гляди у меня того! Что-то ты больно речиста здесь стала!

— А с чего мне и речистой не быть? — отозвалась Катерина Львовна.

— Больше бы за собой смотрела.

— Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длинным языком чего наязычит, а я должна над собой всякие наругательства сносить! Вот еще новости тоже!

— Не длинные языки, а тут верно про ваши амуры-то известно.

— Про какие-такие мои амуры? — крикнула, непритворно вспыхнув, Катерина Львовна.

— Знаю я, про какие.

— А знаете, так что ж: вы яснее сказывайте!

Зиновий Борисыч промолчал и опять подвинул жене пустую чашку.

— Видно, и говорить-то не про что, — отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на блюдце мужу чайную ложечку. — Ну сказывайте, ну про кого вам доносили? кто такой есть мой перед вами полюбовник?

— Узнаете, не спешите очень.

— Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набрехано?

— Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не снимал и снять никто не может... Сами заговорите...

— И-их! терпеть я этого не могу, — скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, побледнев как полотно, неожиданно выскочила за двери.

— Ну вот он, — произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея. — Расспрашивайте и его и меня, что́ вы такое знаете. Может, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что́ тебе хочется?

Зиновий Борисыч даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолки Сергея, то на жену, спокойно присевшую со скрещенными руками на краю постели, и ничего не понимал, к чему это близится.

— Что ты это, змея, делаешь? — насилу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла.

— Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо, — отвечала дерзко Катерина Львовна. — Ты меня бойлом задумал пужать, — продолжала она, значительно моргнув глазами, — так не бывать же тому никогда; а что я, может, и допреж твоих этих обещаниев знала, что́ над тобой сделать, так я то сделаю.

— Что это? вон! — крикнул Зиновий Борисыч на Сергея.

— Как же! — передразнила Катерина Львовна.

Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман и опять привалилась на постели в своей распашонке.

— Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик, — поманила она к себе приказчика.

Сергей тряхнул кудрями и смело присел около хозяйки.

— Господи! Боже мой! Да что ж это такое? Что ж вы это, варвары!? — вскрикнул, весь побагровев и поднимаясь с кресла, Зиновий Борисыч.

— Что? Иль не любо? Глянь-ко, глянь, мой ясмен соко́л, каково прекрасно!

Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея при муже.

В это же мгновение на щеке ее запылала оглушительная пощечина, и Зиновий Борисыч кинулся к открытому окошку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— А... а, так-то!.. ну, приятель дорогой, благодарствуй. Я этого только и дожидалась! — вскрикнула Катерина Львовна. — Ну теперь видно уж... будь же по-моему, а не по-твоему...

Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась на мужа и, прежде чем Зиновий Борисыч успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, как сырой конопляный сноп, бросила его на пол.

Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисыч совсем обезу-

мел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисыч сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко сжимали его горло.

Зиновий Борисыч не защищался; руки его, с крепко стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина Львовна придавила к полу коленом.

— Подержи его, — шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу.

Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисыче все последние его силы: он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь закусил зубами его горло. Но это было ненадолго: Зиновий Борисыч тотчас же тяжело застонал и уронил голову.

Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником; в ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелою частью книзу. По виску и щеке Зиновия Борисыча тоненьким шнурочком бежала алая кровь.

— Попа, — тупо простонал Зиновий Борисыч, с омерзением откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея. — Исповедаться, — произнес он еще невнятнее, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь.

— Хорош и так будешь, — прошептала Катерина Львовна.

— Ну полно с ним копаться, — сказала она Сергею, — перехвати ему хорошенько горло.

Зиновий Борисыч захрипел.

Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно, будет с него».

Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисыч лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которая, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки.

Сергей снес Зиновия Борисыча в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирал самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалкою с мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисычем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа.

Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку.

— Ну-ка, свети, — сказала она Сергею, идучи к двери. — Ниже, ниже свети, — говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисыча до самой ямы.

Только на двух местах на крашеном полу были два крошечные пятнышка величиною в вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкою, и они исчезли.

— Вот тебе, не лазь к жене вором, не подкарауливай, — произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой.

— Теперь шабаш, — сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса.

Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и, золотя легонько одетые цвётом яблони, заглядывала сквозь зёленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны.

По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу.

— Ну вот ты теперь и купец, — сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки.

Сергей ничего ей не ответил.

Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа; зато уж Зиновий Борисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сергей ходил, замотав горло пунсовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговаривать. Присядет вечерком с молодцами на лавку около калитки и заведет: «Чтой-то, однако, исправди, ребята, нашего хозяина по сю пору нетути?»

Молодцы тоже дивуются.

А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Ямщик, который его возил, сказывал, что Зиновий Борисыч был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно: не доезжая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису́ и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздивовались.

Пропал Зиновий Борисыч, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купец как в воду канул. По показанию арестованного ямщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сергеем, по вдовьему положению, на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисыч то там, то там, а Зиновий Борисыч все не возвращался,

и Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно.

Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости.

— Наш капитал будет, Сережечка: есть у меня наследник, — сказала она Сергею и пошла жаловаться Думе, что так и так, она чувствует себя, что — беременна, а в делах застой начался: пусть ее ко всему допустят.

Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долгов в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили.

Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уж Сергеем Филипычем стали звать; а тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис Тимофеич торговал не на весь свой капитал, что более, чем его собственных денег, у него в обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю бац — из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком.

— Я, — говорит, — покойному Борису Тимофеичу сестра двоюродная, а это — мой племянник Федор Лямин.

Катерина Львовна их приняла.

Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериною Львовною приезжим, побледнел как плат.

— Чего ты? — спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней.

— Ничего, — отвечал, поворачиваясь из передней в сени, приказчик. — Думаю, сколь эти Ливны дивны, — договорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.

— Ну, а как же теперь быть? — спрашивал Катерину Львовну Сергей Филипыч, сидя с нею ночью за самоваром. — Теперь, Катерина Ильвовна, выходит все наше с вами дело прах.

— Отчего так прах, Сережа?

— Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?

— Неш с тебя, Сережа, мало будет?

— Да не о том, что с меня; а я в тем только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет.

— Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?

— Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то что как вы допреж сего жили, — отвечал Сергей Филипыч. — А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти.

— Да неш мне это, Сережечка, нужно?

— Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе, ну только для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу.

И пошел и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал и тогда счастью их конца-меры не будет.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или богу молиться станет, а на уме все у нее одно: «Как же это? за что в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла, — думает Катерина Львовна, — а он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня... И добро бы человек, а то дитя, мальчик...»

На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисыче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая; по городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все неродица была, все худела да чаврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору да ледок по колдобинкам поламывал.

— Ну, Феодор Игнатьич! ну, купецкий сын! — кричит, бывало, на него, пробегая по двору, кухарка Аксинья. — Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться?

А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежным козликом и еще безмятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастья.

Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали.

Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит.

— Потрудись, — скажет, — Катеринушка, — ты, мать, сама человек грузный, сама суда божьего ждешь; потрудись.

Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всенощной помолиться за «лежащего на одре болезни отрока Феодора» или к ранней обедне часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его, и лекарство ему даст во-время.

Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уж обмогался.

Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает патерик.

— Что ты это читаешь, Федя? — спросила его, усевшись в кресло, Катерина Львовна.

— Житие, тетенька, читаю.

— Занятно?

— Очень, тетенька, занятно.

Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было.

«А ведь что, — думалось Катерине Львовне, — ведь больной он; лекарство ему дают... мало ли что в болезни... Только всего и сказу, что лекарь не такое лекарство потрафил».

— Пора тебе, Федя, лекарства?

— Пожалуйте, тетенька, — отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил: — очень занятно, тетенька, это о святых описывается.

— Ну читай, — проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах.

— Надо окна велеть закрыть, — сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела.

Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком.

— Закрыли окна? — спросила его Катерина Львовна.

— Закрыли, — отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки.

Водворилось молчание.

— Нонче всенощная не скоро кончится? — спросила Катерина Львовна.

— Праздник большой завтра: долго будут служить, — отвечал Сергей.

Опять вышла пауза.

— Сходить к Феде: он там один, — произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.

— Один? — спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.

— Один, — отвечала она ему шепотом, — а что?

И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни слова.

Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам: везде все тихо; лампады спокойно горят; по стенам разбегается ее собственная тень; закрытые став-

нями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:

— Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту, с образника, пожалуйте.

Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.

— Ты не заснул ли бы, Федя?

— Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.

— Чего тебе ее ждать?

— Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась.

Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки.

— Ну! — шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки.

— Что? — спросил едва слышно Сергей и поперхнулся.

— Он один.

Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.

— Пойдем, — порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна.

Сергей быстро снял сапоги и спросил:

— Что ж взять?

— Ничего, — одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз взошла Катерина Львовна.

— Что ты, Федя?

— Ох, я, тетенька, чего-то испугался, — отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели.

— Чего ж ты испугался?

— Да кто это с вами шел, тетенька?

— Где? Никто со мной, миленький, не шел.

— Никто?

Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился.

— Это мне, верно, так показалось, — сказал он.

Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати.

Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она отчего-то совсем бледная.

В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица.

— Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. — Вот угождал богу-то.

Катерина Львовна стояла молча.

— Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю? — ласкался к ней племянник.

— Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю, — ответила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.

В гостиной послышался самый тихий шепот; но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка.

— Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь? — вскрикнул, с слезами в голосе, мальчик. — Идите сюда, тетенька: я боюсь, — еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес к себе.

— Чего боишься? — несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом. — Ляг, — сказала она ему вслед за этим.

— Я, тетенька, не хочу.

— Нет, ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг, — повторила Катерина Львовна.

— Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.

— Нет, ты ложись, ложись, — проговорила Катерина Львовна опять изменившимся, нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.

В это мгновение Федя неистово вскрикнул: он увидал входящего бледного, босого Сергея.

Катерина Львовна захватила своею ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула:

— А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился!

Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на нее своей крепкой, упругой грудью.

Минуты четыре в комнате было могильное молчание.

— Кончился, — прошептала Катерина Львовна и только что привстала, чтобы привесть все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов: окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями.

Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать; Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания.

Катерина Львовна боялась, чтобы, гонимый страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом; но он кинулся прямо на вышку.

Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха.

— Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч! — бормотал он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собою сбитую им с ног Катерину Львовну.

— Где? — спросила она.

— Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять! ай, ай! — закричал Сергей, — гремит, опять гремит.

Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери.

— Дурак! вставай, дурак! — крикнула Катерина Львовна и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.

Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрез высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора.

Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покои.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

А вся эта тревога произошла вот каким образом: народу на всенощной под двунадесятый праздник во всех церквах хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом тоже из любителей вокального искусства.

Наш народ набожный, к церкви божией рачительный и по всему этому народ в свою меру художественный: благолепие церковное и стройное «органистое» пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, с заводов и сами хозяева с своими половинами, — все собьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пёклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки.[1]

В приходской церкви измайловского дома был престол в честь введения во храм пресвятыя богородицы, и потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса.

Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами.

— А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают, — заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу, — сказывают, — говорил он, — будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут...

— Это уж всем известно, — отвечал тулуп, крытый синей нанкой. — Ее нонче и в церкви, знать, не было.

---

[1] В Орловской губернии певчие так называют форшляги. *(Прим. автора.)*

— Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что уж ни бога, ни совести, ни глаз людских не боится.

— А ишь, у них вот светится, — заметил машинист, указывая на светлую полоску между ставнями.

— Глянь-ка в щелочку, что там делают? — цыкнули несколько голосов.

Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул:

— Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат!

И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек десять последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками.

Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада измайловского дома.

— Видел сам, собственными моими глазами видел, — свидетельствовал над мертвым Федею машинист, — младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.

Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых.

В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Феди лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о страшном суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не токмо в убийстве Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее

на очной ставке. Выслушав его признания, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала:

— Если ему охота была это сказывать, так мне запираться нечего: я убила.

— Для чего же? — спрашивали ее.

— Для него, — отвечала она, показав на повесившего голову Сергея.

Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками.

Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине.

Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его совсем!» и, отворотясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы повалилась грудью на жесткую койку.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице «ярко светило, да не тепло грело».

Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец

оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакою своею частию на ребенка.

Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться с своим Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.

Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованный цепями, клейменый Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота.

Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости; но Катерине Львовне не к чему было и приспосабливаться: она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастием.

Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора.

Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков: что ей ни скажет, как оторвет; тайными свиданьями с ней, за которые та не евши и не пивши отдает самой ей нужный четвертачок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз говаривал:

— Ты замест того, чтоб углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала.

— Четвертачок всего, Сереженька, я дала, — оправдывалась Катерина Львовна.

— А четвертачок неш не деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четвертачков, а рассовала уж, чай, немало.

— За то же, Сережа, видались.

— Ну, легко ли, радость какая после этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклял бы, а не то что свидание.

— А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя видеть.

— Глупости все это, — отвечал Сергей.

Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных свиданий; но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать.

Таким образом в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партиею, следовавшею в Сибирь с московского тракта.

В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица: одна — солдатка Фиона из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокого роста, с густою черною косою и томными карими глазами, как таинственной фатой завешенными пустыми ресницами; а другая — семнадцатилетняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрядинной повязки. Девочку эту в партии звали Сонеткой.

Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя.

— Тетка Фиона у нас баба добреющая, никому от нее обиды нет, — говорили шутя арестанты в один голос.

Но Сонетка была совсем в другом роде.

Об этой говорили:

— Вьюн: около рук вьется, а в руки не дается.

Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантною, пряною приправою, с страданиями и с жертвами; а Фиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь: «прочь поди» и которая знает только одно, что она

баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах.

Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем и Катериной Львовной имело для последней трагическое значение.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

С первых же дней вместного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположения солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе, посредством подкупа, свидание с Сережечкой и лежит не спит: все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет: «беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с нар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка; наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого.

Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном слепою плошкою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот.

— Ишь жируют, — буркнул провожатый Катерины Львовны и, придержав ее за плечи, ткнул в уголочек и удалился.

Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ее рука коснулась жаркого женского лица.

— Кто это? — спросил вполголоса Сергей.

— А ты чего тут? с кем ты это?

Катерина Львовна дернула впотьмах повязку с своей

соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, спотknувшись на кого-то в коридоре, полетела.

Из мужской камеры раздался дружный хохот.

— Злодей! — прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги.

Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против плошки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул:

— Цыц!

Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: «не люблю ж его», и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, все рисуется, как ладонь его дрожала у *той* под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи.

Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи.

— Ну, одначе, дай же ты мне мою повязку, — побудила ее утром солдатка Фиона.

— А, так это ты?..

— Отдай, пожалуйста!

— А ты зачем разлучаешь?

— Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее Фионе, повернулась к стенке.

Ей стало легче.

— Тьпфу, — сказала она себе, — неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану? Сгинь она! Мне и применять-то себя к ней скверно.

— А ты, Катерина Ильвовна, вот что, — говорил, идучи назавтра дорогою, Сергей, — ты, пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновий Борисыч, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: так ты не пышись, сделай милость. Козьи рога у нас в торг нейдут.

Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла, с Сергеем ни словом, ни взглядом не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем.

Между тем этой порою, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой Сонеткой. То раскланивается ей «с нашим особенным», то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только пуще у нее сердце кипит.

«Уж помириться бы мне с ним, что ли?» — рассуждает, спотыкаясь и земли под собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо, гордость не позволяет. А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за Сонеткой, и уж всем сдается, что недоступная Сонетка, которая все вьюном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала.

— Вот ты на меня плакалась, — сказала как-то Катерине Львовне Фиона, — а я что тебе сделала? Мой случай был, да и прошел, а ты вот за Сонеткой-то глядела б.

«Пропади она, эта моя гордость: непременно нонче же помирюсь», — решила Катерина Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловчей взяться за это примирение.

Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей.

— Ильвовна! — позвал он ее на привале. — Выдь ты нонче ко мне на минуточку ночью: дело есть.

Катерина Львовна промолчала.

— Что ж, может, сердишься еще — не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не ответила.

Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеек, собранных от мирского подаяния.

— Как только соберу, я вам додам гривну, — упрашивала Катерина Львовна.

Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал:

— Ладно.

Сергей, когда кончились эти переговоры, крякнул и подмигнул Сонетке.

— Ах ты, Катерина Ильвовна! — говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома. — Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет.

Катерина Львовна и краснела и задыхалась от счастья.

Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, она так и выскочила: дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору.

— Катя моя! — произнес, обняв ее, Сергей.

— Ах ты, злодей ты мой! — сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему губами.

Часовой ходил по коридору, и, останавливаясь, плевал на свои сапоги, и ходил снова, за дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо, под печью, взапуски друг перед другом, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.

— Смерть больно: от самой от щиколотки до самого колена кости так и гудут, — жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу коридора.

— Что же делать-то, Сережечка? — расспрашивала она, ютясь под полу его свиты.

— Нешто только в лазарет в Казани попрошусь?

— Ох, чтой-то ты, Сережа?

— А что ж, когда смерть моя больно.

— Как же ты останешься, а меня погонят?

— А что ж делать? трет, так, я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не въедается. Разве когда б шерстяные чулки, что ли, поддеть еще, — проговорил Сергей спустя минуту.

— Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.

— Ну, на что! — отвечал Сергей.

Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парою толстых синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку.

— Эдак теперь ничего будет, — произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крепко заснула.

Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Сонетка и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром.

Это случилось всего за два перехода до Казани.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветно встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно; все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Сонетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками.

Катерина Львовна двинулась в путь совсем неживая; только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали.

На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза.

Сергей хотел на нее броситься; но его удержали.

— Погоди ж ты! — произнес он и обтерся.

— Ничего, однако, отважно она с тобой поступает, — трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсем в ее вкусе.

— Ну, это ж тебе так не пройдет, — грозился Катерине Львовне Сергей.

Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитою душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека.

С приходом их с нар приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одною суровою рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха: на плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки.

— Пятьдесят, — сосчитал, наконец, один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскутала голову и вскочила: никого не было; только невдалеке кто-то злорадно хихикал под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Сонетки.

Обиде этой уже не было меры; не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь подхватившей ее Фионы.

На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны: они обе были сравнены в цене и обе брошены.

Они равны!.. подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку.

Барабан бьет: тах-тарарах-тах; на двор вываливают скованные и нескованные арестантики, и Сергей, и Фиона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольник, скованный с жидом, и поляк на одной цепи с татарином.

Все скучились, потом выравнялись кое в какой порядок и пошли.

Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги.

Кругом все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные, мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет.

В этих адских, душу раздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри».

Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и без того, он становится зол сугубо.

— Что, купчиха? Все ли ваше степенство в добром здоровье? — нагло спросил Катерину Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала.

С этими словами он, сейчас же обратясь к Сонетке, покрыл ее своею полою и запел высоким фальцетом:

За окном в тени мелькает русая головка.
Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.
Я полой тебя прикрою, так что не заметят.

При этих словах Сергей обнял Сонетку и громко поцеловал ее при всей партии...

Катерина Львовна все это видела и не видала: она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали поталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Сонеткой. Она стала предметом насмешек.

— Не троньте ее, — заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающеюся Катериной Львовною. — Нешто не видите, черти, что женщина больна совсем?

— Должно, ножки промочила, — острил молодой арестант.

— Известно, купеческого роду: воспитания нежного,— отозвался Сергей.

— Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще, — продолжал он.

Катерина Львовна словно проснулась.

— Змей подлый! — произнесла она, не стерпев, — насмехайся, подлец, насмехайся!

— Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что вот Сонетка чулки больно гожие продает, так я только думал: не купит ли, мол, наша купчиха.

Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат.

Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса — Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны.

Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома.

Подошел весь мокрый, темный паром; команда начала размещать арестантов.

— На этом пароме, сказывают, кто-то водку держит, — заметил какой-то арестант, когда осыпаемый хлопьями мокрого снега паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки.

— Да, теперь ба точно безделицу пропустить ничего, — отзывался Сергей и, преследуя для Сонеткиной потехи Катерину Львовну, произнес: — Купчиха, а ну-ко по старой дружбе угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали, осенние долги ночи просиживали, твоих родных без попов и без дьяков на вечный спокой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела как в огне; зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены в ходящие волны.

— Ну а водочки и я б уж выпила: мочи нет холодно, — прозвенела Сонетка.

— Купчиха, да угости, что ль! — мозолил Сергей.

— Эх ты, совесть! — выговорила Фиона, качая с упреком головою.

— Не к чести твоей совсем это, — поддержал солдатку арестантик Гордюшка.

— Хушь бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился.

— Ну ты, мирская табакерка! — крикнул на Фиону Сергей. — Тоже — совеститься! Что мне тут еще совеститься! я ее, может, и никогда не любил, а теперь... да мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной: так что ж ты мне против этого говорить можешь? Пусть вон Гордюшку косоротого любит; а то... — он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил: — а то вон еще лучше к этапному пусть поластится: у него под буркой по крайности дождем не пробирает.

— И все б офицершей звать стали, — прозвенела Сонетка.

— Да как же!.. и на чулочки-то б шутя бы достала, — поддержал Сергей.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут: «как мы с тобой погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали».

Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту — и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома.

Все окаменели от изумления.

Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула; другая волна вынесла Сонетку.

— Багор! бросай багор! — закричали на пароме.

Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками; но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались.

ВОИТЕЛЬНИЦА

ОЧЕРК

Вся жизнь моя была досель
Нравоучительною школой,
И смерть есть новый в ней урок.

Ап. Майков.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты, батюшка мой, со мною, сделай милость, не спорь!

— Да отчего это, Домна Платоновна, не спорить-то? Что вы это, в самом деле, за привычку себе взяли, что никто против вас уж и слова не смей пикнуть?

— Нет, это не я, а вы-то все что себе за привычки позволяете, что обо всем сейчас готовы спорить! Погоди еще, брат, поживи с мое, да тогда и спорь; а пока человек жил мало или всех петербургских обстоятельств как следует не понимает, так ему — мой совет — сидеть да слушать, чтó говорят другие, которые постарше и эти обстоятельства знают.

Этак каждый раз останавливала меня моя добрая приятельница, кружевница Домна Платоновна, когда я в чем-нибудь не соглашался с ее мнениями о свете и людях. Этак же она останавливала и всякого другого из своих знакомых, если кто из них как-нибудь дерзал выражать какие-нибудь свои замечания, несогласные с убеждениями Домны Платоновны. А знакомство у Домны Платоновны было самое обширное, по собственному ее выражению даже «необъятное» и притом самое разнокалиберное. Приказчики, графы, князья, камер-лакеи, кухмистеры, актеры и купцы именитые — словом, всякого звания и всякой породы были у Домны Платоновны знакомые, а что про женский пол, так о нем и говорить нечего. Домна Платоновна женским полом даже никогда не хвалилась.

— Женский пол, — говорила она, когда так уже к слову выпадет, — мне вот как он мне весь известен!

При этом Домна Платоновна сожмет, бывало, горсть и показывает.

— Вот он, — говорит, — женский-то пол где у меня, весь в одном суставе сидит.

Столь обширное и разнообразное знакомство Домны Платоновны, составленное ею в таком городе, как Петербург, было для многих предметом крайнего удивления, и эти многие даже с некоторым благоговейным страхом спрашивали:

— Домна Платоновна! как это вы, матушка?..

— Что такое?

— Да что — вы со всеми знакомы?

— Да, мой друг, со всеми; почти решительно со всеми.

— Какими же это случаями и по какой причине...

— А все своей простотой, решительно одной простотой, — отвечает Домна Платоновна.

— Будто одной простотой!

— Да, друг мой, все меня любят, потому что я проста необыкновенно, и через эту свою простоту да через доброcть много я на свете видела всякого горя; много я обид приняла; много клеветы всяческой оттерпела и не раз даже, сказать тебе, была бита, чтобы так не очень бита, но в конце всего люди любят.

— Ну, уж за то же и свет вы хорошо знаете.

— А уж что, мой друг, свет этот подлый я знаю, так точно знаю. На ладонке вот теперь, кажется, каждую шельму вижу. Только опять тебе скажу — нет... — добавит, смущаясь и задумываясь, Домна Платоновна.

— Что ж еще такое?

— А то, друг мой, — отвечает она, вздохнувши, — что нынче все новое выдумывают, и еще больше всякий человек ухитряется.

— Как же и чем он ухитряется, Домна Платоновна?

— А так и ухитряется, что ты его нынче, человека-то, с головы поймаешь, а он, гляди, к тебе с ног подходит. Удивительно это даже, ей-богу, как это сколько пошло обманов да выдумок: один так выдумывает, а другой еще лучше того превзойти хочет.

— Будто уж-таки везде один обман на свете, Домна Платоновна?

— Да уж нечего тебе со мною спорить: на чем же, по-твоему, нынешний свет-то стоит? — на обмане да на лукавстве.

— Ну есть же все-таки и добрые люди на свете.

— На кладбищах, между родителей, может быть, есть и добрые; ну, только проку-то по них мало; а что уж из живой-то из всей нынешней сволочи — все одно качество: отврат да и только.

— Что ж это так, Домна Платоновна, по-вашему выходит, что всё уж теперь плут на плуте и никому уж и верить нельзя?

— А ведь это, батюшка, никому не запрещено, верить-то; верь, сделай одолжение, если тебя охота берет. Я вон генеральше Шемельфеник верила; двадцать семь аршин кружевов ей поверила, да пришла анамедни, говорю: «Старый должок, ваше превосходительство, позвольте получить», а она говорит: «Я тебе отдала». — «Никак нет, говорю, никогда я от вас этих денег не получала», а она еще как крикнет: «Как ты, говорит, смеешь, мерзавка, мне так отвечать? Вон ее!» говорит. Лакей меня сейчас ту ж минуту под ручки, да и на солнышко, да еще штучку кружевцов там позабыла (спасибо, дешевенькие). Вот ты им и верь.

— Ну, что ж, — говорю, — ведь это одна ж такая!

— Одна! нет, батюшка, не одна, а легион им имя-то сказывается. Это ведь в первые времена-то, как крестьяне у дворян были, ну точно, что в тогдашнее время воровство будто до низкого сословия все больше принадлежало; а как нонче, когда крестьян не стало, господа и сами тоже этим ничуть не гнушаются. Всем ведь известно, какое лицо на бале бриллиантовое колью сфендрил... Да, милый, да, нынче никто не спускает. Вон тоже Караулова Авдотья Петровна, поглядеть на нее, чем не барыня? а воротничок на даче у меня в глазах украла.

— Как, — говорю, — украла? Что вы это! Матушка Домна Платоновна, вспомните, что́ вы говорите-то? Как это даме красть?

— А так себе просто; как крадут, так и украла. Еще ты то скажи, что я это ту ж самую минуту заметила и вежливо, политично ей говорю: «Извините, говорю, сударыня, не обронила ли я здесь воротничка, потому что воротничка, говорю, одного нет». Так она сейчас

на эти слова хвать меня по наружности и отпечатала. «Вывесть ее!» — говорит лакею; очень просто — и вывели. Говорю лакею: «Милосливый государь! сам ты, говорю, служащий человек, сам, сказываю, посуди, голубчик, ведь свое, ведь жалко мне!» А он мне в ответ: «Что, говорит, жалко, когда у нее привычка такая!» Вот тебе только всего и сказу. Она теперь в своем звании всякие привычки себе позволяет, а ты, бедный человек, молчи.

— И что ж вы изо всего этого, Домна Платоновна, выводите?

— А что, батюшка, мне выводить! Не мое дело никого выводить, когда меня самоё выводят; а что народ плут и весь плутом взялся, против этого ты со мной, пожалуйста, лучше не спорь, потому я уж, слава тебе господи, я нонче только взгляну на человека, так вижу, что он в себе замыкает.

И попробовали бы вы после этого Домне Платоновне возражать! Нет, уж какой вы там ни будьте диалектик, а уж Домна Платоновна вас все-таки переспорит; ничем ее не убедите. Одно разве: приказали бы ее вывести; ну, тогда другое дело, а то непременно переспорит.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я непременно должен отрекомендовать моим читателям Домну Платоновну как можно подробнее.

Домна Платоновна росту невысокого, и даже очень невысокого, а скорее совсем низенькая, но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит оттого, что Домна Платоновна, как говорят, вполперек себя шире, и чем вверх не доросла, тем вширь берет. Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больною не помнит и на вид она гора горою ходит; одна грудь так такое из себя представляет, что даже ужасно, а сама она, Домна Платоновна, все жалуется.

— Дама я, — говорит, — из себя хотя, точно, полная, но настоящей крепости во мне, как в других прочих, никакой нет, и сон у меня самый страшный сон — аридов. Чуть я лягу, сейчас он меня оморит, и хоть ты после этого возьми меня да воробьям на пугало выставь, пока вволю не высплюсь — ничего не почувствую.

Могучий сон свой Домна Платоновна также считала одним из недугов своего полного тела и, как ниже увидим, не мало от него перенесла горестей и несчастий.

Домна Платоновна очень любила прибегать к медицинским советам и в подробности описывать свои немощи, но лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские капли, которые называла «гаремскими каплями» и пузыречек с которыми постоянно носила в правом кармане своего шелкового капота. Лет Домне Платоновне, по ее собственному показанию, все вертелось около сорока пяти, но по свежему ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать более сорока. Волосы у Домны Платоновны в пору первого моего с нею знакомства были темнокоричневые — седого тогда еще ни одного не было заметно. Лицо у нее белое, щеки покрыты здоровым румянцем, которым, впрочем, Домна Платоновна не довольствуется и еще покупает в Пассаже, по верхней галерее, такие французские карточки, которыми усиливает свой природный румянец, не поддавшийся до сих пор никаким горестям, ни финским ветрам и туманам. Брови у Домны Платоновны словно как будто из черного атласа наложены: черны несказанно и блестят ненатуральным блеском, потому что Домна Платоновна сильно наводит их черным фиксатуаром и вытягивает между пальчиками в шнурочек. Глаза у нее как есть две черные сливы, окрапленные возбудительною утреннею росою. Один наш общий знакомый, пленный турок Испулат, привезенный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Так, бывало, и заколотится как бесноватый, так и закричит:

— Ай грецкая глаза, совсем грецкая!

Другая на месте Домны Платоновны, разумеется, за честь бы себе такой отзыв поставила; но Домна Платоновна никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрешимо русское происхождение.

— Врешь ты, рожа твоя некрещеная! врешь, лягушка ты пузастая! — отвечает она, бывало, весело турку. — Я своего собственного поколения известного; да и у нас в своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет, и никогда их там не было.

Нос у Домны Платоновны был не нос, а носик, такой небольшой, стройненький и пряменький, какие только ошибкой иногда зарождаются на Оке и на Зуше. Рот у нее был-таки великонек: видно было, что круглою ложкою в детстве кушала; но рот был приятный, такой свеженький, очертание правильное, губки алые, зубы как из молодой редьки вырезаны — одним словом, даже и не на острове необитаемом, а еще даже и среди града многолюдного с Домной Платоновной поцеловаться охотнику до поцелуев было весьма незлоключительно. Но высшую прелесть лица Домны Платоновны бесспорно составляли ее персиковый подбородок и общее выражение, до того мягкое и детское, что если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить: как таки, при этой бездне простодушия, разлитой по всему лицу Домны Платоновны, с языка ее постоянно не сходит речь о людском ехидстве и злобе? — так вы бы непременно сказали себе: будь ты, однако, Домна Платоновна, совсем от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне по твоей милости задачи приходят!

Нрава Домна Платоновна была самого общительного, веселого, доброго, необидчивого и простодушно-суеверного. Характер у нее был мягкий и сговорчивый; натура в основании своем честная и довольно прямая, хотя, разумеется, была у нее, как у русского человека, и маленькая лукавинка. Труд и хлопоты были сферою, в которой Домна Платоновна жила безвыходно. Она вечно суетилась, вечно куда-то бежала, о чем-то думала, что-то такое соображала или приводила в исполнение.

— На свете я живу одним-одна, одною своею душенькой, ну а все-таки жизнь, для своего пропитания, веду самую прекратительную, — говорила Домна Платоновна: — мычусь я, как угорелая кошка по базару; и если не один, то другой меня за хвост беспрестанно так и ловят.

— Всех дел ведь сразу не переделаете, — скажешь ей, бывало.

— Ну, всех, хоть не всех, — отвечает, — а все же ведь ужасно это как, я тебе скажу, отяготительно, а пока что прощай — до свиданья: люди ждут, в семи местах ждут, — и сама действительно так и побежит скороходью.

Домна Платоновна нередко и сама сознавала, что она не всегда трудится для своего единого пропитания и что отяготительные труды ее и ее прекратительная жизнь

могли бы быть значительно облегчены без всякого ущерба ее прямым интересам; но никак она не могла воздержать свою хлопотливость.

— Завистна уж я очень на дело; сердце мое даже взыграет, как вижу дело какое есть.

Завистна Домна Платоновна именно была только на хлопоты, а не на плату. К заработку своему, напротив, она иногда относилась с каким-то удивительным равнодушием.

«Обманул, варвар!» или «обманула, варварка!» бывало только от нее и слышишь, а глядишь, уж и опять она бегает и распинается для того же варвара и для той же варварки, вперед предсказывая самой себе, что они и опять непременно надуют.

Хлопоты у Домны Платоновны были самые разнообразные. Официально она точно была только кружевница, то есть мещанки, бедные купчихи и поповны насылали ей «из своего места» разные воротнички, кружева и манжеты: она продавала эти произведения вразнос по Петербургу, а летом по дачам, и вырученные деньги, за удержанием своих процентов и лишков, высылала «в свое место». Но, кроме кружевной торговли, у Домны Платоновны были еще другие приватные дела, при орудовании которых кружева и воротнички играли только роль пропускного вида.

Домна Платоновна сватала, приискивала женихов невестам, невест женихам; находила покупщиков на мебель, на надеванные дамские платья; отыскивала деньги под заклады и без закладов; ставила людей на места вкупно от гувернерских до дворнических и лакейских; заносила записочки в самые известные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смеет проникнуть, и приносила ответы от таких дам, от которых несет только крещенским холодом и благочестием.

Но, несмотря на все свое досужество и связи, Домна Платоновна, однако, не озолотилась и не осеребрилась. Жила она в достатке, одевалась, по собственному ее выражению , «пова́жно» и в куске себе не отказывала, но денег все-таки не имела, потому что, во-первых, очень она зарывалась своей завистностью к хлопотам и часто ее добрые люди обманывали, а потом и с самыми деньгами у нее выходили какие-то мудреные оказии.

Главное дело, что Домна Платоновна была художница — увлекалась своими произведениями. Хотя она рассказывала, что все это она трудится из-за хлеба насущного, но все-таки это было несправедливо. Домна Платоновна любила свое дело как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих — вот что было главное, и за этим просматривались и деньги и всякие другие выгоды, которых особа более реалистическая ни за что бы не просмотрела.

Впала в свою колею Домна Платоновна ненароком. Сначала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помышляла о сопряжении с этим промыслом каких бы то ни было других занятий: но столица волшебная преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким я знавал драгоценную Домну Платоновну.

Стала Домна Платоновна смекать на все стороны и проникать всюду. Пошло это у нее так, что не проникнуть куда бы то ни было Домне Платоновне было даже невозможно: всегда у нее на рученьке вышитый саквояж с кружевами, сама она в новеньком шелковом капоте; на шее кружевной воротничок с большими городками, на плечах голубая французская шаль с белою каймою; в свободной руке белый, как кипень, голландский платочек, а на голове либо фиолетовая, либо серизовая груденаплевая повязочка, ну, одним словом, прелесть дама. А лицо! — само смиренство и благочестие. Лицом своим Домна Платоновна умела владеть, как ей угодно.

— Без этого, — говорила она, — никак в нашем деле и невозможно: надо виду не показать, что ты Ананья или каналья.

К тому же и обращение у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как другие, что «была, дескать, я во всенародной бане», а выразится, что «имела я, сударь, счастие вчера быть в бестелесном маскараде»; о беременной женщине ни за что не брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а скажет: «она в своем марьяжном интересе», и тому подобное.

Вообще была дама с обращением и, где следовало, умела задать тону своей образованностью. Но, при всем этом, надо правду сказать, Домна Платоновна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патриотка. По узости политического горизонта Домны

Платоновны и самый патриотизм ее был самый узкий, то есть она считала себя обязанною хвалить всем Орловскую губернию и всячески привечать и обласкивать каждого человека «из своего места».

— Скажи ты мне, — говорила она, — что это такое значит: знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма из своего места, будь ты хуже турки Испулатки лупоглазого, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна?

Я ей на это отвечать не умел. Только, бывало, оба удивляемся:

— Отчего это в самом деле?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мое знакомство с Домной Платоновной началось по пустому поводу. Жил я как-то на квартире у одной полковницы, которая говорила на шести европейских языках, не считая польского, на который она сбивалась со всякого. Домна Платоновна знала ужасно много таких полковниц в Петербурге и почти для всех их обделывала самые разнообразные делишки: сердечные, карманные и совокупно карманно-сердечные и сердечно-карманные. Моя полковница была, впрочем, действительно дама образованная, знала свет, держала себя как нельзя приличнее, умела представить, что уважает в людях их прямые человеческие достоинства, много читала, приходила в неподдельный восторг от поэтов и любила декламировать из «Марии» Мальчевского:

Bo na tym swiecie smierć wszystko zmiecie.
Robak się legnie i w bujnym kwiecie.

Я видел Домну Платоновну первый раз у своей полковницы. Дело было вечером; я сидел и пил чай, а полковница декламировала мне:

Bo na tym swiecie smierć wszystko zmiecie.
Robak się legnie i w bujnym kwiecie. [1]

---

[1] Потому что на этом свете смерть все уничтожит.
И в пышном цветке гнездится червяк. *(Перевод автора.)*

Домна Платоновна вошла, помолилась богу, у самых дверей поклонилась на все стороны (хотя, кроме нас двух, в комнате никого и не было), положила на стол свой саквояж и сказала:

— Ну вот, мир вам, и я к вам!

В этот раз на Домне Платоновне был шелковый коричневый капот, воротничок с язычками, голубая французская шаль и серизовая гродентаплевая повязочка, словом весь ее мундир, в котором читатели и имеют представлять ее теперь своему художественному воображению.

Полковница моя очень ей обрадовалась и в то же время при появлении ее будто немножко покраснела, но приветствовала Домну Платоновну дружески, хотя и с немалым тактом.

— Что это вас давно не видно было, Домна Платоновна? — спрашивала ее полковница.

— Всё, матушка, дела, — отвечала, усаживаясь и осматривая меня, Домна Платоновна.

— Какие у вас дела!

— Да ведь вот тебе, да другой такой-то, да третьей, всем вам кортит, всем и угодить надо; вот тебе и дела.

— Ну, а то дело, о котором ты меня просила-то, помнишь... — начала Домна Платоновна, хлебнув чайку. — Была я намедни... и говорила...

Я встал проститься и ушел.

Только всего и встречи моей было с Домной Платоновной. Кажется, знакомству бы с этого завязаться весьма трудно, а оно, однако, завязалось.

Сижу я раз после этого случая дома, а кто-то стук-стук-стук в двери.

— Войдите, — отвечаю, не оборачиваясь.

Слышу, что-то широкое вползло и ворочается. Оглянулся — Домна Платоновна.

— Где ж, — говорит, — милостивый государь, у тебя здесь образ висит?

— Вон, — говорю, — в угле, над шторой.

— Польский образ или наш, христианский? — опять спрашивает, приподнимая потихоньку руку.

— Образ, — отвечаю, — кажется, русский.

Домна Платоновна покрыла глаза горсточкой, долго всматривалась в образ и наконец махнула рукою — дескать: «все равно!» — и помолилась.

— А узелочек мой, — говорит, — где можно положить? — и оглядывается.

— Положите, — говорю, — где вам понравится.

— Вот тут-то, — отвечает, — на диване его пока положу.

Положила саквояж на диван и сама села.

«Милый гость, — думаю себе, — бесцеремонливый».

— Этакие нынче образки маленькие, — начала Домна Платоновна, — в моду пошли, что ничего и не рассмотришь. Во всех это у аристократов всё маленькие образки. Как это нехорошо.

— Чем же это вам так не нравится?

— Да как же: ведь это, значит, они бога прячут, чтоб совсем и не найти его.

Я промолчал.

— Да право, — продолжала Домна Платоновна, — образ должен быть в свою меру.

— Какая же, — говорю, — мера, Домна Платоновна, на образ установлена? — и сам, знаете, вдруг стал чувствовать себя с ней как со старой знакомой.

— А как же! — возговорила Домна Платоновна, — посмотри-ка ты, милый друг, у купцов: у них всегда образ в своем виде, лампад и сияние... все это как должно. А это значит, господа сами от бога бежат, и бог от них далече. Вот нынче на святой была я у одной генеральши... и при мне камердинер ее входит и докладывает, что священники, говорит, пришли.

«Отказать», — говорит.

«Зачем, — говорю ей, — не отказывайте — грех».

«Не люблю, — говорит, — я попов».

Ну что ж, ее, разумеется, воля; пожалуй себе отказывай, только ведь ты не любишь посланного; а тебя и пославший любить не будет.

— Вон, — говорю, — какая вы, Домна Платоновна, рассудительная!

— А нельзя, — отвечает, — мой друг, нынче без рассуждения. Что ты сколько за эту комнату платишь?

— Двадцать пять рублей.

— Дорого.

— Да и мне кажется дорого.

— Да что ж, — говорит, — не переедешь?

— Так, — говорю, — возиться не хочется.

— Хозяйка хороша.

— Нет, полноте, — говорю, — что вы там с хозяйкой.

— Ц-ты! Говори-ка, брат, кому-нибудь другому, да не мне; я знаю, какие все вы, шельмы.

«Ничего, — думаю, — отлично ты, гостья дорогая, выражаешься».

— Они, впрочем, полячки-то эти ловкие тоже, — продолжала, зевнув и крестя рот, Домна Платоновна, — они это с рассуждением делают.

— Напрасно, — говорю, — вы, Домна Платоновна, так о моей хозяйке думаете: она женщина честная.

— Да тут, друг милый, и бесчестия ей никакого нет: она человек молодой.

— Речи ваши, — говорю, — Домна Платоновна, умные и справедливые, но только я-то тут ни при чем.

— Ну, был ни при чем, стал городничо́м; знаю уж я эти петербургские обстоятельства, и мне толковать про них нечего.

«И вправду, — думаю, — тебя, матушка, не разуверишь».

— А ты ей помогай — плати, мол, за квартиру-то, — говорила Домна Платоновна, пригинаясь ко мне и ударяя меня слегка по плечу.

— Да как же, — говорю, — не платить?

— А так — знаешь, ваш брат, как осе́тит нашу сестру, так и норовит сейчас все на ее счет...

— Полноте, что́ это вы! — останавливаю Домну Платоновну.

— Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в любви-то куда ведь она глупа: «на, мой сокол, тебе», готова и мясо с костей срезать да отдать; а ваш брат шаматон этим и пользуется.

— Да полноте вы, Домна Платоновна, какой я ей любовник.

— Нет, а ты ее жалей. Ведь если так-то посудить, ведь жалка, ей-богу же, друг мой, жалка наша сестра! Нашу сестру уж как бы надо было бить да драть, чтоб она от вас, поганцев, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, за мудрено сотворено, что мир весь этими соглядатаями, мужчинами преисполнен!.. На что они? А опять посмотришь, и без них все будто как скучно; как будто под иную пору словно тебе и недостает чего. Черта в стуле,

вот чего недостает! — рассердилась Домна Платоновна, плюнула и продолжала: — Я вон так-то раз прихожу к полковнице Домуховской... не знавал ты ее?

— Нет, — говорю, — не знавал.

— Красавица.

— Не знаю.

— Из полячек.

— Так что ж, — говорю, — разве я всех полячек по Петербургу знаю?

— Да она не из самых настоящих полячек, а крещеная, — нашей веры!

— Ну, вот и знай ее, какая такая есть госпожа Домуховская не из самых полячек, а нашей веры. Не знаю, — говорю, — Домна Платоновна; решительно не знаю.

— Муж у нее доктор.

— А она полковница?

— А тебе это в диковину, что ль?

— Ну-с, ничего, — говорю, — что же дальше?

— Так она с мужем-то с своим, понимаешь, попштыкалась.

— Как это попштыкалась?

— Ну, будто не знаешь, как, значит, в чем-нибудь не уговорились, да сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны. Так и сделала эта Леканидка.

«Очень, — говорит, — Домна Платоновна, он у меня нравен».

Я слушаю да головой качаю.

«Капризов, — говорит, — я его сносить не могу; нервы мои, — говорит, — не выносят».

Я опять головой качаю. «Что это, — думаю, — у них нервы за стервы, и отчего у нас этих нервов нет?»

Прошло этак с месяц, смотрю, смотрю — моя барыня квартиру сняла: «жильцов, — говорит, — буду пущать».

«Ну что ж, — думаю, — надоело играть косточкой, покатай желвачок; не умела жить за мужней головой, так поживи за своей: пригонит нужа и к поганой луже, да еще будешь пить да похваливать».

Прихожу к ней опять через месяц, гляжу — жилец у нее есть, такой из себя мужчина видный, ну только худой и этак немножко осповат.

«Ах, — говорит, — Домна Платоновна, какого мне бог жильца послал — деликатный, образованный и добрый такой, всеми моими делами занимается».

«Ну, деликатиться-то, мол, они нынче все уж, матушка, выучились, а когда во все твои дела уж он взошел, так и на что ж того и законней?»

Я это смеюсь, а она, смотрю, пых-пых, да и спламенела.

Ну, мой суд такой, что всяк себе как знает, а что если только добрый человек, так и умные люди не осудят и бог простит. Заходила я потом еще раза два, все застаю: сидит она у себя в каморке да плачет.

«Что так, — говорю, — мать, что рано соленой водой умываться стала?»

«Ах, — говорит, — Домна Платоновна, горе мое такое», — да и замолчала.

«Что, мол, — говорю, — такое за горе? Иль живую рыбку съела?»

«Нет, — говорит, — ничего такого, слава богу, нет».

«Ну, а нет, — говорю, — так все другое пустяки».

«Денег у меня ни грошика нет».

«Ну, это, — думаю, — уж действительно дрянь дело; но знаю я, что человека в такое время не надо печалить».

«Денег, — говорю, — нет — перед деньгами. А жильцы ж твои», — спрашиваю.

«Один, — говорит, — заплатил, а то пустые две комнаты».

«Вот уж эта мерзость запустения, — говорю, — в вашем деле всего хуже. Ну, а дружок-то твой?» Так уж, знаешь, без церемонии это ее спрашиваю.

Молчит, плачет. Жаль мне ее стало: слабая, вижу, неразумная женщина.

«Что ж, — говорю, — если он наглец какой, так и вон его».

Плачет на эти слова, ажно платок мокрый за кончики зубами щипет.

«Плакать, — говорю, — тебе нечего и убиваться из-за них, из-за поганцев, тоже не стоит, а что отказала ему, да только всего и разговора, и найдем себе такого, что и любовь будет и помощь; не будешь так-то зубами щелкать да убиваться». А она руками замахала: «не надо! не надо! не надо!» да сама кинулась в постель головой,

в подушки, и надрывается, ажно как спинка в платье не лопнет. У меня на то время был один тоже знакомый купец (отец у него по Суровской линии свой магазин имеет), и просил он меня очень: «Познакомь, — говорит, — ты меня, Домна Платоновна, с какой-нибудь барышней, или хоть и с дамой, но только чтоб очень образованная была. Терпеть, — говорит, — не могу необразованных». И поверить можно, потому и отец у них и все мужчины в семье все как есть на дурах женаты, и у этого-то тоже жена дурища — всё, когда ни приди, сидит да печатаные пряники ест.

«На что, — думаю, — было бы лучше желать и требовать, как эту Леканиду суютить с ним». Но, вижу, еще глупа — я и оставила ее: пусть дойдет на солнце!

Месяца два я у нее не была. Хоть и жаль было мне ее, но что, думала себе, когда своего разума нет и сам человек ничем кругом себя ограничить не понимает, так уж ему не поможешь.

Но о спажинках была я в их доме; кружевцов немного продала, и вдруг мне что-то кофию захотелось, и страсть как захотелось. Дай, думаю, зайду к Домуховской, к Леканиде Петровне, напьюсь у нее кофию. Иду это по черной лестнице, отворяю дверь на кухню — никого нет. Ишь, говорю, как живут откровенно — бери что хочешь, потому и самовар и кастрюли, все, вижу, на полках стоит.

Да только что этак-то подумала, иду по коридору и слышу, что-то хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты, боже мой! что это? думаю. Скажите пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь в ее комнату, а он, этот приятель-то ее добрый — из актеров он был, и даже немаловажный актер — артист назывался; ну-с, держит он, сударь, ее одною рукою за руку, а в другой нагайка.

«Варвар! варвар! — закричала я на него, — что ты это, варвар, над женщиной делаешь!» — да сама-то, знаешь, промеж них, саквояжем-то своим накрываюсь, да промеж них-то. Вот ведь что́ вы, злодеи, над нашей сестрой делаете!

Я молчал.

— Ну, тут-то я их разняла, не стал он ее при мне больше наказывать, а она еще было и отговаривается:

«Это, — говорит, — вы не думайте, Домна Платоновна; это он шутил».

«Ладно, — говорю, — матушка; бочка-то, гляди, в платье от его шутилки не потрескались ли». Однако жили опять; все он у нее стоял на квартире, только ничего ей, мошенник, ни грошика не платил.

— Тем и кончилось?

— Ну, нет; через несколько времени пошел у них опять карамболь, пошел он ее опять что день трепать, а тут она какую-то жиличку еще к себе, приезжую барыньку из купчих, приняла. Чай ведь сам знаешь, наши купчихи, как из дому вырвутся, на это дело препростые... Ну он ко всему же к прежнему да еще почал с этой жиличкой амуриться — пошло у них теперь такое, что я даже и ходить перестала.

«Бог с вами совсем! живите, — думаю, — как хотите».

Только тринадцатого сентября, под самое воздвиженье честна́го и животворящаго креста, пошла я к Знаменью, ко всенощной. Отстояла всенощную, выхожу и в самом притворе на паперти, гляжу — эта самая Леканида Петровна. Жалкая такая, бурнусишко старенький, стоит на коленочках в уголочке и плачет. Опять меня взяла на нее жалость.

«Здравствуй, — говорю, — Леканида Петровна!»

«Ах, душечка, — говорит, — моя, Домна Платоновна, такая-сякая немазаная! Сам бог, — говорит, — мне вас послал», — а сама так вот ручьями слез горьких и заливается.

«Ну, — я говорю, — бог, матушка, меня не посылал, потому что бог ангелов бесплотных посылает, а я человек в свою меру грешный; но ты все-таки не плачь, а пойдем куда-нибудь под на́сесть сядем, расскажи мне свое горе; может, чем-нибудь надумаемся и поможем».

Пошли.

«Что варвар твой, что ли, опять над тобой что сделал?» — спрашиваю ее.

«Никого, — говорит, — никакого варвара у меня нет».

«Да куда же это ты идешь?» — говорю, потому квартира ее была в Шестилавочной, а она, смотрю, на Грязную заворачивает.

Слово по слову, и раскрылось тут все дело, что квартиры уж у нее нет: мебелишку, какая была у нее, хозяин за долг забрал; дружок ее пропал — да и хорошо сделал, — а живет она в каморочке, у Авдотьи Ивановны

Дислен. Такая эта подлая Авдотья Ивановна, даром что майорская она дочь и дворянством своим величается, ну, а преподлая-подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, один раз в квартал не попала по своей простоте по дурацкой. «Ну, только, — говорю я Леканиде Петровне, — я эту Дисленьшу, мой друг, очень знаю — это первая мошенница».

«Что ж, — говорит, — делать! Голубочка Домна Платоновна, что же делать?»

Ручонки-то, гляжу, свои ломит, ломит, инда даже смотреть жалко, как она их коверкает.

«Зайдите, — говорит, — ко мне».

«Нет, — говорю, — душечка, мне тебя хоша и очень жаль, но я к тебе в Дисленьшину квартиру не пойду — я за нее, за бездельницу, и так один раз чуть в квартал не попала, а лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне зайди».

Пришла она ко мне: я ее напоила чайком, обогрела, почавкали с нею, что бог послал на ужин, и спать ее с собой уложила. Довольно с тебя этого?

Я кивнул утвердительно головою.

— Ночью-то что я еще через нее страху имела! Лежит-лежит она, да вдруг вскочит, сядет на постели, бьет себя в грудь. «Голубочка, — говорит, — моя, Домна Платоновна! Что мне с собой делать?»

Какой час, уж вижу, поздний. «Полно, — говорю, — себе убиваться, — спи. Завтра подумаем».

«Ах, — говорит, — не спится мне, не спится мне, Домна Платоновна».

Ну, а мне спать смерть как хочется, потому у меня сон необыкновенно какой крепкий.

Проспала я этак до своего часу и прокинулась. Я прокинулась, а она, гляжу, в одной рубашоночке сидит на стуле, ножонки под себя подобрала и папироску курит. Такая беленькая, хорошенькая да нежненькая — точно вот пух в атласе.

«Умеешь, — спрашиваю, — самоварчик поставить?»

«Пойду, — говорит, — попробую».

Надела на себя юбчонку бумазейную и пошла в кухоньку. А мне-таки тут что-то смерть не хотелось вставать. Приносит она самоваришко, сели мы чай пить, она и говорит: «Что, — говорит, — я, Домна Платоновна, надумалась?»

«Не знаю, — говорю, — душечка, чужую думку своей не раздумаешь».

«Поеду я, — говорит, — к мужу».

«На что, мол, лучше этого, как честной женой быть — когда б, — спрашиваю, — только он тебя принял?»

«Он, — говорит, — у меня добрый; я теперь вижу, что он всех добрей».

«Добрый-то, — отвечаю ей, — это хорошо, что он добрый; а скажи-ка ты мне, давно ты его покинула-то?»

«А уж скоро, — говорит, — Домна Платоновна, как с год будет».

«Да вот, мол, видишь ты, с год уж тому прошло. Это тоже, — говорю, — дамочка, время не малое».

«А что же, — спрашивает, — такое, Домна Платоновна, вы в этом полагаете?»

«Да то, — говорю, — полагаю, что не завелась ли там на твое место тоже какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная пагубница».

«Я, — отвечает, — об этом, Домна Платоновна, и не подумала».

«То-то, мол, мать моя, и есть, что *«не подумала»*. И все-то вот вы так-то об этом не думаете!.. А надо думать. Когда б ты подумала-то да рассудила, так, может быть, и много б чего с тобой не было».

Она таки тут ух как засмутилась! Заскребло, вижу, ее за сердчишко-то; губенки свои этак кусает, да и произносит таково тихонечко: «Он, — говорит, — мне кажется, совсем не такой был».

«Ах вы, — подумала я себе, — звери вы этакие капустные! Сами козами в горах так и прыгают, а муж хоть и им негож, так и другой не трожь». Не поверишь ты, как мне это всякий раз на них досадно бывает. «Прости-ка ты меня, матушка, — сказала я ей тут-то, — а только речь твоя эта, на мой згад, ни к чему даже не пристала. Что же, — говорю, — он, твой муж, за такой за особенный, что ты говоришь: *не такой* он? Ни в жизнь мою никогда я этому не поверю. Всё, я думаю, и он такой же самый, как и все: костяной да жильный. А ты бы, — говорю, — лучше бы вот так об этом сообразила, что ты, женщиной бымши, себя не очень-то строго соблюла, а ему, — говорю, — ничего это и в суд не поставится», — потому что ведь и в самом-то деле, хоть и ты сам, ангел мой, сооб-

рази: мужчина что сокол: он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети, куда око глянет; а нашей сестре вся и дорога, что от печи до порога. Наша сестра вашему брату все равно что дураку волынка: поиграл, да и кинул. Согласен ли ты с этой справедливостью?

Ничего не возражаю.

А Домна Платоновна, спасибо ей, не дождавшись моего ответа, продолжает:

— Ну-с, вот и эта, милостивая моя государыня, наша Леканида Петровна, после таких моих слов и говорит: «Я, — говорит, — Домна Платоновна, ничего от мужа не скрою, во всем сама повинюсь и признаюсь: пусть он хоть голову мою снимет».

«Ну, это, — отвечаю, — опять тоже, по-моему, не дело, потому что мало ли какой грех был, но на что про то мужу сказывать. Что было, то прошло, а слушать ему про это за большое удовольствие не будет. А ты скрепись и виду не покажи».

«Ах, нет! — говорит, — ах, нет, я лгать не хочу».

«Мало, — говорю, — чего не хочешь! Сказывается: грех воровать, да нельзя миновать».

«Нет, нет, нет, я не хочу, не хочу! Это грех обманывать».

Зарядила свое, да и баста.

«Я, — говорит, — прежде все опишу, и если он простит — получу ответ, тогда и поеду».

«Ну, делай, мол, как знаешь; тебя, видно, милая, не научишь. Дивлюсь только, — говорю, — одному, что какой это из вас такой новый завод пошел, что на грех идете, вы тогда с мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости господи, о пакостях о своих — греха боитесь. Гляди, — говорю, — бабочка, не кусать бы тебе локтя!»

Так-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, в котором, уж бог ее знает, все объяснила, должно быть, — ответа нет. Придет, плачет-плачет — ответа нет.

«Поеду, — говорит, — сама; слугою у него буду».

Опять я подумала — и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть по-первоначалу какое время и погневается, а как она на глазах будет, авось опять дух, во тьме приходящий, спутает; может, и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную всегда перекукует.

«Ступай, — говорю, — все ж муж, не полюбовник, все скорей смилуется».

«А где б, — говорит, — мне, Домна Платоновна, денег на дорогу достать?»

«А своих-то, — спрашиваю, — аль уж ничего нет?»

«Ни грошика, — говорит, — нет; я уж и Дисленьше должна».

«Ну, матушка, денег доставать здесь остро».

«Взгляните, — говорит, — на мои слезы».

«Что ж, — говорю, — дружок, слезы? — слезы слезами, и мне даже самой очень тебя жаль, да только Москва слезам не верит, говорит пословица. Под них денег не дадут».

Она плачет, я это тоже с нею сижу, да так промеж себя и разговариваем, а в комнату ко мне шасть вдруг этот полковник... как его зовут-то?

— Да ну, бог там с ним, как его зовут!

— Уланский, или как их это называются-то они? — инженер?

— Да бог с ним, Домна Платоновна.

— Ласточкин он, кажется, будет по фамилии, или как не Ласточкин? Так как-то птичья фамилия и не то с люди, не то с како начинается...

— Ах, да оставьте вы его фамилию в покое.

— Я этак-то вот много кого: по местам сейчас тебе найду, а уж фамилию не припомню. Ну, только входит этот полковник; начинает это со мною шутить, да на ушко и спрашивает:

«Что, — говорит, — это за барышня такая?»

Она совсем барыня, ну, а он ее барышней назвал: очень она еще моложава была на вид.

Я ему отвечаю, кто она такая.

«Из провинции?» — спрашивает.

«Это, — говорю, — вы угадали — из провинции».

А он это — не то как какой ветреник или повеса — известно, человек уж в таком чине — любил, чтоб женщина была хоть и на краткое время, но не забымши свой стыд, и с правилами; ну, а наши питерские, знаешь, чай, сам, сколько у них стыда-то, а правил и еще того больше: у стриженой девки на голове волос больше, чем у них правил.

— Ну-с, Домна Платоновна?

«Ну, сделай, — говорит, — милость, Домна Панталоновна», — у них это, у полковых, у всех все такая привычка: не скажет: Платоновна, а *Панталоновна.* — «Ну-с, — говорит, — Домна Панталоновна, ничего, — говорит, — для тебя не пожалею, только ограничь ты мне это дело в порядке».

Я, знаешь, ничего ему решительного не отвечаю, а только бровями этак, понимаешь, на нее повела и даю ему мину, что, дескать, «трудно».

«Невозможно?» — говорит.

«Этого, — говорю, — я тебе, генерал мой хороший, не объясняю, потому это ее душа, ее и воля, а что хотя и не надеюсь, но попробовать я для тебя попробую».

А он сейчас мне: «Нечего, — говорит, — тут, Панталониха, словами разговаривать; вот, — говорит, — тебе пятьдесят рублей, и все их сейчас ей передай».

— И вы их, — спрашиваю, — передали?

— А ты вот лучше не забегай, а если хочешь слушать, так слушай. Рассуждаю я, взявши у него эти деньги, что хотя, точно, у нас с нею никогда разговора такого, на это похожего, не было, чтоб претекст мне ей такой сделать, ну только, зная эти петербургские обстоятельства, думаю: «Ох, как раз она еще, гляди, и сама рада, бедная, будет!» Выхожу я к ней в свою в маленькую комнатку, где мы сидели-то, и говорю: «Ты, — говорю, — Леканида Петровна, в рубашечке, знать, родилась. Только о деньгах поговорили, а оне, — говорю, — и вот оне», да бумажку-то перед ней и кладу. Она: «Кто это? как это? откуда?» — «Бог, — я говорю, — тебе послал», — говорю ей громко, а на ушко-то шепчу: «Вот этот барин, — сказываю, — за одно твое внимание тебе посылает... Прибирай, — говорю, — скорей эти деньги!»

А она, смотрю, слезы у нее по глазам и на стол кап-кап, как гороховины. С радости или с горя — никак не разберу, с чего эти слезы.

«Прибери, — говорю, — деньги-то да выдь на минутку в ту комнату, а я тут покопаюсь...» Довольно тебе кажется, как я все это для нее вдруг прекрасно устроила?

Смотрю я на Домну Платоновну: ни бровка у нее не моргнет, ни уста у нее не лукавят; вся речь ее проста, сердечна; все лицо ее выражает одно доброе желание пособить бедной женщине и страх, чтоб это внезапно подвернув-

шееся благодетельное событие как-нибудь не расстроилось, — страх не за себя, а за эту же несчастную Леканиду.

— Довольно тебе этого? Кажется, все, что могла, все я для нее сделала, — говорит, привскакивая и ударяя рукою по столу, Домна Платоновна, причем лицо ее вспыхивает и принимает выражение гневное. — А она, мерзавка этакая! — восклицает Домна Платоновна, — она с этим самым словом — мах, безо всего, как сидела, прямо на лестницу и гу-гу-гу: во всю мочь ревет, значит. Осрамила! Я это в свой уголок скорей; он тоже за шапку да драла. Гляжу вокруг себя — вижу, и платок она свой шейный, так, мериносовый, старенький платчишко, — забыла. «Ну, постой же, — думаю, — ты, дрянь этакая! Придешь ты, гадкая, я тебе этого так не подарю». Через день, не то через два, вернулась это я к себе домой, смотрю — и она жалует. Я, хоть сердце у меня на ее невелико, потому что я вспыльчива только, а сердца долго никогда не держу, но вид такой ей даю, что сердита ужасно.

«Здравствуйте, — говорит, — Домна Платоновна».

«Здравствуй, — говорю, — матушка! За платочком, что ли, пришла? — вон твой платок».

«Я, — говорит, — Домна Платоновна, извините меня, так тогда испугалась».

«Да, — говорю ей, — покорно вас, матушка, благодарю. За мое же к вам за расположение вы такое мне наделали, что на что лучше желать-требовать».

«В перепуге, — говорит, — я была, Домна Платоновна, простите, пожалуйста».

«Мне, — отвечаю, — тебя прощать нечего, а что мой дом не такой, чтоб у меня шкандалить, бегать от меня по лестницам, да визги эти свои всякие здесь поднимать. Тут, — говорю, — и жильцы благородные живут, да и хозяин, — говорю, — процентщик — к нему что минута народ идет, так он тоже этих визгов-то не захочет у себя слышать».

«Виновата я, Домна Платоновна. Сами вы посудите, такое предложение».

«Что ж ты, — говорю, — такая за особенная, что этак очень тебя предложение это оскорбило? Предложить, — говорю, — всякому это вольнó, так как ты женщина

нуждающая; а ведь тебя насильно никто не брал, и зевать-то, стало быть, тебе во все горло нечего было».

Простить просит.

Я ей и простила, и говорить с ней стала, и чаю чашку налила.

«Я к вам, — говорит, — Домна Платоновна, с просьбой: как бы мне денег заработать, чтоб к мужу ехать».

«Как же, мол, ты их, сударыня, заработаешь? Вот был случай, упустила, теперь сама думай; я уж ничего не придумаю. Что ж ты такое можешь работать?»

«Шить, — говорит, — могу; шляпы могу делать».

«Ну, душечка, — отвечаю ей, — ты лучше об этом меня спроси; я эти петербургские обстоятельства-то лучше тебя знаю; с этой работой-то, окромя уж того, что ее, этой работы, достать негде, да и те, которые ею и давно-то занимаются и настоящие-то шитвицы, так и те, — говорю, — давно голые бы ходили, если б на одежонку себе грехом не доставали».

«Так как же, — говорит, — мне быть?» — и опять руки ломает.

«А так, — говорю, — и быть, что было бы не коробатиться; давно бы, — говорю, — уж другой бы день к супругу выехала».

И-и-их, как она опять на эти мои слова вся как вспыхнет!

«Что это, — говорит, — вы, Домна Платоновна, говорите? Разве, — говорит, — это можно, чтоб я на такие скверные дела пустилась?»

«Пускалась же, — говорю, — меня про то не спрашивалась».

Она еще больше запламенела.

«То, — говорит, — грех мой такой был, *увлечение,* а чтобы я, — говорит, — раскаявшись да собираясь к мужу, еще на этакие подлые средства поехала — ни за что на свете!»

«Ну, ничего, — говорю, — я, матушка, твоих слов не понимаю. Никаких я тут подлостей не вижу. Мое, — говорю, — рассуждение такое, что когда если хочет себя женщина на настоящий путь поворотить, так должна она всем этим пренебрегать».

«Я, — говорит, — этим предложением пренебрегаю».

Очень, слышь, большая барыня! Так там с своим с ко-

нопастым безо всякого без путя сколько время валандалась, а тут для дела, для собственного покоя, чтоб на честную жизнь себя повернуть — шагу одного не может, видишь, ступить, минутая уж ей одна и та тяжела очень стала.

Смотрю опять на Домну Платоновну — ничего в ней нет такого, что лежит печатью на специалистках по части образования жертв «общественного недуга», а сидит передо мною баба самая простодушная и говорит свои мерзости с невозмутимою уверенностью в своей доброте и непроходимой глупости госпожи Леканидки.

— «Здесь, говорю, — продолжает Домна Платоновна, — столица; здесь даром, матушка, никто ничего не даст и шагу-то для тебя не ступит, а не то что деньги».

Этак поговорили — она и пошла. Пошла она, и недели с две, я думаю, ее не было видно. На конец того дела является голубка вся опять в слезах и опять с своими охами да вздохами.

«Вздыхай, — говорю, — ангел мой, не вздыхай, хоть грудь надсади, но как я хорошо петербургские обстоятельства знаю, ничего тебе от твоих слез не поможется».

«Боже мой! — сказывает, — у меня уж, кажется, как глаза от слез не вылезут, голова как не треснет, грудь болит. Я уж, — говорит, — и в общества сердобольные обращалась: пороги все обила — ничего не выходила».

«Что ж, сама ж, — говорю, — виновата. Ты бы меня расспросила, что эти все общества значат. Туда, — говорю, — для того именно и ходят, чтоб только последние башмаки дотаптывать».

«Взгляните, — говорит, — сами, какая я? На что я стала похожа».

«Вижу, — отвечаю ей, — вижу, мой друг, и нимало не удивляюсь, потому горе только одного рака красит, но помочь тебе, — говорю, — ничем не могу».

С час тут-то она у меня сидела и все плакала, и даже, правду сказать, уж и надоела.

«Нечего, — говорю ей на конец того, — плакать-то: ничего от этого не поможется; а умнее сказать, надо покориться».

Смотрю, слушает с плачем и — уж не сердится.

«Ничего, — говорю, — друг любезный, не поделаешь: не ты первая, не ты будешь и последняя».

«Занять бы, — говорит, — Домна Платоновна, хоть рублей пятьдесят».

«Пятидесяти копеек, — говорю, — не займешь, а не то что пятидесяти рублей — здесь не таковский город, а столица. Были у тебя пятьдесят рублей в руках — точно, да не умела ты их брать, так что ж с тобой делать?»

Поплакала она и ушла. Было это как раз, помню, на Иоанна Рыльского, а тут как раз через два дня живет праздник: иконы казанския божьей матери. Так что-то мне в этот день ужасно как нездоровилось — с вечера я это к одной купчихе на Охту ездила да, должно быть, простудилась — на этом каторжном перевозе — ну, чувствую я себя, что нездорова; никуда я не пошла: даже и у обедни не была; намазала себе нос салом и сижу на постели. Гляжу, а Леканида Петровна моя ко мне жалует, без бурнусика, одним платочком покрывшись.

«Здравствуйте, — говорит, — Домна Платоновна».

«Здравствуй, — говорю, — душечка. Что ты, — спрашиваю, — такая неубранная?»

«Так, — говорит, — на минуту, — говорит, — выскочила», — а сама, вижу, вся в лице меняется. Не плачет, знаешь, а то всполыхнет, то сбледнеет. Так меня тут же как молонья́ мысль и прожгла: верно, говорю себе, чуть ли ее Дисленьша не выгнала.

«Или, — спрашиваю, — что у вас с Дисленьшей вышло?» — а она это дёрг-дёрг себя за губенку-то, и хочет, вижу, что-то сказать, и заминается.

«Говори, говори, матушка, что такое?»

«Я, — говорит, — Домна Платоновна, к вам». А я молчу.

«Как, — говорит, — вы, Домна Платоновна, поживаете?»

«Ничего, — говорю, — мой друг. Моя жизнь все одинаковая».

«А я... — говорит, — ах, я просто совсем с ног сбилася».

«Тоже, — говорю, — видно, и твое все еще одинаково?»

«Все то же самое, — говорит. — Я уж, — говорит, — всюду кидалася. Я уж, кажется, всякий свой стыд позабыла; все ходила к богатым людям просить. В Кузнечном переулке тут, говорили, один богач помогает бедным — у него была; на Знаменской тоже была».

«Ну, и много же, — говорю, — от них вынесли?»

«По три целковых».

«Да и то, — говорю, — еще много. У меня, — говорю, — купец знакомый у Пяти Углов живет, так тот разменяет рубль на копейки и по копеечке в воскресенье и раздает. «Все равно, говорит, сто добрых дел выходит перед богом». Но чтоб пятьдесят рублей, как тебе нужно, — этого, — говорю, — я думаю, во всем Петербурге и человека такого нет из богачей, чтобы даром дал».

«Нет, — говорит, — говорят, есть».

«Кто ж это, мол, тебе говорил? Кто такого здесь видел?»

«Да одна дама мне говорила... Там у этого богача мы с нею в Кузнечном вместе дожидали. Грек, говорит, один есть на Невском: тот много помогает».

«Как же это, — спрашиваю, — он за здорово живешь, что ли, помогает?»

«Так, — говорит, — так, просто так помогает, Домна Платоновна».

«Ну, уж это, — говорю, — ты мне, пожалуйста, этого лучше и не ври. Это, — говорю, — сущий вздор».

«Да что же вы, — говорит, — спорите, когда эта дама сама про себя даже рассказывала? Она шесть лет уж не живет с мужем, и всякий раз как пойду, говорит, так пятьдесят рублей».

«Врет, — говорю, — тебе твоя знакомая дама».

«Нет, — говорит, — не врет».

«Врет, врет, — говорю, — и врет. Ни в жизнь этому не поверю, чтобы мужчина женщине пятьдесят рублей даром дал».

«А я, — говорит, — утверждаю вас, что это правда».

«Да ты что ж, сама, что ли, — говорю, — ходила?»

А она краснеет, краснеет, глаз куда деть не знает.

«Да вы, — говорит, — что, Домна Платоновна, думаете? Вы, пожалуйста, ничего такого не думайте! Ему восемьдесят лет. К нему много дам ходят, и он ничего от них не требует».

«Что ж, — говорю, — он красотою, что ли, только вашею освещается?»

«*Вашею?* Почему же это, — говорит, — вы опять так утверждаете, что как будто и я там была?» А сама так, как розан, и закраснелась.

«Чего ж, — говорю, — не утверждать? разве не видно, что была?»

«Ну так что ж такое, что была? Да, была».

«Что ж, очень, — говорю, — твоему счастию рада, что побывала в хорошем доме».

«Ничего, — говорит, — там нехорошего нет. Я очень просто зашла, — говорит, — к этой даме, что́ с ним знакома, и рассказала ей свои обстоятельства... Она, разумеется, мне сначала сейчас те же предложения, что́ и все делают... Я не захотела; ну, она и говорит: «Ну так вот, не хотите ли к одному греку богатому сходить? Он ничего не требует и очень много хорошеньким женщинам помогает. Я вам, говорит, адрес дам. У него дочь на фортепиано учится, так вы будто как учительница придете, но к нему самому ступайте, и ничего, говорит, вас стеснять не будет, а деньги получите». Он, понимаете, Домна Платоновна, он уже очень старый-престарый».

«Ничего, — говорю, — не понимаю».

Она, вижу, на мою недогадливость сердится. Ну, а я уж где там не догадываюсь: я все отлично это понимаю, к чему оно клонит, а только хочу ее стыдом-то этим помучить, чтоб совесть-то ее взяла хоть немножко.

«Ну как, — говорит, — не понимаете?»

«Да так, — говорю, — очень просто не понимаю, да и понимать не хочу».

«Отчего это так?»

«А оттого, — говорю, — что это отврат и противность, тьпфу!» Стыжу ее; а она, смотрю, морг-морг и кидается ко мне на плечи, и целует, и плачучи говорит: «А с чем же я все-таки поеду?»

«Как с чем, мол, поедешь? А с теми деньгами-то, что́ он тебе дал».

«Да он мне всего, — говорит, — десять рублей дал».

«Отчего так, — говорю, — десять? Как это всем пятьдесят, а тебе всего десять!»

«Черт его знает!» — говорит с сердцем.

И слезы даже у нее от большого сердца остановились.

«А то-то, мол, и есть!.. видно, ты чем-нибудь ему не потрафила. Ах вы, — говорю, — дамки вы этакие, дамки! Не лучше ли, не честнее ли я тебе, простая женщина, советовала, чем твоя благородная посоветовала?»

«Я сама, — говорит, — это вижу».

«Раньше, — говорю, — надо было видеть».

«Что ж я, — говорит, — Домна Платоновна... я же ведь теперь уж и решилась», — и глаза это в землю тупит.

«На что ж, — говорю, — ты решилась?»

«Что ж, — говорит, — делать, Домна Платоновна, так, как вы говорили... вижу я, что ничего я не могу пособить себе. Если б, — говорит, — хоть хороший человек...»

«Что ж, — говорю, чтоб много ее словами не конфузить, — я, — говорю, — отягощусь, похлопочу, но только уже и ты ж, смотри, сделай милость, не капризничай».

«Нет, — говорит, — уж куда!..» Вижу, сама давится, а сама твердо отвечает: «Нет, — говорит, — отяготитесь, Домна Платоновна, я не буду капризничать». Узнаю тут от нее, посидевши, что эта подлая Дисленьша ее выгоняет, и то есть не то что выгоняет, а и десять рублей-то, что́ она, несчастная, себе от грека принесла, уж отобрала у нее и потом совсем уж ее и выгнала и бельишко — какая там у нее была рубашка да перемывашка — и то все обобрала за долг и за хвост ее, как кошку, да на улицу.

«Да знаю, — говорю я, — эту Дисленьшу».

«Она, — говорит, — Домна Платоновна, кажется, просто торговать мною хотела».

«От нее, — отвечаю, — другого-то ничего и не дождешься».

«Я, — говорит, — когда при деньгах была, я ей не раз помогала, а она со мной так обошлась, как с последней».

«Ну, душечка, — говорю, — нынче ты благодарности в людях лучше и не ищи. Нынче, чем ты кому больше добра делай, тем он только готов тебе за это больше напакостить. Тонет, так топор сулит, а вынырнет, так и топорища жаль».

Рассуждаю этак с ней и ни-и-и думаю того, что она сама, шельма эта Леканида Петровна, как мне за все отблагодарит.

Домна Платоновна вздохнула.

— Вижу, что она все это мнется да трется, — продолжала Домна Платоновна, — и говорю: «Что ты хочешь сказать-то? Говори — лишних бревен никаких нет: в квартал надзирателю доносить некому».

«Когда же?» — спрашивает.

«Ну, — говорю, — мать моя, надо подождать: это тоже шах-мах не делается».

«Мне, — говорит, — Домна Платоновна, деться некуда».

А у меня — вот ты как зайдешь когда-нибудь ко мне, я тебе тогда покажу — есть такая каморка, так, маленькая такая, вещи там я свои, какие есть, берегу, и если случится какая тоже дамка, что места ищет иногда или случая какого дожидается, так в то время отдаю. На эту пору каморочка у меня была свободна. «Переходи, — говорю, — и живи».

Переход ее весь в том и был, что в чем пришла, в том и осталась: все Дисленьша, мерзавка, за долги забрала.

Ну, видя ее бедность, я дала ей тут же платье — купец один мне дарил: чудное платье, крепрошелевое, не то шикшинетеневое, так как-то материя-то эта называлась,— но только узко оно мне в лифике было. Шитвица-пакостница не потрафила, да я, признаться, и не люблю фасонных платьев, потому сжимают они очень в грудях, я все вот в этаких капотах хожу.

Ну, дала я ей это платье, дала кружевцов; перешила она это платьишко, отделала его кое-где кружевцами, и чудесное еще платьице вышло. Пошла я, сударь мой, в штинбоков пассаж, купила ей полсапожки, с кисточками такими, с бахромочкой, с каблучками; дала ей воротничков, манишечку — ну, одним словом, нарядила молодца, яко старца; не стыдно ни самой посмотреть, ни людям показать. Даже сама я не утерпела, пошутила ей: «Франтишка, — говорю, — ты какая! умеешь все как к лицу сделать».

Живем мы после этого вместе неделю, живем другую, все у нас с нею отлично: я по своим делам, а она дома остается. Вдруг тут-то дело мне припало к одной не то что к дамке, а к настоящей барыне, и немолодая уж барыня, а такая-то, прости господи!.. звезда восточная. Студента все к сыну в гувернеры искала. Ну, уж я знаю, какого ей надо студента.

«Чтоб был, — говорит, — опрятный; чтоб не из этих, как вот шляются — сицилисты, — они не знают небось, где и мыло продается».

«На что ж, — говорю, — из этих? Куда они годятся!»

«И, — говорит, — чтоб в возрасте был, а не дитею бы смотрел; а то дети его и слушаться не будут».

«Понимаю, мол, все».

Отыскала я студента: мальчонко молоденький, но этакий штуковатый и чищеный, все сразу понимает. Иду-с я теперь с этим делом к этой даме; передала ей адрес; говорю: так и так, тогда и тогда будет, и извольте его посмотреть, а что такое если не годится — другого, говорю, найдем, и сама ухожу. Только иду это с лестницы, а в швейцарской генерал мне навстречу и вот он. И этот самый генерал, надо тебе сказать, хоть он и штатский, но очень образованный. В доме у него роскошь такой: зеркала, ланпы, золото везде, ковры, лакеи в перчатках, везде это духами накурено. Одно слово, свой дом, и живут в свое удовольствие; два этажа сами занимают: он, как взойдешь из швейцарской, сейчас налево; комнат восемь один живет, а направо сейчас другая такая ж половина, в той сын старший, тоже женатый уж года с два. На богатой тоже женился, и все как есть в доме очень ее хвалят, говорят — предобрая барыня, только чахотка, должно, у нее — очень уж худая. Ну, а наверху, сейчас по этакой лестнице — широкая-преширокая лестница и вся цветами установлена — тут сама старуха, как тетеря на токовище, сидит с меньшенькими детьми, и гувернеры-то эти там же. Ну, знаешь уж, как на большую ногу живут!

Встретил меня генерал и говорит: «Здравствуй, Домна Платоновна!» — Превежливый барин.

«Здравствуйте, — говорю, — ваше превосходительство».

«У жены, что ль, была?» — спрашивает.

«Точно так, — говорю, — ваше превосходительство, у супруги вашей, у генеральши была; кружевца, — говорю, — старинные приносила».

«Нет ли, — говорит, — у тебя чего, кроме кружевцов, хорошенького?»

«Как, — говорю, — не быть, ваше превосходительство! Для хороших, — говорю, — людей всегда на свете есть что-нибудь хорошее».

«Ну, пойдем-ка, — говорит, — пройдемся; воздух, — говорит, — нынче очень свежий».

«Погода, — отвечаю, — отличная, редко такой и дождешься».

Он выходит на улицу, и я за ним, а карета сзади нас по улице едет. Так вместе по Моховой и идем — ей-богу правда. Препростодушный, говорю тебе, барин!

«Что ж, — спрашивает, — чем же ты это нынче, Домна Платоновна, мне похвалишься?»

«А уж тем, мол, ваше превосходительство, похвалюсь, что могу сказать, что редкость».

«Ой ли, правда?» — спрашивает — не верит, потому что он очень и опытный — постоянно все по циркам да по балетам и везде страшно по этому предмету со вниманием следит.

«Ну, уж хвалиться, — говорю, — вам, сударь, не стану, потому что, кажется, изволите знать, что я попусту врать на ветер не охотница, а вы, когда вам угодно, извольте, — говорю, — пожаловать. Гляженое лучше хваленого».

«Так не лжешь, — говорит, — Домна Платоновна, стоящая штучка?»

«Одно слово, — отвечаю ему я, — ваше превосходительство, больше и говорить не хочу. Не такой товар, чтоб еще нахваливать».

«Ну, посмотрим, — говорит, — посмотрим».

«Милости, — говорю, — просим. Когда пожалуете?»

«Да как-нибудь на этих днях, — говорит, — вероятно, заеду».

«Нет, — говорю, — ваше превосходительство, вы извольте назначить как наверное, так, — говорю, — и ждать будем; а то я, — говорю, — тоже дома не сижу: волка, мол, ноги кормят».

«Ну, так я, — говорит, — послезавтра, в пятницу из присутствия заеду».

«Очень хорошо, — говорю, — я ей скажу, чтоб дожидалась».

«А у тебя, — спрашивает, — тут в узелке-то что-нибудь хорошенькое есть?»

«Есть, — говорю, — штучка шелковых кружев черных, отличная. Половину, — солгала ему, — половину, — говорю, — ваша супруга взяли, а половина, — говорю, — как раз на двадцать рублей осталась».

«Ну, передай, — говорит, — ей от меня эти кружева: скажи, что *добрый гений* ей посылает», — шутит это, а сам мне двадцать пять рублей бумажку подает, и сдачи, говорит, не надо: возьми себе на орехи.

Довольно тебе, что и в глаза ее не видавши, этакой презент.

Сел он в карету тут у Семионовского моста и поехал, а я Фонталкой по набережной да и домой.

«Вот, — говорю, — Леканида Петровна, и твое счастье нашлось».

«Что, — говорит, — такое?»

А я ей все по порядку рассказываю: хвалю его, знаешь, ей, как ни быть лучше: хотя, говорю, и в летах, но мужчина видный, полный, белье, говорю, тонкое носит, в очках, сказываю, золотых; а она вся так и трясется.

«Нечего, — говорю, — мой друг, тебе его бояться: может быть, для кого-нибудь другого он там по чину своему да по должности пускай и страшен, а твое, — говорю, — дело при нем будет совсем особливое; еще ручки, ножки свои его целовать заставь. Им, — говорю, — одна дамка-полячка (я таки се с ним еще и познакомила) как хотела помыкала и амантов, — говорю, — имела, а он им еще и отличные какие места подавал, все будто заместо своих братьев она ему их выдавала. Положись на мое слово и ничуть его не опасайся, потому что я его отлично знаю. Эта полячка, бывало, даже руку на него поднимала: сделает, бывало, истерику, да мах его рукою по очкам; только стеклышки зазвенят. А твое воспитание ничуть не ниже. А вот, — говорю, — тебе от него пока что и презентик», — вынула кружева да перед ней и положила.

Прихожу опять вечером домой, смотрю — она сидит, чулок себе штопает, а глаза такие заплаканные; гляжу, и кружева мои на том же месте, где я их положила.

«Прибрать бы, — говорю, — тебе их надо; вон хоть в комоду, — говорю, — мою что ли бы положила; это вещь дорогая».

«На что, — говорит, — они мне?»

«А не нравятся, так я тебе за них десять рублей деньги ворочу».

«Как хотите», — говорит. Взяла я эти кружева, смотрю, что все целы, — свернула их как должно, и так, не мерявши, в свой саквояж и положила.

«Вот, — говорю, — что ты мне за платье должна — я с тебя лишнего не хочу, — положим за него хоть семь рублей, да за полсапожки три целковых, вот, — говорю, — и будем квиту, а остальное там, как сочтемся».

«Хорошо», — говорит, — а сама опять плакать.

«Плакать-то теперь бы, — говорю, — не следовало».

А она мне отвечает:

«Дайте, — говорит, — мне, пожалуйста, мои последние слезы выплакать. Что вы, — говорит, — беспокоитесь? — не бойтесь, понравлюсь!»

«Что ж, — говорю, — ты, матушка, за мое же добро да на меня же фыркаешь? Тоже, — говорю, — новости: у Фили пили, да Филю ж и били!»

Взяла да и говорить с ней перестала.

Прошел четверг, я с ней не говорила. В пятницу напилась чаю, выхожу и говорю: «Изволь же, — говорю, — сударыня, быть готова: он нынче приедет».

Она как вскочит: «Как нынче! как нынче!»

«А так, — говорю, — чай, сказано тебе было, что он обещался в пятницу, а вчера, я думаю, был четверг».

«Голубушка, — говорит, — Домна Платоновна!» — пальцы себе кусает, да бух мне в ноги.

«Что ты, — говорю, — сумасшедшая? Что ты?»

«Спасите!»

«От чего, — говорю, — от чего тебя спасать-то?»

«Защитите! Пожалейте!»

«Да что ты, — говорю, — блажишь? Не сама ли же, — говорю, — ты просила?»

А она опять берет себя руками за щеки да вопит: «Душечка, душечка, пусть завтра, пусть, — говорит, — хоть послезавтра!»

Ну, вижу, нечего ее, дуру, слушать, хлопнула дверью и ушла. Приедет, думаю, он сюда — сами поладят. Не одну уж такую-то я видела: все они попервоначалу бла́ги бывают. Что ты на меня так смотришь? Это, поверь, я правду говорю: все так-то убиваются.

— Продолжайте, — говорю, — Домна Платоновна.

— Что ж, ты думаешь, она, поганка, сделала?

— А кто ее знает, что́ ее черт угораздил сделать! — сорвалось у меня со злости.

— Уж именно правда твоя, что черт ее угораздил, — отвечала с похвалою моей прозорливости Домна Платоновна. — Этакого человека, этакую вельможу, она, шельмовка этакая, и в двери не пустила!.. Стучал-стучал, звонил-звонил — она тебе хоть бы ему голос какой подала. Вот ведь какая хитростная — на что отважилась! Сидит

запершись, словно ее и духу там нет. Захожу я вечерком к нему — сейчас меня впустили — и спрашиваю: «Ну что, — говорю, — обманула я вас, ваше превосходительство?» — а он туча-тучей. Рассказывает мне все, как он был и как ни с чем назад пошел.

«Этак, — говорит, — Домна Платоновна, любезная моя, с порядочными людьми не поступают».

«Батюшка, — говорю, — да как это можно! верно, — говорю, — она куда на минутую выходила или что такое — не слыхала», — ну, а сама себе думаю: «Ах ты, варварка! ах ты, злодейка этакая! страмовщица ты!»

«Пожалуйте, — прошу его, — ваше превосходительство, завтра — верно вам ручаюсь, что все будет как должно».

Да ушедши-то от него домой, да бегом, да бегом. Прибегаю, кричу:

«Варварка! варварка! что ж ты это, варварка, со мной наделала? С каким ты меня человеком, может быть, расстроила? Ведь ты, — говорю, — сама со всей твоей родней-то да и с целой губернией-то с вашей и сапога его одного отоптанного не стоишь! Он, — говорю, — в прах и в пепел всех вас и все начальство-то ваше истереть одной ногой может. Чего ж ты, бездельница этакая, модничаешь? Даром я, что ли, тебя кормлю? Я бедная женщина; я на твоих же глазах день и ночь постоянно отягощаюсь; я на твоих же глазах веду самую прекратительную жизнь, да еще ты, — говорю, — щелчок ты этакой, нахлебница навязалась!»

И как уж я ее тут-то ругала! Как страшно я ее с сердцов ругала, что ты не поверишь. Кажется б вот взяла я да глаза ей в сердцах повыцарапала.

Домна Платоновна сморгнула набежавшую на один глаз слезу и проговорила между строк: «Даже теперь жалко, как вспомню, как я ее тогда обидела».

«Гольтепа ты дворянская! — говорю ей, — вон от меня! вон, чтоб и дух твой здесь не пах!» — и даже за рукав ее к двери бросила. — Ведь вот, ты скажи, что́ с сердцов человек иной раз делает: сама назавтри к ней такого граиндеву пригласила, а сама ее нынче же вон выгоняю! Ну, а она — на эти мои слова сейчас и готова — и к двери.

У меня уж было и сердце все проходить стало, как она все это стояла-то да молчала, а уж как она по моему

по последнему слову к двери даже обернулась, я опять и вскипела.

«Куда, куда, — говорю, — такая-сякая, ты летишь?»

Уж и сама даже не помню, какими ее словами опять изругала.

«Оставайся, — говорю, — не смей ходить!..»

«Нет, я, — говорит, — пойду».

«Как пойдешь? как ты смеешь идтить?»

«Что ж, — говорит, — вы, Домна Платоновна, на меня сердитесь, так лучше же мне уйти».

«Сержусь! — говорю. — Нет, я мало что на тебя сержусь, я тебя буду бить».

Она вскрикнула, да в дверь, а я ее за ручку, да назад, да тут-то сгоряча оплеух с шесть таки горячих ей и закатила.

«Воровка ты, — говорю, — а не дама», — кричу на нее; а она стоит в уголке, как я ее оттрепала, и вся, как клёнов лист, трясется, но и тут, заметь, свою анбицию дворянскую почувствовала.

«Что ж, — говорит, — такое я у вас украла?»

«Космы-то, — говорю, — патлы-то свои подбери, — потому я ей всю прическу расстроила. — То, — говорю, — ты у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила две недели; обула-одела тебя; я, — говорю, — на всякий час отягощаюсь, я веду прекратительную жизнь, да еще через тебя должна куска хлеба лишиться, как ты меня с таким человеком поссорила!»

Смотрю, она потихоньку косы свои опять в пучок подвернула, взяла в ковшик холодной воды — умылась; голову расчесала и села. Смирно сидит у окошечка, только все жестяное зеркальце потихонечку к щекам прикладывает. Я будто не смотрю на нее, раскладываю по столу кружева, а сама вижу, что щеки-то у нее так и горят.

«Ах, — думаю, — напрасно ведь это я, злодейка, так уж очень ее обидела!»

Все, что стою над столом да думаю — то все мне ее жалче; что стою думаю — то все жалче..

Ахти мне, горе с моим добрым сердцем! Никак я с своим сердцем не совладаю. И досадно, и знаю, что она виновата и вполне того заслужила, а жалко.

Выскочила я на минуточку на улицу — тут у нас, в нашем же доме, под низом кондитерская, — взяла десять

штучек песочного пирожного и прихожу; сама поставила самовар; сама чаю чашку ей налила и подаю с пирожным. Она взяла из моих рук чашку и пирожное взяла, откусила кусочек, да меж зубов и держит. Кусочек держит, а сама вдруг улыбается, улыбается, и весело улыбается, а слезы кап-кап-кап, так и брызжут; таки вот просто не текут, а как сок из лимона, если подавишь, брызжут.

«Полно, — говорю, — не обижайся».

«Нет, — говорит, — я ничего, я ничего, я ничего...» — да как зарядила это: «я ничего» да «я ничего» — твердит одно, да и полно.

«Господи! — думаю, — уж не сделалось ли ей помрачение смыслов?» Водой на нее брызнула; она тише, тише и успокоилась: села в уголку на постелишке и сидит. А меня все, знаешь, совесть мутит, что я ее обидела. Помолилась я богу — прочитала, как еще в Мценске священник учил от запаления ума: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», — и сняла с себя капотик, и подхожу к ней в одной юбке, и говорю: «Послушай ты меня, Леканида Петровна! В писании читается: «да не зайдет солнце во гневе вашем»; прости же ты меня за мою дерзость; давай помиримся!» — поклонилась ей до земли и взяла ее руку поцеловала: вот тебе, ей-богу, как завтрашний день хочу видеть, так поцеловала. И она, смотрю, наклоняется ко мне и в плечо меня чмок, гляжу — и тоже мою руку поцеловала, и сами мы между собою обе друг дружку обняли и поцеловались.

«Друг мой, — говорю, — ведь я не со злости какой или не для своей корысти, а для твоего же добра!» — толкую ей и по головке ее ласкаю, а она все этак скороговоркой:

«Хорошо, хорошо; благодарю вас, Домна Платоновна, благодарю».

«Вот *он,* — говорю, — завтра опять приедет».

«Ну что ж, — говорит, — ну что ж! очень хорошо, пусть приезжает».

Я ее опять по головке глажу, волоски ей за ушко заправляю, а она сидит и глазком с лампады не смигнет. Лампад горит перед образами таково тихо, сияние от икон на нее идет, и вижу, что она вдруг губами все шевелит, все шевелит.

«Что ты, — спрашиваю, — душечка, богу это, что ли, молишься?»

«Нет, — говорит, — это я, Домна Платоновна, так».

«Что ж, — говорю, — я думала, что ты это молишься, а так самому с собой разговаривать, друг мой, не годится. Это только одни помешанные сами с собою разговаривают».

«Ах, — отвечает она мне, — я, — говорит, — Домна Платоновна, уж и сама думаю, что я, кажется, помешанная. На что я только иду! на что я это иду!» — заговорила она вдруг, и в грудь себя таково изо всей силы ударяет.

«Что ж, — говорю, — делать? Так тебе, верно, путь такой тяжелый назначен».

«Как, — говорит, — такой мне путь назначен? Я была честная девушка! я была честная жена! Господи! господи! да где же ты? Где же, где бог?»

«Бога, — говорю, — читается, друг мой, никто же виде и нигде же».

«А где же есть сожалительные, добрые христиане? Где они? где?»

«Да здесь, — говорю, — и христиане».

«Где?»

«Да как *где?* Вся Россия — всё христиане, и мы с тобой христианки».

«Да, да, — говорит, — и мы христианки...» — и сама, вижу, эти слова выговаривает и в лице страшная становится. Словно она с кем с невидимым говорит.

«Фу, — говорю, — да сумасшедшая ты, что ли, в самом деле? что ты меня пужаешь-то? что ты ропот-то на создателя своего произносишь?»

Смотрю: сейчас она опять смирилась, плачет опять тихо и рассуждает:

«Из-за чего, — говорит, — это я только все себе наделала? Каких я людей слушала? Разбили меня с мужем; натолковали мне, что он и тиран и варвар, когда это совсем неправда была, когда я, *я сама,* презренная и низкая капризница, я жизнь его отравляла, а не покоила. Люди! подлые вы люди! сбили меня; насулили мне здесь горы золотые, а не сказали про реки огненные. Муж меня теперь бросил, смотреть на меня не хочет, писем моих не читает. А завтра я... бррр...х!»

Вся даже задрожала.

«Маменька! — стала звать, — маменька! если б ты меня теперь, душечка, видела? Если б ты, чистенький ан-

гел мой, на меня теперь посмотрела из своей могилки? Как она нас, Домна Платоновна, воспитывала! Как мы жили хорошо; ходили всегда чистенькие; все у нас в доме было такое хорошенькое; цветочки мама любила; бывало, — говорит, — возьмет за руки и пойдем двое далеко... в луга пойдем...»

Тут-то, знаешь ты, сон у меня удивительный — слушала я, как это хорошо все она вспоминает, и заснула.

Ну, представь же ты теперь себе: сплю это; заснула у нее, на ее постеленке, и как пришла к ней, совсем даже в юбке заснула, и опять тебе говорю, что сплю я свое время крепко, и снов никогда никаких не вижу, кромя как разве к какому у меня воровству; а тут все это мне видятся рощи такие, палисадники и она, эта Леканида Петровна. Будто такая она маленькая, такая хорошенькая: головка у нее русая, вся в кудряшках, и носит она в ручках веночек, а за нею собачка, такая беленькая собачка, и все на меня гам-гам, гам-гам — будто сердится и укусить меня хочет. Я будто нагинаюсь, чтоб поднять палочку, чтоб эту собачку от себя отогнать, а из земли вдруг мертвая ручища: хвать меня вот за самое за это место, за кость. Вскинулась я, смотрю — свое время я уж проспала, и руку страсть как неловко перележала. Ну, оделась я, помолилась богу и чайку напилась, а она все спит.

«Пора, — говорю, — Леканида Петровна, вставать; чай, — говорю, — на конфорке стоит, а я, мой друг, ухожу».

Поцеловала ее на постели в лоб, истинно говорю тебе, как дочь родную жалеючи, да из двери-то выходя, ключик это потихоньку вынула да в карман.

«Так-то, — думаю, — дело честнее будет».

Захожу к генералу и говорю: «Ну, ваше превосходительство, теперь дело не мое. Я свое сделала — пожалуйте поскорей», — и ему отдала ключ.

— Ну-с, — говорю, — милая Домна Платоновна, не на этом же все кончилось?

Домна Платоновна засмеялась и головой закачала с таким выражением, что смешны, мол, все люди на белом свете.

— Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю — огня нет.

«Леканида Петровна!» — зову.

Слышу, она на моей постели ворочается.

«Спишь?» — спрашиваю; а самое меня, знаешь, так смех и подмывает.

«Нет, не сплю», — отвечает.

«Что ж ты огня, мол, не засветишь?»

«На что ж он мне, — говорит, — огонь?»

Зажгла я свечу, раздула самоваришку, зову ее чай пить.

«Не хочу, — говорит, — я», — а сама все к стенке заворачивается.

«Ну, по крайности, — говорю, — встань же, хоть на свою постель перейди: мне мою постель надо поправить».

Вижу, поднимается, как волк угрюмый. Взглянула исподлобья на свечу и глаза рукой заслоняет.

«Что ты, — спрашиваю, — глаза закрываешь?»

«Больно, — отвечает, — на свет смотреть».

Пошла, и слышу, как была опять совсем в платье одетая, так и повалилась.

Разделась и я как следует, помолилась богу, но все меня любопытство берет, как тут у них без меня были подробности? К генералу я побоялась идти: думаю, чтоб опять афронта какого не было, а ее спросить даже следует, но она тоже как-то не допускает. Дай, думаю, с хитростью к ней подойду. Вхожу к ней в каморку и спрашиваю:

«Что, никого, — говорю, — тут, Леканида Петровна, без меня не было?»

Молчит.

«Что ж, — говорю, — ты, мать, и ответить не хочешь?»

А она с сердцем этак: «Нечего, — говорит, — вам меня расспрашивать».

«Как же это, — говорю, — нечего мне тебя расспрашивать? Я хозяйка».

«Потому, — говорит, — что вы без всяких вопросов очень хорошо все знаете», — и это, уж я слышу, совсем другим тоном говорит.

Ну, тут я все дело, разумеется, поняла.

Она только вздыхает; и пока я улеглась и уснула — все вздыхает.

— Это, — говорю, — Домна Платоновна, уж и конец?

— Это первому действию, государь мой, конец.

— А во втором-то что же происходило?

— А во втором она вышла против меня мерзавка — вот что во втором происходило.

— Как же, — спрашиваю, — это, Домна Платоновна, очень интересно, как так это сделалось?

— А так, сударь мой, и сделалось, как делается: силу человек в себе почуял, ну сейчас и свиньей стал.

— И вскоре, — говорю, — это она так к вам переменилась?

— Тут же таки. На другой день уж всю это свою козью прыть показала. На другой день я, по обнаковению, в свое время встала, сама поставила самовар и села к чаю около ее постели в каморочке, да и говорю: «Иди же, — говорю, — Леканида Петровна, умывайся да богу молись, чай пора пить». Она, ни слова не говоря, вскочила и, гляжу, у нее из кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я к этой бумажке, чтоб поднять ее, а она вдруг сама, как ястреб, на нее бросается.

«Не троньте!» — говорит, и хап ее в руку.

Вижу, бумажка сторублевая.

«Что ж ты, — говорю, — так, матушка, рычишь?»

«Так хочу, так и рычу».

«Успокойся, — говорю, — милая; я, слава богу, не Дисленьша, в моем доме никто у тебя твоего добра отнимать не станет».

Ни слова она мне в ответ не сказала: мой чай пьет и на меня ж глядеть не хочет; возьми ты это, хоть кому-нибудь доведися — станет больно. Ну, однако, я ей это спустила, думала, что она это еще в расстройке, и точно, вижу, что как это ворот-то у нее в рубашке широкий, так видно, знаешь, как грудь-то у ней так вот и вздрагивает, и на что, я тебе сказывала, была она собою телом и бела и розовая, точно пух в атласе, а тут, знаешь, будто вдруг она какая-то темная мне показалась телом, и всё у нее по голым плечам-то сиротки вспрыгивают, пупырышки эти такие, что вот с холоду когда выступают. Холеной неженке первый снежок труден. Я ее даже молча и пожалела еще, и никак себе не воображала, какая она ехидная.

Вечером прихожу; гляжу — она сидит перед свечкой и рубашку себе новую шьет, а на столе перед ней еще так три, не то четыре рубашки лежат прикроенные.

«Почем, — спрашиваю, — брала полотно?»

А она этак тихо-тихохонько мне вот что отвечает:

«Я, — говорит, — Домна Платоновна, желала вас просить: оставьте вы меня, пожалуйста, с вашими разговорами».

Смотрю, вид у нее такой покойный, будто совсем и не сердится. «Ну, — думаю, — матушка, когда ты такая, так и я же к тебе стану иная».

«Я, — говорю ей, — Леканида Петровна, в своем доме хозяйка и все говорить могу; а тебе если мои разговоры неприятны, так не угодно ли, — говорю, — отправляться куда угодно».

«И не беспокойтесь, — говорит, — я и отправлюсь».

«Только прежде всего надо, — я говорю, — рассчитаться: честные люди не рассчитавшись не съезжают».

«Опять, — говорит, — не беспокойтесь».

«Я, — отвечаю, — не беспокоюсь», — ну, только считаю ей за полтора месяца за квартиру десять рублей и что пила-ела пятнадцать рублей, да за чай, говорю, положим хоть три целковых, тридцать один целковый, говорю. За свечки тут-то не посчитала, и что в баню с собой два раза ее брала, и то тоже забыла.

«Очень хорошо-с, — отвечает, — все будет вам заплачено».

На другой день вечером ворочаюсь опять домой, застаю ее, что она опять сидит себе рубашку шьет, а на стенке, так насупротив ее, на гвоздике висит этакой бурнус, черный атласный, хороший бурнус, на гроденаплевой подкладке и на пуху. Закипело у меня, знаешь, что все это через меня, через мое радетельство получила, да еще без меня же, словно будто потоймя от меня справляет.

«Бурнусы-то, — говорю, — можно б, мне кажется, погодить справлять, а прежде б с долгами расчесться».

Она на эти мои слова сейчас опущает белу ручeньку в карман; вытаскивает оттуда бумажку и подает. Смотрю, в этой бумажке аккурат тридцать и один целковый.

Взяла я деньги и говорю: «Благодарствуйте, — говорю, — Леканида Петровна». Уж «вы» ей, знаешь, нарочно говорю.

«Не за что-с, — отвечает, — а сама и глаз на меня даже с работы не вскинет; все шьет, все шьет; так игла-то у нее и летает.

«Постой же, — думаю, — змейка ты зеленая; не очень еще ты чванься, что ты со мною расплатилась».

«Это, — говорю, — Леканида Петровна, вы мне мои расходы вернули, а что ж вы мне за мои за хлопоты пожалуете?»

«За какие, — спрашивает, — за хлопоты?»

«Как же, — говорю, — я вам стану объяснять? сами, чай, понимаете».

А она это шьет, наперстком-то по рубцу водит, да и говорит, не глядя: «Пусть, — говорит, — вам за эти ваши милые хлопоты платит тот, кому они были нужны».

«Да ведь вам, — говорю, — они больше всех нужны-то были».

«Нет, мне, — говорит, — они не были нужны. А впрочем, сделайте милость, оставьте меня в покое».

Довольно с тебя этой дерзости! Но я и ею пренебрегла. Пренебрегла и оставила, и не говорю с нею, и не говорю.

Только наутро, где бы пить чай, смотрю — она убралась; рубашку эту, что ночью дошила, на себя надела, недошитые свернула в платочек; смотрю, нагинается, из-под кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достает... Прехорошенькая шляпочка... все во всем ее вкусе... Надела ее и говорит: «Прощайте, Домна Платоновна».

Жаль мне ее опять тут, как дочь родную, стало: «Постой же, — говорю ей, — постой, хоть чаю-то напейся!»

«Покорно благодарю, — отвечает, — я у себя буду пить чай».

Понимай, значит, — то, что *у себя!* Ну, бог с тобой, я и это мимо ушей пустила.

«Где ж, — говорю, — ты будешь жить?»

«На Владимирской, — говорит, — в Тарховом доме».

«Знаю, — говорю, — дом отличный, только дворники большие повесы».

«Мне, — говорит, — до дворников дела нет».

«Разумеется, — говорю, — мой друг, разумеется! Комнатку себе, что ли, наняла?»

«Нет, — отвечает, — квартиру взяла, с кухаркой буду жить».

Вон, вижу, куда заиграло! «Ах ты, хитрая! — говорю, — хитрая! — шутя на нее, знаешь, пальцем грожусь. — Зачем же, — говорю, — ты меня обманывала-то, говорила, что к мужу-то поедешь?»

«А вы, — говорит, — думаете, что я вас обманывала?»

«Да уж, — отвечаю, — чтó тут думать! когда б имела

желание ехать, то, разумеется, не нанимала б тут квартиры».

«Ах, — говорит, — Домна Платоновна, как мне вас жалко! ничего вы не понимаете».

«Ну, — говорю, — уж не хитри, душечка! Вижу, что ты умно обделала дельце».

«Да вы, — говорит, — что́ это толкуете! Разве такие мерзавки, как я, к мужьям ездят?»

«Ах, мать ты моя! что ты это, — отвечаю, — себя так уж очень мерзавишь! И в пять раз мерзавней тебя, да с мужьями живут».

А она, уж совсем это на пороге-то стоючи, вдруг улыбнулась, да и говорит: «Нет, извините меня, Домна Платоновна, я на вас сердилась; ну, а вижу, что на вас нельзя сердиться, потому что вы совсем глупы».

Это вместо прощанья-то! нравится это тебе? «Ну, — подумала я ей вслед, — глупа-неглупа, а, видно, умней тебя, потому, что́ я захотела, то с тобой, с умницей, с воспитанной, и сделала».

Так она от меня сошла, не то что с ссорою, а все как с небольшим удовольствием. И не видала я ее с тех пор, и не видала, я думаю, больше как год. В это-то время у меня тут как-то работку бог давал: четырех купцов я женила; одну полковницкую дочь замуж выдала; одного надворного советника на вдове, на купчихе, тоже женила, ну и другие разные дела тоже перепадали, а тут это товар тоже из своего места насылали — так время и прошло. Только вышел тут такой случай: была я один раз у этого самого генерала, с которым Леканидку-то познакомила: к невестке его зашла. С сыном-то с его я давно была знакома: такой тоже весь в отца вышел. Ну, прихожу я к невестке, мантиль блондовую она хотела дать продать, а ее и нет: в Воронеж, говорят, к Митрофанию угоднику поехала.

«Зайду, — думаю, — по старой памяти к барину».

Всхожу с заднего хода, никого нет. Я потихонечку топы-топы, да одну комнать прошла и другую, и вдруг, сударь ты мой, слышу Леканидкин голос: «Шарман мой! — говорит, — я, — говорит, — люблю тебя; ты одно мое счастье земное!»

«Отлично, — думаю, — и с папенькой и с сыночком романсы проводит моя Леканида Петровна», да сама

опять топы-топы да теми же пятами вон. Узнаю-поузнаю, как это она познакомилась с этим, с молодым-то, — аж выходит, что жена-то молодого сама над нею сжалилась, навещать ее стала потихоньку, все это, знаешь, жалеючи ее, что такая будто она дамка образованная да хорошая; а она, Леканидка, ей, не хуже как мне, и отблагодарила. Ну, ничего, не мое это, значит, дело; знаю и молчу; даже еще покрываю этот ее грех, и где следует виду этого не подаю, что знаю. Прошло опять чуть не с год ли. Леканидка в ту пору жила в Кирпичном переулке. Собиралась я это на средокрестной неделе говеть и иду этак по Кирпичному переулку, глянула на дом-то да думаю: как это нехорошо, что мы с Леканидой Петровной такое время поссорившись; тела и крови готовясь принять — дай зайду к ней, помирюсь! Захожу. Парад такой в квартире, что лучше требовать нельзя. Горничная — точно как барышня.

«Доложите, — говорю, — умница, что, мол, кружевница Домна Платоновна желает их видеть».

Пошла и выходит, говорит: «Пожалуйте».

Вхожу в гостиную; таково тоже все парадно, и на диване сидит это сама Леканидка и генералова невестка с ней: обе кофий кушают. Встречает меня Леканидка будто и ничего, будто со вчера всего только не видались.

Я тоже со всей моей простотой: «Славно, — говорю, — живешь, душечка; дай бог тебе и еще лучше».

А она с той что-то вдруг и залопотала по-французски. Не понимаю я ничего по-ихнему. Сижу, как дура, глазею по комнате, да и зевать стала.

«Ах, — говорит вдруг Леканидка, — не хотите ли вы, Домна Платоновна, кофию?»

«Отчего ж, — говорю, — позвольте чашечку».

Она это сейчас звонит в серебряный колокольчик и приказывает своей девке: «Даша, — говорит, — напойте Домну Платоновну кофием».

Я, дура, этого тогда сразу-то и не поняла хорошенько, что́ такое значит *напойте;* только смотрю, так минут через десять эта самая ее Дашка входит опять и докладывает: «Готово, — говорит, — сударыня».

«Хорошо, — говорит ей в ответ Леканидка, да и оборачивается ко мне: — Подите, — говорит, — Домна Платоновна: она вас напоит».

Ух, уж на это меня взорвало! Сверзну я ее, подумала себе, но удержалась. Встала и говорю: «Нет, покорно вас благодарю, Леканида Петровна, на вашем угощении. У меня, — говорю, — хоть я и бедная женщина, а у меня и свой кофий есть».

«Что ж, — говорит, — это вы так рассердились?»

«А то, — прямо ей в глаза говорю, — что вы со мной мою хлеб-соль вместе кушивали, а меня к своей горничной посылаете: так это мне, разумеется, обидно».

«Да моя, — говорит, — Даша — честная девушка; ее общество вас оскорблять не может», — а сама будто, показалось мне, как улыбается.

«Ах ты, змея, — думаю, — я тебя у сердца моего пригрела, так ты теперь и по животу ползешь!» «Я, — говорю, — у этой девицы чести ее нисколько не снимаю, ну только не вам бы, — говорю, — Леканида Петровна, меня с своими прислугами за один стол сажать».

«А отчего это, — спрашивает, — так, Домна Платоновна, не мне?»

«А потому, — говорю, — матушка, что вспомни, что́ ты была, и посмотри, что́ ты есть и кому ты всем этим обязана».

«Очень, — говорит, — помню, что была я честной женщиной, а теперь я дрянь и обязана этим вам, вашей доброте, Домна Платоновна».

«И точно, — отвечаю, — речь твоя справедлива, прямая ты дрянь. В твоем же доме, да ничего не боясь, в глаза тебе эти слова говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь и есть, а не я тебя дрянью сделала».

А сама, знаешь, беру свой саквояж.

«Прощай, — говорю, — госпожа великая!»

А эта генеральская невестка-то чахоточная как вскочит, дохлая: «Как вы, — говорит, — смеете оскорблять Леканиду Петровну!»

«Смею, — говорю, — сударыня!»

«Леканида Петровна, — говорит, — очень добра, но я, наконец, не позволю обижать ее в моем присутствии: она мой друг».

«Хорош, — говорю, — друг!»

Тут и Леканидка, гляжу, вскочила да как крикнет: «Вон, — говорит, — гадкая ты женщина!»

«А! — говорю, — гадкая я женщина? Я гадкая, да я

с чужими мужьями романсов не провождаю. Какая я ни на есть, да такого не делала, чтоб и папеньку и сыночка одними прелестями-то своими прельщать! Извольте, — говорю, — сударыня, вам вашего друга, уж вполне, — говорю, — друг».

«Лжете, — говорит, — вы! Я не поверю вам, вы это со злости на Леканиду Петровну говорите».

«Ну, а со злости, так вот же, — говорю, — теперь ты меня, Леканида Петровна, извини; теперь, — говорю, — уж я тебя сверзну», — и все, знаешь, что́ слышала, что Леканидка с мужем-то ее тогда чекотала, то все им и высыпала на стол, да и вон.

— Ну-с, — говорю, — Домна Платоновна?

— Бросил ее старик после этого скандала.

— А молодой?

— Да с молодым нешто у нее интерес был какой! С молодым у нее, как это говорится так, — пур-амур любовь шла. Тоже ведь, гляди ты, шушваль этакая, а без любви никак дышать не могла. Как же! нельзя же комиссару без штанов быть. А вот теперь и без любви обходится.

— Вы, — говорю, — почему это знаете, что обходится?

— А как же не знаю! Стало быть, что обходится, когда живет в такой жизни, что нынче один князь, а завтра другой граф; нынче англичанин, завтра итальянец или ишпанец какой. Уж тут, стало, не любовь, а деньги. Бзырит по магазинам да по Невскому в такой коляске лежачей на рысаках катается...

— Ну, так вы с тех пор с нею и не встречаетесь?

— Нет. Зла я на нее не питаю, но не хожу к ней. Бог с нею совсем! Раз как-то на Морской нынче по осени выхожу от одной дамы, а она на крыльцо всходит. Я таки дала ей дорогу и говорю: «Здравствуйте, Леканида Петровна!» — а она вдруг, зеленая вся, наклонилась ко мне, с крылечка-то, да этак к самому к моему лицу, и с ласковой такой миной отвечает: «Здравствуй, мерзавка!»

Я даже не утерпел и рассмеялся.

— Ей-богу! «Здравствуй, — говорит, — мерзавка!» Хотела я ей тут-то было сказать: не мерзавь, мол, матушка, сама ты нынче мерзавка, да подумала, что лакей-то этот за нею, и зонтик у него большой в руках, так уж проходи, думаю, налево, французская королева.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Со времени сообщения мне Домною Платоновной повести Леканиды Петровны прошло лет пять. В течение этих пяти лет я уезжал из Петербурга и снова в него возвращался, чтобы слушать его неумолчный грохот, смотреть бледные, озабоченные и задавленные лица, дышать смрадом его испарений и хандрить под угнетающим впечатлением его чахоточных белых ночей — Домна Платоновна была все та же. Везде она меня как-то случайно отыскивала, встречалась со мной с дружескими поцелуями и объятиями и всегда неустанно жаловалась на злокозненные происки человеческого рода, избравшего ее, Домну Платоновну, своей любимой жертвой и каким-то вечным игралищем. Много рассказала мне Домна Платоновна в эти пять лет разных историй, где она была всегда попрана, оскорблена и обижена за свои же добродетели и попечения о нуждах человеческих.

Разнообразны, странны и многообильны всякими приключениями бывали эти интересные и бесхитростные рассказы моей добродушной Домны Платоновны. Много я слышал от нее про разные свадьбы, смерти, наследства, воровства-кражи и воровства-мошенничества, про всякий нагольный и крытый разврат, про всякие петербургские мистерии и про вас, про ваши назидательные похождения, мои дорогие землячки Леканиды Петровны, про вас, везущих сюда с вольной Волги, из раздольных степей саратовских, с тихой Оки и из золотой, благословенной Украины свои свежие, здоровые тела, свои задорные, но незлобивые сердца, свои безумно смелые надежды на рок, на случай, на свои ни к чему не годные здесь силы и порывания.

Но возвращаемся к нашей приятельнице Домне Платоновне. Вас, кто бы вы ни были, мой снисходительный читатель, не должно оскорблять, что я назвал Домну Платоновну нашей общей приятельницей. Предполагая в каждом читателе хотя самое малое знакомство с Шекспиром, я прошу его припомнить то гамлетовское выражение, что «если со всяким человеком обращаться по достоинству, то очень немного найдется таких, которые не заслуживали бы порядочной оплеухи». Трудно бывает проникнуть во святая-святых человека!

Итак, мы с Домной Платоновной всё водили хлеб-соль и дружбу; все она навещала меня и вечно, поспешая куда-нибудь по делу, засиживалась по целым часам на одном месте. Я тоже был у Домны Платоновны два или три раза в ее квартире у Знаменья и видел ту каморочку, в которой укрывалась до своего акта отречения Леканида Петровна, видел ту кондитерскую, в которой Домна Петровна брала песочное пирожное, чтобы подкормить ее и утешить; видел, наконец, двух свежепривозных молодых «дамок», которые прибыли искать в Петербурге счастья и попали к Домне Платоновне «на Леканидкино место»; но никогда мне не удавалось выведать у Домны Платоновны, какими путями шла она и дошла до своего нынешнего положения и до своих оригинальных убеждений насчет собственной абсолютной правоты и всеобщего стремления ко всякому обману. Мне очень хотелось знать, чтó такое происходило с Домной Платоновной прежде, чем она зарядила: «Э, ге-ге, нет уж ты, батюшка, со мной, сделай милость, не спорь; я уж это лучше тебя знаю». Хотелось знать, какова была та благословенная купеческая семья на Зуше, в которой (то есть в семье) выросла этакая круглая Домна Платоновна, у которой и молитва, и пост, и собственное целомудрие, которым она хвалилась, и жалость к людям сходились вместе с сватовскою ложью, артистическою наклонностью к устройству коротеньких браков не любви ради, а ради интереса, и т. п. Как это, я думал, все пробралось в одно и то же толстенькое сердце и уживается в нем с таким изумительным согласием, что сейчас одно чувство толкает руку отпустить плачущей Леканиде Петровне десять пощечин, а другое поднимает ноги принести ей песочного пирожного; то же сердце сжимается при сновидении, как мать чистенько водила эту Леканиду Петровну, и оно же спокойно бьется, приглашая какого-то толстого борова поспешить как можно скорее запачкать эту Леканиду Петровну, которой теперь нечем и запереть своего тела!

Я понимал, что Домна Платоновна не преследовала этого дела в виде промысла, а принимала *по-питерски,* как какой-то неотразимый закон, что женщине нельзя выпутаться из беды иначе, как на счет своего собственного падения. Но все-таки, что же ты такое, Домна Платоновна? Кто тебя всему этому вразумил и на этот путь

поставил? Но Домна Платоновна, при всей своей словоохотливости, терпеть не могла касаться своего прошлого.

Наконец неожиданно вышел такой случай, что Домна Платоновна, совершенно ненароком и без всяких с моей стороны подходов, рассказала мне, как она была *проста* и как «они» ее *вышколили* и довели до того, что она *теперь никому на синь-порох не верит*. Не ждите, любезный читатель, в этом рассказе Домны Платоновны ничего цельного. Едва ли он много поможет кому-нибудь выяснить себе процесс умственного развития этой петербургской деятельницы. Я передаю вам дальнейший рассказ Домны Платоновны, чтобы немножко вас позабавить и, может быть, дать вам случай один лишний раз призадуматься над этой тупой, но страшной силой «петербургских обстоятельств», не только создающих и выработывающих Домну Платоновну, но еще предающих в ее руки лезущих в воду, не спрося броду, Леканид, для которых здесь Домна становится тираном, тогда как во всяком другом месте она сама чувствовала бы себя перед каждою из них парией или много что шутихой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Был я в Петербурге болен и жил в то время в Коломне. Квартира у меня, как выразилась Домна Платоновна, «была какая-то особенная». Это были две просторные комнаты в старинном деревянном доме у маленькой деревянной купчихи, которая недавно схоронила своего очень благочестивого супруга и по вдовьему положению занялась ростовщичеством, а свою прежнюю опочивальню, вместе с трехспальною кроватью, и смежную с спальней гостиную комнату, с громадным киотом, перед которым ежедневно маливался ее покойник, пустила внаем.

У меня в так называемом зале были: диван, обитый настоящею русской кожей; стол круглый, обтянутый полинявшим фиолетовым плисом с совершенно бесцветною шелковою бахромою; столовые часы с медным арапом; печка с горельефной фигурой во впадине, в которой настаивалась настойка; длинное зеркало с очень хорошим

стеклом и бронзовою арфою на верхней доске высокой рамы. На стенах висели: масляный портрет покойного императора Александра I; около него, в очень тяжелых золотых рамах за стеклами, помещались литографии, изображавшие четыре сцены из жизни королевы Женевьевы; император Наполеон по инфантерии и император Наполеон по кавалерии; какая-то горная вершина; собака, плавающая на своей конуре, и портрет купца с медалью на анненской ленте. В дальнем угле стоял высокий, трехъярусный образник с тремя большими иконами с темными ликами, строго смотревшими из своих блестящих золоченых окладов; перед образником лампада, всегда тщательно зажигаемая моею набожной хозяйкой, а внизу под образами шкафик с полукруглыми дверцами и бронзовым кантом наместе створа. Все это как будто не в Петербурге, а будто на Замоскворечье или даже в самом городе Мценске. Спальня моя была еще более мценская; даже мне казалось, что та трехспальная постель, в пуховиках которой я утопал, была не постель, а именно сам Мценск, проживающий инкогнито в Петербурге. Стоило только мне погрузиться в эти пуховые волны, как какое-то снотворное, маковое покрывало тотчас надвигалось на мои глаза и застилало от них весь Петербург с его веселящейся скукой и скучающей веселостью. Здесь, при этой-то успокоивающей мценской обстановке, мне снова довелось всласть побеседовать с Домной Платоновной.

Я простудился, и врач велел мне полежать в постели.

Раз, так часу в двенадцатом серенького мартовского дня, лежу я уже выздоравливающий и, начитавшись досыта, думаю: «Не худо, если бы кто-нибудь и зашел», да не успел я так подумать, как словно с этого моего желания сталось — дверь в мою залу скрипнула, и послышался веселый голос Домны Платоновны:

— Вот как это у тебя здесь прекрасно! и образа и сияние перед божьим благословением — очень-очень даже прекрасно.

— Матушка, — говорю, — Домна Платоновна, вы ли это?

— Да некому, — отвечает, — друг мой, и быть, как не мне.

Поздоровались.

— Садитесь! — прошу Домну Платоновну.

Она села на креслице против моей постели и ручки свои с белым платочком на коленочки положила.

— Чем так хвораешь? — спрашивает.

— Простудился, — говорю.

— А то нынче очень много народу всё на животы жалуются.

— Нет, я, — говорю, — я на живот не жалуюсь.

— Ну, а на живот не жалуешься, так это пройдет. Квартира у тебя нынче очень хороша.

— Ничего, — говорю, — Домна Платоновна.

— Отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петровну, давно знаю. Прекрасная женщина. Она прежде была испорчена и на голоса крикивала, да, верно, ей это прошло.

— Не знаю, — говорю, — что-то будто не слышно, не кричит.

— А у меня-то, друг мой, какое горе! — проговорила Домна Платоновна своим жалостным голосом.

— Что такое, Домна Платоновна?

— Ах, такое, дружочек, горе, такое горе, что... ужасное, можно сказать, и горе и несчастье, все вместе. Видишь, вон в чем я нынче товар-то ношу.

Посмотрел я, перегнувшись с кровати, и вижу на столике кружева Домны Платоновны, увязанные в черном шелковом платочке с белыми каемочками.

— В трауре, — говорю.

— Ах, милый, в трауре, да в каком еще трауре-то!

— Ну, а саквояж ваш где же?

— Да вот о нем-то, о саквояже-то, я и горюю. Пропал ведь он, мой саквояж.

— Как, — говорю, — пропал?

— А так, друг мой, пропал, что и по се два дни, как вспомню, так, господи, думаю, неужели ж таки такая я грешница, что ты этак меня испытуешь? Видишь, как удивительно это все случилось: видела я сон; вижу, будто приходит ко мне какой-то священник и приносит каравай, вот как, знаешь, в наших местах из каши из пшенной пекут. «На́, говорит, тебе, раба, каравай». — «Батюшка, — говорю, — на что же мне и к чему каравай?» Так вот видишь, к чему он, этот каравай-то, вышел — к пропаже.

— Как же это, — спрашиваю, — Домна Платоновна, было?

— Было это, друг мой, очень удивительно. Ты знаешь купчиху Кошеверову?

— Нет, — говорю, — не знаю.

— А не знаешь, и не надо. Мы с ней приятельницы, и то есть даже не совсем и приятельницы, потому что она женщина преехидная и довольно даже подлая, ну, а так себе, знаешь, вот вроде как с тобой, знакомы. Зашла я к ней так-то на свое несчастье вечером, да и засиделась. Все она, чтоб ей пусто было совсем, право, посиди да посиди, Домна Платоновна. Все ведь с жиру-то чем убивалась? что муж ее не ревнует, а чего ревновать, когда с рожи она престрашная и язык у нее такой пребольшущий, как у попугая. Рассказывает, болели у нее зубы, да лекарь велел ей поставить піявицу врачебную к зубу, а фершалов мальчик ей эту пиявицу к языку припустил, и пошел у нее с тех пор в языке опух. Опять же таки у меня в этот вечер и дело было: к Пяти Углам надо было в один дом сбегать к купцу — жениться тоже хочет; но она, эта Кошевериха, не пущает.

«Погоди, — говорит,— киевской наливочки выпьем, да Фадей Семенович, — говорит, — от всенощной придет, чайку напьемся: куда тебе спешить?»

«Как, — говорю, — мать, куда спешить?»

Ну, а сама все-таки, как на грех, осталась, да это то водочки, то наливочки, так налилась, что даже в голове у меня, чувствую, засточертело.

«Ну, — говорю ей, — извини, Варвара Петровна, очень тебе на твоем угощении благодарна, только уж больше пить не могу».

Она пристает, потчует, а я говорю:

«Лучше, мать моя, и не потчуй. Я свою плипорцию знаю и ни за что больше пить не стану».

«Сожителя, — говорит, — подожди».

«И сожителя, — говорю, — ждать не буду».

Стала на своем, что иду и иду, и только. Потому, знаешь, чувствую, что в голове-то уж у меня чертополох пошел. Выхожу это я, сударь ты мой, за ворота, поворачиваю на Разъезжую и думаю: возьму извозчика. Стоит тут сейчас на угле живейный, я и говорю:

«Что, молодец, возьмешь к Знаменью божей матери?»

«Пятиалтынный».

«Ну, как, — отвечаю ему, — не пятиалтынный! пятачок».

А сама, знаешь, и иду по Разъезжей. Светло везде; фонари горят; газ в магазинах; и пешком, думаю, дойду, если не хочешь, варвар, пятачка взять, этакую близость проехать.

Только вдруг, сударь мой, порх этак передо мною какой-то господин. В пальте, в фуражке это, в калошах, ну одно слово — барин. И откуда это только он передо мною вырос, вот хоть убей ты меня, никак не понимаю.

«Скажите, — говорит, — сударыня (еще сударыней, подлец, назвал), скажите,— говорит,— сударыня, где тут Владимирская улица?»

«А вот, — говорю, — милостивый государь, как прямо-то пойдете, да сейчас будет переулок направо...» — да только это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему указываю, а он дерг меня за саквояж.

«Наше, — говорит, — вам сорок одно да кланяться холодно́», — да и мах от меня.

«Ах, — говорю, — ты варвар! ах, мерзавец ты этакой!» Все это еще за одну надсмешку только считаю. Но с этим словом глядь, а саквояжа-то моего нет.

«Батюшки! — заорала я что было у меня силы, во всю мою глотку. — Батюшки! — ору, — помогите! догоните его, варвара! догоните его, злодея!» И сама-то, знаешь, бегу-натыкаюсь, и людей-то за руки ловлю, тащу: помогите, мол, защитите: саквояж мой сейчас унес какой-то варвар! Бегу, бегу, ажно ноженьки мои стали, а его, злодея, и след простыл. Ну, и то сказать, где ж мне, дыне этакой, его, пса подчегарого, догнать! Обернусь так-то на народ, крикну: «Варвары! что ж вы глазеете! креста на вас нет, что ли?» Ну, бегла, бегла, да и стала. Стала и реву. Так ревма и реву, как дура. Сижу на тунбе, да и реву. Собрался около меня народ, толкует: «Пьяная, должно быть».

«Ах вы, варвары, — говорю, — этакие! Сами вы пьяные, а у меня саквояж сейчас из рук украдено».

Тут городовой подошел. «Пойдем, — говорит, — тетка, в квартал».

Приводит меня городовой в квартал, я опять закричала.

Смотрю, из двери идет квартальный поручик и говорит:

«Что ты здесь, женщина, этак шумишь?»

«Помилуйте, — говорю, — ваше высокоблагородие, меня так и так сейчас обкрадено».

«Написать, — говорит, — бумагу».

Написали.

«Теперь иди, — говорит, — с богом».

Я пошла.

Прихожу через день: «Что, — говорю, — мой саквояж, ваше благородие?»

«Иди, — говорит, — бумаги твои пошли, ожидай».

Ожидаю я, ожидаю; вдруг в часть меня требуют. Привели в этакую большую комнату, и множество там лежит этих саквояжев. Частный майор, вежливый этакой мужчина и собою красив, узнайте, говорит, ваш саквояж.

Посмотрела я — всё не мои саквояжи.

«Нет-с,— говорю,— ваше высокоблагородие, нет здесь моего саквояжа».

«Выдайте, — приказывает, — ей бумагу».

«А в чем, — спрашиваю, — ваше высокоблагородие, мне будет бумага?»

«В том, — говорит, — матушка, что вас обкрадено».

«Что ж, — докладываю ему, — мне по этой бумаге, ваше высокоблагородие?»

«А что ж, матушка, я вам еще могу сделать?»

Дали мне эту бумагу, что меня точно обкрадено, и идите, говорят, в благочинную управу. Прихожу я нонче в благочинную управу, подаю эту бумагу; сейчас выходит из дверей какой-то член, в полковницком одеянии, повел меня в комнату, где видимо-невидимо лежит этих саквояжев.

«Смотрите», — говорит.

«Вижу, мол, ваше высокоблагородие; ну только моего саквояжа нет».

«Ну, погодите, — говорит, — сейчас вам генерал на бумаге подпишет».

Сижу я и жду-жду, жду-жду; приезжает генерал: подали ему мою бумагу, он и подписал.

«Что ж это такое генерал подписали на моей бумаге?» — спрашиваю чиновника.

«А подписали, — отвечает, — что вас обкрадено». Держу эту бумагу при себе.

— Держите, — говорю, — Домна Платоновна.

— Неравно сыщется.

— Что ж, на грех мастера нет.

— Ох, именно уж нет на грех мастера! Что б это мне, кабы знатье-то, остаться у нее, у Кошеверихи-то, переночевать.

— Да хоть бы, — говорю, — уж на извозчика-то вы не пожалели.

— Об извозчике ты не говори; извозчик все равно такой же плут. Одна ведь у них у всех, у подлецов, стачка.

— Ну где, — говорю, — так уж у всех одна стачка! Разве их мало, что ли?

— Да вот ты поспорь! Я уж это мошенничество вот как знаю.

Домна Платоновна поднесла вверх крепко сжатый кулак и посмотрела на него с некоторой гордостью.

— Со мной извозчик-то, когда я еще глупа была, лучше гораздо сделал, — начала она, опуская руку. — С вывалом, подлец, вез, да и обобрал.

— Как это, — говорю, — с вывалом?

— А так, с вывалом, да и полно: ездила я зимой на Петербургскую сторону, барыне одной мантиль кружевную в кадетский корпус возила. Такая была барынька маленькая и из себя нежная, ну, а станет торговаться — раскричится, настоящая примадона. Выхожу я от нее, от этой барыньки, а уж темнеет. Зимой рано, знаешь, темнеет. Спешу это, спешу, чтоб до пришпекта скорей, а из-за угла извозчик, и этакой будто вохловатый мужичок. Я, говорит, дешево свезу.

«Пятиалтынный, мол, к Знаменью», — даю ему.

— Ну, как же это, — перебиваю, — разве можно давать так дешево, Домна Платоновна!

— Ну вот, а видишь, можно было. «Ближней дорогой, — говорит, — поедем». Все равно! Села я в сани — саквояжа тогда у меня еще не было: в платочке тоже все носила. Он меня, этот черт извозчик, и повез ближней дорогой, где-то по-за крепостью, да на Неву, да все по льду, да по льду, да вдруг как перед этим, перед берегом, насупроти самой Литейной, каа-ак меня чебурахнет в ухаб. Так меня, знаешь, будто снизу-то кто под самое под донышко-то чук! — я и вылетела... Вылетела я в одну сторону, а узелок и бог его знает куда отлетел. Подымаюсь я, вся чуня-чуней, потому вода по колдобинам стояла.

«Варвар! — кричу на него, — что ты это, варвар, со мной сделал?» А он отвечает: «Ведь это, — говорит, — здесь ближняя дорога, здесь без вывала невозможно». — «Как, — говорю, — тиран ты этакой, невозможно? Разве так, — говорю, — возят?» А он, подлец, опять свое говорит: «Здесь, купчиха, завсегда с вывалом; я потому, — говорит, — пятиалтынный и взял, чтобы этой ближней дорогой ехать». Ну, говори ты с ним, с извергом! Обтираюсь я только да оглядываюсь; где мой узелочек-то оглядываюсь, потому как раскинуло нас совсем врозь друг от друга. Вдруг откуда ни возьмись этакой офицер, или вроде как штатский какой с усами: «Ах ты, бездельник этакой! — говорит, — мерзавец! везешь ты этакую даму полную и этак неосторожно?» а сам к нему к зубам так и подсыкается.

«Садитесь, — говорит, — сударыня, садитесь, я вас застегну».

«Узелок, — говорю, — милостивый государь, я обронила, как он, изверг, встряхнул-то меня».

«Вот, — говорит, — вам ваш узелок», — и подает.

«Ступай, подлец, — крикнул на извозчика, — да смотрри! А вы, — говорит, — сударыня, ежели он опять вас вывалит, так вы его без всяких околичностей в морду».

«Где, — отвечаю, — нам, женчинам, с ними, с мереньями, справиться».

Поехали.

Только, знаешь, на Гагаринскую взъехали — гляжу, мой извозчик чего-то пересмеивается.

«Чего, мол, умный молодец, еще зубы скалишь?»

«Да так, — говорит, — намеднясь я тут дешево жида вез, да как вспомню это, и не удержусь».

«Чего ж, — говорю, — смеяться?»

«Да как же, — говорит, — не смеяться, когда он мордою-то прямо в лужу, да как вскочит, да кричит *юх,* а сам все вертится».

«Чего же, — спрашиваю, — это он так юхал?»

«А уж так, — говорит, — видно, это у них по религии».

Ну, тут и я начала смеяться.

Как вздумаю этого жида, так и не могу воздержаться, как он бегает да кричит это *юх, юх.*

«Пустая же самая, — говорю, — после этого их и религия».

Приехали мы к дому к нашему, встаю я и говорю: «Хоша бы стоило тебя, — говорю, — изверга, наказать и хоть пятачок с тебя вычесть, ну, только греха одного боясь: на́ тебе твой пятиалтынный».

«Помилуйте, — говорит, — сударыня, я тут ничем непричинен: этой ближней дорогой никак без вывала невозможно; а вам, — говорит, — матушка, ничего: с того растете».

«Ах, бездельник ты,— говорю, — бездельник! Жаль,— говорю, — что давешний барин мало тебе в шею-то наклал».

А он отвечает: «Смотри, — говорит, — ваше степенство, не оброни того, что́ он тебе-то наклал», — да с этим *нно!* на лошаденку и поехал.

Пришла я домой, поставила самоварчик и к узелку: думаю, не подмок ли товар; а в узелке-то, как глянула, так и обмерла. Обмерла, я тебе говорю, совсем обмерла. Хочу взвесть голос, и никак не взведу; хочу идти, и ножки мои гнутся.

— Да что ж там такое было, Домна Платоновна?

— Что — стыдно сказать что: гадости одни были.

— Какие гадости?

— Ну известно, какие бывают гадости: шароварки скинутые — вот что было.

— Да как же, — говорю, — это так вышло?

— А вот и рассуждай ты теперь, как вышло. Меня попервоначалу это-то больше и испугало, что как он на Неве скинуть мог их да в узелок завязать. Вижу и себе не верю. Прибежала я в квартал, кричу: батюшки, не мой узел.

«Знаем, — говорят, — что *немой;* рассказывай толком».

Рассказала.

Повели меня в сыскную полицию. Там опять рассказала. Сыскной рассмеялся.

«Это, верно, — говорит, — он, подлец, из бани шел».

А враг его знает, откуда он шел, только как это он мне этот узелок подсунул?

— В темноте, — говорю, — немудрено, Домна Платоновна.

— Нет, я к тому, что ты говоришь извозчик-то: не оброни, говорит, что́ накладено! Вот тебе и накладено, и разумей, значит, к чему эти его слова-то были.

— Вам бы, — говорю, — надо тогда же, садясь в сани, на узелок посмотреть.

— Да как, мой друг, хочешь смотри, а уж как обмошенничать тебя, так все равно обмошенничают.

— Ну, это, — говорю, — уж вы того...

— Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты сделай свое одолжение: в глазах тебя самого не тем, чем ты есть, сделают. Я тебе вот какой случай скажу, как в глаза-то нашего брата обделывают. Иду я — вскоре это еще как из своего места сюда приехала, — и надо мне было идти через Апраксин. Тогда там теснота была, не то что теперь, после пожару — теперь прелесть как хорошо, а тогда была ужасная гадость. Ну, иду я, иду себе. Вдруг откуда ни возьмись молодец этакой, из себя красивый: «Купи, говорит, тетенька, рубашку». Смотрю, держит в руках ситцевую рубашку, совсем новую, и ситец преотличный такой — никак не меньше как гривен шесть за аршин надо дать.

«Что ж, — спрашиваю, — за нее хочешь?»

«Два с полтиной».

«А что, — говорю, — из половинки уступишь?»

«Из какой половины?»

«А из любой, — говорю, — из какой хочешь». Потому что я знаю, что в торговле за всякую вещь всегда половину надо давать.

«Нет, — отвечает, — тетка, тебе, видно, не покупать хороших вещей», — и из рук рубашку, знаешь, дергает.

«Дай же», — говорю потому вижу, рубашка отличная, целковых три кому не надо стоит.

«Бери, — говорю, — рупь».

«Пусти, — говорит, — мадам!» — дернул и, вижу, свертывает ее под полу и оглядывается. Известное дело, думаю, краденая; подумала так и иду, а он вдруг из-за линии выскакивает: «Давай, — говорит, — тетка, скорей деньги. Бог с тобой совсем: твое, видно, счастье владеть».

Я ему это в руки рупь-бумажку даю, а он мне самую эту рубаху скомканную отдает.

«Владай, — говорит, — тетенька», а сам верть назад и пошел.

Я положила в карман портмоне, да покупку-то эту свою разворачиваю, аж гляжу — хлоп у меня к ногам что-то упало. Гляжу — мочалка старая, вот что в небели бывает. Я тогда еще этих петербургских обстоятельств

всех не знала, дивуюсь: что, мол, это такое? да на руки-то свои глядь, а у меня в руках лоскут! Того же самого ситца, что́ рубашка была, так лоскуток один с пол-аршина. А эти мереньё приказчики грохочут: «К нам, — трещат, — тетенька, пожалуйте; у нас, — говорят, — есть и фас-канифас и для глупых баб припас». А другой опять подходит: «У нас, — говорит, — тетенька, для вашей милости саван есть подержанный чудесный». Я уж это все мимо ушей пущаю: шут, думаю, с вами совсем. Даже, я тебе говорю, сомлела я; страх на меня напал, что́ это за лоскут такой? Была рубашка, а стал лоскут. Нет, друг мой, они как захотят, так всё сделают. Ты Егупова полковника знаешь?

— Нет, не знаю.

— Ну как, чай, не знать! Красивый такой, брюхастый: отличный мужчина. Девять лошадей под ним на войне убили, а он жив остался: в газетах писано было об этом.

— Я его все-таки, Домна Платоновна, не знаю.

— Что нам с ним один варвар сделал? Это, я тебе говорю, роман, да еще и романов-то таких немного — на театре разве только можно представить.

— Матушка, — говорю, — вы уж не мучьте, рассказывайте!

— Да, эту историю уж точно что стоит рассказать. Как он только называется?.. есть тут землемер... Кумовеев ни то Макавеев, в седьмой роте в Измайловском он жил.

— Бог с ним.

— Бог с ним? Нет, не бог с ним, а разве черт с ним, так это ему больше кстати.

— Да это я только о фамилии-то.

— Да, о фамилии — ну, это пожалуй; фамилия ничего — фамилия простая, а что сам уж подлец, так самый первый в столице подлец. Пристал: «Жени меня, Домна Платоновна!»

«Изволь, — говорю, — женю; отчего, — говорю, — не женить? — женю».

Из себя он тварь этакая видная, в лице белый и усики этак твердо носит.

Ну, начинаю я его сватать; отягощаюсь, хожу, выискала ему невесту из купечества — дом свой на Песках, и девушка порядочная, полная, румяная; в носике вот тут-

то в самой в переносице хоть и был маленький изъянец, но ничего это — потому от золотухи это было. Хожу я, и его, подлеца, с собою вожу, и совсем уж у нас дело стало на мази. Тут уж я, разумеется, надзираю за ним как не надо лучше, потому что это надо делать безотходительно, да уж и был такой и слух, что он с одной девицей из купечества обручившись и деньги двести серебра на окипировку себе забрал, а им дал женитьбенную расписку, но расписка эта оказалась коварная, и ничего с ним по ней сделать не могли. Ну, уж знавши такое про человека, разумеется, смотришь в оба — нет-нет, да и завернешь с визитом. Только прихожу, сударь мой, раз один к нему — а он, надо тебе знать, две комнаты занимал: в одной так у него спальния его была, а в другой вроде зальца. Вхожу это и вижу, дверь из зальцы в спальню к нему затворена, а какой-то этакой господин под окном, надо полагать вояжный; потому ледунка у него через плечо была, и сидит в кресле и трубку курит. Это-то вот он самый полковник-то Егупов и будет.

«Что, — я говорю, этак сама-то к нему оборачиваюсь, — или, — говорю, — хозяина дома нет?»

А он мне на это таково сурово махнул головой и ничего не ответил, так что я не узнала: дома землемер или его нету.

Ну, думаю, может, у него там дамка какая, потому что хоть он и жениться собирается, ну а все же. Села я себе и сижу. Но нехорошо же, знаешь, так в молчанку сидеть, чтоб подумали, что ты уж и слова сказать не умеешь.

«Погода, — говорю, — стоит нынче какая преотличная».

Он это сейчас же на мои слова вскинул на меня глазами, да, как словно из бочки, как рявкнет: «Что, — говорит, — такое?»

«Погода, — опять говорю, — стоит очень приятная».

«Врешь, — говорит, — пыль большая».

Пыль-таки и точно была, ну, а все я, знаешь, тут же подумала, что́ ты, мол, это такой? Из каких таких взялся, что очень уж рычишь сердито?

«Вы, — говорю ему опять, — как Степану Матвеевичу — сродственник будете или приятели только, знакомые?»

«Приятель», — отвечает.

«Отличный, — говорю, — человек Степан Матвеевич».

«Мошенник, — говорит, — первой руки».

Ну, думаю, верно Степана Матвеевича дома нет.

«Вы, — говорю, — давно их изволите знать?»

«Да знал, — говорит, — еще когда баба девкой была».

«Это, — отвечаю, — сударь, и с тех пор, как я их зазнала, может, не одна уж девка бабой ходит, ну только я не хочу греха на душу брать — ничего за ними худого не замечала».

А он ко мне этак гордо:

«Да у тебя на чердаке-то что́,— говорит, — напхано?— сено!»

«Извините, — говорю, — милостивый государь, у меня, слава моему создателю, пока еще на плечах не чердак, а голова, и не сено в ней, а то же самое, что и у всякого человека, что́ богом туда приназначено».

«Толкуй!» — говорит.

«Мужик ты, — думаю себе, — мужиком тебе и быть».

А он в это время вдруг меня и спрашивает:

«Ты, — говорит, — его брата Максима Матвеева знаешь?»

«Не знаю, — говорю, — сударь: кого не знаю, про того и лгать не хочу, что знаю».

«Этот, — говорит, — плут, а тот и еще почище. Глухой».

«Как, — говорю, — глухой?»

«А совсем-таки, — говорит, — глухой: одно ухо глухо, а в другом золотуха, и обоими не слышит».

«Скажите, — говорю, — как удивительно!»

«Ничего, — говорит, — тут нет удивительного».

«Нет, я, мол, только к тому, что один брат такой красавец, а другой — глух».

«Ну да; то-то совсем ничего в этом и нет удивительного; вон у меня у сестры на роже красное пятно, как лягушка точно сидит: что ж мне-то тут такого!»

«Родительница, — говорю, — верно, в своем интересе чем испугалась?»

«Самовар, — говорит, — ей девка на пузо вывернула».

Ну, я тут-то вежливо пожалела.

«Долго ли, — говорю, — с этими, с быстроглазыми, до греха», — а он опять и начинает:

«Ты, — говорит, — если только не совсем ты дура, так разбери: он, этот глухой брат-то его, на лошадей охотник меняться».

«Так-с», — говорю.

«Ну, а я его вздумал от этого отучить, взял да ему слепого коня и променял, что лбом в забор лезет».

«Так-с», — говорю.

«А теперь мне у него для завода бычок понадобился, я у него этого бычка и купил и деньги отдал; а он, выходит, совсем не бык, а вол».

«Ах, — говорю,— боже мой, какая оказия! Ведь это,— говорю, — не годится».

«Уж разумеется, — говорит, — когда вол, так не годится. А вот я ему, глухому, за это вот какую шутку отшучу: у меня на этого его брата, Степана Матвеича, расписка во сто рублей есть, а у них денег нет; ну, так я им себя теперь и покажу».

«Это, — говорю, — точно, что можете показать».

«Так ты, — говорит, — так и знай, что этот Максим Матвеич — каналья, и я вот его только дождусь и сейчас его в яму».

«Я, мол, их точно в тонкость не знаю, а что сватаючи их, сама я их порочить не должна».

«Сватаешь!» — вскрикнул.

«Сватаю-с».

«Ах ты, — говорит, — дура ты, дура! Нешто ты не знаешь, что он женатый?»

«Не может, — говорю, — быть!»

«Вот тебе и не может, когда трое детей есть».

«Ах, скажите, — говорю, — пожалуйста!» «Ну, Степан, — думаю, — Матвеич, отличную ж вы было со мной штуку подшутили!» — и говорю, что стало быть же, говорю, как я его теперь замечаю, он, однако, фортель!

А он, этот полковник Егупов, говорит: «Ты если хочешь кого сватать, так самое лучшее дело — меня сосватай».

«Извольте, мол».

«Нет, я, — говорит, — это тебе без всяких шуток вправду говорю».

«Да извольте, — отвечаю, — извольте!»

«Ты мне, кажется, не веришь?»

«Нет-с, отчего же: это, мол, действительно, если

человек имеет расположение от рассеянной жизни увольниться, то самое первое дело ему жениться на хорошей девушке».

«Или, — говорит, — хоть на вдове, но чтоб только с деньгами».

«Да, мол, или на вдове».

Пошли у нас тут с ним разговоры; дал он мне свой адрес, и стала я к нему ходить. Что только тоже я с ним, с аспидом, помучилась! Из себя страшный-большой и этакой фантастический — никогда он не бывает в одном положении, а всякого принимает по фантазии. Есть, разумеется, у людей разное расположение, ну только такого мужчину, как этот Егупов, не дай господи никакой жене на свете. Станет, бывало, бельма выпучит, а сам, как клоп, кровью нальется — орет: «Я тебя кверху дном поставлю и выворочу. Сейчас наизнанку будешь!» Глядя на это, как он беснуется, думаешь: «ах, обиду какую кровную ему кто нанес!» — а он сердит оттого, что не тем боком корова почесалась. Ну, однако, сосватала я и его на одной вдове на купеческой. Такая-то, тоже ему под пару, точно на заказ была спечена, туша приснобдаженная. Ну-с, сударь ты мой, отбылись смотрины, и сговор назначили.

Приезжаем мы с ним на этот сговор, много гостей — родственники с невестиной стороны и знакомые, всё хорошего поколения, значительного, и смотрю, промеж гостей, в одном угле на стуле сидит — этот землемер Степан Матвеич.

Очень это мне не показалось, что он тут, но ничего я не сказала.

Верно, думаю, должно быть его из ямы выпустили, он и пришел по знакомству.

Ну, впрочем, идет все как следует. Прошла помолвка, прошло образование, и все ничего. Правда, дядя невестин, Колобов Семен Иваныч, купец, пьяный пришел и начал было врать, что это, говорит, совсем не полковник, а Федоровой банщицы сын. «Лизни, — говорит, — его кто-нибудь языком в ухо, у него такая привычка, что он сейчас за это драться станет. Я, — болтает, — его знаю; это он одел эполеты, чтоб пофорсить, но я с него эти эполеты сейчас сорву», ну, только этого же не допустили, и Семена Иваныча самого за это сейчас отвели в пустую половину, в холодную.

Но вдруг, во время самого благословения, отец невестин поднимает образ, а по зале как что-то загудет! Тот опять поднимает икону, а по зале опять гу-у-у-у!— и вдруг явственно выговаривает:

«Нечего, — говорит, — петь Исаю, когда Мануил в чреве».

Господи! даже оторопь на всех напал. Невесте конфуз; Егупов, гляжу, тоже бельмами-то своими на меня.

Ну что, думаю, ты-то! ты-то что, батюшка, на меня остребенился, как черт на попа?

А в зале опять как застонет:

«К небесам в поле пыль летит, к женатому жениху — жена катит, богу молится, слезьми обливается».

Бросились туда-сюда — никого нет.

Боже мой, что тут поднялось! Невестин отец образ поставил да ко мне, чтоб бить; а я, видючи, что дело до меня доходит, хвост повыше подобрамши, да от него драла. Егупов божится, что он сроду женат не был: говорит, хоть справки наведите, а глас все свое, так для всех даже внимательно: «Не вдавайте, — говорит, — рабы, отроковицу на брак скверный». Все дело в расстрой! — Что ж, ты думаешь, все это было?.. Приходит ко мне после этого через неделю Егупов сам и говорит: «А знаешь, — говорит, — Домна, ведь это все подлец землемер пупком говорил!»

— Ну, как так, — спрашиваю, — Домна Платоновна, пупком?

— А пупком, или чревом там, что ли, бес его лукавый знает, чем он это каверзил. То есть я тебе говорю, что все это они нонче один перед другим ухитряются, один перед другим выдумывают, и вот ты увидишь, что они чисто все государство запутают и изнищут.

Я даже смутился при выражении Домною Платоновною совершенно неожиданных мною опасений за судьбы российского государства. Домна Платоновна, всеконечно, заметила это и пожелала полюбоваться производимым ею политическим эффектом.

— Да, право, ей-богу! — продолжала она ноткою выше. — Ты только сам, помилуй, скажи, что́ хитростев всяких настало? Тот летит по воздуху, что́ птице одной назначено; тот рыбою плавлет и на дно морское опускается; тот теперь — как на Адмиралтейской площади — огонь серный ест; этот животом говорит; другой — еще что

другое, что́ человеку непоказанное — делает... Господи! бес, лукавый сам, и тот уж им повинуется, и все опять же таки не к пользе, а ко вреду. Со мной ведь один раз было же, что была я отдана бесам на поругание!

— Матушка, — говорю, — неужто и это было?

— Было.

— Так не томите, рассказывайте.

— Давно это, лет, может быть, двенадцать тому будет, молода я еще в те поры была и неопытна, и задумала я, овдовевши, торговать. Ну, чем, думаю, торговать? — Лучше нечем, по женскому делу, как холстом, потому — женщина больше в этом понимает, что́ к чему принадлежит. Накуплю, думаю, на ярманке холста и сяду у ворот на скамеечке и буду продавать. Поехала я на ярманку, накупила холста, и надо мне домой ворочаться. Как, думаю, теперь мне с холстом домой ворочаться? А на двор на постоялый, хлоп, взъезжает троешник.

«Везли мы, — сказывает, — из Киева, в коренную, на семи тройках орех, да только орех мы этот подмочили, и теперь, — говорит, — сделало с нас купечество вычет, и едем мы к дворам совсем без заработка».

«Где ж, — спрашиваю, — твои товарищи?»

«А товарищи, — отвечает, — кто куда в свои места поехали, а я думаю, не найду ли хоть седочков каких».

«Откуда же, — пытаюсь, — из каких местов ты сам?»

«А я куракинский, — говорит, — из села из Куракина».

Как раз это мне к своему месту. «Вот, — говорю, — я тебе одна седачка готовая».

Поговорили мы с ним и на рубле серебра порешили, что пойдет он по дворам, чтоб еще седоков собрать, а завтра чтоб в ранний обед и ехать.

Смотрю, завтра это вдруг валит к нам на двор один человек, другой, пятый, восьмой, и всё мужчины из торговцев, и красики такие полные. Вижу, у одного мешок, у другого — сумка, у третьего — чемодан, да еще ружье у одного.

«Куда ж, — говорю извозчику, — ты это нас всех запихаешь?»

«Ничего, — говорит, — улезете — повозка большая, сто пудов возим». Я, признаться, было хоть и остаться рада, да рупь-то ему отдан, и ехать опять не с кем.

С горем с таким и с неудовольствием, ну, однако, поехала. Только что за заставу мы выехали, сейчас один

из этих седоков говорит: «Стой у кабака!» Пили они тут много и извозчика поят. Поехали. Опять с версту отъехали, гляжу — другой кричит: «Стой, — говорит, — здесь Иван Иваныч Елкин живет, никак, — говорит, — его минать не должно».

Раз они с десять этак останавливались всё у своего Ивана Иваныча Елкина.

Вижу я, что дело этак уж к ночи и что извозчик наш распьяным-пьяно-пьян сделался.

«Ты, — говорю, — не смей больше пить».

«Отчего это так, — отвечает, — не смей? Я и так, — говорит, — не смелый, я все это не смеючи действоваю».

«Мужик, — говорю, — ты, и больше ничего».

«Ну-к что ж, что мужик! а мне, — говорит, — абы водка».

«Тварь-то, глупец, — учу его, — пожалел бы свою!»

«А вот я, — говорит, — ее жалею», — да с этим словом мах своим кнутовищем и пошел задувать. Телега-то так и подскакивает. Того только и смотрю, что сейчас опрокинемся, и жизни нашей конец. А те пьяные все заливаются. Один гармонию вынул, другой песню орет, третий из ружья стреляет. Я только молюсь: «Пятница Просковея, спаси и помилуй!»

Неслись мы, неслись во весь кульер, и стали кони наши, наконец, приставать, и поехали мы опять шагом. На дворе уж этак смерклось, и не то чтобы, как сказать, дождь ишел, а все будто туман брызгает. Руки у меня просто страсть как набрякли державшись, и уж я радарадешенька, что, наконец, мы едем тихо; сижу уж и голосу не подаю. А у тех тем часом, слышу, разговор пошел: один сказывает, что разбойники тут по дороге шляются, а другой отвечает ему, что он разбойников не боится, потому что у него ружье два раза стрелять может. Опять еще какой-то о мертвецах заговорил: я, рассказывает, мертвую кость имею, кого, говорит, этою костью обведу, тот сейчас мертвым сном заснет и не подымется; а другой хвастается, что у него есть свеча из мертвого сала. Я это все слушала, и вдруг все словно кто меня стал за нос водить, и ударил на меня сон, и в одну минуту я заснула.

Только крепко я заснуть никак не могла, потому что все нас, словно орехи в решете, протряхивало, и во сне мне слышится, как будто кто-то говорит: «Как бы, — гово-

рит, — нам эту чертову бабу от себя вон выкинуть, а то ног некуда протянуть». Но я все сплю.

Вдруг, сударь ты мой, слышу крик, визг, гам. Что такое? Гляжу — ночь, повозка наша стоит, и около нее всё вертятся, да кричат, а что́ кричат — не разобрать.

«Шурле-мурле, шире-мире-кравермир», — орет один.

Наш это, что с ружьем-то ехал, бац из одного ружья — пистолет лопнул, а стрельбы нет, бац из другого — пистолет опять лопнул, а стрельбы нет.

Вдруг этот, что кричал-то, опять как заорет: шире-мире-кравермир! да с этим словом хап меня под руки-то из телеги да на поле, да ну вертеть, ну крутить. Боже мой, думаю, что ж это такое! Гляну, гляну вокруг себя — всё рожи такие темные, да всё вертятся и меня крутят да кричат: шире-мире! да за ноги меня, да ну раскачивать.

«Батюшка! — взмолилась я, такое над собой в первый раз видючи, — Никола божий амченский! триех дев непорочный невестителю! чистоты усердной хранителю! не допусти же ты им хоть наготу-то мою недостойную видеть!»

Только что я это в сердце своем проговорила, и вдруг чувствую, что тишина вокруг меня стала необъятная, и лежу будто я в поле, в зелени такой изумрудной, и передо мною перед ногами моими плывет небольшое этакое озерцо, но пречистое, препрозрачное, и вокруг него, словно бахрома густая, стоит молодой тростник и таково тихо шатается.

Забыла я тут и про молитву, и все смотрю на этот тростник, словно сроду я его не видала.

Вдруг вижу я что же? Вижу, что с этого с озера поднимается туман, такой сизый, легкий туман, и, точно настоящая пелена, так по полю и расстилается. А тут под туманом на самой на середине озера вдруг кружочек этакой, как будто рыбка плеснулась, и выходит из этого кружочка человек, так маленький, росту не больше как с петуха будет; личико крошечное; в синеньком кафтанчике, а на головке зеленый картузик держит.

«Удивительный, — думаю, — какой человек, будто как куколка хорошая», и все на него смотрю, и глаз с него не спускаю, и совсем его даже не боюсь, вот таки ни капли не боюсь.

Только он, смотрю, начинает всходить-всходить, и все ко мне ближе, ближе и, на конец того дела, прыг прямо

ко мне на грудь. Не на самую, знаешь, на грудь, а над грудью стоит на воздухе и кланяется. Таково преважно поднял свой картузик и здравствуется.

Смех меня на него разбирает ужасный: «Где ты, — думаю, — такой смешной взялся?»

А он в это время хлоп свой картузик опять и говорит... да ведь что же говорит-то!

«Давай, — говорит,— Домочка, сотворим с тобой любовь!»

Так меня смех и разорвал.

«Ах ты, —говорю, — шиш ты этакой! Ну, какую ты можешь иметь любовь?»

А он вдруг задом ко мне верть и запел молодым кочетком: кука-реку-ку-ку!

Вдруг тут зазвенело, вдруг застучало, вдруг заиграло: стон, я тебе говорю, стоит. Боже мой, думаю, что ж это такое? Лягушки, карпии, лещи, раки, кто на скрыпку, кто на гитаре, кто в барабаны бьют; тот пляшет, тот скачет, того вверх вскидывает!

«Ах, — думаю, — плохо это! Ах, совсем это нехорошо! Огражду я себя, — думаю, — молитвой», да хотела так-то зачитать: «Да воскреснет бог», а на место того говорю: «Взвейся, выше понесися», и в это время слышу в животе у меня бум-бурум-бум, бум-бурум-бум.

«Что это, мол, я такое: тарбан, что ль?» — и гляжу, точно я тарбан. Стоит надо мной давешний человечек маленький и так-то на мне нарезывает.

«Ох, — думаю, — батюшки! ох, святые угодники!» — а он все по мне смычком-то пилит-пилит, и такое на мне выигрывает, и вальсы, и кадрели всякие, а другие еще поджигают: «Тарабань жесче, жесче тарабань!» — кричат.

Боль, тебе говорю, в животе непереносная, а все гуду. И так целую ночь целехонькую на мне тарабанили; целую ночь до бела до света была я им, крещеный человек, заместо тарбана; на утешение им, бесам, служила.

— Это, — говорю, — ужасно.

— И очень даже, мой друг, ужасно. Но тем это еще было ужаснее, что утром, как оттарабанили они на мне всю эту свою музыку, я оглядываюсь и вижу, что место мне совсем незнакомое: поле, лужица этакая точно есть большая, вроде озерца, и тростник, и все, как я видела,

а с неба солнце печет жарко, и прямо мне во всю наружность. Гляжу, тут же и мой сверточек с холстами и сумочка — всё в целости; а так невдалеке деревушка. Я встала, доплелась до деревушки, наняла мужика, да к вечеру домой и доехала.

— И что же вы, Домна Платоновна, уверены, что все это с вами действительно приключилось?

— А то врать я, что ли, на себя стану?

— Нет, я говорю про то, что именно так ли все это было-то?

— Так и было, как я тебе сказываю. А ты вот подивись, как я им наготы-то своей не открыла.

Я подивился.

— Да; вот и с бесом да совладала, а с лукавым человеком так вышло раз иначе.

— Как же вышло?

— Слушай. Купила я для одной купчихи мебель, на Гороховой у выезжих. Были комоды, столы, кровати и детская короватка с этаким с тесьменным дном. Заплатила я тринадцать рублей деньги, выставила все в коридор и пошла за извозчиком. Взяла за рупь за сорок к Николе Морскому извозчика ломового и укладываем с ним мебель, а хозяева, у которых купила-то я, на ту пору вышли и квартиру замкнули. Вдруг откуда ни возьмись дворники, татары, «халам-балам»: как ты смеешь, орут, вещи брать? Я туда, я сюда — не спускают. А тут дождь, а тут извозчик стоять не хочет. Боже мой! Насилу я надумалась: ну, ведите, говорю, меня в квартал — я, говорю, квартального жена. И только это сказала, входят на двор эти господа, у которых мебель купила. «Продана, — говорят, — точно, ей эта мебель продана». Ну, извозчик мой говорит: садись. Думаю, и точно, замест того, чтоб на живейного тратить, сяду я в короватку детскую. Высоко они эту короватку, на самом на верху воза над комодой утвердили, но я вскарабкалась и села. Только что ж бы ты думал? Не успела я со двора выехать, как слышу, низок-то подо мною тресь-тресь-тресь.

«Ах, — думаю, — батюшки, ведь это я проваливаюсь!» И с этим словом хотела встать на ноги, да трах — и просунулась. Так верхом, как жандар, на одной тесемке и сижу. Срам, я тебе говорю, просто на смерть! Одежа вся

взбилась, а ноги голые над комодой мотаются; народ дивуется; дворники кричат: «Закройся, квартальничиха», а закрыться нечем. Вот он варвар какой!

— Это кто же, — говорю, — варвар?

— Да извозчик-то: где же, скажи ты, пожалуй, зевает на лошадь, а на пассажира и не посмотрит. Мало ведь чуть не всю Гороховую я так проехала, да уж городовой, спасибо ему, остановил. «Что это, — говорит, — за мерзость такая? Это не позволено, что ты показываешь?» Вот как я посветила наготой-то.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Домна Платоновна! — говорю, — а что — давно я желал вас спросить — молодою такой вы остались после супруга, неужто у вас никакого своего сердечного дела не было?

— Какого это сердечного?

— Ну, не полюбили вы кого-нибудь?

— Полно глупости болтать!

— Отчего ж, — говорю, — это глупости?

— Да оттого, — отвечает, — глупости, что хорошо этими любвями заниматься у кого есть приспешники да доспешники, а как я одна, и постоянно я отягощаюсь, и постоянно веду жизнь прекратительную, так мне это совсем даже и не на уме и некстати.

— Даже и не на уме?

— И ни вот столичко! — Домна Платоновна черкнула ногтем по ногтю и добавила: — а к тому же, я тебе скажу, что вся эта любовь — вздор. Так напустит человек на себя шаль такую: «Ах, мол, умираю! жить без него или без нее не могу!» вот и все. По-моему, то любовь, если человек женщине как следует помогает — вот это любовь, а что женщина, она всегда должна себя помнить и содержать на примечании.

— Так, — говорю, — стало быть, ничем вы, Домна Платоновна, богу и не грешны?

— А тебе какое дело до моих грехов? Хоша бы чем я и грешна была, то мой грех, не твой, а ты не поп мой, чтоб меня исповедовать.

— Нет, я говорю это, Домна Платоновна, только к тому, что молоды вы овдовели и видно, что очень вы были хороши.

— Хороша не хороша, — отвечает, — а в дурных не ставили.

— То-то, — я говорю, — это и теперь видно.

Домна Платоновна поправила бровь и глубоко задумалась.

— Я и сама, — начала она потихоньку, — много так раз рассуждала: скажи мне, господи, лежит на мне один грех или нет? и ни от кого добиться не могу. Научила меня раз одна монашка с моих слов списать всю эту историю и подать ее на духу священнику, — я и послушалась, и монашка списала, да я, шедши к церкви, все и обронила.

— Что ж это такое, Домна Платоновна, за грех был?

— Не разберу: не то грех, не то мечтание.

— Ну, хоть про мечтание скажите.

— Издаля это начинать очень приходится. Это еще как мы с мужем жили.

— Ну как же, голубушка, вы жили?

— А жили ничего. Домик у нас был хоша и небольшой, но по предместности был очень выгодный, потому что на самый базар выходил, а базары у нас для хозяйственного употребления частые, только что нечего на них выбрать, вот в чем главная цель. Жили мы не в больших достатках, ну и не в бедности; торговали и рыбой, и салом, и печенкой, и всяким товаром. Муж мой, Федор Ильич, был человек молодой, но этакой мудреный, из себя был сухой, но губы имел необыкновенные. Я таких губ ни у кого даже после и не видывала. Нраву он, не тем будь помянут, был пронзительного — спорильщик и упротивный; а я тоже в девках воительница была. Вышедши замуж, вела я себя сначала очень даже прилично, но это его нисколько совсем не восхищало, и всякий день натощак мы с ним буйственно сражались. Любви у нас с ним большой не было, и согласья столько же, потому оба мы собрались с ним воители, да и нельзя было с ним не воевать, потому, бывало, как ты его ни голубь, а он все на тебя тетерится, однако жили не разводились и восемь лет прожили. Конечно, жили не без неприятностей, но до драки настоящей у нас не часто доходило. Раз один, точно, дал он мне, покойник, подзатыльника, но только,

разумеется, и моей тут немножко было причины, потому что стала я ему волосы подравнивать, да ножницами — кусочек уха ему и отстригнула. Детей у нас не было, но были у нас на Нижнем городе кум и кума Прасковья Ивановна, у которых я детей крестила. Были они люди небогатые тоже, портной он назывался и диплон от общества имел, но шить ничего не шил, а по покойникам пасалтырь читал и пел в соборе на крылосе. По добычливости же, если что добыть по домашнему, все больше кума отягощалась, потому что она полезной бабой была, детей правила и навью кость сводила.

Вот один раз, это уж на последнем году мужниной жизни (все уж тут валилось, как перед пропастью), сделайся эта кума Прасковья Ивановна именинница. Сделайся она именинница, и пошли мы к ней на именины, и застал нас там у нее дождь, и такой дождь, что как из ведра окатывает; а у меня на ту пору еще голова разболелась, потому выпила я у нее три пунша с кисляркой, а эта кислярская для головы нет ее подлее. Взяла я и прилегла в другой комнатке на диванчике.

«Ты, — говорю, — кума, с гостями еще посиди, а я тут крошечку полежу».

А она: «Ах, как можно на этом диване: тут твердо; на постель ложись».

Я и легла и сейчас заснула. Нет тут моей вины?

— Никакой, — говорю.

— Ну, теперь же слушай. Сплю я и чую, что как будто кто-то меня обнимает, и таки, знаешь, не на шутку обнимает. Думаю, это муж Федор Ильич; но как будто и не Федор Ильич, потому что он был сложения духовного и из себя этакой секретный, — а проснуться не могу. Только проспавши свое время, встаю, гляжу — утро, и лежу я на куминой постели, а возле меня кум. Я мах этак, знаешь, перепрыгнула скорей через него с кровати-то, трясусь вся от страху и гляжу — на полу на перинке лежит кума, а с ней мой Федор Ильич... Толк я тут-то куму, гляжу — и та схватилась и крестится.

«Что же это, — говорю, — кума, такое? как это сделалось?»

«Ах, — говорит, — кумонька! Ах я, мерзкая этакая! Это все я сама, — говорит, — настроила, потому они еще, проводя гостей, допивать сели, а я тут впотьмах-то тебя

не стала будить, да и прилегла тут, где вам было постлано».

Я даже плюнула.

«Что ж теперь, — говорю, — нам с тобой делать?»

А она мне отвечает: «Нам с тобой нечего больше делать, как надо про это молчать».

Это я, вот сколько тому лет прошло, первому тебе про это и рассказала, потому что тяжело мне это ужасно, и всякий раз, как я это вздумаю, так я этот сон свой проклясть совсем готова.

— Вы, — говорю, — Домна Платоновна, не сокрушайтесь, потому что ведь все это вышло мимо воли вашей.

— А еще бы, — говорит, — как? Я и так-то себя не мало измучила и истерзала. Горе-таки горем, как Федор Ильич вскорости тут помер, потому не своею он помер смертью, а дрова, сажени на берегу завалились, задавили его. О петербургских обстоятельствах, чтоб как чем себя развеселить, я и понятия тогда не имела; но как вспомню, бывало, все это после его смерти-то, сяду вечерком одна-одинешенька под окошечко, пою: «Возьмите вы все золото, все почести назад», да сама льюсь, льюсь рекою, как глаза не выйдут. Так тяжко, так станет жутко, вспомнивши эти слова, что «друг нежный спит в сырой земле», что хоть надень на себя о́сил пенечный, да и полезай в петлю. Продала все, всего решилась и уехала; думаю, пусть лучше хоть глаза мои на все это не глядят и уши мои не слышат.

— Это, — говорю, — Домна Платоновна, я вам верю; нет ничего несноснее, как если одолеет тоска.

— Спасибо тебе, милый, на добром слове, именно правду говоришь, что нет ничего несноснее, и утешь и обрадуй тебя за это слово царица небесная, что ты все это мог понять и почувствовать. Но не можешь ты понять всей обо мне тоски и жалости, если не открою я тебе всю мою настоящую обиду, как меня один раз обидели. Что это саквояж там пропал или что Леканидка там неблагодарная — все это вздор. А был у меня на свете один такой день, что молила я господа, что пошли ты хоть змея, хоть скорпия, чтоб очи мои сейчас выпил и сердце мое высосал. И кто ж меня обидел? — Испулатка, нехристь, турка! А кто ему помогал? — свои приятели, миром святым мазаные.

Домна Платоновна горько-прегорько заплакала.

— Курьерша одна моя знакомая, — начала она, утираючи слезы, — жила в Лопатине доме, на Невском, и пристал к ней этот пленный турка Испулатка. Она за него меня и просит: «Домна Платоновна! определи, — говорит, — хоть ты его, черта, к какому-нибудь месту!» — «Куда ж, — думаю, — турку определить? Кроме как куда-нибудь арапом, никуда его не определишь» — и нашла я ему арапскую должность. Нашла, и прихожу, и говорю: «Так и так, — говорю, — иди и определяйся».

Тут они и затеяли могарычи пить, потому что он уже своей поганой веры избавился, крестился и мог вино пить.

«Не хочу я, — говорю, — ничего», ну, только, однако, выпила. Этакой уж у меня характер глупый, что всегда я попервоначалу скажу «нет», а потом выпью. Так и тут: выпила и осатанела, и у нее, у этой курьерши, легла с нею на постели.

— Ну-с?

— Ну, вот тебе и все, а нынче зашиваюсь.

— Как зашиваетесь?

— А так, что если где уж придется неминуючи ночевать, то я совсем с ногами, вроде как в мешок, и зашиваюсь. И даже так тебе скажу, что и совсем на сон свой подлый не надеясь, я даже и постоянно нынче на ночь зашиваюсь.

Домна Платоновна тяжело вздохнула и опустила свою скорбную голову.

— Вот тебе уж, кажется, и знаю петербургские обстоятельства, а однако что́ над собой допустила! — произнесла она после долгого раздумья, простилась и пошла к себе на Знаменскую.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Через несколько лет привелось мне свезти в одну из временных тифозных больниц одного бедняка. Сложив его на койку, я искал, кому бы его препоручить хоть на малейшую ласку и внимание.

— Старшо́й, — говорят.

— Ну, попросите, — прошу, — старшу́ю.

Входит женщина с отцветшим лицом и отвисшими мешками щек у челюстей.

— Чем, — говорит, — батюшка, служить прикажете?

— Матушка, — восклицаю, — Домна Платоновна?

— Я, сударь, я.

— Как вы здесь?

— Бог так велел.

— Поберегите, — прошу, — моего больного.

— Как своего родного поберегу.

— Что ж ваша торговля?

— А вот моя торговля: землю продать, да небо купить. Решилась я, друг мой, своей торговли. Зайди, — шепчет, — ко мне.

Я зашел. Каморочка сырая, ни мебели, ни шторки, только койка да столик с самоваром и сундучок крашеный.

— Будем, — говорит, — чай пить.

— Нет, — отвечаю,— покорно вас благодарю, некогда.

— Ну так заходи когда другим разом. Я тебе рада, потому я разбита, друг мой, в последняя разбита.

— Что же с вами такое случилось?

— Уста мои этого рассказать не могут, и сердцу моему очень больно, и, сделай милость, ты меня не спрашивай.

— И отчего, — говорю, — вы это так вдруг осунулись?

— Осунулась! что ты, господь с тобой! ни капли я не осунулась.

Домна Платоновна торопливо выхватила из кармана крошечное складное зеркальце, поглядела на свои блеклые щеки и заговорила:

— Ни крошечки я не осунулась, и то это теперь к вечеру, а с утра я еще гораздо свежее бываю.

Смотрю я на Домну Платоновну и понять не могу, что́ в ней такое? а только вижу, что что-то такое странное.

Показалось мне, что кроме того, что все ее лицо поблекло и обвисло, будто оно еще слегка подштукатурено и подкрашено, а тут еще эта тревога при моем замечании, что она осунулась... Непонятная, думаю, притча!

Не прошло после этого месяца, как вдруг является ко мне какой-то солдат из больницы и неотступно требует меня сейчас к Домне Платоновне.

Взял извозчика и приезжаю. На самых воротах встречает меня сама Домна Платоновна и прямо кидается мне на грудь с плачем и рыданием.

— Съезди, — говорит, — ты, миленький, сделай милость, в часть.

— Зачем, Домна Платоновна?

— Узнай ты там насчет одного человека, похлопочи за него. Я, бог даст, со временем сама тебе услужу.

— Да вы, — говорю, — не плачьте только и не дрожите.

— Не могу, — отвечает, — не дрожать, потому что это нутреннее, изнутри колотит. А этой услуги я тебе в жизнь не забуду, потому что все меня теперь оставили.

— Хорошо — но за кого же просить-то и о чем просить?

Старуха замялась, и блеклые щеки ее задергались.

— Фортопьянщицкий ученик там арестован вчера, Валерочка, Валерьян Иванов, так за него узнай и попроси.

Поехал я в часть. Сказали мне там, что действительно есть арестованный молодой человек Валерьян Иванов, что был он учеником у фортепьянного мастера, обокрал своего хозяина, взят с поличным и, по всем вероятностям, пойдет по тяжелой дороге Владимирской.

— Сколько же ему лет? — расспрашиваю.

— Лет, — говорят, — как раз двадцать один год минул.

«Что, — думаю, — за чудеса такие и что такое он, этот Валерка, моей Домне Платоновне?»

Приезжаю в больницу и застаю Домну Платоновну в ее каморке: сидит, сложивши руки, на краю кровати, и совсем помертвелая.

— Знаю, — говорит, — все, сделай милость, больше не сказывай. Я фершала посылала узнать и все знаю. Огненным прещением пресекается перед смертью душа моя.

Вижу, моя воительница совсем сбрендила: распалась и угасла в час один.

— Боже мой! — говорит, глядя на бедный больничный образочек. — Боженька! миленький! да поди же к тебе моя молитва прямо столбушком: вынь ты из меня душу, из старой дуры, да укроти мое сердце негодное.

— Да что ж, — говорю, — вам такое?

— Мне?.. Люблю я его, душечка; люблю я его

несносно, мой ангел; без ума, без разума люблю я его, старая дура. Я его обула, я его одела, я на него дула, пыль с него обдувала. Театрашник такой; все, бывало, кортит ему дома; все он клонится как бы в цирк, как бы в театр; я ему последнее отдавала. Станешь, бывало, только просить: «Валерочка, друг мой! сокровище благих! не клонись ты к этому цирку; что тебе этот цирк?» Так затопочет, закричит и руками намеряется. Вот тебе и цирк!.. Не позволял он, чтобы я говорила с ним, так я издаля, бывало, только на него смотрю да прошу: «Валерочка! жизненочек! сокровище благих! не якшайся ты с кем пóпадя; не пей ты много». Все он мое презрел... Когда б дворника не нанимала, чтоб слух об нем подавал, и этого горя б, может, не знала. Боженька! миленький! Господи, да что ж это? да что ж это будет! — вскрикнула она и с этим словом упала перед образом на колена и еще горче заплакала, кивая своею седою головою.

— Все, — заговорила она, подымаясь через несколько минут на ноги и тоскливо водя угасшими глазами по своей унылой каморке, — все ему отдала, ничего у меня больше нет. Нечего мне ему дать больше, голубчику... Хоть бы сходить к нему...

— Ну, — говорю, — сходите...

— Не вéлит он мне ему показываться, не смею я к нему идти, — а сама дрожмя дрожит, бедная старуха.

Помолчал я и, чтоб отрезвить ее хоть немножко, спрашиваю:

— Сколько вам, Домна Платоновна, нынче годочков?

— Что ты такое, — говорит, — сказал?

— Сколько, мол, вам лет?

— А не знаю, право, сколько... в прошлом году в феврие, кажется, сорок семь было.

— И откуда ж это, — спрашиваю, — он у вас взялся, этот Валерка? Где вы его себе откопали на свое горе?

— Из наших местов, — отвечает, утирая слезы. — Кумин племянник он. Кума его ко мне прислала, чтоб к месту определить. Скажи, пожалуйста, — пищит опять, плачучи, воительница, — жаль ли хоть тебе меня, дуру неповитую?

— Очень, — отвечаю, — жаль.

— А людям ведь небось и не жаль, смех им небось только. И всякий, если кто когда-нибудь про эту историю

узнает, посмеется — непременно посмеется, а не пожалеет, — а я все люблю, и все без радости, и все без счастья без всякого. Бог с ними, люди! не понять им, какая это беда, если прилучится такое над человеком не ко времени. Ходила я к сталоверу, — говорит: «Это тебе аггел сатаны дан в плоть... Не возносись». Пошла к священнику, говорю: «Вот, батюшка, что́ со мною, так и так, — говорю, — сил моих над собой нет»; ну, священник меня хорошо пощунял: читай, говорит, раба, канон «Утоли моя печали». Я теперь и канон этот читаю и к месту такому нарочно определилась, чтоб никаких смущений мне не было; ну, только... Валерушка! цыпленок ты мой! сокровище благих! Что ты это над собою сделал?..

Домна Платоновна припала головой к окну и заколотила лбом о подоконник.

Так я и оставил мою воительницу в этом убитом положении. Через месяц дали мне знать из больницы, что Домна Платоновна вдруг окончила свою прекратительную жизнь. Умерла она от быстрого истощения сил. Лежала она в гробике черном такая маленькая, сухенькая, точно в самом деле все хрящики ее изныли и косточки прилегли к составам. Смерть ее была совершенно безболезненна, тиха и спокойна. Домна Платоновна соборовалась маслом и до последней минуты все молилась, а отпуская предсмертный вздох, велела отнести ко мне свой сундучок, подушки и подаренную ей кем-то банку варенья, с тем чтобы я нашел случай передать все это «тому человеку, про которого сам знаю», то есть Валерке.

КОТИН ДОИЛЕЦ И ПЛАТОНИДА

Изломанная утварь
Разрушенного дома.

Шекспир.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В Старом Городе не было человека, который пользовался бы такою известностью и уважением, какими пользуется там даже в наше неуважительное время очень скромный человек, обработавший бесплодную почву ныне плодоносного городского острова. Человек этот происходил от раскольничьего колена купца Деева; но не род и не порода, а жизнь и дела этого человека дали ему его известность и почтение от ближних.

Купец Семен Дмитриевич Деев был только виновником зол для того, о ком здесь будет рассказано.

Это небольшая история.

Сделавшись главою людей, не пошедших к соединению с церковью, старый Деев построил себе деревянный дом, на «отлете», в самом конце города. Нынче никто не живет в этом доме, и он стоит одинокий, сумрачный и неприветливый. Таков же, впрочем, был этот серый двухэтажный дом с двумя ярусами маленьких окошек и в те дни, когда в нем еще обитали живые люди и в окна его светили мерцающие огоньки неугасимых лампадок. Дом этот не хотел иметь сообщения ни с кем и немилосердно карал тех из своих обитателей, у кого по какому-нибудь случаю замечалось хоть малейшее желание сблизиться с новым миром. В целом городе почти никто не имел никакого понятия о том, как живется в раскольничьем доме Семена Деева. На улице старогорожане встречали только

самого Деева, но встречали его всегда капризного, угрюмого, ко гневу склонного и мстительного. Если же встречался где-нибудь кто бы то ни было из других жильцов этого дома, то все смотрели на него как на выходца с того света. О женщинах, здесь живших, знали еще менее, чем о мужчинах. Они там рождались или приходили туда для сожительства, там же и умирали. Ворота деевского дома затворялись за ними только за мертвыми. Из этого были только два исключения.

Пятьдесят лет тому назад, в одну самую бурную, темнейшую и человеконенавистную ночь, грозный деевский дом вытолкнул в бесприютность молодую девушку.

Дом словно выплюнул спросонья это дитя и снова захлопнул до другого случая свои сердитые веки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вытолкнутая девушка была сирота, племянница Семена Деева, Аксинья Матвеевна. Ей было тогда всего восемнадцать лет; но, несмотря на свое строгое девичье затворничество, она знала, куда ей нужно идти в эту суровую ночь своего изгнания. Она шла из улицы в улицу, из переулка в переулок, прямо к маленькому серенькому домику на церковном погосте, и здесь робко постучалась в покосившееся окошко. Через несколько минут она постучалась несколько смелее, и в ту же минуту навстречу ей выскочил молодой человек в одном белье и в сапожных опорках. Это был пономарь Иона Пизонский.

— Ксюша! Косатка! — вскрикнул он с изумлением, увидя перед собою девушку.

Изгнанница только уныло шепнула:

— Выгнали.

— Выгнали?

— Выгнали; избили и выгнали.

Молодой человек с беспечнейшею радостью широко распахнул калитку и, перехватив к себе девушку, запер задвижкой ворота и внес на руках свою дрожащую гостью в очень небольшую горенку.

Весь домик Ионы Пизонского, к которому пришла Ксюша, состоял из одной крошечной горенки и еще мень-

шей приспешной. Иона Пизонский был человек одинокий и молодой. Он проводил беззаботнейшую жизнь и обыкновенно распевал с голода самые веселые песни. Песни эти, его красота и беззаботная удаль полонили для него сердца старогородских затворниц и добыли ему пылкое сердечко изгнанницы деевского дома. Сцена, которую мы видели, была сцена, резюмировавшая их тайную любовь в тот момент, когда силою природы вещей любовь эта перестала быть тайною для деевского дома.

Выгнанная сирота, скромная как агнец, пошла на все за своим любимцем: она приняла его веру, его имя и звание — сделалась его женой и пономарицей, и через пять месяцев родила ему сына Константина.

— Оступилась и не доносила, — острил на свой счет по этому случаю пономарь Пизонский; а через год сам оступился, рубя осенью хворост на крутом обрыве над Турицею, полетел вниз головою и один-одиноко отдал свою веселую душу единому богу.

Пономарица осталась с годовым ребенком одна, яко перст.

Ворота деевского дома, в которые постучалась вдова в эту годину несчастия, отворились только для того, чтобы послать ей одно проклятие.

Не имея ни роду, ни племени, ни пристанища, куда приклонить голову, вдова Пизонская приютилась в женском монастыре, в келейные. Туда же, в женский монастырь, внесла она с собою и своего сына, назвав его обманно девочкой Макриной.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хитрость, вызванная отчаянным положением вдовы, удалась ей как нельзя лучше. Благодаря беспрестанному бдению матери настоящий пол ребенка не был никогда никем обнаружен; но зато и не знало его и само дитя, и само оно тоже считало себя девочкой. Когда же Константин Пизонский, под псевдонимом Макрины, достиг в монастыре двенадцатилетнего возраста, вдова Пизонская, заботясь о воспитании сына, вывела его вон из обители,

переодела в овраге из юбки и черноколенкорового платья в желтый нанковый халат и отдала в духовное приходское училище под его настоящим именем Константина Пизонского. Но книжная премудрость не далась ребенку. Несчастное дитя прежде всего сделалось всеобщим посмешищем. Скинув с себя свой женский псевдоним, оно, во-первых, никак не могло приучиться считать себя мальчиком и постоянно говорило: «я была, я пришла, я ела»; а это дало повод издеваться над ним с первой же минуты. Учиться ребенок был очень способен; но тогдашняя училищная строгость и ядовитые докуки товарищей отняли у него всякую возможность успеха. Запуганность его дошла до невероятных пределов и была причиною окончательного смещения его в неспособные. Однажды, еще вскоре после своего поступления в училище, Пизонский, надписывая свое имя на тетради, вместо Константин, написал Кинстинтин. Учитель поймал его на этой ошибке и, ударив по голове лозою, спросил:

— Как твое имя?

— Константин, — отвечал ребенок.

— Пиши на табуле.

Дитя взяло дрожащею рукою мел и почувствовало, что рука его бежит, бежит, бежит неудержимо и чертит одну за другою бесконечные буквы. Во всю доску тянется Константинтинтинтинтинтинтин... и все нет ему конца, нет заключения, нет предела. Ребенок чувствует, что это что-то не то, что это что-то неладно, — он млеет, дрожит и все ведет слог за слогом: «тинтинтинтинтин»...

— Что ты, стрикулист, так больно длинен? — замечает ядовито учитель, — держись своей препорции!

Пизонский быстро стер с доски бесконечную цепь слогов и твердою, решительною рукою написал короткое «Котин».

Приведенный в недоумение этим быстрым сокращением протяжно-сложенного слова, учитель счел это за оскорбительный фарс: он снова резнул Пизонского лозою по уху и снова еще более строгим голосом напомянул ему о соблюдении «препорции».

— Не могу, — решительно отвечал ребенок.

— Чего ж ты не можешь?

— Не могу написать по препорции.

Учитель качнул назад головою, и дитя, зная, что́ означает сей знак, с невозмутимою покорностью подошло к скамейке, у которой всегда лежали в ведре пучки розог.

— Ну, Макрина, укладывайся! — приглашали его очередные секуторы, и совершалася казнь.

И всякий раз повторялись над ним эти шутки и потехи, и всякий день выводил он целый час, при общем смехе, бесконечное *Константинтинтинтинтинтин* и потом, доходя до отчаяния, вдруг писал короткое — *Котин* и шел к секуторской скамейке. Всякий день его стегали по незажившим рубцам, и он все-таки не входил в свою препорцию, а всегда или полз с своим именем в бесконечность, или отчаянно ставил короткое: «Котин».

Окончательное воспитание Пизонского завершилось тем, что товарищи сломали ему носовой хрящ и своротили на сторону нос, а начальство исключило его «за великовозрастием и малоуспешием» из училища и предоставило ему избрать себе дозволенный законом род жизни. Для Пизонского все дозволенные роды жизни были равнозначащи и равноценны, а потому он вовсе не заблагорассудил позаботиться об избрании какого-нибудь одного из них себе в исключительную собственность. Он прежде всего подумал о хлебе и поступил в науку к энциклопедисту-ремесленнику, меднику, механику, переплетчику, астроному и поэту. Вдвоем с своим чудаком-хозяином они были все и ничего: они переплетали книги, малярничали, лудили кастрюли — и все это делали «ничтоже сумняшеся», и дешево и скверно. Скудного дневного заработка им едва доставало на самое нищенское пропитание; но это их нимало не смущало. Сидя зачастую и без работы и без хлеба, они забывали о голоде, азартно читали какую-нибудь старую астрономию и тыкали пальцами по засаленному небесному атласу. Спускающаяся на землю вечерняя темень только пригоняла их к окну, из которого они глазели целые ночи на небо и определяли созвездия, или читали на память «Манфреда» и козловского «Чернеца», или же, наконец, усевшись на порожке своей хаты, распевали дуэтом:

О человек!
Вспомни свой век.
Взгляни ты на гробы,
Они вечны домы.

Неизвестно, докуда бы продолжалось такое сладкое и поэтическое житье нашей Макрины, если бы ее, как человека, не избравшего себе в срок никакого дозволенного законом рода жизни, не отдали «по разряду» в рекруты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Три года Константин Пизонский пробыл дьячком полковой церкви и, наконец, по ходатайству матери, возвращен для ее прокормления. Но своей старухи Константин Пизонский, возвратясь домой, уже не застал на свете. Он пришел в Старый Город и явился к дяде-староверу Маркелу Дееву. Маркел Семенович Деев допустил Пизонского к себе на глаза, выслушал все, что тот говорил ему, а потом позвал всех, кто у него был в семье, и сказал племяннику:

— А ну-ка, повернись!

— Как, дядюшка? — спросил Пизонский.

— Так, боком повернись.

Тот повернулся.

— Ну, а теперь задом стань.

Пизонский и это исполнил.

— Хорош? — спросил Маркел Семеныч домашних.

Общий хохот, где громкий, где сдержанный, раздался из всех углов в ответ на это восклицание.

На Пизонского и действительно трудно было смотреть без смеха: его лысая и вдобавок по-солдатски обточенная голова, его кривой нос, его птичьи круглые глаза, синие губы и длинный нанковый капот, купленный в том городе, где кончилась его военная карьера, — все это вместе взятое давало самый смешной и дурашный вид его фигуре.

— Служил куцым бесом три года и выслужил три пуговицы — и то ладно. Ну, и больше же, брат, не хлопочи, не оборачивайся, а как стал теперь лбом к порогу, так и иди вон, откуда пришел, — объявил ему дядя, твердо и решительно изгоняя навсегда из своего правоверного дома сына еретика и еретицы.

Пизонский вышел.

С непокрытою от рассеянности головою прошел он по всему городу, удивляя своею лысиною прохожих, которые

смеялись над ним злее, чем дети смеялись над лысым пророком; но Пизонский, однако, был терпеливей пророка: он никого не проклял, а только тихо поплакал, севши под ракитой за городскою заставой. Он был совершенно бесприютен и сидел на дороге, как ощипанный филин. Обыкновенно думают, что в таком положении человек находится на один короткий шаг от злого дела, но это не со всеми так бывает. По крайней мере Пизонский не задумывал никаких злых дел: ему было только очень тяжело и больно, и он сидел и плакал просто — чтоб выплакаться. Однако невозможно же было вечно сидеть на большой дороге: надо было куда-нибудь шагать, где-нибудь искать какого бы то ни было приюта.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пизонский вспомнил, что у него где-то, не очень далеко от города, была замужем за однодворцем материна племянница, а его двоюродная сестра, по фамилии Набокова, и пошел искать ее. Шел он — близко ли, далеко ли — и пришел на другой вечер в село, где надеялся увидать свою родственницу и где узнал, что ни ее самой, ни ее мужа в живых нет, а что остались после них две девочки: Глаша лет пяти да Нилочка — по второму году; но и их, этих сирот, нету в наличности, и их забрала к себе на воспитание слепая нищая, Пустыриха. Вот тебе и весь род и все племя!

«Пойду, посмотрю по крайней мере хоть какие эти девоньки», — подумал все более и более сиротевший Пизонский, и он отыскал Пустыриху и нашел у нее детей.

Встреча его с детьми была перед вечером. Обе девочки, в ветчайших рубищах, сидели на пыльной завалинке: старшая играла, подкидывая ручонками крошечные камешки, а младшая — томилась, лениво следя глазенками за сестриными руками.

Пизонский выскочил к ним неожиданно, из-за угла хаты, и остановился перед ними, как уродливый сказочный гений.

Посмотрев на детей, он сел около них на травку и обнял их обеими руками.

— Голубятки! — заговорил он, — плохо вам тут у бабушки?

Дети пугливо прижались одна к другой, сначала долго друг на друга смотрели и потом обе разом тихо заплакали.

Пизонский опустил в карман руку и, достав оттуда немного смятую печеную луковицу, обдул прилипшие к ней крошки хлеба, разломил ее ногтями пополам и подал сироткам.

Тайный ли голос крови или заманчивый вкус сладкой печеной луковицы сразу расположил сироток к Пизонскому. Они сползли с завалины, уселись одна против другой на его коленях и сосали лук, теребя ручонками ясную солдатскую пуговицу, пришитую к воротнику дядиного коленкорового халата.

— Бьет вас бабушка, детки? — начал прямо Пизонский, поглаживая девочек по головкам.

— Бот, — прошептали тихо дети.

— И больно?

— Боно, — проронили они еще тише и робче и, смаргивая слезы, напряженно смотрели с раздирающей детской тоскою на ту же глупо блестящую пуговицу.

Пизонский развздыхался. Дробные слезы ребячьи на щеках забитого ребенка непереносимы. Необъятная любовь и нежность овладели сердцем Пизонского в виду этих слез. Он готов был все сделать, чтобы отереть эти слезы; но что мог для кого-нибудь сделать он — нищий, калека и урод, когда сотни людей, представляя себе его собственное положение, наверное почитают его самого обреченным на гибель?

И всякий бы простил ему безучастие, потому что бедный урод ничего не мог сделать для двух сирот. У них был хотя нищенский приют Пустырихи, Пизонский же был совсем бесприютен. А взять чужое дитя — это, говорят, так ответственно, что страхом этой ответственности всегда можно извинить себя и оставить все на волю безответственного случая.

Пизонский, к счастию, не философствовал, а хорошо чувствовал и потому поступил иначе.

Дождавшись возвращения Пустырихи домой, он попросился у нее переночевать. Ночью он все вставал и наведывался к детям, а к утру окрест его запорхали какие-то чудные грезы, и утром он, забывая собственную беспо-

мощность и бесприютность, стал умолять старуху, чтобы она отдала ему сироток.

— Я их, бабушка, воздою, я выучу их, бабонька, — говорил Пизонский.

Старуха и слушать об этом не хотела. Она хотела посылать детей побираться и потому выгнала самого Пизонского и захлопнула у него перед носом дверь свою.

«Тягаться с нею судом, — подумал Пизонский, — долго, и денег у меня нет на то, да и пока велят ей отдать мне детей, она их непременно ослепит». Но расстаться с детьми и снова идти бог знает куда одному — Пизонскому теперь уже показалось невозможно, и он в течение следующей за сим ночи придумал нечто другое.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Увидев у одного крестьянского половня лозовую плетушку, в которой носят мякину и ухоботье, Пизонский утащил ее за сарай, высыпал из нее вон ржаной колос, настлал на дно свежего сена и припрятал у Пустырихи на огороде. (Он сделал преступление — он украл плетушку.) Чуть только на другой день выглянуло на небе солнышко и Пустыриха, по заведенному порядку, тронулась с поводаркой в побор, Пизонский схватил оставшихся дома девочек, посадил их в плетушку, подцепил ее своим кушаком за плечи и с длинным костылем в руке зашагал своими длинными ногами к городу. Боязнь погони и страх за участь детей, которые, как неоперившиеся птички, спали, свернувшись, в плетушке за его плечами, так гнали Пизонского, что он не отдыхая отмахал в летний день шестьдесят верст и вечером стал в Старый Город. Здесь ему не было места одному, и сюда он теперь являлся еще с двумя взятыми на свое попечение детьми.

Всякий имел полное основание назвать этого человека дураком.

— Что-то он теперь будет делать? Куда он с ними поденется?

— Дурак!

. . . .
. . . .

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Качаясь за спиною Пизонского, обе путешествовавшие в плетушке сиротки спали целый день; но вечерняя прохлада разбудила их, и они начали с холоду ежиться и попискивать. Но это уж было у пристани. Пизонский в это время уже свернул в сторону в подгородние коноплянники. Здесь он взял обеих девочек под мышки, вытряс на землю бывшее на дне плетушки сено, уложил на него детей, сел над ними на корточки, как наседка, и, подобрав их под грудь, в течение всей короткой ночи согревал их животною теплотою собственного тела и сам плакал... сладко плакал от счастья.

«Чего мне! — думал он, — и за что такая радость! Ты, господь, хотел собрать детей Иерусалима, как кокош собирает птенцы, а они не захотели... они тебя огорчили, — они не пошли, а мои пришли ко мне... я их унес... украл... Я их грею... Господи! прости мне, что я их украл!.. Дай мне укрыть их от зла... и прости мне... прости, сделай милость, что я также украл и плетушку!»

И он всхлипнул, окончив эту молитву, и тут же уснул, согревая под грудью своею крепко спавших сироток.

Рослая конопля закрывала это гнездо так, что его можно было видеть только с неба.

Ранним утром, чуть только вспыхнуло погожее солнышко, Пизонский встал с своего места, накрыл спящих детей плетушкой и, чтобы они, проснувшись, не могли ее с себя сбросить, связал над нею крест-накрест четыре пучка конопли и вышел из своей засады. Оглядевшись на все стороны, он вздохнул, перекрестился и прямо задами побрел к городским огородам. Город еще спал, нежась в подымавшемся с реки дымчатом тумане. Места, которыми теперь шел Пизонский, очевидно, были ему не очень знакомы, потому что он долго осматривал, припоминал малейшие приметы и только после долгих соображений, открыв глазами большой огород, обнесенный вокруг высоким плетнем из лесной орешины, направился прямо к этому огороду и перелез через окружавшую его канаву, потом через плетень. Очутившись затем на самом огороде, Пизонский изогнулся дугою, быстро пробежал по межам и спрятался в грядах наперенного гороха.

Здесь он присел и стал кого-то высматривать. Целый час он просидел в горохе, то робко высовывая свою голову выше зелени, то снова быстро падая в межу при малейшем шуме. Ради каких соображений явился сюда Пизонский, только несколько дней тому назад изгнанный из этого дома с неслыханной суровостью и позором, и кого он теперь желал здесь встретить? Этого отгадать было невозможно. Одно только можно было основательно предположить, что Пизонский ждал здесь не Маркела Семеныча.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пизонский действительно выжидал появления совсем другого лица из семьи Деевых и невыразимо смутился, когда тихо скрипнули ворота заднего двора и на огород вышел высокий кучерявый парень в светлой розовой рубашке. Это был не Маркел Семеныч и не сын его, Марко Маркелыч, но, очевидно, это все-таки был и не тот, кого желал встретить Пизонский.

Завидя вошедшего молодца, Пизонский не только не встал, но пригнулся как можно ниже.

Молодой человек, который вошел в огород, сделал несколько шагов по узкой дорожке, разделяющей гряды на две ровные половины, подперся левой рукой в бок и, весело глянув по широкому пространству, занятому росистыми овощами, тихо зевнул, потянулся и стал, почесывая сапожком одной ноги другую. Этот юноша была сама молодость, сама воплощенная свежесть. Пизонский его рассматривал не без удовольствия, забыв даже как будто о своем нетерпении. Но вот ворота скрипнули еще раз. В этот раз на огороде показалась высокая молодая женщина с веселым румянцем и прямыми соболиными бровями. Она была одета в темной шерстяной юбке, старенькой гарнитуровой душегрейке и покрыта по голове белым бумажным платком с розовыми каемочками.

Завидя эту женщину, Константин Ионыч покраснел от радости до ушей и заметался по меже. Явно было, что это и есть то самое лицо, которое он хотел здесь видеть, и что теперь его занимала одна мысль: как при-

влечь на себя ее внимание, не обратив на себя в то же время внимания стоящего парня. Но такой маневр был решительно невозможен, и Пизонский снова присел на колени и, удерживая дыхание, стал торопливо раздвигать синеватые усы гороха.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Между тем белолицая красавица, войдя на огород, приподняла одной рукою от росной травы юбку и прямо направилась к гряде с молочным свекольником. Пизонскому показалось, что, завидя стоящего на дорожке парня, молодая женщина немножко смутилась, но тотчас же и улыбнулась. Дойдя спокойною поступью до гряды, она поставила на межу большую, расписанную сусальным золотом деревянную чашу и стала проворно срывать и класть в нее молодые свекольные листья. Этим временем парень приблизился тихой щеголеватой походкой к красавице и с веселой улыбкой проговорил:

— Здравствуйте, невестка!

Та, к которой относилось это приветствие, не обратила на него никакого внимания.

Молодой человек снова усмехнулся; он обошел невестку с другой стороны и уже гораздо смелее прежнего проговорил:

— Платонида Андревна, здравствуйте!

— Здравствуй и ты, Авенир Маркелыч, — отвечала, не подымая лица от гряды, Платонида Андревна.

Авенир отдал невестке низкий поклон и стал помогать ей рвать в чашку свекольник.

— Ну, а помогать мне я тебя не прошу, — проговорила Платонида Андревна.

— Что же это вам мешает?

— Не мешает, а не хочу.

— Позволите.

— Нет, не позволяю.

И с этим словом выбросила назад из чаши нарванный Авениром пук свекольных листьев.

— Отчего вы, невестка, такая сердитая? — запытал, распрямляясь во весь рост, молодой деверь.

— Так; не хочу, чтобы ты тут вертелся.

Авенир улыбнулся, опять нарвал другую горсть зелени и опять положил ее в расписную чашку.

— Послушай, Авенир! иди ты, сделай милость, от меня с своею помощью прочь! — вскрикнула красавица и, не выдержав, рассмеялась и бросила нарванную Авениром зелень прямо ему в лицо.

Авенир, кажется, только и дожидался этой перемены.

— Ну, вы же вот, невестка, рассмеялись и опять стали красавица!

— Еще соври что-нибудь.

— Вот ей-богу, разрази меня бог на сем месте, — красавица, а нету на свете ни одной царицы такой красивой, как вы! — заговорил он, глядя на нее со сложенными на груди руками.

— Тьфу! — отплюнулась без сердца Платонида Андревна и опять стала рвать белой рукой росный свекольник.

Авенир отошел, походил немножко и, снова приблизясь к невестке, заговорил тихо:

— А отчего это и об чем вы, невестка, вчера с вечера плакали?

— А ты почему это знаешь, что я плакала?

— Да я ж будто не слышал?

— Гм! Где ж это ты, дурак, мог это слышать? — Платонида Андревна улыбнулась и сказала: — Нет, я вижу, что вправду надо на тебя Марку Маркелычу жаловаться, чтобы тебя на ночь запирали.

— Для чего меня запирать?

— Чтоб ты под окнами, где тебе не следует, не шатался.

— Ну, у меня про то на случай и потолок в палатке разбирается, — отвечал Авенир.

— Дурак ты сам-то разборчатый, и больше ничего, — проговорила Платонида Андревна. — Мало тебя, дурака, и без того за меня колотят, так ты, видно, хочешь, чтоб еще больше тебя брат с отцом колотили. Ну, и поколотят.

— А пусть их пока еще поколотят. Только я чуть ли скоро и сам не начну им сдачи давать.

— Ну да, как же, сдачи! Нет, а ты вот что, Авенир; он вон, свекор-то, Маркел Семеныч, намедни при всех при отцах из моленной сказал, что он такую духовную

напишет, что все одному Марку Маркелычу отдаст, а тебе, глупому, за твое непочтенье к родителю — шиш с маслом.

— Что ж? вы же, невестка, тогда с вашим мужем богаче будете. Я этим счастлив буду.

— Ммм!.. Нет, скажи ты, пожалуйста, что ты это в самом деле, Авенир, о себе думаешь?

— А ничего я, невестка, не думаю. Почто мне много думать-то?

— Нет, тебе нравится, что ли, что тебя били за меня да колотили?

— А может быть и нравится.

— Дурак.

— Дурак, да вам преданный.

— Так я не хочу, чтобы тебя увечили за меня, да еще нищим сделали. Что ты это забрал себе в голову?

Авенир молчал и стоял сложа руки. Платонида Андревна, сдвинув брови, говорила внушительно:

— Ты б то, непутящий ты парень, взял себе в разум, что я ведь твоего брата жена; невестка тебе называюсь.

— Да я разве этого не помню, что ли? — отозвался нетерпеливо Авенир. — Я все это прекрасно помню и ничего нехорошего не думаю.

— Нехорошего! Хорошее или нехорошее ты себе думаешь, а только знай ты себе, что ты мне надоел, и я не хочу, чтоб ты за мной слонялся. Слышишь ты это, Авенирка, или нет? Слышишь! не смей и никак не смей ты здесь со мной больше встречаться... И заступаться за меня тоже дома не смей и не приставай ко мне, что я красивая... потому что не хочу я этого; не хочу и не желаю... Да и... коли уж на правду пошло, так знай, что и ты мне постыл, вот что!

— Ну, это что... на что пустое говорить, невестка, неправду?

— Как пустое? Как это пустое? С чего это ты взял, что это пустое?

Авенир махнул рукою и, наложив на губы свекольный листочек, насосал его и равнодушно хлопнул.

Платонида Андревна рассмеялась и, пожав плечами, проговорила:

— Ну, глядите, пожалуйста, на этого дурака, добрые люди!

— Эх уж, невестка, полно вам все меня дураком-то звать, — отвечал Авенир.

— Что?

— А зачем вы меня целовали-то?

— Когда это? Когда это я тебя, дурака, целовала? Врешь ты это все, врешь ты это, лгун, никогда я тебя не целовала.

— Никогда?

— Никогда.

Платонида Андревна покраснела и, нагнувшись, стала еще скорее дергать свекольные листья и бросать их в чашу совсем с землею.

— А забыли вы, невестка, как наших в прошлом году дома-то не было?

— Ну?

— А мы с вами тогда в прятки играли да на сене боролись... что, помните?

Платонида Андревна приподнялась и, строго смотря в глаза Авениру, спросила:

— Так что ж такое, что боролись?

— Ну, вот тут-то вы меня щекотали...

— Ну?..

— Ну, да и поцеловали, отпираться нечего, что поцеловали.

— Пфффю, пустяки какие он помнит! — отвечала, закрывая рукавом лицо, Платонида Андревна. — Может, что и вправду как-нибудь тогда поцеловала, потому что ты еще мальчик, — отчего ж мне тебя было не поцеловать? Ты моему мужу младший брат. Я этак хоть и еще сто раз тебя, изволь, поцелую.

— Ну, поцелуйте.

Авенир сделал к невестке шаг и слегка тронул ее за белый кисейный рукав.

— Поди прочь, дурак! — серьезно проговорила, отшвырнув девереву руку, Платонида Андревна. — Важность он какую придумал, — продолжала она, — что я поцеловала! В этом остроге живучи, черта с рогами, и того поцелуешь.

— А вот же и опять, невестка, неправду сказали; вот не очень-то вы брата целуете.

— Авенир! — крикнула, приподнявшись и стараясь говорить как можно строже, Платонида Андревна. — Что ты, негодный ты парень, очень хочешь, чтоб я тебя изругала? Так я тебя, поганого мальчишку, сейчас вот как нельзя хуже отделаю.

— Да что вы это все меня мальчишка да мальчишка. Полно вам; пора и перестать мальчишкой-то звать меня.

— А потому я тебя так зову, что ты мальчишка.

— Что мне двадцать один год, то и вам ведь столько же. Ничуть моего не больше на свете прожили.

— Я женщина.

— А я мужчина.

— Дурак ты, а не мужчина. Важность какая, мужчина! Да и разве такие-то бывают мужчины?

— Да, а то, невестка, какие же?

— Какие?.. А я вот не посмотрю, что ты мужчина, да оплеуху тебе хорошую дам.

— Ну и что ж такое — дам!

— И, ей-богу, дам!

— Да сделайте одолжение.

— И ударю тебя, и изругаю, и как не надо хуже высрамлю, — сказала, возвышая голос и на этот раз непритворно сердясь, Платонида Андревна. — Что это в самом деле за наказание! Ничего, балбеска этакой, не делает; на пильню его калачом не заманишь, торговле не учится, с пристани все норовит как бы ему домой скорей; да еще теперь что себе, мерзавец, вообразил? Голова б у другого треснула такое подумать. Иди ты, негодный, прочь! — крикнула она, размахнувшись на Авенира чашкой. — Прочь; а то сейчас брата крикну!

— Платонннннида! — раздался в эту минуту со двора из-за сарая сухой, дребезжащий голос.

При первых звуках этого голоса Авенир запрыгал козлом через гряды и, перескочив через межу в горох, очутился как раз лицом к лицу с притаившимся здесь Пизонским.

Оба они сидели на корточках друг против друга, как сидят рано утром на лесной опушке молодые зайцы, и оба протирали себе руками удивленные глаза.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Между тем Платонида Андревна, следя с улыбкой за прыгающим Авениром, спокойно отвечала мужу:

— Сейчас!

— Что, не знаешь ли ты, где это Авенир? — продолжал тот же голос уже несколько ближе.

— Нет, Марко Маркелыч, не знаю, — опять отозвалась Платонида Андревна.

В калитке показался похожий на ежа низенький черный с проседью человек лет сорока пяти, с злою физиономиею и сурово выглядывающими исподлобья подозрительными глазами.

— А здесь его нет? — спросил он, остановясь и распявшись руками на калитке.

— Нет.

— И не бывал?

— И не бывал.

— Взаправду?

— Да что же ему здесь, Марко Маркелыч, делать?

— Где ж это он, шальная собака, запропастился?

— Мне будто показалось что-то, что он на пристань рано пошел, — отвечала Платонида Андревна.

— Опять же таки все это он без времени делает.

— Торопился, видно, что работы много.

— Усерден очень! Ну-к быть ему нынче за это усердие опять без чаю. Мы с батюшкой идем на прядильню, а ты, если он вернется, чтоб самовара ему другого не смела ставить! Слышишь ты про то или нет?

— Слышу.

— Не давать ему чаю, когда он своего времени не помнит.

— Не дам.

— Такой мой приказ: не давать!

— Да не дам же, не дам, Марко Маркелыч. Неужели ж таки я вас в этом ослушаюсь? Можете после и Дарью спросить, — отвечала мужу Платонида Андревна.

Калитка хлопнула на блок, и из-за гряды синих бобов в ту же минуту с испугом высунулась голова Авенира. Он проворно запрыгал опять козлом через гряды и

на бегу тихо показывал Платониде Андревне рукою на гряду гороха.

— Скройся ты с глаз моих, нерачитель ненавистный! — проговорила, встречая его и озираясь по сторонам, Платонида Андревна. — Что ты бзыришь-то козлом по огороду? Пошел, тебе говорят, вон!

Но Авенир, не слушая этого приказа, тихо взял невестку за рукав и тихо же с серьезной миной указал ей рукою на гороховую гряду, за которой скрывался доселе Пизонский.

Платонида Андревна только что взглянула по этому направлению, как пронзительно вскрикнула и уронила из рук чашу со свекольником. В горохе, в нескольких шагах от поставленного для воробьев пугала, стояла длинная смешная фигура Пизонского, на которой, тоже как и на пугале, висели лохмотья мокрого коленкорового халата, подпоясанного зеленою коноплею.

— Миленькая! Постой! Миленькая Платонида Андревна, постойте! — заговорил Пизонский, вылезая из-за своей засады. — Я к тебе, девушка, не с злом пришла.

Платонида Андревна с немым удивлением рассматривала предстоящую ей странную фигуру; ей казалось, что это само гороховое пугало сошло с места, чтобы обличить ее в грехе Иродиады, то есть в ее хотя детской, но все-таки сердечной слабости к мужнину брату.

Константин Ионыч, разрушая убеждения Платониды Андревны о его тождестве с гороховым пугалом, поспешил счесться с нею родством, потом напомнил, как его три дня назад приняли Маркел Семеныч и муж Платониды Марко Маркелыч, и, наконец, поклонившись Платониде Андревне до земли, стал просить ее пособить ему приютить спрятанных им на коноплянике детей.

Известное дело, что никогда и никому женщина не способна оказать более великодушного сочувствия и услуги, как человеку, сделавшемуся случайно поверенным ее сердечной слабости.

Платонида Андревна подтвердила непреложную истину этого мнения: не расспрашивая ничего более у Пизонского, она прямо обратилась с вопросом к Авениру:

— Ну, как же быть? Что же мы, Авенир, сделаем?

Авенир только развел руками.

— Разве вот что, — продолжала Платонида Андревна, — разве ступай ты, Авенирка, от меня к бабушке Роховне; она хоть и не из церковных, но не строгая; она, может, сжалится — примет.

А Пизонский продолжал:

— И доложу тебе, моя умница, что одежонки на них, на бедных птенчиках, теперь никакой нет ровнехонько; одна таки еще в рубашечке, а другая, меньшенькая — совсем голенькая. Завернула я ее в свои штанцы, да не очень ей в них пристойно, а ее лохмотики все свалились, да, совсем свалились.

— Это ничего, — отвечала Платонида Андревна, — лохмотиков я сейчас вынесу. Чтоб только Дарья-воровка за мною как не подсмотрела! — добавила она, взглянув на Авенира и приложив к губам палец. — Она нонче все за мной, как есть всякий мой шаг замечает.

— А вы, невестка, будто как на пугало что негодное несете: сверните в комочек, да и пронесите, — научал Авенир невестку.

— Только я свое разве что — детского у меня ничего нет, потому детей у нас нет в доме — не рожаю я, — заговорила, бегучи к калитке, Платонида Андревна.

Минут через пять она громко закричала на дворе «шугууу!» и выскочила на огород с туго свернутым комком, из которого мотались и коленкор, и холст, и пола стеганой ватной шубеечки.

Ткнув этот сверточек Пизонскому, она дернула за локоть Авенира и сказала:

— На, забеги оттуда в трактир, там чаю напейся, — и с этим она сунула ему в руку пятиалтынный.

Авенир ласково отвел невесткину руку и проговорил:

— Спрячьте, невестка, спрячьте; вам самим надо; а я и без чаю хорош буду.

С этими словами Авенир не хуже ловкого волтижера перелетел через частокол и побежал вслед за Пизонским, который, обхватив руками данные ему ветошки, уже выбирался широкими шагами на поле.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Древлепечатная бабушка Февронья Роховна, местная знахарка и акушерка, была старуха очень добрая и, по замечанию Платониды Андревны, «не строгая». Она пустила Пизонского с принесенными им в плетушке детьми пожить в маленьком деревянном чуланчике, где у нее висели разные целебные и мнимоцелебные коренья и травки. Пока до осени Пизонский и приютился здесь, так что по крайней мере и дождь и ночные холода ему с детьми были не страшны; а Авенир каждую неделю раза два приносил сюда от Платониды Андревны и печеного, и вареного, и молока, и свежей огородины. Пизонский устроивался. Он постоянно сидел на полу в чулане возле кровати, на которой помещались его дети, и то забавлял их самодельными игрушками, то ковылял иглою, перешивая им из присылаемой Платонидой Андревной ветоши разные рубашечки, шапочки, фуфаечки да епанечки. Шил он прекрасно, как искусная женщина. Этому его научили в монастыре, когда считали его девочкой. О Пизонском еще почти никто в это время не знал в Старом Городе; а кто знал, тот или ничего о нем не думал или думал, что это новый нищий, новый стоялец соборного притвора. Сама бабушка Роховна, глядя на его возню и хлопоты, не предрекала ему другой судьбины и мысленно упрекала его, зачем он забрал детишек.

— Как ты с ними будешь, Ионыч? — говорила ему не раз, указывая на детей, бабушка Роховна.

— Бабушка, — отвечал старухе Пизонский, — сидел пророк Илия один в степи безлюдной; пред очами его было море синее, а за спиною острая скала каменная, и надо бы ему погибнуть голодом у этой скалы дикой.

— Так, батюшка, — подтвердила Роховна.

— Да послал к нему господь ворона, — говорил, оживляясь, Пизонский, — и повелел птице кормить слугу своего, и она его кормила. Замечай: птица, бабушка, кормила! *птица!*

— Так, батюшка, точно что кормила.

— Да, мать Февронья Роховна, кормила. И послал мне господь двух птиц: летает ко мне ворон Авенир, и печется обо мне белая лебедь Платонида Андревна,

и прокормят они меня с цыплятками моими, пока я обошью ребятенок и сам стану на ноги.

«Где тебе стать на ноги?» — молча думала про себя, отходя от него, бабушка Роховна; но скоро она переменила это мнение.

Константин Ионыч, принимая пособие Авенира и Платониды, и сам не сидел сиднем и не ждал воды под лежачий камень. Энциклопедизм его скоро ему пригодился и его выручил. Пизонский показал бабушке Роховне, что ни сам он, ни его цыпляты не пропадут — ни с холоду, ни с голоду.

Обшив девочек, Константин Ионыч вступил с бабушкой в переговоры о дозволении обрядить ее чулан на свой счет в жилую каморку, с тем что он, как бог его поправит, сдаст ей все в порядке, а пока будет здесь жить, станет ей платить по полтиннику в месяц.

Бабушка Роховна, не видя для себя в этом ничего, кроме прибытка, согласилась. Пизонский, пользуясь теми часами, когда наигравшиеся дети засыпали, натаскал на бабушкин двор мешком глины, вымазал чулан самым тщательным образом, напихал в подполье земли, сложил крошечную печурку и, наконец, спокойно крякнул.

У-у! как богат и как счастлив теперь был Пизонский, и каким назидательным примером он мог бы служить для великого множества людей, разрешающих проблематические трактаты о счастье!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

С устройством каморки Пизонский далеко отогнал от себя всякое беспокойство. Теперь у него была только одна насущная забота — забота приучить старшую, пятилетнюю девочку Глашу присматривать в его отсутствие за ее младшей сестрой Нилочкой, или, как Пизонский звал ее, *Милочкой*.

Достигнув того, что малосмысленную Милочку можно было оставлять под надзором Глаши, Константин Ионыч начал отлучаться на короткое время из дома и после каждой такой отлучки возвращался всегда домой с покупками, на которые истратил последние два рубля, при-

несенные им из солдатчины. Прежде всего Пизонский пришел домой с старым муравленым горшком; потом он в несколько приемов натаскал к себе разных негодных баночек, пузырьков и бутылочек и, наконец, принес чернильных орешков, меду и голландской сажи. С этими препаратами и с этим материалом Пизонский уселся перед печкой за химические занятия. Дня через два он вышел из дому с большой бутылкой чернил и с деревянным ящиком черной, лоснящейся ваксы. На чернилах Пизонский сбанкрутовал, потому что сторожа присутственных мест делали чернила на казенные деньги и, следовательно, могли продавать этот продукт на сторону гораздо дешевле Пизонского; но его свежая вакса оказалась гораздо лучше сухой синей ваксы, получаемой в плитках из Москвы, и эта часть коммерции его выручила. Константин Ионыч совсем ожил и стал еще смелее и предприимчивее. Скоро Старый Город увидал его беспрестанно снующего из дома в дом с набитым ваксою деревянным ящиком и с дешевыми, очень прочными самодельными щетками. Пизонский летал с своим ящиком во все дома, в лавки, в присутственные места, на постоялые дворы; везде он тихо и не спеша снискивал себе общую расположенность, со всеми знакомился и всякому на что-нибудь пригожался. В уездном суде часы были лет двадцать с таким частым боем, что никто не мог счесть, сколько они ударили — час или двенадцать: Пизонский снял часы, попилил, постучал, и они стали бить отчетисто: раз, два, три — как следует. Отцу протопопу Туберозову он устроил в окне жестяной вентилятор. Отец протопоп похвалил его и сказал: «Да, ты не изящен, но не без таланта». Городскому голове Котин сделал деревянную ногу, чтобы чистить на ней его высокие голенища, и тот тоже не преминул похвалить его. Дьякону Ахилле приправил, по его просьбе, шпоры к сапогам, в которых дьякон намеревался ездить верхом в деревню к знакомым. Правда, что шпоры эти жили недолго, потому что встретивший Ахиллу со шпорами протоиерей Туберозов тут же велел эти шпоры отломить; но тем не менее и эти шпоры все-таки тоже были за Пизонского. Потом Пизонский кому починил зонтик, кому полудил кастрюлю, кому спаял изломанные медные

вещи, склеил разбитую посуду, и Старый Город не успел оглянуться, как Пизонский в самое короткое время прослыл в нем самым преполезным человеком. Теперь, кажется, если бы Пизонский сам задумал почему-нибудь оставить Старый Город, так все бы заговорили в один голос: «Нет, как же это мы останемся без Константина Ионыча?» Почтмейстерша, слывшая за большую хозяйку и великую ехидну, даже уж вперед несколько раз публично выражала такое мнение, что без Пизонского в Старом Городе и жить было бы невозможно.

С голоса почтмейстерши в самом скором времени то же самое заговорили о Пизонском и другие.

— Нет, нет, нет, — говорили эти другие, — боже спаси нас остаться без Константина Ионыча! Теперь даже вспомнить это время, как его у нас не было, когда за всяким пустяком, бывало, посылай в губернию, так и не понимаешь даже, как это мы и жили.

Пизонский, может быть, уже должен бы был заботиться о том, чтобы не возбуждать против себя зависти и злословия, но Пизонский вел себя тихо, ровно и, не возносясь своими успехами, не возбуждал и ничьей зависти.

Доброе имя его все росло, и общее расположение к нему все увеличивалось. Расположение это выражалось не одними словами, но и делами. В городе вдруг оказалось несколько лиц, которых стала серьезно занимать мысль о том, как бы прочно устроить здесь быт многополезного Константина Ионыча.

Первая выразила такую заботливость почтмейстерша.

Эта полная животрепещущая дама, которой, как греческого огня, боялись все почтальоны и которой больше всех боялся ее муж, зашла в своей расположенности к многополезному Пизонскому до того, что вменила мужу в непременную обязанность дать Пизонскому место при почтовой конторе.

— Матушка! — начинал, складывая на груди руки, умоляющий почтмейстер, желая этим покорным жестом изъяснить супруге, как трудно создать для Пизонского место при почтовой конторе.

— Что-с? — грозно окликала мужа животрепещущая почтмейстерша, — я этого требую; слышите: *требую?*

— Ангел мой! — еще ниже одною нотою запевал почтмейстер, — но если этого нельзя?

Почтмейстерша посмотрела на мужа холодным, презрительным взглядом.

— Голубчик Дезидерий Иваныч, — обратился на другой день почтмейстер к своему сортировщику, — сделай милость, научи, как бы нам дать в конторе Пизонскому место. Непременно этого требует Агафья Алексевна.

— Ах ты, боже мой! — отвечал сортировщик, и оба они с почтмейстером задумались.

— Разве вот что, — начал, потянув себя двумя перстами за нижнюю губу, Дезидерий Иваныч, — разве посадить его расписываться в получательской книге.

— Вы, ей-богу, министр, — отвечал обрадованный почтмейстер и тотчас же послал сторожа за Константином Пизонским.

Призванный Пизонский и рад и не рад был своему счастью: с одной стороны, его манила прелесть заработка за расписку вместо неграмотных, а с другой, как вспоминал он степень собственной грамотности и особенно брал в расчет долговременное неупражнение в этом капризном искусстве, он не решался взяться за это хитрое дело.

— Робка я, девушка, на пере, — говорил он почтмейстеру.

— Дезидерий Иваныч тебя, Константин Ионыч, поучит; он тебя поучит, поучит.

Пизонский подумал и, поджигаемый безгрешной корыстью, отвечал: «Ну, разве поучит».

Дали Пизонскому место «расписчика», но только не впрок пошло ему это место по протекции. Первый же почтовый день, в который ему пришлось расписываться за неграмотного получателя, был и последним днем его почтовой службы.

— Пиши, Константин Ионыч, — диктовал ему сортировщик.

Пизонский взял в руки перо, сначала его послюнил, потом обмакнул, потом положил на бумагу руку, а на руку налегнул правой щекою, долго выводил пером разные разводы и, наконец, воскликнул: *«Есть!»*

Сортировщик с внятными расстановками начал диктовать: «Оные семь рублей и десять копеек серебром

получил и расписался такой-то, а вместо его, неграмотного, отставной рядовой Константин Пизонский».

Пизонский еще крепче прижал щеку к бумаге и пошел выводить.

На этот раз он рисовал до бесконечности долго; круглые глаза его выпирало от внимательного следования за водящею пером рукою; на лбу собирались капли холодного пота, и все лицо его выражало невыносимую тревогу.

Это продолжалось добрую четверть часа, по истечении которой Пизонский вдруг быстро откинулся на спинку стула, потом вскочил и затрясся, не сводя глаз с своей расписки. Вид его в это время был просто ужасен: он походил на медиума, вызвавшего страшного духа и испуганного его явлением. Сортировщик и почтмейстер заглянули на роковую страницу и тоже остолбенели. На этой странице рукою Пизонского было изображено: «Оние скилбуры и удаст кокеу с рублем почул и распился отстегни на вид Константинтантин...»

Это убийственное для воспроизведения пером имя подняло в душе Пизонского все забытые страдания его сиротского детства; каждое одно из другого вытекавшее «тантинтантин» являлось перед ним новым, злым, насмешливым кобольдом или гномом, и он не выдержал, встал и в страхе затрясся.

— Вот, ангел мой, как он расписался, — говорил через минуту почтмейстер, предъявляя жене испорченную получательскую книгу.

Почтмейстерша не выдержала и улыбнулась, прочитавши Пизонского «скилбуры».

— И «отстегни на вид», — указал ей, обрадованный ее улыбкою, почтмейстер.

— Ну, что ж вы тут такое особенное показываете?

— Да помилуй же, душка: «отстегни на вид». Как же это можно так сказать? В этом ведь просто нет смысла.

— Да, я это вижу, но я все-таки буду о нем самого хорошего мнения, — отвечала почтмейстерша так, как будто она была хорошего мнения о тех, которые к почтовой службе способны.

Этот новый анекдот о Пизонском разошелся по городу; но и он нимало не повредил его незыблемой репутации.

Напротив, Пизонского чуть ли не с этих пор и начали принимать в чиновничьих домах не как ремесленника, а как свободного художника, которому мелочи приказнострочительства даже и неприличны. Его теперь не кормили на кухнях, а сажали на особый стул у двери залы; ему подносили рюмку водки не между пальцами, а на ломте хлеба, и говорили ему в глаза не просто «ты», а «ты, Константин Ионыч». Он до такой степени выдвигался из положения рабочего смерда, что даже сам голова стал посылать ему чаю не в сени, а в молодцовскую, и позволял рассуждать с собою стоя у притолки. И не прошло года, как все заметные люди Старого Города самым незаметным образом очутились друзьями и сторонниками убогого пришельца Пизонского, и ему настала пора сделаться собственником и гражданином.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Принося всем и каждому посильные услуги и втираясь без всяких подобострастных искательств во всеобщее расположение, Константин Ионыч никогда не жаловался на свою судьбу и даже никогда ни слова никому не говорил о своих сиротках. Разве когда кто сам его о них спрашивал: «Ну, как, Константин Ионыч, твои дети?» — то только в таких случаях Пизонский отвечал: «А живут, моя девушка, помаленечку».

— Ты бы, Константин Ионыч, подумал, чтоб дать им какое-нибудь воспитание, — говорили ему барыни.

Пизонский отмалчивался или коротко отвечал:

— Как же, девонька, я думаю.

— Хоть бы ты ко мне их присылал поучиться, — предлагала ему почтмейстерша.

Пизонский и от этого отделывался:

— Дики они у меня, дружок: очень сиротливы; людей не видали; куда им в господском доме!

У Константина Ионыча насчет воспитания сирот были свои планы, о которых он ни с кем не говорил, но которые знал до малейших деталей.

Совесть, не допускавшая Пизонского никому ни на шаг перебивать никакой дороги, изощрила его внимание

к тем бросовым средствам, которые лежат праздными, которые как бы никому ни на что не нужны и не обращают на себя ничьего внимания. Неудача почтовой карьеры еще более убедила Пизонского, что он не может идти путями протекций. Он чувствовал, что ему пригодны одни прямые пути; что для него гораздо удобнее брать в свои руки то, чем небрегли другие и что не даст ему ни недостойной борьбы, ни врагов и завистников.

Пизонский видел, что на нашей просторной земле, на нашей широкой полосе, и нежатой и неоранной, еще нетронутого добра будет и преизбудет на всякую плоть, не щадящую пота своего, и он сделал новый шаг к устройству сирот своих. В одно лето Пизонский явился на сходку в Думу и сказал:

— Не будет ли, господа думцы, вашей милости пустить меня с сиротами покормиться под мост на пустой остров?

— И вправду, — заговорило общество, — пустим их на наш пустой остров. Все равно ведь от этого пустыря никакой пользы нет, — пусть же этою лядою хоть добрый человек пользуется.

И Пизонский безданно и беспошлинно получил в долгосрочную временную собственность пустой остров — царство запустения, бурьяна, ужей и крапивы.

Это приобретение было для Пизонского таким великим счастьем, что он не мог и вообразить теперь кого-нибудь счастливее себя на целом свете. В первый же год по получении в свою власть этого острова он поставил здесь хибарочку, выкопал землянку, окопал ровок и поставил воротцы. На другой год пустынный остров был уже бакшою, давшею Пизонскому с сиротами и хлеб, и соль, и все, еже им на потребу. Зимою Пизонский почувствовал себя даже барином. Он добыл, где мог, различных книжек и научил своих сироток грамоте, и успехи обеих, очень понятливых, девочек были Пизонскому неслыханным утешением. В таком прелестном благополучии, в таком райском житье прошли для нашего Робинзона целые четыре года: семейный мир его не возмущался ничем ни на минуту; дети его подрастали и учились; у него завелись лошадка и тележка, которую он, по любви к искусствам, каждую весну перекрашивал

в новую краску; годы шли урожайные, нечего было и желать больше. Пизонский всеми был почитаем за человека, годного на все и повсюду, и действительно он только не годился в чиновники.

Так Пизонский возник без опеки и без покровительств и уже сам покровительствовал тому, что имеет право на покровительство, — *детству*. Но... всегда ждут нас, где мы не думаем, разные скверные *но*.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В тот приснопамятный год, когда во многих местах России перед осенью во второй раз зацвели в садах вишни и яблони и народ запророчествовал по этому явлению великий мор на люди, отошел в вечность Марко Деев, муж встреченной нами на огороде молодицы Платониды Андревны. В огромной дубовой колоде, с пудовыми свечами, с ладанным курением и гнусливым раскольничьим пением отнесли его на кладбище и сровняли, по обычаю, с землею, которую он протоптал лет полсотни своими сапожищами. Никто особенно не убивался на могиле отошедшего Марка. Вдова его, Платонида Андревна, тихонько поплакала, да старик Маркел Семеныч уронил несколько слезинок. Только всего и было вещественного выражения скорби по этом усопшем. Брат покойника Авенир оставался совершенно равнодушен к смерти своего жестокого брата, тем более что в течение трех последних дней, которые мертвец простоял в доме, старик Маркел Семеныч, начавший, страха ради холерного, прилежать чарочке, раз пять принимался колотить Авенира чем попадя, упрекая его при этом в бесчувственности и говоря, что «вот тебе бы, нерачителю, следовало растянуться, а не брату». Маркел Семеныч, взволновавшись один раз горем утраты, страхом смерти и вином утешения, никак не мог войти в свою форму и не уставал поддерживать себя стаканом. Засыпав сына землею, он и там, на кладбище, выпил за его душу одну серебряную чарочку, роздал там же своею рукою мешок медных денег на помин сыновней души и сел верхом на свои старинные дрожки, запряженные толстою воро-

ною лошадью, а в колени, боком к нему, робко присела овдовевшая невестка Платонида Андревна. Ясные с темной поволокой глаза молодой вдовы были очень мало заплаканы, и чуть только она с свекром выехала с кладбища на поле, отделяющее могилки от города, эти ясные глаза совсем высохли и взглянули из-под густых ресниц своих еще чище, чем смотрели доселе. Словно они только умылись слезой, или словно теперь только они и увидели впервые свет божий. Да именно скорее можно было предполагать, что они теперь только впервые и увидели этот свет. Это говорили не одни глаза красавицы, но и ее белая грудь, которая вздыхала теперь вольно и широко, колышась под кармазинной душегрейкой.

Кто бы теперь только дерзнул напомнить этой пышной розе: *«ты вдовица!»,* чья бы рука налегнула срезать таким напоминанием этот роскошнейший цветок, так сильно протестовавший за свое право цвести, зрение радовать и разливаться ароматом? Нет, самый пламеннейший идеалист не посоветовал бы ей проводить жизнь в воздыханиях о переселившихся в вечность; ее не осудил бы на сожжение с мужем самый фанатический индеец, и если суровый аскет не сказал бы ей: «Жено! вперед отпущаются ти вси грехи», то поэт, глядя в ее детское личико, должен был воскликнуть:

Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!

Даже суровый старик Деев не щунял ее за скудость источников ее слез, и он, возвращаясь с сыновних похорон, прощал невестке земную красоту ее и, поглядев на нее, проговорил только:

— Тебе неловко сидеть, Платонида! Сядь, лебедь, сюда ближе! — С этим старик своею рукою подвинул невестку от кучеровой спины к своим коленям и еще раз добавил: — сядь так.

— Нет, тятенька, ничего мне; мне даже очень прекрасно, — отвечала Платонида Андревна.

— А ты еще попридвинься: так еще будет лучше.

Платонида Андревна в угоду свекру слегка подвинулась. Маркел Семеныч долго смотрел ей на нос, на лоб, на ресницы и, наконец, проговорил:

— Ты, молодица, по муже хошь и плачь в свою меру,

потому что он тебе был муж; ну, очень-то уж ты не убивайся; ты забыта и обижена в моем доме не будешь.

Платонида Андревна легонько поклонилась свекру.

Эта покорная благодарность так понравилась Маркелу Семенычу, что он, слезая у ворот с дрожек, крепко сжал за локоть невесткину руку и еще раз сказал ей:

— Не бойся, моя лебедь, никого не бойся.

За заупокойным столом Маркел Семеныч несколько раз публично заговаривал, что хоша сын его и умер бездетным, но что он, почитаючи его вдову, а свою невестку, желает ей сделать определение и намерен дать ей равную с Авениром часть.

— А может быть даже, — добавлял он, искоса взглядывая на Авенира, — может быть, что в таком буду мнении, что и все ей одной отпишу, как она того заслуживает, потому что ничем я не могу ее укорить и всем я ею доволен, а добро есть мое собственное — кому его захочу отдать, тому и отдам.

Платонида Андревна краснела до самых ушей, не знала, что ей говорить и что думать, и в смущении растерянно кланялась за столом в пояс свекру.

Во все время обеда Маркел Семеныч все себя подправлял, все попивал по чашечке и, наконец, захмелел. Проводив, как мог, гостей, он повалился на диван и только бессмысленно произнес:

— Невестка!

Платонида Андревна с Авениром взяли старика под руки и отвели его в спальню.

— Невестка! — произнес он снова, еще более заплетая языком, когда его положили в постель.

— Что изволите? — спросила его Платонида Андревна; но Маркел Семеныч уж спал и ничего ей не ответил.

Авенир с Платонидой оставили старика высыпаться и разошлись.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Авенир, побродив по огороду, пошел со двора, а молодая вдова села, пригорюнясь, у окошечка. Сурового, неприветливого мужа ей не жаль было, потому что ничего она от него во всю свою жизнь не видела, кроме

угроз да попреков, и никогда ничего лучшего не ожидала от него и в будущем. Но что же и теперь у нее впереди? Что ждет ее, одинокую, вдовую, бесприданную, в ее нынешних молодых годах? А жизнь так хороша, а жить так хочется, так манится, так что-то кружится-кружится перед глазами...

— Эх, чур меня совсем, что это такое мне думается, — проговорила в досаде Платонида Андревна и, сердито почесав одною рукою локоть другой руки, оперлась ею о подоконник и села и стала глядеть, как на карнизе фронтона амбаров сладко целуются с дружками сизые голуби.

Пусто и скучно вокруг; скучно и пусто и на сердце Платониды Андревны.

«Лучше б уж скорей состариться; лучше б я не шла никогда замуж; лучше б меня в монастырь отдали...» — думала она, отирая кисейным рукавом выступавшие на глазах почти детские слезы, и, вздыхая, перекладывала голову с одной усталой руки на другую. Так прошел час-другой, и тяжелый день тихо сгорел перед ее глазами.

В самые густые сумерки к ней вошел Авенир. Он оглянулся по комнате, повесил на колок фуражку, сел против невестки на стул и подал ей на руке кисть винограда.

— Где ты это взял, Авенир? — спросила его Платонида Андревна.

— Лялиным бакалей пришла, так и этого привезли; только, говорят, его теперь есть при этой болезни не годится.

— Отчего не годится? Ну-ка, давай-ка сюда, я погляжу, как не годится.

Платонида взяла виноградную кисть, объела на ней все ягоды, обтерла рукавом алые губы и, выбросив на галерейку за окно пустую кисть, потихоньку засмеялась.

И Авенир и вдова были совершенно спокойны; но обоим им что-то не говорилось.

— Ты где был? — спросила Платонида нехотя своего деверя.

— Так... в проходку немножко ходил, — отвечал Авенир.

— Скучища у нас на дворе такая, что ужасть.

— Да ведь что заведешь делать-то?

— Что ты говоришь?

— Говорю, что что ж, мол, заведешь делать, что скука?

— Мой бы згад: теперь хорошо спать ложиться, — проговорила Платонида Андревна.

— Да и что ж такое.

— Только и всего, что тятенька встанут, надо им чай собрать.

— А вы тогда и встаньте, как он проснется; да он хмелен очень; навряд ли он еще и проснется-то.

— И то послушаюся тебя, часочек какой вздремну покуда так, в платье. Иди-ка ты от меня с богом.

Молодой человек встал и снял с гвоздя свою фуражку. В одно время с ним поднялась с своего места и Платонида и, позевывая, проговорила:

— Ох, господи, чтой-то у меня перед чем-то так локти чешутся?

— На другом месте спать, невестка.

— Еще что ври! на каком это на другом месте спать мне? Это локти к горю чешутся, — добавила она, выпроваживая деверя, и защелкнула за ним дверь на задвижку.

Оставшись одна в запертой комнате, Платонида поставила около покрытого ковром сундука свечу и железный ящичек с трутом, серниками и огнивом, перекрестилась, легла на этот сундук и, утомленная трехдневными хлопотами по похоронам, в ту же минуту крепко заснула.

Ничего во сне не привиделось Платониде Андревне, только все ей сквозь крепкий сон хотелось проснуться, потому что знала она, что нужно напоить свекра чаем, и даже стало ей чудиться, будто свекор ее кличет и говорит ей: «Что ж это ты, Платонида, развалилась, словно белуга разварная! встань же, напой меня, пожалуйста, чаем». И два, и три, и четыре раза все это слышалось Платониде, и, наконец, в пятый раз уже послышалось так явственно, что она вскочила и, сидя на постели, крикнула:

— Сейчас, тятенька, сейчас!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Протерши глаза, Платонида Андревна оглянулась по покою: кругом темнота густая, черного шкафа даже никак не отличишь от желтой стены; на лежанке, впрочем, чуть обозначается блестящий самовар, да длинное полотенце белеется на шнурке, словно мертвец, стоящий в саване.

Платонида Андревна вздула огня, потом запустила руку под сундук и достала оттуда топор, а из угла взяла сухое березовое полено, чтобы нащепать лучинки. Но прежде, чем ударить хоть раз топором по плахе, она подумала: «Да не послышалось ли все это мне во сне? Может, батюшка и спит еще».

Эта мысль заставила молодую женщину взять свечу и выйти в залу.

На больших стенных часах было половина первого. Платонида Андревна потихоньку подошла к двери свекровой спальни и прилегла ухом к створу. В опочивальне старика было тихохонько.

— Это мне, значит, все во сне почудилось, — решила вдова и, зевнув, пошла опять в свою комнату.

Снова запершись на крючок в своей вдовьей спальне, Платонида Андревна поставила свечу на стол против окна и стала раздеваться.

«Ну, да будет же с меня хоть и этого счастья! будет с меня хоть и того, что я хоть в спальне-то у себя в покое поживу одна без него, без привередника», — подумала она и, нетерпеливо сбросив на пол две лишние теперь подушки, развязала юбку и села на постель с такою смелостью, с какою не подходила к ней и не садилась на нее ни разу отроду.

Эта рослая, дородная красавица с душою младенца, с силою мужчины, с грудью, которая должна бы вскормить богатыря, теперь напоминала невиннейшую пансионерку, которая, вознаграждая себя за год стеснения, тешится однодневной свободой отпуска.

Новые ощущения независимости и свободы так переполнили собою младенческую душу и мысли Платониды Андревны, что ей даже не захотелось более спать; да к тому же она и выспалась. Теперь ей хотелось сидеть, думать, бог весть о чем думать, и только думать. Она

так долго не смела ни ступить, ни молвить слова без упрека и без поучения, и вот теперь она одна, никто ее не видит на этой постели, никто ей не скажет: «чего ты тут вьешься? чего егозишь, чего ерзаешь?»

Она пересела еще раз и еще; потом прилегла впоперек кровати и снова привстала и, улыбнувшись на две лежащие на полу подушки, вспрыгнула, постояла, завела назад за голову руки, закрыла глаза и через минуту, раскрыв их, кинулась в страхе в угол постели и задрожала. На верхней подушке покойного Марка, которую шаловливая вдова его сбросила на пол, по самой средине была небольшая ложбиночка, как будто бы здесь кто-то незримый лежал головою. В самом верху над этой запавшей ложбинкой, в том месте, где на мертвецком венце нарисован спаситель, сидел серый ночной мотылек. Он сидел, высоко приподнявшись на тоненьких ножках, и то поднимал, то опускал свои крылышки, словно схимник, осеняющий воскрытиями своей мантии незамкнутую могилу.

Платонида вздрогнула. Серая пыльная тля в мгновение ока истлила ее эгоистическую радость; а этой порой мотылек и еще раз, и два, и три раза тихо коснулся подушки своими крылами, и тихо же снялся, и тихо пропал за окном во тьме теплой ночи.

Вдова быстро встала с постели, спешной рукой затворила за улетевшею бабочкой открытую раму и молвила: «Грех мне! не честь мне; не след мне валять по полу его подушки!»

С этими словами она подняла подушки с полу и положила их на пустую лежанку.

В эту минуту ей послышалось, что у нее за дверью кто-то вздохнул.

Платонида схватила еще торопливее те же самые подушки и, положив их на диван под святые, быстро отошла от них прочь и стала у своей кровати.

Теперь все было тихо по целой комнате, и на полу, и на холодной лежанке, и за запертой дверью, и на постели.

— О, упокой, упокой его, господи, — лепетала себе вдова с чувством теплой признательности к мужу за то, что он умер и оставил ее хоть госпожою этого угла да постели. — Но полно мне полуношничать!

И Платонида стала раздеваться.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Но едва молодая вдова сняла с себя платье, как в мертвой тишине ночи ей опять показалось, что как будто кто-то стукнул рюмкой у шкафика, в котором покойный муж всегда держал под ключом вино и настойку. Платонида Андревна, стянув с себя половину чулка, подождала и, не услыхав более ни одного звука, подумала: верно, это возятся мыши.

Успокоив себя таким предположением, молодая женщина сдернула с себя чулки и подошла к стоявшему перед окном маленькому паркетному столику; поставила на него свечу и, лениво потянувшись, стала сменять дневную сорочку. Но чуть лишь она спустила с плеча распущенный ворот, как вдруг ей показалось, что что-то такое темною тенью промелькнуло по галерее мимо самого ее окошка. Ей почудилось, что это словно тень человеческая. Платонида Андревна была впечатлительна, но она сообразила, что это ходит живой человек, а не пришлец из гроба, и в ту же секунду быстро задула свечку и, скорей нахватив на себя ночную рубашку, подумала:

«Однако что ж это за мерзавец стал этот негодный Авенирка! В рожу ему только после этого остается плюнуть».

И она твердо решилась не простить шалуну этой новой его дерзости. Платонида накинула себе на голые плечи старенькую гарнитуровую шубейку, в которой мы ее видели утром разговаривавшую с Авениром на огороде, и притаилась тихо за оконницей. На галерее теперь все было тихохонько, не слышно было ни шума, ни шороха; но Платонида не доверяла этой тишине. Она притаилась и стояла с самым решительным намерением при первом новом появлении под ее окном ночного посетителя распахнуть раму и плюнуть ему в лицо.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Соображения Платониды Андревны не обманули ее: ночной гость не заставил себя долго дожидаться.

Не успела полураздетая красавица и двух минут простоять за оконным косяком, как со стороны галереи,

по темному стеклу окна, тихо выползла сначала одна кисть человеческой руки, потом показался локоть. потом плечо, и, наконец, выдвинулась целая мужская фигура...

Как ни темна была безлунная ночь, только изредка мерцавшая несколькими звездочками, но в комнате стало еще темнее, когда единственное окно совсем заслонила собою подошедшая фигура.

Платонида продолжала стоять тихо, прикрывая накрест сложенными руками белую грудь, в которой крепко стучало и невольно замирало и страхом и негодованием нетерпеливое сердце. Несмотря, однако, на все свое негодование, оскорбленная вдова удерживалась и, утаивая дыхание, ждала, чем это все кончится.

Ночной соглядатай стоял и прислушивался очень долго, наконец, ободренный мертвою тишиною, осторожно тронул пальцами запертые изнутри полы створчатой рамы. Он делал это с большой осторожностью, но делал неловко. Пальцы его беспрестанно соскальзали и черкали ногтями по окрашенной планке рамы. Платонида слегка придвинула к окну свое ухо, и ей стало слышно, что царапавшийся к ней человек тяжело дышит и дрожит всем телом. По мере того как Платонида Андревна, скрепя свое сердце, долее и долее удерживалась, противная сторона все становилась смелее и уже начинала потряхивать раму без всякого опасения и без всякой осторожности.

«Однако этак он, мерзавец, чего доброго, еще может разбудить и свекра», — подумала Платонида Андревна и с неописанным негодованием бросилась к окну, и остолбенела:

Это был совсем не Авенир, а у окна стоял сам ее седой свекор Маркел Семеныч.

Платонида удержала свой порыв и в недоумении опустила руки.

Увидя перед собою невестку, Маркел Семеныч на мгновение смутился, но потом что-то глухо забормотал и тихо застучал в стекло косточкою среднего пальца.

— Что вам, тятенька, угодно? — выговорила, стараясь оправиться в свою очередь, и Платонида Андревна.

Старик снова что-то зашептал еще тише; но из этих речей его в комнате не было слышно ни одного слова.

— Не слышу, — сказала Платонида Андревна, прикладывая к створу окна свое ухо.

Маркел Семеныч начал страстно целовать стекло, к которому прилегал локоть Платониды.

Невестка с ужасом посмотрела на свекра и не узнала его. Совершенно седая голова старика, напоминающая прекрасную голову Авенира, была художественно вспутана, как голова беловласого Юпитера; глаза его горели, и белая миткалевая рубаха ходила ходенем на трепещущей груди.

— Лебедь! лебедь! — шептал ошалевший старик, царапаясь в окно невесткиной вдовьей спальни, как блудливый кот в закрытую скрыницу.

— Я, тятенька, сейчас вам поставлю самовар, — проговорила, отодвигаясь от окна, смущенная Платонида Андревна.

— Нет, ты самовара не ставь... Мне не надо самовара... Ты мне отопри... впусти меня... я тебе одно дорогое слово скажу... одно только слово...

— Ну, дай час, тятенька, я враз оденусь.

— Нет, нет, нет, зачем тебе одеваться?.. тебе и одеваться не надо: ты не одевайся; ты отопри скорей... отопри...

— Да я, тятенька, в одной блошнице!

— Ну так что ж что в одной блошнице!.. Мы ведь с тобой не чужие... Отопри на минутку, — настаивал беспокойно, суетясь на одном месте, старик.

Платониде стало страшно, и она бросилась в сторону, но только лишь белое плечо ее сверкнуло в темноте ночи перед глазами Маркела Семеныча, как медный крючок, запиравший раму, от сильного толчка полетел на подоконник и рама с шумом распахнулась, а обе руки свекра схватились за тело невестки.

— Тятенька! тятенька! да что же это такое? — закричала, отчаянно вырываясь, Платонида Андревна; но свекор, вместо ответа, рванул сильной рукою врозь ее руки и впился горячими губами в ее обнаженную грудь...

— Блудня! прочь от меня! — вскрикнула с омерзением Платонида, почувствовав на своей груди трясущуюся сухую бороду свекра.

Уразумев теперь, наконец, настоящий смысл его посещения, она с азартом запустила обе свои руки в белые

волосы старика и оттянула его голову от своей груди. В это же самое мгновение она почувствовала, что крепкие, жилистые руки свекра растерзали ее холщовую рубашку, и Платонида, почти нагая, очутилась в объятиях распаленного старца.

— Авенир! — вскрикнула она, но старик перехватил ей горло и стал целовать ее в губы.

Он был очень силен, и Платонида напрасно молила:

— Батюшка, смилуйся! я от тебя этого стерпеть не могу!

Маркел Семеныч только крепче обнял стан невестки и, прошептав: «со мной — не с чужим», перенес в комнату через подоконник свою ногу.

Платонида воспользовалась этим движением — юркнула из-под рук свекра на пол, и в руке ее вдруг блеснул топор, которым она за час перед этим собиралась щепать лучину. В одно мгновенье топор этот звякнул, вонзился в столб галереи, и в это же самое мгновение Маркел Семеныч тяжело ряхнулся навзничь и застонал...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Бросив топором в свекра, Платонида Андревна была уверена, что она убила старика. В немом ужасе она выскочила из своей комнаты, перебежала двор, остановилась у задних ворот и, тяжело дыша, схватилась за сердце. В тишине ночи до ее слуха долетело прерывистое хрипение. Платонида Андревна дрожала: в ушах ее раздавались резкие, свистящие звуки, как будто над самою ее головою быстро проносилась бесчисленная стая куропаток; крыши и стены зданий шатались, и откуда-то капала кровь; острог, страшное, бесчеловечное наказание, вечная каторга — все разом, как молния, пронеслось пред мысленными очами вдовы, еще так недавно мечтавшей о жизни, и заставило ее встрепенуться с отчаянной энергией. Она запахнула около груди шубейку, тихо выползла в подворотню на огород, с огорода перебралась, через тын, за город и, ударившись бежать задами, пропала в темноте ночи.

Между тем Маркел Семеныч тяжело хрипел, лежа на галерее. Удар Платониды Андревны минул его седой головы; но он минул ее лишь только потому, что за терцию до этого удара две сильные руки Авенира схватили отца сзади и бросили его на пол в то самое мгновение, когда блеснувший топор, слегка поранив плечо старика, глубоко завяз в дереве. Маркел Семеныч не чувствовал ни своей вины, ни своего стыда и унижения. Теперь не было ни страсти в его крови, ни негодования в его сердце, ни силы в мышцах. Старая плоть его, распалясь вином и взыграв сластью желаний, сразу упала до совершенного бессилия. Так оцепеневший под снегом овраг порою взыграет при мартовском солнце, зашумит быстрым подснежным потоком и, сбежав, обессиленный рухнет всей своею массою на холодное днище.

Не видя со стороны отца никакого сопротивления, Авенир подержал его на полу и потом освободил, а сам молча скрылся. Старик, оставшись один, опомнился не скоро и не вдруг почувствовал униженное состояние, в котором теперь находился.

О побеге Платониды Андревны ни он, ни Авенир не знали во всю ночь. Оба они думали, что невестка заперлась у себя в кладовой на вышке. Первый в доме хватился ее на другой день Авенир. Он долго искал ее и нигде не нашел. Старик Маркел Семеныч заперся у себя и не показывался.

Платонида Андревна сгинула. Нигде не могли найти никаких ее следов, и пропажа ее сделалась причиною больших несчастий для того, кто менее всех был в ней повинен.

Вынужденный объяснять чем-нибудь пропажу невестки и не уверенный, чтó она сама станет рассказывать в случае ее отыскания, Маркел Семеныч завершил ночь безумия своего клеветою, что Платонида с Авениром хотели его убить и ограбить, и показал свою рану. Этим старик мстил и сыну и невестке и разом отделывался от них обоих. Авенира взяли в тюрьму, а полицейским розыском, поднявшимся по случаю пропажи Платониды Андревны, было обнаружено, что ночные водоливы, работавшие в ту ночь на одной чинившейся барке,

видели, как кто-то весь в белом, не то женщина, не то, еще вернее, ведьма шибко пробежала по берегу и вдруг где-то исчезла. Двое из водоливов говорили, что ведьма скинулась рыбою и бросилась в воду, а двое других, напротив, утверждали, что они ясно видели, как она переплыла в рубашке речку и вышла на бакшу к Константину Пизонскому.

Пизонского заподозрили в укрывательстве деевской невестки; его обыскивали, допрашивали, посадили в острог и, вероятно, присудили бы к ссылке. Хотя Константин Ионыч на все делаемые ему вопросы только и отвечал следователям, что «ничего я этого, милые, никогда не знала и не ведала», но было ясно, как солнце, что в целом мире, может быть, лишь один Пизонский и знал, куда делась пропавшая деевская невестка. И судьи и обыватели города живо чувствовали, что для разъяснения всего неразгаданного дела только и нужно, чтобы разомкнулись молчаливые уста Константина Пизонского. Судьи утверждали, что старогородский Робинзон лжет, отпираясь от всякого участия в исчезновении Платониды Андревны, и что он, может быть, и сам прикосновенен к покушению на жизнь старика Деева. Не отрицал и народ, что Константин Ионыч лжет, повторяя свое «не знаю, не ведаю»; но народ был уверен, что Пизонский лжет, покрывая чужой грех. Хорошо это или нехорошо, народ не строго разбирает и верит, что «есть ложь во спасение».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

По этому делу Константин Ионыч сидел в тюрьме и освобожден с оставлением в подозрении, но ничего к обнаружению Авенира и Платониды от него не узнали. Впоследствии же говорили и несомненно верили, что Платонида никуда далеко не уходила, а была скрыта у скитниц и что появившаяся затем в этом ските «провидущая» старица Иоиль была эта же самая Платонида. Она «выплакала очи» и была слепа — ходила ощупью с палочкой, а в глазных впадинах у нее были вставлены «образочки». Об Авенире говорили, что он, будучи сдан в солдаты, вышел «большой воин на Кавказе» — заслу-

жил себе «чин и крест» и при отменной своей красоте женился на генеральской дочери. Один раз он приезжал будто в Старый Город, и ходил в скит, и видел старицу Иоиль, а она его видеть не могла, но по голосу узнала и вздрогнула, а по голове руками пошарила и спросила:

— Покаянная ли теперь сия глава или еще не раскаянная?

Авенир отвечал:

— Покаянная.

— Вот и хорошо, — сказала старица Иоиль, — окорми разумом путь свой к пристанищу благотишному, — и затем добавила:

— А теперь прощай, с богом, навеки.

Викентию Коротынскому

ЖИТИЕ ОДНОЙ БАБЫ

(ИЗ ГОСТОМЕЛЬСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ)

Ивушка, ивушка,
Ракитовый кусток!
Что же ты, ивушка,
Не зелена стоишь?
— Как же мне, ивушке,
Зеленой быть?
Срубили ивушку
Под самый корешок.

Русская песня

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Маленький мужичонко был рюминский Костик, а злющий был такой, что упаси господи! В семье у них была мать Мавра Петровна, Костик этот самый, два его младшие брата, Петр и Егор, да сестра Настя. Петровна уж была-таки древняя старуха, да и удушье ее все мучило, а Петька с Егоркой были молодые ребятки и находились в ученье, один по башмачному мастерству, а другой в столярах. Оба были ребятки вострые и учились как следует. Дома оставалась только сама Петровна с Настей да с Костиком. Все они в ту пору были еще крепостными и жили в господском дворе. Панок их был у нас на Гостомле из самых дробных; всего восемнадцать душ за ним со всей мелкотой считалось, и все его крестьяне жили тут же в его дворе на месячине, — земли своей не имели. Житье было известно какое — со всячинкой; но больше всего донимала рюминских крестьян теснота. Пускай правда, что мужик не привык к кабинетам — всё

у него в одной избе, — да по крайности там уже всё своя семья, а тут на рюминском дворе всего две избы стояли, и в одной из них жило две семьи, а в другой три. Теснота, ссоры промеж себя, ябеда с сердцов друг на друга, сквернословие, — такое безобразие шло, что не приведи бог! Дети тут так и росли в этой срамоте, и Костик тут вырос, глядючи, как покойный отец сухотил весь век свою жену, пока не вогнал ее в удушье. А Мавра Петровна отличная была женщина. Она была взята из однодворок и пошла в крепость с нужды горькой, потому что у нас в округе иные вольные в ту пору еще хуже крепостных живали: бедность страшная. Старик Минаич рассказывал, что в молодые годы Петровна была первая красавица по всему Труфанову, и можно этому верить, потому что и в пятьдесят лет она была очень приятная старуха: росту высокого, сухая, волосы совсем почти седые, а глаза черные, как угольки, и такие живые, умные и добрые. Доброте ее меры не было: всем она все прощала. Муж ее тиранил, увечил, и пьяница к тому же был; а она, как овечка божия, все ему угождала, и слова от нее на мужа никто не слыхал. Все, бывало, его ублажает: «Антонович да Антонович, такой-сякой немазаный, утихомирься ты, перекрестись, испей водицы!» Ни жалобы, ни свары от нее он никогда не видал. А как помер ее муж, так она его оплакала горькими слезами и на могилку все ходила и голосила голосом: «Касатик ты мой миленький! на кого же ты меня покинул? Кто меня приголубит? Кто меня пожалеет?» Словно как и в самом деле она от него жалость какую в своей жизни видала.

Как умер Антоныч, Мавра Петровна сама стала о детях печалиться. От Костика ей никакого почтения не было: разбойник разбойником вышел. Видит Петровна, что никакого пути так не будет, упросила своего панка отдать Петьку и Егорку в ученье по мастерству. Панок согласился — ему это выгодно было, потому что он малоземельный был, а мастеровой человек больше может оброку платить. Насчет же воли теперешней тогда хоть и ходили у нас слухи, да только никто ей не верил, ни господа, ни крестьяне. Скажешь, бывало, кому: «Вот скоро воля будет», — так только рукой махнет: «Это, — говорили, — улита едет, — когда-то будет!» Отвела Петровна своих сыновей и сама их к местам определила: Петьку на

четыре года, а Егорку на шесть лет. У нас не берут на короткие сроки, потому что года два сначала мальчика только «утюжат», да «шпандорют», да за водой либо за водкой посылают, а там уж кой-чему учить станут.

Как вернулась Петровна домой, стала она думать и о Насте. А Насте в ту пору уж семнадцатый годок пошел. Вся она была в мать и характером в нее пошла, только еще, кажется, была безответнее. Собой она была не красавица, никто на нее не заглядывался, а таки пригожая была девушка. Высокая была, черноволосая, а глаза черные, щечки румяные, губки розовые; сухощава только была, тем и не нравилась, не зарились на нее ребята. У нас все в моде, чтоб девка была, что называется, «размое-мое», телеса чтоб были; ну, а у Насти этих телес не было, так ее и звали Настька-сухопарая. У нас все всякому своя кличка пригожена, и мужикам, и бабам, и девкам: Гришка-жулястый, Матюшка-раскаряка, Аленка-брюхастая, Анютка-круглая, Настька-сухопарая — всё так. Иной раз за этими кличками и крещеное имя совсем забудут. Зовут все девку «круглая» да «круглая», а как придется по имени назвать — никто и не знает. И клички же бывают! От иной с души мутит, а иную и сказать срамно; а с привычки-то ничего. Впрочем, Настя не то чтобы уж кащей костлявый была, только телес этих много не имела, а то ничего — девка была пригожая.

Думала, думала Петровна, что ей с Настей делать? и надумала просить свою пани, чтобы та взяла ее в горницу. В магазин в ученье Петровна боялась отдать дочку. «Девка безответная, — думала она, — только ленивый ее не набьется; а там еще подведут под такое, что «за срам голова згинет», — не отдала. «В хоромах все-таки лучше; по крайности на глазах у меня, а от сквернословия от здешнего подальше». Так и сделала. Стала Настя днем жить в комнате у барыни, а ночевать ходила к матери. Чулан тут у них в сенях был из дощечек отгорожен в уголке; там их рухлядь кое-какая стояла: две, не то три коробки, донца, прялки, тальки, что нитки мотают, стан, на котором холсты ткут, да веретье — больше у них ничего не было. В этом чуланчике они спали лето и зиму. У нас в Гостомле есть много народу, что от тесноты в избах целую зиму спят по чуланам да по пунькам либо по подклетям. Чуланчики такие, вроде деревенских часовен,

погородят из хворостового плетня, либо просто на дворе, либо под сараем, и это называют «пуньками». Как женится кто в семье, сейчас и заводится такой пунькой — для молодой жены. «Вот, мол, тебе, касатка, удобьице! живи, радуйся, назад не оглядывайся!» И живут в этих апартаментах, пока детвора пойдет. А тогда уж с ребятками на зиму мать переходит в избу. Тут и старики, тут и муж с женой, тут и девушки взрослые, все это и на виду и на слуху, — такое безобразие. А куда денешься-то? Тут оно и «снохачество» это у нас заводится, тут и дети невесть чему до поры до времени поизучиваются, а опять-таки подеться некуда! Теснится народушко на просторной Руси, и трудно ему рассмотреть в волоковое окно свои нечисти.

Костик спал в господской конюшне. Говорили, что он там коммерцией занимался: овес у лошадей выгребал да продавал; жеребца господского на гуменник выводил к крестьянским кобылам, — по полтиннику за лошадь брал. У нас охотники до лошадей, и коневье все рослое у мужиков; а жеребцов не держат, потому что беспокойства с ними много; ни пахать на нем, ни в табун его выпустить нельзя. Да и в дворе тоже кому за ним смотреть? Иную пору в дворе остаются одни бабы, — где им водиться с жеребцом? — ни вывесть его, ни запречь. Вырвется, других переранит и сам изранится, а то и совсем еще забежит. А у нас народ теплый, «в глазах деревня сгорит». Об нас по целой по России ходит поговорка, что «Орел да Кромы — первые воры, а Карачев на придачу». А что по обапольности, так наших мужиков было распоряженье и на ярмарки не пускать, потому что купцы даже ездить отказывались. Баловство было большое в нашем народе, и исстари-таки оно трясется у нас на Гостомле. Но я в другой раз расскажу, как и отчего все это распочалось и выросло. Теперь говорю только, что у нас воровство, кажись, и за грех не почиталось; а если кто неловко украдет да поймают, так до суда редко доходило, сейчас свой суд короткий: отомнут ребра, так что век не человек, да и пустят на карачках ползать. Сами о себе гостомельцы, бывало, говорят: «Наш народ шельма прожженная».

Так и жил Костик и держался от семьи, словно волк какой, все стороною, особничком. Правда ли, не правда

ли, что он торговал и овсом, и водкой, и господскими жеребцами, бог его знает, потому что в маленьком хуторе все один другого поедом ели, избрехались, несли друг на друга всякую всячину, — а только деньги у него были. Толковали, что рублей со сто он имел, и надо полагать, что это правда, потому что дворник с курского шоссе ему был должен и кузнец с почтовой станции. Это все знали, потому что Костик и с дворником и с кузнецом тесную компанию водил; а он не любил зря с кем попало компанствовать. Не то чтобы он горд был или чванлив, а так все любил знаться с теми, с кем можно дела какие-нибудь делать. Спроста он ничего не делал. По обапольности у него все было знакомство с садовниками, да с шинкарями, да с дворниками с большой дороги, да с мельниками — всё с таким народом. С своими он был неразговорчив, разве только как пьяный вернется, так кому-нибудь буркнет слово; а то все ходит понурою да свои усенки покусывает. Обшивала и обмывала его Настя, а почету ей или хоть внимания, хоть слова ласкового никогда от него не было.

Вздумал Костик жениться на двадцать шестом году. Он был старше Насти лет на восемь. Выбрал он себе жену отличную, звали Аленой. Она была из соседнего хутора, из крестьянской семьи. Смиренная была девушка и работящая. Сделалось это дело; привез Костик молодую жену от венца в барской бричке и стал жить с нею в том чуланчике, где мать с сестрою жили. Остепенился будто сначала, а тут дочь у него родилась, да неблагополучно. Бог ее знает, чем-то повредила бабка Алену при родах. Ребенок медленно шел, так она повела Алену в печку, спаривала там ее, встряхивала, косу ее заставляла жевать, изгадила бабу так, что никуда она не стала годиться. А у нас в городе жил старичок, к купечеству он был приписан, но ничем не торговал, а занимался леченьем; звали его Сила Иванович Крылушкин. Удивительный был старичок: добрый такой, что и описать нельзя. Про его доброту святую целая губерния знала. И такой он был благообразный, такой миловидный, что, бывало, как положит он кому-нибудь на голову свою бледную руку, так и хочется поцеловать эту руку. Точно патриарх святой. В лечении он был очень искусен, и больных к нему навозили с разных сторон, из сел и из горо-

дов. Лечил он всех у себя в доме, и все больше одними травами, которые сам и собирал весною. От всяких болезней лечил Сила Иванович и всегда успешно. Народ говорил, что «Крылушкину бог помогает», и верил в него как в слугу божьего. Мавра Петровна тоже знала про Крылушкина и не раз у него бывала. И стала она приставать к сыну: «Свези да свези ты жену к Силе Ивановичу». А он все отпирается, что денег нет.

— Бога ты, Костя, не боишься! Денег у тебя для жены нет. Неш она у тебя какая ледащая, или не тебе с ней жить, а соседу? Глянь ты: баба сохнет, кровью исходит. Тебе ж худо: твой век молодой, какая жизнь без жены? А еще того хуже, как с женою, да без жены. Подумай, Костя, сам!

Думал, думал Костик и надумался. Разобрал, что худо жить с больной женой — невыгодно. Повез Алену к Крылушкину. Вернулся оттуда злющий-презлющий, — денег ему жаль было, что отдал за жену Крылушкину. А и денег-то всего Крылушкин двадцать пять рублей на ассигнации взял. У нас и до сих пор народ все еще на ассигнации считает. Не говорят, например, «рубль серебром», а «три с полтиной старыми». Стал Костик без жены все разъезжать по ночам верхом на барской лошади к своим приятелям по обапольности, и познакомился он у почтового кузнеца с однодворцем Прокудиным. Прокудин был человек пожилой и достаточный: имел он у себя одиннадцать лошадей, которых посылал в извоз, и маслобойню, на которой бил конопляное масло. Дело это у нас очень выгодное, потому что конопли кругом море, а мужички народ и недостаточный и таки беззаботный. Выдерет конопли, обмолотит, ссыплет в анбарчик, и черт ему не брат, — цены своему товару не сложит. Купцы, зная это, уж и не ездят в деревни, пока не станут чиновники собирать подушных. Потому что не укупишь тут у мужика ничего. Пойдет один на другого опираться: «Да мы-ста не знаем; да какие цены, бог е знает; как люди, так и мы. Вон наши большаки еще не продавали». Только от них и добьешься. А как потребуют подушное, так тут забирай у них, по чем хочешь. Купцы на этом большую пользу для себя имеют; но больше в этом деле корыстуются свои сельские большаки, то есть этакие богатенькие мужички, что капиталец кой-какой имеют или

свои маслобойни. Прокудин был не из самых богатых: только еще на разживу пошел. Собрал деньжат с извоза и маслобойню выстроил, а на торговлю-то уж не осталось. Он бил масло из чужой конопли из-за платы да из-за жмыха. Плата у нас за выбивку масла пустая, потому что много уж очень маслобоен, но жмых дорог в хозяйстве: им и лошадей кормят и свиней, да и люди его, по нужде, к муке подмешивают. Однако дело это с маслобойней не тешило Прокудина. Все хотелось ему так же, как другие, бить масло из своей конопли, потому что тут барыша бывает рубль на рубль.

— Так-то бы оно, Константин Борисыч, было бы, к примеру, антиреснее, — говорил он Константину, сидя с ним за штофом у почтового кузнеца.

— Это точно, что глаже было бы, — отвечал Костик.

Смекнул это дело Костик, отобрал свои деньги с процентов у кузнеца и у дворника, и составили они с Прокудиным компанию. Прокудин был темный мужик, ну да и Костик не промах. Попытали они было сначала друг друга за дверь вывести, да и бросили, увидавши, что нашла коса на камень. Дело у них с самого с зимнего Николы пошло крупное — на рубль два наживали. Костик всякий вечер уходил на маслобойню и по целым ночам там сидел. Учитывал он Прокудина лучше любого контролера. Так прошла зима, свезли масло в Орел, продали его хорошей ценою, поделили барыши, и досталось Костику на его долю с лишком двести рублей. Стали мужики соседние Костику кланяться и стали его называть Константином Борисычем. Алена тем временем выздоровела и домой вернулась, только все молилась мужу: «Не тронь ты меня, Борисыч; дай мне с силой собраться». Это Костика сердило, и все он попрекал жену ее леченьем. А она, я вам сказал, безответная была — все молчала. У нас много есть таких женщин по селам, что вырастает она в нужде да в загоне, так после терпит все, словно каменная, и не разберешь никак: не то она чувствует, что терпит, не то и не чувствует. Настя тоже была терпеливая, только эта все горячо чувствовала. Бывало, скажет ей Петровна: «Плоха я становлюсь, Настасьюшка! На кого я тебя покину? Хоть бы мне своими руками тебя под честно́й венец благословить». А она так и побледнеет: «Живи, — говорит, — матушка! живи ты; не

хочу я замуж; я с тобою буду». — «Дитя ты мое глупое!» — скажет, бывало, Петровна, да и закашляется. Совсем стало ее одолевать удушье, а осенью, как начались туманы да слякоть, два раза так ее прихватило, что думали, вот-вот душа с телом на ро́сстали. Снежок в эту осень рано выпал; к Михайлову дню уж и санный путь стал. На Михайлов день у нас праздник. Петровна выпросила у барыни Настю, и пошли они к обедне, и Костик пошел, только особо, с мирошником Михайлой. В церкви, как отошла обедня, Прокудин запросил их к себе на обед. Петровна было отказывалась: «Дело, — говорила, — мое слабое, где мне по гостям ходить? Благодарим на добром слове, на привете ласковом!» Но Костик глянул на мать, глянул на сестру, они и пошли. Сестра его страсть как боялась, а мать хоть и не боялась, но часто по его делала, «абы лихо спало тихо». Зашли все к Прокудину. Угощенье было богатое: пироги, щи со свежиной, похлебка с потрохами, гуси жареные, солонина духовая с хреном, гусиные полотки, а после закуски разные: орехи, подсолнухи, столбики с инбирем и круглые пряники, а детям коньки пряничные. При этом, разумеется, было и выпито вдоволь и водки, и пива, и домашней браги, и меду сыченого. Костик так нахлебтался, что на ногах не стоял и молол всякий вздор. Настя с молодками да с девушками на верхнем полу сидели. Ее всё расспрашивали, что да как там у вас в господском доме? Какие порядки? Кто ябедой или переносами занимается? Какова невестка? Гуляет она с кем или нет? Но у Насти, бывало, ни о ком худого слова не вытянешь. Тихая была девка и на словах будто не речиста; а как нужно увернуться, чтобы кого словом не охаять, так так умела она это сделать, что никому и невдомек, что она схитрила. Петровну Прокудин усадил в красный угол и все за ней ухаживал и дочерей к ней подводил, и внуков, и сына Григорья. Григорью было лет, двадцать. Несуразный он был парень: приземистый, голова какая-то плоская, нос крошечный с пережабиной и говорил так гугняво, неприятно. В деревне все считали его дурачком и звали Гришкой-лопоухим. «Вот мой и наследник! — сказал Прокудин, указывая Петровне на Гришку. — Вот для кого и бьюсь и стараюсь. Умру, с собой не возьму ничего, все ему останется».

Вечером запрег Прокудин сани и отправил гостей домой; лошадью правил Гришка, а Костик пьяный во все горло орал песни, и все его с души мутило. Рада была Настя, что домой вернулась; надоело ей это гостеванье и пьянство. К работе мужичьей она была привычна, потому что у нас мелкие панки в рабочую пору всех на поле выгоняли, даже ни одной души в доме не останется. Настя умела и жать, и гресть за косой, и снопы вязать, и лошадью править, и пеньку мять, прясть, ткать, холсты белить; словом, всю крестьянскую работу знала, и еще как ловко ее справляла, и избы курной она не боялася. Даже изба ей была милее, чем бесприютная прихожая в господской мазанке; а безобразие, пьянство да песни пьяные страсть как ее смущали. Она очень любила, коли кто поет песню из сердца, и сама певала песни, чуткие, больные да ноющие. Большая она была песельница, и даже господа ее иной раз вечером заставляли петь. Только она им не пела своих любимых песен, эти песни она всё про себя пела, словно берегла их, чтоб не выпеть, не израсходовать. Пойдет, бывало, за водою к роднику, — ключ тут чистый такой из-под горки бил, — поставит кувшины под желоб, да и заведет:

Из-за бору, бору зеленова
Протекала свет быстрая речка;
Стучала, гремела по ка̀меньям острым,
Обрастала быстра речка калиной, малиной.
На калиновом мосточке сидела голубка, —
Ноженьки мыла, полоскала,
Сизые перышки перебирала,
Бедную головушку чесала,
Расчесав головушку, взворковала:
«Завтра поутру батюшка будет...
Хоть он будет иль не будет, тоска не убудет:
Вдвое, втрое у голубки печали прибудет».

II

Ноябрь уж приходил к концу, началась филиповка; дорога стояла отменная; заказано было собирать подушное. Костик все чаще навещал Прокудина; сидели, водочку вместе попивали, а о деле, насчет конопли, ни слова. Костик все мостился к Прокудину опять в компанию,

а прямо сказать не хотел, потому что знал, какой Прокудин прижимистый. Прокудин тоже молчал. Костиков капитал ему бы и крепко теперь был к руке, да на уме он что-то держал и до поры до времени отмалчивался. Костик видел, что Прокудин неспроста что-то носом водит, а разгадать его мыслей никак не мог. Надоело ему это до смерти, злился он, как змей лютый; а все по вечерам заходил к Прокудину. Стали большаки конопельку ссыпать, и Прокудин возов с пяток ссыпал. Видит Костик, что дело без него обходится, не стерпел, пошел к Прокудину. Пришел вечером, а Прокудина дома нету.

— Где Исай Матвеич? — спросил Костик.

— Нетути, родимый! у масляницу пошел.

Пошел и Костик в масляницу.

— Здравствуй, Матвеич!

— Здравствуй, Борисыч!

— Помогай бог.

— Спасибо.

— Аль пущать масляницу задумал?

— Хочу пущать в четверг.

— Доброе дело.

— Что господь одарит.

— Матвеич! вечерять пора. Ужинать собрали, — крикнула через окно жена Прокудина.

— Ладно. Вечеряйте, мы после придем; а ты, Гришутка, иди; я сам тут печку покопаю.

Григорий встал, закинул в печку новую охапку прошлогодней костры, передал отцу óжег, исправлявший должность кочерги, и вышел. Прокудин почесал бороду, лег на костру перед печкою и стал смотреть, как густой, черный дым проникал сквозь закинутую в печь охапку белой костры, пока вся эта костра вдруг вспыхнула и осветила всю масляницу ярким поломем.

— Ух! шибнуло как, — сказал Прокудин, заслоня от жару ладонью свое лицо.

Костик ничего не ответил на это замечание, только встал, закурил свою коротенькую трубочку, лег возле Прокудина на брюхо и пристально в него воззрился.

— Что ж, как, Матвеич? — спросил Костик.

— Ась!

— Как, мол, дела-то будут?

— Какие?

— Да известно какие, по маслобойке.
— А уж как господь приведет.
— Вместе, что ли, опять будем?
— Эт-та с тобой, что ли?
— Ну да.
Прокудин задумался. Костик раза два курнул, сплюнул и опять спросил:
— Ну, как же?
— Да оно бы, известно, ничего; да...
— Что?
— Дела вон ишь ты какие.
— Какие ж дела?
— Всё брешут: то на бар, то воля; в степи, пожалуй, погонят. Кто его знает-то!
— Это всё пустяки! — отвечал Костик, ясно понимавший, что Прокудин увертывается от прямого ответа.
— Пустяки, пустяки, а иной раз, гляди, на экую штуку наскочишь. Я это тебя ж пожалеючи говорю.
— Ты вот что, Матвеич! Ты не михлюй, а говори дело: хочешь али не хочешь компанию опять иметь?
— Да не гожо, чудак ты этакой!
— Стало, не хочешь?
— Вот пристал!
Костик поднялся, взял с лавки шапку и сказал:
— Ну, на том прощенья просим, Исай Матвеич!
— Постой! Куда ты? — крикнул Прокудин.
— Ко двору пора.
— Постой, сичас Гришка придет, пойдем повечеряем; хоть выпьем по крайности вместе.
— Нет, пойду ко двору.
— Экой неуломный!
— Прощай!
Костик ушел и целую неделю не приходил к Прокудину. Прокудин пустил в ход маслобойню и закупал богатой рукой коноплю. Костик все это слышал и бесился. Масло стояло высоко, а коноплю Прокудин забирал без цены: барыши впереди были страшные. Думал было Костик обратиться к кому-нибудь другому из мельников, да все как-то не подходило, и капитала ему всем не хотелось оказывать. А барыши прокудинские ему в горле стояли. Прокудин тоже боялся, чтобы Костик не подсударил своего капитала кому другому, и не спускал его

с глаз. Капиталу у Прокудина тоже невесть что было в сборе; он только нарочно подзадоривал Костика большими закупками конопли, а в деньгах на оборот крепко нуждался. Костик же этого никак сообразить не мог и все думал, что Прокудин, должно быть, обогрел его при прошлогоднем расчете, и еще больше сердился.

Прошло этак дней восемь, мужички тащили к Прокудину коноплю со всех сторон, а денег у него стало совсем намале. Запрег он лошадь и поехал в Ретяжи к куму мельнику позаняться деньгами, да не застал его дома. Думал Прокудин, как бы ему половчее обойтись с Костиком? А Костик как вырос перед ним: ведет барских лошадей с водопою, от того самого родника, у которого Настя свои жалостные песни любила петь. Завидел Прокудин Костика и остановил лошадь.

— Здравствуй, — говорит, — Борисович!

— Здравствуй! — отвечал Костик.

— Что тебя не видать?

— Зачем видеть-то?

— Как зачем? Неш все по делу! Можно, чай, и так повидаться.

— Некогда, дядя! — и Костик дернул лошадей.

— Слушай-кась! Постой! — крикнул Прокудин.

— Чего?

— Да вот что! Ты побывай ко мне.

— Ладно.

— Нет, исправда побывай.

— За коим лядом?

— Дело есть.

— Полно шутки шутить!

— Нет, право-слово, дело есть.

— А дело есть, так говори.

— Что тут за разговор на улице.

— Пойдем в избу.

— Бревен там лишних много, в вашей избе-то. Побывай ко мне сегодня. А то, малый, жалеть опосля будешь.

— Да какое там дело?

— Ну, какое дело! Приходи, так узнаешь.

Костик ничего не ответил и повел лошадей; Прокудин тоже хлопнул вожжой и поехал ко двору.

Поужинал Костик, надел тулуп и пошел к Прокудину. Все уж спали; он стукнул в окно масляницы; Прокудин ему отпер. Костик, не поздоровавшись, сел и спросил:

— Ну, какое там дело?

— Погоди, прыток больно. Вот выпьем да капусткой закусим, тогда и дело будет.

Выпили и закусили.

— У меня, брат, нынче все как-то живот болит, — сказал Прокудин.

— Ты говори, дело-то у тебя какое до меня? — отвечал Костик.

— Такое дело, что жаль мне тебя, старого друга: вот какое дело!

— Благодарим, — отвечал Костик совершенно серьезно.

— Право.

— Да я ж тебя и благодарю.

— Хоть мне и не надобен твой капитал и не под руку он мне, — сла-ть господи, свой достаток есть, — ну, одначе, вижу, что надо тебя приютить в товарищи.

Костик молчал. Он смекал, что Прокудин что-то надумал.

— Выпьем-ка по другому, — сказал Прокудин.

Выпили.

— Еще одну.

И еще по одной выпили.

— Только вот что, — сказал Прокудин.

— Что?

— У меня есть до тебя просьба. Да вряд, парень, сослужишь.

— Говори, какая такая просьба?

— А если как сослужишь, то не то, что то есть вот эта конпания, — это: тьфу! (Прокудин плюнул), — а по гроб жизни тебя не забуду. Что хочешь, во всем тебе не откажу.

— Да говори, говори.

— Словом скажу: считаться не будем, как услужишь.

— Да полно калякать-то: говори, в чем дело.

Прокудин воззрился в Костика, помолчал и потом тихонько сказал:

— Парня хочу женить.

— Ну.
— Невесту надоть достать.
— Что ж, есть на примете, что ли?
— Есть.
— Девка?
— Знамо, девка.
— Знамо! А может, вдова.
— Девка.
— За чем же дело стало?
— Да за тобой.
— Как за мной?
— Гришутка парень смирный да непоказной. Из наших ему невест не выберешь: всё сорви-головы девки.
— Стало, из чужих насмотрел?
— Из чужих.
— Дальняя, откуда?
— Нет, сблизу. Да не в том штука. А тебя надо просить: ты парень ловкой; без тебя этого дела не обделаешь.
— Да чия ж такая будет эта девка?
— А вот выпьем, да и скажу.
Выпили по четвертому стакану. В голове у Костика заходило. Он закурил трубку и спросил:
— Ну, чья?
— Да что, брат! не знаю, и говорить ли? И тебе, должно, этому делу не помочь. А уж уважал бы я тебя; то есть вот как бы уважал, что на век бы ты пошел. Только что нет, не сдействуешь ты, — говорил Прокудин, выгадывая время, чтобы Костика покрепче разобрало вино и жадность. — А ты ловок, шельма, на эти дела!
— Да говори! — крикнул Костик. — Знаю я эту девку, что ли?
— Знаешь, — отвечал, прищуривая глаза и улыбаясь, Прокудин.
— Кто ж она такая?
— Честная девка.
— Честная! да откуда?
— Из хорошей семьи, из разумной.
— Как ее звать?
— Настасьею. Догадался, что ли? А по батюшке Борисовной, коли уж ты нонеча недогадлив стал.

Костик захохотал.

— Это-то дело! — вскрикнул он. — Ну, дело! Это дело все равно что сделано.

— Ой?

— Разумеется.

— Не врешь, парень? — проговорил Прокудин, улыбаясь и наклоняясь к Костику.

— Разводи толковище-то!

Они поцеловались, и еще по стакану выпили, и еще, и еще, и так весь штоф высушили. Не мог Костик нарадоваться, что этим дело разъяснилось. Он все думал, что не имеет ли Прокудин какого умысла принять его не в половину, а на малую часть или не загадает ли ему какого дела опасного. С радости все целовался пьяный брат, продавши родную сестру за корысть, за прибытки.

III

Костик недолго собирался. На другой же день он вызвал сестру в чулан и объявил ей свою волю. Девка так и ахнула.

— Это за гугнявого-то? — спросила она. — Что это вы, братец! шутите?

— Не шучу, а ты пойдешь за него замуж. Сегодня Прокудин господам деньги взнесет.

— Я не пойду, братец, — тихо отвечала робкая Настя; а сама как полотно белая стала.

— Что-о? — спросил Костик и заскрипел зубами. — Не пойдешь?

— Не могу, братец, — отвечала Настя, не поднимая глаз на брата.

— С чего это *не могу?* — опять спросил Костик, передразнивая сестру на слове «не могу».

Настя молчала.

— Говори, черт тебя абдери! — крикнул Костик.

Настя все молчала.

— Стой же, девка, я знаю, что с тобой делать!

— Не сердитесь, братец.

— Говори: отчего не пойдешь за Григория?

— Противен он мне; смерть как противен!

— Н-да! Вот оно штука-то! Ну, это вздор, брат. С лица-то не воду пить. Это не мадель — баловаться.

— Братец! Голубчик мой! Вы мне наместо отца родного! — крикнула Настя и, зарыдав, бросилась брату в ноги. — Не губите вы меня! Зреть я его не могу: как мне с ним жить?..

— Молчать! — крикнул Костик и, оттолкнув сестру ногою в угол чулана, вышел вон. А Настя, как толкнул ее брат, так и осталась на том месте, оперлася рукой о кадушечку с мукой и все плакала и плакала; даже глаза у нее покраснели.

— Что тебе, Настюша? — спросила ее Алена.

— Ох, невестушка милая! что они со мной хотят делать: за Гришку за Прокудина хотят меня выдать; а он мне все равно что вон наш кобель рябый. Зреть я его не могу; как я с ним жить стану? Помоги ты мне, родная ты моя Аленушка! Наставь ты меня: что мне делать, горькой? — говорила Настя, плачучи.

Стала Алена и руки опустила. Смерть ей жаль было Насти, а пособить она ей ничем не придумала; она и сама была такая же горькая, и себе рады никакой дать не умела. Села только да голову Настину себе в колена положила, и плакали вдвоем. А в чулане холод, и слезы как падают, так смерзнут.

Костик тем временем переговорил с матерью и с барыней. Мать только спросила: «Каков парень-то, Костюша?» Костик расхвалил Гришку; сказал, что и непитущий и смиренник. «Ну и с богом; что ж косою-то трепать в девках!» — отвечала Петровна. Ей и в ум не пришло, что Настя этого гугнявого и лопоухого смиренника «зреть не может»; что он ей «все равно что рябый кобель», который по двору бегал. Как ее выдавали замуж, так и она выдавала дочь. Только бы «благословить под святой венец». А барыня и еще меньше толковала. Запросила она за девку шестьдесят пять рублей, а сошлись на сорока, и тем дело покончили, и рукобитье было, и запои, — и девки на девичник собрались. Свадьба должна была быть сейчас после крещенья. Недели с три всего оставалось Насте прожить своим житьем девичьим.

Всегда Настя была добрая и кроткая, а тут, в эти три недели, совсем точно ангел небесный стала. И жалкая она такая была, что смотреть на нее никак нельзя: словно

тень ее ходит, а ее самой как нет, будто душечка ее отлетела. Лицо стало такое длинное да бледное, как воск, а черные волосы еще более увеличивали эту бледность. Только материнские агатовые глаза горели скрытым внутренним огнем и выражали ту страшную задавленность, которая не давала Насте силы встать за самое себя. По ночам она все не спала, все ей что-то чудилось. То, бывало, побежит к матери, то бросится в господскую детскую. Там две барышни маленькие спали: одна из них, Машенька (царство ей небесное, умерла уже она), была любимица Настина. Ей всего шестой годочек шел, да понятливая была девочка и чувствительная. Бывало, если отец на кого крикнет или вздумает кого розгами наказывать, по тогдашним порядкам, так она, как ястребок маленький, так перед отцом и толчется: «Плясти, папа! плясти для меня! Я плакать буду, плясти, папочка!» А сама уж в пять ручьев плачет. Так, бывало, и отмолит от наказанья. Все ее люди любили в дворе: «Это наша застоя!» — говорили, бывало. Всякий ее на руки хотел взять, подержать, поцеловать ее маленькую лапку. Всё ей за князя пророчили выйти, а она вышла за еловую домовинку. Настя больше всех, кажется, любила маленькую барышню, и Маша ее любила без памяти. С тех пор как Костик женился на Алене и занял Петровнин чулан, Настя стала спать на войлочке возле Машиной кроватки. Ночью, бывало, и то у них дружба идет. Проснется Маша, сейчас шепотом Настю зовет или сама соскочит в рубашоночке с кроватки да прямо и юркнет к Насте под одеяло, и целуются, целуются, словно любовники молодые или как голуби. Так и заснут, уста к устам прижавши. Настя Машу обнимает, а та ее обхватит своею ручонкою за шею, и спят так, как два ангела божьи. Не раз их так заставала барыня, и доставалось за это на орехи и Насте и барышне, но разнять их никак не могли. Днем тоже Маша вертелась все возле Насти. Зимой Настя тальки по уроку пряла. Две тальки в неделю, по сорока пáсом, в каждом пасме по сорок ниток, и чтобы свернутая талька в барынино венчальное кольцо проходила. Это очень трудная работа, но Настя была первая мастерица прясть. Случился у Насти двугривенный, и купила она за него на ярмарке для Маши маленький гребень с донцем. Такая была радость ребенку! С тех

пор она все с этим снарядом в ногах у Насти на скамеечке мостилась и пряла хлопки. Шутя, шутя выучила ее Настя прясть, и сама, бывало, засмотрится, как та одною лапкою намычку из гребня щепет, а другою ведет нитку да веретенцем маленьким посукает. «Погоди, — говорила Маша, — погоди, Настя, выучусь хорошенько прясть, я тебе стану помогать». Настя схватит ее, целует, целует, та только лепечет: «М-м, задусис, задусис», а сама все терпит и губенками к Настиным губам, как пчелка маленькая, льнет. Отличное дитя было!

В эти дни недели, что оставалось от рукобитья до свадьбы, Настя ко всем как ясочка все ласкалась; словно как прощалась со всеми молча, а больше всех припадала до матери да до маленькой Маши. Жаль было на нее смотреть, так она тяжко мучилась, приготовляясь свой честный венец принять. А Костику и горя мало; ходит — усенки свои пощипывает, а вечерами всё барыши на счетах выкладает да водку с Прокудиным пьет. Сестры он словно и не видит. Другие же и видели, и смекали, и всем жаль было Насти, да что же исчужи поделаешь? Петровна тоже задумывалась, да запои уж пропиты, что ж тут делать? Опять Костика вспомнила, гармидер поднимет, перебьет всех, — так и пустилась на божью волю. «Девка, — думала, — глупа; а там обойдется, и будут жить по-божьему».

Так прошло рождество; разговелись; начались святки; девки стали переряжаться, подблюдные песни пошли. А Насте стало еще горче, еще страшнее. «Пой с нами, пой», — приступают к ней девушки; а она не только что своего голоса не взведет, да и чужих-то песен не слыхала бы. Барыня их была природная деревенская и любила девичьи песни послушать и сама иной раз подтянет им. На святках, по вечерам, у нее девки собирались и певали.

В эти святки то же самое было. Собрались девки под Новый год и запели «Кузнеца», «Мерзляка», «Мужичков богатых», «Свинью из Питера». За каждой песней вынимали кольцо из блюда, накрытого салфеткой, и толковали, кому что какая песня предрекает. Потом Анютка-круглая завела:

Зовет кот кошурку в печурку спать.

Девушки подхватили: «Слава, слава».

Допели песню, и вынулось серебряное кольцо Насти. Смысл песни изъяснять было нечего. Все захохотали, да подсмеиваться, да перешептываться промеж себя стали. Настя надела поданное ей колечко, а сама бледная как смерть; смотрит зорко, и словно как ничего не видит и не слышит. Девки шепнули одна другой на ухо: «Жердочка, жердочка», откашлянулись, да полным хором сразу и хватили «Жердочку». Все это спросту делалось, а Настя как услыхала первые два стиха знакомой песни, так у нее и сердце захолонуло. А девки всё веселее заливаются:

Как по той по жердочке
Да никто не хаживал,
Никого не важивал;
Перешел *Григорий* сударь,
Перевел *Настасью* свет
За правую за рученьку
На свою сторонушку.
На своей на сторонушке
И целует, и милует,
И целует, и милует,
Близко к сердцу прижимает,
Настасьюшкой называет.

Настя встала с места, чтоб поблагодарить девушек, как следует, за величанье, да вместо того, чтобы выговорить: «Благодарю, сестрицы-подруженьки», сказала: «Пустите».

Девушки переглянулись, встали и выпустили ее из-за стола, а она прямо в дверь да на двор. «Что с ней? Куда она?» — заговорили. Послали девочку Гашу посмотреть, где Настя. Девочка соскочила с крыльца, глянула туда-сюда и вернулась: нет, дескать, нигде не видать! Подумали, что Настя пошла к матери, и разошлись. Собрались ужинать, а Насти нет. Кликали, кликали — не откликается. Оказия, да и только, куда девка делася? А на дворе светло было от месяца, сухой снег скрипел под ногами, и мороз был трескучий, крещенский. Поужинали девушки и спать положились, устроив дружка дружке мосточки из карт под головами. Насти все не было. Она все стояла за углом барского дома да плакала. Пробил ее мороз до костей в одном платьице, вздохнула она, отерла рукой слезы и вошла потихоньку через девичью в детскую комнату. Обогрела у теплой печки руки,

поправила ночник, что горел на лежанке, постлала свой войлочек, помолилась перед образником богу, стала у Машиной кроватки на колена и смотрит ей в лицо. А дитя лежит, как херувимчик милый, разметав ручки, и улыбается. «Спишь, милка?» — спросила Настя потихонечку, видя, что дитя смеется не то во сне, не то наяву — хитрит с Настей.

— М-м! — сказала девочка спросонья и отворила свои глазки.

— Спи, спи, душка! — проговорила Настя, поправляя на ребенке одеяльце.

— Это ты, Настя?

— Я, милая, я. Спи с богом! Христос с тобой, матерь божия и ангел хранитель! — Настя перекрестила свою любимицу.

— Посиди, Настя, у меня.

— Хорошо, моя детка. Я так вот над тобой постою.

— Милая! — сказала девочка Насте, обняла ее ручонкой, прижала к себе и поцеловала.

— Какая ты холодная, Настя! Ты на дворе была?

— На дворе, голубка.

— Холодно там?

— Холодно.

— А я сон какой, Настя, видела!

— Какой, моя пташечка?

— Будто мы с тобой по хвастовскому лугу бегали.

— А-а! Ну, спи с богом, спи!

— Нет, послушай, Настя! — продолжало дитя, повернувшись на своей постельке лицом к Насте. — Мне снилось, будто на этом лугу много-много золотых жучков — хорошенькие такие, с усиками и с глазками. И будто мы с тобой стали этих жучков ловить, а они всё прыгают. Знаешь, как кузнечики прыгают. Всё мы бегали с тобой и разбежались. Далеко друг от друга разбежались. Стала я тебя звать, а ты не слышишь: я испугалась и заплакала.

— Горсточка ты моя маленькая! Испугалась она, — сказала Настя и погладила Машу по кудрявой головке.

— Ну, слушай, Настя! Как я заплакала, смотрю, около меня стоит красивая такая... не барыня, а так, Настя, женщина простая, только хорошая такая. Добрая, вся в белом, длинном-длинном платьице, а на голове ве-

ночек из белых цветочков — вот как тетин садовник Григорий тебе в Горохове делал, и в руке у нее белый цветок на длинной веточке. Взглянула я на нее и перестала плакать; а она меня поцеловала и повела. И сама не знаю, Настя, куда она меня вела. Всё мы как будто как летели выше, выше. Я про тебя вспомнила, а тебя уж нету. Ты внизу, и мне только слышно было, что ты кричишь. Я глянула вниз, а тебя там волки рвут: черные такие, страшные. Я хотела к тебе броситься, да нельзя, ножки мои не трогаются. А тут ко мне навстречу много-много детей набежало: всё хорошенькие такие да смешные, Настя: голенькие и с крылышками. Надавали мне яблочек, конфеток в золотых бумажках, и стали мы летать, — и я, Настя, летала, и у меня будто крылышки выросли. А тут ты меня назвала, я и проснулась. Хороший это сон, Настя?

— Хороший, моя крошка, хороший. Спи с богом!

— О чем же ты, Настя, плачешь?

— Так, ни о чем, деточка; спи!

— Зубки у тебя болят?

— Да; спи, спи!

— Нет, скажи, о чем плачешь? Кто тебя обидел?

— Зубки болят.

— Нет, — нетерпеливо сказала девочка, — кто тебя обидел?

— Никто, мой дружок. Так, скучно мне.

— Скучно?

Настя кивнула головой, а глаза полнехоньки слез. Девочка стала ее гладить по лицу ручками и лепетала:

— Не плачь. Чего скучать? Весна будет, поедем с мамой к тете; будем на качелях качаться с тобой. Григорий садовник опять нас будет качать, вишень нам даст, веночек тебе совьет...

— Ах, крошка ты моя несмысленная! Совьет мне веночек Григорий, да не тот, — отвечала Настя и ткнулась головой в подушку, чтоб не слыхать было ее плача. Только плечи у нее вздрагивали от задушенного взрыва рыданий.

— Настя! Чего ты? — приставала девочка. — Настя, не плачь так. Мне страшно, Настя; не плачь! — Да и сама, бедняжечка, с перепугу заплакала; трясет Настю за плечи и плачет голосом. А та ничего не слышит.

На ту пору барыня со свечкой и хлоп в детскую.

— Что это! что это такое? — закричала.

— Мамочка милая! Настю мою обидели; Настя плачет, — отвечала, сама обливаясь слезами, девочка.

— Что это? — отвечала барыня. — Настасья! Настасья! — А та не слышит. — Да что ты в самом деле дурачишься-то! — крикнула барыня и толкнула Настасью кулаком в спину.

Прокинулась Настя и обтерла слезы.

— Что ты дурачишься? — опять спросила барыня.

Настя промолчала.

— Иди спать в девичью.

— Мамочка, не гони Настю: она бедная! — запросила девочка и опять заплакала и обхватила ручонками Настю.

— Иди в девичью, тебе говорю! — повторила барыня, — не пугай детей, — и дернула Настю за рукав.

— Ай! ай! мама, не тронь ее! — вскрикнуло дитя.

Вскипела барыня и схватила на руки дочь, а та так и закатилась; все к Насте рвется с рук.

— Розог, розог, вот сейчас тебе розог дам! — закричала мать на Машу. А та все плачет да кричит: «Пусти меня к моей Насте; пусти к Насте!»

Поставила барыня девочку на пол; подняла ей подольчик рубашечки, да и ну ее валять ладонью, — словно как и не свое дитя родное. Бедная Маша только вертится да кричит: «Ай-ай! ай, больно! ой, мама! не буду, не буду».

Настя, услыхав этот крик, опомнилась, заслонила собой ребенка и проговорила: «Не бейте ее, она ваше дитя!»

Ударила барыня еще раз пяток, да все не попадало по Маше, потому что Настя себя подставляла под руку; дернула с сердцем дочь и повела за ручонку за собою в спальню.

Не злая была женщина Настина барыня; даже и жалостливая и простосердечная, а тукманку дать девке или своему родному дитяти ей было нипочем. Сызмальства у нас к этой скверности приучаются и в мужичьем быту и в дворянском. Один у другого словно перенимает. Мужик говорит: «За битого двух небитых дают», «не бить — добра не видать», — и колотит кулачьями; а в дворянских хоромах говорят: «Учи, пока впоперек лавки укладывается, а как вдоль станет ложиться, — не выучишь», и порют розгами. Ну, и там бьют и там бьют. Зато и там

и там одинаково дети вдоль лавок под святыми протягиваются. Солидарность есть не малая.

Эх, Русь моя, Русь родимая! Долго ж тебе еще валандаться с твоей грязью да с нечистью? Не пора ли очнуться, оправиться? Не пора ли разжать кулак, да за ум взяться? Схаменися, моя родимая, многохвальная! Полно дурачиться, полно друг дружке отирать слезы кулаком да палкой. Полно друг дружку забивать да заколачивать! Нехай плачет, кому плачется. Поплачь ты и сама над своими кулаками: поплачь, родная, тебе есть над чем поплакать! Авось отлегнет от твоей груди, суровой, недружливой, авось полегчеет твоему сердцу, как прошибет тебя святая слеза покаянная!

IV

Перевенчали Настю с Гришкой Прокудиным. Говорил народ, что не свадьба это была, а похороны. Всего было довольно: питья, и еды, и гостей званых; не было только веселья да радости. Пьяные шумели, кричали, куражились, — и больше всех куражился Костик. Он два раза заводил драку, и Прокудин два раза разводил его. Но трезвого, задушевного веселья и в помине не было. Бабы заведут песню, да так ее кое-как и скомкают; то та отстанет от хора, то другая — и бросят. Глядят на молодых да перешептываются. Молодые сидели за особым столом; Гришка был расчесанный, примасленный, в новой свите, с красным бумажным платком под шеей. С лица у него тек пот, а с головы масло, которым его умастила усердная сваха. Гришка был в этот вечер хуже, чем когда-нибудь. Плоские волосы, лоснящиеся от втертого в них масла, плотно прилегли к его выпуклому лбу и обнаруживали еще яснее его безобразную голову. Он вообще походил теперь на калмыцкого божка-болванчика и бессмысленным взором обводил шумную компанию. На молодую жену он не смотрел. Его женили, а ему все равно было, на ком его женили. — А Настя? Настя сидела обок мужа не живая, не мертвая. Даже когда кто-нибудь из пьяных гостей, поднимая стакан, говорил: «горько! подсластите, молодой князь со княгинею», Настя, как не своя, вста-

вала и давала целовать себя Григорью и опять садилась. Ни кровинки не видно было в ее лице, и не бледное оно было, а как-то почернело. С самого утра этого дня она будто перестала мучиться и точно как умерла. Одевали ее к венцу, песни пели, косу девичью расчесывая под честной венец; благословляли образами сначала мать с Костиком, потом барин с барыней; она никому ни словечка не промолвила, даже плачущую Машу молча поцеловала и поставила ее на пол. Посадили ее в господскую кибитку, обвешанную красными платками, и к церкви привезли. В церкви долго ждали попа; все свахи, дружки и поддружья измерзли, поминаются, и Гришка поминает ноги и носом подергивает; а Настя как стала, так и стоит потупя глаза и не шелохнется. Пришел, наконец, поп, и началось венчание.

— Имаши ли, Григорие, благое произволение пояти себе сию Анастасию в жену? — спросил поп Григория.

Григорий ничего не ответил. Поп обратился с вопросом к Насте, и она ничего не ответила. Они оба не поняли вопроса и не догадались даже, что вопрос этот к ним обращается. Поп, наконец, перевенчал Настю с Григорьем Прокудиным. Когда водили Настю вокруг налоя и пели: «Исаия, ликуй! Дева име во чреве и роди сына Еммануила», она дико взглянула вокруг, остановила глаза на брате и два раза споткнулась, зацепившись за подножье. В толпе пошел шепот: «Ох! нехорошо это, бабочки! не к добру это она, болезная, спотыкнулась-то!» Так и вина Настя хлебнула с Григорьем из одной чашки «в знак единения», тихо и покойно. Но когда поп велел им поцеловаться, она как будто шарахнулась в сторону, однако дала себя обнять и поцеловать молча. В притворе церковном свахи завернули ей косу под белую женскую повязку с красной бумажной бахромой; надели паневу с мишурным позументом и синей прошвой спереди; одели опять в белый тулуп и повезли в дом свекра. Тут Настя кланялась и свекру-батюшке, и свекрови-матушке, и мужу, и брату своему, глотала вино, когда к ней приставали: «Пригубь, княгиня молодая», безропотно давала свои уста Гришке, когда говорили: «горько», «кисло», «мышиные ушки плавают», и затем сидела безмолвным истуканом, каким ее видели в начале настоящей главы.

Попойка все продолжалась: гости шатались, спорили и кричали. Свахи и дружки тоже подгуляли, и о молодых на время как будто позабыли. Прокудин угощал гостей с усердием и все оглядывая. Заметив на верхнем полу раскрасневшуюся молодую бабочку, бывшую Настиной свахой, он выразительно кивнул ей головой и опять продолжал потчевание. Сваха поправила повязку, выбежала за дверь и через четверть часа возвратилась с другою свахой и дружком. Молодых повели спать в пуньку с шутками да прибаутками. Более всех тут отличалась Настина сваха, у которой муж другой год пропадает на Украине и которая в это время успела приобрести себе кличку Варьки-бесстыжей. Впрочем, ее никто не обегал, потому что она была и работница хорошая и из хорошего дома. О ее родных говорили, что они «первые хозяины», и Варьке по ним везде был почет, хоть и знали, что она баба гулящая. Ну да «у нас (как говорят гостомльские мужики) из эвтого просто», — ворон ворону глаза не выклюет. У нас лягушек очень много в прудах, так кáк эти лягушки раскричатся вечером, то говорят, что это они баб передразнивают: одна кричит: «Где спала! где спала!» — а другая отвечает: «Сама какова! сама какова!» Впрочем, это так говорят, а уж на самом деле баба бабу не выдает: все шито да крыто. Только стариков так иной раз выводят на чистую воду. Зато уж старики и молчат, не урекают баб ничем, а то проходу не будет от них; где завидят и кричат: «Снохач! снохач!» У нас погудка живет, что когда-то давненько в нашу церковь колокол везли; перед самою церковью под горой колокол и стал, колесни́ завязли в грязи — никак его не вытащить. Припрягли еще лошадей, куда только можно было цеплять; бьют, мордуют, а дело не идет, потому что лошади не съезженные: одна дернет, а другая стоит. Никак не добьешься, чтобы все сразу приняли. Бились, бились и порешили, что лучше взвести колокол на гору народом. Собрался весь народ, подцепили за передок колесней веревки, крикнули:

Первой, другой
    Разом!
Еще другой
    Котом!
Ухха-ху-о!

Колокол пошел; но на половине горки народ стал отдохнуть. Тут, разумеется, сейчас смехи да пересмешки: кто как вез, да кто надюжался, кто лукавил. Шутили так, отдыхаючи.

— Ну, будет! — крикнул дьячок. Молодой был парень и шутник большой. — Будет, — говорит, — стоять-то да зубы скалить, принимайся опять.

Народушка опять взялся, опять пропел «первой-другой» и потянул.

— Что-то тяжело стало! — крикнул дьячок.

— И то, малый, словно потяжелело! — отозвался кто-то из ребят.

— Верно, *снохач* какой-нибудь есть промеж нас, — крикнул дьячок.

— Снохачи долой! — гаркнули молодые ребята и бабы.

Все мужики, этак лет за сорок, так сразу и отскочили, а остальные не удержали колокола, и он загудел опять книзу.

Смеху было столько, на всю деревню, что и теперь эта погудка живет, словно вчера дело было. А там уж правда ли это или нет — за это не отвечаю. Только в Гостомле всякое малое дитя эту погудку расскажет, и обапольные бабы нашим мужикам всё смеются: «Гостомцы, — говорят они, — как вы колокол-то тянули?» Часто этак смеются.

Бабы у нас бедовые, «разухабистые», что говорится; а Варька-бесстыжая на все дела была первая. Ее все брали в свахи, и она считалась лучшею свахою, потому что была развеселая, голосистая, красивая и порядки все свадебные знала. Ребят у нас женят всё молодых, почти мальчишек, на иного и смотреть еще не на что, а уж его окрутят с девкой. Ничего иной не смыслит, робеет перед женою, родным в это дело мешаться неловко, так и дорожат свахой смелой да бойкой. А уж Варька была такая сваха, что хоть какого робкого мальчишку жени, так она ему надаст смелости и «доведет до делов». Она была свахою и у Насти. Другая сваха, со стороны жениха, была только для прилики. Это была веселая востролиценькая бабенька; она только пела да вертелась, а дела-то от нее никакого не было. Всем делом орудовала Варька, и на нее одну все обращали внимание.

Раздела Варька Настю в холодной пуньке, положила ее в холодную постель и одела веретьем, а сверху двумя тулупами. Тряслася Настя так, что зубы у нее стучали. Не то это от холода, не то бог ее знает от чего. А таки и холод был страшный.

— Зазябла, молодка! — говорила Варька Насте; потом погасила фонарь и вышла.

Через минуту дверь пуньки опять скрипнула: «Иди! иди, дурашный!» — шепнула Варька и насильно втолкнула в пуньку молодого князя Григорья Прокудина.

А в избе все шла попойка, и никто в целом доме в эти минуты не подумал о Насте; даже свахи только покрикивали в сарайчике, где лежал отбитый колос: «Не трожь, не дури, у тебя жена есть!» — «Ай, ну погоди! Дай вот жене скажу», — раздавалось в сарайчике. В избе на рюминском хуторе тоже видно было, что народ гуляет; даже Алены не было дома, и только одна Петровна стояла на коленях перед иконой и, тепля грошовую свечечку из желтого воска, клала земные поклоны, плакала и, задыхаясь, читала: «Буди благословен день и час, в онь же господь наш Иисус Христос страдание претерпел».

Не знаю, отчего у нас старые люди очень многие знают эту молитву и особенно любят ею молиться, претерпевая страдания, из которых соткана их многопечальная жизнь. Этой молитвой Петровна молилась за Настю почти целую ночь, пока у Прокудина кончился свадебный пир и Алена втащила в избу своего пьяного мужа, ругавшего на чем свет стоит Настю.

V

С тех пор как Варвара стала ходить в свахах, она никогда не запомнила такой свадьбы, какова ей далась Настина свадьба. И на колосе она наигралась, и назяблась уж порядком, и из избы ей уж два раза доносили, что жареный петух готов и пора молодых поднимать, «а поднимать их не с чем». Зло Варвару берет страшное. Она с сердцов то выругает Григорья «сопатым», то в дверь пуньки рукой, будто невзначай, стукнет, — а все

нет того, чего ей ждется. Походила она и стукнула еще раз — дверь отворилась, и перед изумленною свахою предстала Настя совсем одетая: в паневе, в фартуке и в повязке.

— Что ж это вы? — воскликнула Варвара.

— Пойдем, куда тебе нужно, — тихо ответила Настя, взяв сваху за руку. Это было первое слово, которое выговорила Настя в день своей свадьбы.

Делать было нечего; Варвара собрала дружков, оправила голову замерзшему Гришке, и с церемониею повели молодых за брачный стол есть когута жареного и пшенную кашу с коровьим маслом.

Невесело шли поздравления. Гости поздравляли заикаясь и не договаривая приличных случаю двусмысленных острот и обычных прибауток. Прокудин шептал что-то Костику на ухо, а тот, едва понимая пятое слово, вскрикивал: «Не может быть! Эшь она! гади я ее!» Алена толкнула мужа и твердила ему: «Полно срамничать-то, озорник! Полно сестру-то хаить, — ты глянь на нее, какая она: краше в гроб кладут». Настя сидела за масленой кашей и жареным когутом и ни к чему не прикасалась. Она нисколько не изменилась и смотрела тем же равнодушно убитым взглядом, каким глядела час тому назад, когда ее еще сваха Варвара не выводила из-за стола в пуньку. Григорий как-то совсем осовел: он и перезяб, и спать ему хотелось, и он зевал и жался. Сваха Варвара хлопотала около молодых, потчевала их, а сама трещала и, как сорока, оборачивалась на все стороны. Григорий выпил стаканов шесть браги, а Настя и полстакана не могла выпить, потому что брага была хмельная, разымчивая. У нас в такую брагу пенного вина подбавляют, и человек от нее скоро дуреет; а свашенька Варвара поусердствовала для молодых и, отняв для них браги в особый кубан, еще влила туда добрую долю пенника. Никак не могла пить Настя этой браги, с души ее она мутила. Без привычки таки этой браги, сыченой с пенником или с простой полугарной водкой, никак нельзя пить: и не вкусна она, а запах в ней делается отвратительный, и голова вдруг разболевается. А мужики охотно портят вкусную хлебную брагу винной подмесью, потому что с подмесью она крепче, «сногсшибательнее».

Григорий выпил шестой стакан браги, словно развеселился и стал все засовывать руку за спину жене, стараясь ее как бы обнять; но смелости у него на это недоставало, и рука в половине своего эротического движения падала на лавку сзади Насти. Выпил Григорий еще два стакана, смелее целуясь с женою за каждым «горько»; сваха объявила, что «молодой княгине пора упокой принять», и опять с известными церемониями уложила Настю в ее холодной супружеской спальне. Потом взяла Григорья в чулан в сенях; долго ему говорила и то и се, «ты, — говорит, — дурак сопатый! Чего ты на нее смотришь? Ведь это не про господ, а про свой расход. Другой бы на твоем месте досе... Да где тебе, дуриле лопоухому!»

— Чего ты ругаешься-то? — гнусил Григорий. — Ты до время не ругайся. Я тебе говорю, не ругайся. Мы свое дело понимаем.

— То-то! — значительно сказала сваха и, заставив молодого выпить стакан водки, повела его к Насте. В пуньке она опять налила водки и поднесла Насте, но Настя отпросилась от угощенья, а Григорий, совсем уже опьяневший, еще выпил. Сваха тоже выпила и, взяв штоф под мышку, вышла с фонарем вон и затворила за собою пуньку.

— Настасья! а Настасья! — гнусил Григорий, хватая рукою по кровати.

— Что? — тихо, но нетерпеливо спросила Настасья.

— Ты тута?

Настя молчала.

— Тута ты, Настасья? — опять спросил молодой.

— Да тута, тута! Где ж бы я поделась?

— То-то, — проговорил молодой.

А Насте крепко-крепко хотелось не быть теперь тута. Да, говорят у нас, во-первых: «Не так живи, как хочется, а так, как бог велит», а во-вторых, говорят: «Жена человеку всякому богом назначена, еже бог сопряже человек да не разлучает».

Всю эту ночь у Прокудиных пили да гуляли, и поснули, где кто ткнулся, где кому попало.

Утром раньше всех к Прокудиным пришла сваха Варвара.

— Что, как молодые? — спросила.

— Ничего, спят.

— Ну, нехай их поспят еще.

Опохмелились, закусили и лясы поточили. Пришли дружки, кое-кто из родных, опять выпили, опять побалакали, да и про молодых опять вспомнили. «Пора подымать!» — сказала Варвара.

Все согласились, что пора поднимать. Бабы домашние стали собирать новый завтрак для молодых, а Варвара с дружками и другой свахой пошли к пуньке. День был ясный, солнечный, и на дворе стояла оттепель.

Пришла Варвара с дружками к пуньке, отперла замок, но, как опытная сваха, не отворила сразу дверь, а постучала в нее рукой и окликнула молодых. Ответа не было. Варвара постучала в другой раз, — ответа опять нет. «Стучи крепче!» — сказал Варваре дружко. Та застучала из всей силы, но снова никто ничего не ответил. «Что за лихо!» — промолвила Варвара.

— Отворяй двери! — сказал дружко.

Варвара отворила двери, и все вошли в пуньку.

Григорий лежал навкось кровати и спал мертвым сном; он был полураздет, но не чувствовал холода и тяжело сопел носом. Насти не было. Свахи и дружки обомлели и в недоумении смотрели друг на друга. В самом деле, пунька была заперта целую ночь; Григорий тут, а молодой нет. Диво, да и только!

— Что ж это, братцы? — проговорил, наконец, один дружко.

— Это диковина, — отвечал другой.

— Это неспроста, — сказали свахи.

— Это *его* дело, — опять заметил первый дружко.

В углу, за сложенными бердами и всякою рухлядью, что-то зашумело.

— Ах! Ах! — закричали бабы, метнувшись в двери, а за ними выскочили и мужики.

— Чего вы? чего вы? — проговорил тихий Настин голос.

— Это молодайка! — воскликнули бабы.

— А, молодайка!

— Пойдем.

Опять отворили двери, и все ввалились в тесную пуньку. Григорий по-прежнему спал почти что впоперек кровати, а Настя сидела на полу в темном уголке, заку-

тайная в белом веретье. Ее не заметили в этом уголке, когда она, не давая голоса, лежала, прислонясь к рухляди, вся закутанная веретьем.

— Что ты тут делаешь? — спросила ее Варвара.

— Видишь что... ничего! Скажи ребятам, чтоб вышли.

Дружки вышли за двери; а Настя встала и протянула руку к паневе. Варвара оглянула ее с плеч до ног и спросила:

— Что ж это ты дуришь, молодайка?

Настя ничего не ответила.

— Что ж это и справда? родителев только срамишь? — проговорила другая сваха.

А Настя все молчит да одевается.

— Куда ты? — спросила Варвара, видя, что Настя, одевшись, идет к двери.

— Умыться пойду.

— Стой-ка, красавица, так не делается! Подожди мужа. Ты! эй, ты! — звала Варвара Григория, толкая его под бок; а он только мычал с похмелья.

— Вставай, сокол ясный! Вставай, ворона голенастая! полно носом-то водить! — продолжала Варвара.

Гришка встал, чесал голову, чесал спину и никак не мог очнуться. Насилу его умыли, прибрали и повели с женою в избу, где был готов завтрак и новая попойка. Но тут же были готовы и пересуды. Одни ругали Настю, другие винили молодого, третьи говорили, что свадьба испорчена, что на молодых напущено и что нужно съездить либо в Пузеево к знахарю, либо в Ломовец к бабке. Однако так ли не так, а опять веселья не было, хотя подпили все опять на порядках.

Хороводились таким манером через пень в колоду до самого обеда. После обеда запрягли трое саней парами и стали собираться ехать к Настиным господам на поклон. Выложила Настя свои заветные ручники, на которых красной и синей бумагой были вышиты петухи, решетки, деревья и павлины, и задумалась над этими ручниками. Ей вспомнились другие дни, другие годы, когда она, двенадцатилетней девочкой, урывала свободный часок от барской работы и проворно метала иглою пестрые узоры ручниковых концов и краснела как маков цвет, когда девушки говорили: «Какие у Насти хорошие ручники будут к свадьбе».

Уселись поезжане. Настю с мужем посадили на задние сани; с ними села сваха Варвара, а за ними ехали верхами двое дружек. Из господского дома поезд прежде всех завидели девушки, забегали и засуетились, повторяя: «Молодые, молодые, на поклон едут!» Господа спали после обеда, но, услышав суету, встали. Барин надел ватный кашемировый халат и подпоясался, а барыня сняла со шкафа бутыль с зоревой настойкой и нацедила два графинчика водки. Поезд остановился у крыльца и не сходил с саней. Только один дружко слез с лошади и, отдав повод своему товарищу, вошел в хоромы.

— Здравствуй, Тихон! — сказал барин, увидя вошедшего знакомого парня.

— Здравствуй, Митрий Семеныч!

— Что, брат, скажешь?

— К твоей милости.

— Ты дружком, что ли? — спросил барин, глядя на перевязанный красным платком рукав Тихоновой свиты.

— Точно так, Митрий Семеныч! Молодые к тебе поклониться приехали: прикажешь принять?

— Как же, как же, Тихон! Веди молодых; спасибо, что вспомнили.

— Ну, вот благодарение тебе, — отвечал Тихон и вышел снова в сени.

На санях в ту же минуту началось движение. Бабы, мужики вставали, отряхивались и гурьбою полезли в прихожую. Тем временем барыня подала мужу в руки целковый, себе взяла в карман полтинник, а детям раздала кому четвертак, кому двугривенный, а Маше, как самой младшей, дала пятиалтынный. Дети показывали друг другу свои монеты и толковали, как они их положат на тарелку, когда придет время «отдаривать» Настю.

Отворилась дверь в маленький залец, и выступила из передней Настя и рядом с ней опять страшно размасленный Григорий. Поезжане стали за ними. В руках у Насти была белая каменная тарелка, которую ей подали в передней прежние подруги, и на этой тарелке лежали ее дары. Григорий держал под одною рукою большого глинистого гусака, а под другою такого же пера гусыню.

Молодые вошли, поклонились и стали у порога, не зная, что им делать.

— Здравствуйте, друзья мои, Григорий Исаевич и Настасья Борисовна!

— Здравствуйте, Митрий Семеныч! — отвечали разом все поезжане.

— И с хозяюшкой твоей и с детками, — подсказал кто-то из-за двери.

Молодые оба молчали.

— Спасибо, спасибо вам, что вспомнили меня.

— Да как же, Митрий Семеныч! — ответил кто-то из поезжан.

— Неш мы какие, прости господи...

— Мы твоей милости повсегды...

— Мы порядки соблюдаем, как по-божому, значит.

— Что ж ты невеселая такая, Настя? — спросила барыня.

— Не огляделась еще, сударыня! — ответила сваха Варвара.

— То-то, ты не скучай.

— А ты поклонись сударыне-то, — опять подсказала Варвара, толкая Настю под локоть.

Настя стояла и не поклонилась сударыне.

— Ну так что же: поздравить надо молодых-то, что ли? — спросил барин.

— Да, надыть поздравить, Митрий Семеныч, да дары принять, — отвечал дружко.

Григорий поставил на пол гусей, которые крикнули с радости и тотчас же оставили на полу знаки своего прибытия, а Настя подошла с своей тарелкой к барину.

Барин взял рюмку травника, поднял ее и проговорил:

— Ну, дай же вам бог жить в счастье, радости, совете, любви да согласии! — выпил полрюмки, а остальным плеснул в потолок.

— Спасибо тебе, Митрий Семеныч, на добром слове! — сказал Прокудин, а за ним и другие повторили то же самое. Настя подала барину ручник, а барин положил на тарелку целковый.

Так Настя одарила всю господскую семью и последний подала хорошенький ручник Маше.

Маша забыла положить свой пятиалтынный на тарелку и, держа его в ручонках, бросилась на шею к Насте.

— Ишь как любит-то! — заметила Варвара, поцеловав свесившуюся через Настино плечо руку девочки.

Между тем стали потчевать водкою поезжан, и начались приговорки: «горько», да «ушки плавают». Насте надо было целоваться с мужем, и Машу сняли с ее рук и поставили на пол.

Дошло потчевание до Варвары. Она взяла рюмку, пригубила и сказала: «Горько что-то!» Молодые поцеловались. Варвара опять пригубила и опять сказала: «Еще горько!» Опять молодые поцеловались, и на Настином лице выразилось и страдание и нетерпеливая досада.

А Варвара после второго целованья сказала: «Ну дай же бог тебе, Григорьюшка, жить да бога́теть, а тебе, Настасьюшка, спереди горбатеть!» — и выпила. Все общество рассмеялось.

Дружки дольше всех суслили свои рюмки и всё заставляли молодых целоваться. Потом угощали других поезжан.

А барыня тем временем подошла к молодым, да и спрашивает:

— Что ж, Григорий, любишь ты жену?

— Как же, сударыня, жену надыть любить.

— Всё небось целуетесь?

Григорий засмеялся и провел рукавом под носом.

— Ну, ишь барыне хочется, чтоб вы поцеловались, — встряла Варвара.

На Настином лице опять выразилась досада, а Григорий облапил ее за шею и начал трехприемный поцелуй.

Но за первым же поцелуем его кто-то ударил палкою по голове. Все оглянулись. На полу, возле Григория, стояла маленькая Маша, поднявши высоко над своей головенкой отцовскую палку, и готовилась ударить ею второй раз молодого. Личико ребенка выражало сильное негодование.

У Маши вырвали палку и заставили просить у Григория прощения. Ребенок стоял перед Григорьем и ни за что не хотел сказать: прости меня. Мать ударила Машу рукою, сказала, что высечет ее розгою, поставила в угол и загородила ее тяжелым креслом.

Девочка, впрочем, и не вырывалась из угла; она стояла смирно, надув губенки, и колупала ногтем своего

пальчика штукатурку белой стены. Так она стояла долго, пока поезд вышел не только из господского дома, но даже и из людской избы, где все угощались у Костика и Петровны. Тут ничего не произошло выходящего из ряда вон, и сумерками поезд отправился к Прокудину; а Машу мать оставила в наказание без чая и послала спать часом раньше обыкновенного, и в постельке высекла. У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педагогическим приемом. Ребенок должен был прочесть свои вечерние молитвы, потом его раздевали, клали в кроватку и там секли. Потом один жидомор помещик, Андреем Михайловичем его звали, выдумал еще такую моду, чтобы сечь детей в кульке. Это так делал он с своими детьми: поднимет ребенку рубашечку на голову, завяжет над головою подольчик и пустит ребенка, а сам сечет, не державши, вдогонку. Это многим нравилось, и многие до сих пор так секут своих детей. Прощение только допускалось в незначительных случаях, и то ребенок, приговоренный отцом или матерью к телесному наказанию розгами без счета, должен был валяться в ногах, просить пощады, а потом нюхать розгу и при всех ее целовать. Дети маленького возраста обыкновенно не соглашаются целовать розги, а только с летами и с образованием входят в сознание необходимости лобызать прутья, припасенные на их тело. Маша была еще мала; чувство у нее преобладало над расчетом, и ее высекли, и она долго за полночь все жалостно всхлипывала во сне и, судорожно вздрагивая, жалась к стенке своей кровати.

Беда у нас родиться смирным да сиротливым — замнут, затрут тебя, и жизни не увидишь. Беда и тому, кому бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства и доколотят до гробовой доски. Прослывешь у них грубияном да сварою, и пойдет тебе такая жизнь, что не раз, не два и не десять раз взмолишься молитвою Иова многострадательного: прибери, мол, только, господи, с этого света белого! Семья семьею, а мир крещеный миром, не дойдут, так доедут; не изоймут мытьем, так возьмут ка́таньем.

VI

Головы свои потеряли Прокудины с Настею. Пять дней уже прошло с ее свадьбы, а всё ни до какого ладу с нею не дойдут. Никому не грубит, ни от чего не отпирается, даже сама за работу рвется, а от мужа бегает, как черт от ладана. Как ночь приходит, так у нее то лихорадка, то живот заболит, и лежит на печке, даже дух притаит. Иной раз сдавалось, что это она притворяется, а то как и точно ее словно лихорадка колотила. Старшая невестка, Домна, хотела было как-то пошутить с ней, свести ее за руку с печки ужинать, да и оставила, потому что Настя дрожмя дрожала и ласково шепотом просила ее: «Оставь меня, невестушка! оставь, милая! Я за тебя буду богу молить, — оставь!» Домна была баба веселая, но добрая и жалостливая, — она не трогала больше Насти и даже стала за нее заступаться перед семейными. Она первая в семье стала говорить, что Настя испорчена. Бог ее знает, в самом ли деле она верила, что Настя испорчена, или нарочно так говорила, чтоб вольготнее было Насте, потому что у нас с испорченной бабы, не то что с здоровой, — многого не спрашивают. Дьявола, который сидит в испорченной, боятся. Оттого-то, как отольется иной бабочке житьецо желтенькое, так терпит-терпит, сердечная, да изловчится как-нибудь и закричит на голоса, — ну и посвободнее будто станет.

В Насте этакой порчи никакой никто не замечал из семейных, кроме невестки Домны. И потому Исай Матвеич Прокудин, сказавши раз невестке: «Эй, Домка, не бреши!», запрег лошадь и поехал к Костику, а на другой вечер, перед самым ужином, приехал к Прокудиным Костик.

— Вот! — крикнул Исай Матвеич, увидя входящего в дверь Костика. — Только ложками застучали, а он и тут. Садись, сваток, гость будешь.

Исай Матвеич помолился перед образами и сел в красном угле, а за ним села вся семья, и Костик сел.

— А где же Настя? — спросил Костик, осмотревши будто невзначай весь стол. — Аль она у вас особо ужинает?

— Нет, брат, она у нас совсем не ужинает, — отвечал Прокудин, нарезывая большие ломти хлеба с ковриги, которую он держал между грудью и левою ладонью.

— Как не ужинает?

— Да так, не ужинает, да и вся недолга; то живот, то голова ее все перед вечером схватывают, а то лихорадка в это же время затрепит.

— Что такое! — нараспев и с удивлением протянул Костик.

— Да уж мы и сами немало дивуемся. Жалится все на хворость, а хворого человека нельзя ж неволить. Ешьте! Чего зеваете! — крикнул Прокудин на семейных и начал хлебать из чашки щи с жирною свининою.

— Что ж это за диковина? — опять спросил Костик, еще не обмакнувший своей ложки. — Да где же она у вас?

— Кто? Настя-то?

— Да.

— А не знаю; гляди, небось на печке будет.

Костик молча встал с лавки и пошел к печке, где ни жива ни мертва лежала несчастливая Настя, чуя беду неминучую.

— Что ты лежишь, сестра? — спросил вслух Костик, ставши ногою на приставленную к печке скамью и нагнувшись над самым ухом Насти.

— Не по себе, братец! — отвечала Настя и поднялась, опершись на один локоть.

— Что так не по себе?

— Голова болит.

— Живот да голова — бабья отговорка. Поешь, так полегчает. Вставай-ка!

— Нет, брат, силушки моей нет. Не хочу я есть.

— Ну, не хочешь, поди так посиди.

— Нет, я тут побуду.

— Полно! Вставай, говорю.

Костик скрипнул зубами и соскочил с скамейки. Настя охнула и тоже спустилась с печи. Руку ей смерть как больно сдавил Костик повыше кисти.

— Подвиньтесь! — сказал Прокудин семейным, — дайте невестке-то место.

Семья подвинулась, и Настя с Костиком сели.

— Ешь! — сказал Костик, подвинув к сестре ломоть

хлеба, на котором лежала писаная ложка. Настя взяла было ложку, но сейчас же ее опять положила, потому что больно ей было держать ложку в той руке, которую за минуту перед тем, как в тисках, сжал Костик в своей костливой руке с серебряными кольцами.

— Кушай, невестушка! — сказал Прокудин, а Костик опять скрипнул зубами, и Настя через великую силу стала ужинать.

Больше за весь ужин ничего о ней не говорили. Костик с Исаем Матвеичем вели разговор о своих делах да о ярмарках, а бабы пересыпали из пустого в порожнее да порой покрикивали на ребят, которые либо засыпали, сидя за столом, либо баловались, болтая друг дружку под столом босыми ножонками.

Отошел незатейливый ужин. Исай Матвеевич с Костиком выпили по третьему пропускному стаканчику, закусили остатком огурца и сели в стороне, чтобы не мешать бабам убирать со стола. Костик закурил свою коротенькую трубочку и молча попыхивал и поплевывал в сторону. Исай Матвеевич кричал на ребят, из которых одни червячками лезли друг за другом на высокие полати, а другие стоя плакали в ожидании матерей, с которыми они спали по лавкам. Настя стояла у столба под притолкой, сложа на груди руки, и молчала. Мужики вышли на двор управить на ночь скотину. Впрочем, мужиков дома, кроме самого Исая Матвеевича, оставалось только двое: Григорий да его двоюродный брат Вукол. Домниного мужа и двух других старших сыновей Прокудина не было дома, — они были на Украйне.

Костик выкурил свою трубочку, выковырял пепел, набил другую и снова раскурил ее, а потом он встал с лавки и, подойдя к двери, сказал:

— Поди-кась ко мне, сестра, на пару слов.

Настя спокойно вышла за братом. Домна глянула на захлопнувшуюся за невесткою дверь и продолжала собирать со стола объедки хлеба и перепачканную деревянную посуду.

— Ты что это так с мужем-то живешь? — спросил Костик за дверью Настю, стоя с нею в темных сенях.

— Как я живу, братец, с мужем? — проговорила окончательно сробевшая перед братом Настя.

— Как! Разве ты не знаешь, как ты живешь?

— Да как же я живу?

— Что ты огрызаешься-то! Нешто живут так по-собачьи! — крикнул Костик.

— Я не живу по-собачьи, — тихо отвечала Настя.

— Стерва! — крикнул Костик, и послышалась оглушительная пощечина, вслед за которой что-то ударилось в стену и упало.

Домна отскочила от стола и бросилась к двери.

— Куда! — крикнул Исай Матвеевич на Домну. — Не встревай не в свое дело; пошла назад!

Домна повернулась к столу, смахнула в чашку хлебные крошки и, суя эту чашку в ставец, кого-то чертакнула.

— Кого к чертям-то там посылаешь? — спросил Прокудин старшую невестку.

Домна ничего не отвечала, но так двинула горшки, что два из них слетели с полки на пол и разбились вдребезги.

— Бей дробней! — крикнул с досадою Прокудин.

— И так дробно! — отвечала Домна, подбирая мелкие черепочки разбитых горшков.

— Да что ты, сибирная этакая...

— Что! горшок разбила. Эка невидаль какая!

— Голову бы тебе так разбить...

Но в это время в сенях послышался раздирающий крик. Домна, не дослушав благожеланий свекра, бросилась к двери и на самом пороге столкнулась с Костиком.

— Совладал, родной! — сказала она ему с насмешкой и укором.

— Куда? — крикнул опять Прокудин. — Домна, вернись!

Но Домна не обратила никакого внимания на слова Прокудина и, выскочив в сени, звала:

— Настя! Настя! где ты? Настасья? Это я, откликнись, глупая.

Никто не откликается. Домна шарила руками по всем углам, звала Настю, искала ее в чулане, но Насти нигде не было.

Домна вернулась в избу, ни на кого не взглянула и молча засветила у каганца лучинную засветку.

— Куда с лучиной? — крикнул Прокудин.

— Настасью искать.

— Чего ее искать?

— Того, что нет ее.

— До ветру пошла.

— А може и за ветром.

— Брось лучину! воротится небось.

Домна лучины не бросила и вышла с нею в сени; влезла с нею на потолок, зашла в чулан, заглянула в пуньку, а потом, вернувшись, острекнула лучину о загнетку и сказала:

— Ну теперь уж сами поищите...

— Кого поискать?

Домна ничего не отвечала и, подозвав к себе плачущего пятилетнего сына, утерла ему нос подолом его рубашонки и стала укладывать его спать.

— Где Настасья-то? — спросил Прокудин.

Домна молчала.

— Слышишь, что ли? Что я тебя спрашиваю! Где Настасья?

— А мне почем знать, где она? может, в колодце, може, в ином месте. Кто ее знает.

— Да что ты нынче брешешь!

— Что мне брехать. Брешет брёх о четырех ног, а я крещеный человек.

— Не видал жены? — спросил Прокудин вошедшего Григорья.

— Нет, не видал.

— Что за лихо! Подите-ка ее поищите.

Ребята пошли искать Настю, и Костик злой-презлой пошел с ними, поклявшись дать Настасье здоровую катку за сделанную для нее тревогу. Но Насти не нашли ни ночью, ни завтра утром и ни завтра вечером.

Ночью на другой день в окно маслобойни Прокудина, откуда мелькал красноватый свет, постучался кто-то робкою рукою.

Костик и Прокудин, сидевшие вдвоем за столом в раздумье, как быть с пропажею бабы, тревожно переглянулись и побледнели. Стук опять повторился, и кто-то крикнул: «Отопритесь, что ли?»

Костику и Прокудину голос показался незнакомым, однако они встали оба вместе, вышли в сени и, посмотрев в дырку, прорезанную сбоку дверной притолки, впустили позднего посетителя.

Гость был один, и лицо его нельзя было рассмотреть в сенях. Пушистый снег как из рукава сыпался с самого вечера, и запоздалый гость был весь обсыпан этим снегом. Его баранья шапка, волосы, борода, тулуп и валенки представляли одну сплошную белую массу. Это был почтовый кузнец Савелий. Узнав его, когда кузнец вошел в маслобойню и стряхнулся, Костик плюнул и сказал:

— Тьфу, чтоб тебе пусто было! напужал только насмерть.

— Что больно пужлив стал? — спросил кузнец, обивая шапку и собираясь распоясываться.

— Да ведь ишь ты какой белый! — отвечал спохватившийся Костик.

— Белый, брат! Ты гляди, снег-то какой содит, страсть! и подземки крутить начинает.

— Откуда ж тебя бог несет, дядя Савелий? — спросил Прокудин.

— А ты, дядя Исай, прежде взыщи гостя, а там спрашивай. Эх ты, голова с мозгом!

Прокудин достал из поставца полштоф и стаканчик и поднес Савелию.

— Куда ж, мол, едешь-то?

— Ехал было к тебе.

— По дороге, что ль?

— Нет, изнарочна.

— Что так?

— Так, спроведать задумал.

— Нет, исправда?

— Да правда ж, правда.

— Ты, парень, что-то говоришь, да не досказываешь.

— Вот те и раз! Вот за простоту-то мою и покор. Что ж, как живешь-можешь, Матвеевич?

— Ничего, твоими молитвами!

— Ну, брат, по моим молитвам давно бы вытянулся. Моя молитва-то: не успеешь лба путем перекрестить, то туда зовут, то туда кличут; хоть пропади! Хозяюшка как?

— Ничего; что ей на старости делается!

— Детки? невестка молодая?

— Да ты говори, что хочешь сказать-то?

Прокудин и Костик зорко смотрели в глаза кузнецу.

— Что сказать-то?

— Да что знаешь о невестке?

— Она у меня.

— Что врешь?

— Ей, право.

— Как так?

— Да так, меня вчера дома не было, ездил в город; а она прибегла к хозяйке вся дроглая, перепросилась переночевать, да так и осталась. Нонеча она молчит, а мы не гоним. Такая-то слабая, — в чем жизнь держится, куда ее прогнать. А под вечер я подумал: бог, мол, знает, как бы греха какого не было, да вот и прибежал к вам.

— На лошади, что ль?

— Да, а то как же? не пешком, чай.

Прокудин разбудил спавшего племянника и послал его дать гостевой лошади сена и невейки, а сам сел и стал разбирать бороду. Гость и Костик молчали.

— Так как же? — наконец спросил Костик, обращаясь к Прокудину.

— Это насчет чего?

— Да ведь мне некогда за ней ехать. Завтра в Орел с семям загадано ехать.

— Ой!

— Право.

— Как же тут потрафить!

— Слетать нешто ночью, теперь, чтоб утром ко двору быть, а ее нехай кто-нибудь довезет до дому-то.

— И то правда.

Так и сделали. Часа через полтора Костик ехал с кузнецом на его лошади, а сзади в других санях на лошади Прокудина ехал Вукол и мяукал себе под нос одну из бесконечных русских песенок. Снег перестал сыпаться, метель улеглась, и светлый месяц, стоя высоко на небе, ярко освещал белые, холмистые поля гостомльской котловины. Ночь была морозная и прохватывала до костей. Переднею лошадью правил кузнец Савелий, а Костик лежал, завернувшись в тулуп, и они оба молчали.

— Эх, брат Костик! запроторил ты сестру ни за что ни про что! — начал было Савелий; но Костик, услыхав такой приступ, прикинулся спящим, ничего не ответил. Он лежал, то злясь на сестру, то сводя в уме своем счеты с Исаем Матвеевичем, с которым они имели еще надежду при случае пополевать друг на друга.

А продрогшие лошадки бежали частой трусцой и скоро добежали до избы с резным коньком и ставнями. В этой избе жил веселый и добродушный кузнец Савелий, у которого всегда не ладились его делишки и которого все обманывали, кроме его жены, бывшей его другом, нянькою, любовницей и ангелом-хранителем. Теперь в этой избе была Настя. Она спала тревожным, тяжелым сном, обнявшись с женою кузнеца Савелья. В избе кузнеца было очень тепло и опрятно: на столе лежали ковриги, закрытые белым закатником, и пахло свежеиспеченным хлебом; а со двора в стены постукивал мороз, и кузнечиха, просыпаясь, с беспокойством взглядывала в окна, разрисованные ледяными кристалликами, сквозь пестрый узор которых в избу светила луна своим бледным, дрожащим светом.

Часу в третьем ночи раздался стук в ворота, и вслед за тем кузнец ударил несколько раз осторожно кнутовищем по оконной раме и назвал по имени ждавшую его с беспокойством жену.

VII

Настя не слыхала, как кузнечиха встала с постели и отперла мужу сеничные двери, в которые тот вошел и сам отпер ворота своего дворика. Она проснулась, когда в избе уж горел огонь и приехавшие отряхивались и скребли с бород намерзшие ледяные сосульки. Увидя между посетителями брата, Настя словно обмерла и, обернувшись к стене, лежала, не обнаруживая никакого движения.

Кузнец оттирал свой тулуп, который смерзся колом; Вукол, прислонясь к печке, грел свои руки; а Костик ходил взад и вперед по избе, постукивая на ходу нога об ногу.

— Ты б, Авдотья, нам картошечек сварила позавтракать, — обратился кузнец к жене, которая уже разводила на загнетке огонь под таганчиком.

— Я и то вот хочу сварить, — отвечала кузнечиха.

— А водочки нет? — спросил кузнец.

— И-и! где ж ей быть? Откуда?

— Ну и не надо.

— И так обойдется, — подтвердила жена, ставя на таган чугунчик с водою.

— Что ж это ты, Ивановна, плохо хозяйствуешь? — спросил кузнечиху Костик.

— Как так плохо?

— Да вот муж прозяб, а у тебя согреть его нечем.

— А! это-то. Небось согреется.

— Как же водочки-то ты не припасла?

— Да откуда мне ее припасти? Припасать его дело. Что припасет, то и сберегу; а мне где припасать. Одна в доме; ребят да скотину впору опекать.

— Работника-то аль отпустили?

— Да отпустили ж.

— Что так?

— Да так: капитала нет, и отпустили.

— Плохо.

— Жалостливый какой! — сказал кузнец, подмигнув жене.

— Да, — ответила та с скрытой улыбкой.

— Право. Ты чего смеешься? Я, брат, по душе жалею, — проговорил нимало не смешавшийся Костик.

— Ужалел, брат! Как бы не ты пристал осенью с ножом к горлу за деньги, так и мерин бы чалый на дворе остался, и работник бы был. А то ведь как жид некрещеный тянул.

— Чудак! Коли нужно было.

— Давал на пять лет, а вытянул назад через полтора года. Такая-то твоя помочь не то что вызволила нас, а в разор ввела.

— Полно жалобиться-то! — с некоторою досадою проговорила кузнечиха. — Живы будем, и сыты будем. С голодом еще не сидели. Дай бог только здоровья твоим рукам, а то наедимся, да и добрых людей еще накормим.

— Эка у тебя хозяйка-то, Савелий, разумная! — сказал Костик.

Кузнец ничего не ответил на это замечание и только поглядел на свою бабу, которая, опершись рукою на ухват, стояла перед таганом и смотрела в чугун, кипевший белым ключом.

— Нужно, брат, было, — сказал Костик, помолчав. — Тут жена заболела, а там братишек в ученье свезли, а напоследки вот сестру замуж выдал.

— Неш ты тут что потратил?
— А ты думаешь?
— Полно брехать, чего не надо.
— Вот и брехать.
— Известно. Эх, совесть! Неш мы делов-то не знаем, что ли?
— Ешьте-ка, вот вам дела. Нечего урекаться-то. Его были деньги, его над ними воля. А ты вот наживи свои, да тогда и орудуй ими как вздумаешь, — проговорила кузнечиха, ставя на стол чугун с горячим картофелем, солонку и хлеб.
— Экая тетка Авдотья! гусли, а не баба! — воскликнул Костик, желавший переменить разговор.
— Баба, брат, так баба. Дай бог хоть всякому такую, — отвечал кузнец, ударив шутя жену ладонью пониже пояса.
— Дури! — крикнула кузнечиха на мужа. — Аль молоденький баловаться-то.
— А то неш стары мы с тобой! а?
— Пятеро батей зовут, да все молодиться будешь.
— Вольно ж тебе, тетка Авдотья, рожать-то! — заметил Костик.
— Вольно! — ответила баба, копаясь около спящих на лавке ребятишек, и улыбнулась.
Мужики тоже все засмеялись.
— Нет, братцы, я вот что задумал, — говорил, подмигнув Вуколу, кузнец, чистя ногтем горячую картофелину. — Я вот стану к солдатке ходить.
— Это умно! — заметил Вукол.
Кузнечиха смотрела на мужа и ничего не говорила.
— Право слово, хочу так сделать.
— Эх ты, бахвал! Полно бахвалить-то, — сказала кузнечиха.
— Чего бахвалить? я правду говорю.
— Много у солдатки есть и без тебя, и помоложе и получше.
— Это ничего. Старая лошадка борозды не портит.
— Солдатка-то любит, чтоб ходили да носили.
— И мы понесем.
— Что понесешь-то? Ребят-то вот прокорми.
— А цур им, ребята!
— Цур им.

— Ай да Савелий! Молодец! — крикнул Костик. — А ты, видно, завистна на мужа-то, тетка Авдотья?

— Тьфу! По мне, хоть он там к десяти солдаткам ходи, так в ту же пору. Еще покойней будет.

Мужики опять засмеялись над Авдотьей, которая хорошо знала, что муж шутит, а все-таки не стерпела и рассердилась.

Поели картофель, помолились богу и сказали спасибо хозяйке. Кузнец хотел обнять жену, но она отвела его руки и сказала: «Ступай с солдаткой обниматься!»

Костик закурил трубочку и велел Вуколу выводить за ворота лошадь. Когда Вукол вышел за двери, Костик встал и, подойдя к кузнечихиной постели, одернул с Насти одеяло и крикнул: «Вставай!»

Настя вскочила, села на кровати и опять потянула на себя одеяло, чтобы закрыть себя хоть по пояс.

— Вставай! — повторил Костик.

— Полно тебе, — сказала кузнечиха. — Отойди от нее, дай ей одеться-то. Ведь она не махонькая; не вставать же ей при мужиках в одной рубахе.

Костик отошел; Настя безропотно стала одеваться. Кузнечиха ей помогала и все шептала ей на ухо: «Иди, лебедка! ничего уж не сделаешь. Иди, терпи: стерпится, слюбится. От дождя-то не в воду же?»

Вукол вывел лошадь за ворота и стукнул кнутовищем в окно; Настя одела кузнечихину свиту, подпоясалась и сошла на нижний пол; Костик встал и, сверкнув на сестру своими глазами, сказал:

— Ну-ка иди, голубка!

Настя стояла.

— Иди, мол, — крикнул он и толкнул сестру в спину.

Настя стала прощаться с Авдотьей.

— А ты вот что, Борисыч! ты пожалей сестру, а не обижай. Обижать-то бабу много кого найдется, а пожалеть некому.

— Ладно, — ответил Костик и опять толкнул Настю.

— Да ты что толкаешься-то! — сказала кузнечиха, переменив голос.

— Хочу, и толкаюсь.

— Нет, малый, ты там в своем доме волен делать что хочешь, а у нас в избе не обижай бабу.

— Ты закажешь? — гневно спросил Костик.

— А еще как закажу-то! Нет тебе сестры, да и все тут! — воскликнула кузнечиха и пихнула Настю опять на верхний пол.

— А, такая-то ты! Разлучать мужа с женой вздумала!

— Не бреши, дядя, кобелем. Я злым делам и не рукодельница и не потатчица. Я сама своего мужа послала, чтоб, как ни на есть, свести твою сестру с Гришкой, без сраму, без греха; а не разлучница я.

— Что ж теперь делаешь?

— А то и делаю. Я думала, что ты ее возьмешь, как по-божьему, как брат; а ты и здесь зачинаешь все шибком да рыском; поезжай же с богом: я сама ее приведу...

— Савелий! — крикнул Костик.

— Что? — отвечал кузнец.

— Чего ж ты молчишь?

— А что ж мне говорить?

— Да что ж вы, разбойничать, что ли? На вас, чай, ведь суд есть.

— Ну, брат, мы там по-судейскому не разумеем.

Костик прыгнул на пол, схватил за руку сестру и дернул ее к двери.

— Э! стой, дядя, не балуй! — сказала кузнечиха. — У меня ведь вон тридцать соколов рядом, в одном дворе. Только крикну, так дадут другу любезному такое мяло, что теплей летошнего. Не узнаешь, на какой бок переворачиваться.

Костику были знакомы кулаки гостомльских ямщиков. Он вспомнил прошлогоднюю ссору с ними на ярмарке и выпустил из своей руки сестрину руку.

— Нет, уж пусти меня, Авдотьюшка, — проговорила Настя, затрясшаяся от угрозы кузнечихи, — пусти, милая, поеду; все равно.

— Я тебя сама отвезу.

— Нет, пусти, пусти, — повторяла Настя, боявшаяся за строптивого брата, и сама тянула его за рукав к двери.

Кузнечиха пожала плечами и сказала:

— Ну, коли на то твоя воля, я тебе не перечу.

— Прощай, прощай! — повторила Настя и вышла за двери.

— Благодарим на угощении, на ласке! — язвительно сказал Костик и вышел вслед за сестрою.

— Не на чем, голубчик! — спокойно ответила Авдотья.

Сани заскрипели по снегу, а на дворе еще было темно.

— Иззяб ты? — спросила кузнечиха мужа.

— Спать хочется.

— Ступай на печь.

— Надо пойти вороты запереть.

— Ложись, я запру.

Кузнец полез на печку, а жена вышла на двор в одной рубахе и в красной шерстяной юбке. Вернувшись со двора, она погасила каганец и, сказав: «Как холодно!», прыгнула к мужу на печку.

— Зазнобилась? — спросил жену кузнец.

— Холодно смерть, — отвечала Авдотья.

VIII

Костик уехал с барином в Орел. Говорили, что они уехали на целую неделю, а может, и больше. На хуторе все ходило веселее. Барин у них был не лихой человек, и над ним даже не смеялись, потому что он был из духовных, знал народ и умел с ним сделываться. Сначала он, по барыниному настоянию, хотел было произвести две реформы в нравах своих подданных, то есть запретить ребятишкам звать мужиков и баб полуименем, а девкам вменить в обязанность носить юбки; но обе эти реформы не принялись. На первую мужики отвечали, что это делается по простоте, что все у нас друг друга зовут полуименами: Данилка дядя, тетка Аришка и т. п. Либо полуименем, либо по одному отчеству, а полным крещеным именем редко кого называют. А относительно девичьих нарядов сказали, что девки на Гостомле «спокона века» ходили в одних вышитых рубашках и что это ничему не вредит; что умная девка и в одной рубашке будет девкою, а зрячая, во что ее ни одень, прогорит духом.

— Да не то, ребятушки! а ведь нехорошо смотреть-то на большую девку, как идет в одной рубашке, — говорил барин.

— А ты, Митрий Семеныч, не гляди, коли нехорошо тебе показывается, — отвечали мужики.

Так барин отказался от своих реформ и не только сам привык звать мужиков либо Васильичами да Ивановичами либо Данилками, но даже сам пристально смотрел вслед девкам, когда они летом проходили мимо окон в белоснежных рубахах с красными прошвами. Однако на хуторе очень любили, когда барин был в отъезде, и еще более любили, если с ним в отъезде была и барыня. На хуторе тогда был праздник; все ничего не делали: все ходили друг к другу в гости и совсем забывали свои ссоры и ябеды.

Были сумерки; на дворе опять порошил беленький снежок. Петровна в черной свитке, повязанная темненьким бумажным платочком, вышла с палочкою на двор и, перейдя шероховатую мельничную плотину, зашкандыбала знакомой дорожкой, которая желтоватой полосой вилась по белой равнине замерзшего пруда. За Петровной бежала серая шавка Фиделька и тот рябый кобель, к которому Настя приравнивала своего прежнего жениха, а теперешнего мужа.

Настя сидела, сложив на коленях руки, в избе Прокудиных. Она была теперь одна-одинешенька: все семейные были на маслобойне, где заводили новый тяжелый сокол [1] и где потому нужно было много силы. Она была в своем обыкновенном, убитом состоянии и не заметила, как в избе совсем стемнело и как кто-то вошел в двери и, закашлявшись, прислонился к притолке. Она пришла в себя, когда знакомый старческий голос, прорываясь через удушье, произнес:

— Где ты, Настя?

Настя вскрикнула: «Матушка моя родимая!» — бросилась к матери и зарыдала.

— Так-то, дочка моя родимая! Таково-то лестно матушке слышать все, что про тебя люди носят да разнашивают.

---

[1] Тяжелый деревянный снаряд, заменяющий в крестьянских маслобойнях прессы. *(Прим. автора.)*

Настя плакала на материнской иссохшей груди.

— Что, дитя мое? Что? Что будем делать-то? — спрашивала Петровна, поправляя волосы, выбившиеся из-под Настиной повязки.

— Ох! не знаю, матушка, — отвечала Настя, отслонясь от материной груди и утирая свои глаза.

— Сядем-ка. Смерть я устала... удушье совсем меня задушило, — говорила Петровна, совсем задыхаясь.

— Зачём ты пришла-то? Измучилась небось.

— К тебе, — едва выговорила Петровна. — Слухи всё такие, словно в бубны бубнят... каково мне слушать-то! Ведь ты мне дочь. Нешто он, народ-то, разбирает? Ведь он вот что говорит... просто слушать срам. «Хорошо, говорят, Петровна сберегла дочку-то!» Я знаю, что это неправда, да ведь на чужой роток не накинешь моток. Так-то, дочка моя, Настюшка! Так-то, мой сердечный друг! — договаривала старуха сквозь слезы и совсем заплакала.

— Матушка, матушка! зачем же ты меня выдала замуж? Иль я тебя не почитала, не берегла тебя, не смотрела за твоей старостью?

— Дитя ты мое милое! — пропищала старуха сквозь слезы и еще горче заплакала.

Сидят обе рядком в темной избе и плачут. Только Настя не рыдала, как мать, а плакала тихо, без звука, покойно плакала. Она словно прислушивалась к старческим всхлипываниям матери и о чем-то размышляла.

— Змея одна своих детей пожирает, — проговорила Настя, как будто подумала вслух.

— Что ты говоришь? — спросила Петровна, не расслышавшая слов Насти.

Настя ничего не отвечала; но, помолчав немного, опять, как бы невольно, проронила:

— Погубили мою жизнь; продали мое тело, и душеньку мою продадут. Выпхнули на позор, на муку, да меня ж упрекают, на меня ж плачутся.

Петровна продолжала плакать.

— Матушка! — крикнула Настасья, вскочив с лавки.

— Что, моя дочушка?

— Не рви ты моего сердца своими слезами! И так уж изорвали его и наругались над ним. Говори сразу, чего ты хочешь?

— Сядь, Настюшка.

Настя села.

— Теперь ведь сделанного не воротишь.

— Ну!

— Не развенчаешься.

— Ну!

— Надо с мужем жить, как бог приказал.

Настя, бледная, молчала.

— Родная ты моя!

— Что?

— Сними ты с моей старой головы срам-покор; пожалей ты и самое себя!

— Не приставай! — тихо ответила Настя.

— Пожалей себя!

— Пожалею, пожалею, только не приставайте вы ко мне, ради матери божией.

Заковыляла опять Петровна своею дорожкою, а Настя, стоя на пороге, долго, долго смотрела ей вслед, отерла слезу, вздохнула и воротилась в избу.

Собрались семейные, поужинали и пошли на ночлег по своим местам; и Настя пошла в свою пуньку.

«Господи боже мой! чего только они радуются?» — думала Настя, придя на другой вечер в гости к матери.

А Петровна и невестка Алена не знают, где ее и посадить и чем потчевать. Такие веселые, что будто им кто сто рублей подарил или счастье им какое с неба свалилось. Грустно это было Насте и смешно, но меньше смешно, чем грустно.

Сама Настя, однако, была покойнее, хотя собственно этот покой был покой человека, которому нечего больше терять и который уже ничего не хочет пугаться. Только она еще будто немножко побледнела в лице, и под глазами у нее провелись синие кружки.

Потчевали Настю и капустой и медом, но она ничего не хотела есть. Спрашивали ее, отчего мужа с собою не привела, но она ничего на это не отвечала, — «пора ко двору», — собралась и ушла.

И стала таким манером Настя жить в свекровом доме, как и другие невестки, и стали ее все уважать и заговорили с ней ласково. С мужем она никогда не говорила, ни при людях, ни без людей. За это на нее

иногда серчал свекор, но как она вообще и ни с кем не была разговорчива, то и это на ней не взыскивали. «Молчаливая» да «молчаливая она у нас»; так и оставили. Так прошла масленица, пришел великий пост, Настя ходила говеть, исповедовалась и причащалась. Пришли «сóроки»,[1] на дворе стало крепко теплеть. Зима отошла, и белый снег по ней подернулся траурным флером; дороги совсем почернели; по пригоркам показались проталины, на которых качался иссохший прошлогодний полынь, а в лощинах появились зажоры, в которых по самое брюхо тонули крестьянские лошади; бабы городили под окнами из ракитовых колышков козлы, натягивали на них суровые нитки и собирались расстилать небеленые холсты; мужики пробовали раскидывать по коноплиникам навоз, брошенный осенью в кучах. Голодные грачи жадно хватали из навоза круглые коричневые комья и, носясь с оглушительным криком над деревнею, оспаривали друг у друга скудную добычу. Письмоводитель станового переносил из избы в избу мертвое тело, явившееся наружу из-под осевшего снега, и собирал с мужиков контрибуцию за освобождение их от вскрытия в их доме позеленевшего трупа. Словом, наступила весна, со всем тем, чем она обыкновенно знаменует свое пришествие к нам на Гостомле.

Было вербное воскресенье. День был светлый, теплый, солнечный. На дворе так хорошо, что не входил бы под крышу. Небо бледно-голубое, подернуто разорванными белыми облаками; воздух пропитан животворным теплом, и слышен крепкий запах оттаивающей земли и навоза. Над прогалинами вверху заливаются голосистые жаворонки, а на завалинах изб несметными стадами толкутся под обаянием весенних побуждений сладострастные воробьи. Все хочет жить; все собирается жить; все просит жизни. Чуется во всем пора любви, пора темных желаний, томительных, и тоски безграничной для тех, кому не с кем делить ни горя, ни радостей.

У Прокудиных дома оставалась только одна Домна. Все ушли к церкви, на ярмарку; даже ребятенок старших с собою забрали. А самые младшие со всей деревни собрались на стог кострики и, барахтаясь там, играли

---

[1] Сорок мучеников. (*Прим. автора.*)

в свои ребячьи игры. Настя рано утром пошла навестить кузнечиху Авдотью, которая, поднимая хлебную дежу, надорвалась и лежала нездоровою. Посидела Настя у кузнечихи с часок и пошла домой. Так ей и хорошо было, как она шла полями, и мучительно; даже страшно стало. Пошла она шибче, шибче, а кругом все тихо, только слышно, как трухлый снег подтаивает и оседает. Дорога была тяжелая, потому что нога просовывалась и вязла. Устала Настя и, войдя в избу, села на лавку против самой печки, у которой стряпалась Домна.

— Аль уморилась? — спросила ее Домна.

— Уморилась, Домнушка.

— Что так? Недалече, чай?

— Недалече, да уморилась. Тяжко больно ходить-то стало.

— Ты гляди, бабочка, не тяжела ли сама-то стала? — спросила Домна, пристально глядя на Настю.

— И, бог с тобой! Что только вздумаешь! — проговорила, покраснев, Настя.

— Что вздумаю! Это, девушка, неш долго?

— Бог с ними.

— Дети-то?

— Да.

— Ну, ведь там хочешь не хочешь, а уж на то ты баба теперь.

— Помилуй господи!

— Аль рожать боишься?

— Что рожать! Люди рожают, да живы. А хоть бы умереть, так в ту ж бы пору.

— Так что ж: с деткой-то лучше, веселей-ча.

Настя молчала и смотрела в огонь печи.

— Чего ты не раздеваешься? Жарко в свите-то, да еще подпоясамшись.

— Сичас, — ответила Настя, а сама, не трогаясь с места, все продолжала смотреть в огонь.

— Нет, ты, касатка, этого не говори. Это грех перед богом даже. Дети — божье благословение. Дети есть — значить божье благословение над тобой есть, — рассказывала Домна, передвигая в печи горшки. — Опять муж, — продолжала она. — Теперь как муж ни люби жену, а как родит она ему детку, так вдвое та любовь у него к жене вырастает. Вот хоть бы тот же Савелий: ведь уж какую

нужду терпят, а как родится у него дитя, уж он и радости своей не сложит. То любит бабу, а то так и припадает к ней, так за нею и гибнет.

— Любит, — тихо промолвила Настя.

— Известно, любит. Ну и она его жалеет; нечего сказать, добрая баба.

— И она любит, — опять проговорила Настя.

— Ну иной и не то чтобы уж очень друг с дружкой любилися, а как пойдут ребятки, так тоже как сживутся: любо-два. Эх! не всем, бабочка, все любовь-то эта приназначена.

— С чего же не всем?

— Да ишь вот не всем.

— Это всё люди делают.

— Известно, люди, либо опять, так сказать, нужда тоже делает.

— Нет, всё люди.

Обе невестки замолчали.

— Вот только что у тебя муж-то не такой, как у добрых людей, — продолжала Домна.

Настя покраснела, как будто ее поймали на каком-нибудь преступлении или отгадали ее сокровенную мысль.

— И чудно как это, — продолжала Домна.

— О-ох! — болезненно произнесла Настя.

— Что тебе?

— Ничего.

— Чудно это, я говорю, как если любишь мужа-то, да зайдешь в тяжесть и трепыхнется в тебе ребенок. Боже ты мой, господи! Такою тут мертвой любовью-то схватит к мужу: умерла б, кажется, за него; что не знать бы, кажется, что сделала. Право.

А Настя ни словечка не отвечает; брови сдвинула и все смотрела, смотрела в огонь, да как крикнет не своим голосом:

— Ой! ой!

— Что ты? что ты, Настя? — бросилась к ней Домна.

— Ой! сосет, сосет меня!

— Кто сосет? где?

— За сердце, за сердце. Ой! ой!

— Что ты, бог с тобой! Испей водицы.

— Нет, сосет! сосет! Пусти, пусти меня. Ай! ай! отгони, отгони!

— Да кого отогнать? — спросила перепуганная Домна.

— Змей, змей огненный, ай! ай! За сердце... за сердце меня взял... ох! — тихо докончила Настя и покатилась на лавку.

У нее началась жестокая истерика. Она хохотала, плакала, смеялась, рвала на себе волосы и, упав с лавки, каталась по полу.

IX

Часто с Настею стали повторяться с этого раза такие припадки. Толковали сначала, что «это брюхом», что она беременна; позвали бабку, бабка сказала, что неправда, не беременна Настя. Стали все в один голос говорить, что Настя испорчена, что в ней бес сидит. Привезли из Аплечеева отставного солдата знахаря. Тот приехал, расспросил обо всем домашних и в особенности Домну, посмотрел Насте в лицо; посмотрел на воду и объявил, что Настя действительно испорчена.

— И испорчена она, судари вы мои, — сказал знахарь, — злою рукою и большим знахарем, так что помочь этому делу мудрено: потому как напущен на нее бес, называемый рабин-батька. Есть это что самый наизлющий бес, и выгнать его больно мудрено.

Прокудин, к чести его сказать, заботился о невестке и усердно просил знахаря, обещая ему дать что он ни потребует; а Петровна в ногах у него валялась.

Поломался знахарь, взял десять рублей на лекарства и сказал, что попробует.

Стал он над Настей что вечер шептать, да руками махать, да слова непонятные выкрикивать; а ей стало все хуже да хуже. То в неделю раз, два бывали припадки, а то стали случаться в сутки по два раза. На семью даже оторопь нашла, и стали все Насти чуждаться.

— Что ж, как? — спрашивал Прокудин знахаря.

— Упрям, шельма! Все внутрь в утробу он прячется.

— Не можешь ли сказать, кто это на нее напустил? Пошли бы уж к нему поклониться, пусть только назад вызовет.

— Нельзя этого никак.

— Вызвать-то?

— Нет, сказать...

— Отчего?

— Неровен час.

— Да ведь ты ж говорил, что *их*-то ты не боишься.

— Да я не боюсь, а...

— Что же?

— Да видишь, это огневой.

— Ну так что ж, что огневой.

— Ну и нельзя, значит, узнать, кто его посадил.

— Отчего же так?

— Да как же ты узнаешь! Теперь, если по воде пущен, — ну сейчас на воде видать тому, что на этом знается. Опять есть ветряные, что по ветру напущены; ну опять, кто его напустил, тоже есть средствие узнать. А огневого как ты узнаешь? Огонь сгорел, и нет его. Узнавай по чему хочешь!

— Да, да, да! — протянул Исай Матвеич. — Вот она штука-то!

— А, то-то и есть!

— Ну, а кабы в те поры, как с ней это случилось, как еще печка топилась, можно бы было узнать?

— Гм! Не то что когда печка топилась, а если б, к примеру, позвали меня, когда еще хоть один уголек оставался, так и то сейчас бы все дело было перед нами.

— Поди ж ты!

Насте все делалось хуже. Все она тосковала, и, видя, что все ее стали бояться, сама себя она начала бояться.

— Что вы меня всё этими наговорами лечите? — говорила она свекру с свекровьей. — Какой во мне бес? Я просто больна, сердце у меня ноет, сосет меня что-то за сердце, а вы всё меня пугаете с дедами да с бабками.

— Это *он* все в ней хитрует, — говорил солдат. — Видно, ему жутко от меня приходит.

Солдату верили не верили, а деньги платили.

— Вот что, — сказал солдат. — Мне ее здесь у вас неловко лечить, потому что тут *он* все имеет в печке свое обчество; а отвезите вы ее ко мне.

Отвезли Настю к солдату, и денег дали, и муки, и жмыхи, и масла. Пробыла Настя у своего лекаря два дня, а на третий вечером пришла домой и ни за что не хотела к нему возвращаться. Солдат тоже за ней не гнался, но довольствовался тем, что получил, и, видя

свою неустойку, рассказывал, что бес, сидящий в Насте, распалил ее к нему «страстью». «Ну я, боже меня сохрани от этих глупостей! Я свой закон содержу; она и ушла». Настя могла бы рассказать дело и с иной стороны, да поверили ли бы ей? Ей даже не верили, что в ней нет беса, хотя она и богу молилась и людей жалела больше других, не находящих в себе беса. Она уж и не пыталась ничего за себя говорить и жила — сохла без всякой жалобы. Что говорить напрасно! У нас уж всем известно правило, и пословица говорится: «Пил не пил, а коли говорят пьян, — так иди лучше спать ложись». А припадки всё не прекращались. Стала Настя такая мудреная, что чуть на нее кто скажет громко, или крикнет изнáвести, или невзначай чем стукнет, она так вся и задрожит. А если тут на нее глянуть пристально или заговорить с ней о том, что близко ее сердцу, сейчас у нее припадок. Пойдет ее корчить, ломать, и конца нет мукам.

Дошло это до отца Лариона, нашего приходского священника. Он, едучи с требой, завидел Исая Матвеевича и сказал, что над его невесткой можно прочесть чин заклинания.

Пошла Настя с семейными к обедне. Пошли они рано и прямо завели Настю к отцу Лариону.

— Пусть батюшка над тобой почитает.

— Что почитает? — спросила с изумлением Настя.

— Молитвы.

— Какие молитвы?

— Он уж знает.

— На что надо мной читать?

— О твоем здоровье.

— Что вы только затеваете?

Вошел отец Ларион, облачился, взял себе одну зажженную восковую свечу, а другую дал Насте и, благословив зачало, стал читать по требнику заклинание на злого духа.

В комнате было открыто окно, и из этого окна был виден зеленый сад, где утреннее солнышко, «освещая злыя и добрыя», играло по новым изумрудным листочкам молодого вишенника и старых яблонь. У Насти защемило сердце, и она бросилась к открытому окну. Она хотела только стать у окна, дыхнуть свежим воздухом, посмотреть на вольный мир божий, а четыре сильные руки схватили ее сзади и дернули назад. Настя, болезненно

настроенная, испугалась, вскрикнула и отчаянно рванулась. Но Прокудин и Вукол крепко держали ее за локти, и нельзя ей было вырваться. Стала Настя биться у них в руках, побледнела как смерть и кричит:

— Ай! ай! не мучьте меня, пустите, пустите!

— Держи, Гришка! — сказал Прокудин.

Григорий, по отцовскому приказанию, схватил жену под плечи и не давал ей пятиться. Настя вскрикнула еще громче и рванулась так, что трое насилу ее удержали, но тотчас же стихла и опустилась на держащие ее руки. Священник накрыл больную епитрахилью и окончил чтение заклинаний.

Настя долго оставалась без чувств, как мертвая.

Через час Настя очнулась, обедня уже кончилась, и ее повели домой. Она была очень слаба, и глаза у нее были нехорошие, мутные. Настя шла грустно, но покойно, да у самого поворота к дому стали у нее над ухом перешептываться бабы: «испорченная, испорченная», она и стала метаться. Прокудин с другим стариком соседом взяли ее опять за руки, пройдя несколько шагов. Настя не сопротивлялась, но стала охать: «ох!» да «ох!» Все от нее сторонятся, смотрят на нее, а она еще пуще, все охает и все раз от разу громче, да вдруг и хлоп с ног долой, да и закричала на всю улицу: «А-ах! а-х! Извести меня хотят! А-ах! Злодеи! Не дамся я вам, не дамся!»

— Ишь, как *он* в ней раскуражился-то! — говорил народ, когда Настю понесли на руках и положили на зеленой могилке, где она и очнулась.

Вернулись все домой, а Насти не было. Два дня и три ночи она пропадала. Ездили за ней и к кузнецу и к Петровне, но никто ее нигде не видал. На третий день чередников мальчишка, пригнавши вечером овец, сказал: «А Настька-то прокудинская в ярушках над громовым ключом сидит». Поехали к громовому ключу и взяли Настю. Дома она ни на одно слово не отвечала. Села на лавку и опять охать.

— Ох! куда деться! Куда деваться? Куда деться? Куда деваться?

Повторяет все это и из стороны в сторону качается, будто как за каждым вопросом хочет куда-то метнуться. То в окно глянет, то на людей смотрит, — жалостно так смотрит и все стонет: «Куда деваться? Куда деваться?»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Отличный был домик в О—е у Силы Иваныча Крылушкина. Домик этот был деревянный, в два этажа. С улицы он казался очень маленьким, всего в три окна, а в самом деле в нем было много помещения; но он весь выходил одною стороною в двор, а двумя остальными в старый густой сад. Домик этот стоял в глухом переулке, у Никитья, за развалинами огромного старинного боярского дома, в остатках которого помещалось духовное училище, называемое почему-то «Мацневским». Это было у самого выезда, по новугорской дороге. Старик Крылушкин давно жил здесь. В молодости он тут вел свою торговлю, а потом, схоронив на тридцатом году своей жизни жену, которую, по людским рассказам, он сам замучил, Крылушкин прекратил все торговые дела, запер дом и лет пять странничал. Он был в Палестине, в Турции, в Соловках, потом жил с каким-то старцем в Грузии и, научившись от него лечению, вернулся в свое запустелое жилище. Приведя домик в возможный порядок, Крылушкин стал принимать больных и скоро сделался у нас очень известным человеком. Он с бедных людей ничего не брал за леченье, да и вообще и с состоятельных-то людей брал столько, чтоб прожить можно больному. Сам Крылушкин жил доходом с своего большого плодовитого сада, который сдавал обыкновенно рублей за двести или за триста в год. Этого было достаточно Крылушкину, до крайности ограничившему свои потребности. Его умеренность и бескорыстие были известны целому городу и целой губернии. О—ие кумушки говорили, что моли́ Крылушкин или не моли́, а ему не отмолить своего греха перед женою, которую он до поры сжил со света своей душой ревнивою да рукой тяжелою; но народушка не обращал внимания на эти толки. Говорили: «Бог знает, что у него там есть на душе: чужая душа — потемки; а он нам помогает и никем не гребует; видим, что он есть человек доброй души, христианской, и почитаем его».

Под старость, до которой Крылушкин дожил в этом же самом домике, леча больных, пересушивая свои

травы и читая духовные книги, его совсем забыли попрекать женою, и был для всех он просто: «Сила Иваныч Крылушкин», без всякого прошлого. Все ему кланялись, в лавках ему подавали стул, все верили, что он «святой человек, божий».

За леченье Насти Сила Иваныч взял только по два целковых в месяц, по два пуда муки да по мерке круп. Вылечить он ее не обещался, а сказал: «Пускай поживет у меня, — посмотрим, что бог даст». В это время у него больных немного было: две молодые хорошенькие подгородние бабочки с секундарным сифилисом, господская девушка с социатиной в берцовой кости, ткач с сильнейшею грудною чахоткою, старый солдат, у которого все открывалась рана, полученная на бородинских маневрах, да Настя. В доме был простор, и Сила Иванович мог бы дать Насте совсем отдельное помещение, но он не поместил ее внизу, с больными, а взял к себе наверх. Наверху было всего четыре комнаты и кухня. Две из этих комнат занимал сам Крылушкин, в третьей жила его кухарка Пелагея Дмитревна, а в четвертой стояли сундуки, платье висело и разные домашние вещи. В этой комнате поместил Крылушкин привезенную к нему Настю.

— Вот тебя тут, Настасьюшка, никто не будет беспокоить, — сказал Крылушкин, — хочешь сиди, хочешь спи, хочешь работай или гуляй, — что хочешь, то и делай. А скучно станет, вот с Митревной поболтай, ко мне приди, вот тут же через Митревнину комнату. Не скучай! Чего скучать? Все божья власть, бог дал горе, бог и обрадует. А меня ты не бойся; я такой же человек, как и ты. Ничего я не знаю и ни с кем не знаюсь, а верую, что всякая болезнь от господа посылается на человека и по господней воле проходит.

Пелагея Дмитревна была слуга, достойная своего хозяина. Это было кротчайшее и незлобивейшее существо в мире; она стряпала, убиралась по дому, берегла хозяйские крошки и всем, кому чем могла, служила. Ее все больные очень любили, и она всех любила ровной любовью. Только к Насте она с первого же дня стала обнаруживать исключительную нежность, которая не более как через неделю после Настиного приезда обратилась у старухи в глубокую сердечную привязанность.

Это было в первой половине мая.

Прошло две недели с приезда Насти к Крылушкину. Он ей не давал никакого лекарства, только молока велел пить как можно больше. Настя и пила молоко от крылушкинской коровы, как воду, сплошь все дни, и среды, и пятницы. Грусть на Настю часто находила, но припадков, как она приехала к Крылушкину, ни разу не было.

Прошла еще неделя.

— Ты, Настасьюшка, кажись, у меня иной раз скучаешь? — спросил Крылушкин.

— Да што, Сила Иваныч? — отвечала Настя, сконфузясь и улыбаясь давно сошедшей с ее милого лица улыбкой.

— Это нехорошо, молодка!

— Да неш я себя хвалю за это! Да никак с собой не совладаешь.

— Ты б поработалась.

— Что поработать-то! Я с моей радостью великою.

— Вон Митревне помогала бы чем-нибудь.

— Да я ей бы помогала.

— Да что ж?

— Не пущает: все жалеет меня.

— Митревна! — крикнул Крылушкин. — Ты зачем не пущаешь Настю поработаться?

— О-о! да пускай она погуляет, — отвечала старуха с нежнейшим участием к своей любимице.

Крылушкин засмеялся, поправил свои белые волосы и, смеясь же, сказал:

— Что-то ты у меня на старости-то лет не умна уж становишься? Да разве я Настю для своей корысти приневоливаю работать?

— О! да я это знаю, да...

— Да что? Сказать-то и нечего, — поддразнил опять, смеясь, Крылушкин.

— Да пущай погуляет, — досказала старуха.

— Не слушай ее, Настя, господь сам заповедал нам работать и в поте лица есть хлеб наш. У тебя руки, слава богу, здоровы, — что вздумаешь, то и работай.

— Чулки неш вязать?

— На что тебе чулки?

— На базар продать.

— Пусто им будь, этим чулкам! это ледящая работа. Тебе ведь денег не нужно?

— Мне на что же деньги?

— Ну то-то и есть; так и чулки не на что вязать, гнуться на одном месте.

— Да что ж делать-то? — спросила опять Настя и сама опять рассмеялась.

Крылушкин, улыбаясь, вышел в свою комнату и через минуту возвратился оттуда с парою своих старых замшевых перчаток.

— Вот тебе рукавички, — сказал он шутливо, глядя в глаза Насте, — а Митриха даст тебе серп, поди-ка в сад да обожни крапиву около моей малины.

Настя пошла в сад и сжала стрекучую крапиву, и так ей любо было работать. Солнышко теплое парило. Настя устала, повесила кривой серп на яблоньку и выпрямила долго согнутую спину. Краска здоровья и усталости проступила на ее бледных щечках, и была она такою хорошенькою, что глядеть на нее хотелось.

— Что, Сила Иваныч, когда вы мне дадите лекарства-то? — спросила как-то Настя.

— Тебе-то?

— Да.

— Погоди, молодка, погоди.

Так и шло время. Свыклась Настя с Крылушкиным и Митревной и была у них вместо дочери любимой. Все к ней всё с смешком да с шуточкой. А когда и затоскует она, так не мешают ей, не лезут, не распытывают, и она, перегрустивши, еще крепче их любила. Казалось Насте, что в рай небесный она попала и что уж другого счастья ей никакого не нужно.

Тихо, мирно жилось в этом доме, никогда здесь не было ни ссоры, ни споров, ни перебранки. Любила Настя такую тихую жизнь и все думала: отчего это все люди не умеют полюбить такой жизни? До такой меры она полюбила Силу Ивановича, что все свое сердце ему открыла, все свои горести и радости ему повычитала. И еще так, что забудет что-нибудь, то вспоминает, вспоминает — и все, все до капельной капельки, до синь-пороха ему рассказала. С той поры ей совсем словно полегчало, и с той поры они со стариком стали такие друзья, что и в свете других таких друзей, кажется не было.

А вышел этот разговор таким манером.

Не скажу наверное, не то был июнь, не то июль

месяц, но было это вскоре после того, как семинаристов распускают домой на летние каникулы. Дни стояли жаркие, и только ночами можно было дышать свободно. Сила Иваныч соснул после обеда и вечером пошел прогуляться. Проходя мимо знакомой лавки, он купил себе лимончик да фунт мыла, и опять пошел далее и незаметно дошел до Оки. Ока у нас была запружена глупым образом. Как раз вверху при начале города устроен шлюз, — это последний шлюз на Оке, и называется он «Хвастливым», а город стоит на сухих берегах. Только узенькая полоска воды катится по широкому песчаному руслу. Ее и переходят и переезжают вброд. В редких местах вода хватает выше колен, а то больше совсем мелко. По милости этого устройства шлюзов выше города людям нет водяного приволья. Купаться надо ходить либо на Хвастливую, либо на другую речку, да та хоть и глубока, но смрадная такая и тинистая. Зажиточные люди ездят на лошадях в купальни, а бедному народушку, из которого у нас состоит почти весь город, уж и плохо. По этому случаю у нас в привычку вошло купаться ночью. С вечера, как смеркнется, по мелкой Оке и забелеются человеческие спины. Женщины особыми кучками, а мужчины особыми, — войдут в воду и сейчас садятся и сидят или лежат. Ходить никак нельзя. Только ребятишки одни бегают, кричат и брызжутся, не обращая ни на кого внимания. «Не искупаться ли?» — подумал Крылушкин, дойдя до речки, да тут же снял свой синий сюртук, разобрался совсем да искупался и седую голову мылом вымыл. Только холодно ему показалось, продрог он, скоро вышел и стал одеваться.

Тем временем Пелагея Дмитревна ждала, ждала хозяина, да и уснула, а Настя одна сидела под своим окошечком. Из ее окна был виден не только густой сад Силы Иваныча, но и все огромное пространство, называемое садом, принадлежащим Мацневскому училищу. Сад Мацневского училища был садом тогда, когда в теперешних развалинах мацневского дома не жили филины и не распоряжалось начальство о—ского духовного училища; а с переходом в руки духовного ведомства тут все разрушалось, ветшало и носило на себе следы небрежности и страшного неряшества. В огромном боярском саду оставалась только одна длинная аллея из старых лип,

которая начиналась у ворот, обозначавшихся теперь только двумя каменными столбами, а оканчивалась у старой облупленной каменной стены, отделявшей училищный сад от сада Крылушкина. Остальное все давно высохло, вырублено и сожжено училищным сторожем и смотрительским келейником. Местами, правда, торчали еще несколько яблонь и две старые березы, но они существовали в таком печальном виде, что грустно было смотреть на их обломанные сучья и изуродованные пни. Даже трава не росла в этом саду, потому что земля на всем его пространстве была вытоптана ученическими ногами, как молотильный ток, и не пропускала сквозь себя никакого ростка, а в большие жары давала глубокие трещины, закрывавшиеся опять при сильных дождях. Училищный сад представлял совершенный контраст с густым, зеленым садом Крылушкина. В крылушкинском саду лунный свет едва пробивался сквозь густые листья здоровых деревьев и тонул в буйной траве и в плодовитых кустах малины, крыжовника и смородины. А училищный сад был освещен луною как какое-нибудь плацпарадное место. В саду Крылушкина ночью был какой-то покой жизни, чуткое ухо могло только подслушать, как колеблемые теплым ветерком листки перешептывались с листками, а в густой траве вели свой тихий говор ночные козявочки. В училищном саду все было светло, но печально, как на кладбище. Хрупкие ветви старых деревьев не шевелились от легкого ветерка, и внизу негде было гулять маленьким полуночникам, резвившимся в изумрудной густой траве крылушкинского сада. Только холодные, серые жабки, выйдя на вечерние rendez-vous, тяжело шлепали своими мягкими телами по твердо утоптанной земле и целыми толпами скрывались в черной полосе тени, бросаемой полуразрушенною каменною стеною. Настя смотрела то в тот, то в другой сад, и на нее нашла ее обычная грусть. «Что ж, — думала она, — ну теперь мне хорошо; живу я с добрыми людьми; да ведь не мои же это люди! Не прожить же мне с ними век! С кем же мне жить? Семья!.. Муж!.. С кем же? с кем же?» Настя вздохнула и опять задумалась. Бог ее знает, что она вспомнила, о чем думала и чего ей хотелось. Она, кажется, и сама не отдала бы себе во всем этом отчета.

— Настасьюшка! — сказал, войдя в комнату, Крылушкин.

— Что вы, Сила Иваныч?

— Вздумал я покупаться, да что-то мне нехорошо, издрог я.

— О-о! на что ж вы купались-то?

— Спит Митревна?

— Спит.

— Услужи-ка ты мне, Настя.

— Что сделать?

— Не в службу, а в дружбу, раздуй, молодка, самоварчик. Попьюсь я чайку.

Настя схватила с лежанки чистенький самоварчик, нащепала косарем лучинок, зажгла их и, набросав в самовар, вынесла его на лестницу.

Крылушкин, напившись чайку до третьего пота, согрелся и почувствовал себя необыкновенно хорошо. Он не звал ни Настю, ни Пелагею убирать самовар, не хотел их будить. А самому ему спать не хотелось. Сила Иваныч отодвинул немножко чайный прибор, раскрыл четьи-минеи и начал вслух читать жития святых. Сила Иваныч не был нисколько ханжою и даже относился к религии весьма свободно, но очень любил заниматься чтением книг духовно-исторического содержания и часто певал избранные церковные песни и псалмы. В этом изливалась поэтически восторженная душа старика, много лет живущего, не зная других радостей, кроме тех, которые ощущают люди, делая посильное добро ближнему.

С час почитал Сила Иваныч, потом встал, застегнул пряжки тяжелой книги и, идя к своей спальне, остановился перед окном, открыл его и долго, долго смотрел. Его окно не выходило в сад, но из него было далеко видно новугорское поле, девичий монастырь и пригородние ветряные мельницы. Крылушкин посмотрел на освещенное поле, потом вздохнул и, машинально открыв свои ветхие клавикорды, тронул старыми пальцами дребезжащие клавиши и сильным еще, но тоже немножко уже дребезжащим голосом запел: «Чертог твой вижду, спасе мой! украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь». Потом спел: «Святый боже», тройственное «Господи, помилуй» Бортнянского, «Милосердия двери отверзи нам».

В коридорчике что-то зашумело. Настя тихонько вошла и стала, прислонясь к стенке. Старик взглянул на нее и опять продолжал петь. Он пропел: «В бездне греховней валяяся, неисследную милосердия призываю бездну» и «Страстем поработив души моея достоинства».

Луна ясно освещала комнату, беловолосого старика в ситцевой розовой рубашке, распевавшего вдохновенные песни, и стройную Настю в белой как снег рубашке и тяжелой шерстяной юбке ярко-красного цвета. Старик окончил пение и замолчал, не вставая из-за своего утлого инструмента.

— Как хорошо! — проговорила Настя и подошла к самым клавикордам.

Крылушкин ничего не отвечал Насте и, тронув клавиши, опять запел:

О человек!
Вспомни свой век,
Взгляни ты на гробы,
Они вечны домы.

— Как я люблю, как поют-то, — сказала Настя, когда Крылушкин кончил свою песню. — Я и сама охотница была петь песни, да только мы глупы, неученые, таких-то хороших песен, как вот эти, мы не знаем. Мы всё свои поем, простые, мужицкие песни.

— Уж на что же, молодка, лучше нашей простой песни! Ты ее не хай. Наша песня такая сердечная, что и нигде ты другой такой не сыщешь.

— И то правда, — отвечала Настя. — Только вот и это-то так любо сердцу, что вы-то поете.

— Я, дочка моя, старый человек. Моя одна нога здесь, а другая в домовину свесилась. У меня мои песни, а у молодости свои. Ты вот, бог даст, вернешься здоровая, так гляди, какую заведешь песню веселую да голосистую.

— О, уж где мне!

— Погоди-ка, еще я приеду, послушаю.

— Нет, уж я свои песни все спела.

— И мне не споешь?

Настя засмеялась и сказала:

— Шутник вы, Сила Иваныч.

— Что ж, споешь?

— Спою, спою, — отвечала Настя скороговоркой и, вздохнув, проговорила: — Вот кабы вы лет семь назад приезжали, так я бы вам напела песен, а теперь где уж мне петь! В те-то поры я одна была, птичка вольная. Худо ли, хорошо ли, а все одна. И с радости поешь, бывало, и с горя тоже. Уйдешь, затянешь песню, да в ней все свое горе и выплачешь.

— А у тебя много было горя, Настя?

— Да; а то разве без горя нешто проживешь, Сила Иваныч? Всего было на моем веку-то!..

Как пошла тут Настя рассказывать свою жизнь, так всю ее по ниточке перебрала; все рассказала Силе Иванычу до самого того дня, как привезли ее к нему в дом. Старик слушал с большим вниманием и участием.

— Что ж, ты любила, что ль, того Григорья-то садовника? — спросил Крылушкин, когда Настя окончила свой рассказ.

— Н...н...нет, — отвечала, подумав, Настя. — Так только, он был такой ласковый до меня да угодливый.

— Ну, а он тебя любил?

— Бог его знает.

— Может, ты другого кого любила? — спросил опять, помолчав, старик.

— Нет, — отвечала Настя.

— Может, теперь любишь?

Настя отрицательно качнула головой и сказала:

— Нет! Мне только все грустно.

— Чего же тебе грустно?

— Да так грустно, словно чего-то у меня нет, словно что-то у меня отняли. Грустно, да и только. Вылечите вы меня от этой грусти.

Старик посмотрел на Настю, встал, погладил ее по голове и пошел спать на свою железную кровать, а Настя пошла в свою комнату.

Долго не спала Настя. Все ей было грустно, и старик два раза поднимался на локоть и взглядывал на свои огромные серебряные часы, висевшие над его изголовьем на коричневом бисерном шнурочке с белыми незабудочками. Пришла ему на память и старость, и молодость, и люди

добрые, и обычаи строгие, и если бы кто-нибудь заглянул в эту пору в душу Силы Иваныча, то не сказал бы, глядя на него, что все

Стары люди нерассудливы,
Будто сами молоды не бувывали.

II

Возвратился Вукол из О—ла после успеньева дня и привез домой слухи о Насте. Сказывал, что она совсем здорова и работает, что Крылушкин денег за нее больше не взял и провизии не принял, потому, говорит, что она не даром мой хлеб ест, а помогает во всем по двору.

— Коли ж за ней приезжать-то велел? — спросил сурово Прокудин.

— Ничего не сказал. Говорит, нехай поживет.

— Нехай поживет до прядева.

И действительно, к прядеву Настя вернулась домой. На Михайлу-архангела приехала подвода просить Настю и ее братьев, Петрушу и Егорушку, как можно скорее ко двору, что Петровна умирает и желает проститься. Ни о чем Настя не рассуждала и в минуту собралась. О расставанье ее с Крылушкиным и Митревной не буду рассказывать. Довольно того, что у всех глаза были красные. Егорушку тоже хозяин сейчас отпустил, только велел через пять дней непременно быть назад, как будто старуха на срок умирала; а Петрушу ждали, ждали — не приходит. Подъехали к их дому, на большой улице, совсем уж на подводе, а его хозяин не пускает.

— Что ж так? — говорит Настя. — То пускал, а то не пускает вдруг.

— Спешил я, сестрица, — отвечает Петруша, — гладил штаны да подпалил, так вот в наказание, черт этакой, говорит: «Не пущу».

— Дай я попрошу.

— Не проси, сестрица, изобьет.

— Ну, как же?

Настя пошла просить за брата. Ждала, ждала, вышел хозяин в одних панталонах и в туфлях и объявил, что «Петька чиновничьи штаны прожег».

— Накажите его после, — говорила Настя, — а теперь наша мать помирает. Пустите его принять родительское благословение.

— Что? — крикнул портной. — Он штаны испортил, и он не поедет. Марш! — крикнул он на плачущего Петрушку, указывая ему на дверь мастерской, и, прежде чем мальчик успел проюркнуть в эту дверь, хозяин дал ему горячий подзатыльник и ушел в свои комнаты.

Настю очень огорчила эта сцена. Это был первый ее шаг из дома Крылушкина, где она мирно и спокойно прожила около семи месяцев. Всю дорогу она была встревожена тем, что не привезет умирающей матери любимого ее сына, Петрушу.

Мавра Петровна умерла на другой день по приезде Насти, благословляя Силу Иваныча за дочернино выздоровление.

Осмотревшись после материных похорон, Настя нашла во всем окружающем ее после семимесячного отсутствия много перемен, касавшихся весьма близко ее собственного положения. Муж ее на самую осеннюю казанскую ушел с артелью на Украйну плотничать. Костик поссорился с Прокудиным. С самой весны они на след друг друга не находили, и говорили, что Прокудин даже ночами не спал, боясь, чтобы Костик ему не пустил красного петуха под застреху, но Костик унес свою неотомщенную злобу в Киев и там ездил биржевым извозчиком от хозяина. Настину пуньку отдали Домне, к которой муж вернулся, а Насте сгородили новую, просторную пуньку на задворке, где корм складывали, потому что на дворе уж тесно было.

Обрядила Настя свою новую пуньку и стала в ней жить. На второй же день ей рассказала Домна, как Григорий ушел на Украйну и за что Костик рассердился с Прокудиным. Григорий пошел потому, что рядчик много заподрядил работы и набирал в артель зря, кого попало, лишь бы топор в руках держал. Гришка стал проситься, отец его и отпустил: «пусть, мол, поучится», и денег за него взял двадцать пять рублей; рядчик спросил только: «Ты плотник?» Григорий отвечал, что нет. «А стучать горазд?» — «Стучать ничего, могим!» — отвечал Григорий. «Ну плотник не плотник, абы стучать охотник», — порешил рядчик и повел Григорья с артелью за тридцать серебра до Петрова дня.

А Костик поссорился с Прокудиным, как стали барыши делить о вешнем Николе. Первое дело, что Прокудин больше как на половину заделил Костика, а кроме того, еще из его доли вывернул двести ассигнациями Насте на справу да сто пятьдесят на свадьбу, «так как ты сам, говорит, это обещал». Костик было туда-сюда, «никогда я, говорит, ничего не обещал». Ну да там толкуй больной с подлекарем. Деньги-то у Прокудина были в руках, он что хотел, то и делал. Костик еще боялся, что капитала не вернет, и как вырвал его, так три дня пил с радости, а через месяц отпросился у барина на оброк и ушел в Киев.

Настя все это выслушала совершенно равнодушно и безучастно.

Зиму целую Настя работала так, что семья ею нахвалиться не могла. Характером она была опять такая же: тихая, кроткая, молчаливая, но теперь она была всегда покойна и никакой тревоги из-за нее не было. На посиделки она ходила всего только три раза. Ребята к ней льнули, как мухи к меду, но она на это и глазом не смотрела и крепко спала на своей постельке в холодной пуньке на задворке. Варька было пришла раз ночью к ней в пуньку с двумя ребятами, и водки и закусок с собой принесли, да Настя наотрез сказала, что не пустит их и чтоб этого в другой раз не было.

— Что ты, дура! неш кто увидит. Вишь, тут на задворке любо, что хочем, то и скомандуем, — говорила Варвара.

— Мало ли чего не увидят, да я не хочу этим заниматься, — отвечала Настя.

— Что ты, благая! Люди от каких мужьев, да и то гуляют; а от твоего-то и бог простит другую любовь принять.

— Ну, добро! Неш такая-то любовь бывает!

— А то ж какая?

— Иди, Варвара.

— Отопрись, глупая!

— Нет, не будет этого. Иди куда хочешь с своими ребятами, только не ходите ко мне, не кладите на меня славы понапрасно. Не ходите, а то в избе спать стану.

Выругала Варвара Настю и ушла, и долго на нее сердилась: все боялась, что Настя семейным своим расскажет. Настя же никому и вида не подала, а только

стала ворота задворка запирать ночью на задвижку изнутри.

Не одна Варвара делала Насте этакие претексты, даже и невестка Домна, с своего доброго сердца, говорила ей: «И-и! да гуляй, Настя. Ведь другие ж гуляют. Чего тебе-то порожнем ходить? Неш ты хуже других; аль тебе молодость не надо будет вспомянуть?» Но Настя все оставалась Настею. Все ей было грустно, и все она не знала, что поделать с своею тоскою. А о «гулянье» у неё и думки не было.

Опять начал таять снег, и мужики, глядя, как толкутся воробьи, опять говорили, что весна идет. То же самое находили прачки, мывшие белье на учеников О—ского благородного мужского пансиона, и старушка Вольф, исправлявшая должность надзирательницы в старшем классе пансиона благородных девиц. Впрочем, ее замечания не имели прочных оснований, на которых создавались два первые вывода. Старушка Вольф предчувствовала весну, потому что у *детей* (от шестнадцати до девятнадцатилетнего возраста) перед утром пылали щеки и ротики раскрывались, как у молодых галченяток, а сквозь открытые зубки бежала тоненькая, девственная слюнка. Говорили, что это «дети кашки просят». Ну да бог с ними, все эти приметы; их не перечтешь. Довольно того, что для определения приближающейся весны есть везде свои приметы и что весна действительно идет за появлением известных примет.

Итак, была весна.

У Прокудиных опять боялись, чтобы на Настю не нашла ее хвороба в то самое время, как в прошлом году; но не было ничего и похожего на прошлогоднее. Прошла святая неделя, началась пашня. Настя была здоровехонька, стригла с бабами овец, мяла пеньку, садила огород и, намаявшись день на воздухе, крепко засыпала покойным, глубоким сном. За всю весну только два раза она чувствовала себя взволнованной и встревоженной. Как раз за тою стеною задворка, к которому была пригорожена Настина пунька, пролегала дорожка, отделявшая задворок от мелкого, но очень густого орехового кустарника. По этой дорожке летом ездили с верхних гостомльских хуторов в нижние и по ней же водили

на Ивановский луг в ночное лошадей. Вверху по Гостомле, или, как у нас говорят, «в головах», пастбища тесные, и их берегут на время заказа лугов, а пока луга не заказаны и опять когда их скосят, из «голов» всегда водят коней на пастбище на самый нижний и самый большой луг, Ивановский. Проводили мужики лошадей, таким образом, мимо самой Настиной пуньки, и все ей было слышно, и как мужики, едучи верхами, разговаривают, и как кони топают своими некованными копытами, и как жеребятки ржут звонкими голосами, догоняя своих матерей. Настя очень любила ночную пору и жадно прислушивалась и к говору проезжавших за ее пунькой ребят, и к конскому топоту, и к жеребячьему тоненькому ржанью. Но всего внимательнее она прислушивалась к песням, которые зачастую певали мужики, едучи в ночное. Настя знала толк в песнях и отличала один голос, который часто пел, проезжая мимо ее задворка. Певец обыкновенно проезжал с своими лошадьми позже всех других и всегда один.

Это Настя могла определить по тому, что звонкая песня не заглушалась ничьим говором, ни многочисленным конским топотом. Видно было, что певец ездит один и ведет не более как трех лошадей.

Отличный был голос у этого певца, и чудесные он знал песни. Некоторые из них Настя сама знала, а других никогда не слыхивала. Но и те песни, которые знала она, казались ей словно новыми. Так внятно и толково выпевал певец слова песни, так глубоко он передавал своим пением ее задушевный смысл.

Первый раз как услыхала Настя этого песельника, он пел, едучи:

Мне не спится, не лежится,
И сон меня не берет;
Пошел бы я до любезной,
Да не знаю, где живет.

Настя давно знала эту песню, но как-то тут, с этого голоса, она ей стала в голове, и долго Настя думала, что ведь вот не спится человеку и другому человеку в другом месте тоже не спится и не лежится. Пойти б тому одному человеку до другого, да... не знает он, где живет этот другой человек, что ждет к себе другого человека.

III

Все стояла весна, всё были дни погожие и ночи теплые, роскошные, без луны, с одними звездочками на синем небе. Привыкла Настя к своему песельнику. Всякую ночь, как протопочет мимо ее задворка большой табун, она и ждет и слушает, не спится ей. А вдали уж слышится звонкий, полный голос. Сначала слов не слыхать, и Настя только по мотиву отличает песню, а там и слова заслышатся. Поет песельник песни и веселые, разудалые, поет и грустные, надрывающие душу. То хвалится в своей песне алой лентой и так радостно поет:

То-то лента! то-то лента!
    То-то алая моя!
Ала! ала! ала!
    Мне голубушка дала.

Словно в самом деле голубушка только что выплела из косы алую ленту да дала ему: «Носи, мол, дружок, люби меня, да мною радуйся».

А в другой раз издали Настя слышит, как поет он:

Уж ты ль, молодость,
    Моя молодость!
Красота ль моя
    Молодецкая!
Ты куда прошла,
    Миновалася?
Не видал тебя,
    Моя молодость,
За лютой змеей
    Подколодною,
За своей женой,
    За негодною.

И поет он эту песню как будто не оттого, что ему петь хочется, а оттого, что в самом деле лютая змея подколодная заела его и красу и молодость и нет ему силы на нее не плакаться.

Никак Настя не могла разобрать: не то этому человеку уж очень тяжело на свете, не то весело, и поет он грустные песни с того только, что петь ловок и любит песни.

Была Настя все та же Евина дочка. Хотелось ей посмотреть песельника. Вышла такая светлая, лунная ночь; Настя лежала на постели, заслышала знакомую голосис-

тую песню, оперлась на локоть и смотрит в щелку, которых много в плетневой стене, потому что суволока, которою обставляют пуньки на зиму, была отставлена. Смотрит Настя, а топот и песня все ближе, и вдруг перед самыми ее глазами показался статный русый парень, в белой рубашке с красными ластовицами и в высокой шляпе гречишником. Выехал он против Настиной пуньки и, как нарочно, остановился, обернулся на лошади полуоборотом назад, свистнул и стал звать отставшего жеребенка. «Кось! кось! кось! Беги, дурашка!» — звал парень жеребеночка, оборотясь лицом к Настиной стене. А Настя все смотрела на него и, когда он тронулся с своими лошадьми далее, подумала: «Хороший какой да румяный! Где ему горе знать?»

— Кто это у нас так хорошо песни играет? [1] — говорила как-то Настя Домне.

— Где играет? — спросила Домна.

— Да вот все в ночное ездючи.

— Кто ж его знает! Неш мало их играет? все играют.

— Нет, этот уж ловче всех, голосистый такой.

— Ловче всех, так должно, что Степку Лябихова ты слышала. Он первый песельник по всей Гостомле считается.

Ну, Степана и Степана; больше о нем и разговоров не было.

Доминали бабы последнюю пеньку на задворках, и Настя с ними мяла. Где молодые бабы соберутся одни, тут уж и смехи, и шутки, и жированье. Никого не пропустят, не зацепивши да не подсмеявшись.

Показалась телега на гнедой лошади. Мужик шел возле переднего колеса. Видно было, что воз тяжелый.

— Эй, ты! — крикнула Домна на мужика.

— Чего? — отозвался парень.

Настя глянула на парня и узнала в нем Степана Лябихова.

— Откуда едешь? — крикнула другая баба.

— Не видишь, что ли! Муку везу.

— С мельницы?

— Ну а то ж откуда муку возят? А еще баба назы-

---

[1] У нас не говорят «петь песни», а «играть песни». *(Прим. автора.)*

ваешься, да не знаешь откуда муку возят, — отвечал Степан, не останавливая лошади.

— Слушай-ка! — крикнула ему опять Домна.

— Ну, чего там?

— Глянь-ка сюда.

— Да чего?

— Да глянь, небось.

— Ну! — сказал, остановясь, Степан.

— Поди, мол, сюда.

Степан забросил веревочные вожжи на телегу и, не спеша подойдя к бабам, опять спросил:

— Чего вы, сороки белохвостые?

— Давно тебя, сокол ясный, не видали, — отвечала молодая солдатка Наталья.

— Соскучились, значит, по мне.

— Иссохли, малый, — смеясь, проговорила та же солдатка.

— И ты иссохла?

— Да как же: ночь не ем, день не сплю, за тобой убиваюсь.

— Ах ты, моя краля милая! — принимая шутку, отвечал Степан и хотел обнять Наталью. А та, трепля горсть обмятой пеньки о стойку, обернулась и трепнула ею по голове Степана. Шляпа с него слетела, волосы разбрылялись, и в них застряли клочки белой кострики. Бабы засмеялись, и Настя с ними не удержалась и засмеялась.

— Э, нет, постой, баба, это не так! — весело проговорил Степан. — Это не мадель. А у нас за это с вашим братом вот как справляются! — Степан охватил солдатку, бросил ее на мягкую кучу свежеобитой костры и, заведя ей руки за спину, поцеловал ее раз двадцать сразу в губы.

— Пусти!.. мм-м, пусти, черт! — крикнула солдатка, отрывая свои губы от впившихся в них губ Степана. Но она не вырвалась, пока сам Степан, нацеловавшись досыта, пустил ее и, вставая с колен, сказал:

— Вот важно! Натешил душеньку.

— Экой мерин! — вскликнула, отряхиваясь, раскрасневшаяся солдатка и ударила Степана кулаком в спину.

— Неш так-то гожо́ делать? — спросила Домна.

— Что?

— Да баб-то женатому целовать.

— А то неш не гажо́?

— Да еще при людях! Что проку при людях-то целоваться? — проговорил кто-то из баб.

— Да где ж ты ее без людей поцелуешь? — спросил Степан.

— О, болезный! Не знаешь, смотри, где.

Степан засмеялся, обмахнул сбитую с него Натальею шляпу и, тряхнув русыми кудрями, сказал:

— Прощайте, бабочки.

— Прощай, — отвечали несколько женщин, с удовольствием глядя на красивого Степана.

— Неси тебя нелегкая! — проговорила все еще красная от крепких поцелуев Наталья.

— Эй, ты, Степан, бабья сухота! — крикнула Домна.

— Ну вас совсем, некогда! — отвечал Степан.

— Нет, постой-кась! Ты что нашим бабам спать не даешь?

Настя вспыхнула.

— Каким вашим бабам я спать не даю?

— Про то мы знаем, а ты зачем спать-то мешаешь?

— Чем я мешаю?

— Песни свои всё горланишь.

— Да, вот дело-то!

Степан уехал.

— Экой черт! — сказала вслед ему Наталья, обтирая свои губы.

— Что кабы на этого парня да не его горе, что б из него было! — проговорила Домна.

— А у него какое ж горе? — спросила Настя, которой не нравилась беспардонная веселость Степана.

— О-о! да уж есть ли такой другой горький на свете, как он.

Рассказали тут Насте, как этот Степан в приемышах у гостомльского мужика Лябихова вырос, как его били, колотили, помыкали им в детстве, а потом женили на хозяйской дочери, которая из себя хоть и ничего баба, а нравная такая, что и боже спаси. Слова с мужем в согласие не скажет, да все на него жалуется и чужим и домашним. Срамит его да урекает.

— Он уж, — говорила рассказчица, — один раз было убил ее с сердцов, насилу водой отлили, а другой раз, вот как последний набор был, сам в некруты просился, —

не отдали, тесть перепросил, что работника в дворе нет. А теперь, — прибавила баба, — ребят, что ли, он жалеет, тоже двое ребятишек есть, либо уж обтерпелся он, только ничего не слыхать. Работает как вол, никуда не ходит, только свои песни поет. Это-то допрежь, как его жена допекала, так с бабами, бывало, баловался; была у него тож своя полюбовница, а нонче уж и этого не слыхать стало...

— А не слыхать! — подтвердили бабы.

— Где ж его полюбовница? — спросила Настя.

— Вывели их в сибирскую губерню, на вольные степи. Туда и она пошла с своими, с семейными.

— Стало, замужняя была?

— Известно, баба: не девка же.

— Может, вдова.

— Нет, хозяин был, да она своего-то не любила, а Степку смерть как жалела.

— Да что ж жена-то его не любит, что ль? — спросила Настя.

— Не то, девушка, что не любит. Може, и любит, да нравная она такая. Вередует — и не знает, чего вередует. Сызмальства мать-то с отцом как собаки жили, ну и она так норовит. А он парень открытый, душевный, нетерпячий, — вот у них и идет. Она и сама, лютуя, мучится и его совсем и замаяла и от себя отворотила. А чтоб обернуться этак к нему всем сердцем, этого у нее в нраве нет: суровая уж такая, неласковая, неприветливая.

— Вот как ты до своего мужа, — смеясь, сказала солдатка Насте.

— Приравняла! — воскликнула Домна.— Что Гришка, а что Степан. Тому бы на старой бабе впору жениться, а этого-то уж и полюбить, так есть кого.

На вешнего Николу у нас престольный праздник и ярмарка. Весь народ был у церкви, и Настя с бабами туда ходила, и Степан там был. Степан встретился с бабами. Он нес на руках пятилетнего сынишку и свистал ему на глиняной уточке. Поздоровались они и несколькими словами перебросились. Степан был, по обыкновению, весел и шутлив. Настя видела, как он поднес сынишку к телеге, на которой сидела его жена. Насте хотелось рассмотреть Степанову жену, и она незаметно подошла ближе. Бабочка показалась Насте не дурною и даже не злою.

— Что ж ему сделается? — говорил Степан жене, стоя у телеги.

— Не надо, — отвечала жена.

Настя, оборотясь спиной, слушала этот разговор.

— Кум просит.

— Пусть просит.

— Дай хоть малого-то, коли сама не пойдешь.

— Не надо.

— Зарядила, не надо да не надо. С чего ж так не надо?

— Нечего туда малого таскать.

— Кум нам завсегда приятель.

— Тебе пьянствовать он приятель.

— Коли ж я пьянствовал? Пусти со мной малого.

— Сказала, не пущу!

— Да пусти, кум обижаться будет!

— Наплевать мне на твоего кума вместе и с тобою-то.

Степан плюнул, сказал: «Экая язва сибирская!» и пошел один к куму.

Перед вечером он шел, сильно шатаясь. Видно, что ему было жарко, потому что он снял свиту и, перевязав ее красным кушаком, нес за спиною. Он был очень пьян и не заметил трех баб, которые стояли под ракитою на плотине. По обыкновению своему, Степан пел, но теперь он пел дурно и беспрестанно икал.

— Т-с! что он играет? — сказала Домна.

Ровняясь с бабами, Степан пел:

Она, шельма, промолчала:
Ни ответу, ни привету, —
Будто шельмы дома нету.
Хотя ж хоть и дома,
Лежит, что корова,
Оттопырит свои губы,
Поцелует, как не люди...

— Кто тебя так целует? — крикнула, смеясь, Домна.

— А! — отозвался Степан, водя покрасневшими глазами.

— На кого плачешься? — повторила баба.

— Я-то?

— Да. А то кто ж?

— Неш я плачу!

— Вино в тебе плачет.

— Ну вас к лешему! — отвечал Степан и, качаясь, зашагал далее и другим голосом на тот же напев продолжал прерванную песню:

Уж я выйду на крылечко,
Уж я звякну во колечко:
Старушка, свет,
Выйди на совет!

— Часто он так-то бывает? — спросила Настя.

— Где там! Это ди́ва просто, что с ним. Попритчилось ему, что ли, что он набрался.

Перед Петровым днем пришли из Украйны ребята, а Гришка не пришел. На год еще там остался.

Ночью под самый Петров день у нас есть обычай не спать. Солнце караулят. С самого вечера собираются бабы, ходят около деревень и поют песни. Мужики молодые тоже около баб.

Пошли бабы около задворков и как раз встретили Степана, ехавшего в ночное. «Иди с нами песни играть»,— кричат ему. Он было отказываться тем, что лошадей некому свести, но нашли паренька молодого и послали с ним Степановых лошадей в свой табун. Мужики тоже рады были Степану, потому что где Степан, там и забавы, там и песни любимые будут. Степан остался, но он нынче был как-то невесел.

Стали водить хороводы с разными фигурками.

— Сыграй, Степан, про загадки, — приставали бабы.

— Сыграй, Степка, — говорили ребята.

— Нету охоты, ребята.

— Сыграй, сыграй, — говорили все, образуя просторный кружок, в средине которого очутился Степан.

— И кружок готов! — сказал он, смеясь.

— Теперь играй.

— С кем же играть-то?

— Ну, бабы! Что ж вы стали? Давайте из себя бабу Степке.

Бабы пошли перекоряться: «да я не знаю», «да я не умею», «да иди ты», «пусть идет Аришка»; а Аришка говорит: «Вон Машка умеет».

— Что ж, стало, бабы нет на Гостомле! Вона до чего дожились! — крикнул, развеселясь понемножку, Степан.

— Стой! Давай палку, — крикнул кто-то.

Явилась палка.

— Хватайся, бабы: чья рука верхняя, той играть с Степкой песню.

— Так нельзя, — отвечали бабы.

— С чего нельзя?

— А как неумелой придется?

— Исправди так.

— Ну, сколько умелых?

— Вон Аленка умеет?

— Ну!

— Наташка-солдатка, Анютка-глазастая, Грушка Полубеньева.

— Выходи, бабы, выходи! — командовали ребята.

— Ну кто еще?

Бабы молчали.

— Высказывай друг на дружку, по-дворянски: кто еще?

— Настька Прокудина! — крикнул кто-то.

— И то! Настька! Настька! выходи. Ты ведь песельница была.

Настя хотела отговориться или спрятаться, но бабы ее выпихнули в кружок, где стоял певец и кандидатки на занятие женской партии в загадках.

— Вот теперь судьба как велит. Нынче ночь-то ведь петровская, все неспроста делается. Хватайся, бабы!

Бабы стали хвататься руками за палку. Верхняя рука вышла Настина.

— Настьке играть, — крикнули все. Бабы, хватавшиеся за палку, отошли в пестрый кружок, а Настя осталась в середине перед Степаном.

— Заводи, Степка.

Степан откашлянулся и чистым высоким тенором завел требуемую песню.

— Экой голосистый! — шептали бабы, — не взять Настьке под него.

Куплет кончился, нужно было петь Насте. Все хранили мертвое молчание и ждали, как взведет Настя против Степанова голоса.

Настя давно не певала и сама уж отвыкла от своего голоса, но деться было некуда, нужно было петь. Она тоже откашлянулась и взяла выше последней ноты Степана.

— Важно! Вот так песельница! Вот так пара! — кричали ребята.

Степан был рад, что есть ему с кем показать свою артистическую удаль, и еще смелее запел:

Напой мово коня
Среди синя моря,
Чтобы ворон конь напился,
Бран ковер не замочился
И не мокор был, — сухой,

Высокою, замирающею трелью он вывел последние слова. А Настя с этой ноты свободно продолжала:

Сострой, милый, терем
Из маковых зерен,
Были б двери, каравати,
Можно б там приятно спати
С тобой, милый мой!

— Важно! На отличку! Спасибо, спасибо, молодайка! — кричали ребята. А Настя вся закраснелась и ушла в толпу. Она никогда не думала о словах этой народной оперетки, а теперь, пропевши их Степану, она ими была недовольна. Ну да ведь довольна не довольна, а из песни слова не выкинешь. Заведешь начало, так споешь уж все, что стоит и в начале, и в конце, и в середине. До всего дойдет.

IV

Рожь поспела, и началось жниво. Рожь была неровная: которую жали, а которая шла под косу. Прокудины жали свою, а Степан косил свою. Не потому он косил, чтобы его рожь была хуже прокудинской: рожь была такая же, потому что и обработка была одинакая, да и загоны их были в одном клину; но Степан один был в дворе. Ему и скосить-то впору было поспеть за людьми, а уж о жнитве и думать нечего.

На Степане на одном весь дом лежал. Он и в поле работал, как прочие, и в дворе управлялся. Всюду нужно было поспеть; переменить его было некому. Все прочие наработаются да тут же под крестцами в поле и опять ложатся, чтоб не томиться ходьбой ко дворам. Только

разве баба очередная в семье пойдет вечером домой, на завтра обед готовить. А Степан через день, а через два уж непременно, должен был ходить на ночь домой, чтоб утром там поделать все, что по домашнему быту требуется и чего бабы не осилеют. А утром опять с людьми зауряд косою махал, пока плечи разломит.

Жаркий день был.

Высоко стоит солнце на небе,
Горячо печет землю-матушку, —
Мочи нет жать колосистой ржи.

Жницы обливались пóтом и, распрямляясь по временам, держались руками за наболевшие от долгого гнутья поясницы. Настя гнала свою пóстать и ставила сноп за снопом. Рожь на ее постати лощинкою вышла густая, а серп притупился. Перед сумерками, как уж солнцу садиться, Настя стала, повесила серп на руку, задумалась и глядит вдаль; а через два загона Степан оперся о косье и смотрит на Настю. Заметила Настя, что Степан на нее смотрит, покраснела и, присев в рожь, начала спешно жать.

На другой день Настя раз пять замечала, что, как она ни встанет отдохнуть, все Степан на нее смотрит. Ей показалось, что он стережет ее нарочно. Вечером Степан пришел на прокудинский загон попросить кваску напиться и побалакать. Но в страду и бабы не разговорчивы: плечи у них болят, поясницы ломит, а тут жар пеклый, духота несусветная, — не до веселостей уж.

— Отбей завтра, Настя, свежего кваску-то, — говорила Домна.

— Хорошо.

— Да, а то уж Москву увидишь с вашего квасу, — заметил Степан.

— Вот невестка завтра нового сделает — приходи пить.

— Беспременно приду. Приходить, молодайка?

— Да мне что ж? Коли хочешь, приходи.

— Да ты небось квасу-то не горазда делать.

— Как умею.

— Шла бы ты, Домна, сделала.

— Завтра ее день стряпаться.

— Да, да, да! Стало, ее черед.

— А то как же?

— Часто вам доводится?

— Да на третий день всё. Трое ведь нас, опричь свекрухи.

Степан простился и ушел на свой загон. Он прокосил еще два раза, закинул на плечо косу и пошел по дороге домой.

— Что рано шабашишь? — крикнул Степану косивший сосед.

— Коса затупилась, отбить надо дома, — отвечал Степан и скрылся за пригорком.

Дожали прокудинские бабы, поужинали и стали ложиться спать под крестцами, а Настя пошла домой, чтобы готовить завтра обед. Ночь была темная, звездная, но безлунная. Такие ночи особенно хороши в нашей местности, и народ любит их больше светлых, лунных ночей. Настя шла тихая и спокойная. Она перешла живой мостик в ярочке и пошла рубежом по яровому клину. Из овсов кто-то поднялся. Настя испугалась и стала.

— Ты, знать, испугалась, Настасья Борисовна? — сказал поднявшийся. Настя узнала по голосу Степана.

— Я отдохнул тут маленько, — продолжал он и, вскинув на плечо свою косу, пошел рядом с Настею.

Насте показалось, что Степан нарочно поджидал ее. Ей было как-то неловко.

— Чего ты всегда такая суровая, Настасья Борисовна? Давно я хотел тебя об этом спросить, — проговорил Степан, глядя в лицо Насте.

— Такая родилась, — отвечала Настя.

— Нет, не такая ты родилась.

— А ты почему знаешь? — проговорила Настя после долгой паузы.

— Нет, знаю. Я про тебя все разузнал.

— На что ж тебе было разузнавать про меня?

— Да так.

— Делать тебе, видно, нечего.

— Угадала!

— Да право.

— Нет, так... Погуторить мне с тобой хотелось.

— Не о чем тебе со мной гуторить, — отвечала Настя, потупив голову и прибавляя шагу.

Ей все становилось неловче; Степан ей казался страшным, и она от него бежала.

— Что ты бежишь? — спросил Степан.
— Ко двору спешу.
— Чего спешить, ночь еще велика.
Настя промолчала.
— Посидим, — сказал Степан.
Настя не отвечала.
— Посидим, — повторил Степан и взял Настю за руку.
Настя оттолкнула нетерпеливо его руку и гневно сказала:
— Это что затеял!
— Бог с тобой! Чего ты! Неш я худое думал? Я только так, побалакать с тобой, — отвечал Степан, нимало не сконфузясь. — Я вот что, Настасья...
Настя шла молча.
— Слышь, что ль? Я... по тебе просто умираю.
Настя не поднимала глаз и все шла.
— Скажи словцо-то! — приставал Степан.
— Что тебе сказать?
— Полюби меня.
— Поди ты с любовью!
— Ведь мы с тобой оба горькие.
— Так что ж.
— То-ись, господи, как бы я тебя уважал-то!
Настя не отвечала.
— Так ведь жизнь-то наша пропадает, — продолжал Степан.
— Мало, видно, тебе еще твоего горя-то, любви захотел.
— Да неш любовь-то горе?
— А то радость небось из нее будет?
— Да хоть бы пропасть за тебя, так бога б благодарил.
Настя опять не отвечала.
— Горький я, — произнес Степан.
— Полно плакаться, у тебя неш мало.
— Да что они мне? тьфу! Больше ничего. Меня твоя душа кроткая да доля кручинная совсем с ума свели. Рученьки мои опускаются, как о тебе згадаю.
— Что болтать! Когда ты меня зазнал-то? Когда полюбить-то было?
— Тянет меня к тебе, вот словно сила какая, на свет бы не глядел; помер бы здали тебя.

— Прощай! — сказала Настя, повернув к своему задворку.

— Касатка моя! голубочка! постой на минутку.

— Прощай, не надо, — повторила Настя и ушла в двор.

Всю ночь снился Насте красивый Степан, и тоска на нее неведомая нападала. Не прежняя ее тоска, а другая, совсем новая, в которой было и грустно, и радостно, и жутко, и сладко.

Прошло три дня; Настя не видала Степана и была этому словно рада. Он косил где-то на дальнем загоне. Настя пошла вечером опять стряпаться, а Степан опять сидел на рубеже. Хотела Настя, завидя его, свернуть, да некуда. А он ей уж навстречу идет.

— Здравствуй! — говорит.

— Здравствуй! — отвечает Настя, а сама загорелась.

— Я ждал тебя, — говорил Степан.

— Зачем ждал?

— Помолиться тебе за мою любовь за горькую.

— Ничего из этого не будет, — отвечала Настя.

— Да за что ж так! Аль ты мне не веришь?

— У тебя есть жена, ребята. Их смотри лучше.

— Я все равно пропаду без тебя.

— Я этому не причинна.

— Противен я тебе, что ли? так ты так и скажи.

Настя промолчала.

— Дай хоть рученьку подержать.

Настя ничего не отвечала и не отняла руки, за которую ее взял Степан. Так они дошли до Настиного задворка.

— Скажи: будешь ты меня любить? — спросил Степан.

— Прощай, — отвечала Настя и скользнула в ворота.

Ей было жаль Степана. Его она подвела под свою теорию, что всем бы людям было счастье любовное, если б люди тому не мешали. Настя чуяла, что она любит Степана и что ей его любить не следует.

Отстряпалась Настя; старик запряг ей телегу, и она повезла сама в поле пищу.

— Нехай лошадь там останется до вечера, — сказал свекор. — Мне не по себе, пусть кто из ребят вечером приведет али Домка приедет.

Повезла Настя обед. Под ярóчком, слышит она, дитя плачет. Смотрит, бабочка идет в одной рубахе, два

кувшина тащит со щами да с квасом, на другой руке у нее ребенок сидит, а другое дитя бежит издали, отстало и плачет.

— Мама! мама! ножки устали, ой, мама! — кричит ребенок, а мать идет, будто не слыша его плача. Не то это с сердцов, не то с усталости, а может, с того и с другого.

Нагнала Настя мальчика, остановила лошадь и посадила ребенка в телегу. Дитя ей показалось будто знакомым. Мать, услышав, что ребенок перестал плакать, оглянулась. Настя узнала в ней Степанову жену.

— Уморилась ты, бабочка? — сказала Настя Степановой жене.

— Смерть устала, — отвечала та.

— Садись, я тебя довезу.

Баба поблагодарила, отдала Насте грудного ребенка, поставила кувшины и села.

— Что ты малого-то заморила? — спросила Настя, гладя по голове мальчика, который жевал данную ему Настей пышку.

— А пусто ему будь! Измучил он меня. Тут тяжела, а он орет. Чего увязался? — крикнула она на мальчика.

Мальчик ничего не отвечал и, дернув носом, опять укусил конец пышки.

— Любит, знать, тебя, — заметила Настя.

— Как же! Баловаться ему хочется: «К бате пойду!» — передразнила она ребенка. — Далеко ушел?

— Видно, отца любит?

— Да как же! Все баловство одно.

Настя рассматривала Степанову жену. Теперь она показалась ей совсем хорошенькой, но в глазах у нее она заметила какое-то злое выражение.

У прокудинского загона Степанова жена сошла и понесла свои кувшины; а за нею по колкому жнивью, подхватывая ножонки, побежал мальчик, доглядывая свою пышку.

Весь этот день Настя жала не разгинаясь и все думала о себе, о Степане, о его жене, о своем муже, о Степановых детях, о людях, наконец опять о себе и о Степане. Выходило, по-Настиному, что Степан этот — жалкий человек, и жена его — тоже жалкий человек, и сама она, Настя, — жалкий человек; а любить ей Степана не

приходится. Да и не то что Степана, а и никого уж, решила она, не приходится. «Другие так правда, дарма что замужние, да любят, ну а мне, — думала Настя, — как?.. Каков он ни есть свой закон, надо его соблюдать. А жизнь-то, жизнь! так она и канула и гинула. Хоть бы лихой был у меня муж, хоть бы тиранил меня, мучил бы, да только б человек он был, как люди. Хоть бы намучил, да было б мне с ним хоть узнать, уведать, что такая есть за любовь на свете! А то, что я такое? Ни девушка, ни вдова, ни замужняя жена...»

Настя заплакала и, смаргивая слезы, жала с каким-то азартом, чтобы не видали ее заплаканных глаз.

Как свечерело, Домна уехала; наработавшаяся девка-батрачка упала под крестец и заснула мертвым сном. В поле стало тихо. Спал народушко, и ни голоса нигде не было слышно человеческого. Грусть, тоска одолела Настю. Не спалось ей: то ей казалось, что около нее что-то ползает, то ноги у нее немели, то по телу ходили мурашки, и становилось страшно. Настя встала, прошлась по загону, облокотилась на один крестец и стала смотреть на луг, по которому бежит Гостомля. «Ведь вот поди ж, какая я зародилась! — думала Настя. — Теперь небось на всем клину души живой нет, все спит, а я... и устали на меня нет». Насте припомнился Крылушкин, как он ее утешал, как ее Пелагея жалела. Из-за горы показался красный, кровяной месяц. Настя вспомнила, как хорошо пел Крылушкин, как он хвалил простые песни и хотел приехать, чтоб она ему песню спела. «У Степана славные песни», — сказала она и, летая от думы к думе, незаметно как завела:

Ах ты, горе великое,
Тоска-печаль несносная!
Куда бежать, тоску девать?
В леса бежать — листья шумят,
Листья шумят, часты кусты,
Часты кусты ракитовы.
Пойду с горя в чисто поле,
В чистом поле трава растет,
Цветы цветут лазоревы.
Сорву цветок, совью венок,
Совью венок милу дружку,
Милу дружку на головушку:
«Носи венок — не скидывай,
Терпи горе — не сказывай».

Не заметила Настя, как завела песню и как ее кончила. Но только что умолк ее голос, на лугу с самого берега Гостомли заслышалась другая песня. Настя сначала думала, что ей это показалось, но она узнала знакомый голос и, обернувшись ухом к лугу, слушала. А Степан пел:

Как изгаснет зорька ясная,
Как задремлет свекровь лютая,
А моя жена сварливая, —
Выходи, моя лебедушка,
Во зеленую дубровушку,
Во густой куст во калиновой.
Соловьем я свистну, молодец,
На мой посвист ты откликнешься
Перепелочкою-пташечкой,
Свое горе позабудем мы,
Простим грусть-тоску сердечную.
Выходи, моя зазнобушка,
На совет, любовь, на радощи, —
На зеленую кроватушку.
Приголубь меня, касаточка!
Расчеши мне кудри русые;
Посмотреть дай в очи черные,
Целовать дай плечи белые.

«Господи! чтой-то он меня словно манит своей песнею», — подумала Настя, сбросила с крестца два верхние снопа и, свернувшись на них, уснула.

V

Был Настин черед стряпаться, но она ходила домой нижней дорогой, а не рубежом. На другое утро ребята, ведя раненько коней из ночного, видели, что Степан шел с рубежа домой, и спросили его: «Что, дядя Степан, рано поднялся?» Но Степан им ничего не отвечал и шибко шел своей дорогой. Рубашка на нем была мокра от росы, а свита была связана кушаком. Он забыл ее развязать, дрожа целую ночь в ожидании Насти.

В этот же день, в полудни, Степан приходил на прокудинский загон попросить водицы. Напился, взглянул на Настю и пошел.

— Иль Степанушка невесел! Что головушку повесил? — сказала ему Домна. — Аль жена вчера избранила?

— Да, — отвечал нехотя Степан и совсем ушел.

Жнитва оставалось только всего на два дни. Насте опять нужно было идти стряпать. Свечерело. Настя дошла до ярочка и задумалась: идти ли ей рубежом или нижней дорогой. Ей послышалось, что сзади кто-то идет. Она оглянулась, за нею шел Степан.

— Я тебя выжидал, — сказал он, весь встревоженный.

Настя растерялась. Какую дорогу ни выбирать, было все равно.

— Слушай, Степан!

— Говори.

— Я ведь тебе лиха никакого не сделала?

— Иссушила ты меня. Вот что ты мне сделала. Разума я по тебе решился.

— Нет, ты вот что скажи: ты за что хочешь быть моим ворогом?

— Убей меня бог на сем месте! — крестясь, проговорил Степан.

— Ты ведь знаешь мою жизнь. И без того она немила мне: на свет бы я не смотрела, а ты еще меня ославить хочешь.

— Кто тебя хочет ославить? — сумрачно ответил Степан.

— Чего ты за мной гоняешься? Чего не даешь мне проходу?

— Люблю тебя.

— Ах ты господи! — воскликнула Настя, всплеснув руками, и пошла рубежом. Степан пошел за нею.

— Отойди, Степан! — сказала Настя, сделав несколько шагов, и остановилась.

Степан стоял молча.

— Отойди, прошу тебя в честь! — повторила Настя.

— Не гони. Мне только и радости, что посмотреть на тебя.

— Ну ведь ты ж видел меня нынче.

— При людях. Я хочу без людей тебя видеть.

— Мать царица небесная! Вот напасть-то на мою головушку бедную, — проговорила Настя, вздохнув, и, пожав плечами, пошла опять своей дорогой.

А Степан идет за нею молчаливый и убитый.

Настя прошла шагов сотню и опять остановилась и засмеялась.

— Не смейся! — сказал Степан.

— Да какой смех! Горе мое над тобою смеется. Чего ты, как тень сухая, за мной тащишься?

— Жить я без тебя не могу.

— Ведь жил же до сих пор.

— А теперь не могу. Я убью тебя, — сказал Степан, бросив на землю косу с крюком и свиту.

— Да убей. Хоть сейчас убей. Мне что моя жизнь! Только ты ж за меня пострадаешь.

— Я и себя убью, — мрачно проговорил Степан.

— А дети?

— Все равно я и так-то им не отец. Жизнь моя вся в тебе. Я порешил, что я с собою сделаю.

— Что?

— Удавлюсь, вот что!

— О, дурак, дурак! — сказала Настя, покачав головою, с ласковым укором.

— Сядь, — произнес Степан.

— Все равно и так.

— Сядь. Неш от этого что сделается? — умолял Степан с сильным дрожанием в голосе.

Насте стало жаль Степана. Она села на заросший буйной травой рубеж, а Степан сел подле нее и, уставив в колени локти, подпер голову руками. Они долго молчали. Степан заплакал.

— Перестань, — сказала Настя и взяла его за руку.

— Что мне жить без тебя, — проговорил Степан сквозь слезы.

— Перестань плакать! — повторила Настя. — Ты мужик, слезы — бабье дело; тебе стыдно.

— Э! толкуй! — отвечал с нетерпением Степан.

— Все, может, пройдет.

— Как же оно пройдет? Хорошо тебе, не любя, учить, а кабы ты в мое сердце заглянула.

Настя вздохнула.

— Ты вот что, Степан! Ты не попрекай меня этим, сердцем-то. Сердце ничье не видно... Что ты все о себе говоришь, а я молчу, ты с этого и берешь?

Степан поднял голову и стал слушать.

— Глупый ты, — продолжала Настя. — Я не из тех, не из храбрых, не из бойких. Хочешь знать, я греха

таить не стану. Я сама тебя люблю; может, еще больше твоего.

Степан обнял Настю: она его не отталкивала.

— Да что из ней, из любви-то нашей, выйдет? — Горе! Поверь, горе.

— Пускай и горе.

Настя положила свою руку на плечо Степана и, шевеля его русыми кудрями, сказала:

— Нет, ты слушай. Мне горе все равно. Я горя не боюсь. А ты теперь хоть кой-как да живешь. Ты мужик, твоя доля все легче моей. А как мы с тобой свяжемся, тогда-то что будет?

— Что ты захочешь.

— Право, ты глупый! Что ж тут хотеть-то? Не захочу ж я разлучить жену с мужем или отца с детьми. Чего захотеть-то?

Степан молчал.

— А в полюбовницы, как иные прочие, я, Степан, не пойду. У меня коли любовь, так на всю мою жисть одна любовь будет.

— Я тебе отцом, матерью в гробу клянусь.

— О-о, дурак! Не тронь их.

— Как ты захочешь, так все и будет. Горя я с тобой никакого не побоюсь. Хочешь уйдем, хочешь тут будем жить. Мне все равно, все; лишь бы ты меня любила.

— Чтоб не жалеть, Степан...

— Неш ты станешь жалеть.

— Я тебе сказала, и что сказала, того не ворочаю назад.

— А мне хоть умереть возле тебя, так ту ж пору рад.

Степан потянул к себе Настю. Настя вздрогнула под горячим поцелуем. Она хотела еще что-то говорить, но ее одолела слабость. Лихорадка какая-то, и истома в теле, и звон в ушах. Хотела она проговорить хоть только: «Не целуй меня так крепко; дай отдохнуть!», хотела сказать: «Пусти хоть на минуточку!..», а ничего не сказала...

— Пора ко дворам, Настя, — сказал Степан, увидя забелевшуюся на небе полоску зари.

Настя лежала в траве, закрыв лицо рукавом, и ничего не отвечала. Степан повторил свои слова. Настя

вздрогнула, поспешно поднялась и стала, отвернувшись от Степана.

— Пойдем, — сказал Степан, — а то ребята из ночного поедут, увидят нас.

— Ах, Степа! Что только мы наделали? — обернувшись к нему, проговорила Настя. Лицо ее выражало ужас, любовь и страдание.

— Ничего, — отвечал совершенно счастливый Степан.

— Да, как же, ничего! — проговорила с нежным упреком Настя, и на устах ее мелькнула улыбка, а на лице выступила краска стыда.

Они шли молча до самого прокудинского задворка.

— Степан! — крикнула Настя, когда они уже простились и Степан, оставив ее, шибко пошел к своему двору.

Степан оглянулся. Настя стояла на том же месте, на котором он ее оставил.

— Поди-ка сюда! — поманула его Настя.

Он подошел.

— Желанный ты мой! — проговорила Настасья, поглядев ему в глаза, обняла его за шею, крепко поцеловала и побежала к своим воротам.

Обед у Прокудиных в этот день был прескверный. Настя щи пересолила так, что их в рот нельзя было взять, а кашу засыпала такую густую, что она ушла из горшка в печке. Свекровь не столько жалела крупы или того, что жницы будут без каши, сколько злилась за допущение Настею злого предзнаменования: «Каша ушла из горшка, это хуже всего, — говорила она. — Это уж непременно кто-нибудь уйдет из дому». Бабы попробовали щей и выплюнули. «Чтой-то ты, Настасья, словно с кем полюбилась!» — сказали они, смеясь над стряпухой. У нас есть поверье, что влюбленная женщина всегда пересолит кушанье, которое готовит.

Степан перед полдниками пришел на прокудинский загон попросить квасу. Настя, увидя его, вспыхнула и резала такие жмени ржи, что два раза чуть не переломила серп. А Степан никак не мог найти кувшина с квасом под тем крестцом, на который ему указали бабы.

— Да что тебе, высветило, что ли? — смеясь, спрашивала Домна.

— Что высветило! Нет тут квасу, — отвечал Степан, сунувший кувшин между снопами.

Домна подошла и, удостоверившись, что кувшина действительно нет, крикнула:

— Настасья, где квас?

— Да там смотрите, — отвечала, не оборачиваясь, Настя.

— Поди сама отыщи. Нет его здесь, — проговорила Домна и стала на свою постать.

Насте нечего было делать. Она положила серп и пошла к крестцу, у которого стоял Степан.

— Ночуй нонче вон под тем крайним крестцом, — тихо проговорил Степан, когда к нему подошла раскрасневшаяся Настя.

— Где квас дел? — спросила Настя.

— Ты слышишь, что я тебя прошу-то?

— Люди смотрят.

— Да говори, что ль?

— Пей да уходи скорей.

— Будешь там?

Степан достал кувшин и стал из него пить, а Настя пошла к постати.

— Настя? — вопросительно кликнул вслед Степан.

— Ну, — отвечала, оборотясь к нему, Настя, с улыбкой, в которой выражалось: «Нечего допытываться, — разумеется, буду».

Степан нашел Настю и, уходя от нее утром, знал, как нужно браться за ворота прокудинского задворка, чтобы они отворялись без скрипа.

VI

Кончились полевые работы, наступала осень с дождями, грязью, холодными ветрами и утренними заморозками. Народ работал возле домов: молотили, крыли крыши, чинили плетни. Ребята, способные владеть топором, собирались на Украйну. Домнин муж тоже собирался. Прокудин отпускал старшего сына с тем, чтобы он непременно выслал вместо себя на весну домой Гришку. Бабы по утрам молотили с мужиками, а потом пряли. Степан редкую ночь не проводил на прокудинском задворке; его и собаки прокудинские знали; но в семье

никто не замечал его связи с Настею. Как-то филиповками, утром, зашла к Насте в пуньку Варвара попросить гребня намычки чесать, поговорила и ушла. Вечером в этот день Настя сидела со всеми и пряла. Был общий разговор, в котором Настя, по своему обыкновению, принимала самое незначительное участие. Но вдруг, ни с того ни с сего, она охнула, уронила нитку и, сложив на груди руки, прислонилась к стенке. Взглянули на нее, а она — красная, как сукно алое, и смотрит быстро, словно как испугалась, и весело ей.

— Что тебе? — спрашивают ее.

— Ничего, — говорит.

— Как ничего! Чего ты вскрикнула?

— Так что-то, — говорит, а сама улыбается.

Встала Настя, напилась водицы и опять села за пряжу. Никто на это более не обращал внимания.

— Ох, Степа, — говорила ночью Настя, гладя русые кудри своего любовника. — Не знаешь ты ничего.

— А что знать-то, касатка?

— Дела большие на нас заходят.

— Аль горе какое?

— Горе не горе, а...

— Да говори толком.

Настя помолчала и, прижавшись к Степану, тихо проговорила:

— Я ведь тяжела.

— Что врешь! — воскликнул встревоженный Степан.

Настя взяла его руку и приложила ладонь к своему боку.

— Что ты? — спросил Степан.

— Погоди! — ответила Настя, не отпуская руки.

Ребенок скоро трепыхнулся в матери.

— Слышишь? слышишь? — спросила Настя.

— Слышу, — отвечал Степан.

Они стали думать, что им делать.

— Теперь думай со мной, что знаешь, — говорила она. — Я скорей в воду брошусь, а уж с мужем теперь жить не стану.

Но в воду было незачем бросаться, потому что Степан ее любил, расставаться с ней не думал и только говорил:

— Дай сроку неделю: подумаю, посоветуюсь с кумом.

— Не надо говорить куму.

— Отчего?
— Да так.
— Он мой приятель.

Неделя была на исходе. От рядчика пришло к жене письмо, к которому было приложено письмо от Домниного мужа. Писал Домнин муж отцу, что Гришка живет в Харькове у дворничихи, вдовы, замест хозяина; что вдова эта хоть и немолодая, но баба в силах; дело у них не без греха, и Гришка домой идти не хочет. Настю это письмо обрадовало. Она не любила своего придурковатого мужа, но жалела его, и ей было приятно узнать, что и на его долю в свете что-то посеяно и что ему хорошо. Не так это дело принял Прокудин. Он пошел в управу и продиктовал писарю такое письмо:

«Любезному нашему сыну Григорию Исаичу кланяемся, я и мать и семейные наши и хозяйка. И посылаем мы присем с матерью его наше родительское благословение, на веки нерушимое. А дошло до нас по слуху, что живешь ты, Григорий, у какой там ни есть дворничихи в Харькиве в полюбовниках, забывши свой привечный закон и лерегию, как хозяйскому сыну и женину мужу делать грех и от людей и от господа царя небесного. Мы тебя на такое дело не учили и теперь на него благословения не даем. А есть тебе наше родительское приказание сичас же, нимало не медлимши, идти ко двору и быть к нам к розгвинам, а непозднейча как к красной горке. Нам некому пар подымать и прочих делов делать, так как брат твой в работе, с топором ушол. Если ж как ты нашей воли от разу не послушаешь, то и на глаза ты мне не показывайся. А дам я знать исправнику и по начальству, и пригонят тебя ко мне по пересылке, перебримши голову. Насчет же теперь пачпорта и не думай и не гадай, а будь ко двору честью, коли не хочешь, чтоб привели неволею».

Затем следовали поклоны и благословения.

В письмо вложили гривенник, чтоб оно не пропало, и страховым отправили на имя того же рядчика. С домашними об этом Прокудин не рассуждал, но все знали, что он требует Гришку, и не сомневались, что Гришка по этому требованию явится.

Домашним от этого было ни жарко, ни холодно, но Настю дрожь пробирала, когда она згадывала о мужнином возвращении.

— Так все, стало, хорошо? — спрашивала Настя сидевшего у нее в ногах на кровати Степана.

— Видишь сама, теперь только денег нужно раздобыться.

— А много денег-то?

— Двадцать пять рублей старыми за пачпорт берет, пес этакой.

— О-о! ты поторгуйся.

— Тут, глупая, уж где торговаться! Вот в Суркове тоже писарь делает пачпорты, дешевле берет, всего по десяти старыми, так печати у него такой нет; попадаются с его пачпортами.

— Нет, такого-то не надо.

— То-то ж и оно.

Ворота задворка скрипнули, и кто-то крикнул:

— Настя!

— Пропала я! — прошептала Настя.

— Настя, отчини! — продолжал тот же голос под самою дверью пуньки.

Степан и Настя узнали Варвару.

— Что тебе? — спросила Настя замирающим голосом.

— Отчини, дело есть.

— Ну как же, дело! Я разутая... студено... Завтра скажешь.

— Я намычки у тебя забыла.

— Нет тут твоих намычек.

— Да отчини, я погляжу.

Нечего было делать. Настя толкнула Степана на постель и, закрыв его тулупом, отворила дрожащими руками двери пуньки.

Варвара, как только перенесла ногу через порог, царапнула серничком и, увидав Степановы сапоги, ударила кулаком по тулупу и захохотала.

— Чего тебя разнимает! — сказал, вставая, Степан.

Настя, совершенно потерявшаяся, молчала.

— Вот он где, милый дружок, — продолжая смеяться, говорила Варвара.

— Бери свои намычки, где они тут, и убирайся, — строго сказал Степан.

— Что больно грозен! Не ширись крепко.

— А вот я тебе покажу, что я грозен. Если ты перед кем только рот разинешь, так не я буду, если я тебе его до ушей не раздеру. Ты это помни и не забывай.

— Грех-то какой, — проговорила Настя, когда вышла Варвара. — Кто эту беду ждал?

— Никакой беды не будет.

— Не говори этого, Степа. Она всем разблаговестит. Она это неспроста зашла.

— Не посмеет.

Однако Степан ошибся. Бабы стали подсмеивать Насте Степаном.

Отдала Настя Степану сукно, три холста да девять ручников; у кума он занял четыре целковых и поехал в К. Оттуда вернулся мрачный, как ночь темная. Даже постарел в один день.

— Что? — спрашивала его Настя.

— Пропало дело.

— Как так, Степанушка?

— Обманул, собака. Взял деньги, а пачпортов не дал. «Привози, говорит, еще столько ж».

— Да ты б требовал.

— Что мелешь! Острога неш нет. Как требовать-то в таком деле.

— Горе наше с тобой.

— Не радость.

— Как же теперь быть?

— И сам не знаю.

— Донести еще денег, что ли?

— Не поможет, уж это видно, что все на обман сделано.

Горевали много. Однако порешили бежать, как потеплеет. Настя была в большом затруднении. Ей хотелось скрыться, пока никто не знает о ее беременности.

Так ей не привелось сделать.

На масленице, наигравшись и накатавшись, народ сел ужинать, и у Прокудиных вся семья уселась за стол. Только что стали есть молочную лапшу, дверь отворилась, и вошел Гришка.

Настя как стояла, так и онемела. Поздоровался Гришка с отцом, с матерью, поздоровался и с женою; а она ему ни слова.

Пошли все спать. Только старик долго сидел еще с Григорьем. Все его расспрашивал; но потом и сам полез на полати, а сына отпустил к жене.

Да жены-то Григорий не нашел в пуньке. Дверь была отворена, и кровать стояла пустая.

VII

От Прокудиных до Степанова двора было всего с полверсты: только перейти бугорок да лощинку. Настя перебежала бугор и села на снегу в лощинке. Она сегодня не ждала к себе Степана и не знала теперь, как его вызвать; а домой она решилась не возвращаться. Ночь была довольно холодная, и по снегу носилась легкая сероватая пыль: можно было ожидать зáмяти. Настя крепко прозябла в одной свите и пошла к Степанову двору. В избе еще был свет. Настя потихоньку заглянула в окно. Степан сидел на лавке и подковыривал пенькою детские лапотки. В сенях кто-то стукнул дверью. Настя испугалась, отбежала за амбарчик и оттуда продолжала глядеть на окно. В хуторе было тише, чем в поле, но по улице все-таки мелась снежная пыль. Видно было, что кура разыгрывается. Настя, пожимаясь от стужи, не сводила глаз с освещенного окна Степановой избы. Наконец огонь потух, и в тишине ночи, сквозь завывание ветра, Настя услыхала, как стукнула дверная клямка. Настя в ту же минуту завела песенку и, пропев слова три, замолчала и стала смотреть на ворота.

— Ктой-то будто запел? — сказал, ворочаясь на лавке, Степанов тесть.

— Это тебе показалось, — отозвалась старуха, зевая и крестя рот. — Кто теперь станет петь на дворе? Кура курит, вот и кажется бог знает что.

В избе уснули, а Степан пролез в подворотню, тревожно осмотрелся и кашлянул. Из-за амбара выступила Настя и назвала его по имени.

— Что такое? — сказал, подскочив к ней, взволнованный Степан.

— Муж пришел.

— Что врешь!

— Пришел.

— Как же ты ушла?

— Так, вышла, да и пошла: вот и все.

— Как же теперь быть?

— Про то тебе знать: ты мужик. Я куда хочешь пойду, только домой не вернусь.

— Иззябла ты?

— Иззябла.

— Где ж тебе согреться?

— Ах, да не знаю! Что ты меня спрашиваешь, про что я не знаю.

— К куму разве!

— Далеко. Я совсем застыла.

— Хочешь в овин?

— Ах, какой ты мудреный! Да веди куда хочешь.

В овине тоже было холодно, но все-таки не так, как на дворе. Степан распахнул свой тулуп, посадил Настю в колена и закрыл ее полами.

Стали думать да гадать, что им делать. Степан все гнул на то, чтоб Настя вернулась домой и жила бы кое-как, скрывая все, пока он собьется с средствами и добудет паспорты; а между тем и потеплеет. Насте эта препозиция не понравилась. Она и слушать не хотела.

— И не говори ты мне этого, — сказала она Степану. — С мужем жить надо, я знаю как, как мужней жене. А я себя делить промеж двух не стану. Не любишь ты меня, так я одна уйду.

— Да куда ж ты уйдешь?

— Куда глаза глядят.

Степану стало жаль Насти. Он любил ее, и хотя казалось ему, что Настя дурит, но он успокоил ее и решился бежать с нею.

Утром до свету он отправился к куму, а Настя целый день просидела в темной овинной яме, холодная и голодная. Разнесся слух, что Степан пропал и Настя пропала. Варвара тут же решила, что они сбежали вместе. Целый день об этом толковали на хуторах. У Прокудиных в избе все молчали и нехотя отвечали соседям, приходившим расспрашивать, что? да как? да каким манером она вышла? в какую пору и куда пошла?

— Кабы знали, куда пошла, так и толковать бы не о чем было, — отвечал с нетерпением старик Прокудин.

Гришка, как дурак, скалил зубы и ничего не говорил, только глупо улыбался; Вукол ездил к кузнецу и к Костиковой жене, но не привез никаких слухов о Насте.

У Степана в избе ад стоял. Жена его плакала, рыдала, проклинала Настасью, звала мужа «голубем», «другом милым» и толкала сынишку, который, глядя на мать, тоже ревел и кричал: «Тятя! тятя! где наш тятя?»

В овинной яме ничего этого не было слышно. Настя слышала только по временам сильное биение своего сердца и от холода беспрестанно засыпала. Пробуждаясь, она осторожно подползала к выходу и смотрела, светло ли еще на дворе, и затем опять забивалась в уголок и засыпала. Начало темнеть, Настя с нетерпением ждала Степана и вздрагивала при малейшем шорохе, который производили мыши. «Ну, если придут садить овин? — думала она. — Пропала тогда моя головушка!» Но овин садить не приходили. Всем было не до овина. Наконец совсем стемнело. На дворе была так же ночь, как и в яме. Настя выползла из ямы и стала смотреть вдаль. Ей послышалось, что где-то невдалеке фыркнула лошадь, потом будто скрипнули сани и остановились. Она подумала: «Не меня ли ищут» — и в испуге бросилась в свою яму. Через минуту за овином, с задней стороны, послышались торопливые шаги. Они раздавались все ближе, ближе, и наконец кто-то подошел к овину и спрыгнул в яму. Настя замерла.

— Где ты? — шепотом спросил Степан.

— Вот я, — отвечала шепотом же Настя, не оправившаяся от своей тревоги.

— Скорей! — Степан нашел ее руку и повел.

— Скорей! скорей иди! — говорил он.

Настя, спотыкаясь, насилу поспевала за Степаном.

— Куда ты ведешь меня? — спрашивала она его, задыхаясь от усталости.

— Иди, после будем говорить, — отвечал Степан, шагая по целому снегу.

За коноплями, где была выставлена несвоженная пенька, показались сани, запряженные пегою лошадью, и на них сидел человек.

— Скорей! — крикнул он, завидя Степана с Настею.

Степан обхватил Настю рукою, и они бегом побежали к саням.

Добежав до саней, Настя упала на них. Степан тоже прыгнул в сани, а сидевший в них мужик сразу погнал лошадь. Это был Степанов кум Захар. Он был большой приятель Степану и вызвался довезти их до Дмитровки. Кроме того, Захар дал Степану три целковых и шесть гривен медью, тулуп для Насти, старые валенки, кошель с пирогами и старую накладную, которая должна была играть роль паспорта при встрече с неграмотными заставными солдатами. Это было все, чем мог поделиться Захар с своим другом.

Лошадь у Захара была чудесная: сытая, крепкая и проворная. К утру они, не кормя ни разу, приехали в Дмитровку. У заставы друзья простились. Захар поехал на постоялый двор кормить лошадь, а Степан с Настею отправились в обход города и, выйдя опять на большую дорогу, пошли по направлению к Севску. Решено у них было идти в Николаев, где, слышно, живет много наших беглых, приписаться там и жить под чужими именами. Для осторожности они положили не называть друг друга при людях своими именами. Настасья называла Степана Петром, а он ее Марьею. Дорогою они то шли пешком, то подъезжали, за дешевую плату, на обратных подводах. Таким образом на шестой день к вечеру они добрались до Н—а и остановились ночевать на постоялом дворе у какого-то орловского дворника. В это время в Н—е был полицмейстером толстый полковник, известный необыкновенною ловкостью в преследовании раскольников и беспаспортных. Его знали по целой Черниговской губернии, а в Дубовке, в Новозыбкове, в Клинцах, в Климовом посаде и вообще, где жили русские беспоповцы, его боялись как огня; матери даже детей пугали им, как на Кавказе пугали именем Алексея Петровича Ермолова. У полковника каждый дворник был на отчете, и на заставах стояли солдаты, обязанные спрашивать у всех паспорты. Но как дворникам не всегда была охота допытывать своих гостей, а люди могут проходить в город и не в заставу, а по всякой улице, то полковник от времени до времени делал ночные ревизии по постоялым дворам и забирал всех, кто казался ему подозрительным. От самого Орла до самого Киева спросите любого пешехода, он и теперь еще непременно скажет, что нет строже города как Н—н. «Обойди ты Нежин да пройди умненько Киев, так и свет белый

перед тобой откроется, — ступай — посвистывай!» Так говорят до сих пор, хоть нынче уж в Н—не не те порядки, какие были назад тому четыре, пять лет.

Сделал полковник ночью ревизию в дворе орловского мещанина и забрал на съезжую Степана и Настю. Растерявшаяся и перепуганная Настя спросонья ничего не могла разобрать: мундиры, солдаты, фонари, ничего она не понимала, о чем ее спрашивают, и не помнила, что отвечала. До съезжей их вели рядом с Степаном, но ни о чем не позволяли говорить. Настя была спокойна: она только смотрела в глаза Степану и пожимала ему руку. Они были связаны рука за руку тоненькою веревочкою. Степан был бледен и убит.

В части их рассадили по разным местам. Настю на женскую половину, а Степана на мужскую. Настя этого не ожидала. Она говорила: «Это мой муж. Не разлучайте меня с мужем». Ее, разумеется, не послушались и толкнули в двери. Она ждала, что днем ее спросят и сведут с Степаном, но ее целый день даже никто и не спросил. Она всех расспрашивала сквозь дверную решетку о Степане, но никто ей ничего не отвечал, а иные из солдат еще посмеивались.

— Я Степан, — говорил один.

— Брешет, молодка, он Сидор. Вот я так настоящий Степан.

— Ну-к что ж, что не Степан! Я хоть не Степан, дак еще лучше Степана разуважу, — отвечал первый, и подымался хохот. В коридоре хохотали солдаты, а в арестантской две нарумяненные женщины, от которых несло вином и коричневой помадой. Настя перестала спрашивать и молча просидела весь день и вторую ночь.

На другой день взяли Настю к допросу; после нее допрашивали Степана. Они оба разбились в показаниях, и еще через день их перевели в острог. Идучи с Степаном, Настя уговаривала его не убиваться, но он совсем был как в воду опущенный и даже не обращал на нее никакого внимания. Это больше всего огорчало Настю, и она не знала ни дня, ни ночи покоя и недели через две по прибытии в острог родила недоношенного, но живого ребенка. Дитя было мальчик.

Увидев малютку, Настя, кажется, забыла свое горе. Она его не спускала с рук и заворачивала в свою юбку.

В арестантской казарме было холодно и сыро. С позеленелых стен и с закоптелого потолка беспрестанно падали холодные, грязные капли; вонючие испарения стоявшего в угле деревянного ушата делали атмосферу совсем негодною для дыхания. Ребенка негде было ни выкупать, ни согреть, ни обсушить. Он недолго терпел неприветливую встречу, приготовленную ему во Христе братьями на этом свете: попищал, поморщился и умер. Настя рыдала так, что все арестантки с нею плакали. Когда пришел солдат, чтобы взять мертвого младенца, Настя схватила трупик, прижала его к себе и не выпускала. Солдат дернул ребенка за ножки. Настя еще крепче прижала дитя и, упав с ним на нары, закрыла его своим телом. Солдат рассердился и ударил Настю. Она не трогалась.

— Как ты смеешь драться? Ты не смеешь бить женщину. Она больная, а ты ее еще толкаешь! Позови смотрителя! — кричали арестантки.

— Цыц! — крикнул на них солдат.

— Что цыц! Нечего. Всех не перебьешь. Позови смотрителя.

Солдат плюнул и вышел.

— Смотрителя! смотрителя! — кричали женщины. — Смотрителя, а то будем весь день кричать.

Стража знала, что если не удовлетворить требования арестанток, то они исполнят свою угрозу и будут кричать, пока не придет смотритель. Позвали смотрителя.

Чиновник, опытный в обращении с заключенными, пришел в форменном сюртуке и в сопровождении четырех солдат.

— Что за шум? — крикнул он.

— Евстафьев бабу обидел, ваше скородие, — отвечало несколько голосов.

— Чем он ее обидел? Говори одна кто-нибудь!

Вышла маленькая, черноволосая бабочка из бродяг и рассказала всю историю.

— Взять мертвеца, — скомандовал смотритель.

Солдаты взялись за Настю, которая, не поднимаясь с нар, держала под своею грудью мертвого ребенка и целовала его красненькие скорченные ручки.

— Взять! — повторил опять чиновник.

Солдаты подняли Настю, развели ей руки и взяли у нее ребенка.

Она упала в ноги смотрителю и закричала.

— Тсс! — произнес, топнув ногою, смотритель.

— Не могу! не могу, — говорила Настя, ударяя себя одною рукою в грудь, а другою крепко держалась за полу смотрительского пальто. — Только дайте мне показать его отцу. Хоть мертвенького показать, — захлебываясь рыданиями, просила Настя.

Смотритель махнул солдату, державшему под рукою завернутого в тряпку ребенка. Солдат сейчас по этому знаку вышел за дверь с своей ношей. Настя выпустила смотрительскую полу и, как бешеная кошка, бросилась к двери; но ее удержали три оставшиеся солдата и неизвестно для чего завели ей назад руки.

— Злодей! черт! Чтоб тебя гром разбил! Чтоб ты своих детей не взвидел, анафема! — кричала Настя, без слез, дерзко смотря в глаза смотрителю.

— В карцер ее, — скомандовал смотритель.

Солдаты вывели Настю за двери. Но, когда они вышли, чиновник, выйдя вслед за арестанткой, отменил свое приказание и велел ее отвести не в карцер, а в больницу.

Через полчаса смотритель сам зашел в больницу. Настя сидела на полу и рыдала. Койки все были заняты, и несколько больных помещались на соломенных тюфяках на полу.

Увидев смотрителя, она стала на колени, сложила руки и, горько плача, сказала:

— Голубчик вы мой! Не сердитесь на меня. Я не помню, что я говорила. Дайте мне... Пустите меня к моему деточке! Дайте мне хоть посмотреть на него, на крошечного!

Настя опять зарыдала, и нельзя было разобрать за рыданиями, что́ она еще говорила.

— Слушай! — произнес смотритель.

Настя рыдала.

— Слушай! — повторил он. — Слушай! тебе говорю, а то уйду, если будешь реветь.

— Нет, нет, я... перестану... не буду... Только пус... пус... пустите меня к ребенку! — говорила шепотом Настя, сдерживая душившие ее рыдания.

— Не реви, будь смирная, я тогда велю тебя пустить.

Настя махнула рукою, сжала свою грудь и тем же тихим, прерывающимся голосом отвечала:

— Да... я... бу...ду смир...смир...смир...ная. Вели...те меня пустить к моему ре...бенку.

Она сидела смирно и плакала, всхлипывая, как наказанное дитя. Даже глаза ее глядели как-то детски.

Смотритель посмотрел на Настю и вышел.

Как только ушел смотритель, Настя бросилась к окну, потом к двери, потом опять к окну. Она хотела что-то увидеть из окна, но из него ничего не было видно, кроме острожной стены, расстилающегося за нею белого снежного поля и ракиток большой дороги, по которой они недавно шли с Степаном, спеша в обетованное место, где, по слухам, люди живут без паспортов. С каждым шумом у двери Настя вскакивала и встречала входившего словами: «Вот я, вот! Это за мною? Это мое дитя там?» Но это все было не за нею.

Наконец часа через полтора пришел солдат и крикнул: «Бродяга Настасья!»

Настя вскочила с окна и бросилась к нему, говоря:

— Это я, я. Скорее, скорей, миленький.

— Погоди. Поспеешь с козами на торг! — отвечал солдат и не спеша повел Настю в часовню.

Часовенка, где ставили мертвых, была маленькая, деревянная. Выстроена она была на черном дворе и окрашена серою краской. Со двора острожного ее было совсем не видно. Убранство часовни состояло из довольно большого образа Знамения божией матери, голубого деревянного креста, покрытого белым ручником, да двух длинных скамеек, на которых ставили гробы. Теперь одна из этих скамеек была пуста, а на другой лежал Настин ребенок.

Настя, вскочив в часовню, бросилась к своему сокровищу, обняла дитя и впилась в него губами.

А ребенок был такой маленький и худенький. Еще в материной утробе он заморился, и там ему было плохо; там он делил с матерью ее горе и муки. Теперь он лежал твердый, замерзший. На нем уже была надета рубашечка, которую ему сшили и прислали Настины подруги, арестантки бродяжного отделения. А личико у него было синее, сдвинутое в горькую гримасу, с каким-то старческим выражением невыносимой муки. Точно он, взглянув на что-то ужасное, почувствовал ужасную боль, сморщился от этой боли и умер, унося с собою в могилу знак оттиснутой на нем земной муки.

VIII

Настя лежала в больнице. С тех пор, как она тигрицею бросилась на железные ворота тюрьмы за уносимым гробиком ее ребенка, прошло шесть недель. У нее была жестокая нервная горячка. Доктор полагал, что к этому присоединится разлитие оставшегося в грудях молока и что Настя непременно умрет. Но она не умерла и поправлялась. Состояние ее духа было совершенно удовлетворительное для тюремного начальства: она была в глубочайшей апатии, из которой ее никому ничем не удавалось вывести ни на минуту.

Степана она видела только один раз, когда он с другим арестантом, под надзором двух солдат, приходил в больницу с шестом, на котором выносили зловонную больничную лохань. Настя взглянула на его перебритую голову, ахнула и отвернулась к стене.

Благодаря сенатору, который в этот год ревизовал присутственные места О—ой губернии, к—ой земский суд не замедлил доставить н—ской городской полиции справки, затребованные о Степане и Насте. Дело о них перешло в уездный суд, и месяца через три вышло решение: «Задержанных в г. Н—не крестьян Степана Лябихова и Настасью Прокудину наказать при н—ской городской полиции, Степана шестьюдесятью, а Настасью сорока ударами розог через нижних полицейских служителей и затем отправить по этапу в к—сий земский суд для водворения в жительстве».

Решение это надлежащим порядком было приведено в исполнение: Степана и Настю высекли розгами и повели домой тою же дорогою, которою они оттуда бежали.

Нечего рассказывать ни о Степане, ни о Насте, как они шли и что они думали? Кажется, ни о чем. Аппарат мыслительный в них испортился. Истрепались эти люди.

Жила ли в них еще любовь? Надо полагать, что жила. Степан на каждой остановке все, бывало, взглянет на Настю и вздохнет. Говорить им между собою было невозможно, но два раза Настя улучила случай и сказала: «Не грусти, Степа; я все рада за тебя принять». А Степан

раз сказал ей: «Вот теперь было бы идти-то нам, Настя! Тепло, везде ночлег, — нигде бы не попались».

Под Королевцем Степан стал жаловаться на голову. Все его сон одолевал. Несколько этапов его везли на подводе, и он все спал крепким, тяжелым сном. Настя все порывалась к нему подойти, да ее не пускали. «Не расходиться! не расходиться!» — кричал ундер и толкал ее в пару с другой бродяжной.

В Дмитровке вывели утром этап и стали поверять у ворот.

— Степан Лябихов! — крикнул делавший перекличку ундер.

— Болен, — отвечал за Степана этапный.

— Остается, стало? — спросил перекликавший.

— Оставлен, — отвечал этапный.

Этого удара Настя уж никак не ожидала. Она все-таки видела Степана, и хоть не могла с ним говорить, не могла, даже и не рассчитывала ни на какое счастье, но видеть, видеть его было для нее потребностью. А теперь нет Степана; он один, больной, без призора. Настя просила оставить ее; она доказывала, что они с Степаном по одному делу, что их по закону нельзя разлучать. Над ней посмеялись и повели ее.

Рассыльный станового привел Настю к Прокудиным сумасшедшею. Она никого не узнавала. То она сидела опустя голову, молчала и, как глухонемая, не отвечала ни на один вопрос, то вдруг пропадала, бегала в одной рубашке по полям, звала Степана и принимала за него первого встречного мужчину. Целовала, плакала над ним и звала к себе, с собою, шла куда попало и с кем попало. Были добрые люди, которые этим пользовались и даже хвалились. Жалости достойна была бедная Настя, и Степан, умерший от тифа в дмитровском остроге, был гораздо ее счастливей.

Перестали сумасшедшую Настю считать человеком и стали называть ее не по-прежнему Настькой-прокудинской, а Настей-бесноватой.

Крылушкин узнал о Настином несчастии от Костиковой жены, которая ездила к нему советоваться о своей болезни, и велел, чтоб ее непременно к нему привезли: что он за нее никакой платы не положит. Убравшись с поля, взяли Настю и отправили в О. к Крылушкину.

Она не узнала ни Крылушкина, ни Пелагеи. Через год ровно наведались к Насте. Она была в своем уме. С простоты рассказали ей, что она делала в сумасшествии, принимая всех за Степана. Загорелась бедная баба. Сначала и верила и не верила; но ей назвали Сидора, Петра, Ивана, и так все доказательно, что она перестала сомневаться. Крылушкин, узнав об этом, очень сердился, но уж было поздно. Настя считала себя величайшей грешницей в мире, изнуряла себя самым суровым постом, молилась и просила Крылушкина устроить ее в монастырь, где она находила усладу своей растерзанной душе. Игуменья душою была рада угодить Силе Иванычу и приютить Настю, да, посоветовавшись с секретарем консистории, отказалась, потому что, по правилам, ни женатому мужчине, ни замужней женщине нельзя поступить в монастырь.

— Все мне это замужество мое везде стоит, — проговорила Настя, когда Крылушкин объявил ей отказ на ее просьбу о помещении в женский монастырь. — Буду с вами доживать век, — добавила она. — Уж никуда от вас не пойду.

— И благо, Настя. Будем жить чем бог пошлет; будем друг друга покоить. Спасибо, что домашние-то не требуют, — отвечал Крылушкин.

Так она и жила. Домашние Настю к себе не требовали.

Тем временем приехал в нашу губернию новый губернатор. Прогнал старых взяточников с мест и определил новых. Перетасовка шла по всем ведомствам. Каждый чиновник силился обнаружить как можно более беспорядков в части, принятой от своего предшественника, и таким образом заявить губернатору свою благонамеренность, а в то же время дать и его превосходительству возможность заявить свою деятельность перед высшим начальством.

В одну прекрасную июльскую ночь ворота крылушкинского дома зашатались от смелых ударов нескольких кулаков. Крылушкин выглянул в окно и увидел у своих ворот трое дрожек и человек пятнадцать людей, между которыми блестела одна каска. Крылушкин узнал также по воловой дуге полицмейстерские дрожки. Как человек совершенно чистый, он спокойно вышел из комнат и отпер калитку.

— Крылушкин дома? — спросил полицмейстер.

— Его, сударь, перед собой изволите видеть, — спокойно отвечал старик.

Полицмейстер смешался, ничего не сказал Крылушкину, но, оборотясь к людям, скомандовал всем войти и ввести в двор экипажи.

Крылушкин крикнул Насте, чтобы она подала ключ от ворот, и трое дрожек взъехали на зеленый двор Силы Ивановича.

— Пожалуйте, господа! — отнесся полицмейстер к двум господам, из которых один был похож на англичанина, а другой на десятеричное *i*. — Понятые и Егоров за нами, а остальным быть здесь до приказания, — закричал он.

Два господина, шесть мещан и полицейский унтерофицер направились за полковником к крыльцу, а остальные, крикнув: «Слушаем, ашекобродие!», остались около дрожек.

— Веди, — обратился полицмейстер к Крылушкину.

— Милости просим, — отвечал старик и пошел вперед по лестнице.

В доме сделалась тревога, никто не спал, и везде зажглися свечи.

— Это что у тебя за люди? — спросил полицмейстер, указывая на стоявших в двери Пелагею и Настю.

— Одна, сударь, кухарка, а другая нездорова была, лечилась...

— Паспорты есть у них?

— Какие ж паспорты! Одна здешняя мещанка, а другая из соседнего уезда; всего за сорок верст.

— Которая из уезда?

— Вот эта, Настасья.

Полицмейстер махнул унтеру головой; тот отвечал: «Слушаю, ашекобродие!»

Перешли в зал. Полицмейстер сел, расставил ноги и не снял каски. Англичанин сел весьма благопристойно; а десятеричное *i* стал у клавикордов и наигрывал одною рукою юристен-вальс.

— Позвольте мне, господа, как хозяину, узнать теперь, чему я обязан вашим посещением? — отнесся Крылушкин к полицмейстеру.

— А это ты сейчас, братец, узнаешь. Ты, кажется, оратор и оператор? — сказал полицмейстер.

I улыбнулся, англичанин покраснел и насупился, а Крылушкин переспросил:

— Что изволите говорить, сударь?

— Ты лечишь?

— Лечу, милостивый государь.

— А кто тебе дал право лечить?

— Тут, сударь, такое право: ходит ко мне народ, просит помощи, а я не отказываю и чем умею, тем помогаю. Вот и все мое право. По моему разуму, на всяком человеке лежит такое право помогать другим, чем может и чем умеет.

— Х-м, этого недостаточно, — проговорил англичанин, потянувшись на стуле и глядя на носки своих сапог. — Надо иметь диплом, для того чтобы лечить.

— Это, сударь, кто доктором слывет, действительно так: а кто по-простонародью простыми травками да муравками пользует, так у нас и отроду-родясь про эти дипломы не слыхано. Этак во всякой деревне и барыне и бабке, которая дает больному лекарствица, какого знает, надо диплом иметь? Что это вы, сударь! Пока человек лекаря с дипломом-то сыщет, его уж и в поминанье запишут. Мы впросте помогаем, чем умеем, и только; вот и все наши дипломы.

— Вы не то же самое, что деревенская лекарка. Та подает пособие скорое, до прибытия врача; это всякому позволено. А вы лечите болезни хронические, — проговорил англичанин.

— Какие-с?

— Хронические, застарелые.

— А точно, лечу-с. Вылечивал много болезней, от которых не только здешние, но и столичные доктора отказывались.

Англичанин улыбнулся.

— Вы принимаете больных не только соседних, но вон вы сами сказали, что у вас есть больная даже и из уезда.

— Действительно-с. У меня бывают больные из разных мест, и даже из Москвы. Благодарю моего бога, люди кое-где знают и верят.

— А объявляешь ты своевременно о приезжих полиции? — спросил полицмейстер.

Крылушкин взглянул на него и, ничего не отвечая, опять отнесся к англичанину с вопросом:

— Вы, милостивый государь, верно, доктор?

— Я инспектор врачебной управы.

— Конечно, в университете воспитывались?

Англичанин смешался и отвечал:

— Да.

— Это и видно.

— Почему же вы это заметили? — спросил, улыбаясь, англичанин.

— Да вот, сударь, умеете с людьми говорить. Я ведь стар уже, восьмой десяток за половину пошел. Всяких людей видал. Покойнику государю, Александру Павловичу, представлялся и обласкан словом от него был. В целом городе, благодарение богу, известен не за пустого человека, и губернаторы, и архиереи, и предшественники вот его высокоблагородия не забывали, как меня зовут по имени и по батюшке.

Полицмейстер сконфузился, англичанин взглянул на него и стал опять смотреть на свои сапоги, і улыбнулось, а Крылушкин взял стул и, подвинув его под себя, проговорил:

— Извините, господа! Старые ноги устают.

— Сделайте милость, — поспешно отвечал англичанин и опять закраснелся.

Все не знали, что им делать. Крылушкин вывел их из затруднения.

— Что ж, господа чиновники, не имею чести знать вас по именам: обыск угодно произвести?

Все молчали.

— Ведь это что же! Ваше дело подначальное. Обижаться на вас нечего. Извольте смотреть, что вам угодно.

— Позвольте паспорты ваших больных? — спросил полицмейстер.

— Я уж вам докладывал, сударь, что у меня нет никаких паспортов. Все мои теперешние больные люди обапольные, знаемые. А вот это, что вы изволили видеть, — обратился он к инспектору и понижая голос, — так привезена была в совершенном помешательстве рассудка. Какой же от нее паспорт было требовать?

— Это не отговорка, — сказал полицмейстер.

— Да я, кажется, сударь, и ни от чего не отговариваюсь. Все как оно есть, так вам и докладываю. Милуйте, жалуйте, за что почтете.

— Покажите ваших больных.

— Господин доктор! нельзя ли вас просить одних пройти со мною. Вы знаете, нездорового человека все тревожит. Особенно простого человека, непривычного к этому.

— Да, да, — торопливо проговорил англичанин. — Я вас прошу не беспокоиться. Я завтра днем к вам заеду.

— Очень ценю ваше доверие, — отвечал Крылушкин с вежливым поклоном, на который англичанин отвечал таким же поклоном.

— Вот лекарства мои, не угодно ли обревизовать?

— Это по вашей части, — заметил полицмейстер, обращаясь к *i* и напоминая Сквозника-Дмухановского в сцене с Гюбнером.

— Та, — отвечало *i*, тоже напоминая Гюбнера в сцене с Сквозником-Дмухановским.

Травы все оказались безвредными. Забрали только несколько порошков, опечатали их и составили акт, к которому за неграмотных понятых подписался полицейский служитель из евреев.

Полицмейстер отвел англичанина в сторону и долго очень горячо с ним разговаривал. Англичанин, по-видимому, не мог убедить полицмейстера и тоже выходил из себя. Наконец он пожал плечами и сказал довольно громко: «Ну, если вам угодно, так *я вас прошу об этом в личное для меня одолжение*. Я знаю мнения его превосходительства, *как его врач,* и ручаюсь вам за ваше спокойствие».

Полицмейстер поклонился и, выходя, сказал ундеру: «Ступай, не надо ничего». Аптекарь взял опечатанные порошки и вместе с полицмейстером и с инспектором уехали с двора Крылушкина, а за ними пошли, переговариваясь, понятые и солдаты.

Крылушкин, проводив нежданных гостей, старался, как мог, успокоить своих домашних. Уговорил всех спать спокойно и, когда удостоверился, что все спят, сел, написал два письма в Москву и одно в Петербург, а в семь часов напился чайку и, положив в карман свои письма, ушел из дома.

IX

Крылушкин был на почте, отдал свои письма, а потом пошел к архиерею, беседовал с ним наедине с полчаса и вышел от него довольно спокойный. Архиерей у нас в то время был очень хороший человек, простодушный, добрый, открытый и не способный отказать ни в чем, что было в его власти или силе. Крылушкина он знал за человека, достойного всякого уважения, и принимал его без чинов. При губернской перестановке на месте из старых лиц с весом оставались только предводитель да архиерей. Предводителя не было в городе, и Крылушкин в защиту себе мог поставить только одного архиерея.

Но пока преосвященный написал к губернатору письмо и пока губернатор прочел это письмо и собрался призвать чиновника, чтобы поручить ему рассмотреть и по возможности удовлетворить ходатайство архиерея, случилось следующее происшествие.

В восемь часов утра пришел к Силе Ивановичу во двор квартальный с четырьмя десятскими и спросил хозяина. Ему Палагея отвечала, что хозяина нет дома, что он вышел и она не знает, когда возвратится. Квартальный объявил, что он имеет предписание забрать и тотчас доставить во врачебную управу всех находящихся у Крылушкина больных, которые могут ходить. Защиты не у кого было искать. Квартальный забрал старуху с грыжей, одиннадцатилетнюю девочку с золотушным гноетечением, молодую бабу с расперетницей да Настю и под полицейским прикрытием повел их во врачебную управу.

Сила Иваныч, выйдя успокоенный от архиерея, зашел в городской сад, погулял, посмотрел на Оку, отдохнул на лавке и поплелся домой. До его дома было добрых три версты, и старик пришел только около одиннадцати часов.

Палагея встретила его на пороге и, сбиваясь от торопливости и перепуга, рассказывала, что случилось во время его отсутствия.

— И Настю взяли? — спросил встревоженный старик.

— Повели, батюшка, Сила Иваныч.

— Таки свое сделали, — проговорил Крылушкин и теми же пятами, не заходя домой, бросился к калитке.

— Иди, беги, родимый! Заступись за нее, сироту, — говорила ему вслед старуха.

Но уж поздно было защищать Настю.

Старик, задыхаясь от усталости и тревоги, бежал около двух верст до площади, где стоят извозчики. Облитый потом, он сел на дрожки и велел везти себя в врачебную управу. Не глядя, что вынул из кармана, он дал извозчику монету и вбежал в сени. Баба и старуха сидели на окне. Старуха плакала.

— Чего? что с вами сделали? — спросил перепуганный Крылушкин.

— Отец ты наш! За что же на нас срам-то такой?

— Что, что? скорей говорите.

— Да как же на старости-то лет меня, старуху, осматривать при всех при бесстыжих глазах.

— Ах, боже ты мой! — прошептал Крылушкин и вскочил в переднюю.

Здесь стояла девочка, вся красная, как от печи отошла, с слезами на глазах, и подвязывала свои больные уши.

— Боже мой! Настя! где Настя?

Девочка показала рукою на дверь канцелярии.

У двери стоял сторож, отставной солдат, и рукою держался за замок.

— Пусти, милый! — сказал Крылушкин.

— Нельзя, не велено пущать.

— Мне нужно.

— Обождите. Там члены женщину осматривают.

В это время за дверью раздался раздирающий вопль Насти.

Крылушкин вдруг толкнул солдата и вне себя вскочил в комнату.

Было поздно.

Акушер, с инструментом в руках, производил осмотр.

Крылушкин вошел в то время, когда осмотр, требующий очень немного времени, был уже кончен. Акушер, передав фельдшеру инструмент, кивнул солдатам, державшим свидетельствованную. Настя вскрикнула, рванулась и, не успев стать на ноги, упала на пол. Потом вдруг поспешно вскочила и плюнула в лицо англичанину. Ин-

спектор не успел прийти в себя от этого сюрприза, как бедная женщина с раскрасневшимся лицом и бегающими глазами перескакивала от одного к другому и, с каким-то воплем, по очереди всем им плевала в глаза. Писаря бросились в другую комнату, а письмоводитель стал за шкаф и закрылся дверцей.

Настя прыгнула и к Крылушкину, вероятно с тем же намерением — плюнуть ему в глаза, но тотчас его узнала, обхватила руками шею старика и, упав головою на его грудь, тихо заплакала.

Оплеванные члены управы, совершенно растерявшись, стояли и только поглядывали друг на друга. Никому не было завидно. Всем досталось поровну.

Крылушкин с белой головой и спокойным взглядом стоял, как статуя упрека, и молча смотрел на них, прижимая к себе плачущую Настю. Наконец он покачал головой и сказал:

— Эх, господа! господа! А еще ученые, еще докторами зоветесь! В университетах были. Врачи! целители! Разве так-то можно насиловать женщину, да еще больную! Стыдно, стыдно, господа! Так делают не врачи, а разве... палачи. Жалуйтесь на меня за мое слово, кому вам угодно, да старайтесь, чтобы другой раз вам этого слова не сказали. Пусть бог вас простит и за нее не заплатит тем же вашим дочерям или женам. Пойдем, Настя.

Крылушкин с Настей вышли.

Члены еще переглянулись. Они решительно не знали, какой оборот дать этому делу. Но прежде всего нужно было обтереться. Англичанин первый вынул из кармана батистовый платок и, отвернувшись к стене, стал вытирать свое лицо. Другие последовали его примеру.

Члены ушли в присутствие. Писаря помирали со смеху в канцелярии, письмоводитель хотел войти в присутствие, но у самой двери пырскнул, зажал рукою рот и опять вернулся в канцелярию, где можно было смеяться, не оскорбляя самолюбия членов.

— Какая неприятная случайность! — сказал англичанин.

— Да! И прямо в глаза, — заметил акушер. — Чего терпеть я не могу.

— Чего вы терпеть не можете, чтоб в глаза-то плевали? — спросил всегда веселый оператор.

— Да.

— Кто ж это любит!

— То есть не то, не в глаза; а я говорю, что историй-то этих терпеть не могу. Ведь это по всему городу разнесут.

— Уж с тем, что возьмите, — отвечал оператор.

— Позвольте, господа. Не время шутить, а придумайте, что сделать. Ведь из этого выйдет скандал, — пояснил англичанин.

Дело ступило на серьезную ногу и решено тем, что в акте освидетельствования нужно записать Настю одержимою припадками умопомешательства и подлежащею испытанию в доме умалишенных. От сумасшедшего-де ничто не обидно.

Как сказали, так и сделали. Настя провела в сумасшедшем доме две недели, пока Крылушкин окольными дорогами добился до того, что губернатор, во внимание к ходатайству архиерея, велел отправить больную к ее родным. О возвращении ее к Крылушкину не было и речи; дом его был в расстройстве; на кухне сидел десятский, обязанный следить за Крылушкиным, а в шкафе следственного пристава красовалось *дело о шарлатанском лечении больных купцом Крылушкиным.*

Время, проведенное Настею в сообществе сумасшедших, прошло не даром. Она была доставлена посредством земского суда домой в совершенном сумасшествии. Дорогою все она рвалась, и ее рассыльный вез, привязавши к телеге, а у дверей знакомой избы уперлась руками в притолки, вырвалась из рук и убежала. До самой глубокой осени она скиталась по окрестностям, не заходила ни под одну крышу и не говорила ни с одним человеком. Где она бродила и чем питалась, никто не знал. Говорили только, что она совсем обносилась, и видали ее пробегавшею через поля в одной рубашке. Пастухи рассказывали, что видели, как она рубашкою ловила на узеньких пережабинах Гостомли мелкую рыбешку, которой бывает несметное количество в нашей речке; а другие уверяли, что Настя ела эту рыбу сырую, даже живую. Совсем она зверенком стала, и все стали бояться ходить в одиночку, — «чтоб Настя-бесноватая не нагнала».

Осенью, когда речка замерзла и твердая, как камень, земля покрылась сухим снегом, Настя в одну ночь появилась в сенях кузнеца Савелья. Авдотья ввела ее в избу,

обогрела, надела на нее чистую рубашку вместо ее лохмотьев и вымыла ей щелоком голову. Утром Настя опять исчезла и явилась на другой день к вечеру. Слова от нее никакого не могли добиться. Дали ей лапти и свиту и не мешали ей приходить и уходить молча, когда она захочет. Ни к кому другим, кроме кузнеца, она не заходила.

Зимою прошел на Гостомле слух, что *дело о шарлатанском лечении больных купцом Силою Крылушкиным* окончено и что после того сам губернатор призывал к себе Силу Ивановича и говорил ему, что он может свободно лечить больных *простыми средствами*. Сила Иванович поблагодарил начальника губернии, но не остался в О—е, продал свой дом с густым садом и поселился на каком-то хуторке в Курской губернии возле Белых Берегов. Говорили, что туда к Силе Ивановичу съезжается видимо-невидимо всякого народа и что он еще успешнее всем помогает. Кузнечиха Авдотья настроила слабоумного Григорья непременно отвезти Настю по весне к Белым Берегам, но Настя этой зимой, во время одной жестокой куры, замерзла в мухановском лесу.

Я был в Гостомле прошлым летом. Лет пять я уже не видал родных мест. Перед тем я жил безвыездно в столице, начитался рассказов из народного быта, и мне начало сдаваться, что я, выросший на гостомельском выгоне между босоногими ровесниками, раззнакомился с народной жизнью. «Съезжу-ка я на Гостомлю, посмотрю, что там завяло и что на место завялого выросло». Поехал. Те же поля, те же луга; леса стали реже, и многих уж следов не осталось; пруды обмелели, и их до половины задернуло зеленою тиною. Соседей многих уж нет: одни переселились в города, другие в вечность. Многие хутора скупили купцы и однодворцы, и мужики, освобожденные февральским манифестом, тоже приобрели себе несколько отдельных участков и думают переноситься на них с своими постройками, «да только конопляников, говорят, жалко». Народ не то что повеселел, а заботливей как-то стал: все толкует, мерекает промеж себя. Нет прежней апатии. Прежние мальчики стали бородаты, но, спасибо им, меня не почуждались. Ониська Косой крестить меня к себе позвал и просил, чтоб я его старшему сынишке

«грамоте показал». На крестинах бабка с кашей ходила и собирала деньги. Меня с кумой заставили три раза поцеловаться. Кумой была старая знакомая, Матрешка. Такая была девочка невзрачная, пузатая, — все гусенят, бывало, стерегла. А теперь баба хорошая, красивая, три года как замуж вышла, и муж другой год как пошел на Украйну, так и нет. Премилая кума, только губы у нее после каши были масленые. А целуется душевно и за плечи так крепко держит. Школы на хуторах нет, а есть школа, да далеко, в большой деревне. Однако из хуторных ребят многие читают очень свободно; охоту к учению имеют огромную. Матушка моя сберегла в кладовой все мои детские книги. Я их разобрал и раздарил ребяткам. Одну книжку, «Зеркало добродетели» с картинками, я отдал маленькому Абрамке, самому лучшему читальщику. Вечером он явился ко мне с подбитым носом и с изорванной книгой.

— Возьми, — говорит, — эту книжку: а то ребята всё бьются.

— За что же они тебя бьют?

— Завидовают, что ты мне книжку хорошую дал. Возьми ее назад.

— Отдай ее тому, кому завидно.

— Всем завидно. Драться, черти, станут.

Нечего было делать. Взял я у Абрамки «Зеркало добродетели» и дал ему «Домашний лечебник», последнюю книжку из старого книжного хлама.

Купил полведра водки, заказал обед и пригласил мужиков. Пришли с бабами, с ребятишками. За столом было всего двадцать три души обоего пола. Обошли по три стаканчика. Я подносил, и за каждой подноской меня заставляли выпивать первый стаканчик, говоря, что «и в Польше нет хозяина больше». А винище откупщик Мамонтов продавал такое же поганое, как и десять лет назад было, при Василье Александровиче Кокореве.

За обедом мужики всё меня расспрашивали: какой на мне чин от государя. Очень было трудно им это объяснить. «Как, — говорят, — твой чин называется?» Я сказал, что на мне чин коллежского секретаря. «Где же это ты секлетарем служишь?» — допытываются. Я сказал, что нигде не служу. Опять спрашивают: «Какой же ты секлетарь, коли не служишь? Где же твое секлетарство?»

Я рассказывал, что это только наименование такое. Ничего не поняли.

Бабы спрашивали, зачем я с бородой хожу! «Так», — я говорю. «Не пристало, — говорят, — тебе». — «А без бороды-то разве лучше?» — спросил я баб. «Известно, — говорят, — лучше». — «Чем так?» — «Глаже с лица, — говорят, — показываешься».

Бабы всё такие же. Есть очень приятные, есть и такие, что унеси ты мое горе.

В верхней Гостомле, куда была выдана замуж Настя, поставили на выгоне сельскую расправу. Был на трех заседаниях в расправе. На одном из этих заседаний молоденькую бабочку секли за непочтение к мужу и за прочие грешки. Бабочка просила, чтоб ее мужиками не секли: «Стыдно, — говорит, — мне перед мужиками; велите бабам меня наказать». Старшина, и добросовестные, и народ присутствовавший долго над этим смеялись. «Иди-ка, иди. Засыпьте ей два десятка, да ловких!» — заказывал старшина ребятам.

Три парня взяли бабочку под руки и повели ее за дверь. Через пять минут в сенях послышались редкие, отчетистые чуки-чук, чуки-чук, и за каждым чуканьем бабочка выкрикивала: «Ой! ой! ой! Ой, родименькие, горячо! Ой, ребятушки, полегче! Ой, полегче! Ой, молодчики, пожалейте! Больно, больно, больно!»

— Ишь как блекочет! — заметил, улыбаясь, старшина.

Бабочка взошла заплаканная и, поклонившись всем, сказала:

— Спасибо на науке.

— То-то. Вперед не баловайся да мужа почитай.

— Буду почитать.

— Ну, бог простит; ступай.

Баба поклонилась и вышла.

— Хорошо вы ее? — спросил смуглый мужичок ребят, исполнивших экзекуцию.

— Будет с нее. Навилялась во все стороны.

— Избаловалась баба; а какая была скромница в девках.

— Ты ба не так ее, Михайла Петрович, — заметил старшине черный мужик, — надо ба ее не токма что наказать, а того-то ба, половенного-то Сидорку призвать.

— Его за что?

— Нет. Я не про то. Я говорю, чтоб его-то заставить ее побрызгать-то. Из любой руки, значит.

— Ну еще, что вздумай!

— Право.

— Нет, ты не то, дядя, говори, — крикнул молодой парень с рябым лицом. — А ты вот своему сыну отец называешься, а по сыну и невестке отец. Ты ба помолился миру, чтоба тебя на старости лет поучили.

В избе пробежал шепот.

— За что это меня поучить? — спросил несколько растерявшийся черный мужик, свекор высеченной бабы.

— За что? Небось ты знаешь за что, — погрозив рукою, сказал молодой мужик. — Ты всему делу вина; ты...

— Полно! — крикнул старшина.

Гражданские, то есть собственно имущественные, спорные дела разбирают иногда весьма оригинально, но весьма справедливо.

За две недели до моего приезда старшину сместили за взятки; теперь собираются сместить писаря. Тоже что-то за ним знают, но говорят, что надо его «подсидеть и на деле сцапать».

Как возьмутся, уж это наверное сцапают.

Прокудин и его жена умерли; Гришка женился на солдатке, ушел в работу и не возвращался. Говорят, опять в Харькове с дворничихой сошелся. Сказывают, что он плакал по Насте, как ее оттаивали в избе и потрошили. Жениться он тоже не хотел, да отец бил его, и старики велели слушать отцовскую волю; он женился, ушел с топором и там остался. Домна здоровая, но уже старая баба, а про всякую скоромь врать еще большая охотница. Кузнец с кузнечихой нарожали восемь штук детей и живут по-старому. Крылушкина в прошлом году схоронили, и вся губерния о нем очень сожалеет. Костик разбогател, купил себе пять десятин земли, выстроил двор с лавочкой, в которой торгует разными крестьянскими припасами и водкой. Во хмелю такой же беспокойный и вообще большой дебошер. Когда он уж разбуянится, его унимает младший брат Егорушка, обладающий необыкновенною силою. Он связывает братца и кладет его в чулан, пока тот обрезонится. Мужички редкий не должен Костику и кланяются ему очень низко. Жена его совсем извелась.

Отец Ларион все вооружается против знахарей и доказывает крестьянам преимущества заклинаний, но мужики всё возятся с аплечеевским солдатом. Баб бесноватых заметно гораздо меньше прежнего; крупного воровства также, говорят, стало менее, но лошадей ужасно крадут. На ярмарке был я только раз. Там та же история. Одного мужика, Дмитрия Данилова, из моих сверстников, видели избитого.

— За что это тебя исколотили так? — спрашивали его.

Он обтирает кровь, которая льет из носа, и молчит; а другой парень за него и говорит:

— Сапогами хотел раздобыться, да изловили, псы окаянные.

На погосте куча народа стояла. Смотрю, два мещанина в синих азямах держат за руки бабочку молоденькую, а молодой русый купчик или мещанин мыло ей в рот пихает.

— Что это такое? — говорю.

— Мылом, — говорят, — раздобывалась, да брюхатая; так бить ее купцы не стали, а вот мылом кормят.

— А вы зачем даете ее мучить?

— Попалась. Сама себя раба бьет, что не чисто жнет.

— Батюшки! отнимите меня. Я ведь только на пеленочки кусочек хотела взять, — стонала баба.

Купец ковырнул ногтем еще мыла и сунул его в рот бедной женщине.

Я побежал в избу к становому. Становой сидел у раскольницы Меланьи и благодушествовал с нею за наливкой.

— Милости просим, господин честной! — сказала мне подгулявшая Меланья.

Я рассказал становому об истязании бабы и просил его идти и отнять ее. Он махнул рукой и предложил мне наливки.

— Они, — говорит, — свое дело знают; сами разберутся.

Я настаивал. Становой послал на погост десятского, а сам налил новый стаканчик и сказал мне:

— То-то, господа! ведь это ваше *самоуправление*. Чего ж вы к нам ходите? — Самоуправление и самоуправство, по его мнению, одно и то же.

Прежний Настин барин умер, и Маша умерла по двенадцатому году; ее уморили в пансионе во время повального скарлатина. Старшая ее сестрица напоминает Ольгу Ларину: «полна, бела, лицом кругла, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». Матушка не видит дочерней пустоты и без ума от тех, кто хвалит ее «нещечко». Зато Машин братишка, Миша, отличный мальчик. Ему теперь четырнадцать лет, и он учится в губернской гимназии. В его лета мы и не думали о том, о чем он говорит сознательно, без фраз, без аффектаций. Училища не боится, как мы его боялись. Рассказывает, что у них уж не бьют учеников, как, бывало, нас все, от Петра Андреевича Аз — на, нашего инспектора, до его наперсника сторожа Леонова, которого Петр Андреевич не отделял от себя и, приглашая учеников «в канцелярию», говорил обыкновенно: «Пойдем, мы с Леоновым *вописуем тя»*. Теперь Миша с восторгом говорит о некоторых учителях; а мы ни одного из своих учителей терпеть не могли и не упускали случая сделать им что-нибудь назло. Учителей Миша любит вовсе не за послабления и не за баловство.

— Вот, — говорит он, — учитель русской словесности: какая душа! Умный, добрый, народ любит и все нам про народ рассказывает.

— А ты любишь народ? — спросил я Мишу.

— Разумеется. Кто же не любит народа?

— Ну, есть люди, что и не любят.

— У нас весь класс любит. Мы все дали друг другу слово целые каникулы учить мальчиков.

— И ты учишь?

— Учу.

— Хорошо учатся?

— О, как скоро! как понятливо!

— Ты, значит, доволен своими учениками?

— Я? Да, я доволен, только...

Нас позвали ужинать.

Когда я лег спать на диване в Мишиной комнате, он, раздевшись, достал из деревянного сундука печатный листок и, севши у меня в ногах, спросил:

— Вы знаете эти стишки Майкова?

— Какие? прочитай.

Мальчик начал читать «Ниву». Он читал с большим воодушевлением. На половине стихотворения у Миши на-

чал дрожать голос, и он с глазами, полными чистых юношеских слез, дочел:

О боже! Ты даешь для родины моей
Тепло и урожай — дары святые неба;
Но, хлебом золотя простор ее полей,
Ей также, господи, духовного дай хлеба!
Уже над нивою, где мысли семена
Тобой насажены, повеяла весна,
И непогодами не сгубленные зерна
Пустили свежие ростки свои проворно:
О, дай нам солнышка! Пошли ты вёдра нам,
Чтоб вызрел их побег по тучным бороздам!
Чтоб нам, хоть опершись на внуков, стариками
Прийти на тучные их нивы подышать
И, позабыв, что их мы полили слезами,
Промолвить: «Господи! какая благодать!»

Мы с Мишей крепко пожали друг другу руки, поцеловались и расстались на другой день большими приятелями.

РАСТОЧИТЕЛЬ

ДРАМА В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

(Посвящается артисту Н. Зубову)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иван Максимович Молчанов, молодой купец, 30 лет. Одевается по-современному; держится ловко; носит бороду.

Марья Парменовна, жена его, 28 лет.

Пармен Семенович Мякишев, тесть Молчанова, купец рослый, тяжелый, с большою проседью; одевается по старине.

Анна Семеновна, жена его, купчиха лет за 40.

Фирс Григорьевич Князев, купец лет 60, бодрый, сдержанный и энергический. Седые волосы на его голове острижены низко и причесаны по-кадетски; борода довольно длинная, но узкая и тоже седая; одет в длинный сюртук, сделанный щеголевато. Вообще фигура очень опрятная. На носу золотые очки. — Первый человек в городе.

Иван Николаевич Колокольцов, товарищ Молчанова, 30 лет, городской голова.

Вонифатий Викентьевич Минутка, думский секретарь, из поляков.

Калина Дмитриевич Дробадонов, дядя Молчанова по женской линии, купец очень крупного телосложения, лет 42; одет неряшливо.

Иван Петрович Канунников, Матвей Иванов Варенцов, Илья Сергеев Гвоздев — пожилые купцы и члены Думы.

Марина Николавна Гуслярова, молодая женщина, лет 27, дочь няньки Ивана Молчанова, воспитанная в детстве в молчановском доме.

Старуха, мать Марины, слепая.

Алеша Босый, помешанный, слывет юродивым: он не носит никакой обуви и зиму и летом ходит босой, в одной длинной рубашке.

Спиридон Обрезов, старый ткач.

Павлушка Челночек, мастеровой.

Служанка в доме Мякишевых.

Алена }
Саша } слободские девушки.

Дросида, мать Алены.

Приезжий парень.

Двое детей Молчанова.

Фабричные, купцы и мещане, полицейские солдаты и квартальный.

Действие происходит в 1867 году, в большом торговом городе:

1-е — в садовой беседке у Князева,
2-е — в городском доме Молчанова,
3-е — в доме Мякишевых,
4-е — в парке при молчановских фабриках,
5-е — в доме Дробадонова.

Между 1-м, 2-м, 3-м и 4-м действиями проходит несколько дней, а между 4-м и 5-м три месяца.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Просторная садовая беседка, обращенная в летнее жилище Князева и убранная как кабинет достаточного человека, но несколько в старинном вкусе.

ЯВЛЕНИЕ 1

Князев *(при поднятии занавеса сидит за старинным бюро карельской березы и читает письмо)*. «А к сему еще и то тебе, любезный Фирс Григорьевич, прибавлю, что у нас в столице ныне нечто совсем от прежнего отменилось, и хоша то и справедливо, что на всякую болезнь свое зелье растет, только ныне аптек тех уже нету, где зелье противу наших немочей приготовлялось. Суд

старый рухнул, и при новых судебных выдумках я в деле, о коем ты пишешь, пособником быть считаю не безопасным. Одно, что́ могу тебе присоветовать, то признайся ты питомцу своему Молчанову, в чем грешен, и ненадлежаще от него присвоенное возврати. Иной же поправки сему делу в нынешние тяжкие времена не ожидай». *(Нетерпеливо дергая письмо, продолжает скороговоркою.)* «Молчанов пылок и добр, и если ты перед ним, как прочие купцы делают, хорошенько расплачешься, то он, пожалуй, и разжалобится...» *(Комкает письмо.)* Дурак, а не стряпчий! Черт его знает, что́ он мне за ответ написал! Я его спрашивал: как мне быть, чтобы не уронить себя, чтобы оправиться в молчановском опекунском деле и сдать отчеты без приплаты, а он вон что отвечает: «отдать!» Отдать!.. Да нечего отдать, глупец!.. Расплакаться!.. Кто это видел, как Фирс Князев плачет! и перед кем? И от чего заплакать?.. Ваш новый суд! Что ж это — люди, что ль, переменились? Вздор! Не может быть, чтоб человек с умом не сделал в России того, что́ хочет... Все это выдумка! Да, наконец, и граф Александр Андреич этого не может допустить. На него на полмиллиона векселей при таком суде представят, а он платить долгов не поважен. Пустое, вздор, мечтанье, форма... Нет, меня не запугаете, и пока этот лоб наруже, на Фирса Князева узды вам не накинуть.

Слышен стук в двери.

Кто там?

ЯВЛЕНИЕ 2

Минутка *(входя)*. Не беспокойтесь: это я.

Князев. Что ты там пропадал столько времени? Велики, знать, очень секретарские разносолы.

Минутка *(усаживаясь)*. Нет, какие там наши разносолы, а все же старуху восемь дней не видал... да ей и нездоровится.

Князев. Ну что там нездоровится... псовая болезнь до поля, бабья до постели: выспится и здорова будет.

Минутка *(подобострастно улыбаясь)*. Это так, так... они как кошки: переволоки на другое место, и опять живут... Ну ах, чтоб вы знали только зато, как я разбился... Кажется, за ничто на свете теперь бы с постели не встал.

Ведь шутка ли, в самом деле, в восемь дней в Петербург и назад. Хороша дорога, слова нет, особенно от Питера до Владимира по чугунке, как в комнате сидишь; но уж от Владимира...

Князев (*перебивая*). Да, от Владимира многим не нравится... Ну да к черту это! Расскажи ты мне теперь, братец, что же ты сделал в Петербурге по моему приказанию? Письмо ты мне от стряпчего привез столь глупое, что я этого человека после этого сумасшедшим считаю.

Минутка (*осклабляясь*). Нет, большого ума, большого ума человек, Фирс Григорьевич! Не дети, а мужи, самые настоящие мужи, дельцы и те приуныли. Одно слово, как стряпчий сказал, нечего и рецептов писать, когда наши аптеки все закрыты. (*Разводит руками.*)

Князев. Как же это, — стало быть, и ты уже без взяток жить собираешься?

Минутка. А что ж поделаешь!

Князев (*встает и начинает ходить*). А вытерпеть надеешься?

Минутка. Представьте, Фирс Григорьич... чтоб вы знали, ни денег дать, ни упросить его, ни подкупить... Как вам это нравится?

Князев. А обмануть?

Минутка (*смотрит на Князева с изумлением и растерянно повторяет*). Обмануть...

Князев. Да... обмануть?

Минутка. И обмануть... Ну, чтоб вы знали, и обмануть я, Фирс Григорьич, не в надежде.

Князев. Ну обойти, коли не обмануть?

Минутка молча разводит у себя под носом руками.

(*Про себя.*) Однако и у пиявки брюшко залубенело. (*Громко.*) Нет, пан Вонифатий, вижу я, что двадцать лет назад, когда тебя только что прислали из Польши на смирение, ты смелей был. Помню я, как ты, первый раз, как я тебя у полицеймейстера за завтраком увидел, рассуждал, что «в России невозможности нет». За одно это умное слово я тебя, сосланца, возлюбил, и на службу принял, и секретарем в Думе сделал, и двадцать лет нам с тобой и взаправду невозможности не было.

Минутка. То двадцать лет назад ведь говорил я, Фирс Григорьич.

Князев. Да; в эти двадцать лет ты понажился, а я... а я прожился.

Минутка. Кто ж этому причиной, Фирс Григорьич? Не я тому причиной: я жил по средствам, вы же...

Князев *(перебивая)*. Молчи, сморчок!.. В тебе сидит один польский черт, а во мне семь русских чертей с дьяволом, так не тебе про то судить, кто виноват. Когда б не эти черти, я и теперь бы дома не сидел и не послал бы тебя в Питер. *(Успокоиваясь.)* Говори, велико ли время еще дадут мне на передышку?

Минутка *(пожав плечами)*. Сказали так, что дело об отчете два месяца, не более могут продержать и тогда потребуют остатки.

Князев. Сколько?

Минутка. Насчету будет тысяч двести.

Князев. Двести тысяч!.. Ты врешь!

Минутка. Помилуйте, на что мне врать.

Князев. На что?.. А ты соври себе, чтоб легче было отвечать.

Минутка *(вскакивая и дрожа)*. Да я-то что же здесь? Я здесь при чем же, Фирс Григорьич?

Князев. Агу, дружочек! Ты здесь при чем? А не знаешь ли ты того подьячего, что нам с Мякишевым двадцать лет отчеты по молчановской опеке выводил? Что, голубь! Я ведь бумажки прячу.

Минутка, потерявшись, не знает, что сказать.

А! Ишь как дрожит! Вот тем-то вы, ляшки, и скверны. На каверзу вот тут вас взять, а если где придется стать лицом к лицу с бедою, так тут вы уж и жидки на расправу. *(Грозя пальцем.)* Эй, пан, со мною не финти! *(Смело.)* Я крепко кован! Я знаю, куда ступаю. Я сел опекуном, так из всех должностей высел, а тебя, дурака, в Думу посадил, и... придет к тому, так... я же тебя и в тюрьму посажу. Чего дрожишь! Чего? не бойся. Ведь новый суд над нами еще не начался, а до тех пор держись... вот тут вот... за полу мою держись, покуда... *(с омерзением)* покуда в нос сапогом не тресну.

Минутка. Да что вы, Фирс Григорьич! Я, что ль, за новый суд! Да за ничто на свете! Тпфу! вот ему что от меня, новому суду. Я, чтоб вы знали, я всем чем угодно готов служить вам, Фирс Григорьич.

Князев. Ну, всем — где тебе всем служить? Я тебя посылаю каверзить — слышишь, каверзить. Больше вы, паны, ни на что не способны.

Минутка. Да нуте бо, бог з вами, какой я пан: я такой же, как и вы, русский человек.

Князев (*презрительно*). Ну врешь — такой же! — что у тебя на русской службе польская кость собачьим мясом обросла, так уж ты от этого и русским сделался! Впрочем, не русись: ты мне такой и нужен, какой ты есть! Где ума потребуется, там мы своего поищем; а ты ступай повсюду... бунтуй народ, мещан, особенно фабричных... Заслать людей, чтобы и малому и старому твердили, что Фирс Григорьич их отец, что он застоя их; он благодетель их и покровитель... Понимаешь? Сказать, что помните, мол, в прошлом году совсем было быть набору... а как министерский чиновник через наш город проехал да с Князевым повидался, — и набору, мол, конец. Ты все это должен помнить: сам ведь распускал. Теперь опять все это им напеть, да растолковать им, канальям, что я все могу сделать.

Минутка. Это... это что́ и толковать! Этому, чтоб вы знали, они и так все верят.

Князев. Знаю! И то... да! скажи, что опять в Петербурге про набор слышал... Это старо, да еще не изъездилось... Скажи и поприбавь, что я, освободившися теперь от молчановской опеки, не откажусь быть головою и... «его, мол, выберут». Это ничего, что не ты, а они выбирать будут — ты прямо говори, что выберут.

Минутка (*смеясь*). Быдло!.. Скот, скот... бараны... я про народ-то говорю: бараны!

Князев. Да; ступай и действуй смело, а я здесь кое о чем подумаю.

Минутка. Одно только, как бы это так получше, Фирс Григорьич, пустить, чтобы оно всюду прокатило?

Князев. Ну, об этом ты не заботься: у нас правда молчком лежит, а брехню пусти с уха на ухо, она пролетит с угла на угол. Ступай.

Минутка (*порываясь к двери*). Прощайте, до свиданья.

Князев. Да то еще... Да! Если что-нибудь тебе случится разузнать, что Ванюшка Молчанов неспокоен, что что-нибудь затевает...

Минутка. То дать вам знать?

Князев. Да, ту ж минуту; ту ж секунду... Слышишь: ту ж секунду. Беги сюда хоть ночь, хоть за полночь... да не ломись двором, где люди видят, а оттуда, знаешь, с выгона подергай за веревку. Я сам тебя впущу в садовую калитку.

Минутка. Не учите... знаю.

Князев. Не дай зевка. Мне кажется, что он недаром что-то очень тих. *(Про себя.)* Черт знает... я бойких людей не люблю и очень тихих не люблю тоже. Не верю я тихим. *(Минутке.)* Не верю я тихим!

Минутка. Фирс Григорьич, не беспокойтесь! Кто тихо ходит, того чох выдаст... чох выдаст... хе-хе-хе, чох...

Князев. Ступай.

Минутка уходит.

ЯВЛЕНИЕ 3

Князев *(один, медленно и с усталостию)*. Проклятая самая вещь чужие миллионы в руках держать: ладони сами словно клеем приклеиваются — все так и пристает к ним, так и пристает; а потом вот как поналипнет — и трудно приходится рассчитываться. Две недели! Что тут можно сделать из ничего в две недели? А не сделай, — бубновый туз тебе на спину и в каторгу. Гм! Но и еще и не в том дело, что в две недели, и не в том, что из «ничего»; а когда это? в какое время? когда я уязвлен, когда я умом помрачен и только мечтаю о сласти, когда все, наконец, уж так доведено, что Марине шагу ступить без меня невозможно... Сегодня ей уж последний удар нанесен: я вчера велел Дросиде, чтоб нынче выгнать их — и ее и мать, — если Марина еще ломаться будет. Теперь ей один выбор — идти со слепою матерью питаться желудьми или... прийти ко мне. *(Глядя на часы.)* Теперь девятый час в исходе... Непременно должна бы сейчас быть... Небось закутается... идет, словно земля под ней проваливается, и все плачет. Гм! *(Подумав.)* А я очень люблю иногда плачущих женщин... *(Страстно.)* У них в это время, когда они плачут, губы такие... жаркие и всё, как бабочка на булавке, трепещутся... Давно уж, давно я не целовал этакой! *(Задумывается.)* Изучились

все, все уж и здешние-то приучились, как рыбы холодные на блесточку ходят, только блесточек заготавливай... Ах, эти блесточки, блесточки!.. Вот, черт возьми, вертись, как жид перед жолнером: то баба, то свое спасенье. *(Садится к столу, на котором стоят книги законов.)* Неужто же в самом деле ни ум, ни закон, ничто не поможет? Нет! чтоб выгонять вон из головы эту проклятую бабу, давай лучше законы читать стану. Теперь мода на законы пошла. Прежде была мода на возможность, а ныне на закон. *(Раскрывает одну за другою несколько книг.)* Что ж!.. Говорят, подьячий от закона питается: не утешит ли он и нас чем? *(Читает.)* «О фальшивых монетчиках». — Вот эта статья интересная. Только велика труппа требуется. *(Ищет далее.)* «О нарушении союза брачного». *(Останавливается и несколько секунд читает.)* Муж может потребовать жену к совместному сожительству... а чтобы он не потребовал... *(С досадой.)* Но это опять все про нее! про нее!.. *(Оглядывается на дверь.)* Однако что-то вот ее и нет. *(Глядя в книгу.)* «О расточительстве». Вот этим законом меня хорошо было с детства отчитывать. *(Вздыхает и бросает книгу.)* Все вздор! Есть только то, чего не надо; а за что зацепиться? на чем выскочить?.. На что стать да насмеяться этим и новым судам и новым людям, — того и нет!

Слышится стук в двери.

Ага, вот и она! *(Откидывает крючок.)* Одна?

ЯВЛЕНИЕ 4

Д р о с и д а *(входя)*. Одна, родимый. Да и с кем же быть-то? Не с кем.

К н я з е в. Как не с кем! Что такое?

Д р о с и д а. Да ведь ушла она, Марина-то, еще вчера ушла. Я думала, что ты уж знаешь, потому весь город знает. Я про то и идти и глаз тебе показать боялась, что ты, мол, этакой человек... гневен теперь...

К н я з е в. Ты толком мне говори. Я твоей этой болтовни ничего не понимаю. Я дома сидел: ничего не слышал, а докладывать — кто мне смеет про эти глупости докладывать?

Дросида. А коли не знаешь, изволь, родимый, все расскажу. Я все ей баяла. Я говорю, ты вспомяни, Маринушка, что кто ведь был твоей застоей? Подумай, мол, что ты ведь мужняя жена, а муж твой есть убивец. Кто за тебя вступился? Фирс Григорьич. Кто мужа твоего по чести спровадил в Питер да еще и денег на разживу дал — кто? все же Фирс Григорьич. Кто этот домик-то, не домик, а хоромы добрые, тебе удержал, не дал твоему мужу прогусарить? — опять же Фирс Григорьич!

Князев. Ну!

Дросида. Да как же тебе, говорю, того не чувствовать? Ну, а она свое: я бы, говорит, от мужа и сама убегла, потому что он, всем известно, разбойник; а что хоромы, так это, говорит, ведь наши притоманные, свои хоромы: их Фирс Григорьич обманством выманил: говорил, чтоб только переписать за него, чтобы муж меня под дом денег занимать не заставлял; а нынче, видно, шутку эту в правду уж повернул. Так мне плевать, говорит, на эти и хоромы. Я, говорит, нужды не боюся, а уж тела своего не продаю. Дура ты, говорю ей, так же ведь с своим с разбойником-то жила и тело ему продавала. Ну, то, говорит, закон.

Князев. Скажите пожалуйста, и бабы про закон запели!

Дросида. Да, говорит, закон. Да что, мол, нам, нищим, закон! Хорошо в законе ходить, кому бог обужку дал, а у нас редкая-редкая, которая от Фирса Григорьича чем не пользовалась... Моя, говорю, дочь не хуже тебя была...

Князев. Ну, это ты проезжай мимо с своей дочерью.

Дросида. Не хуже тебя, говорю, Алена-то моя была, да за счастье даже это почитала. А она с этим харк мне в глаза да говорит: змея ты, да еще змей хуже, потому и змея своих черёв не ест, а ты к чему дочь устроила. Я уж тут-то не стерпела, да и говорю: ну, коли ты говоришь, что я свое дитя съела, то ты хуже меня будешь и свою мать съешь. Мне, говорю, от Фирса Григорьича такой приказ дан теперь, что если ты ноне своих капризов не переломишь да не пойдешь к нему, так замест того, чтобы он дом на тебя записал, вот тебе бог да порог: выходи вон отсюдова со своею матерью.

Князев. Ну и что ж она?

Дросида. Что ж ей, бесчувственной, Фирс Григорьич! Она тому и рада словно. Прегордо плюнула еще, да и была такова. «Собирайся, маменька: наш дом-то не наш, говорит, вышел». Повязала узлы, да и след их таков.

Князев. Скажите пожалуйста, какой, однако, в этой бабенке гонор сидит. *(Отходя.)* Ведь это... ведь это, я вам говорю *(целует пальцы)*... ведь это сюпер-фейн! Эта... разомнет кости, пока ее к знаменателю приведешь. Я и этот род знаю. Знаю, знаю! Сей род ничем же изымается, но хорош, хорош, заманчив. Дуру, как галку, сейчас подманешь, и сама и на плечо садится; а этакую... как сокола ее надо вынашивать... Маять ее, чтобы одурь ее взяла... чтоб отдыху ей не было, чтоб из сил выбилась, с тела спала... В них ведь это не то... не мякоть, не тело дорого... а в них... Да дьявол их знает, что в них такое! *(Дросиде.)* Ну и куда же она пошла?

Дросида. Да уж прежде, видно, Фирс Григорьич, у них место-то готовлено. Она так прямо, плюнувши, и говорит: стращать было вам, говорит, меня допрежь сего, да и тогда-то бы я не больно испужалась, а ноне мне спасибо вам, что выгнали. Взяла слепую мать и повела к Молчанову на дачу.

Князев *(вскакивая)*. К Молчанову? Ты врешь!

Дросида. Мне ли лгать тебе, родимый Фирс Григорьич. Сама я видела, как взяли за угол и полем поплелись вдвоем к Молчановской слободке.

Князев *(проворно вскочив и расхаживая, про себя)*. А, брат Иван Максимыч, ты что-то частенько стал мне впоперек дороги шнырить. За тебя терплю, да и от тебя терпеть — это уж не много ли будет по две собаки на день!

Слышен стук в двери.

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же и Минутка.

Минутка *(бледный и взволнованный, вбегает и обращаясь к Дросиде)*. Ступай отсюдова, ступай! Прикажите ей, Фирс Григорьич, поскорее вон выйти.

Князев *(Дросиде)*. Поди там подожди в саду.

Дросида уходит.

ЯВЛЕНИЕ 6

Те же без Дросиды.

Князев. Чего ты мечешься как угорелый?

Минутка. Да, угорел... прекрасно вы всех нас учадили: на целый век этого угару хватит.

Князев. Не ври: всякий угар пройдет, как свиньи спать лягут. Ты говори, в чем дело?

Минутка. Помилуйте, да вам ведь лучше знать, в чем дело. Скажите-ка вы, где у вас черновые счеты, которыми вы меня пугали?

Князев. В коробье спрятаны.

Минутка *(плачевно)*. Да что вы шутите! нам не до шуток. Нет, они точно в коробье, да не в вашей... Их нет у вас: вы обронили их хмельной у Марины Николавны, да и не хватитесь. Стыдно вам, Фирс Григорьич!

Князев *(в ужасе)*. Она могла Молчанову отдать их!

Минутка *(нервно)*. Да что угадывать, когда уж отдала. *(Плачет.)* Вот то-то вот... винцо да бабочки... библейского Самсона и того остригли, и вас остригут! Поверьте, остригут. *(К публике.)* Лезет к женщине: та его терпеть не может, говорит так с ним, с омерзением с таким, что смотреть совестно, а он все к ней... С ума сошел дряхлец... Где горд, а тут уж и гордости нет.

Князев *(не слушая)*. Теперь не остается много думать... Ступай сейчас к Молчанову... не дожидайся утра, а сейчас ступай... скажи ему, что я кланяюсь ему...

Минутка *(перебивая)*. Да; теперь мириться с ним, прощенья у него просить готовы.

Князев *(кусая губы)*. Да, прощенья.

Минутка *(смело)*. Чего просить? чего просить? Напрасно, чтобы вы знали! Я уж просил — сейчас оттудова. Я как узнал, что все наши счеты и фактуры у него в руках, так первым же делом прямо бросился к нему... да не в двор, а в огород... под окна...

Князев *(схватывая Минутку за руку)*. Гм!.. да, да, чтобы украсть? Ну, ну! ну молодец, умно.

Минутка. Чтобы посмотреть, что можно сделать...

Князев. Ну!

Минутка. Ну! *(Нагло.)* Ну и ну! Поднялся на карнизец да гляжу в окошко: вижу, свечи горят, а никого нет, как вдруг в это время кто-то хвать меня прямо за... ухо.

Князев. Тебя?

Минутка. Да разумеется меня! ведь вас там не было. Оказывается, что это сам господин Молчанов. Держит за ухо и говорит: «а, князевский шпион, мое почтенье»... и хотел было людей звать. — Иван Максимыч, что вы! говорю, да бог-бо з вами! какой я шпион? Я, говорю, я, чтоб вы знали, к вам от Фирса Григорьича с тем и прислан, чтобы мир сделать; Фирс Григорьич, говорю, сами быть у вас желают... А он...

Князев *(нетерпеливо)*. Ну да; а он? Что ж он?

Минутка *(вздохнув)*. А он... Послов, говорит, ни худых, ни хороших ни бьют, ни бранят, а жалуют. И в этом виде так и повел.

Князев. Гм! все за ухо?

Минутка. Да я ж вам говорю, что за ухо! *(Вздохнув.)* Повел в кабинет. Провел да и дал мне прочитать бумагу... Останетесь довольны, Фирс Григорьич.

Князев *(нетерпеливо)*. Что это за бумага?

Минутка *(тихо)*. В Петербург.

Князев. О чем?

Минутка *(еще тише и спокойнее)*. О том, что начет на вас он дарит на детские приюты.

Князев. Все двести тысяч?

Минутка. С процентами... Что-с, Фирс Григорьич? Просить было, пока время было. Теперь ведь не с Молчановым — те не простят.

Князев *(хватая Минутку за борт)*. Украдь эту бумагу с почты.

Минутка *(спокойно)*. Не рвите платья понапрасну. Бумаги нет: она уже третий день тому назад пошла с нарочным. Я видел копию.

Князев *(бросает Минутку)*. Что ж это вы меня живьем, что ли, хотите в руки выдать! *(Снова хватая бешено Минутку.)* Ты говоришь, что поздно красть! *(С азартом.)* Так я же буду резать! жечь!.. душить!.. *(Бежит к двери.)*

Минутка. Что вы? что вы? Вы... вспомните вы, что́ вы говорите?

ЯВЛЕНИЕ 7

Те же и Дробадонов.

Дробадонов (*показывается в это время в дверях и преграждает Князеву дорогу*). Что, еще охота все душить да резать? Довольно, кажется, в свой век ты уж и крал и резал.

Князев (*гневно*). Что это? как ты смел сюда взойти? Пошел отсюда вон!

Дробадонов. Не прогоняй — и сам не засижусь. (*Берет молча Минутку за плечи, выставляет его за порог и запирает за ним дверь.*) Не по своим делам к тебе я, а от людей послан. Куда ты вышвырнул Марину Гуслярову с слепою матерью из дому?

Князев. На простор.

Дробадонов. Да как же так?

Князев. Так: очень просто — дом мой и власть моя.

Дробадонов. Дом твой и власть твоя, да и твое ж ведь и бесчестье. Ты дом купил у них за бесценок; сказал, что это только для того, чтоб муж Марину не неволил занимать под дом да отдавать ему на пьянство, а что они до веку будут в этом доме жить.

Князев. Да ведь то-то вот видишь — я своему слову господин: хочу держу, хочу в карман прячу. Ступай проси на меня, если хочешь.

Дробадонов. Что просить? А ты греха побойся, Фирс Григорьич. Известно нам, чего ты хочешь от Марины Николавны. Она не говорлива, да у людей-то ведь глаза — не бельма. Грешил ты много, Фирс Григорьич; но ноне, кажется, не те бы уж твои года... Уж я старик почти, а ты ведь мне в отцы годишься. Тебе б теперь пора молиться богу да просить себе деревянного тулупа.

Князев (*раздражительно*). Да ты кашу, что ли, ел на моих крестинах или воду выливал?

Дробадонов. Да бог с тобой, с твоими летами. Я в том пришел тебя просить: не доводи, пожалуйста, семью племянника Молчанова до бесконечного раздора. Ты выгнал из дому Марину; им с матерью некуда деться было. В городе, тебя боясь, никто их не примет.

Я бы рад их душой принять, да сам с сестрой и с матерью едва мещусь: ну они, разумеется, к Молчанову пошли; а ведь тебе и без того известно, что весь народ в одно про них твердит и путает Марину с Ваней. Теперь он их вчера приютил, а это до семейных уже дошло, и в доме ад настал.

Князев. Ага! и ад уже настал? Чего ж бы, кажется? То ездила туда кататься, теперь живет: не велико различье.

Дробадонов. Будь миротворец — вороти ты этот дом старухе.

Князев *(долго глядя в глаза Дробадонову)*. Калина Дмитрич! Что ты — дурак или родом так?

Дробадонов. Послушай, Фирс Григорьич! Ругательством твоим не обижаюсь. Я не дурак, и совесть у меня чиста, и таким меня мир знает. Я беден, да в свою меру уважают меня люди. Ты меня не обидишь, да ты мне и не страшен: я не боюсь тебя. А я тебя по-христиански прошу и советую тебе: опомнись, Фирс Григорьич, сделай хоть что-нибудь доброе: пусть не все же боятся — пусть хоть кто-нибудь тебя и любить станет.

Князев. А мне, любезный, это все равно: люби не люби, да почаще взглядывай.

Дробадонов. Положим, что и тут ты прав; но ты подумай, чтó говорят-то о тебе.

Князев. Плюю!

Дробадонов. Ну отчего бы тебе те злые речи не закрыть добрым делом, чтобы сказали, что и у Князева душа есть?

Князев. Плюю на то, что говорили; плюю и на то, что скажут.

Дробадонов. А ты не плюй.

Князев. Что-о-о?

Дробадонов. Не плюй — вот что. Погода поднимается: неравно назад откинет, в свою рожу плюнешь. *(Подходит с значительной миной.)* Говорят, будто ты утопил Максима Молчанова.

Князев *(с притворным удивлением)*. Неужто?

Дробадонов. Говорят, что когда Максим Петрович написал духовную, где, обойдя всю женину родню, завещал сына в опеку тебе с Мякишевым,

ты никак дождаться не мог, когда придут к тебе в руки миллионы.

Князев. Ишь какой шельма народ пронзительный: ничего от него не утаишь.

Дробадонов *(подходя еще ближе)*. Говорят, что раз, когда вы купались втроем — ты, он, да Алеша Брылкин, — ты взял и начал окунать Максима Петровича Молчанова, да и заокунал шутя; а как его заокунал, тогда бросился за Брылкиным Алешей, чтобы и свидетеля не было. Тот уходил, молился, плакал; но ты и с ним покончил. Максим Молчанов потонул, и не нашли его. А Алешу ж Брылкина хоша и вынули и откачали, да что по нем! Уж он тебе не страшен: он с ума сошел и поднесь остался сумасшедшим и бродит в рубище; *(махнув рукой)* да в том, может быть, его и счастье, что он в рассудке помешался, а то ты бы и его спровадил.

Князев. Скажи пожалуйста... совсем бы уголовщина, кабы доказательства не Окой снесло.

Дробадонов. Что по Оке несет, то в Волгу попадает, и Волгою всю Русь проходит, и широкому Каспию жалуется. Не кичись, что доказательств нет: былинка, травка шепчут их и господу и людям. Припомни: Валаам ослицею был обличен!

Князев. Да ты это что пришел мне здесь читать! Я, брат, к попу хожу.

Дробадонов. Я тебе сказываю, что народ говорит.

Князев. А я тебе говорю, что я на это плюю.

Дробадонов. Плюй, плюй, да уж к сему по крайности не согрешай. Наш день сел в беззакониях за горы, и ноне суд не прежний. Гляди, неровен час, всплывут и старые грехи.

Князев *(взволнованно)*. И ты про новый суд! Холера это, что ли, этот суд, что все вы так про него заговорили?

Дробадонов. Для иных холера.

Князев. А ты знаешь, что кто холеры не боится, того сама холера боится. Знать не хочу я этого суда!.. Я не пойду на этот суд, где... тебя и всякого другого такого скота посадят судить меня.

В раскрытом окне появляется смотрящий из купы сирени темного сада Алеша Босый.

Я никого не боюсь; я ничего не боюсь; я холеры не боюсь, чумы не боюсь, тебя не боюсь, суда не боюсь и сатаны со всей преисподней.

Алеша *(унисоном протяжно)*. Утону!.. Ка-ли-и-на Дми-и-трич! Во-озьми меня отсю-ю-да. Здесь... страшно... Утону...

Князев *(вздрогнув)*. Что это! Вы меня пугать задумали! *(Алеше.)* Прочь, чучело!

Алеша, вскрикнув, убегает.

Дробадонов. Ах ты, ругатель! Гордыня-то тебя куда уносит. Сейчас ты ничего на свете не боялся, а вот безумный старичок забрел — и ты вздрогнул. Чего ты на меня остребенился? ведь я видел, как ты задрожал... Не я его подвел сюда, а, может, это бог его послал, чтобы напомнить грех твой. Не пожалел отца ты, Фирс Григорьич, — пожалей хоть сына. Боясь тебя, никто на двор Гусляровых не пускает жить; у меня вся хата с орех, да мать с сестрами, и тем места нет, — им некуда деться, кроме Молчанова. Не доводи до этого. Не делай ты худой огласки. От того, что Марину взял Молчанов, великая беда может родиться. Верни им домик, где они жили, а если честью воротить не хочешь, так вот тебе Молчанов шлет три тысячи рублей за этот домик. *(Вынимает пачку ассигнаций и кладет их на стол.)* Возьми и выдай купчую, чтоб жили там, где жили.

Князев. Тьфу, пропасть! Да что ж это такое: везде на всякий час, во всякий след Молчанов! Ему о них что за забота?

Дробадонов. Что ж, старуха мамкою его была, а молодайка в их доме выросла, они детьми играли вместе... он человек богатый, не мот, не пьяница, не расточитель... куда ж ему девать?

Князев *(подпрыгнув)*. Что ты сказал? что ты сказал? какое слово?

Дробадонов. Я говорю, что его достатки миллионы, а он не пьяница, не расточитель.

Князев *(про себя)*. Расточитель! *(Распрямляясь.)* Фу-у! батюшки! Орлу обновилася юность! *(Громко Дробадонову.)* Постой, постой!.. Да, хорошо... я дом продам — на что ж он мне? он мне не нужен, продам и завтра выдам крепость... Но постой же, братец, ведь это

так нельзя. Живой человек живое и думает, и там кто его знает... Нет, я деньги с глазу на глаз брать не стану. *(Берет со стола ассигнации и сует их в руки Дробадонову.)* Возьми-ка, возьми пока, возьми. *(Растворяет дверь.)* Эй! Вонифатий Викентьич!

ЯВЛЕНИЕ 8

Те же и Минутка.

Князев. Вот я здесь домик свой, что на провалье, продал Ивану Максимовичу, и то есть не Ивану Максимовичу, а Гусляровым, Марине Гусляровой, только на Ивана Максимовича деньги, так сядь-ка напиши какую следует расписку, что деньги, мол, три тысячи рублей за сей проданный дом я от Молчанова получил и обязуюсь в месячный срок совершить на оный купчую крепость на имя Марины Гусляровой, а расписку сию положили до совершения крепости дать за руки секретарю Минутке. *(Сажая его за бюро.)* Пиши так, как сказано. *(Про себя с самодовольною улыбкою.)* Очень бы хотелось мне видеть теперь какого-нибудь петербургского мудреца, чтобы он, глядючи на меня теперь, сказал, что́ это по его разуму я делаю? Нечего больше и сказать, что Князев дом продает... А Князев душу человеческую и всю совесть мирскую под ногами затоптать собирается...

Минутка. Готово.

Князев *(скоро подписывается. Минутке)*. Подпишись свидетелем. *(Дробадонову.)* Теперь пожалуй деньги. *(Дробадонов подает.)* И ты также подпишись. *(Смотрит через плечо, пока тот пишет, и потом, взяв в руки бумагу, читает.)* Кипец Калина... Как ты это, братец, скверно пишешь: не кипец надо писать, а купец. *(Свертывает лист.)* Минутка, спрячь.

Дробадонов. Прощай покуда, Фирс Григорьич.

Князев *(быстро)*. А?.. Да! Прощай, прощай покудова.

Дробадонов уходит.

ЯВЛЕНИЕ 9

Те же без Дробадонова.

Князев *(посмотрев вслед Дробадонову)*. Ну что ж, брат Вонифатий, понял?

Минутка. Дом продали, я больше ничего не понял.

Князев. Ничего?

Минутка *(пожимая плечами)*. Н...ничего. *(Спохватясь.)* Расписку уничтожить?..

Князев *(злобно смеется)*. Ха, ха, ха! *(Делая притворно свирепое лицо и наступая на Минутку.)* Подай ее! подай сюда расписку!

Минутка *(испуганный, защищаясь и убегая)*. Фирс Григорьич, Фирс Григорьич, я не могу... что ж вы это в самом деле... Фирс Григорьич? Вы деньги взяли, а я должен даром...

Князев. Давай, давай! я поделюсь с тобой.

Минутка. А сколько же мне? *(Опять убегая.)* Позвольте прежде: сколько же мне?

Князев *(глядя на Минутку)*. Ну как же вас, таких-то поползней, не запугать судами да законами? Свет умудряется: везде, на всякий час искусства новые; а вы всё только хап да цап. Это время прошло теперь, чтоб по-нижегородски соль красть. Нет, я, брат, не в вас! Это ты вот давеча с перепугу бормотал здесь, что уж тебе теперь и прикоснуться к взяткам страшно; а только посулили — ты уж опять и лапу суешь. *(Смеясь.)* Ах ты, бесстрашный этакой! В такие времена, при таком суде брать взятки! Нет, я не беззаконник! Теперь кто глуп, так тот пускай законы нарушает, я чту закон. Сам на себя я, видишь, выдаю расписки. Как око, береги ее! Дом продан, только в нем не жить тому, кому его купили: на это есть закон.

Минутка. Такого нет закона.

Князев *(нервно)*. Неправда, есть! *(Бросает на пол к ногам Минутки лежавшую на столе пачку ассигнаций.)* Бери! Три тысячи здесь: одну из них возьми себе; остальные же две представить в Думу и объявить народу, что бог послал мне великую удачу в деле трудном и что за это я от своих щедрот плачу за бедных города всю податную недоимку. *(Подумав.)* А на тот год дарю на подать *(с ударением)* десять... нет! двадцать... тридцать тысяч.

Минутка. Что вы? что... вы? Откуда это будет?

Князев. Откуда?.. Отгадай!

Минутка. Нет, извините, не могу.

Князев *(надевая перчатку)*. Я клад нашел.

Минутка *(поникает головой и выражает недоумение)*. Рехнулся!

Князев. Аптеку, — понимаешь, аптеку выискал.

Минутка *(не понимая)*. Какая аптека? Что это вы, Фирс Григорьич!

Князев. А что стряпчий-то писал: «нет, говорит, аптеки!» Вздор! есть аптека! И не на сей день, а на два века та аптека.

Минутка *(оглядываясь по сторонам в недоумении)*. Где вы это видите? Вы нездоровы! Где аптека?

Князев. Она вот в головах в таких премудрых, как твоя, да промеж зубов, которым чавкать нечего. Подай мне трость и шляпу... Нет, врете все: Фирс Князев не пропал! Пусть черви грома прячутся, а стрепету за тучами еще простора вволю.

ЯВЛЕНИЕ 10

Те же и две слободские девушки (пролезают в дверь. Одна постарше, очень смела, другая молоденькая, робко жмется).

Князев *(встречая их, обнимает старшую, которая вскрикивает; потом трется около младшей и, когда эта закрывает рукою глаза, сажает ее на свою постель)*. Побудьте здесь, Аленушка и Саша. Погрейте старичку местечко. А там вот в поставце винцо, наливка и мятные груздочки. Покушайте покуда. Я враз сейчас вернусь.

Алена *(развязно указывая на Сашу)*. Она робеет, Фирс Григорьич, с непривычки.

Князев *(гладя Сашу по голове)*. Робеет. Ничего. Ты не робей: мы добрый. *(Минутке.)* Ступай домой теперь. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 11

Те же без Князева.

Минутка *(выпустив Князева, берет свою фуражку. Про себя)*. Домой? Нет, я уж лучше за тобою издали пройдусь, поприсмотрю, что́ это ты затеял ночью. *(Уходит.)*

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Кабинет Молчанова, убранный в современном вкусе.

ЯВЛЕНИЕ 1

Молчанов *(одет в хороший летний утренний пиджак. Выпроваживая из своей комнаты двоих детей)*. Ступайте с богом, резвитесь и играйте, только, пожалуйста, не ссорьтесь. *(Выпускает их за дверь и говорит с порога.)* Прошу вас, няня, не давайте вы им этих кошек мучить да собачек! Усердно вас прошу об этом. *(Затворяет дверь и идет к письменному столу, который стоит вправо от зрителей.)* Эх, не приведи господи воспитывать детей без матери, а еще хуже с плохою матерью. *(Садится.)* Не женитесь, добрые люди, на деньгах... Если и за свою полу недобрая женщина схватится, режьте лучше полу прочь да улепетывайте. Что это вот за жизнь моя! Как вспомню я, бывало, как я жил в Германии: до вечера на фабрике работаешь, все учишься; домой придешь — святая тишина в беленькой комнатке. Тишь, тишь, тишь; про философию даже рассуждаешь. Но надокучит эта тишь чужая — бежишь на родину... бежишь... и здесь встречаешь свару. Не по каким-нибудь таким причинам, которых отвратить нельзя, все отравляется, а вот словно в фантастическом рассказе: бог весть откудова что сыплется; летит нежданное и засыпает человека.

ЯВЛЕНИЕ 2

Молчанов и Минутка (который вскакивает через окно).

Молчанов *(увидев в окне Минутку, делает в изумлении один шаг назад)*. Это что за явление? *(Смеясь.)* Верно, гони природу в дверь, она влетит в окно.

Минутка *(оправляясь)*. Пусть это вас не удивляет, Иван Максимыч.

Молчанов *(улыбаясь)*. Однако довольно трудно и не удивляться. Ко мне этой дорогой никто не ходит.

Минутка. В наше время не всегда можно прямой дорогой ходить. Прикажете присесть или убираться?

Молчанов (*улыбаясь*). Это я предоставляю на ваш выбор.

Минутка. Я выбираю сесть. (*Садится в конце письменного стола.*) Вам угрожают большие неприятности, Иван Максимыч.

Молчанов (*весело*). Скажите, вы что ж, сегодня за кого?

Минутка (*кланяясь*). За вас!

Молчанов (*строго*). Благодарю покорно; но эта шутка мне не по нутру.

Минутка. Фирс Князев вам приготовил западню.

Молчанов. Какую западню?

Минутка. Не знаю.

Молчанов (*гневно*). Вонифатий Викентьич! советую вам с вашими домашними в дурачки играть, а не со мною.

Минутка. Я не знаю, не знаю и не знаю. Понимаете: я, я, я хочу знать это — и не знаю; но ждите бед. По радости, которой он полон, он сделает столь страшное, столь скверное...

Молчанов. Что на него самого будет похоже.

Минутка. Вы не шутите. Я знаю его: он никогда такой не был. Это уже совсем сатана во всей славе своей. Вы присылали к нему вчера Дробадонова? Он дал расписку Князеву, что вы купили дом Гусляровой.

Молчанов. Я присылал, покупаю. Что же далее?

Минутка. Расписку эту я могу... сберечь у себя и могу и возвратить вам; а на ней что-то строится. Вы, кажется, мне не верите? Вспомните, что я ведь с вас ничего не требую за услугу.

Молчанов. Теперь я вам тем более не верю. С какой стати в вас явилось вдруг такое бескорыстное дружество ко мне, когда вы вечно служили врагу моему, Князеву?

Минутка. Как умному человеку, вам бы не грех знать, что служат чаще всего не тому, кого любят.

Молчанов. А кому выгодно служить, — я это знаю. Но отчего же меня-то вы безвозмездно защищаете?

Минутка. Ну, на это у меня есть свои виды.

Молчанов (*вглядываясь в Минутку*). Нет; верно, не плохо ли Фирсу, или вам не плохо ли от Фирса?

Минутка. Может быть и плохо Фирсу, и мне от Фирса плохо, может быть плохо, но во всяком случае, чтоб вы знали, и вам плохо.

Молчанов. Он надоел вам?

Минутка. Да, немножко. Я порешил с ним кончить, тем более что теперь к тому и время приспело. Ему спасенья больше нет.

Молчанов. Как нет спасенья? А в чем опасность заключается?

Минутка. У него нечем заплатить денег, подаренных вами детским приютам.

Молчанов *(удивляясь)*. Фирсу Григорьичу нечем платить? Я думаю, он *не хочет* платить?

Минутка. Он *не может* платить. *(Оглядываясь.)* Мы с вами совершенно одни?

Молчанов. В этом, кажется, нет сомнения.

Минутка. Полагаю также, что нет сомнения и в том, что все, о чем я буду говорить с вами, останется навсегда между нами?

Молчанов. Я не выдавал никого.

Минутка. Потрудитесь не искать с Князева ваших денег. Их негде уже искать. Позвольте мне лучше его в Сибирь отправить. Я вам это очень советую.

Молчанов *(встает)*. Господин Минутка, что это за тон? Что бы это могло значить?

Минутка. Стою за свою шкуру, Иван Максимыч. Виноват перед вами во всем главным образом один Фирс. Воротить всего заграбленного у вас в течение двадцати лет невозможно. И я, и голова, и тесть ваш — все пойдем под суд и пропадем без всякой пользы для вас. А вот я вам представлю бумажечки, по которым Фирс Григорьич один отлично прогуляется... *(Отдает бумаги.)*

Молчанов *(пересматривая)*. Счет, расписка в получении денег за кладовую и накладная на какую-то мочалу... Я ничего не понимаю.

Минутка. Полтора года тому назад, ровно за три месяца до вашего возвращения из-за границы, у вас сгорели амбары, а в них две тысячи пудов хлопка. Товар этот не был застрахован; а не был он застрахован *(помолчав)* потому, что его совсем не было.

Молчанов *(пожимая плечами в недоумении)*. Шарада за шарадой.

Минутка. А очень просто: привезли мочалу да сожгли ее за хлопок.

М о л ч а н о в *(помолчав и вздохнув)*. Ловко, друг мой, Фирс Григорьич!

М и н у т к а *(вставая)*. Иван Максимыч! Я много виноват перед вами! Надеяться на какое-нибудь примирение с вами — это, разумеется, было бы довольно смешно и глупо; но я хочу вот чего: хочу одолеть свою гадость душевную и сказать вам: простите меня, бога ради!

М о л ч а н о в *(грустно)*. Бог вас простит! *(Подает руку, которую Минутка схватывает и мгновенно целует. Молчанов переконфуженный.)* Что вы, что вы! Вонифатий Викентьич... Бог с вами! *(Удерживает его за руки и ласково сажает назад в кресло.)* Успокойтесь!

М и н у т к а *(горячо)*. А я за это весь ваш, весь, весь! и уж у меня Фирс железных браслеток не минует.

М о л ч а н о в. Вонифатий Викентьич, я вижу, вы меня не понимаете. Слушая вас, поневоле вспомнишь, что «самая высшая хитрость на свете состоит в том, чтобы никогда ни с кем не хитрить». Будучи честным человеком, каким я хоть не везде, но по некоторым статьям имею право себя считать, я ни в каких обстоятельствах не допущу вас сожалеть о вашей сегодняшней откровенности. Сказанное здесь — здесь умерло...

М и н у т к а *(кланяясь)*. Я в этом был уверен. Я всегда уважал вас за благородного человека.

М о л ч а н о в. Но вы напрасно думаете, что я желаю мстить Князеву. Взыскание с него я уступил приютам, чтобы меня не могли долго упрашивать эти деньги ему уступить или отсрочить их. Он не стоит этого. Но мстить... я не ищу этого. С Фирсом Григорьичем мои счеты так велики и длинны, что их лучше не пробовать сводить. Они начались у моей колыбели и кончатся, может быть, в день смерти моей. Этот человек ехидством взошел в дружбу к моему отцу; он оттер от него мать мою; он уговорил отца написать завещание, по которому состояние могло перейти ко мне только в таком случае, если я, достигнув возраста, женюсь на Мякишевой. Иначе, за руками у Мякишева, было другое завещание, по которому, в наказание мне, целая половина этого состояния должна была поступить в пользу богаделен. По милости Князева я в наше просвещенное время в шесть лет сделался женихом четырехлетней девочки... Кроме того... кроме того, общая молва говорит, что по его же милости я менее чем

через год после этого завещания сделался сиротою. Не знаю, сколько в этом правды, но...

Минутка. Но правда в этом есть! есть, непременно есть.

Молчанов. Да, если верить голосу народа — это правда; народ весь в одно слово говорит это.

Минутка. Шепчет. Не говорит, а шепчет.

Молчанов. Если верить чувству крови — это правда: она кипит во мне, когда я его вижу. Как бы я ни был спокоен, стоит произнести при мне его имя — и я не свой. Я не могу, не могу быть своим, потому что один вид его меня в бешенство приводит. Я не могу вспомнить, глядя на этого человека, как он в восемь лет выучил меня пить сладкую водку, в десять горькую, а в пятнадцать ром и шампанское, как сам он у себя на квартире сажал мне на колени француженок да танцовщиц; как я в его же глазах двенадцатилетним мальчиком резал штоссы и он за меня расплачивался... Уезжал он — я уже сам по его стопам ходил в праздники к этим танцовщицам и француженкам, проигрывал им; поил их; векселя им давал... Меня пороть надо было, а воспитателя повесить, а его все нахвалиться не могли. Хвалили! За что ж хвалили? Что с голоду не морил да в нанку не одевал? а он душу мою одевал в лохмотья. *(Помолчав.)* Остальное все идет сплошная мерзость: в двадцать лет боязнь потерять право на имение ведет меня к женитьбе на девушке, к которой не чувствовал никакой привязанности; потом три года шлянья с своею тоской за границею; и когда б не открыл мне глаз Дробадонов, когда б он не поставил меня на нынешний путь, я был бы, верно, и теперь прежним поганцем и до сих пор довел бы уж мои дела до состояния, которого нельзя б было поправить. Так видите ли, как счеты-то мои с Фирсом длинны и как я хорошо их знаю.

Минутка. О состоянии, Иван Максимович, еще не беспокойтесь. Конечно, без состояния человек все равно что не человек; но вы... ваше состояние еще дай бог всякому. Вы все-таки самый богатый фабрикант в целом крае.

Молчанов. Ох боже мой! вы всё о состоянии! Помилосердствуйте! На что мне жаловаться! У нас на Руси есть люди, которым тузами, капиталистами бы быть, а они у своих благодетелей приказчиками или кучерами

служат, либо еще хуже того: папиросы в веселых домах гостям подают, да не жалуются. Нам это в глупость нашу ставят; думают, что мы уж и обиды чувствовать неспособны!.. Нет!.. *(ударяя себя в грудь)* чувствуем мы ее... чувствуем... так чувствуем, что, может быть, если бы об этом, о чем мы говорим с вами, на народе вслух заговорить, так тысячи сердец об самые ребра в грудях стукнулись бы... да не звери мы, чтобы место любить, и не шуты, чтобы на ветер жаловаться... *(тихо)* потому что и своей вины каждый из нас тоже в этом долю видит! Что Фирс! Фирс прах, ходящий на двух лапках; а вот то, среди чего этот Фирс вырос, — это ничтожество, это холопство... это равнодушье... с которым приходится сживаться, которое приходится терпеть, — вот что, вот что непереносно! Нет... я не могу говорить об этом...

Минутка. Вы успокойтесь, Иван Максимыч! Я только ведь хотел вас предупредить... хотел сказать вам, чтобы вы... были осторожнее...

Молчанов. Благодарю вас. *(Дает руку)*. Не думайте обо мне: я не боюсь врагов; я себя одного боюсь.

Минутка. Прощайте же, Иван Максимыч.

Молчанов. До свиданья.

Минутка идет к окну.

(Улыбаясь.) Неужто вы опять через окно?

Минутка. А что ж вы думаете?.. Э! чтоб вы знали, право, так лучше.

Молчанов. Да что вы, бог с вами! Что за охота! Будто я чужой какой! будто вы не могли зайти ко мне просто по какому-нибудь своему делу!

Минутка. Ох, Иван Максимыч! ох, Иван Максимыч! Как вы плохо еще его знаете! Фирс не то, что на земле есть, а что под землею-то, и то он на семь аршин вглубь видит.

Молчанов. О, да бог с вами! Стоит ли он того, чтобы о нем постоянно думать! Но если вы уж непременно желаете делать секрет из вашего визита, то я сейчас принесу ключ от садовой калитки и через сад вас выпущу.

Минутка *(останавливая его)*. Он нынче ночью ходил на телеграф и отправил в Петербург депешу своему поверенному и другую... *(на ухо)* Ефиму Гуслярову... мужу Марины Николавны.

Молчанов (*вздрогнув и сжимая руку Минутке*). Тссс.

Минутка (*тревожно*). Разве нас кто слышит?

Молчанов. Нет... не то... (*Живо.*) О чем депеша Гуслярову?

Минутка (*пожимая плечами*). Не знаю.

Молчанов делает нетерпеливое движение.

Не знаю, Иван Максимыч, не знаю и узнавать не хочу, потому что из его депеши ничего не узнаешь. Он пошлет депешу, что овса или гречи больше не требуется, а читать это следует: «потребуй к себе свою жену».

Молчанов вздрагивает.

(*Минутка, сжимая его руку, говорит внушительно.*) Хорошего ждать нечего: он зол на вас и на Марину Николавну. Надо быть готовым на всякое время и на всякий час все встретить... и (*решительно*) отпарировать.

Молчанов. Как отпарировать?

Минутка. Как? (*Живо.*) Сегодня ехать в Петербург с Мариной Николавной вместе: к отчету Фирса и в тюрьму! Да, вместе уезжайте, слышите! Если любите Марину Николавну, не оставляйте здесь ее: над ней беда висит не легче вашей.

Молчанов. Все это ведь пока одни лишь подозрения?

Минутка (*смотрит Молчанову в глаза и вздохнув*). Да, подозрения; а вы когда хотите защищаться?

Молчанов. Когда на меня нападут, когда...

Минутка (*перебивая*). Когда... (*спохватясь*) да, да, когда... когда увидим, что он против вас задумал. Да, да... Ну, я буду за ним смотреть во все глаза. А теперь, Иван Максимыч, проводите меня покудова. Неравен час, чтоб кто-нибудь к вам не зашел.

Молчанов. Сейчас. (*Уходит в дверь налево.*)

ЯВЛЕНИЕ 3

Минутка (*один*). И этим не задел! Хе-хе-хе-хе! Подозрения! Нет, ты перекреститься, милый, не успеешь, как Фирс клюнет тебя в самую маковку!.. (*Оборачиваясь к комнате, куда вышел Молчанов.*) Ах ты, барашек,

приготовляйся, друг, на заколенье! Не хочешь волком быть; не хочешь зуб иметь, что ж: самого съедят в бараньей шкуре. А я... Нет, мне ты насолил уж, Фирс Григорьич! Я двадцать лет терпел твою кацапью спесь; а нынче не из-за чего: сосать-то больше некого. А на отчаянность... нет, брат, при нынешних судах на эту штуку не пойду. Я уж себе собрал с ребятками на молочишко и другую дорожку нащупал... Одно до дьявола как глупо, что я вот этому кое про что понамекнул... Боюсь теперь, чтоб ранее чем следует Фирс не прознал, что я с ним в союзе по-австрийски. Да нет! Молчанов честный человек, а честный человек в России мастер молчать, где ему молчать не следует. Нет, ничего!

За сценою слышен веселый голос Колокольцова.

К о л о к о л ь ц о в *(за сценою)*. Сейчас, кума, сейчас. Я только из купальни. Вода — как молоко парное! Просто божественно искупался.

М и н у т к а. Голова Колокольцов! Вот черт возьми, еще этого осла тут нужно встретить! *(Бежит к окну.)* Нет, с сим писавый кланяюсь! *(Прыгает в окно, роняя на пол перчатку.)*

ЯВЛЕНИЕ 4

М о л ч а н о в *(входя)*. Вот и ключ. *(Оглядывается.)* Вонифатий Викентьич! Где же это он? Неужто же опять в окно стрекнул? *(Смотрит в окно.)* А!.. так и есть... Ишь, словно заяц чешет... *(Закрывая окно.)* Ну, добрый путь тебе до лясу. *(Садится.)* Самое скверное изо всего, о чем тут говорилось, это то, что касается Марины. Я должен непременно о ней хорошенько позаботиться и не откладывать более этого: ее доля ужасна. Матушка моя ее мне в детстве в невесты прочила, а я из нее черт знает что сделал... То есть черт знает, что́ мы такое за люди! Чего? зачем я ее замуж выдал?.. Поблагодетельствовал... Не казалась вот ничем, пока девчонкой была, а как чужою женою стала — женою разбойника, — и рассмотрел ее, тогда и полюбилась; а ныне она все мое счастье. *(Задумывается.)* Эх, помню я, как, бывало, в Петербурге, белыми ночами слоняясь по островам, какие споры в юные годы вели мы про русскую женщину *(декламируя)* «с ко-

торой никто не придет зубоскалить», которая «в беде не сробеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет», и думалось: о, если бы я эту женщину встретил!

В это время тихо входит *голова*, в белом летнем пиджаке, и с веселой улыбкой крадется к Молчанову.

А встретим живую такую женщину — не заметим ее; либо мимо ее — проста она нам кажется, не философствует, однообразием утомляет — и сами с рук ее сбывать хлопочем, и после вспомним про нее... смешно сказать, когда — разве когда некому тебе в дороге пуговицы к рубашке пришить или когда спохватишься, что глаз теплой рукой завести будет некому.

ЯВЛЕНИЕ 5

Молчанов и Колокольцов (стоя сзади Молчанова, закрывает ему своими руками глаза и держит).

Молчанов. Иван Николаевич! полно, пожалуйста, буфонничать. *(Отнимает его руки.)*

Колокольцов *(весело)*. Чего ты? замечтался? Здравствуй, мой милый! А отчего ты отгадал, что это я?

Молчанов. Очень трудно отгадать! Один у нас буфон — голова городская. Садись-ка, закуривай сигару.

Колокольцов *(садясь)*. А я, брат, зачем к тебе пришел? Я нынче черт знает как расстроен.

Молчанов. Это отчего?

Колокольцов. Жена у меня очень скверна.

Молчанов. Что, хуже ей?

Колокольцов. Совсем скверна. Прескверное лицо — и ослабела. Такая злость, ей-богу! Посмотришь, в прежнее-то время какие были женщины, вон матушка моя сестру Наташу на сорок восьмом году родила. Даже стыдно, говорит, было ходить беременной; медики говорили: невозможно это; а она взяла да и сотворила «возможно» — вот ты и толкуй с ней: и ничего с нею не поделалось. А нынешние, как выйдут замуж, так никакого удовольствия от них нет... *(сделав гримасу)* какое-то трень-брень с горошком.

Молчанов. Как фарфор бренны.

Колокольцов. Ни к черту, душка, не годятся!

Говорят: отчего муж дома не сидит; да как, скажи пожалуйста, сидеть, когда все пискотня да стоны! Я, знаешь... я сравниваю наш век с римским, когда все римляне сидели у гетер. Что хочешь говори, а это мне понятно. Когда жена все эти мины корчит, а там, представь себе, роскошная этакая краса, этакая веселость, блеск, речь понятная, и весь ты нараспашку распахнешься... Ах, Питер, милый Питер! Ах ты, Мабиль в Париже! Какие пипиньки... Этот компрессик-то свой с ленточками на головенку как приколет... Какое остроумие-то! Ей-богу, день бы целый все сидел да пульсик щупал бы у этакой Аспазии. *(Грозя шутливо пальцем.)* Но ты, я знаю, ты русской почвы держишься — Марины Николавны.

Молчанов. Боюсь, что все вы скоро поседеете: ничто от вас не скрыто.

Колокольцов. Да и не скроется! Представь себе: зачем я к тебе зашел? Я ведь сейчас — всего за полчаса — полицеймейстершу голую видел в купальне. Я очень давно ее посмотреть собирался и двадцать раз говорил купальщику Титу: проверни ты мне, Тит милосердный, для меня щелочку в тот нумер. Он, дурак, все начальства боялся; но я полицейскому солдату, что у будки на часах стоит, это поручил, он и провернул, и прекрасно, каналья, провернул: сделал, знаешь, этакую щелочку и вставной сучок... Немец бы этого ни за что не сделал.

Молчанов. Где немцу!

Колокольцов. Да ты, я знаю, ты западник и этому не сочувствуешь! *(Хватаясь за карман.)* Ах, господи ты мой! твержу: западник, западник, а сам и позабыл сказать тебе, зачем я к тебе пришел... Какую мне, брат, Фирс Григорьич новость сообщил про наших славянских братьев! Я тебе скажу, я чувствую, что я с большим бы удовольствием катнул посмотреть на наших славянских братьев.

Молчанов. Ты, гляди, ты это не на компрессики ли с ленточками посмотреть в Петербурге хочешь?

Колокольцов. Н-нет! Как можно! Нет, я ведь в прошлом году не мог собраться посмотреть своих заатлантических братьев: денег не было. Неужто ж я и этих не увижу? Я еще никогда не видал славянских братьев! Канунников видел их, да ничего рассказать не умеет: как греки, говорит, на греков похожи... *(Замечает*

у окна оброненную Минуткою перчатку, бросается и поднимает ее.) А это кто у тебя, милый, рукавчики-то теряет? Кто это, милый, был у тебя?

Молчанов *(всматриваясь)*. Это Минутка у меня был: за лечебником заходил.

Колокольцов. Минутка заходил на минутку, ха-ха-ха! — я давно сделал этот каламбур. «Минутка, пожалуйте на минутку». Он за это не сердится. Он преуморительный ляшок. Я, впрочем, не знаю, какого ты теперь мнения о поляках?

Молчанов. Да никакого больше.

Колокольцов. А нет, ты не шутя скажи, что они такое, по-твоему?

Молчанов *(шутя)*. Черт их знает: помесь жида с французом.

Колокольцов. О-о-о-о! Нет, это, милый, не годится. Жид, чистый и мешаный, все держатся одной политики:

Мне в глаза наплюй,
По лицу отдуй,
По щекам трезвонь,
Лишь карман не тронь:
В нем чувствительность,
Раздражительность.

А у поляков... у них есть что-то такое этакое.... рыцарское... это... это, как тебе сказать, этакое все... у них вместе... дерзость и мерзость.

Молчанов. Похвалил!

Колокольцов. Да; но я говорю, что они все-таки амюзантная нация. Я не люблю, когда против них возбуждается эта ненависть. Это не в нашем характере. Разумеется, я говорю это не как голова; как голова я, конечно, где следует, иначе скажу, — но я это как русский человек говорю, как я чувствую. Я ничего не имею против поляков. Ты помнишь в Вене, что сделал один поляк с нашим русским? — дал ему одну брошюрку прочитать против австрийского правительства, а того бац ночью и обыскали. С тем лихорадка сделалась, чуть с ума не сошел от страху, что сошлют. Но этот поляк пришел и говорит: не бойтесь, говорит, это я, говорит, на вас наслал, потому что нам нужно было отвлечь внимание полиции от одного своего дела; я, говорит, и написал анонимное

письмо, что у вас есть подозрительные бумаги... Ведь этакая верткая каналья!

Молчанов. Да уж чего еще не каналья!

Колокольцов. Но как ловко-то и в то же время ведь и совершенно безвредно! Ах, друг мой, я того убеждения, что ведь они не мы. Их положение другое. Мы ведь гиганты... наше имя исполин, а исполины всегда снисходительны. Ты вот, я знаю, ты не любишь Фирса Григорьича; а я его за что люблю? Я знаю что он — entre nous soit dit [1] — мерзавец cum eximia laude, [2] но я его люблю за его прекрасную натуру — за его русскую натуру. Он русский человек, и зато посмотри, как он снисходительно относится к полякам. Он говорит: что поляки? это вздор, говорит, поляки... Так-таки и говорит: «это вздор», их нет — и я в этом с ним совершенно согласен, потому что где же нынче Польша? Тюти, душка: мышки ее съели.

Молчанов. Да, черт бы их побрал: теперь, как клопы, ползут сюда, чтоб кровь сосать тихонько из России. Здесь подлецов и дураков еще найдется, чтоб с ними заодно якшаться.

Колокольцов. Догадываюсь! Бог знает чем отвечаю, что, сказавши «подлецов», ты это на Фирса намекаешь; ты Фирса очень не любишь. И я это понимаю. Я как-то очень долго размышлял: за что ты его так не любишь, и нарочно сегодня зашел к тебе сказать, что я открыл причину вашей ненависти: вы оба очень самолюбивы. Ты самолюбив, и он самолюбив. О, он чертовски самолюбив; он в этом случае... он даже до поэзии возвышается... Он во многом возвышается до поэзии; но в самолюбии он даже во вред себе возвышается до поэзии. Я этому вчера колоссальный пример видел; грандиозный пример. Я нарочно пришел сегодня рассказать тебе об этом. Вчера у меня генерал Ковалев сказал о Штукареве... Кто-то сказал, что Штукарев разорен; а Канунников, что ли, или не помню кто, говорит: «Э, говорит, это путный человек пропадет, а их брата, откупную пиявку, черт не возьмет». А генерал Ковалев говорит: «Да, говорит, Штукарев наш настоящий русский человек; я, говорит, совер-

---

[1] Между нами говоря *(франц.)*.
[2] С высшей похвалой *(лат.)*.

шенно в том уверен, что, пока он жив, никто в его делах ничего не разберет». Что ж ты думаешь, Фирс вынес это? Как бы не так! «Эх, ваше превосходительство, говорит, — да я, говорит, и умру, так после меня никто ничего не разберет». Можешь ты себе это представить — и здесь не упустил!

Молчанов *(смеясь)*. Вот! как грач по пашне, прыгал с одного на другое: про все переговорил — и опять за Фирса! Когда б ты знал, как мне это надоело два часа кряду день изо дня все слышать: Фирс Григорьич да Фирс Григорьич, — точно он здесь какой король. Да черт его дери! Он мне вовсе не интересен.

Колокольцов *(таинственно)*. А скажи, правда это, что ты на него иск детским приютам уступил?

Молчанов *(снова рассмеявшись)*. Опять грачом запрыгал! *(Серьезно.)* А что такое?

Колокольцов *(шутливо и робко)*. Ничего, душа моя, ничего... Но это, я думаю, ему... не по носу табак.

Молчанов. Я и не желаю его носа тешить.

Колокольцов. Да, да, именно носа не тешить. Есть на этот счет французская пословица, только не к носу, а к другому, к плеши: *il ne faut jamais теше де чужие ле плеше*... А? понял? По-русски это просто значит: не тешь чужую плешь. *(Нагибаясь к Молчанову.)* А знаешь ты, я, наблюдая твой характер, всегда сравниваю тебя с Сарданапалом, именно с Сарданапалом. Ты очень тих, и вдруг ты этак именно являешься Сарданапалом, которого век считали бабою, а он вдруг взял и сжег себя.

Молчанов *(громко расхохотавшись)*. Ха-ха-ха! Ох! ты меня уморишь, Иван Николаич!.. Ха-ха-ха!

Колокольцов. Чего ты? чего ты? Ей-богу, Сарданапал!

ЯВЛЕНИЕ 6

Те же и Мякишев.

Мякишев *(входит)*. Здорово, зять!

Молчанов *(встает, кланяется и снова садится)*. Здравствуйте, Пармен Семеныч!

Мякишев. Чего же это ты хохочешь? Фирс Григорьич такое под тебя подвел... статью такую вывел, а ты здесь шутки шутишь!

М о л ч а н о в *(желчно)*. Что такое? Какую он статью подвел? Какое мне дело до его статей?

М я к и ш е в. Дело!.. Да мне-то дело: ведь за тобой дочь моя.

М о л ч а н о в. Черт знает что это такое говорится! статью подвел, дочь за мной... В чем дело — расскажите?..

К о л о к о л ь ц о в *(шутя и заигрывая)*. Да я и забыл, мой милый... Я ведь за этим и пришел к тебе. Ты там своим рабочим долю назначаешь... Конечно, от нас, как говорится, хоть тридцать лет скачи, ни до какого государства не доедешь; но все же ведь... Это социализм. Конечно, все могут с тобой согласиться, что это полезно; но это...

М о л ч а н о в *(перебивая)*. Это если, Иван Николаич, и шутка, так это очень глупая шутка. О каком социализме тут может быть речь, где все за каждый грош брата засудят?

К о л о к о л ь ц о в. Да ведь однако же справедливо, что ты фабричным долю обещал?

М о л ч а н о в. Нет; это несправедливо. Это было бы слишком справедливо для моей несправедливости. Я хотел прибавить им жалованья, потому что нынче неурожай, хлеб дорог. Вы восстали против этого, просили меня не делать надбавки, чтобы и ваши того же не потребовали.

К о л о к о л ь ц о в. Этого, душа моя, нельзя! Какие же наши-то прибыли! Помилуй, я... я правду тебе скажу. Я затем к тебе сегодня и зашел, чтобы у тебя тысчонку наличности перехватить, чтобы съездить славянских братьев посмотреть. Когда тут нам в эти годы с рабочими сентиментальничать! Ведь это в литературе очень хорошо сочувствовать стачке рабочих... Ты знаешь, что я и сам этому сочувствую и сам в Лондоне на митинги хаживал... Там я этому всему сочувствовал, хотя, я тебе скажу, что ж такое Англия? Я вовсе не уважаю Англию... Гм! стачки позволены — и обок с ними лорды и крупное землевладение... Но когда это на самом деле, когда... когда я сам сделался фабрикантом — это другое дело, душа моя! Это стачки, это... это черт знает что такое для нашего брата! Да и, наконец, как голова я должен тебе сказать, что это ведь и законом запрещено.

М о л ч а н о в *(вспыльчиво)*. Убирался бы ты отсюда, Иван Николаич, поскорее к своим славянским братьям и

нё мешал бы нам *свои* русские лапти на оборы поднимать. Что это такое? Про что вы встолковались? *Я так хочу!* Понимаете, *я так хочу!* Я нахожу, что наши рабочие получают мало. Я хотел прибавить им — вы воспротивились. Из этого простого желания вы сочинили и распустили слух, что я у вас хочу лучших работников хитростью отбить, а потом опять сбавлю цену ниже нынешней. Мастеровые вам поверили... Что ж, на вашей улице праздник. Победители не судимы.

Колокольцов. То-то, я говорю, друг мой, надо знать нашего человека.

Молчанов. Черт его бери, нашего, не нашего: мне все ровны люди. Я знаю, что они голодны, и их голод мне мешает обедать спокойно. Я им сказал одно, чтобы они составили артель, чтоб сами поручились мне за целость материала, а я отпущу смотрителей и раздам смотрительское жалованье рабочим. Кажется, я вправе это сделать.

Колокольцов. Нет, не вправе.

Молчанов. Отчего?

Колокольцов *(не знает, что сказать)*. Мм... м...

Мякишев. Да ты общественный человек, или тебя под крапивой индюшка высидела?

Колокольцов. Да, да! ты ведь не Фридрих Великий, чтоб каждому жареную курицу мог к обеду доставить. Да и тот не доставил.

Молчанов. Извольте разбирать, пожалуйста: то социалист, то Фридрих Великий.

Мякишев. А больше всего, скажу я тебе, зять, ты шут.

Молчанов. Как это шут?

Мякишев. А так шут, коли ты на общую долю даешь, чтó еще самому годящее. Можно пожертвовать, кто говорит, мало ли купцы на что жертвуют, да только ведь жертвуют, так с умом жертвуют, с выгодой: или для ордена, либо что совсем нестоющее. А ты, накося, от себя рвешь, да на мир заплаты шьешь.

Колокольцов. Да; ведь именно прежде всего все мы, друг мой, мы общественные люди... Мы этим должны гордиться. Но мы несвободны — это самое первое... мы должны других слушаться... это наше коренное, наше русское... славянское...

Молчанов. Отстань ты от меня, пожалуйста, с твоим и с русским и с славянским! Говори, в чем дело?

Мякишев. А в том дело, что как ты по-своему, по-ученому полагаешь: может ли тебе общество затрещину дать?

Молчанов. Как это затрещину дать?

Мякишев. Так, взять да и вышвырнуть. Не надо, мол, нам, дуракам, такого умника. Не знаешь, как из общества исключают? Приговор напишут, да и выключат.

Колокольцов. Общественный, душа моя, суд. Общество в этом неограниченно. Я затем к тебе и пришел сегодня.

Молчанов. Ты пришел затем, чтобы сказать, что полицеймейстершу голую видел.

Колокольцов (*недовольно*). Совсем не то! Это... мм-м... это другое... Я пришел потому, что сегодня утром все наши первые фабриканты — Иван Петрович Канунников, Матвей Иванович Варенцов и Илья Сергеич Гвоздев — подали мне бумагу, что ты своими распоряжениями злонамеренно действуешь в подрыв нашей фабричной промышленности, и просят тебя ограничить. Я вот зачем пришел.

Молчанов. Ты, Иван Николаич, в эту минуту мне напоминаешь того анекдотического бурмистра, который начинал свое письмо барину с извещения, что в его имении все, слава богу, благополучно, а под конец прибавлял, что только хлеб градом выбило, скот подох да деревня сгорела. Что ж ты мне здесь торочишь про полицеймейстершу, про атлантических братий, про славянских братий, а не скажешь, что против меня затевают мои русские братия?

Колокольцов. Да ведь я к этому ж и вел, душа моя, когда говорил с тобой про Фирса. Я говорил, что он *удивителен*... я не могу сказать: оригинален, а именно удивителен. Как бы о нем что ни говорили, но я должен отдать ему справедливость, что он владеет удивительной силой убеждения. Как он ловко основал все это! Вот как это у него написано. (*Вынимает бумажку и читает.*) Мм... м... м... да вот! «Такие несоразмерные надбавки задельной платы в подрыв другим фабрикантам невозможны со стороны человека, радеющего о своих пользах и выгодах,

а свойственны лишь расточителю, стремящемуся предать свое наследственное имущество чрез свою расточительность последнему разорению и окончить банкротством, которую цель общество обязано предупредить и отвратить, сколь в видах сохранения общественного кредита, столь же и для того, дабы семейство сего расточителя, доведенное им до нищенства, не осталось на руках и на попечении общества. А что Иван Молчанов есть расточитель, то сему, кроме сказанного, доказательства следующие: он, окромя прибавки платы рабочим, забыв родных детей, намеревался пожертвовать двести тысяч в пользу детских приютов и преподносит покупаемый им на свои деньги особый дом со строением мещанской женке Марине Гусляровой».

Мякишев. Нехорошо, зятек, нехорошо.

ЯВЛЕНИЕ 7

Те же, Анна Семеновна и Марья Парменовна.

Марья Парменовна *(быстро входя и вводя за руки двоих детей. К мужу)*. Что ж ты это и после этого еще муж, а не разбойник? Есть же еще где Пилат хуже тебя!

Мякишев. Марья! Марья! Марья! нехорошо, нехорошо так с мужем.

Марья Парменовна. Что вы, папенька, вмешиваетесь? Это не ваше дело совсем в это мешаться. Между мужем и женою никто мешаться не должен; а я именно, как дяденька Фирс Григорьич советует, я суд соберу, и пусть нас рассудят, потому что он вор.

Анна Семеновна. Да и хуже вора гораздо.

Молчанов. Что это такое? Как вы смеете приходить ко мне и говорить такие вещи?

Анна Семеновна. Да отчего ж правды не говорить? Мне десятский на рот бандероли не накладывал.

Марья Парменовна. Где ж тебе с вором ровняться? Вор что ворует, все себе тащит; а ты все из дому.

Анна Семеновна. Да разумеется! что ты с вором-то ровняешься? Вор вон намедни у нас козу украл,

так он ее не чужим же потащил, а к детям к своим отвел ее, чтоб пропитание имели. Это, стало, отец. Он и побои за нее принял, хоть и не в дурном мнении и украл-то ее, а что краденая, говорит, молока больше дает. Так это рачитель. А ты, накося, по двести тысяч на незаконных детей жертвуешь! Ты бы хоть своих-то детей постыдился.

Марья Парменовна. Да ему что свои дети! Он им хлеба — и того жалеет. На что, говорит, вы их по десяти раз в день кормите? — они опухли от жратвы. Животы понаходил у них какие-то: как барабаны, говорит, у барабанщиков.

Анна Семеновна. Ах ты, безбожник ты этакой! Разве можно этак про херовимов говорить: барабанщики? Ведь они бесплотные или нет: как же ты им есть-то отказываешь?

Марья Парменовна. Аглицкую болезнь отыскал в них.

Мякишев. Это не дело ты говоришь. Какая у купеческих детей аглицкая болезнь может взяться? Так с сытости купцы пухнут.

Марья Парменовна. Опять же это вы так, тятенька, имевши разум, понимаете; а он этого ведь ничего понимать не может. *(Выставляя детей на вид и оглаживая их.)* Он даже и того не скрывает, что стыдится своих детей.

Анна Семеновна. Это законных-то детей стыдится?

Марья Парменовна. Уроды, говорит. Людям ему их, видите ли, показать будто стыдно!

Анна Семеновна. Да что их кому показывать-то? Чтоб еще сглазили! Тпфу! *(Забирает к себе детей.)* Они, слава богу, не дворянские дети, а христианские, не на показ растут.

ЯВЛЕНИЕ 8

Те же и Князев.

Князев *(входя)*. А все же, сватья, дворянские дети наших умнее. Дворянин с четверть роста всего, а спроси его, что́, мол, такое грамматика? — говорит: «два солдатика»; а наш этого об эту пору не знает.

Молчанов (*вспыхнув*). Фирс Григорьич! Какое право вы имеете сюда войти? Прошу вас вон! Сию же минуту вон выйдите.

Князев (*садясь*). Не слушаю.

Молчанов (*зовет прислугу*). Люди! люди!

Марья Парменовна. Что! ты звать людей? (*Бросается к двери.*)

Анна Семеновна. Выскочи, выскочи, Маша, на улицу да заори хорошенько.

Марья Парменовна. Что, хорошо тебе будет, как народ-то соберется?

Молчанов. Что ты!.. безумная! (*Схватывает ее за руку и возвращает на место.*)

Анна Семеновна. Что тут безумного? Да на разбойника мужа только и справы, что на весь народ крикнуть.

Молчанов садится, махнув рукой.

Марья Парменовна. Я ведь тебе десять раз говорила, что я скандалов не боюсь; а ты когда боишься их, так так и веди себя, не затевай свары и покоряйся мне.

Князев (*Колокольцову*). Прошу вас, господин голова, его поурезонить.

Колокольцов. Постой, Иван Максимыч: мы к тебе собрались по делу.

Молчанов. Как, по делу собираетесь? По какому делу?

Князев. Сейчас узнаешь.

Молчанов. Что ж это... заседанье, что ли, иль заговор?

Князев. Да, заговор. Не знать только, что заговаривать: не то одни зубы, не то всю гадину. Нет, брат, мы не заговорщики, а общественные люди. Заговорщиков вешают, а нам и бог, и царь, и совесть указали сообща вести мирской корабль и защищать вдовиц и сирот.

Молчанов. Но здесь нет ни вдовиц, ни сирот, и некому искать у вас защиты.

Марья Парменовна. Я, я прошу защиты!

Князев. Вот видишь, враз вдовица-то и объявилась, а сироты, по маломыслию, молчат, так мир за них

и сам заговорит. *(Строго и важно, стукнув в пол палкой.)* Ты состояние родовое сотнями тысяч транжиришь; работникам счеты свои фабричные открывать собираешься; имение продавать надумал; да на всем честном народе от живой жены любовницу замужнюю к себе в загородный дом взял... Нет, брат *(ударяя себя в грудь),* мы не допустим этого! Мы, общество, боясь бога и совесть почитая, не допустим твоей семье погибнуть. *(К присутствующим.)* Господа! вы, голова, и ты, Пармен Семеныч, и ты, вдова при муже, и все вы, кто меня слышите! объявляю вам, что находившийся в моей опеке купец Иван Молчанов стремится к расточению своего имущества. Вот вам доказательства, что он позавчера купил для одной беспутной женщины дом *(вынимает из кармана бумагу и передает ее голове),* а вот другое, что он позавчера же подарил двести тысяч... *двести тысяч,* господа, подарил, и этот подарок едва мог быть остановлен...

Молчанов *(быстро).* Кто смел его остановить?

Князев *(спокойно).* Я.

Молчанов. Это ложь! Вы не могли остановить этого.

Князев *(еще спокойнее).* Отчего бы это не мог? Мы не в Сибири живем, да и там ныне телеграфы есть, а от сумасшедших и от расточителей нигде подарков принимать не позволяется. *(Присутствующим.)* С своей стороны, я один своими средствами все, что мог, сделал. Теперь уж вы за все в ответе.

Мякишев. Что ж, надо его ограничить.

Князев *(подавая бумагу Марье Парменовне).* Жена его просит вас, господин голова, не медливши ни часу, пока последует какой суд и приговор, устранить его от распоряжения имением.

Марья Парменовна подает голове бумагу, которую тот вертит в руках, недоумевая, что ему с нею делать.

Молчанов *(вставая).* Так это не во сне?

Князев *(обтираясь платком).* Нет, сударь, въявь.

Молчанов. Так это вы вправду собралися... меня связать судом, каким еще ни один человек на Руси не был связан?

Князев. Были, врешь ты, были.

Молчанов *(горячо и решительно)*. Ну, были ли, не были ли, мне все равно. Но если вы нашли право так поступить со мною и если точно есть у вас такое право, так... так знайте ж и вы, и дети, и жена моя доносчица: я господин своим именьям! Пока вы свой холопий суд нарядите, я продам все... подарю, если купца не будет... подарю, первому нищему отдам, но этой гадине холодной *(указывая на жену)*, которая перед богом обещалась беречь меня и перед людьми меня выдала на поруганье... нет ничего, ничего! Своих врагов награждать никто человека обязать не может.

Князев *(подкрадываясь тихо, распахивает двери во внутренние покои, в которых на самом пороге стоят Минутка, Гвоздев, Канунников и Варенцов)*. Прошу войти вас, господа! Вы слышали?

ЯВЛЕНИЕ 9

Те же и Минутка, Гвоздев, Канунников и Варенцов.

Все *(входя вместе)*. Слышали, Фирс Григорьич, слышали.

Князев. Теперь извольте сами рассуждать по тому, что видите.

Гвоздев. Что ж, наш совет такой, каков и твой же, Фирс Григорьич: собрать все общество и ограничить.

Все *(разом)*. Ограничить, ограничить.

Молчанов. Да это что ж такое? В дом шпионов ставить? Ведь не было же еще покудова суда, и *я* покуда здесь хозяин.

Князев. Врешь: ты *был* хозяин, но с сей поры... ты *расточитель! (Пауза. Картина.)* А вот мы сейчас еще лучше увидим, кто хозяин. Хозяин дому не кинет, хоть варом вари его, а прусак от слова вон побежит, кто на него слово знает. *(Присутствующим.)* Я, господа, зараз, чтоб положить конец всему этому безобразию, покончил и с его помощницей. *(Вынимая из кармана небольшую бумагу и раскрывая ее перед всеми.)* Вот вам депеша из Питера от Гуслярова: он просьбу шлет, чтобы жена его Марина Николавна, которую и теперь скрывает у себя на даче Иван Молчанов, была бы немедленно же выслана

к нему к совместному сожительству; а до поры ее теперь, я думаю, уже арестовали.

Молчанов *(отчаянно)*. Га!.. *(Опрометью бросается в двери и убегает.)*

Князев *(Марье Парменовне)*. Смотри, племянница, он бриллианты схватит!

Анна Семеновна *(бежит)*. Ох, матушки! ухватит!

Марья Парменовна *(бежит)*. Маменька, маменька, там еще шуба бархатная, что́ он дарил.

Дети уходят с ревом.

Князев *(присутствующим)*. Смотрите, он ушибет ведь баб-то!

Все, кроме Минутки, бросаются за женщинами.

(Посмотрев пристальным взглядом на Минутку.) Что?.. как ты думаешь об этом, Вонифатий? *(Сжимая руку Минутки.)* Вот то-то... Вы всю жизнь на этом ремесле стоите, и крестят вас в такой купели в Польше, чтоб каверзу строить, а все... без заговоров ничего не сделаете. У нас проще эта политика! Видишь, ты один дела верти... да так, что́б хвост не знал, что́ затевает голова. *(Указывая назад на дверь, куда вышел Колокольцов.)* Не эта голова, что вышла, а вот эта *(показывая на себя)*, что дело доделывать будет. *(Сухо.)* Садись к столу и акт напиши о всем, что было, и приноси туда для подписи.

Минутка садится к письменному столу Молчанова.

(Выходя на авансцену.) Ну, кашу заварил. *(Тихо смеется.)* Хе-хе-хе... в колокола про суд ударили и звонят, и звонят... ха-ха-ха! Да что тут хитрого, в колокола звонить! Вот вы пожалуйте прислушать, как я вам в лапти звякну. *(Уходит.)*

Минутка. Да, ты прав, пан Фирс, ты прав! *(Берет себя за ухо и подражает Фирсу.)* «Делай так, чтоб хвост не знал, что́ затевает голова. Не эта голова, что вышла, а вот эта *(показывает на свой лоб)*, что будет дело доделывать».

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Большая зала в доме купца Мякишева. Мебель старинная, обитая черным; по обеим сторонам два одинаковые дивана; перед ними столы; бюро; часы с кукушкой; в углу колонка красного дерева с букетом восковых цветов под стеклянным колпаком. При поднятии занавеса через открытые окна комнат слышен со двора шум многочисленной толпы народа. Шум начинается до поднятия занавеса.

ЯВЛЕНИЕ 1

Мякишев сидит за столом на диване; Князев помещается за тем же столом на кресле; Минутка пишет.

Князев. Эк, как галдят!

Минутка. С утра стоят здесь на дворе; пекота, жарко; оголодали, Фирс Григорьич, а суд еще, гляди, ведь не сейчас начнется. *(Оставляя перо.)* Иван Максимович, говорят, только что сейчас приехал с дачи в город и зашел к голове, но голова его не принял.

Князев. Да; не принял. Ну что нам до того — принял или не принял. *(Смотрит в окно.)* Скажи, пожалуйста, чего это они все в одно место вверх смотрят?

Минутка *(тоже выглядывая в окно)*. Галка вон на карнизе сидит. Галку смотрят.

Князев. Что ж она чудного делает, что они в нее воззрились?

Минутка. Ничего — хвостом трясет, а они смотрят.

Князев *(смеясь)*. Эко дурачищи!

Народ *(под окном за сценою)*. Ха-ха-ха! У-у! у! у! уре! Полетела! полетела!

Князев. Ха-ха! Что за скоты такие. *(Минутке.)* Поди-ка ты сюда. *(Отводит его в сторону.)* Там спосылай кого-нибудь скорее в мой шинок, что на угле здесь ближе, и прикажи сидельцу, чтоб всем им в долг дал кто сколько вылопает. Понимаешь ли: не давать даром, чтоб не сказали, что я подпаивать хотел всю эту сволочь. В долг пусть лопают. Отдаст ли, не отдаст ли который, но только в долг давать... Беги.

Минутка. В минуту, Фирс Григорьич.

Князев *(Мякишеву)*. А ты, отец, чего-то нюни распустил?

Мякишев (*покачав головой, тихо*). Жалко мне его. Я его люблю.

Князев. Чурилка ты, как посмотрю я на тебя, а не купец! Что, будем так к примеру рассуждать, — что, если я напьюся допьяна, да в твоих глазах полезу в реку — пустишь ты меня? Топись, мол, Фирс Григорьич, я с тебя твоей воли не снимаю? или поприудержать безделицу? Что тебе долг-то твой христианской повелевает?

Мякишев. Да христианский долг, конечно...

Князев. Ну то-то и оно *«конечно»*. Не то что просто приудержишь, а если буянить стану, так и свяжешь да положишь, пока умирать охота пройдет. Не что иное и с ним делают: он топиться хочет, а мы его удерживаем; он буянит — что делать, мы его свяжем.

Мякишев (*тыкая в стол пальцем*). Вот это-то вот, *свяжем*-то... слово сие жестоко есть.

Князев. А если Марьюшка к тебе назад придет на хлебы, да не одна еще теперь, а с внучками, которые всё есть-то просят, сие не жестоко будет?

ЯВЛЕНИЕ 2

Те же и Анна Семеновна.

Анна Семеновна (*входя с сердитой миной. К мужу*). Да ты чего с ним, Фирс Григорьич, говоришь-то? О чем? Он ведь небось не понимает.

Мякишев. Небось понимаю.

Анна Семеновна (*мужу*). Ну как же! Не мало ты когда что-нибудь понимал. Видишь, осовел совсем; все спит. Теперь вон май месяц — народ в реке купается, а он, точно кот, все на лежанке трется. (*Князеву.*) Не слушай ты его, сват, ни в чем. Нечего его слушать. Делай, как ты сам знаешь. Ведь ты у нас, все знают, какой ты умный; тебя умней никого в городе нет.

Князев. Да, дураком не ставили.

Анна Семеновна. Да и Марьюшка вчера у меня вечером также была, так то ж говорит: как, говорит, дяденьке Фирсу Григорьичу, говорит, угодно, а надо, говорит, его ограничить. Не так, чтобы вполне, говорит, огра-

ничить, а чтобы он только, говорит, ни до чего бы не доходил; а я бы, говорит, всем распоряжалася.

Князев. Ну разумеется она.

Анна Семеновна. Потому что иначе она его никак с собой к любви не приведет. Видишь, вон он как позавчера без всякого стыда махнул к Маринке, так и теперь до сих пор там... и не бывал к жене. Легко это ей, Маше-то? Да и скажи ж, сват, сделай милость, — скоро ее, Марину-то, вышлют? Ведь неприятно это нам, что она тут живет.

Князев. Ну погоди, вышлют. Надо, чтобы добро-то прежде было в ваших руках, а тогда в ваших руках и правда будет.

Анна Семеновна. Разумеется так! *(Мужу.)* А этот еще упирается.

Мякишев. Мне суда страшно.

Анна Семеновна. Какого это суда?

Мякишев. Страшного суда господня.

Анна Семеновна. Так, стало быть, суд-то этот над тобою над одним, что ли, будет? Над всеми ведь этот суд будет. Так ведь на то же человеку положена молитва — отмолить можно. Да тебе и отмаливать-то нечего: ты молчи, да и только. Я, мол, что все, то и я; я ничего не знаю. Так тут и греха нет.

Князев. Вот видишь, жена-то у тебя какая мозговитая.

Мякишев машет рукою и уходит.

(По уходе Мякишева, фамильярно и с своеобычным куртизанством, к Анне Семеновне.) Ах ты, копье мурзомецкое! Гляди, как она командует.

Анна Семеновна *(улыбаясь из-под брови)*. У тебя научилась.

Князев *(вставая и потирая поясницу)*. Э, девка, уж я и сам-то все позабыл: старо становится и ветхо.

Анна Семеновна. Нет, видно, ты стар-то никогда не будешь. У тебя, у старого-то, все, слышно, идет не по-старому, а по-молодому.

Князев. Толкуй. Нет, девушка, того уж нет, что тебе, может, помнится. Третьего дня, вечером, вздумал было на кладбище прогуляться. Приехал, ан уж ворота заперты и сторожей нет. Ах вы, волк вас съешь совсем! Через ограду думал перескочить... Что ж ты думаешь, ведь насилу пере-

лез. *(Бьет себя по коленям.)* Тут-то вот... в хрящах-то жестоко стало... не то, что бывало... Помнишь, Нюра! где нам с тобой большой дороги не было? А-а! Помнишь, что ль?

Анна Семеновна *(потупляя глаза и разбирая бахрому у платка)*. Чай ведь не вовсе беспамятная.

Князев. Ах ты, беспардонная! Уж я там, по кладбищу-то ходючи, тебя вспоминал, вспоминал, да и счет с памятью забыл. И тут-то Нюша; и вот здесь-то она; и вот тут не без нее... Тпфу ты, грехи наши тяжкие!

Анна Семеновна. Не со мной ты с одной там прогуливался: у тебя стать вешать — до Москвы на столбах по одной не перевешаешь.

Князев *(перебивая)*. Да не про то, глупая! Я говорю, что, тебя вспоминаючи, вспомнишь, какой народ-то был. И промеж вашей сестрой, промеж бабами тогдашними, и то люди были. И строгость была, и мужья, и свекровьи, а у нас все, бывало, свое идет: о полвечерни режешь себе прямо на могилки; а Нюша уж там... *(Заигрывает с ней.)* Сидит, разбойница, на камушке в кленочках... дожидается... А-а? Ни за что не обманет... А? Помнишь, что ль? *(Ласкает ее и смеется.)* Хе-хе-хе-хе! Эх ты, звезда восточная!

Анна Семеновна *(с притворным неудовольствием)*. Да ну тебя совсем! Нашел, про что и вспоминать? Знать, видно, молодые-то уж нонче прочь гонят, так хоть про старое поговорить.

Князев. Опять же не про то! Что молодые! Тпфу!.. Козлихи они все нонче, и совки, да неловки. Их самих-то надо еще по всякий час учить... *(Поглаживая ее по плечам.)* Не то, что вот эта мать-лебедушка: босой ножкой, бывало, выйдет, встретит и проведет и выведет... *(Берет ее за руку.)* Ишь, окаянная, и теперь еще пульсы бьются!

Анна Семеновна *(не совладевая с довольной улыбкой, отталкивает Князева)*. По-оди про-очь!

ЯВЛЕНИЕ 3

Те же и возвратившийся Мякишев (входит и заводит у двери часы).

Князев *(отходя на авансцену)*. Глупа, как ступа конопляная, эта женщина, а с большим огнем была. Чуть-чуть, бывало, ей кивни, она уж тут — и время выищет,

и случай, и, как звезда, куда положено и катит. Смерть люблю таких женщин за обычай! *(Секундная пауза.)* Вот у Марины обычай совсем другой: это репеек колючий... *(Опять короткая пауза.)* Ну, да я и этаких тоже люблю. *(Смеясь.)* Хуже себе ничего не могу представить, как то, что после моей смерти на земле вино, деньги и красивые бабы останутся!.. *(К публике.)* Вот так-то рассуждайте, кто как любит! Говорят: «я тебя всем сердцем люблю». По-моему, это ничего не значит. А я вот *(потирая большими пальцами концы других пальцев)*... я все чувствую... как только вспомню про Марину... так физические нервы мои болят. Особенно вот тут, вот в самых в пальчиках ноет... Весь болен даже стану; а мне свое здоровье мило... Да уж по этому по одному мне нельзя пожалеть Молчанова.. нельзя, никак нельзя... я болен!.. Я не виноват, что это у меня так не проходит!

Мякишев *(подходя)*. Знаете, я что? *(Махнув рукой.)* Я молчать буду.

Анна Семеновна. Давно б вот так-то лучше.

ЯВЛЕНИЕ 4

Те же и Дробадонов.

Дробадонов *(входя, про себя)*. С лучком.

Мякишев. А, брат, Калина Дмитрич, здравствуй! Как? все ли в своем?

Дробадонов. Живу. Благодарю покорно. *(Садится.)*

Князев *(про себя)*. Глядите, пожалуйста, этого только и боялся: и этот жук-отшельник выполз. В два года раз на сходку ходит, а нынче явился... Противный человек. Все его любят, а я век целый его терпеть не могу. Но нынче ему подстроено, — спотыкнется.

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же, Гвоздев и Минутка.

Гвоздев. Хозяевам и Фирс Григорьичу.

Князев. Здравствуй и ты, Илья Сергеич! А что, как твоя супружница?

Гвоздев. Благодарю покорно — опасности нет, — свинка у нее сделалась.

Минутка. В самой вещи свинка?

Князев. Ну... ты опять с своей самой вещью! У русских свинки в горле бывают. *(Гвоздеву.)* Фиалкового меду надо давать.

ЯВЛЕНИЕ 6

Те же и Варенцов.

Варенцов *(Князеву)*. Здоровья всякого.

Князев. Спасибо, брат, спасибо. Что это у тебя забор, что ль, новый нынче будут ставить?

Варенцов. Нет, старенький пересыпаю, Фирс Григорьич. Что! уж с этими заборами у нас одна беда: без забора скотина все повытравит, а поставь забор — сейчас его народ на топку растащит.

ЯВЛЕНИЕ 7

Те же и Канунников, которому Князев подает руку и удерживает ее в своей руке.

Князев *(Гвоздеву)*. А ты взакрой вели забор-то забирать, не на шипы чтобы сажали доску, а взакрой: доска взакрой сидит плотнее; а сверху скобочку пускай прибьют: так вот оно живет и плотно. А что воришки, так мы с головою на воришек открыли средство: на той неделе голова предложит приговор, чтоб их при первом же наборе всех без очереди сдать. В газетах поместим, чтоб всякий знал и, уж попавшись бы, на общество не плакался. *(Канунникову.)* А ты, наш Баян Петрович, будто нездоров?

Канунников *(весело)*. Как быть здоровым, Фирс Григорьич, когда всю ночь не спал.

Князев. Банчишку, что ли, с головой метали?

Канунников *(так же весело)*. Да нет! Какое там банчишка! Собаки всё проклятые. Вот надоели! То мечутся, то рвут, то воют... тпфу ты совсем, ровно в самом деле перед пропастью какою. Заснул было — надавило. Дай, думаю себе, спрошу, как старые люди учат: к добру или к худу? Спросил — говорит: «к худу». Ну где ж тут спать? А проснулся — опять псы воют.

Князев. А ты бы под собой подушку перевернул: они бы и выть перестали. Это у тебя жар в голове, с жару не спится.

Дробадонов (*про себя*). И тут знает, что́ посоветовать.

Канунников (*смеясь*). Какое с жару: со страху. На даче был вчера да запоздал: жутко одному; ночь темная, лошадь черная: не знай, на чем и едешь.

Князев. А ты б пощупывал.

Канунников. Да еще лошадь-то из рабочих, ленивая, ободрать ее, попалась, что не дошлешься ее.

Князев. Драться надо было с ней хорошенько, когда ленивая.

Дробадонов (*очень громко*). Ха-ха-ха-ха!

Князев. Чего так расхватило?

Дробадонов. С радости, что и с лошадьми уж учишь драться.

Входят еще несколько купцов разом и раскланиваются.

Князев. А вот и мир весь в сборе.

Дробадонов. Теперь можно и батьку убить.

Минутка (*взглянув в окно*). Иван Максимыч идет.

Все. Тссс! (*Кроме Дробадонова, все сторонятся, очищая дорогу от двери.*)

ЯВЛЕНИЕ 8

Те же и Молчанов (грустный, но спокойный, подходит к столу, за которым сидит Дробадонов. Молча жмет ему руку и отходит к окну и становится спиною к тестю и ко всем фабрикантам. Пауза).

Канунников (*шепотом*). Тихий ангел летает.

Князев (*громко*). Нет, не узнал. Ноне говорят: это мировой судья родится.

Канунников (*смеясь*). А воров страх берет.

Дробадонов неожиданно чихает так громко, что все вздрагивают и раздаются восклицания.

Князев (*гневно*). Тпфу! слон египетский, как испугал. (*Минутке.*) Ступай, проси сюда скорей голову!

Минутка (*взглянув в окно*). Они идут-с.

ЯВЛЕНИЕ 9

Те же и Колокольцов с портфелем. С ним под руку Марья Парменовна. Все поднимаются.

Колокольцов. Мое почтение, господа! Марья Парменовна, прошу вас. *(Указывает ей на место за столом. Садится рядом с нею и вынимает из портфеля бумаги.)* Все здесь?

Дробадонов *(вздохнув)*. Которых надо — все.

Колокольцов. А, и вы, Калина Дмитрич, нынче с нами. Простите, не заметил.

Князев. Махонький — не вот-те-на его рассмотришь. *(Общий смех.)* Чихнул, так дома чуть-чуть не опрокинул. Вот то-то значит, что безгрешный человек: над ним хоть крыша упади, так он не побоится смерти.

Колокольцов. Иван Максимыч!

Молчанов молча отходит от окна и становится к столу, за которым сидит Дробадонов, спиною к нему, лицом к голове и к усевшимся фабрикантам.

(Молчанову). Прежде чем я через минуту, как должностное лицо, открою собрание по вашему делу, я, как честный человек, прошу у вас извинения, что полчаса тому назад не мог принять вас.

Молчанов кланяется.

Я вас не мог принять как потому, что я вчера уже рассматривал с бывшими вашими опекунами ваши бумаги и составил себе о вашем деле определенное мнение, так потому, что в то время, когда вы ко мне заехали, у меня была ваша супруга и мы с нею рассуждали о вас. Я нарочно за тем пришел... Тпфу!.. Простите: я затем к вам обращаюсь, чтобы оправдаться перед вами.

Молчанов. Я не знаю, в чем вы так много извиняетесь: и оскорбление невелико, и всякий волен кого хочет принять или не принять в своем доме.

Дробадонов. На то ворота вешают.

Анна Семеновна. Нет, квартального, хоть и вороты есть, а не смеешь не пустить: в Москве купчиху за это новым судом судили.

Князев *(про себя)*. Дробадон что-то дробадонит... Надо бы ему больничку в губу вдернуть.

Колокольцов (*ко всем*). Прошу занять место и объявляю вам, что заседание открыто.

Усаживаются в полукруг. Дробадонов и Молчанов остаются на прежнем месте.

Мы взяли эту комнату для заседания, потому что присутственная камера Думы тесна для такого большого собрания, в каком, по справедливости, следует судить дело Ивана Максимовича. Впрочем, Дума здесь же, за этою стеною, в доме Пармена Семеныча, и, я надеюсь, никто ничего не будет иметь против того, что мы собрались по сю сторону стены, а не по ту сторону?

Молчанов. Не в этом дело.

Князев. Да, он умнее всех сказал: не в этом дело. Пускай дело начинается.

Колокольцов. Господа! внимание! (*Минутке.*) Читайте.

Минутка (*берет бумагу и читает*). «Душеприказчики покойного коммерции советника, потомственного почетного гражданина и первой гильдии купца, Максима Петровича Молчанова, а впоследствии опекуны и попечители единственного его сына и наследника, Ивана Максимова Молчанова, купцы Фирс Григорьич Князев и Пармен Семенов Мякишев, довели до сведения общества и городского головы, что сказанный купец Иван Максимов Молчанов, с детства своего постоянно отличаясь страстию к расточительству, во время бытности своей в опеке, а потом до двадцати одного года, согласно желанию покойного отца его, под попечительством, был от сей вредной склонности постоянно воздерживаем».

Молчанов (*перебивая*). Позвольте!

Колокольцов. Иван Максимович, вы будете иметь слово.

Минутка (*продолжает*). «По достижении же законного совершеннолетия, он, Молчанов, чувствуя сам сию слабость и влечение к рассеянной и беспутной жизни, сам уполномочил бывших опекунов своих Князева и Мякишева доверенностию на управление своим имением, а сам провел три года за границею, для изучения будто бы торгового дела, но сего не исполнил».

Молчанов (*перебивая*). Чего не исполнил? чего я не исполнил?

Колокольцов. Иван Максимович, вы будете иметь в свое время слово.

Молчанов. Да это и есть мое время говорить, когда на меня клевещут. Я изучал фабричное дело и его знаю.

Князев. Читай, Минутка.

Минутка (*продолжает*). «Прибыв же два года тому назад на родину и вступив в управление своим имением, в самое кратчайшее время привел все свои дела и счеты в беспорядок; расходы по фабрикации непомерно увеличил; доходы же привел к существующему ничтожеству и, кроме того, обнаружил во всей своей силе свои прежние склонности к мотовству и расточительству, как то: занимал у разных лиц деньги и выдавал на себя векселя; векселей этих своевременно не оплачивал, а переписывал, увеличивая сумму; затем имеющиеся получения расходовал заранее самым безрассудным образом и претензию в двести тысяч рублей уступил в пользу приютов вместо того, чтобы сею суммою расплатиться с долгами. И, наконец, он сделал безвкладными пайщиками в операциях фабричных ремесленников, дабы вредить прочим фабрикантам; купил дом для посторонней женщины в ущерб благосостояния своей семьи и, наконец, при многих свидетелях, подписавших акт, выразил непременное свое желание расточить все свое имение, лишь бы ничего не досталось его жене и детям. Такой образ действия Ивана Молчанова, несомненно клонящийся к прямому его разорению, вынудил душеприказчиков отца его обратить на сие внимание общества и просить об ограждении его наследственного имущества, составляющего обеспечение семейства, от разорения. Одновременно с сим подано прошение и женою Молчанова, Марьею Парменовною Молчановою, которая, подтверждая общее мнение, что муж ее есть расточитель, просит, в ограждение ее семейства от неминуемо угрожающей нищеты, взять мужа ее за расточительство в опеку».

Молчанов (*глядя на жену*). В опеку! (*Качая головою.*) Так вот кто первый выговорил это слово!

Князев. Кого это ближе всех касается, тот и выговорил это слово!

Варенцов (*вздыхая*). Нам исчужи жаль; а она мать.

Марья Парменовна (*плача*). Я мать; я должна детей обеспечивать.

Князев (*Минутке*). Дочитывай.

Минутка. «Городской голова, члены сиротского суда и Думы, рассмотрев все это дело, нашли представление купцов Князева и Мякишева, а равно и прошение жены Молчанова заслуживающими внимания и постановили передать это дело на общее обсуждение всего общества и о том, что́ оно постановит, написать приговор». (*Кладет бумагу на стол.*)

Колокольцов. Вот, милостивые государи, предмет нашего сегодняшнего собрания. Иван Максимович и его супруга, голос которой имеет первое место, оба здесь.

Со двора слышатся нетерпеливые гулы толпы.

Купечество в полном сборе, мещане на дворе во всем своем составе (*шутливо*) и, как слышите, напоминают нам о себе этими воплями.

Дробадонов. Как вороны, крови ждут.

Молчанов вздрагивает.

Князев (*тихо*). Сейчас им стерву выкинут.

Колокольцов. Иван Максимыч! вам что-то угодно было сказать? Может быть, вы против кого-нибудь что-нибудь имеете?

Молчанов. Я против всех имею.

Князев. Никого, спасибо, не обидел.

Молчанов. Здесь всем выгодно, чтобы сделать мне какую-нибудь гадость; но я вас спрошу: по какому праву вы вздумали устроить этот суд? Пять дней тому назад меня никто не признавал ни расточителем, ни мотом, вы сами, господин голова, искали у меня перехватить тысячу рублей, для того чтобы истратить эти деньги на какую-то поездку. Я совсем человек был еще, такой же гражданин, как все здесь присутствующие, как Петр, Иван, Сергей: у меня можно было денег просить, и я мог дать их или не дать, считая вашу нужду не нуждою, а прихотью. И вы и каждый признавали меня в таком праве — и вдруг вы, те же самые, говорите, что я расточитель, и собираетесь отнять у меня вашим мещанским судом человеческие права, права, которые дали мне бог, природа. Где взяли вы такое право?

Князев. Минутка, прочитай ему закон.

Молчанов. Закон! Не нужно мне читать закона.

Здесь дело не в законе. Ваши заботы не о том, чтобы обстоять закон, чтобы его исполнить, а о том, чтоб беззаконье сделать на законном основании. Таких расточителей, как я, полна Россия. Все люди расточители и все... быть может, более, чем я. Гусар, который без гроша верного дохода землянику ест зимой, по полтиннику за ягодку, — его в опеку; ремесленник, который в один час пропивает недельный заработок, — его в опеку; чиновник, который сто рублей в год жалованья получает, а в сто рублей жене одно платье шьет, — тож в опеку его...

Дробадонов. Этого хоть и в острог, так у места был бы.

Молчанов. Берите всех, всех в опеку... да и себя уж заравно в опеку сдайте. Так пусть и будет в круговую... даже в ландкартах географических, вместо *Россия,* пусть пишут *Опека.* Подводя меня под это, вы всех под то ведете и сами под то же лезете.

Колокольцов. Иван Максимыч, это все умно сказано и прекрасно, да к делу не идет.

Гвоздев. Ты дело говори.

Мякишев *(подходя, тихо).* А ты оправдывайся, Ваня.

Молчанов. Да не знаю я, в чем мне оправдываться! Во всем этом деле я дела никакого не вижу. Я вижу только одно беззаконие, взмащивающееся на закон; одну придирку и ничего более. Я не хвалю себя! я молод был, кутил, любил веселую компанию. Что ж делать! знаю сам, что, может быть, полсотни тысяч промотал...

Князев *(Минутке).* Запиши.

Молчанов. Но это было, да прошло.

Князев *(сладостно).* А на полсотни тысяч что ведь могло быть сделано-то? Ведь это пяти... да что я говорю: пяти! — десяти, пятнадцати семействам до веку кусок хлеба дать бы можно.

Гвоздев. По три тысячи... Это бедной семье довечный капитал.

Молчанов. Правда, правда. Прокутить полсотни тысяч — это большая низость; но удивляюсь сердоболью вашему о бедных. Все вы такие, как и я. Вот здесь, недалеко ходя, сидят — ну, три, четыре человека, которым случай кинул по миллиону: кто же из вас рвался, чтобы свою гортань или чрево жадное унять и вспомнить неимущих?

Колокольцов. Тут дело не о ближних, а о семье, Иван Максимыч.

Князев. Да, о семье.

Гвоздев. За семью твою боятся: ведь вон жена что пишет: *расточитель.*

Молчанов. Да позвольте мне спросить вас: вы отдаете отчет своим женам?

Несколько голосов. Да наши жены что ж понимают?

Канунников. Наших баб с постелей вставать и то петухи учат.

Гвоздев. Ребят рожать им да рядиться — вот их рукомесло.

Молчанов. Так что ж моя-то жена? Особенное она что-нибудь, что ли? Воспитали ее, что ли, как-нибудь особенно, что при ней муж ничего не должен значить? Учили ее, что ли, чему-нибудь полезному?

Анна Семеновна. Да чему полезному учить-то? Нешто в ученье польза-то бывает? У ученых денег-то меньше нашего.

Дробадонов. У нас то полезно, чтó в рот полезло.

Канунников *(смеясь)*. Чего их учить-то, когда с ними и с неучеными не справишься! Хвосты в семь аршин пораспущают и ходят, как снофиды.

Колокольцов. Что ж, это только значит, что наша женщина в постоянном угнетении.

Молчанов. В угнетении! Гм! и вот она, угнетенная, пришла сюда судить пред всеми мужа! Она сидит здесь, с судьями моими, а я, которому она у алтаря господнего клялась быть мне подругою... нет... более того: господином, строителем семьи признавать меня... она мой обвинитель здесь; она сидит в почетном месте за то, что посмеялась над клятвой... Она, которой я перстом не тронул, которой сроду словом не обидел, сидит здесь с вами и судит мужа таким судом, каким еще Шемяка не судил, каким не дай бог Каину судиться; а я один стою, мне даже места нет; скамейки у коровницы не заняли, чтоб посадить меня по крайней мере!

Мякишев *(встает и торопливо приносит Молчанову стул)*. Сядь, Ваня, сядь, бесчастный!

Марья Парменовна. Ну вот тебе и стул — садись.

М о л ч а н о в *(целуя тестя)*. Благодарю. Не надо.

М а р ь я П а р м е н о в н а. Вот ты ведь и всегда такой. Ведь вот при всех теперь оно и видно: какой ты? То жаловался, места ему нет, а подали стул — и не надо. *(Как бы тронутая.)* Ну, вот сюда иди, когда не хочешь там садиться. *(Подвигаясь и освобождая место.)* Иди же, что ль? *(Переменяя тон.)* Ведь кланяться не буду.

М о л ч а н о в *(горько)*. Нам с вами вместе больше не жить и не сидеть.

К н я з е в. Кто нынче с женами из образованных людей живет!

М а р ь я П а р м е н о в н а. Так что ж, тебе с чужою, стало быть, показано теперь уж жить? Стало, чужая лучше?

К н я з е в. А как же не лучше? в чужую жену черт меду ложку кладет.

М а р ь я П а р м е н о в н а. Нет, ты когда женился, так живи. А не хочешь, так заставят.

А н н а С е м е н о в н а. Есть же правило, чтоб жен к мужьям отправлять, если требуют, — так теперь новый суд, не беспокойся, и на мужей закон выдаст. И вас приводить будут.

К н я з е в *(с сдержанной улыбкой)*. Будут, сватья, будут. *(Молчанову.)* А ты, не так ты на это дело, друг Иван Максимыч, смотришь. Я, долго твои умные речи слушавши, вот что тебе скажу: строитель-то семьи ты строитель, а тебе жены чуждаться нечего, да и по нашему, по русскому закону невозможно. Ты сам ведь вспомянул сегодня, что вы с нею в церкви венчаны; а мы не немцы: у нас разводов нет. Она здесь просит на тебя! Да что ж такое? Мало ль жен, которые просили на мужей, не только что в обществе, а и у квартальных на мужей жаловались, да ведь не расстаются же с ними со всеми мужья — живут.

К а н у н н и к о в *(смеясь)*. А у мещан и у мужиков так еще и розгами мужа на сходке по жениной жалобе отжарют, а всё опять живут. Домой придут, он ее пощелкает... *(Махнув рукою.)* У нас на этот счет просто.

Г в о з д е в. Куда поденешься! закон свой надо соблюдать.

В а р е н ц о в. И воют, да живут.

М о л ч а н о в *(к голове)*. Иван Николаич, позвольте

вас спросить, для чего я позван сюда перед обществом? За расточительность какую-то вы собрались судить меня, так прикажите про расточительность и говорить, а не про то... что здесь говорится.

Колокольцов. Иван Максимыч, ведь мы еще не парламент, нам парламентские формы чужды. Мы народ.

Князев. Мы простецы, так по-простому и рассуждаем, а по-ученому, по-заграничному не умеем и не поймем, пожалуй.

Колокольцов. Быть может, в этом есть связь во всем...

Анна Семеновна. Да как же не связно! Теперь уж заодно в одно время его судить и за расточительность и за нелюбовь.

Колокольцов. За нелюбовь, Анна Семеновна, нельзя судить.

Анна Семеновна. А отчего ж нельзя?

Колокольцов. Нет оснований нравственных; закона нет.

Анна Семеновна. А разве всё по закону судят? Нет закона — по писанию судить можно.

Князев *(улыбаясь)*. Ну полно, сватья, врать. *(Молчанову.)* А я опять тебе, Иван Максимыч, решаюсь доложить. Может, ты и вправду честный человек...

Колокольцов *(перебивая)*. Да в этом, я думаю, и сомневаться невозможно.

Князев. Ну да. Честный человек у нас, говорят, одну жену обманывает: так уж, стало быть, и потому ты честный. А вот ты говоришь, что́ такое в твоей жене особенного. Я тебе расскажу это. Ты вспомянул, что там вам было в церкви пето, а песни-то эти, должно, не всегда памятовал. Пять лет ты, женатым бывши, по Венам да по Парижам разъезжал — много ты о ней там вспомнил? А ведь она здесь, как пташка, взаперти сидела; детей твоих глядела, а суперантов, как другие прочие, не заводила. *(С ударением.)* Имени-то твоего, беспутная ты голова, она ведь не замарала, хоша... стоил бы ты, может, того, и очень бы стоил.

Молчанов. Вы за собой бы лучше посмотрели, Фирс Григорьич.

Князев *(гневно)*. Я не бросал жены; домов любовницам не покупал.

Молчанов. А с заднего крыльца через садовую калитку всю слободу к себе переводили.

Колокольцов. Тсс! Господа! господа!.. Иван Максимыч, ведь мы не на площади.

Молчанов *(горячо)*. Не позволяйте оскорблять меня. Против жару и камень треснет.

Колокольцов. Во всяком случае, Иван Максимыч, на оскорбленья можно жаловаться после; а домашними делами считаться здесь не место.

Варенцов *(смирно)*. Особенно этакими пустяками: ими как и считаться?

Гвоздев *(вздохнув)*. Такое дело бог один рассудит; а ты, милуша, прошлым человека не кори.

Дробадонов. И посейчас оно есть.

Колокольцов *(улыбаясь)*. Калина Дмитрич... слово здесь ответственно.

Молчанов *(всплеснув руками)*. О господи! И это мир, и это судьи! *(Бешено к Колокольцову.)* Решайте что-нибудь со мной скорей: я не могу здесь с вами оставаться! Это не суд, а разговоры возмутительные. Я не хочу этих разговоров слушать: у меня дело есть; меня люди дома ждут.

Князев. Не торопись, не всюду разом поспешай. Кто ждет, так подождет; а то другая речь — была б постелюшка, а милый найдется.

Молчанов *(быстро скомкивает в руках шляпу, но, овладев собою, говорит спокойно)*. Я просто думаю, что вы издеваетесь; это болтовня какая-то.

Дробадонов. А дом, что куплен Гусляровой, — так это я соврал: дом этот я купил.

Общее движение.

Князев *(смеясь)*. Ха-ха-ха, проворовался, грешник...

Молчанов *(перебивая)*. Не надо лгать, Калина Дмитрич: я купил. До этого никому дела нет: я свое дарю.

Князев. Врешь, не свое, а детское.

Молчанов. Вы врете! Я своим детям отец, а не холоп кабальный, чтобы при них уже ничем не смел распорядиться. Я долг, обязанность имею помочь Гусляровым.

Анна Семеновна. Где ж это такая обязанность, в каком законе показана?

Марья Парменовна. А ты еще знаешь ли то, что от любви-то дети бывают?

Молчанов (*презрительно жене*). Знаю! Я и то знаю, что они, к стыду человеческому, у низких людей, каковы мы с вами, и без любви рождаются.

Канунников (*весело*). Ребята, что мокрицы, они везде водятся.

Марья Парменовна. Ну так что ж ты? Так ты и должен помнить, что ведь и других детей надо будет награждать.

Князев. Ну где там нонче дети родятся, где их не хочут!

Молчанов (*бешено*). Господин голова! велите им молчать!.. Что это, в самом деле, такое? До чего это дойдет? Я протестуюсь и выйду вон отсюда.

Колокольцов (*тупясь в бумаги*). А для чего вы вздумали продать свое именье, Иван Максимыч, когда это тревожит вашу супругу?

Молчанов (*вертя свою шляпу*). Для чего?

Князев. Да, для чего? Ты не верти шляпы-то, а то голова болеть будет.

Молчанов (*быстро скомкивает шляпу и в бешенстве бросает ее в Князева. Все вскакивают*). Вот для чего, чтоб этот гад из терпения бы меня не выводил.

Смятенье. Все встают.

Колокольцов. Иван Максимыч! Вы не в своем уме!

Князев. Я дураку прощаю.

Колокольцов. Но мы простить не можем: мы все оскорблены.

Молчанов (*совершенно забываясь*). Вы!.. Вы?.. Да что такое вы? (*Указывая на Князева.*) Когда он, вор, убийца, развратитель... когда *он* не боится вас, так что ж такое вы? (*В азарте.*) Я говорю вам: он убийца! Пишите протокол!! Он утопил в реке моего отца. Весь город это говорит!

Князев вздрагивает.

Что вы меня терзаете допросами, тогда как у меня отцовская кровь из сердца выступает!.. Вы злить меня вытре-

бовали... Я понимаю вас... вы все здесь князевская шайка!.. Кто не дурак, тот плут; а кто не плут, так грош ему цена.

Князев встает и тихо машет рукою по направлению к двери, давая знак всем выходить. Ближайшие к дверям купцы тотчас же один за другим выходят. Прочие, не сводя с Молчанова глаз, тоже подвигаются к двери. Молчанов же, не замечая этого движения, продолжает.

Вы понагнали во двор сюда мещанишек, из которых Князев давно весь мозг повытряс. Он их угощал через своих сидельцев. Он их стращал, что фабрики через меня позакрываются и через меня ни у кого у них работы не будет. Вы научили доброму мою жену просить на мужа... Зачем еще детей моих сюда не привели?

Марья Парменовна *(проходя во внутренние комнаты)*. Нечего тебе здесь детей вспоминать.

Молчанов *(Колокольцову)*. А вы! вы... голова, товарищ мой, вы с учеными, с поэтами водили дружбу. Социалист вы были, народник... славянин вы... *вы* из-за чего подличаете? Из-за того, что Фирсовым радетельством попали в головы... Простите вы меня, вы... вы не голова... а черт вас знает, что вы... *(забываясь)* вы мерзавец!

Колокольцов быстро нагинается под стол и шарит там рукою.

Князев *(Колокольцову)*. Чего вы ищете?

Колокольцов. Бумага, кажется, одна упала; да это ничего... *(Не разгибаясь, выбегает на двор.)*

За головою один за другим выходят остальные купцы.

Молчанов. *Вы* расточители!.. Вы расточили и свою совесть и у людей расточили всякую веру в правду, и вот за это расточительство вас все свои и все чужие люди честные — потомство, бог, история осудят...

Князев уходит в среднюю дверь и запирает ее за собою.

Не расточителем, а стяжателем великим буду... если бог поможет мне хоть все, хоть до последнего алтына все отдать тому, кто бы сумел вдохнуть живую душу в грудь моим, открытым всякому пороку, детям!..

Анна Семеновна *(проходя во внутренние комнаты)*. А для чего же сказано: остави останки младенцам своим? *(Уходит.)*

Молчанов. Они богаче будут, оставшись нищими, да не с такой волей слабой и не с таким ничтожным сердцем, какое тут *(бьет себя в грудь)* — какое тут у их несчастного отца! *(Бледнеет и падает без чувств в кресло.)*

Дробадонов *(сидевший до сих пор с опущенною головою во все время монолога Молчанова, быстро вскакивает)*. Что это? *(Испугавшись.)* Все ушли! *(Вскакивает и сильно хватает Молчанова.)* Иван Максимыч! Не время спать! *(В ужасе.)* Он сомлел... Что делать, господи! *(Бросается к двери.)* Га! заперта! *(Толкает дверь, но она не подается.)* Мы здесь в ловушке! *(Кидается к Молчанову, схватывает его, бесчувственного, и тащит перед собой к окну.)* Приди, приди в себя! Через минуту кончат суд и нет спасенья!

Молчанов *(растрепанный)*. А!.. что такое? лес...

Дробадонов *(открывает окно, через которое тотчас же врывается гул большой толпы; он держит Молчанова под плечи перед окном и кричит громко)*. Народ! мир! люди, на ком есть крест! кто в бога верует! глядите: это человек... *(Замечая, что его не слышат, бросает Молчанова в кресло.)* Не слышат! *(Бежит с размаху в запертые двери и растворяет их. Пауза.)*

ЯВЛЕНИЕ 10

Молчанов *(один, приходя в себя)*. Что?.. Где Калина Дмитрич? Все ушли... *(Схватывает себя в отчаянии за голову.)* Что это было? *(С увеличивающимся ужасом.)* Я их бранил, я вел себя как мальчик...

За сценой слышен голос Дробадонова: «Спросите совесть: что кому он злое сделал».

Пойду им в ноги кинусь... ведь осудят... *(Прислушивается.)* Калина Дмитрич говорит! *(Падает на колени.)* Великий господи! когда судили Гуса, соловей запел, и чье-то сердце дрогнуло от этой песни, — неужто же их и человеческое слово не тронет!

Слышен вдруг громкий шум снаружи и голоса: «Врешь! знаем мы! ты не учитель нам: нас Фирс Григорьич не обманет». Свист, гам и озлобленные крики: «Вон мускательщика! Вон Дробадонова!» Несколько рук вталкивают сильно растрепанного и помятого Дробадонова в двери.

ЯВЛЕНИЕ 11

Молчанов и Дробадонов.

Дробадонов (*в совершенно разорванном сюртуке влетает на сцену от сильного толчка сзади*). Ух! (*Оправляется.*)

Молчанов (*быстро вставая и схватывая Дробадонова за руку*). Что?

Дробадонов. Опека.

Молчанов падает в обморок. Дробадонов поднимает Молчанова, расстегивает его жилет и дает ему со стола стакан воды.

ЯВЛЕНИЕ 12

Те же и служанка.

Служанка (*вбегая на стук от падения Молчанова*). Что это здесь упало, Калина Дмитрич?

Дробадонов. Что упало, то подняли.

Служанка. Что ж тут случилось?

Дробадонов. Деревня мужика переехала. Пошла, принеси мне иголку с ниткою, да поздоровее.

Служанка уходит.

ЯВЛЕНИЕ 13

Те же и Князев (входит с палочкою) и все, которые выходили с ним на суд, кроме женщин.

Князев (*тихо Колокольцову*). Обирайте руки-то, не расходившись.

Колокольцов. Не расходитесь, господа! Прошу сейчас же подписать приговор!

Минутка кладет бумагу на стол, и начинается подписыванье. Подписавшиеся отходят и садятся. Молчанов в это время поднимается, открывает глаза и сидит в остолбенении.

Князев (*на авансцене*). Про что ведь говорил?.. Молчанов-то, я говорю, про что говорил? Смех! Ха-ха-ха! Только задень их, сейчас дурь замелят. Даже про историю... Ну скажите вы, пожалуйста, кто же этой парши у нас бояться станет?.. Сам себя осудил! (*Вынимает из кармана маленькую бомбоньерку, достает из нее пастилку и сосет.*) А Дробадонов-то как было вырвался... Хи-

хи-хи... Нет, это, брат, не то! Тебя за добродетели твои, за справедливости могут чтить, кто хочет... а тут на голодном брюхе музыка построена, а не на справедливости... Хе-хе... Я слово чуть одно сказал, а подголоски подхватили, что ты корысть имеешь в том, чтоб стали фабрики, ну и... на кулачьях вынесли... Но он уж начал не жалеть и самого себя: такие люди в обществе негодны. *(Сердито оборачивается и громко.)* Купец Калина Дробадонов!

Дробадонов *(подписываясь)*. Пишет.

Князев *(с иронией)*. Что? от мира, видно, не прочь.

Дробадонов *(кладя перо)*. На мир не челобитчик.

Князев. А? *(Подходит и смотрит в бумагу.)* Опять «кипец». *(Минутке.)* Читай!

Минутка *(берет бумагу)*. «1867 года, мая...»

Князев. Не все, а суть одну читай.

Входит служанка и подает Дробадонову иголку с длинной белой ниткой. Дробадонов садится на видном месте и начинает зашивать свой разорванный народом сюртук.

Минутка. Мм... м... м. «А посему приговорили: признать его, Ивана Молчанова, на основании всего вышеизложенного, злостным расточителем

Молчанов быстро приподнимается.

и, в ограждение разрушаемого им благосостояния жены своей и двух малолетних детей, устранить его от права распоряжения своим имуществом и сдать оное в опеку благонадежным людям...»

Молчанов *(перебивая)*. Что? что такое?

Князев. В опеку. В опеку тебя приговорили.

Молчанов. Нет! Этого не может быть!

Князев *(сося пастилку)*. Ну да, не может.

Молчанов. Да где ж был этот суд?

Князев. Вот видишь, за руганьем-то ты не видел, как и овин сгорел.

Молчанов. Тут разговоры одни шли.

Князев. А разве в чем же суд, как не в разговоре? Ты все парламентов смотришь; а у нас это просто.

Молчанов *(перебивая)*. За что же, господа!.. За что в опеку? Помилуйте! мне тридцать лет...

Князев *(ворочая во рту пастилку)*. Хотя б и триста; а мир тебя ребенком признал.

М о л ч а н о в. Господа!

Все тупятся и смотрят на Князева.

Фирс Григорьич! За что ты целый век меня преследуешь? Пусти меня на волю — я уйду! Или ты, может быть, униженья моего хотел?.. *(Падает перед ним на колени.)* Смотри, я здесь при всех перед тобою на коленях... прости меня... прости меня... в моей перед тобою невинности! прости! *(Кланяется в землю.)*

К н я з е в *(проглатывая конфетку)*. Вот так-то бы давно, сынок! Не гордыбаченьем у старых людей берут, а почтением. А вы все, молодость, цены себе нынче не сложите. Мы, дескать, честь свою и гордость выше всего ставим; а все это вздор, ваши и честь и гордость! Пока лафа вам — ходите, как павы, хвост раскинувши, а сунет вас клюкою хороший старичок — и поползете жабами. Нехорошо так, друг!.. Ведь вот теперь смирился пылкий Шлипенбах — стоишь передо мною на коленях, и в этом умный человек тебя не покорит. Ты знаешь, перед кем стоишь; не пню почтенье отдал. *(Кладя ему на голову руки.)* Ну, бог тебя простит. Теперь вот попроси людей, чтобы тебя простили за грубости.

М о л ч а н о в. Простите. Я себя не помнил!

В с е *(разом)*. Бог простит.

К н я з е в. Нельзя так, друг, не помнить. Ну да уж это прощено. *(Минутке.)* Читай, Минутка!

М и н у т к а. «И опекунами к имению Молчанова назначить жену его Марью Парменовну и с нею вместе соопекуном отца ее, купца Пармена Мякишева; а как сей Мякишев на сходе от такой обязанности отказался, то вместо его *(откашлявшись)* поручить сию должность с полною за целость имущества ответственностию

Молчанов встает с колен и остро смотрит на Князева.

купцу Фирсу Григорьевичу, Князеву». Иван Максимыч, подпишитесь, что вам объявили! *(Подает Молчанову перо.)*

М о л ч а н о в *(не принимает пера и вовсе не замечает Минутки)*. Ты! ты!.. ты мой опекун! *(Бросается с азартом на Князева. Общее движение в защиту Князева.)*

К н я з е в *(поднимая палочку против лица Молчанова и позируя)*. Иван Максимыч, не шали!.. У нас, дружок, для этаких хватов есть упокойчик темненький, в смири-

тельном. *(К обществу решительно.)* С согласия моей соопекунши, сегодня объявляю всем словесно, а завтра пошлем в газетах напечатать, чтобы Молчанову ни от кого никакого доверия не было и никаких его долгов, ни векселей и ни расписок мы принимать не будем.

ЯВЛЕНИЕ 14

Те же и Анна Семеновна.

Анна Семеновна. Господа, прошу покорно закусить! *(Все кланяются.)*

Князев *(спокойно)*. Адмиральский, господа, ударил. Пора и закусить. *(Уходит. За ним уходят все, оставляя в комнате Дробадонова и Молчанова.)*

Молчанов. Калина Дмитрич! что ж это?

Дробадонов. А ты б поболее бесился.

Молчанов. Неужто ж это не во сне, а вправду?

Дробадонов *(окончив пришивание, закалывает в спинку кресла иголку)*. Да, Фирс Григорьич молодец! И не один я его похвалю, а и черт, и тот его похвалит. *(Идет к дверям, куда все вышли во внутренние покои.)* Пойду смотреть, как запивает мир, поевши человечины.

Молчанов *(останавливая его восклицанием)*. Калина Дмитрич!

Дробадонов *(оборотясь)*. Что?

Молчанов. И ты... и ты... ты, честный человек... один, которому я с детства верил... и ты своей рукой подписал!

Дробадонов. Иван Максимыч, ты вправду, знать, не знаешь, что такое мир? Спроси о нем мои бока. Редко я на него хожу, а все ж это им не первый снег на голову... Один на мир не челобитчик. Трезв ты или пьян, все говорят, что пьян: ступай и спать ложись, а то силком уложат.

Молчанов. Ты подписал! *ты подписал!*

Дробадонов *(возвращаясь к Молчанову на авансцену и показывая обеими руками на свою фигуру)*. Велик и силен кажется тебе купец Калина Дробадонов?.. а мир ядущ: сожрет, сожрет и этого с кишками. *(Быстро поворачивается и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 15

Молчанов и Марина (которая входит со двора, тщательно закутавшись большим платком, осматривается и, сбросив одним движением платок, быстро подбегает к Молчанову).

Марина. Иван Максимыч!

Молчанов *(вздрогнув)*. Марина! Бог с тобой! Зачем ты здесь? *(Стараясь выпроводить ее.)* Беги отсюдова! беги скорей! беги!

Марина. Не бойся. Я видела в окно: все за столом сидят. Я за тобой пришла, чтобы ты не оставался здесь.

Молчанов *(тревожно и как бы не сознавая, что говорит)*. Нет... мне отсюдова нельзя... Я Фирса жду...

Марина *(решительно)*. Вздор говоришь! Иди! Тебе не нужно больше видеть Фирса!.. Идем!.. идем!..

ЯВЛЕНИЕ 16

Те же и Марья Парменовна (очень раскрасневшаяся, с алыми губами, выходит из внутренних покоев; она полупьяна. Увидев Марину, она тихо крадется к ним и становится сбоку Гусляровой, не замеченная ни ею, ни мужем).

Марина *(Молчанову)*. Не будь ребенком. Не злобься и не ползай... Скорей, одной минуты не теряя, в Петербург, ищи суда... В судах, в сенатах не найдешь защиты, — к царю иди... пади к его ногам, скажи ему:

Молчанов, слушая ее, поднимается со стула.

Надежа, защити! я умален до возраста младенца! будь бог земной — создай меня во человека... Идем! Я буду стоять перед тобой и молиться, чтобы господь управил сердце государя. Идем, идем! что бы ни встретилось, живые в руки не дадимся!

Молчанов *(дрожа повторяет)*. Я умален до возраста младенца... Будь бог земной — создай меня во человека!.. *(Бежит.)*

Марья Парменовна *(хватаясь за платье мужа)*. Куда? куда? Я ведь все слышала... Нет, я его не отпускаю.

Марина быстро выпроваживает Молчанова одним движением за двери, а сама схватывает Марью Парменовну сзади за локти и, перекружив ее три раза около себя, сажает на пол и убегает.

ЯВЛЕНИЕ 17

Марья Парменовна и Анна Семеновна (входит совсем пьяная и красная, как пион).

Марья Парменовна *(сидя на полу, с улыбкою)*. У-у-ух, как вся земля закружилась!

Анна Семеновна *(покачнувшись)*. Это тебе с хересу... У меня и у самой кружится...

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Парк при загородном доме Молчанова. Между множеством деревьев вправо в одной куртине заметно старое, толстое дерево, в котором сбоку виден лаз в большое дупло. Вечереет.

ЯВЛЕНИЕ 1

Марина и Дробадонов (сидят на дерновой скамье под старою липою).

Марина. А ты думаешь, я сама спокойна? Знает про то только грудь моя да подоплека, как я верю в хорошее.

Дробадонов. А я опять скажу, не про что много и беспокоиться. Я для того и приговор подписал, чтобы и спора из пустого не заводить. Сегодня вы с Иваном Максимычем выедете; через четыре дня в Питере, и дело это нам только за смех вспоминаться станет.

Марина. Все не про то ты говоришь. Опеку снимут, разумеется. Ну, а дальше что ж?

Дробадонов. Да дальше то ж, что было...

Марина. Славное житье!.. А все я виновата: сколько любила, вдвое того погубила.

Дробадонов. Не было в его жизни и до тебя много путного: души он честнейшей, да не строитель, по правде сказать. Так бы, прямою дорогой, да с прямыми людьми, он бы еще жил ничего; а тут, чтобы у нас, промеж нашим народом жить, надо, чтоб шкура-то у тебя слоновая стала. Тогда разве вынесешь. А ему где это вынесть: с него со всего кожа-то совсем словно содрана; к нему еще руку протягивают, а уж ему больно — кричит. Наш народ деликатности не разбирает, и этак в нем жить невозможно.

М а р и н а. А главней всего, что все спуталось да перепуталось. Чтоб в нем душу поднять, я его тешила тем, потому что имя государя в такую минуту много значит. А просить — как просить? *(Конфузясь.)* Это хорошо с чистой совестью и к царю и к богу, а мы... Как он против своего закона, как и я... *(Махнув рукой.)* Где еще тут и рот разевать!

Д р о б а д о н о в *(вздохнув)*. То-то пузо-то у нас все в жемчуге, а сзади-то и у тех, которые чище-то, и то на аршин грязи налипло. О-их-хе-хе-хе-хе... Ну, да нечего и беспокоить государя: уповаю несомненно, что все это и так, по закону сделается.

М а р и н а *(задумчиво)*. Надо уж было ему одномуодинешеньку жить; не путаться, не запутываться, чтобы не за что брать его было.

Д р о б а д о н о в. Разумеется, так бы лучше было; да ведь и одному с горем тож нерадостно.

М а р и н а *(живо)*. А ты думаешь, что когда б не горе его, так промеж нас что-нибудь сталось бы? Ни в жизнь жизненскую! Горе это его меня ко всему к этому и вывело. Все было слышу, такой он, сякой, негодящий. Жена сама корит: уж что ж тут — стало быть, либо жена непутящая, либо это все правда? Вот и пойдет вспоминаться, как мы детьми, бывало, играем... В мужа с женой, бывало, всё играли *(сквозь горькую улыбку)*... не знали, что не муж с женой из нас будет, а чертово радовище... *(Утирает тихо слезу.)* Ах, какое чудное было дитя! Я такой доброты, такой нежности с той поры ни в одном ребенке не видела.

Д р о б а д о н о в. А вот эта нежность-то на нашем народе, видишь, чем сказывается. Сам нежен, да и от других все нежности ждет. А нету ее — он сейчас на дыбы.

М а р и н а. Он простодушный.

Д р о б а д о н о в. Простодушный!.. А это тоже не везде кстати. Нас ведь этим не удивишь. У нас будь прост, рубашку скинь, — скажут, может еще крест серебряный есть на шее — его подай. У нас требуется, чтобы человек был во всеоружии своем, а не простоквашею да нетерпячкою. Это все ему еще белою соской рыгается.

М а р и н а. А все, будь у него в семье все как следует... Не таких, да и то берегут, ни до срама, ни до позора ни до какого не допускают.

Д р о б а д о н о в. Разумеется: Если бы ты бы жена-то его была, ну ты бы его сберегла и понежила и не допустила до этой несносливости. Так что ж, и тут ведь опять, и в этом деле ему его белая соска мешала. На тебе надо было жениться, надо было половину гамзы потерять. Он женился на той, которая у него все взять норовит.

М а р и н а *(не слушая)*. Чудное было дитя!.. Я, как оса, так и росла такая ехидная. Бесстыжая была я девчонка, заведу его, бывало, куда-нибудь в ров или в сад далеко и прибью. *(Утирает глаза.)* Ежели есть что у него — отниму, — он все было терпит... А раз покойница мать увидела, как я его толкла на грядах, да есть не дала мне за это, и он есть не стал... ну, скажи ты пожалуйста!.. *(Плачет.)* Взрыдался, всплакался: «Мою Маринушку! мою Маринушку! не обижайте мою Маринушку!..» Ах, чудное было дитя! ах, дитя было чудное!.. Ах! *(ударяя себя в грудь)* ах! когда б знали... вы, как я его любила!.. Мне десятый годочек ишел, когда его в Петербург увозили... я себя не помнила, что́ со мной было. Фирс с ним в карете сидел; а я все догнать их хотела... бежала, бежала, пока ямщик кнутом чуть глаза все не выстегал... ножонки подкосились, как цыпленок в пыль и упала.

Д р о б а д о н о в. То-то, дитя, не след, видно, нам, пешеходам, гоняться за теми, что ездят в каретах.

М а р и н а. Милый! хороший мой! смысл-то во мне какой в ту пору был? Я и через шесть-то лет, когда их венчали с Марьей Парменовной, не умнее была: сквозь народ в церковь пролезла, да о бок с ним становлюсь, чтобы будто мне с ним это венчание пето... Да и, кроме того, я скажу тебе, я ведь какая-то порченая, что ли: ни жизни, ни смерти мне нет, пока не добьюсь того, что в голову вступит. Из чужих краев когда он вернулся, я ведь уже тогда три года замужем была... В эту пору мы мельницу в Балках держали... Услыхала я, что он вернулся, что его здесь все злосудят опять, — вот словно могилу мою разрывать начали: так встосковалася. О полудне, как жар, бывало, нахлынет, разморит всех, спят, а я уйду тихонько под скрынь, где вода бьет с колес, — и веришь ли — кто-то со мною там все говорил... и я не боялася этого говора... я сама говорила о чем-то... Чародейкою стала... в грозу с серебра умывалась, чтобы ему полюбиться... в страшную бурю бегала в степь его по ветру кликать... *(в экстазе)*

и один раз... Это ночью случилось под Ивана Купала... мужа не было дома... о полуночи буря такая поднялась, что деревья с кореньями на землю клала... Темень и грохот этот душили меня. Я горькими слезами плакала, о чем — и сама я не знала... и тут в лицо мне все что-то из-за плеч, то с одной, то с другой стороны, взглянет... Я сорвалась с постели. Не помню, куда бежала, а только его все звала и... *(вздохнув)* и тут он пришел... На охоту ходил; сбился с дороги... *(Поникая головою.)* Ни жизни, ни смерти себе не чаяла, пока с ним, как хотела, не свиделась... Спознавалися сладко, а теперь тяжело расставаться... *(Восклоняясь.)* Калина Дмитрич! скажи мне: нам надо расстаться?.. Скажи?.. Ведь это, ведь все через меня поднимается вьюга? Ему было бы легче, когда б я, лиходейка, на шею ему не повисла... Не вкусивши любви, не так к ней манится... Он бы к детям ютился. — Правда? Калина Дмитрич!.. Калина Дмитрич!.. да что ж ты молчишь!

Дробадонов. Что, дитя, говорить против правды?

Марина. Ты посоветуй, как быть мне?

Дробадонов. Советовать надо, когда человек в заблужденье; а тебя господь сам ведет к чему-то чудному, так уж не человеку тут учить, когда он сам твоей души огненным перстом своим касается.

Марина *(строго)*. Слушай! Пока его судили, — я над собою суд сотворила. Господь вправду был в душе моей... Наш путь, которым мы идем, кривой; а по кривой дороге вперед ничего не видно. Все это я решила кончить. Я с ним, как сказано, поеду в Петербург... поеду для того, чтоб поддержать его теперь... а там, как он с делами справится, я скроюсь... пропаду... со слуху сгину... Он попечалится; тоска в делах пройдет... а мне...

Дробадонов *(перебивая)*. Постой, постой, не части так часто. Помысел твой — помысел великий! От бога к нам, не от сластей земных такие помыслы нисходят; а с даром божьим бережливо обращайся. Ты говоришь: «что мне!» то есть тебе-то что? Ты сама о себе не думаешь; а в воле божьей, чтоб всем было добро и никому зло. Ты пропадешь, и слуху о тебе не будет. Ведь это ты ему по всякий час упрек создашь! Где ты? что сделалось с тобою? Быть может, в воду бросилась из-за него или бродягою непомнящей пошла в Сибирь по пере-

сылке?.. А может, и того еще хуже... вступит, пожалуй, в сердце, что, может, ты и любви-то его не стоила... Этого с душой человеку перенести невозможно. Нет, друг, не пропадай, живи ему в подкрепленье! Не бегай от любви. На что? В любви господь нам указал спасать друг друга! *(схватывая ее за руку)* но сотвори свою любовь во благо... Ты за его детей теперь в ответе! Его жена безумная законов ищет... да что закон в семейном деле может помогать! Она о деньгах упадает... да что ж в тех деньгах детям, когда нет сеятеля с ними, который сеял бы живое слово в их малые души? Ты только уразумей, что значит отец? Про птичье молоко хоть в сказках говорится, а отцовского слова довечного дитя и в сказке не услышит.

Марина *(падая на грудь Дробадонова)*. Детки, детки! Ах, как мне жалко их!

Дробадонов. Усугуби ж для них свою любовь к отцу. Любовь не разлучит отца с детьми: то грех, то сласть земная разлучает. Воздвигни свою любовь превыше этой сласти; его своим примером склони к тому же. Расстаньтеся, но пусть он знает, что ты жива, что с тобою ничего худого не сталося и — главное — что ты любишь его. Это большая сила несчастливому человеку. Не отрекайся от своей любви, зане я знаю, что любовь твоя, слезой твоей омытая теперь, будет безгрешна! *(Пауза.)* Встань, голубица, встань! через час надо вам ехать. Он там бумаги уж все приготовил. Теперь время удобно: поди к нему с ласковым словом, с открытым лицом. Если и тяжко на сердце, как я и ожидаю того, — терпи... виду не дай, что страдаешь... Будь весела, если можешь, о чем попало говори, будто как это даже и в раздумье тебя не вводит. Слышишь, моя детка?

Марина *(восклоняясь и отирая слезы)*. Нет, нет! не бойся: я сердца не выдам. *(Закрывает глаза платком.)*

Дробадонов. Иди ж! Слезы твои будут в радость тебе... Детей его мать с бабкою учат тебя проклинать, а ты научи их благословить тебя. Их детское сердце и теперь уж, может, слышит, как твое сердце для них разрывается; а вырастут они, их почтению к тебе меры не будет. Ты счастливица в женах: твой рай сегодня начнется, как только ты вымолвишь слово...

Марина *(сквозь рыдания)*. Дети, дети! я отдаю вам вашего отца! *(Быстро убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ 2

Дробадонов *(один)*. О лебядь белая!.. о лебядь чистая!.. о лебядь прохладная!.. *(Задумывается.)* Нет! Не в любви людская погибель, а в том, что мала людская любовь на земле, что не выросла она еще на вершок выше звериной. *(Задумывается и садится. В это время за сценою слышна приближающаяся песня.)* Уж пошабашили фабричные. Пора! *(Встает.)* Надо им до свету добраться до станции, чтоб взять почтовых; а ночь-то вся нынче с воробьиный нос. Бог знает, все чего-то сердце замирает. Спаси их господи: они теперь на твой правдивый путь готовы! *(Идет и встречается с фабричными.)*

ЯВЛЕНИЕ 3

Мастеровой Павлушка Челночек; старый ткач Спиридон Обрезов; приезжий парень и фабричные (выходят неспешными шагами).

Челночек *(играет на гармонии и поет)*.

Ах, когда бы эту кралию
Подержать бы мне за талию.

(Встречаясь с Дробадоновым, снимает шапку и кланяясь.) Здравствуйте, Калина Дмитрич.

Фабричные *(все кланяются и несколько голосов)*. Наше почтенье, Калина Дмитрич!

Дробадонов. Спасибо вам. Здравствуйте, ребятки! *(Уходит.)*

Все подходят к скамейке, с которой встал Дробадонов, и располагаются на ней, кто сидя, кто полулежа.

Челночек *(поет)*.

Ой, что же вы, ребята, приуныли?
Иль у вас, ребята, денег нету?

Обрезов *(Челночку)*. Или еще, пустая голова, не все песни перезевал!

Приезжий парень. А кто это у вас такой, что с нами сейчас сустретился?

Обрезов. Приятель хозяйский, купец Дробадонов. По душе и по совести первый человек у нас в обществе.

Приезжий. А собою на вид сколь ужасен.

Челночек. Капидон; это он тот самый и есть Дробадон Дробадоныч Дробадонов, что, сказывали, что с одной стороны на медведя похож.

Приезжий. Скажи, антиресный какой! А должно еще того антиресней, что́ за супруга под пару ему пришлася?

Челночек. А он у нас буки ер — кавалер, еще женишок по сию пору.

Приезжий. Неужто не женат? Это уж по купечеству не годится без хозяйки.

Челночек. А неш их мало у нас по городу, хозяек-то? У нас из эстого просто.

Обрезов. Что ты это все врешь-то? Кто это про Калину Дмитрича сказать может?

Челночек. Я совсем и не про него, а так говорю, что у нас насчет женского пола все по-душевному, по простоте. Надоть было обществу по-настоящему воспитательный дом, как в Петербурге, построить; ну да у нас про то покудова в слободе сталоверы: что угодно детей берут, только сдавать поспевай.

1-й фабричный. А то тоже в колодезь — так и там они каши не просят.

Челночек. Ну, это только Князеву такую механику подстроили, потому по-настоящему из-за чего у нас их губить, когда сталоверы сколько хочешь берут и в свою веру крестят; а уж это в колодезь — это не иначе, как на злость сделано, и я вот, рука отсохни, знаю, что больше никто другой это сделал, кроме как бабушки Дросиды Аленка.

1-й фабричный. И поделом ему, Князеву-то.

2-й фабричный. Хоть бы и вдвое он поплатился, не жаль бы его.

Челночек. Да он, небось, и не поплатится. Что ж ему такое, что в его колодце ребенка нашли? Колодезь на улице — не мало кто мимо его ходит. Самого б его если б туда головою...

Приезжий. У вас, я вижу, этого Князева терпеть не могут.

Челночек. Не могу-ут! С чего так, милый человек, не могут? Нет, брат, у нас мир-то того доброго короля стоит, что всем восхотел в своем королевстве угождение сделать. Докладают ему: пусть, говорят, пресветлый ко-

роль, в нашем королевстве хоть разбойникам худо будет. Нет, на что же, говорит, их обижать: кто ж, говорит, у нас после того без них людей будет резать? *(Хохот.)*

О б р е з о в. Шут его знает, что он только мелет, пустомеля!

Ч е л н о ч е к. Я, братцы, в Питере жимши, раз в Лександринском театре видел, как критику одну на купцов представляли. Выставлен бедовый купец; ну а все ему против нашего Фирса Григорьича далеко. Тот все с бабами больше баталь вел; а гусар его на пароме обругал, он так и голосу против него не выискал. Ну а наш ведь, одно слово, во всей форме воитель. Я в прошлом году, как у головы приезжий чиновник обедал, за столом прислуживал, так подаю кофей, а они меня не видят, потому что разговор у них неприятный. Чиновник говорит Фирсу: «Я, говорит, ясно удостоверился, что вы, Фирс Григорьич, здесь точно помещик на поместье сидите; все здесь по вашей дудке пляшет: все торги или выборы, какие бывают, то это только проформа одна... все вы кому хотите сдаете, кого вам нужно на общественные места сажаете»... А он сейчас этак спокойно взял его, этого чиновника, вот этак за пуговку, крутит ее, эту пуговицу, промеж пальцев, да и говорит: «Охота вам, говорит, ваше превосходительство, этакому вздору верить; вот мне, говорит, ваше превосходительство, один человек тоже за верное сказывал, что вы изволите взятки брать, так разве я этому верю?» Чиновник так и сел. *(Хохот.)* Одно слово, кабы этому нашему Фирсу Григорьичу да хвост приладить, так и собаки не требоватся. *(Хохот.)*

О б р е з о в *(вздохнув)*. Одно слово, за наши грехи у нас Терехи дьяки.

В это время по сцене проходит тихо Алеша Босый и скрывается в своем дупле.

П р и е з ж и й. Это что за человек?

1-й ф а б р и ч н ы й. Купец был, да, тонувши, тронулся в уме.

П р и е з ж и й. Скажите, страсть какая!

1-й ф а б р и ч н ы й. Он смирен: никого не трогает. Облюбовал вот сад хозяйский, вон там в дуплище и ночует. Не любит только, если к нему подойти туда изнавести, и то не сердится, а с перепугу обхватит и дер-

жится, что никак не оторвать его. Все думает, что тонет.

Челночек. А я опять, ребята, к Фирсу. Что я на него, братцы мои, только, в Питер ездивши с ним, насмотрелся! Молодчина! Поедем, бывало, на бал куда или в маскарад: я сижу с шубой на лестнице, — смотрю, что ни лучшую какую барыню, француженку там или англичанку, мой Фирс Григорьич и тащит; а какую пониже сортом — Иван Максимыч. Привезут их домой, и уж тут такое колыванье пойдет, что аж чертям ужасно — ничего не пожалеет для женщины. «Что, говорит, вы вулеву? Потому вулеву вы, говорит, так вулеву; а не вулеву, так и как хотите». — «По болоту, говорит, охотиться хочу, амазонкой». — «Делай, говорит, нам, Пашка, болото». Ну и лей на пол шампанское по самые щиколотки. «Будь, говорит, лягашом, запей», — я лягу и локчу, а она смеется. Скусное вино — прелестное. *(Обтирает губы.)* А наутро, глядишь, Иванушко, хоть молодешенек, да головы не поднимет, а этот соколом встрепенется, подкрасится, подфабрится, взденет фрак и пошел к министрам там да к сенаторам дела обделывать. Устали ему никогда нет.

1-й фабричный. Да и посейчас он такой.

Челночек. Ему, брат, так кукушка накуковала: ему, пока под святые положат, перемены не будет.

1-й фабричный. Он и помрет-то, так его не сразу похоронишь.

2-й фабричный. Да одно слово — анафема.

3-й фабричный. Разбойник.

4-й фабричный. Блудник и душегубец.

Челночек. А что про блуд, так вы это и оставьте! Это вот этот змей, что в сказке сказывается, что из озера выходил, да что ни есть всех первых красавиц-то себе забирал, — это вот он самый и есть.

Обрезов *(тихо)*. А не к лицу б уж бабушке девичьи пляски.

Челночек. Ну, это ты напрасно его, дядя, бабушкой-то зовешь! Он еще как ястреб: зацелует курочку до последнего перушка. *(Понизив тон.)* Он, вот видите, ноне все бросил и за Мариной Николавной попер... уж это он от нее теперь ни в жизнь свою не отстанет.

Обрезов. Врешь ты, дурак, не такая Марина Николавна.

Челночек. Да уж какая она ни будь, от него не

отвертится. Ни одной ведь такой еще не было. Он уж, я знаю, он чего захотел, так он ведь не ест, не пьет, глаз не сведет, а все думает, и уж тут вот скажи ты ему, что его смерть за это ожидает, пусть вот море целое перед ним разольется, он так и в море полезет. А опять же и то сказать, что ведь и господь бабу из кривого ребра создал: никто ведь и за нее вперед отвечать не может.

Голоса фабричных. Не такая Марина Николавна.

Челночек. Опять же таки я ведь ничего в ее обиду не сказал. Я так говорю, что кто знает, что́ бабе на ум придет. Вон мне в Петербурге сказывали, что там одна барышня арапа родила. *(Хохот.)* Чернищий-пречерный, говорят, родился, и как только родился, сейчас как гаркнет по-черкесски: я, говорит, в вас пынжал пущу! Окрестили в нашу веру — перестал.

2-й фабричный. Да, за женщину как поручиться!

Челночек. То-то и дело. Кто ее знает, что и от нее отродится. Ведь вот с хозяином проклажается же. *(Насмешливо.)* Может, разве, что у них промеж себя ничего опричь такой любви и нетути.

2-й фабричный. Это никак невозможно.

Челночек. Ну, это тоже опять нельзя сказать, что невозможно. У господ есть такая ухватка, чтоб вдвоем черта дразнить. Сядут, обоймутся, да: «ах, как я вас!..» а та: «ах, сколь я сим счастлива!..» *(Хохот.)*

1-й фабричный. Вот и у хохлов безмозглых тоже такая мода.

Челночек. Да, да, да. Жил я у князя Репнина, в Полтавской губернии, в имении, тоже видал это: сядут хохол с хохлушкой где-нибудь над овражком или над рекой, да и заведут *(пародирует)*: «Не помогут слезы счастью»... а естественного ничего.

1-й фабричный. У нас этого нет.

Челночек. Как можно! *(Сплюнув.)* У нас из эстого просто.

Обрезов. Что вы всё про какой вздор мелете! Вот уж сколько раз я заметил, что где только этот Пашка замешался, там уж добрых речей не дожидайся. Давайте лучше про дело-то потолкуем. Иван Максимыч ведь сейчас придет и спросит, что же мы артель, что ли, составим? Надо это порешить. Он так хочет, чтобы всех при-

ставников, что за материалами смотрят, прочь. Сами, говорит, устройте, чтоб нечего за вами смотреть было, и как воровства не будет, я вам процент дам.

1-й фабричный. Какой такой процент?

2-й фабричный. Это не слыхано.

Обрезов. Да ведь вам в толк об этом Иван Максимыч рассказывал.

1-й фабричный. Поняли мы! да ведь кто его знает.

2-й фабричный. Опять как же ты за других поручишься, что он не украдет?

Голоса. Это никак невозможно.

Обрезов. Да с чего кто красть-то станет, если друг за друга поручимся?

1-й фабричный. С чего? Мало ли с чего кто крадет!

Приезжий. Иной привычку такую имеет, что к этому привержен.

2-й фабричный. А есть такие, что просто со скуки крадут.

Челночек. Да это что про то толковать! без этого никак невозможно.

Обрезов. Что ты это врешь-то! Почему это невозможно?

Челночек. Потому, что мы в этом деле вроде как порченые: даже кому и не нужно, не своей охотой крадет.

Обрезов. Эка дура, что городит! Да ты сам-то русский или турка?

Челночек *(вздохнув)*. Я не русский и не турка, а из Питера фигурка.

Обрезов. Да турецкое у тебя и рассуждение.

Челночек. Нет, дядя, я знаю, что это тоже неспроста, а по благословенью делается.

Обрезов. От кого ж это могло быть такое благословение, чтобы красть?

Челночек. От странника. Ходил такой странник по свету и был уловлен от дванадесяти язык и пропят на древе, и никто за него не заступится. Вот как он на древе начал томиться, и начали люди приходить к нему с жалостию, чтобы спасать его. Сунулись первые немцы, потому без них и вода не освятится, их везде спрашивают. «Господине честной, говорят, хочешь ли, мы тебя отторгуем?» Он покивал на них головою и говорит: «Ступайте,

торгуйте себе целую жизнь». Так они по этому слову его завернулись и пошли, и всё торгуют, и до века всем торговать будут. Тут сейчас французы, народ этакой верткий. «Господине честной, давай, говорят, мы тебя отвоюем». — «Ступайте, говорит, воюйте себе целую жизнь». Таки они всё и будут целый век воевать, и все без толку. Тогда уж наши русаки, — как они против немцев и французов, разумеется, обстоятельней, то видят, что не хочет он ни торговлею, ни отъемом спасаться. «Господине честной, давай, говорят, мы тебя уворуем». А он нам и брякни: «Ступайте, говорит, воруйте себе целую жизнь». Вот нам этого никак переступить и невозможно: мы и воруем.

Обрезов. О брехун, брехун! Так стало уж, потвоему, до веку нам со всеми этими художествами и не расстаться?

Челночек. Как можно до веку художеству быть? Это все до тех пор художество, пока у петербургских свинтусов в грудях живое сердце забьется. Мне один человек на Неве на перевозе сказывал: «Видишь, говорит, молодец, перед художеств академией две каменных собаки в колпаках лежат? Это говорит, не собаки, а свинтусы. Из города Фив, из Египта их привезли; с тем, говорит, их и привезли, что пока в этих свинтусах живое сердце не затрепещется, до тех пор чтоб ш-ша! чтоб ничему, значит, настоящему не быть, а будет все только как для виду». Так и Иван Максимыч, хоша он и желает это сделать, но только все это для виду будет. Да и то сказать, сам-то он еще против Фирса уцелеет ли? Не довелось бы еще скоро ему самому из-под печи поросят мануть.

Обрезов. А типун бы тебе на язык за это.

Челночек *(сухо)*. Да ведь это вчерне сказано: коли не нравится, и похерить можно.

Приезжий. Ноне суд не такой, чтоб такие беззакония с рук сходили.

Челночек *(вздохнув)*. Что суд! Что такое, милый человек, суд! У нас до суда заворотят тебя туда и сюда хуже мороженого. Неужли ж ты так думаешь, что если этот суд точно правый, так против его упираться будет некому? Наш брат в самый последний секунд — и тогда еще норовит штуку выкинуть, чтоб от чего следует уворачиваться. Я вот вам к примеру скажу, я в Вильне видел, как поляков вешали. Идут, бывало, который еще с фанта-

зией, а который плачет. Ну уж как увернуться, и думки в них не видно. А наш и тут свой термин держит: все норовит на выдумки. В Крыму я, в ратниках бывши, видел, как двух мещанишек вешали, что провиянт неприятелю продавали. Так и не очень чтоб авантажно их и вешали-то — в простой деревушке, — ну только всех нас эти висельники посмешили. Спрашивает одного командир: не имеет ли, говорит, какой просьбы? — «Имею», говорит. Что такое? «А чтоб меня за шею, говорит, ваше благородье, не вешать, потому я, говорит, щекотки боюсь...» Нет, брат, хоть ежели чему и неминучее быть, так все это хоть на минутую чем-нибудь за угол заводить станут.

Приезжий. А вон это, гляди, ваш хозяин с компанией идет.

Челночек (*заглядывает*). Он и есть. Иван Максимыч, Дробадонов и Марина Николавна. Вот ты теперь и посмотри ее: одно слово, хрящик.

ЯВЛЕНИЕ 4

Показываются вдали Марина Николавна, которая ведет за одну руку Дробадонова, за другую Молчанова. Фабричные встают и отходят в сторону.

Приезжий. Может быть, уйти нам отсюда.

Челночек. Нет. У нас из эстого просто — никому гулять не заказано.

Молчанов (*в пальто с дорожною сумкою через плечо*). Здравствуйте, ребята!

Голоса. Здравствуйте, Иван Максимыч!

Молчанов и Дробадонов садятся на скамейку.

Марина. Ребятки! слетайте кто-нибудь в дом, принесите оттуда сюда столик, и самовар пусть сюда вынесут. Только живо, ребятки!

Челночек (*выдвинувшись впереди всех*). Сейчас, Марина Николавна.

Марина. Да Деичу вели, чтобы бутыль вина прислал. Хозяин вас желает попотчевать.

Челночек (*живо*). Сейчас. (*К фабричному.*) Андрюшка, дуем вместе.

Убегают. Прочие фабричные отходят далее. Молчанов снимает с плеча сумку и кладет ее.

Марина. Вот видишь, Ваня, как хорошо и как легко теперь на свет смотреть. И выйдет все наше горе не к горю, а к радости. Не грянул бы гром, мы бы не перекрестились! *(Живо.)* Спасибо тебе, Калина Дмитрич! Десять раз я тебя уже благодарила, а еще и в одиннадцатый не погнушайся. *(Подает ему руку.)* Дай я тебя, Калина Дмитрич, поцелую! *(Встает и быстро его целует.)* Спасибо, друг наш истинный! Ты нам голову поставил на плечи.

Дробадонов. Ну легко ли — есть за что благодарить! Слово сказать всякий скажет, не всякая только душа принять его может.

Молчанов. Нет, брат Калина Дмитрич, твоей услуги я повек не забуду. Спасибо тебе, спасибо. *(Жмет ему руку.)*

Дробадонов. Теперь справляй дела, да не сердись: помни, что на Руси у нас на сердитых воду возят.

Молчанов. Дела! *(Вздохнув.)* Да, буду делать дела и вернусь... и все здесь застану... *(берет за руку Марину и с чувством)* все постылое будет, одного милого не встречу.

Дробадонов. А ты не сживай со света постылую, чтобы сохранил бог милую.

Марина *(помолчав)*. Послушай, Ваня! такого уговора не было, чтобы скучать. Вот видишь, какой ты некрепкий.

Молчанов *(долго на нее смотрит)*. Марина, за что ты меня любила? Ничего, таки ровно ничего я не дал тебе, кроме слез вместе и слез в разлуке.

Марина. Не упрекай себя. Не ты в том виноват. Кто любил, тот и плакал. Она, любовь, как в песне спето про нее: «горюча любовь, слезами полита, — такова любовь на свете создана».

Дробадонов. Слезы те минули. Теперь другое будет... Будет наша Маринушка жить тихонько, за Невой широкою; будем мы наезжать к ней в Питер в гости; встретимся, поцелуемся, разойдемся — друг о друге помолимся... доживем тихой старости, станем с клюкою под ручки друг с дружкой в церковь ходить да на твоих детей радоваться... *(Ударив Молчанова по плечу.)* Полно задумываться!

Марина. Ваня! не весь головы.

Дробадонов. Не вешай головы, тебе говорят. Примета скверная, если конь перед битвой голову весит.

Молчанов *(приободряясь)*. Нет, я ничего.

Дробадонов *(Молчанову)*. Ну, я пойду, скажу, чтоб запрягали. Пора вам: уж совсем стемнело.

Марина. Иди, вели закладывать.

Дробадонов уходит.

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же и Челночек с самоваром в руках. За ним другой парень с чайным прибором. Всходит луна.

Марина *(Челночку, усаживаясь за самоваром)*. Вот Паша молодец! А я тебя еще впервой и вижу, как ты вернулся. Ты ведь теперь совсем заграничный сделался. Ну что ж ты делал там, за границей?

Челночек. Трактир Корещенкову в Париже, Марина Николавна, становили.

Марина. Понравилось тебе в Париже?

Челночек. Н-ничего городишко.

Марина. Лучше нашего?

Челночек. Совсем не сравнивать, Марина Николавна. Гораздо нашего превосходнейше.

Марина. Скажи пожалуйста! Что ж ты там что заметил такое?

Челночек. Как же, Марина Николавна, не заметить! Много есть прикрасного. Как только сейчас первый шаг, как из самого агона выйдешь, сейчас надписи всякие: тут «пур для дам», тут «пур для мужчин». Прикрасно все.

Молчанов *(смеясь)*. Ишь над чем остановился!

Челночек. И обращение, Иван Максимыч, совсем другое. Запрещениев тоже меньше. *(Заискивающим голосом и глядя на Молчанова.)* У них, что́ господа, что́ такие, идут по улице да всё *«тру-ля-ля — тру-ля-ля»,* — а у нас теперь Фирс Григорьич Князев даже такой строкуляр издал, чтоб даже по городу голосу никто взвесть не смел, а там все горланят.

Марина. А ему что, Фирсу, ваши песни помешали?

Челночек. Да так это, Марина Николавна, значит для политики, чтоб запрет от него исходил.

Марина. Эх, ребята, смотрю я на вас, стыдно вас

и ребятами-то звать. Залучили б вы его в темном месте, да такую б политику ему шпандарем задали... Это одному страшно, а ведь вас сколько на фабриках! на всех ведь не розыщется и со всех не взыщется. А хотя б и взыскалось! Рыло в крови, да наше взяло — вот молодцовская ухватка!

Челночек. Да разве, Марина Николавна, в том? Разумеется, если б он сюда, то б... Тут ба его по кусочку не достало!

Голоса фабричных. Э, если б он здесь-то показался. — Тут ба его и решение!

Марина. Ну, это я шутила. *(Подавая Молчанову чай.)* А ты опять заневестился, голову нуришь! Ваня! Ваня! *(Челночек отходит.)* Ванюша! Ваня! Ваня! *(Поднимает его голову.)* Ах какой характер! Тебя в руки берешь, а ты рассыпаешься. *(Горячо.)* Не весь головы! Уедем так, чтоб наше горе смеялось. *(Фабричным, которые пьют водку.)* Ребята! повеселите-ка хозяина: он что-то скучен! Песню! песню, ребята! песню! такую, чтоб горе смеялось.

Фабричные. Сейчас, Марина Николавна! *(Скучиваются. Один достает из-под полы кларнет и дает тон.)*

Хор

Во лузях, во лузях,
Во лузях, во зеленых лузях. (bis)
Выросла, выросла,
Выросла трава шелковая. (bis)
Врознь пошли, врознь пошли,
Врознь пошли духи малиновые. (bis)

Марина. Живо, ребята, живо! *(Становится перед Молчановым и подпевает.)*

Хор
(чаще)

Уж я той, уж я той,
Уж я той травой выкормлю коня. (bis)

Марина. Чаще!

Хор

Выкормлю, выкормлю,
Уж я выкормлю, вывожу его. (bis)
Поведу, поведу,
Поведу я коня к батюшке. (bis)

Марина кокетливо трогает плечами и бровью и топает в такт ножкой.

Хор

Государь, государь,
Государь ты мой батюшка. (bis)

Марина вынимает белый платок и пляшет.

ЯВЛЕНИЕ 6

В это время из глубины сцены, из-за кустов, выходят никем не замечаемые Князев, Анна Семеновна, Мякишев, Марья Парменовна, Минутка, Колокольцов и купцы. Князев дает своей компании знак остановиться и один, по-прежнему никем не замечаемый, тихо подходит к песенникам.

Хор
(продолжает)

Ты прими, ты прими,
Ты прими мово ворона коня. (bis)

Марина останавливается и, положа Молчанову руки на плечи, смотрит ему в глаза.

Хор
(протяжнее)

Ты услышь, ты услышь,
Ты услышь слово ласковое,
Ты прими слово приветливое.

Марина *(всплескивая руками)*. Да услышь же, Ваня, слово ласковое и прими слово приветливое!

Молчанов *(с чувством)*. Жизнь моя! что я с тобою теряю!

Оба бросаются друг к другу и плачут.

Князев. Люблю девку за издевку!..

Все оборачиваются на его голос. Общее смятение. Молчанов почти падает на скамью. Марина смело выступает и загораживает его собою. Фабричные тихо жмутся и прячутся друг за друга.

(Язвительно вздохнув). Это хоть бы и на театре представить не стыдно! *(Подходит с палочкой к фабричным и всматривается в их лица.)*

Молчанов *(отодвигая Марину)*. Это что еще за штука новая.

Марина *(удерживая его)*. Ванюша! Ваня, не горячись!

Молчанов. Постой, — я даже вовсе не сержусь. Я только смотреть хочу, что это? Вломились в дом!

Князев (*фабричным*). Что же, голосистые соловушки? Или песня кончена? (*Всматривается пронзительно в каждое лицо.*)

Челночек (*про себя*). Ух, глазищи! (*Юркает в задние ряды.*) В молоко взглянет, молоко скиснется.

Князев (*водя палочкой над головами толпы и ударяя по маковке спрятавшегося Челночка*). Ты, как тебя? Павлушка, кажется?

Челночек (*робко*). Я, Фирс Григорьич, здесь машионально... (*Оправляясь.*) Я чай подал по Марины Николаевниному приказанию.

Князев. А она здесь у вас приказывает? (*Фабричным, подняв палку по направлению к дому.*) Вон!

Все уходят, перегоняя друг друга; последний плетется Обрезов. Челночек впереди всех.

Марья Парменовна. Ну, это ж не разбойник ты? Есть же еще, думаешь, после этого хуже тебя человек на свете. (*К Марине.*) А ты что здесь прохлаждаешься? (*Хватая ее за рукав.*) Я ведь тебя здесь не боюсь.

Марина (*топнув ногою, отрывает руку*). Прочь!

Марья Парменовна (*в испуге отскакивает*). Ишь ты какая!

Анна Семеновна. Отойди от нее, Маша, отойди.

Марья Парменовна (*отходя и косясь на Марину*). И-ишь!.. А ты не очень-то!

Марина (*Марье Парменовне*). Мужеедка!

Молчанов (*вскакивая*). Кто им ворота отпер?

Князев. А кто б смел опекунам не отпереть ворот? Я здесь хозяин нынче, а не ты, беспутник! Его сегодня только что немножечко остепенить хотели, а он, изволишь видеть, как остепеняется: вино, фабричные, да вот распутная бабенка, сбежавшая от мужа... продажная красавица.

ЯВЛЕНИЕ 7

Те же и Челночек (крадучись возвращается и прячется за деревом вблизи Молчанова).

Марина (*удерживая Молчанова*). Молчи, молчи, Иван Максимыч!

Князев (*не обращая внимания на ее слова*). Прошу полюбоваться, господа! Хорош, хорош купец, супруг

жене своей, отец детям и доброму отцовскому хозяин Иван Максимыч! А эта скромница *(на Марину)*... на всех глядит, не знает, кого выбрать, чтоб под полу кинуться.

Марина *(схватывая Молчанова за руки)*. Оставь, оставь: он нас нарочно дразнит!

Князев. Вот говорят, что нечему нам поучаться у молодых! Как нечему? Грешили, может, люди и в наши дни, да все это бывало со стыдом, от глаз человеческих прятались, а нынче видите. *(Указывая обеими руками.)* Жена вот она, вот теща-матушка и тесть, а вот супруг с любовницей обнявшись стоят, и словно быть всему тому так следует. Дай протереть глаза. *(Протирает платком глаза.)* Стоят, действительно стоят! *(Строго.)* Ну, будет этого! *(Вскинув головой.)* Я вас прошу, господин голова, сейчас потребовать у него все счеты и фактуры, которые у меня украдены и ему переданы. Они мне нужны, чтоб принять дела. *(Бросается к Молчанову.)* А ты ступай к жене!

Молчанов *(устраняя Князева)*. Вы хоть опомнитесь! Мне кажется, вы уж с ума свихнули с тех пор, как глупая толпа дала вам в руки власть. Прошу вас дальше. Не вводите в грех: я сам дам сдачи.

Князев *(в азарте)*. Ты сдачи дашь? ты? Вяжи его, ребята! Я объявляю вам, он вор. Он утаил билет в две тысячи. *(Грозно.)* Обыскивай его.

Все порываются и не могут решиться. Челночек высовывает голову.

(Челночку.) Ну!

Челночек схватывает Молчанова сзади за локти. Вслед за ним уцепливаются Канунников и Гвоздев. Князев схватывает Марину и жмет ее с скрытым сладострастьем. Молчанов борется.

Держи его! *(Получая от Марины толчок, быстро отлетает и чуть не падает.)*

Марина *(бросается к Молчанову, расстегивает пуговицу у его сюртука и кричит)*. Беги, и с богом!

Молчанов вырывается, оставляя в руках державших его один сюртук, и убегает в глубь парка.

Князев (*Марье Парменовне*). Машута! друг, бежи за ним! Чего ж ты смотришь, глупая! Бежи скорей, останови. Ведь он твой муж... еще, пожалуй, в озеро прыгнет.

Марья Парменовна и мать ее убегают за Молчановым

Господа! а вы-то что ж? ведь все в ответе будете! Ловите!

Все убегают в парк. Остаются на сцене Марина и Князев.

(*Бросается на лежащий сюртук Молчанова.*) Топись теперь, дурак! Мне этого и надо. (*Вынимает из кармана молчановского сюртука бумажник.*)

Марина (*глядевшая до сих пор вслед бегущим, быстро про себя*). Боже, что я наделала? (*Князеву.*) Подай! подай назад. (*Ловит его за руки.*) Подай! Разбойник!

Князев (*скоро прячет бумажник в карман*). Ага! пеструшечка, ты вот она. (*Обнимает ее и целует. Борются. Борясь.*) Послушай! Не дурачься, не дурачься...

Марина (*отчаянно*). Подай! подай бумаги!

Князев. Ты одурела!

Марина. Эй люди!.. люди!.. люди!..

Князев. Кличь ветра в поле!..

Марина. Я с тобой и без людей, одна справлюсь. (*Отбрасывает Князева.*)

Князев (*отлетая*). Га! Без людей справишься!.. Ну так при людях же не справишься! Эй, люди! люди! Свести ее в полицию, чтоб к мужу выслали.

Марина (*ломая руки*). Что делать? Боже мой, что делать?

Князев (*схватывая Марину за руку*). Делать!.. Не гребуй мною! Я немногого хочу!

Марина. Я не люблю ж тебя!

Князев. И не надо! Ты этим докажи ему, что ты его-то любишь... Да, да, любя-то ни за что ведь хорошие женщины не стоят... Он ведь про то и знать не будет... он вздивится, с чего это все перевернется... (*Обнимает ее.*) Лапка, лапка! все в твоих руках.

Марина (*с омерзением устраняясь от объятий*). Эх!.. Ведь знаю, ты обманешь...

Князев (*еще сильнее обнимая*). Нет! нет... какие

тут обманы! *(Впивается в нее и целует, держа руками ее лицо.)*

Марина *(с отвращением)*. Н-н-ну!.. Ах, пусти!.. Пусти же на минуту! *(Про себя.)* О боже, умудри меня, как мне отнять? *(Князеву.)* Так ты не лжешь?.. Так ты его отпустишь?..

Князев. Ты отпусти его... Пеструшечка! Змееныш, заслужи... пущу...

Марина *(про себя, глядя на дупло, где спит Босый)*. А если, как на грех, его здесь нет сегодня? *(Князеву, грозя пальцем.)* Гляди ж не обмани!

Князев. Толкуй себе про глупости!

Марина. Ну так и быть, идем... Пойдем отсюдова: здесь не годится вместе быть... Здесь люди ходят... Здесь мы сейчас с ним вместе сидели... нехорошо...

Князев *(задыхаясь)*. Ничего это мне, ничего!.. я тем не гребую.

Марина. Нет! Ты обещал, что побережешь мой стыд... Пойдем. Я знаю, куда тебя сведу.

Бегут оба, взявшись за руки. Князев с той стороны, в которой приходится дупло Босого.

(Поровнявшись с дуплом, быстро толкает в него Князева, держит его и отчаянно вскрикивает.) Душа святая, заступись!

Босый *(хватая Князева)*. Тону! тону! *(Держит Князева.)*

Князев *(в ужасе)*. Максим! Максим! Пусти, я буду каяться! *(Вздымает в страхе руки. Марина быстро выхватывает у него из кармана бумаги.)*

Марина. Ха-ха-ха! *(Истерически хохочет и, оставляя Князева в руках Босого, бежит. На половине сцены она встречается с поспешающим к ней Дробадоновым.)*

ЯВЛЕНИЕ 8

Те же и Дробадонов.

Марина *(падая в изнеможении на грудь Дробадонова)*. Ах, где ты был, Калина Дмитрич? Я сил моих лишилась! *(Теряет чувства.)*

ЯВЛЕНИЕ 9

Те же, и показываются Колокольцов, Марья Парменовна, Минутка и прочие бывшие здесь купцы.

Дробадонов (*насмешливо купцам*). Скорей, друзья: хорек в силки попался.

Колокольцов (*увидя Князева*). Что это значит, Дробадонов?

Дробадонов (*поднимая на руки Марину*). Должно быть, значит то, что, где лукавые уста молчат, там безумные руки за работу берутся. (*Уносит Марину.*)

Минутка (*про себя*). Опять потянуло пчелку на красный медок. Прихватило!

Купцы освобождают Князева из рук Босого.

Князев (*охрипшим голосом*). Молчанов где?

Колокольцов (*к Князеву*). Это нельзя! Он прямо плюнул на меня тут... на жилет... в лицо, и тут вот... в это место... по плечу... немного выше... по галстуку...

Князев. Оставь про вздор молоть!

Колокольцов. Да, это вздор; но я терпеть не могу такой фамильярности, чтоб по лицу меня...

Князев. Оставь! Все знают, что он дрянь, а ты хороший человек.

Колокольцов. Хороший? Так разве всех хороших так уж и бить по щекам? Вам ничего, а он ведь два раза меня ударил. Я хочу знать по крайней мере за что?

Князев. Он сумасшедший. (*Приложив палец к устам, про себя.*) Он сумасшедший!

Челночек (*выбегая из-за кулис*). Хозяина поймали, Фирс Григорьич, и ведут. (*Подобострастно.*) Я первый, Фирс Григорьич, ухватил... подставил ножку: он и чебурахнул!

Князев (*про себя*). Га! Ну, храбрый витязь, сражались мы с тобой до этих пор тупыми концами, теперь давай перевернем копья да острыми ударимся. (*Вслух.*) В мою коляску и везите в город! Вы видели его сегодня все: он сумасшедший.

Колокольцов. Да, да. Он плюнул мне в лицо и три плюхи мне дал. Он сумасшедший!

Все (*качая головами*). Он сумасшедший, сумасшедший.

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Большая каменная кладовая, так называемая «палатка». Дверь посредине из толстых досок, сколоченных массивными гвоздями, на тяжелых петлях. По сторонам этой двери два продолговатые окна, проделанные почти под потолком. Задымленный очажок, служащий для варки клею и красок. Тюки, кули, кади с красками, пуки трав и разбросанный хлам. Влево на авансцене большой, окованный железом сундук, перед ним стол, на столе глиняный кувшин с водою и стакан, в котором горит конопляное масло. Стол и сундук загорожены от входа грубыми крашенинными ширмами.

ЯВЛЕНИЕ 1

Марина *(в темном шерстяном платье с накинутою на плечи беличьей шубкою, крытою алым или черным бархатом. По открытии занавеса сидит на сундуке. Несколько секунд молчания. Она с утомлением смотрит в огонь ночника)*. «Прошло лето, прошла осень, прошла теплая весна: наступает злое время — то холодная зима». Славная песенка; да некому ее спеть... *(Задумывается.)* Да, уж и лето и осень почти минула с тех пор, как Ивана Максимыча в сумасшедший посадили; а на бумагу, которую Калина Дмитрич от него послал, до сих пор ни ответа, ни привета нет. Сорокоуст успеют отчитать, пока этой защиты дождешься... И я здесь сижу в этой кладовой у Дробадонова совершенно напрасно... От матери, и от той скрыто, где я; а Фирс Князев всё поиски правит: его не обманешь. Вчера опять, Калина Дмитрич говорит, посулы делал, что даст сто рублей тому, кто его на мой след наведет; а кормовые на пересылку давно представлены... За сто ли рублей у нас не найдется охотника человека продать, лишь бы пронюхали. *(Пауза.)* Да мне уж и самой наскучило!.. Три месяца изо дня в день одна-одинешенька в этой норе с крысами высидела... Не умела я в те поры решаться, когда следовало. Не в Петербург мне надо было с Ванею собираться, да не надеяться, как Калина Дмитрич уверил, старости доживать, друг друга жалеючи; а надо было прямо *его* пожалеть: разогнаться самой да в воду. Вот бы и конец был... Пагуба я, как есть для всех пагуба... Теперь еще, если здесь найдут, и он и Калина наотвечаются... А он еще было задумал где-то мне фальшивую бумагу хлопотать... Легко ли дело: очень

нужно людей губить! Уйти я и без всяких бумаг уйду; а что со мной будет — это мне все равно... Бродяга, так и бродяга: разве не все равно. Это чем не острог!.. Ох-ох-ох! *(Задумывается и заводит вполголоса.)*

Уж ты молодость, моя молодость!
Красота ль моя, краса девичья!..

(Плачет.) Нет, не поются с горя и горькие песни! *(Утирает слезы.)* Какие всё были решения, какие большие, да какие хорошие — и ничего из них не повыходило... Ты себе умудряешься, а враг себе умудряется: вот и поручись за то, что ты сделаешь... Особенно вот теперь, как в одиночестве одурь взяла и сто дней изо дня в день не знаешь, чего дожидаешься, кто его знает, на что б кинулся, только б истоме этой конец положить. *(Осматривается.)* Есть тут мышьяк; есть веревки... Прости господи душу грешную... что за дурь в голову лезет... А особенно нынче... Нынче уж день какой-то... словно ему так не минуть без чего страшного. *(Слышен вой бури.)* Ишь воет!.. Неспокойна я всегда в это время... Что это и Калина Дмитрич нынче что-то запоздал... Не могу сидеть одна... дверь нарочно отперла... Все вот будто смерть мне в глаза засматривает: нет-нет да и вздрогну. *(Кладет руки на стол и опускает на них голову.)*

ЯВЛЕНИЕ 2

Марина и ее мать (слепая).

Мать *(входя ощупью, с клюкою)*. Куда ж я это, дура, забрела? Хотела через двор пройти на кухню корочек поискать, размочить. Провести-то некому — и забрела не знаю куда. *(Громко.)* Эй! есть тут жив человек, где это я?

Марина *(вздрогнув и вскакивая)*. Родимая! родимая! *(Бросается к матери.)* Ты ль это, матушка?

Мать *(роняя клюку)*. Марина! дочка! *(Ощупывает руками ее лицо.)*

Марина. Я, матушка! я, я! Иди сюда, садися; дай мне хоть насмотреться на тебя. *(Ведет мать к сундуку.)*

Мать. Так ты не умерла? А мне всё шутят, говорят на улице: «твою Марину-то, говорят, распотрошили».

Марина. Распотрошили, матушка, распотрошили. Я уж три месяца здесь прячуся от наших лиходеев.

Мать. Смотри пожалуйста! А я ведь верила, что нет тебя. Я так и говорю, когда меня чем попрекают здесь: я говорю, все это оттого, что нет моей дочки Маринушки; уж она бы, говорю, хоть при каком великом горе, меня в обиду не дала бы. А ты, голубушка, жива! *(Лаская ее.)* Лебедушка моя! голубка!

Марина. Ах, родная моя!.. Жива; да что по мне... куда мне выступить?

Мать. Так вместе будем жить... я при тебе останусь... а то меня все... гонят вон... Калина Дмитрич выйдет со двора, а мать его с сестрой и гонят... «Вон, говорят, ступай, толпега старая»... По всякий час ему не жалуюсь... терплю...

Марина. Ах, мамушка, не говори! У тебя нет дочки; я не могу тебя взять: я сама в амбаре скрываюсь...

Мать. В анбаре! Зачем в анбаре?

Марина. К мужу выслать хотят.

Мать. На что ты ему? Он пьяница, он все пропил, писали.

Марина. Так что ж? Назло это делают.

Мать. Всё назло, дитя, делают. Как я плакала, как сказали, что ты пропала, просила, чтобы меня с молчановской дачи не выгоняли... *(понижая голос)* нет... не послушали, назло выгнали. Фирс Григорьич сказал: «Здесь, говорит, не богадельня, а опека теперь... Ступай, говорит, свою дочь разыщи, тогда и упокой тебе будет». А я баю, где, баю, мне, родной, искать ее? меня, говорю, слепую, собаки съедят... «А ты, говорит, с палочкой». Всё, деточка, у нас наше добро отобрали: два твои матеревые платья взяли. Ты их сама выработала на кружевах; а они говорят, это, говорят, Молчанов дарил...

Марина. Бог с ними, матушка! Какие там платья считать: мы сами пропали.

Мать. Да, да, да, детка! Я уж так себе и думала, как меня вчера обидели: не найду, говорю, если ее еще три дня, Маринушки, и жизни себя решу; да вот и нашла. А то они, мать-то с сестрой Калины Дмитрича, без него всё вон меня гонят. Калина Дмитрич говорит: «иди, старушка, со мной щи есть»; а когда его нет, они и хлеб от меня запирают. Не как мы с тобой дуры, когда было что,

всем были щедрые да раздачливые. «Иди, говорят, по миру — ты убога: тебе всякий подаст». Ономедни послушала их: пошла у соседей попросить, а ребятишки собаками травить стали, балуючись, — пес злой такой кинулся, тут за самую грудь и прокусил, а мне отбиться не видно его... Смеются: «это за то, говорят, эту грудь прокусил, что дочку гордячку выкормила...» Я уж нонче вечером на кухню хожу: тюрьку себе из корочек мочу.

М а р и н а. Мамушка, да ты б самому-то об этом сказала!

М а т ь. На что, детушка, ссорить их! Он говорит: «ешь со мной щи, старушка». Я с ним и ем, когда дома он. Это они, пересмешницы. Они говорят: «о чем, старая, плачешь?» Я в уголке о тебе плачу, а им говорю: про домик свой плачу. По холоду-то теперь, донюшка, похожу, все в домик и манется. Тепленький, говорю, у нас свой домик был; печечка в угле была... старые косточки плачут по печечке... А они на свою печь не пущают... не-ет, не пущают, — сами спят. При нем погреюсь, а без него... «не рожать было, говорят, дочки гордячки». И Фирс Григорьич намедни за обедней копеечку подал мне и тоже говорит: «Надо бы, говорит, тебя дочке-то твоей пожалеть. Ишь, говорит, ты какое мирское челобитье, в лубочке связанное»... Пожалей меня, дочушка!

М а р и н а. Мамушка! сердце мое разорвалося, тебя слушаючи; да что ж я поделаю?

М а т ь. «Домик, говорит, ваш отдам», говорит Фирс-то Григорьич.

М а р и н а. Матушка! да неужели ж ты не знаешь, чего он от меня хочет-то?

М а т ь. Ничего про то не сказал. Так, верно, чтоб ты покорилась, хочет.

М а р и н а. Так! так!.. Мамушка, кто нынче что-нибудь так делает? О боже мой! Да скорее солнце на восток с запада пойдет, чем мужчина что-нибудь женщине так, даром сделает!

М а т ь. «Нехорошо, говорит, что дает собакам грудь-то твою кусать, откуда молоко сосала. Это, говорит, была ее житница». Я, говорю, не ропщу на господа: у меня добрая, честная дочь, а люди смеются: «Что, бают, честь, когда нечего есть. Вот, говорят, у бабушки Дросиды Аленка може не совсем очень честная, да у ней, у бесчест-

ной дочери, мать и сыта, и одета, и в храм божий выйти ей есть в чем, за дочернин грех помолиться, и ты б, говорят, так-то молилась». А я того ничего не знаю: мне только в домик наш с тобой хочется.

Марина (*ломая руки*). Ох, боже мой! боже мой! вправду посылай лучше тяжелое свое горе одному несть.

Мать (*лаская Марину.*) Ты не сердися, доня: может, я что глупое говорю.

Марина. Мамушка! делала ты для меня когда грех какой? что-нибудь такое, в чем каяться надо, сделала такое?

Мать. Не знаю, дитя, как тебе сказать про это: как в оспе ты лежала маленькая, тогда мы тоже были при бедности — Молчанова не было, — ну, я горох для тебя крала и вишеньи, чтоб тебе роток освежить.

Марина. А больше?

Мать. Курочку тоже один раз у дьяконицы словила, изжарила, как тебя лихоманка томила. Отец дьякон-то свел меня тогда в полицию. «Вот, говорит, воровку поймал, — по законам ее надо судить», да покойник квартальный, Никанор Никанорыч, дай ему бог царство небесное, «ничего, говорит, это». Два раза меня прутом ударил, да и говорит: «отпустите, говорит, ее, отец дьяк, съедомое, говорит, это не грех». Я тебе ее и зажарила и лапшицы с нею сварила.

Марина. Больше что, мамушка? больше?

Мать (*подумав*). Фирс Григорьич, как Молчанова утопил... я это видела с берега, с тобой — ты у груди была, — я с тобой сидела и видела... а он говорит: «молчи, я тебя сотенной одарю» — я и молчала.

Марина (*в ужасе*). Мамушка! неужто ж ты видела это?

Мать. Видела, детка. Ты про это молчи. Он мне все заплатил: я тебе тут-то все покупила... Он после сказал: молчи, а то отвечать будешь вместе со мною. Я тут-то и молчала...

Марина. Матушка! ты ж богобойная.

Мать. Что, дитя, делать-то было. Бог-то не люди: он, милосердный, помилует. Не моими руками то сделано. Он говорит вчера: «Домика жалко, старуха?» Как, говорю, не жалеть. «А Марина твоя б, говорит, ко мне пришла покориться, я б ей отдал его». Я, мол, не знаю. «Так,

говорит, с постельного крыльца пускай стукнет, я сам отопру».

Марина *(заслоняя лицо матери)*. Матушка! Матушка, что ты это сказала! Ты помрачилась. Лучше, хочешь, давай умрем вместе!

Мать. Я уж тебе про смерть говорила. *(Плача.)* Только домика, деточка, жалко... Там теперь... Дросида с Аленкой живут; им там тепленько в нашем домике... Там бы, ребенок, и умерли...

В трубе к камину раздается довольно громкий гул сверху вниз, и падает один кирпич.

Марина *(в испуге)*. Что это! *(Торопливо.)* Иди! иди, матушка, а то тебя хватятся.

Мать *(вставая)*. Ты меня гонишь, дочушка!

Марина. Нельзя, нельзя! Обе задаром пропадем.

Мать *(идучи)*. А ты ж теперь завтра меня приди навестить.

Марина. Хорошо, хорошо! *(Ведет мать к двери.)* Я буду думать... Спи ты сегодня весело... я буду думать... Я все... все, что в свете есть возможного, все тебе сделаю. *(У самой двери.)* Но как ты дойдешь? *(Выглянув за дверь.)* Боже мой! ночь как тюрьма, — ты расшибешься вся.

ЯВЛЕНИЕ 3

В сводах камина показывается спустившийся из трубы Челночек. Он зорко следит за Мариной.

Марина *(матери)*. Постой, моя мамушка. Что там ни будет, я тебя провожу до крыльца. Темно: авось никто не увидит. *(Накидывает шубейку на плечи и уходит, уводя под руку мать.)*

ЯВЛЕНИЕ 4

Челночек *(один, вылезает из камина и отряхивается)*. Вот как! По-ведьмински лазиим. Большою дорогой в трубу. *(Осматриваясь.)* Тут она, голубушка, тут. Недаром Фирсов глазочек отсюда дымок-то приметил. *(Возвращается к камину и дергает за веревку, конец которой*

спустил с собою.) Андрюша! *(В трубу.)* Андрюша!.. есть! *(Закидывает веревку в глубь каминного свода и сам быстро прячется за кули или за кадь. Усаживаясь.)* Теперь, Фирс Григорьич, сотенную, брат, присылай. *(Садится так, что его не видно.)*

ЯВЛЕНИЕ 5

Челночек и Марина.

Марина *(вбегает, сильно взволнованная, едва переводя дух, падает на сундук)*. Ох!.. ох!.. Они меня видели! Теперь все пропало... Удержаться нельзя было. Я ее довела до крыльца и хотела вернуться... Она там в сенях поскользнулась впотьмах... я думала, что она расшиблась... вскочила за нею... а они дверь отворили с огнем...

Челночек то высовывается из-за кади, то снова прячется.

Нет, теперь все равно пропадать... По крайней мере пропадать не без пользы... Она мне разорвала своими речами всю душу мою, и теперь я своими глазами смотрела в окно, как они над нею смеялись... Вздор! вздор! Над чем тут задумываться! Разве она задумывалась, когда для меня крала? Разве она задумывалась, когда Фирсов страшный грех брала себе на душу? Разве ей не больно и не страшно было губить душу свою? А у меня совесть! А у меня совесть! Совесть! совесть! Когда мать для нас и стыд и совесть забывает, мы не совестимся, мы берем это; а нам им долг отдать совесть зазрит?.. *(Схватывая себя за горло.)* Да разве смеешь ты про совесть свою думать, когда у твоей матери псы грудь рвут; когда у твоей матери люди ложку из рук отнимают; когда у твоей матери угла нет?.. Нет; в такой совести нет совести! нет! Все, мамушка, все: стыд, совесть, жизнь... любовь мою и мой позор... все, все возьми, родная, за твою прокушенную грудь! *(Накрываясь торопливо платком.)* Теперь, Фирс, ты достал меня! Звезды небесные! закройте ваши светлые глазки, пока пробегу я! *(Бежит и у двери останавливается и возвращается.)* А для чего ж, одну любовь блюдя, губить другую? Себя не пожалеть, так можно никого не обидеть! Себя не пожалевши, можно все сделать! *(Кидается к одному из ящиков, берет из него горсть*

порошка и, всыпав его в кусок синей бумаги, быстро сворачивает.) Это мышьяк!

Челночек беспрестанно высовывается и следит за Мариной.

Да, я обману его! Я скажу ему, чтобы он дом за мать закрепил, а потом... он ничего от меня не дождется. *(Строго.)* Что я это путаю? Ведь это от позора неотвратимого можно, а от горя разве это простится... если на жизнь покушаться... Прочь! *(Бросает сверток под стол и толкает его ногою.)* Я приду; я дам обещанье; пусть он запрет меня у себя на вышке, пока сделает матери крепость; после... подушкой голову оберну и брошусь в окно, и уйду... иль расшибусь. *(Бежит к двери и сталкивается с Дробадоновым.)*

ЯВЛЕНИЕ 6

Те же и Дробадонов, входит в большой лисьей шубе, с загнутым за уши воротником. Под полою у него зажженный фонарь, который он вынимает в ту самую минуту, когда бегущая в дверь Марина почти что с ним сталкивается. Челночек, порывавшийся бежать вслед за Мариной, при виде Дробадонова снова прячется.

Марина *(увидев свет, в ужасе вскрикивает и прижимается спиною к кади)*. Ай! ай! Кто это? кто? кто это?

Дробадонов. Чего ты? Бог с тобой! чего?

Марина. Кто это с светом? *(Всматривается и узнает.)* А, это ты, Калина Дмитрич!

Дробадонов. Да что ты? Кому же больше здесь и быть?

Марина *(хрустя пальцами)*. Да бог знает.... все как-то жутко так... *(Оглядывается.)* Будто кто здесь не свой есть?

Дробадонов. Куда ж это ты шла?

Марина *(с замешательством)*. Я это так... Так здесь хожу покрывшись, чтоб веселей.

Дробадонов *(делает добродушную ироническую гримасу, обнимает фамильярно Марину за плечи, ведет к столу и сажает)*. Садись-ка и сиди! *(Ставит на стол фонарь. Полуосвещенная до сих пор кладовая освещается вполне. Усевшись и сбросив шубу)*. Сказать тебе по правде, я, брат, и сам сегодня трусу чуть не спраздновал.

Марина. Что так?

Слышна буря.

Дробадонов. Да вот все буря эта. Скажи на милость, что ведь захватит целое облако песку, пыли мерзлой и так вот и гонит, словно как сила нечистая перед мечом архангельским мчится. Небо-то все *(делает рукою)* тэк-тэк-тэк... Так и трясется, так ходором и ходит. По всему городу прошел, встретил только одного Деича. «Иду, говорит, Фирс Григорьич к голове посылают дожидаться его; он утром депеш прислал, что непременно нынче к вечеру из Питера воротится»; а то, кроме Деича, ни одной божьей души на улице, и ветер, знаешь это, вдоль улиц-то так и ревет медведем.

Буря.

Марина. И здесь слышно.

Дробадонов. Что здесь! Нет, вот там на площади ты побыла б. С собора сорвало крест и на цепях вертит его по крыше: грохот, звон, словно кто с неба на заупокойную обедню звонит.

Марина. Что это за страсти в самом деле в городе пошли!

Дробадонов. Уж и не говори! С весны еще начали люди примечать, то куры петухами пели, то каша из печей уходила. Про псов и говорить уж нечего, что побесилися; а сегодня, скажи ты, иду я сейчас от Ратищей берегом, уронил палочку, стал поднимать и рукой рака схватил. Ну, скажи пожалуйста, в это время рак-то, да на сухом берегу?

Марина *(живо)*. Ты был на Ратищах?

Дробадонов. Сейчас оттудова.

Марина *(живо)*. Из сумасшедшего дома! Ну что, здоров он? жив Иван Максимыч?

Дробадонов. Да! Я сегодня лавку запер рано: все равно торговли не было, да думаю: вот в этакой день уж и Фирс не поедет, да и махнул. Насилу допустили. Теперь еще строжее — приставник так и не отходит, и все подкуплены от Фирса, чтоб никого не допускать. Мы, говорит, ему в том присягали. Насилу за две четвертные уломал.

Марина *(спокойнее)*. Ну и что ж?

Дробадонов *(поглядывая на нее)*. Он сумасшедший, люба!

Пауза. Марина смотрит на свои ногти.

Пространства никакого нет там, теснота одна и очень уж зловонно. Так стойлицо, а посередине кровать, и он лежит, под мышки и в коленях перевязан.

Марина *(равнодушно)*. Это на что он связан?

Дробадонов. Нельзя, говорят, не вязать: всto-скуется, начнет метаться, плакать, о стены бьется, а ночью намедни голову, говорит, в решетку в окне завязил. *(Пауза.)* Истомили они его тем, что отпуску ему никуда нет: совсем узнать его нельзя. Другие прочие хоть в коридор выпускаются, а он никуда... Маринушка, что ж ты молчишь?

Марина *(сдвигая брови)*. А? *(Вздыхает.)*

Дробадонов *(тихо)*. Я дал еще десятку, чтоб его пустили погулять по коридору. Обещали. Нонче Фирса не будет: погода, и он головы из Петербурга дожидается; они и пустят. *(Смотрит на свои карманные часы.)* Э, да уж он теперь разминается, гуляет... Марина Николавна! скажи ж по крайности спасибо! *(Трогает ее за руку.)*

Марина *(раздумчиво)*. Скажи, пожалуйста... не знаешь ты, что это такое значит: что ты мне говоришь о нем, а мне его... совсем не жаль?.. Мне словно никогда его и не было.

Дробадонов. Что ты это говоришь-то это? Кого ты обманываешь?

Марина *(пожав плечами)*. Нет, право!

Дробадонов. Да это что ж такое?.. Послушай! Милушка! Марина Николавна!.. Да что ж ты молчишь?.. *(Трясет ее за плечо; она сидит в том же положении.)* Ты вот послушай-ка, что́ люди-то говорят: это хорошо, говорят, что он в сумасшедшем отсидится, а то бы, говорят, его за голову в каторгу сослали. И Минутка, как уезжал, это то же самое говорил... *(Опять трогает ее.)* Да что же ты пугаешь меня, что ли, Марина Николавна? *(Трясет ее за плечо.)* Ну, а если пугаешь, так я тебе и не скажу...

Пауза.

(Дробадонов смотрит на Марину.) Так и уеду в Питер... Да; вот через два часа и уеду, потому мне жаль его... я на него сегодня смотреть не мог... а ты каменная... сердце-то у тебя из стали, из стали сделано... Я бы, может быть, мог и тебя свести теперь показать его... да что ж брать бесчув-

ственную... *(В отчаянии со всей силы качает ее взад и вперед за плечи.)* Да что же ты — окаменела, что ли!

Марина *(не слыша)*. Чего тебе?

Дробадонов. Да ты скажи, мол, отвяжись ты, что ли, прочь!

Марина *(задумчиво)*. Мне не нужно его видеть... Ты не слыхал, как женщины, которые от родов умирают, детей своих видеть не хотят, — так и он мне... *(махнув рукой)* не нужно! Я им измучилась... Я исслабела, все это в себе всю жизнь носивши... Теперь мне и его не жалко.

Дробадонов. Что ты это, девушка! Бог с тобой! Сто дней бодрилась — и вдруг на сто первом...

Марина. На сто первом кнуте, Калина Дмитрич, люди умирали.

Дробадонов. Перестань! стыдись! У бога много дней.

Марина. В лютой поре все дни бывают люты. *(Вскинув головою.)* Что мать моя у тебя, как живет? Успокой ты ее.

Дробадонов. Сударушка ты моя! Будь только ты-то в своем виде; а я не хвастал тебе: я ей уж келийку ставлю против бани на огороде и девчонку в няньки приставлю к ней.

Марина. Сбереги ее.

Дробадонов. Как мать родную, сберегу.

За сценою слышны шум и легкий треск, как бы пошатнулся забор. Челночек, при первом звуке этого шума, кидается к двери, откидывает крючок и теми же стопами, крадучись, опять скрывается.

Марина *(протягивая Дробадонову руку)*. Накажешь верить этому?

Дробадонов *(сжимая ее руку.)* Как счастья тебе желаю, как люблю тебя.

Марина *(удерживая в своей руке его руку и глядя в лицо его)*. Спасибо тебе за твою дружбу; два спасиба за твою любовь.

Дробадонов конфузится.

Чего ты застыдился? Мне кажется, что я уж вся истлела, что все равно, что нет меня... Что стыдиться, что любил? Я это знала.

Дробадонов *(утирает слезу)*. Да что ж с тобою?

Марина. Спроси ж вот! Исслабела.

Повторяется сильнее шум.

Дробадонов *(в испуге)*. Что это значит?
Марина *(спокойно)*. Пойди, взгляни.

Дробадонов уходит.

ЯВЛЕНИЕ 7

Марина одна и Челночек (спрятанный, но беспрестанно выставляющийся).

Марина. Одна! одна, целый век одна, а горя столько, что не знаешь, к которому лицом оборачиваться... *(Пауза.)* Калина Дмитрич поедет в Петербург, а я за ним вслед ночью уйду куда глаза глядят, и будь уж то, что в судьбе моей написано!

ЯВЛЕНИЕ 8

Те же и Дробадонов.

Дробадонов *(вбегает встревоженный и смущенный, но старается скрыть это)*. Скажи, пожалуйста, ты не помнишь, у нас, как мы здесь сидели, дверь заперта была?
Марина. Разумеется, была заперта.
Дробадонов. Гм, странно!

Опять шум, уже несравненно больший и постоянно увеличивающийся до следующего явления.

Шумит это ветер; а все дело скверно. Ты не сказала мне, что тебя видели.

Челночек крадется и снова откидывает крючок и опять прячется.

Там мать твоя с моею матушкой поссорились и... я не знаю... Мой совет... про всякий случай куда б нибудь тебе отсюдова пока уйти... Куда? *(Думает.)*

В это время шум вдруг увеличивается, дверь растворяется, и на пороге появляется Князев, а за ним еще видно несколько голов. Дробадонов бросается на них с неистовым криком, выбрасывает их за порог и схватывается за двери.

Га! так это вот кто вместе с бурею ходит! Марина Николавна, заступ дай мне! лом подай! пешню! *(Держась за дверную скобу, борется с усилиями тех, которые рвут дверь снаружи.)*

Челночек ползет на четвереньках, чтобы схватить Дробадонова за ноги. Дверь то отворится усилиями внешней партии, то усилиями Дробадонова снова захлопнется. За сценою голос Князева: «Ломай в мою голову!»

Марина *(с возвратившеюся мгновенно энергией)*. Вот он, судеб решитель! *(Берет из-под стола сверток с мышьяком, торопливо бросает в рот щепоть яду и, захлебнув из кувшина, идет смелою, решительной походкой к Дробадонову. В это мгновенье Челночек уже готов схватить ноги Дробадонова, но Марина дает ему презрительно толчок по лицу тыловою частью левой кисти. Челночек отскакивает, держась за щеку. Марина берет за обе руки Дробадонова.)* Пусти! *(Отрывает его руки.)* Меня никто отсюда не возьмет.

ЯВЛЕНИЕ 9

Те же и Фирс Князев в сопровождении многих мещан, квартального и полицейских.

Князев *(входя)*. Здорово, добрый друг Калина Дмитрич! *(Ядовито Марине.)* Болтают люди, что будто здесь кто-то чужих жен скрывает. Должно быть, врут.

Марина. А ты еще не радуйся. Что не в руках, тем не играй покудова.

Князев *(полицейским)*. Берите ее!

Челночек прежде всех схватывает Марину сзади за локти. Марина презрительно на него оглядывается и не сопротивляется.

Челночек *(Марине)*. Не своей волей, Марина Николавна: начальство приказывает. *(Глядя на Князева.)* Должны мы, его подначальные, слушаться. *(Кивает полицейским.)* Подай веревочку!

Князев *(полицейским)*. Ну, что ж вы стали! двое берите!

Два полицейских солдата с выражением тупого равнодушия и трое мещан, потупив глаза, берутся за Марину и завязывают ей руки за спиною.

Марина. Ха-ха-ха-ха! всем миром ухватитесь! *(Нервно.)* Холопы Князева! *(Вдруг бледнеет. Лицо ее искажается муками. Нетерпеливо.)* Прочь! прочь! Прочь, я больна... Вам говорю, я... дайте сесть мне... закон больных щадит.

Дробадонов *(с поднятым над головою тяжелым железным заступом, громовым голосом)*. Прочь! распластаю!

Полицейские и мещане, держащие Марину, бросают ее и быстро отскакивают в стороны.

Марина *(Дробадонову тихо и сквозь сжатые зубы)*. Калина Дмитрич, развяжи!

Квартальный *(солдатам)*. Освободи ее.

Дробадонов *(срывая веревку с руки Марины)*. Уже освободили.

Марина *(шатается, схватывается за край одной кади и, поддерживаемая Дробадоновым, тихо опускается на пол. Черты лица ее страшно искажены внутреннею болью)*. Воды мне!.. снегу!.. льду!.. Я умираю!..

Дробадонов *(кидается к столу, чтобы взять кувшин с водою, и, увидев мышьяк, берет его и в ужасе роняет)*. Все кончено: она себя отравила! *(Подает Марине кувшин с водою; все рассматривают яд.)*

Марина *(отпив из кувшина, глядит на окна, в которых в это время во всю ширь показывается яркое зарево)*. Везде... везде огонь... *(Мешаясь.)* Огонь и тут *(указывая на свою грудь)* и там *(указывая на окно)*, везде огонь... *(Падает.)*

Мещане. Пожар! Город горит!

Раздается набат.

Голоса за сценой. Молчановская фабрика горит!

ЯВЛЕНИЕ 10

Те же и Спиридон Обрезов.

Обрезов *(вбегая впопыхах)*. Фирс Григорьич! батюшка! несчастье! В одну секунду все огнем обняло — хлопочка не спасли!

Князев (*про себя*). Зато и счеты и концы сгорели.

Обрезов. Он сам почти весь до костей обжегся.

Марина (*приподнимаясь*). Ванюша? милый? он?

Обрезов (*Марине*). Он, матушка Марина Николавна. (*Князеву.*) Его схватили там, за хлопчатыми анбарами. Из сумасшедшего он вырвался и, как архангел-мститель, все сжег свое и со своим чужое.

ЯВЛЕНИЕ 11

Те же и 1-й мещанин.

1-й мещанин (*вбегая*). Поджигателя сюда ведут.

Князев. Зачем его сюда?

Челночек (*Князеву*). Должно быть, к вашей милости.

ЯВЛЕНИЕ 12

Те же, и толпа народа тащит под руки Молчанова. Сзади голову Молчанова поддерживает Алеша Босый. Молчанов в пестром тиковом больничном халате и кожаных туфлях на босые ноги. Он оброс бородой, бледен, с помутившимися угасшими глазами.

Князев. В острог его!

Один из приведших. Нельзя, не доведешь... Уж он канает, Фирс Григорьич, весь в волдырях...

Молчанова опускают на пол. Он сидит одну минуту и падает навзничь ногами к зрителям. Босый опускается на колени в головах Молчанова, берет его голову в руки, смотрит ему в лицо через лоб и беззвучно шевелит губами.

1-й мещанин. Тсс! отходит.

Марина (*поднимавшаяся с усилием и ползшая на коленях к Молчанову, падает ему на грудь с воплем*). Ваня! Ваня!

2-й мещанин. Скончался.

Босый (*затягивает унисоном*). «Со избранными избран будеши...»

Князев (*бьет Босого палочкой*). Молчи, юродивый!

ЯВЛЕНИЕ 13

Те же и Колокольцов (в енотовой шубе, подпоясанный хорошим ремнем, с большим кожаным дорожным портсигаром через плечо на шнуре).

Колокольцов. Нигде нельзя проехать... В огне весь город... Что это у нас делается!

Дробадонов. Одна ведь нам работа: из ничего дела творить; а что воистину у людей слывет делами *(разводя руками)*, то в смех, да в дым, да в пепел обращать.

Колокольцов *(уныло)*. Да, да... в губернии завтра суд открывается... и нас с вами, Фирс Григорьич, первых предают суду.

Князев. Что врешь? за что? с какого повода?

Колокольцов. Донос Минутка сделал.

Князев. Донос! Минутка! Где он?

Колокольцов. Он там остался, в Петербурге. Он дом себе купил в Подьяческой и кассу ссуд открыл с крещеными поляками.

Князев закусывает молча губу.

Дробадонов. Вот нас какими новый суд застал.

Князев *(с гневом)*. Что суд! Пусть судят: мир это делал, а не я.

Колокольцов *(обрадованный)*. Да; мир ведь целый не осудят: его нельзя сослать.

Князев. Мир не суди́м.

Дробадонов *(уныло качая головою)*. Мир не суди́м, и Фирс не суди́м. Они друг друга создали и друг другу работают. *(Князеву.)* Вам нет еще суда, ума и совести народной расточителям.

Марина *(в предсмертных мучениях, поднимается на локоть. Дробадонов ее поддерживает)*. Тссс!.. Пчела жужжит... Господний вестник смерти... *(Строго.)* Молчите все!.. Она меня зовет... домой... к судье небесному... от вас, судей ничтожных. *(Умирает.)*

Дробадонов. Умерла!

Набат.

Голос за сценой. Никитья церковь занялася.

Квартальный *(солдатам)*. К церкви! *(Убегает со всеми полицейскими.)*

Другой голос за сценой. Дом Фирса Князева горит!

Князев (*вздрагивая, мещанам*). Ко мне на двор!

Один из мещан (*указывая на Молчанова и на Марину*). А их теперя, Фирс Григорьич, как?

Князев (*убегая*). Покинь!

Голоса, и все мещане суетливо убегают.

Дробадонов (*вслед Князеву*). Покинь! (*Вздохнув.*) Не лопает Фирс Князев мертвечины.

Занавес падает.

Конец

26 мая 1867 года.
С.-Петербург.

ПРИМЕЧАНИЯ

В первом томе собрания сочинений Лескова печатаются его произведения шестидесятых годов: рассказы, очерки, повесть «Житие одной бабы» и драма «Расточитель». Это ранние вещи Лескова, рисующие русскую провинциальную жизнь «эпохи реформ». Нарисованные здесь картины отличаются мрачным колоритом: люди гибнут жертвами крепостнического «уклада», полицейского режима, семейного деспотизма. Чем крупнее натура, чем сильнее характер, тем более неизбежна и трагична гибель. Герой рассказа «Овцебык», страстный искатель народной правды, кончает самоубийством, потому что «некуда идти»; Катерина в «Леди Макбет Мценского уезда», ожесточившись, идет на преступление; в крестьянском романе рассказано полное горя и кончающееся сумасшествием «житие одной бабы»; в драме «Расточитель» собраны все ужасы купеческого самодурства. Этот мрачный колорит подчеркнут Лесковым в сборнике рассказов, изданном в 1869 году: один раздел сборника озаглавлен — «За что у нас хаживали в каторгу», другой — «Отчего люди сходили с ума» (на обложке — иначе: «На чем ума лишались»). В первом разделе напечатаны рассказы из крестьянской жизни, во втором — рассказ из жизни чиновника.

Художественное своеобразие первых произведений Лескова, отличавшее его от других писателей шестидесятых годов и тогда же отмеченное критикой, заключается прежде всего в необычной яркости красок — в их сгущенности или «чрезмерности» (как выражались критики). Это относится одинаково и к сюжетам его произведений, и к характерам изображаемых им лиц, и к языку. Сам Ле-

сков приписывал эту особенность своей манеры влиянию польско-украинской литературы, с которой основательно познакомился еще в юности, когда жил в Киеве. Лесков утверждал, что яркость и сгущенность художественных красок — необходимое условие для проникновения в глубь описываемых явлений. Исходя из этого принципа, он не боялся доводить драматический сюжет до мелодраматического (как в «Расточителе») или сообщать иной раз повествованию характер лубочного сказа (как в «Леди Макбет Мценского уезда»). Изображая крестьянскую жизнь, Лесков пользуется резкими контрастами света и тени. Характерно, что в полемике с писателями-народниками (в очерке «Русское общество в Париже», 1863) он называет рассказы Григоровича «пейзанскими», а Н. Успенского, наоборот, упрекает в том, что в его рассказах все крестьяне — «дураки».

Полемика с современными писателями скрывается иногда и в художественных произведениях Лескова — в самих сюжетах и персонажах. Так, Катерина в «Леди Макбет Мценского уезда» противопоставлена Катерине в «Грозе» Островского как более сильный русский характер. Драма «Расточитель» представляет собой своего рода реплику на пьесу Островского «Пучина» (1866), которая кончается поражением смирившегося хищника — купца Боровцова; не таков лесковский хищник Фирс Князев — «расточитель ума и совести народной». Если главной художественной задачей Островского в «Пучине» было — добиться сильнейшего драматического воздействия на зрителя без применения резких мелодраматических эффектов, то Лесков, наоборот, пользуется этими эффектами в полной мере. Он не занят психологической мотивировкой поступков своего героя, поскольку этот герой — не бытовая фигура, не «тип»: самодурство Фирса Князева выходит далеко за пределы быта и психологии и приобретает «демонический» характер. Совершая проделку с купчей на дом, Князев говорит, что на самом деле он «душу человеческую и всю совесть мирскую под ногами затоптать собирается» (действие I, явление 8). Это язык не простого купца-самодура, а озлобленного циника, потерявшего веру в добро, разрушителя общественных и нравственных устоев. В целом образ доведен до такой же мелодраматической яркости, как и Катерина Измайлова.

Другая особенность ранних вещей Лескова (сохраняющая свое значение и в позднейшие годы) заключена в их жанровой окраске. Начав свою литературную деятельность с очерков и корреспонденций, он и в дальнейшем сохранял связь с этими свободными жанрами, предпочитая формы мемуара или хроники традиционным формам романа или повести. «Разбойник», «Язвительный», «Овцебык», «Вои-

тельница» — все эти вещи написаны от лица свидетеля или участника событий, вспоминающего о них в той последовательности, в какой они происходили, — со всеми подробностями, но без объединяющей их фабулы. Недаром Лесков очень интересовался вопросом о литературных жанрах. На статью Ф. И. Буслаева «О значении современного романа и его задачах» (1878) он откликнулся большим письмом, в котором приветствовал попытку «произвести обстоятельный разбор» вопроса, так как «в наше время критического бессмыслия в понятиях самих писателей воцарился невообразимый хаос. ⟨...⟩ Писатель, который понял бы настоящим образом разницу романа от повести, очерка или рассказа, понял бы также, что в сих трех последних формах он может быть *только* рисовальщиком с известным запасом вкуса, умения, знания» («Литературная газета», 1945, № 11). Сам Лесков предпочитал «писать мемуаром» (по его же выражению). «Форма эта, — говорит он в том же письме к Ф. И. Буслаеву, — мне кажется очень удобною: она живее или, лучше сказать, истовее рисовки сценами, в группировке которых и у таких больших мастеров, как Вальтер Скотт, бывает видна натяжка».

Характерно, что, давая своим ранним вещам жанровые подзаголовки, Лесков иногда колебался между такими обозначениями, как «рассказ» и «очерк». Повесть «Овцебык» названа «рассказом», а «Леди Макбет Мценского уезда» — «очерком», хотя никакой резкой жанровой разницы между этими вещами нет; притом вторая вещь гораздо менее связана с жанром очерка, чем первая. Сборник 1867 года назван — «Повести, очерки и рассказы», а следующий сборник (1869) называется просто «Рассказы», хотя большая его часть занята «Старыми годами в селе Плодомасове», которые снабжены подзаголовком «Три очерка». Впоследствии Лесков изобретал для своих произведений такие оригинальные обозначения, как «маленький жанр», «рассказы кстати», «рапсодия», «пейзаж и жанр».

Большинство вещей, вошедших в первый том, появилось сначала в журналах, а затем переиздавалось при жизни автора три раза: 1) в издании: «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого (Н. С. Лескова)», т. I, СПб., 1867 и «Рассказы М. Стебницкого (Н. С. Лескова)», т. II, СПб., 1869; 2) в издании: «Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого», СПб., 1873 и 3) в «Собрании сочинений Н. С. Лескова», СПб., т. V, 1889 и т. VI, 1890. Второе из этих изданий не имеет текстологического значения: оно составлено из нераспроданных экземпляров предыдущего издания и снабжено только новой обложкой, новым титульным

листом и предисловием «От издателя», где ясно сказано: «Лица, имеющие очерки и рассказы Лескова-Стебницкого, вышедшие в 1869 году в двух отдельных томах, не найдут в этой книге ничего для себя нового. Этот сборник сложен из двух томов прежнего издания. ⟨...⟩ Цель выпуска этого сборника заключается в удешевлении книги для тех, кому приобретение ее по прежней цене было неудобно».

Тексты входящих в первый том произведений Лескова печатаются по последнему прижизненному изданию (т. е. для большинства вещей — по томам V и VI собрания сочинений 1889—1890 гг.), с исправлением опечаток и другого рода искажений по предыдущим изданиям. Исключение составляют рассказы «Разбойник» и «Язвительный», повесть «Житие одной бабы» и драма «Расточитель» — произведения, не включенные автором в собрание сочинений.

РАЗБОЙНИК

Печатается по газете «Северная пчела», 1862, № 108 (23 апреля); было перепечатано без изменений в книжке «Три рассказа», СПб., 1863 (в пользу наборщиц при типографии «Северной пчелы»).

Это один из первых беллетристических опытов Лескова; его продолжением был очерк «В тарантасе» («Северная пчела», 1862, № 119), где те же лица ведут беседу по дороге на ярмарку. Интересны заключительные слова автора: «Со временем, быть может, так ездить уж не будут на Руси, и тогда, пожалуй, и разговоры такие повыведутся, а пойдут совсем другие».

Стр. 1. ...*к Макарью на ярмарку.* — Эта ярмарка была до 1817 г. в городе Макарьеве, при Макарьевском (Желтоводском) монастыре; в народе это название удержалось и после перенесения ярмарки в Нижний Новгород.

...*купец из Нижнего Ломова.* — Нижний Ломов был уездным городом Пензенской губернии; ныне — районный центр Пензенской области.

...*под будкою.* — Будка — верх повозки.

Стр. 4. *Бекет* — пикет.

...*истрошили* — испортили.

Стр. 6. *Сляга* — тонкое, длинное бревно.

...*животов отнимет* — отнимет лошадей.

Стр. 9. ...*питинью, одначе, наложил.* — Питинья — епитимья, церковное наказание.

ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ

Печатается по изданию: «Рассказы М. Стебницкого (Н. С. Лескова)», т. II, СПб., 1869. Впервые напечатано в журнале «Якорь», 1863, №№ 12, 13, 14 (с эпиграфом: «Капля камень долбит. Пословица»).

После смерти автора этот рассказ появился в дополнительном (XII) томе собрания его сочинений (1896). При этом произошло текстологическое недоразумение: рассказ напечатан по журналу «Якорь», а между тем в сборнике 1869 года текст рассказа подвергся авторской переработке, при которой были сняты некоторые детали, придававшие рассказанному событию местный, этнографический характер. Убран и первоначальный подзаголовок, характерный для ранних вещей Лескова: «Из Гостомельских воспоминаний». Особенно существенное изменение сделано в конце; в «Якоре» рассказ кончается словами: «и пошло уголовное дело». Продолжение фразы («по которому трое сослано в каторжную работу» и т. д. до конца), появившееся в сборнике 1869 года, не попало в текст XII тома собрания сочинений (а тем самым — и в последующие издания). В сборнике 1869 года этот рассказ был помещен после рассказа «Засуха» (первоначально в журнале «Век», 1862, № 12, под заглавием «Погасшее дело»), причем они объединены здесь общим заголовком: «За что у нас хаживали в каторгу. Два рассказа».

Стр. 14. *...с Гостомельскими хуторами.* — Гостомля — речка в южной части Орловской губернии (в Кромском уезде); на этой речке был хутор Лесковых, в котором прошло детство Н. С. Лескова. «Я вырос в народе на гостомельском выгоне», — вспоминал он потом.

Стр. 16. *Галманы* — слухи.

ОВЦЕБЫК

Печатается по собранию сочинений, т. VI, 1890, с исправлением опечаток и искажений по «Отечественным запискам», 1863, № 4 (где напечатано впервые), и по изданию: «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, 1867.

Дата, поставленная под рассказом («Париж. 28-го ноября 1862 года») и впервые появившаяся в журнальном тексте, сохранилась в собрании сочинений, хотя под другими вещами в этом издании дат нет. Очевидно, Лесков придавал ей особое значение — не столько самой дате, сколько указанию места, где рассказ был написан. Возможно, что за этим скрывался намек на пережитую Леско-

вым историю в связи с его статьей о пожарах, послужившей главной причиной его отъезда за границу (см. в книге Андрея Лескова — «Жизнь Николая Лескова», М., 1954, главы: «Катастрофа» и «Бегство»).

Журнальный текст «Овцебыка» подвергся значительной авторской переработке при его переиздании в сборнике 1867 года и некоторому сокращению в собрании сочинений. Так, глава XI, заканчивающаяся словами: «Она (Настасья Петровна) придвинула свечку и пристально стала смотреть на огонь, прищуривая слегка свои прекрасные глаза», имела в журнале и в сборнике следующее продолжение:

«— Настасья Петровна! — сказал я, взяв ее за руку.

— Что?

— А ведь он вас любит.

Молодая женщина опустила глаза и через минуту встала и заходила по комнате».

Впоследствии Лесков отказался от этой детали — вероятно, чтобы не осложнять историю самоубийства мотивом любви.

Стр. 31. *...в иллюстрированном руководстве к зоологии Юлиана Симашки.* — Юлиан Иванович Симашко (1821—1893) — автор ряда трудов по зоологии — в том числе книги: «Русская фауна, или описание и изображение животных, водящихся в России» (СПб., 1856—1861).

Стр. 32. *Когда у Василия Петровича не было сапогов* и т. д. — ср. в воспоминаниях Лескова о П. И. Якушкине (см. в томе X), откуда взяты и некоторые другие детали.

Стр. 34. *Сейм* — приток реки Десны.

Стр. 46. *...о «дилетантизме в науке».* — Так озаглавлено сочинение Герцена, появившееся в «Отечественных записках» 1843 года.

Стр. 50. *Стой один перед грозою* и т. д. — цитата из «Полтавы» Пушкина: «Тот стой один перед грозою» и т. д.

Стр. 54. *В гостиницах П—ской и Л—ской пустыни.* — В «Отечественных записках» названия этих «пу́стынь» были даны полностью: Площанской (в Севском уезде Орловской губернии) и Ливенской (Ливны — уездный город в той же губернии).

...в чистом дикеньком платьице. — Дикий цвет — серый.

Стр. 55. *Колпик* — цапля.

Орлик — приток Оки.

Стр. 56. *Слимак* — улитка, слизняк.

Стр. 60. *Питра* — пьянство.

Стр. 65. *...когда мне были новы* и т. д. — слова из стихотворения Пушкина «Демон».

Стр. 66. *Стрягнул* — стряхнул, бросил.

Стр. 70. *...точно теньеровская картина.* — Давид Теньер (правильнее — Тенирс) младший — фламандский художник, прославившийся картинами сельской жизни (1610—1694).

Стр. 76. *Забобоны* — вздор, пустяки.

Стр. 78. *...на цуфусках* — пешком (от немецкого «zu Fuss»)

Стр. 80. *Праздно, весело, богато* и т. д. — цитата из сказки Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей».

Стр. 82. «Под сень струй» — слова Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя (действие IV, явление 13).

Стр. 85. *«Русь, куда стремишься ты?»* — неточная цитата из финала «Мертвых душ» Гоголя: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ».

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

Печатается по собранию сочинений, т. V, 1889, с исправлением опечаток и искажений по журналу «Эпоха», 1865, № 1 (где напечатано впервые), и по изданию: «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, 1867.

Заглавие в журнале — «Леди Макбет нашего уезда»; в сборнике 1867 года — «Леди Макбет Мценского уезда» и дата: «26-го ноября 1864 г. Киев». Журнальный текст повести подвергся при переиздании довольно значительной, преимущественно стилистической, переработке.

В повести, повидимому, отразилось одно из ранних орловских впечатлений Лескова, пришедшее потом ему на память: «Раз одному соседу старику, который «зажился» за семьдесят годов и пошел в летний день отдохнуть под куст черной смородины, нетерпеливая невестка влила в ухо кипящий сургуч... Я помню, как его хоронили... Ухо у него отвалилось... Потом ее на Ильинке (на площади) «палач терзал». Она была молодая, и все удивлялись, какая она белая...» («Как я учился праздновать. Из детских воспоминаний писателя». Рукопись в ЦГАЛИ). В письме к Д. А. Линеву (автору книги «Среди отверженных», М., 1888) от 5 марта 1888 года Лесков писал: «Мир, который вы описываете ⟨т. е. жизнь каторжников⟩, мне неизвестен, хотя я его слегка касался в рассказе «Леди Макбет Мценского уезда». Я писал, что называется, «из головы», не наблюдая этой среды в натуре, но покойный Достоевский находил, что я воспроиз-

вел действительность довольно верно» («Звезда», 1931, № 2, стр. 225). Надо, однако, иметь в виду, что повести «Леди Макбет» предшествовали очерки, написанные Лесковым на основе собственных наблюдений тюремного быта и нравов «женской казармы» («Страстная суббота в тюрьме» и «За воротами тюрьмы» — «Северная пчела», 1862).

7 декабря 1864 года Лесков послал рукопись этой повести из Киева в редакцию журнала «Эпоха» при письме на имя Н. Н. Страхова, где говорилось: «Д. И. Аверкиев и покойный Ап. А. Григорьев как-то говорили мне, чтобы я дал редакции «Эпоха» какую-нибудь свою беллетристическую работу. Имея нынче «Леди Макбет нашего уезда», я посылаю его особой посылочкой в редакцию, но на Ваше же имя, и прошу Вас о внимании к этой небольшой работке. «Леди Макбет нашего уезда» составляет 1-й № серии очерков исключительно одних типических женских характеров нашей (окской и частию волжской) местности. Всех таких очерков я предполагаю написать двенадцать, каждый в объеме от одного до двух листов, восемь из народного и купеческого быта и четыре из дворянского» (В. Гебель. Н. С. Лесков. М., 1945, стр. 94). В позднейшей беседе с В. В. Крестовским Лесков вспоминал: «А я вот, когда писал свою «Леди Макбет», то под влиянием взвинченных нервов и одиночества чуть не доходил до бреда. Мне становилось временами невыносимо жутко, волос поднимался дыбом, я застывал при малейшем шорохе, который производил сам движением ноги или поворотом шеи. Это были тяжелые минуты, которых мне не забыть никогда. С тех пор избегаю описания таких ужасов» («Как работал Лесков над «Леди Макбет Мценского уезда». Сборник статей к постановке оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Ленинградским государственным академическим Малым театром. Л., 1934, стр. 19).

Стр. 99. *Пихтерь* — большая корзина.

Стр. 121. *Киса* — мешок, сумка.

Стр. 140. *«За окном в тени мелькает»* и т. п. — из стихотворения Полонского «Вызов»; в подлиннике — не «полой», а «плащом».

В начале 8-й главы (стр. 118) мы взяли одну фразу не по изданию 1889 года, а по журналу. В журнальном тексте Катерина говорит мужу: «будь же по-моему, а не по-твоему»; в сборнике 1867 года (а отсюда — и в изд. 1889 г.) — «будь не по-моему и не по-твоему», что противоречит предыдущим словам («благодарствуй, я этого только и дожидалась»). Считаем это изменение не авторской поправкой, а опечаткой.

ВОИТЕЛЬНИЦА

Печатается по собранию сочинений, т. V, 1889, с исправлением опечаток и искажений по «Отечественным запискам», 1866, № 7, апрель, книга 1 (где появилось впервые), и по изданию: «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, 1867.

В «Отечественных записках» было посвящение: «Посвящается Михайле Микешину». С художником М. О. Микешиным (1836—1896) Лесков был в эти годы в приятельских отношениях.

Эпиграф взят из лирической драмы А. Майкова «Люций»: слова Сенеки в конце первой части.

Текст повести подвергался авторской стилистической переработке как в сборнике 1867 года, так и в собрании 1889 года. Подробный анализ языка «Воительницы» сделан в работе В. Гебель «Н. С. Лесков», М., 1945, стр. 201—206.

Стр. 147. *...страшный сон — аридов.* — Арид (Аред) — библейский патриарх, отличившийся долголетием («аридовы веки»).

Стр. 151. *Серизовая* (от франц. la cerise — вишня) — вишневого цвета.

Гроденаплевая (от франц. gros de Naples) — шелковая ткань, которую первоначально выделывали в Неаполе.

Стр. 152. *«Мария* — романтическая поэма польского поэта Антони Мальчевского (1793—1826): «Marja. Powieść ukraińska» (1825).

Стр. 153. *...вам кортит* — вам не терпится (от глагола «кортеть»).

Стр. 155. *...осéтит* — обставит сетями, завладеет.

Стр. 158. *...о спажинках.* — Спажинки (спожинки) — пост перед днем успения (15 августа).

Стр. 189. *Бзырит* — мечется.

Стр. 190. *Гамлетовское выражение* — слова Гамлета Полонию — акт II, сцена 2. В переводе М. Лозинского: «Если принимать каждого по заслугам, то кто избежит кнута?»

Стр. 195. *Живейный* — легковой извозчик, в отличие от ломового.

Стр. 215. *...навью кость сводила.* — Навья кость — одна из мелких косточек ступни или пясти.

КОТИН ДОИЛЕЦ И ПЛАТОНИДА

Печатается по собранию сочинений, т. VI, 1890, с исправлением опечаток по «Отечественным запискам», 1867, № 8, апрель, кн. 2 (где напечатано впервые), и по изданию: «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, 1867.

Этот рассказ первоначально входил в «романическую хронику» Лескова, которая печаталась в «Отечественных записках» 1867 года под заглавием «Чающие движения воды» (будущие «Соборяне»). В сборнике повестей, очерков и рассказов (1867) он появился уже отдельно, но под заглавием «Старогородцы (Отрывки из неоконченного романа «Чающие движения воды»). I. Котин доилец и Платонида». Последней главы (двенадцатой) здесь еще нет; вместо нее напечатано особое послесловие, в котором сказано: «Глава эта при печатании романа в журнале была заключена словами: «и мы увидим, как основательны были все эти соображения насчет участия Константина Ионыча в деле пропавшей вдовицы». Ныне мы должны изменить это заключение, сказав, что мы этого никогда не увидим, ибо роман «Чающие движения воды» по многим не зависящим от его автора обстоятельствам продолжаться не может» (ср. в книге Андрея Лескова — «Жизнь Николая Лескова», М., 1954, стр. 187—189). Глава двадцатая, сообщающая о судьбе Авенира и Платониды, появилась впервые только в томе VI собрания сочинений.

Константин Пизонский стал героем отдельного рассказа, но он сохранился и как одно из лиц старогородской хроники, появившейся в 1872 году под названием «Соборяне» (см. часть I, главы 4 и 5).

Стр. 226. *...читали на память «Манфреда» и Козловского «Чернеца».* — «Манфред» — драматическая поэма Байрона; «Чернец» — поэма И. И. Козлова, герой которой — монах.

Стр. 230. *Половень* — сарай для половы, мякины.

Ухоботье — сорное зерно.

Стр. 248. *Ляда* — низкая, сырая пустошь.

Стр. 250. *«Мертвый в гробе мирно спи»* и т. д. — цитата (не вполне точная) из баллады Шиллера «Торжество победителей» в переводе Жуковского («Спящий в гробе мирно спи»).

ЖИТИЕ ОДНОЙ БАБЫ

Печатается по «Библиотеке для чтения», 1863, №№ 7 и 8 (с подписью — М. Стебницкий).

При жизни Лескова эта повесть не перепечатывалась, но в 1924 году она была опубликована П. В. Быковым в новой редакции и под другим заглавием: «Амур в лапоточках. Крестьянский роман. Новая неизданная редакция» (Л., 1924). В послесловии Быков сообщил: «Своему «опыту крестьянского романа» Лесков придавал немалое значение. Пересматривая это произведение и устраняя его недостатки, он стал с течением времени все больше и больше под-

черкивать выводы, порою сильно волновавшие его. Собрав однажды тесный кружок литературных друзей, Николай Семенович прочел им роман и тут же заявил о намерении переделать его коренным образом. Намерение свое Лесков осуществил. Значительно изменив роман, он предполагал выпустить его отдельным изданием, но не решился сделать этого в виду существовавших в то время (конец 80-х годов) тяжелых цензурных условий». Рукопись романа в новой редакции Лесков подарил П. В. Быкову в благодарность за составленную им библиографию («Библиография сочинений Н. С. Лескова. За тридцать лет, 1860—1889») и за редактирование собрания сочинений 1889 года. При этом Лесков сказал Быкову: «...я считаю справедливым принести вам в дар переделанное «Житие одной бабы», которое я назвал «Амуром в лапоточках». Простите ⟨Прочтите? — *Б. Э.*⟩ и не судите! Вам он, быть может, пригодится со временем, когда наступят для крестьянства иные дни и когда интерес к нему возрастет».

Самый факт предпринятой автором переработки «Жития одной бабы» подтверждается предисловием к первому тому «Повестей, очерков и рассказов» (1867), где сказано, что во втором томе будет напечатан «опыт крестьянского романа» — «Амур в лапоточках»; однако эта новая редакция «Жития одной бабы» не появилась ни во втором томе сборника («Рассказы Стебницкого», т. II, СПб., 1869), ни в переиздании 1873 года, ни в собрании сочинений 1889 года. Из слов Быкова следует, что Лесков сделал переработку повести в 80-х годах; между тем, судя по словам самого Лескова в предисловии, эта переработка делалась гораздо раньше. Вообще картина, нарисованная Быковым, неясна и не вполне правдоподобна. Во-первых, как можно было «однажды» прочитать друзьям роман величиной в семь печатных листов? Во-вторых, зачем было читать роман в том виде, в каком он был напечатан в 1863 году, и «тут же заявить о намерении переделать его коренным образом»? В-третьих, «Житие одной бабы» никогда не имело подзаголовка «Опыт крестьянского романа»; этот подзаголовок появился тогда, когда было изменено заглавие, а случилось это в 1867 году, в предисловии к первому тому «Повестей, очерков и рассказов». Надо думать, что к этому же моменту относится и переработка самого текста и что Лесков собрал своих литературных друзей, чтобы познакомить их с этой новой редакцией романа.

Вопрос, почему Лесков не напечатал новую редакцию «Жития», остается неясным. Мы сочли более правильным напечатать в настоящем издании первоначальную редакцию повести — тем более, что местонахождение подаренного Быкову экземпляра неизвестно,

а текст, опубликованный им в 1924 году, не может считаться вполне авторитетным и исправным.

К тому же — никакой серьезной *переделки* произведено не было; переработка повести шла главным образом по линии сокращения: убраны некоторые эпизоды, описания, длинноты. Так, например, вынута вся история отношений Насти с «маленькой барышней» Машей (ч. I, глава III), убран анекдот о том, как колокол в церковь везли (ч. I, глава IV), вынут рассказ о поездке молодых к Настиным «господам» (ч. I, глава V) и т. д. (см. в статье Н. Плещунова «Заметки о стиле повестей Лескова», глава IV — «Две редакции романа Н. С. Лескова из крестьянской жизни» — «Литературный семинарий» проф. А. В. Багрия. Баку, 1928). Характерно, что в новой редакции целиком убран весь финальный очерк (со слов «Я был на Гостомле прошлым летом» до конца), игравший роль эпилога и рисующий крестьянскую жизнь непосредственно после отмены крепостного права. Лесков, очевидно, считал его содержание уже устаревшим; при этом он старался приблизить всю вещь к жанру романа, а поэтому последовательно вынимал все очерковые отступления. Рядом с этим в главе VIII (ч. I) сделана большая вставка, описывающая странное душевное состояние Насти по дороге от кузнечихи домой и подсказанная желанием заменить бытовую раскраску сюжета психологическим анализом. После слов: «Дорога была тяжелая, потому что нога просовывалась и вязла» в новой редакции следует:

«От тяжести дороги являлась усталость; дыхание спиралось; в груди минутами что-то покалывало и разливалось жгучею, пронзающею болью, за которою опять становилось тепло и сладко, как после желанного поцелуя. Хотелось упасть здесь и спать непробудно, слушая, как в священной тиши сонного поля, оседая, вздыхают тающие глыбы. Тихий блеск легким траурным флером покрытого снега производил болезненное ощущение: этот ровный спокойный блеск без игры и рефлексов пьянил и возбуждал сильное головокружение. Все видимое пространство, казалось, кружится и не представляет ни одной неподвижной точки: все это движется, как белая пелена, под которой шевелится и из-под которой хочет встать мнимоумерший... В впечатлительной натуре, созерцающей такую картину, является некий благоговейный и непреоборимый ужас; его испытывала теперь и Настя. Тающее снежное поле было для нее Иосафатовой долиной, готовящейся разрывать гробницы своих усопших, и каждый вздох оседающей глыбы заставлял нервную женщину вздрагивать, и ей становилось от этого все страшней. А между тем вздохи

эти, становясь все чаще, вдали сливались в один безустанный шепот. Иосафатова долина живет... Страшно, и манит туда, где тихие речи. Настя ускоряет шаги, а в глазах от усталости и снега краснеет... Вдруг ужасный удар, как из тысячи пушек, и после мгновенной тишины оглушительный треск кругом — и сзади, и спереди, и с боков захлопали миллионы ладошей, и хохот, и плеск, и журчанье. Настя в перепуге стала, перешагнула шаг взад и оглянулась. Все тихо, но покатый овраг, которого минуту назад не было видно под снегом, зиял темной пропастью, по днищу которого быстро, с громким журчаньем бежал пробивший поток. Усталым глазам проникаемый светом яркого солнца поток этот казался красным и, извиваясь, сверкал, как огненный змей... Настя испугалась; ей в самом деле показалось, что это змей, и она ударилась бежать отсюда и, задыхаясь, плакала о том горе, о той несправедливости, что по полю бежит к ней навстречу, взять ее под локоть, и усыпить, и уголубить, и ласковыми словами кликнуть. Устала Настя, едва добежала домой и, войдя в избу, села на лавку против печки. Печь жарко топилась, и перед нею стряпала Домна».

Стр. 271. *Филиповка* — пост перед рождеством.

Стр. 279. *Талька* — моток ниток; *пасма* — прядь пеньковых ниток.

Стр. 280. *Намычка* — кудель, пучок пеньки, изготовленный для пряжи.

Гармидер — крик, шум.

Стр. 285. *Схаменуться* — опомниться.

Стр. 287. *Колесни* — дроги.

Стр. 290. *Когут* — петух.

Стр. 301. *Сибирный* — лютый, злой.

Стр. 319. *Изнáвести* — вдруг, невзначай.

Стр. 336. *Сýволока* — сорная трава.

Стр. 344. *«Высоко стоит солнце на небе»* и т. д. — цитата из стихотворения Кольцова «Молодая жница» (у Кольцова — «Нет охоты жать»).

Стр. 360. *Зáмять* — метель.

Стр. 374. *...напоминая Сквозника-Дмухановского в сцене с Гюбнером.* — Имеются в виду слова городничего, обращенные к лекарю: «Это уж по вашей части, Христиан Иванович» («Ревизор», действие I, явление 1).

Стр. 380. *...при Васильe Александровиче Кокореве.* — В. А. Кокорев (1817—1859) — крупный откупщик, банковый и железнодорожный деятель, наживший миллионное состояние.

Стр. 383. *Азям* — кафтан.

Стр. 384. *...напоминает Ольгу Ларину* и т. д. — цитата из «Евгения Онегина» (глава III, строфа V).

...от Петра Андреевича Аз—на. — Имеется в виду инспектор орловской гимназии П. А. Азбукин (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, М., 1954, стр. 72).

РАСТОЧИТЕЛЬ

Печатается по журналу «Литературная библиотека», 1867, том VII (июль, кн. 1—2).

Драма Лескова была впервые поставлена на сцене Александринского театра 1 ноября 1867 года, в бенефис артистки Левкеевой, с Нильским в роли Молчанова, Монаховым в роли Колокольцова и Н. Зубовым в роли Князева. 24 декабря 1868 года драма «Расточитель» шла в Москве на сцене Малого театра. В столичном репертуаре пьеса не удержалась. «Двадцать лет тому назад, — вспоминал впоследствии Лесков, — я написал единственную свою весьма слабую театральную пьесу «Расточитель», которая подверглась в свое время единодушным порицаниям всех критиков, и только один из более ко мне снисходительных рецензентов, П. Шебальский, заметил тогда в бывшей «Современной летописи» Каткова, что я наметил «новые нравы и течения в купеческой среде». Но как пиеса моя была плоха, то и наметки новых характеров и течений, какие есть в ней, остались незамеченными...» (Процитировано в книге Л. Гроссмана — «Н. С. Лесков», М., 1945, стр. 148). Под этими «новыми нравами и течениями» подразумевались, очевидно, те попытки молодого купца Молчанова улучшить положение рабочих, против которых так решительно восстают старый купец Князев и городской голова Колокольцов. «Ты там своим рабочим долю назначаешь, — говорит Колокольцов. — ⟨...⟩ Это социализм. ⟨...⟩ Когда тут нам в эти годы с рабочими сентиментальничать! Ведь это в литературе очень хорошо сочувствовать стачке рабочих... Ты знаешь, что я и сам этому сочувствую и сам в Лондоне на митинги хаживал» и т. д. (действие 2, явление 6). Эта сторона пьесы осталась тогда действительно незамеченной, а главное внимание было обращено на то, что в центр пьесы поставлен вопрос о новом суде; в драме нашли тенденцию автора, направленную против новых выборных судов. «В «Расточителе» я показал, как бессудно было время дореформенных судов, — вспоминал Лесков, — и между тем все, и во главе всех тогдашние «Петербургские ведомости» руками Суворина и Буренина писали, что я «опошляю *новый суд*», хотя заключительные слова драмы таковы: — И вот какими нас новый суд застал» (там же, стр. 150).

Сценическая жизнь «Расточителя», однако, этим не исчерпывается: у пьесы оказалось большое театральное будущее. Еще в 1884 году сам Лесков писал: «Расточителя боялись брать на сцену актеры, боясь, что их «заругают», а вот Расточителю 20 лет, и он до сей поры не сходит с репертуара в провинции» (там же, стр. 155). В последующие годы драму Лескова продолжали ставить — и не только в провинции, но и в Петербурге (в 1897 г. — с участием П. Н. Орленева). После Октябрьской революции «Расточитель» шел и в Петрограде и в Москве. Особенный успех имела эта пьеса в 1924 году в постановке 1-й студии МХАТа: Князева играл Певцов, Молчанова — Дикой, Минутку — Берсенев. Драма до сих пор не сходит со сцены.

Стр. 413. *«В беде не сробеет»* и т. д. — цитата из поэмы Некрасова «Мороз, красный нос» (часть первая — «Смерть крестьянина», IV).

Стр. 448. *«Смирился пылкий Шлипенбах»* — неточная цитата из «Полтавы» Пушкина: «Сдается пылкий Шлипенбах».

Стр. 453. *Гамза* — кошель, деньги.

Стр. 458. *Изна́вести* — невзначай, вдруг.

Стр. 475. *Толпега* — бестолковый человек.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. С. ЛЕСКОВ

Собрание сочинений, т. 1

Редакторы П. П. Быстров и
П. А. Сидоров
Художник Г. Д. Епифанов
Художественный редактор
А. М. Гайденков
Технический редактор
Л. П. Крючкина
Корректор М. А. Рубинович

Сдано в набор 26/VI 1956 г.
Подписано к печати 26/XI 1956 г.
Бумага 84 × $108^1/_{32}$—17,75 печ.л.=
=29,11 усл. печ. л. Уч. изд. л. 30+
+1 вкл.=30,05 л. Тираж 300 000 экз.
Заказ № 1121. Цена 12 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Министерство культуры СССР
Главное управление полиграфической промышленности
2-я типография „Печатный Двор"
им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.